
БОЛЬШИЕ ИЗ КНИГИ
Морис Дрюон
ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ
НЕГОЖЕ ЛИЛИЯМ ПРЯСТЬ
ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЛЧИЦА
«ИНОСТРАНКА»

Проклятые короли: Негоже лилиям прясть. Французская волчица

Морис Дрюон

Аннотация
Морис Дрюон. Проклятые короли: Негоже лилиям прясть. Французская волчица
Негоже лилиям прясть
Пролог
Часть первая. ФИЛИПП ЗАПРИ ВОРОТА
Глава I. Белая королева
Глава II. Кардинал, не верящий в ад
Глава III. Ворота Лиона
Глава IV. «Осушим слезы наши»
Глава V. Врата конклава
Глава VI. Из Нофля в Сен-Марсель
Глава VII. Дворцовые ворота
Глава VIII. Первые визиты графа Пуатье
Глава IX. Дитя, родившееся в пятницу
Глава X. Ассамблея трех династий
Глава XI. Жених и невеста играют в кошки-мышки
Часть вторая. ГРАФСТВО АРТУА И КОНКЛАВ
Глава I. Прибытие графа Робера
Глава II. Папский ломбардец

Глава III. Плата за преступление
Глава IV. «Коль скоро нас вынуждают воевать...»
Глава V. Войско регента берет пленного
Часть третья. ТРАУР И КОРОНОВАНИЕ
Глава I. Королевская кормилица
Глава II. Да свершится воля Божия!
Глава III. Хитроумный Бувилль
Глава IV. «Перед вами король, мессиры»
Глава V. Ломбардец в усыпальнице Сен-Дени
Глава VI. Франция в железных руках
Глава VII. Безжалостно разбитые мечты...
Глава VIII. Отъезды
Глава IX. Накануне коронования
Глава X. Реймсские колокола
Французская волчица
Пролог
Часть первая. ОТ ТЕМЗЫ ДО ГАРОННЫ
Глава I. «Из Тауэра не бегут...»
Глава II. Поруганная королева
Глава III. Новый клиент мессира Толомеи
Глава IV. Лжекрестовый поход
Глава V. Ожидание
Глава VI. Огнедышащие жерла
Часть вторая. ЛЮБОВЬ ИЗАБЕЛЛЫ
Глава I. Трапеза папы Иоанна

Глава II. Грехи Бувилля замолит папа
Глава III. Дорога в Париж
Глава IV. Король Карл
Глава V. Соединенные кровью
Глава VI. Этот благодатный год, год 1325-й
Глава VII. Любой умирающий государь…
Часть третья. ПОХИЩЕННЫЙ КОРОЛЬ
Глава I. Супруги-враги
Глава II. Возвращение в Нофль
Глава III. Королева Тампля
Глава IV. Совет в Шаали
Часть четвертая. ЛЮТЫЙ ПОХОД
Глава I. Харидж
Глава II. В предрассветный час
Глава III. Херефорд
Глава IV. Vox Populi
Глава V. Кенилворт
Глава VI. Война с котлами
Глава VII. Соломенная корона
Глава VIII. Bonum Est
Глава IX. Раскаленное железо
«Проклятые короли»: Историко-биографическая справка

Аннотация

Создавая свой цикл о невероятной эпохе, которая определила будущее прекрасной Франции, Морис Дрюон кропотливо работал в Национальном архиве, исследуя древние документы. Романы «Негоже лилиям прясть» и «Французская волчица» продолжают цикл «Проклятые короли», эту уникальную серию грандиозных исторических фресок, открытую романами «Железный король», «Узница Шато-Гайара» и «Яд и корона».

Страна теряет уже второго короля: Людовик X Сварливый, процарствовав всего восемнадцать месяцев, умирает, оставляя королеву беременной. Жизнь еще не родившегося младенца, будущего монарха, оказывается ставкой в борьбе за власть между самыми могущественными представителями французской знати, рискующими ввергнуть Францию в гражданскую войну. А по ту сторону Ла-Манша, в Англии, дочь Филиппа IV Красивого Изабелла Французская живет в постоянном страхе и плетет заговоры, организуя мятеж против собственного

мужа Эдуарда II.

Похоже, сбывается проклятие, брошенное из огня великим магистром ордена тамплиеров Жаком де Моле, которого сожгли по приказу Филиппа IV. С 1314 года более полувека французские короли сменяют друг друга на троне, но никто не задерживается надолго. Дворцовые интриги, внезапные смерти, династические перевороты и кровавые войны по-прежнему сопровождают это мрачное шествие проклятых королей.

Морис Дрюон
Проклятые короли: Негоже лилиям прясть. Французская волчица

Maurice Druon
LA LOI DES MÂLES
Copyright © 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales
LA LOUVE DE FRANCE
Copyright © 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales
Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 1979, 2023
© Ю. В. Дубинин (наследник), перевод, 1979, 2023
© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Иностранка®

* * *

Дрюон – лучший исторический романист Франции со времен Александра Дюма… В «Проклятых королях» есть все: железные короли и задушенные королевы, битвы и измены, ложь и похоть, обманы, семейные соперничества, проклятие тамплиеров, дети-подменыши, оборотни, грех и мечи, роковая судьба великой династии, и все это (ну, почти все) – подлинные исторические события. Уверяю вас, Старкам и Ланнистерам до Капетингов и Плантагенетов очень и очень далеко. От саг Дрюона вы не сможете оторваться: «Проклятые короли» – это и есть оригинальная игра престолов.

Джордж Р. Р. Мартин

* * *

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Мадлен Мариньяк за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этими томами; хочу также выразить свою благодарность бригадному генералу Л. Ф. Е. Уайлеру, кавалеру ордена Бани 3-й степени, кавалеру ордена Британской империи 2-й степени, майору и коменданту-резиденту лондонского Тауэра, который направлял меня при изучении этого монумента, равно как и м-ру Дж. А. Ф. Томпсону из Оксфордского Бэлиол-колледжа, который любезно согласился проконтролировать главы «Французской волчицы», касающиеся истории Англии; и как всегда, поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.

М. Д.

Негоже лилиям прясть

Государю надобно иметь суждение, готовое кружиться вместе с ветрами удачи… по возможности не отдаляться от добра, но и уметь прибегнуть ко злу, если необходимо.

Макиавелли

Пролог

В течение 327 лет, другими словами, со времени избрания Гуго Капета вплоть до смерти Филиппа Красивого, на французском троне сменилось всего лишь одиннадцать королей, и каждый оставлял после себя сына, будущего наследника престола.

Словно сама судьба благословила эту династию, вызывавшую всеобщее удивление, на длительное царствование, и казалось, ему не будет конца! Из одиннадцати королей мы можем назвать лишь двоих, чье владычество длилось менее пятнадцати лет.

Эта редкостная в истории непрерывность в отправлении власти и передаче ее прямому наследнику способствовала зарождению национального единства, более того, предопределила это единство.

Феодальные связи, связь как таковая вассала с сюзереном, связь более слабого с более сильным постепенно сменялась иной связью, иным договором, объединившим всех членов этого обширного сообщества, которое столетиями управлялось одним и тем же законом, равно было

подвержено одним и тем же превратностям.

Если идея нации еще только завоевывала умы, то самый принцип ее, ее воплощение уже существовали в лице короля, который был высшим источником власти и высшим ее прибежищем. Тот, кто говорил «король», подразумевал Францию.

И всю свою долгую жизнь Филипп Красивый усердно старался укрепить это нарождавшееся единство с помощью сильной централизации всего административного аппарата, систематически пресекая всяческие происки, шли ли они из чужих краев или от его подданных.

Но вскоре после кончины Железного короля за ним сошел в могилу его сын Людовик Сварливый. Народ не мог не увидеть — и увидел — перст судьбы в этих двух смертях, последовавших одна за другой и подкосивших обоих государей во цвете лет.

Людовик X Сварливый процарствовал всего восемнадцать месяцев, шесть дней и десять часов. Впрочем, и в этот недолгий срок незадачливый монарх успел почти окончательно загубить дело рук своего отца. Во время царствования Людовика была убита его первая жена Маргарита и казнен первый министр отца; голод опустошил

Францию, две провинции взбунтовались, целая армия увязла во фландрской грязи. Высшая знать вновь повела наступление на прерогативы королевской власти; реакция стала всемогущей, а казна оскудела.

Людовик X вступил на престол в тот период, когда католический мир не имел папы; он скончался, когда папа еще не был избран и христианский мир находился на пороге раскола.

И вот Франция осталась без короля.

Ибо от брака с Маргаритой Бургундской Людовик X имел единственную пятилетнюю дочь — Жанну Наваррскую, которая, по мнению многих, была незаконного происхождения. Королеву Клеменцию Людовик оставил в тягости, и можно было лишь уповать на появление законного наследника, ибо только через пять месяцев она должна была разрешиться от бремени. В довершение всего открыто утверждали, что Сварливый был отравлен.

Ничего не было предпринято для назначения регента, и в ожесточенной борьбе за власть яростно столкнулись личные притязания. В Париже звание регента оспаривал граф Валуа. В Дижоне — герцог Бургундский, родной брат удушенной Маргариты, вожак мощной баронской лиги, ре-

шивший отомстить за смерть сестры и ставший таким образом поборником прав малолетней племянницы. В Лионе граф Пуатье, брат Сварливого, старался разрушить козни кардиналов и тщетно добивался решения конклава. Фламандцы не стали мешкать и, воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие, а сеньоры графства Артуа продолжали вести гражданскую войну.

Разве не достаточно было всего этого, чтобы воскресить в памяти народной то проклятие, которое бросил два года тому назад Великий магистр ордена тамплиеров из пламени костра? И неудивительно, что в ту суеверную эпоху люди в первую неделю июня 1316 года задавали себе вопрос: уж не навек ли проклят род Капетингов?

Часть первая
ФИЛИПП ЗАПРИ ВОРОТА
Глава I
Белая королева

Траурное одеяние королев — белое.

Белого цвета косынка из тонкой ткани, плотно облегающая шею, скрывает подбородок чуть ли не до самых губ и оставляет открытой лишь середину лица; белого цвета длинная вуаль спускается на лоб и брови; волочится по земле белое платье, рукава туго схвачены у запястий. Вот это-то одеяние, сродни монашескому облачению, надела на себя — и, вероятно, навсегда — королева Клеменция Венгерская, оставшаяся вдовой на двадцать третьем году и прожившая в браке с королем Людовиком X всего лишь десять месяцев.

Отныне никто не увидит более ни прелестных ее золотых волос, ни совершенного овала лица, навсегда померкнет эта лучезарная безмятежность взгляда, этот блеск оживления, который поражал всех ее знавших и прославил на века красоту Клеменции.

Застывшее, как маска, узенькое, трогательное

личико, полускрытое ослепительно-белой косынкой, носило следы ночей, проведенных без сна, и следы слез, пролитых днем. Даже взгляд и тот изменился; казалось, он ни на чем не задерживается, лишь скользит по людям и вещам. Уже сейчас королева словно превратилась в надгробие собственной могилы.

И все же под складками белого одеяния зрела новая жизнь. Клеменция ждала ребенка, и ни на минуту ее не оставляла упорная, как наваждение, мысль, что ее супругу не довелось увидеть свое дитя.

«Хоть бы до его рождения дожил Людовик, — думала она. — Еще пять месяцев, всего пять месяцев! Как бы он обрадовался, особенно сыну… И почему не понесла я в нашу первую брачную ночь!..»

Королева обернулась к графу Валуа, который, переваливаясь, как каплун, шагал по комнате.

— Но за что, дядюшка, за что могли его так злодейски отравить, почему? — допытывалась она. — Разве не делал он людям добро, всем, кому мог? Почему вы всегда стараетесь увидеть людское коварство там, где проявляет себя лишь воля Господня?

— Зато только вы одна приписываете воле Гос-

подней деяние, которое скорее следует приписать козням сатаны, — отрезал Карл Валуа.

Большеносый, широкоскулый, румяный, с округлым брюшком, в черном капюшоне с высоким гребнем, сбитым на одно плечо, в черном бархатном кафтане с серебряными застежками, сшитом полтора года назад для похорон родного брата, короля Филиппа Красивого, его высочество Валуа прибыл к королеве прямо из Сен-Дени, где он присутствовал при погребении своего племянника Людовика X. Впрочем, на сей раз при исполнении траурного обряда возникли кое-какие осложнения, ибо впервые с тех пор, как был установлен церемониал королевских похорон, герольды, провозгласив: «Король умер!», не смогли добавить: «Да здравствует король!», так как никто не знал, перед кем, перед каким новым властелином следует совершить символические жесты, предусмотренные ритуалом.

— Пустое, вы сломите свой жезл передо мной, — посоветовал Валуа первому камергеру усопшего короля, Матье де Три. — Я старший в семье и лучше других подхожу к этой роли.

Но его единокровный брат, граф д'Эврё, возразил против подобного новшества, догадываясь, что Карл выдвинул этот аргумент с целью до-

биться регентства.

— Старший в нашей семье, если только вы употребили это слово в его подлинном значении, это вовсе не вы, Карл, — заметил граф д'Эврё. — Как известно, наш дядя Робер Клермонский доводится родным сыном Людовику Святому. Неужели вы забыли, что он еще здравствует?

— Вы сами знаете, что бедняга Робер давно лишился рассудка. Разве можно хоть в чем-то полагаться на эту сумасбродную голову! — возразил Валуа, пожав плечами.

Так или иначе, в конце поминального обеда, устроенного в аббатстве, первый камергер сломал жезл — символ своего высокого ранга — перед пустым стулом…

— Разве Людовик не творил милостыню? Разве не простил он многих узников? — твердила Клеменция, словно стараясь убедить саму себя. — Он был великодушен, поверьте мне… А если он и грешил, то каялся…

Вряд ли стоило сейчас оспаривать добродетели, коими королева украшала покойного своего супруга, чей образ неотступно стоял у нее перед глазами! И все-таки Карл Валуа не сумел скрыть раздражение.

— Знаю, племянница, знаю, что вы оказыва-

ли на Людовика самое благотворное влияние, знаю, что он действительно был великодушен… в отношении вас, — отозвался Валуа. — Но нельзя царствовать только с помощью молитв или даров, которыми осыпают близких. И одним покаянием не потушить порожденную тобою же ненависть.

«Так вот каков Карл, — печально думала Клеменция. — При жизни Людовика Карл приписывал себе все заслуги монарха, а теперь во что бы то ни стало стремится отрицать их. И меня, меня не сегодня завтра попрекнут теми дарами, что делал мне Людовик. Я опять стала для них чужеземкой…»

Но Клеменция была слишком слаба, слишком разбита, чтобы вознегодовать. Вслух она лишь произнесла:

— Никогда не поверю, что Людовика ненавидели настолько, что решились его отравить…

— Ну и не верьте, племянница, — вскричал Карл, — однако такова истина! Первое тому доказательство — тот самый пес, что лизнул белье, в которое заворачивали внутренности короля при бальзамировании. Ведь пес издох через час. Далее…

Клеменция прикрыла глаза и схватилась за

подлокотники кресла, она испугалась, что потеряет сознание перед этой страшной картиной, которую так настойчиво рисовал ей Валуа. Неужели с такой холодной жестокостью говорят о ее муже, о короле, засыпавшем в ее объятиях, об отце ребенка, которого она носит под сердцем? К чему вызывать перед нею ужасное видение трупа, исполосованного ножом бальзамировщиков?!

А Карл Валуа по-прежнему не скупился на зловещие умозаключения. Когда же наконец замолчит он, этот суетливый, властный, честолюбивый толстяк, появляющийся то в голубом, то в алом, то в черном бархате во все решающие или роковые минуты жизни Клеменции с первого же дня ее приезда во Францию, и всякий раз лишь для того, чтобы поучать ее, оглушить потоком слов и заставить действовать против ее собственной воли? Еще в утро свадьбы в Сен-Лие дядюшка Валуа, которого до того Клеменция видела лишь мимолетно, чуть было не испортил торжественную церемонию, поспешив посвятить новобрачную в дворцовые интриги, так и оставшиеся ей непонятными… Перед взором Клеменции возник Людовик, несущийся ей навстречу по дороге из Труа… сельская церковь,

комнатка в маленьком замке, наспех убранная под брачные покои… «Достаточно ли я наслаждалась своим счастьем? Нет, ни за что не заплачу перед ним!» — решила про себя Клеменция.

— Кто виновник чудовищного злодеяния? — продолжал Валуа. — Этого мы пока еще не знаем, но мы его найдем, племянница, торжественно клянусь вам… если, конечно, мне дадут эту возможность. Мы, короли…

Карл Валуа любил при каждом удобном и неудобном случае напомнить, что он тоже носил две короны, правда носил чисто символически, но это ставило его на равную ногу с владыками мира сего.

— …Мы, короли, имеем врагов, не личных наших врагов, а тех, кто враждебен нашим предначертаниям; и поверьте, немало людей были заинтересованы в том, чтобы сделать вас вдовой. Во-первых, существуют тамплиеры, чей орден, к великому сожалению, уничтожили. Впрочем, я об этом сотни раз говорил!.. Они образовали тайную лигу и поклялись сгубить моего брата и его сыновей. Брат мой скончался, и старший его сын последовал за ним! Затем не забудьте римских кардиналов… Вспомните-ка, что кардинал Каэтани пытался напустить порчу на Людовика

и вашего деверя Пуатье, хотел, чтобы их обоих вынесли вперед ногами. Дело открылось, но Каэтани вполне мог отыскать какой-нибудь иной способ сразить их. Что вы хотите, нельзя безнаказанно свергать папу с престола святого Петра, как это сделал мой брат Филипп, и рассчитывать, что этот акт не вызовет озлобления! Возможно также, сторонники герцога Бургундского были возмущены карой, постигшей Маргариту, и не могут примириться с тем, что вы заняли ее место…

Клеменция взглянула прямо в глаза Карлу Валуа, который смутился и даже слегка покраснел. Он сам был причастен, и не в малой мере, к убийству Маргариты. И он понял, что Клеменция это знает; очевидно, Людовик по неосторожности доверился ей…

Но Клеменция продолжала хранить молчание: она по-прежнему избегала разговоров на эту тему. Ей казалось, что и на ней лежит вина, пусть даже невольная. Ибо ее супруг, благородное сердце которого она так превозносила, задушил тем не менее свою первую жену, чтобы жениться на ней, на племяннице Неаполитанского короля. Так нужно ли после этого искать иных причин для постигшей их кары Господней?

— Есть еще графиня Маго, ваша соседка, — по-

спешно добавил Валуа, — а она из тех женщин, которые не отступят перед преступлением, даже самым злодейским…

«А чем же тогда она отличается от вас? — подумала Клеменция, не смея высказать свою мысль вслух. — Здесь, при французском дворе, на мой взгляд, не долго раздумывают, прежде чем убить».

— …А ведь еще месяца не прошло, как Людовик, желая смирить графиню Маго, отобрал у нее графство Артуа.

Тут Клеменции подумалось, что уж не граф ли Валуа, перечисливший с добрый десяток возможных убийц, был виновником преступления. Но она сама испугалась этой мысли, в сущности не подкрепленной никакими разумными доводами. Нет, она решительно запрещает себе любые подозрения; ей так хочется, чтобы Людовик умер естественной смертью… И однако, взгляд Клеменции невольно устремился через открытое окно к густой листве Венсеннского леса, туда, где чуть южнее стоял замок Конфлан, летняя резиденция графини Маго… За несколько дней до кончины Людовика Маго вместе со своей дочерью, графиней Пуатье, нанесла Клеменции визит, самый любезный визит. Клеменция ни на

минуту не оставляла их одних. Они восхищались гобеленами в ее спальне…

«Что может быть унизительнее, чем видеть в каждом приближенном обманщика, — думала Клеменция, — на каждом лице читать измену…»

— Вот почему, дражайшая племянница, — продолжал Валуа, — вам следует вернуться в Париж, о чем я вас и прошу. Вы знаете, как я люблю вас. Я устроил ваш брак. Ваш покойный батюшка был моим шурином. Прислушайтесь же к моим словам, как к словам своего батюшки, если бы Бог сохранил нам его. А вдруг рука, сразившая Людовика, захочет распространить свое мщение на вас и на плод вашей любви, который вы носите под сердцем? Я не могу оставить вас здесь, в лесу, беззащитную против происков злодеев, и только тогда я буду спокоен, ежели вы поселитесь поблизости от меня.

Вот уже целый час Валуа пытался вынудить у Клеменции согласие перебраться во дворец Сите, ибо он сам решил там поселиться. Это переселение входило в его планы: так ему легче будет заставить признать себя регентом и поставить Совет пэров перед свершившимся фактом. Кто хозяин дворца Сите, тот как бы наполовину король. Но если он поселится во дворце один, без короле-

вы Клеменции, это будет похоже на переворот и на узурпацию. Если же Валуа, напротив, въедет во дворец Сите вслед за своей племянницей как самый близкий ее родич и покровитель, никто не посмеет возразить. Ныне чрево королевы — верный залог престижа и наиболее действенное, если так можно выразиться, орудие власти.

Клеменция повернула голову, как бы желая испросить совета у молчаливого свидетеля их беседы, который стоял в нескольких шагах от королевы, держа скрещенные руки на эфесе длинной шпаги.

— Что мне делать, Бувилль? — шепнула она.

Юг де Бувилль, бывший первый камергер Филиппа Красивого, на первом же Совете, собравшемся после смерти Людовика, был назначен хранителем чрева королевы. Дородный, уже наполовину седой, но еще подвижный для своего возраста, славный Бувилль, верно прослужив тридцать лет королям Франции, отнесся к своему новому назначению не только всерьез, но чуть ли не трагически. Тщательно проверив отобранных для этой цели дворян, он создал надежную охрану, и стражи группами в двадцать четыре человека в очередь дежурили у дверей, ведущих в королевские покои. Сам он нацепил все свои во-

инские доспехи и в этот жаркий июньский день безбожно обливался потом под стальной кольчугой. Крепостные стены, дворы, все подступы к Венсенну были забиты лучниками. За каждым слугой, подававшим на стол, ходил по пятам стражник. Даже придворных дам обыскивали, прежде чем допустить их к королеве. Никогда еще так тщательно не охраняли живого человека, как охраняли сейчас эту жизнь, дремавшую во чреве королевы Франции.

Бувилль формально делил свои обязанности с престарелым сиром де Жуанвилем, назначенным вторым хранителем чрева; о нем вспомнили лишь потому, что в то время он как раз оказался в Париже, куда наезжал с неукоснительной старческой аккуратностью дважды в год за получением пенсиона, выплачиваемого ему при всех трех сменившихся на троне королях, а также за особым пособием, назначенным ему в связи с канонизацией Людовика Святого. Но сенешалю Шампани шел ныне девяносто третий год; в силу своего преклонного возраста он считался старейшиной высшей знати Франции. Полуслепой старик был сверх меры утомлен этим путешествием в столицу из своего замка Васси в верховьях Марны, и большую часть времени он мирно дремал в

обществе двух своих конюших, тоже седобородых старцев. Естественно, все заботы выпали на долю одного Бувилля.

Для королевы Клеменции с образом Юга де Бувилля были связаны самые дорогие ее сердцу воспоминания. Ведь Бувилль был послан просить ее руки от имени французского короля, и он же сопровождал ее в пути из Неаполя во Францию. Он был без лести преданным поверенным ее тайн и, возможно, единственным ее верным другом среди французского двора. Бувилль сразу понял, что Клеменции не хочется покидать Венсенн.

— Ваше высочество, — обратился он к Валуа, — мои обязанности стража мне сподручнее выполнять здесь, в этом замке, обнесенном надежными стенами, нежели в Сите, где большой дворец открыт для каждого. А если вы опасаетесь соседства графини Маго, то, коль скоро меня держат в курсе всего происходящего в округе, разрешите сообщить вам, что как раз в эту минуту ее добро грузят на повозки, ибо она тотчас направляется в Париж.

Карл Валуа с видимой досадой выслушал это сообщение; его раздражало, что влияние Бувилля так выросло с тех пор, как он стал хранителем чрева; бывший камергер не покидал королеву ни

днем ни ночью, да и сейчас торчал здесь, опираясь на шпагу.

— Мессир Юг, — высокомерно произнес Карл, — вам поручили охранять чрево, а не решать такие важные вопросы, как местопребывание королевской фамилии, и уж тем паче вас не уполномочивали защищать единолично все государство.

Бувилля не смутила эта отповедь.

— Разрешите напомнить вам, ваше высочество, — сказал он, — что королева не может показываться на людях раньше сорокового дня после похорон.

— Неужели, дражайший, вы полагаете, что я хуже вас знаю наши обычаи! Откуда вы взяли, что королева должна кому-то показываться? Мы доставим ее в Париж в закрытом возке… И неужели, племянница, — воскликнул он, поворачиваясь к Клеменции, — вы считаете, что я хочу загнать вас на край света, во владения Великого хана! Вы же сами знаете, что от Парижа до Венсенна не две тысячи лье!

— Поймите меня, дядюшка, — слабо возразила Клеменция, — Венсеннский замок — последний дар Людовика, здесь мы жили с супругом до его смерти. Он пожаловал мне это жилище, вы сами присутствовали при этом, — она указала на двери

покоев, где скончался Людовик X, — и выразил волю, дабы я жила здесь... Да и мне все кажется, что он еще не совсем покинул этот замок. Поймите, ведь здесь мы...

Но его высочество Валуа был лишен способности вникать в такие мелочи, как власть воспоминаний и поэзия скорби.

— Ваш супруг, за душу коего мы возносим молитвы, отныне принадлежит прошлому государства. А вы, племянница, вы носите под сердцем его будущее. Подвергая опасности вашу жизнь, вы подвергаете опасности и жизнь вашего дитяти. Людовик, который смотрит на вас с небес, никогда не простил бы вам этого.

Удар попал прямо в цель, и Клеменция молча поникла в кресле.

Но Бувилль заявил, что вопрос такой важности не может быть решен без участия сира де Жуанвиля, и послал за ним слугу. Присутствующие молча ждали его появления. Наконец дверь открылась, но им снова пришлось ждать. Не сразу появился последний сподвижник Людовика Святого; в длинном одеянии, какое носили еще во времена Крестовых походов, он с трудом переступил порог дрожащими, плохо повиновавшимися ногами. Лицо его было все в бурых пятнах и по-

ходило на кору векового дуба, выцветшие глаза слезились. Двое конюших, столь же дряхлых, как и их господин, поддерживали его с обеих сторон. Старца усадили с величайшими предосторожностями, и Валуа принялся излагать ему свои проекты насчет местожительства королевы. Сир де Жуанвиль внимательно слушал, сокрушенно покачивал головой, видимо гордясь тем, что его наконец призвали к решению дел государственной важности. Когда же Валуа замолк, сенешаль погрузился в раздумье, которое никто не посмел нарушить; все напряженно ждали, когда с этих старческих уст сорвутся вещие слова. И вдруг старик спросил:

— А где же король?

Валуа досадливо поморщился. Время не терпит, а тут изволь тратить силы на этого старика! Да понял ли сенешаль хоть одно слово из красноречивых доводов Карла?

— Полноте, мессир Жуанвиль, король скончался, — пояснил он, — и нынче утром мы предали его земле. Вы отлично знаете, что вас назначили хранителем чрева…

Сенешаль нахмурил лоб и сделал мучительное усилие, чтобы понять и вспомнить. Такие провалы памяти были для него не в диковинку;

диктуя свои знаменитые «Мемуары», восьмидесятилетний старец слово в слово повторял в конце второй части то, что уже было сказано в начале первой…

— Ох, наш государь Людовик… — пробормотал он наконец. — Скончаться таким молодым… Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу[1]. А знаете, я уже четвертого короля хороню.

Эти слова он произнес таким тоном, будто речь шла о личных его заслугах.

— Но ежели король скончался, королева должна стать регентшей, — объявил он.

Валуа побагровел. А он-то старался, чтобы в хранители чрева выбрали этих двух — юродивого и тупицу, надеясь, что ими будет легко вертеть; но тонкий этот расчет обернулся против него самого: именно они и чинят ему препятствия.

— Королева не может быть регентшей, мессир сенешаль, она в тягости! — крикнул Валуа. — Как

---

[1] Примечания: 1

В возрасте семидесяти пяти лет сенешаль де Жуанвиль начал свою «Историю святого Людовика» по просьбе королевы Жанны Наваррской, жены Филиппа Красивого, которая хотела иметь книгу о «святых словах и добрых деяниях» короля-крестоносца. Написание заняло у Жуанвиля десяток лет. Королева Жанна за это время умерла, так что свой труд автор посвятил ее сыну, Людовику Наваррскому, будущему Людовику X Сварливому: «Моему доброму государю Людовику, сыну короля Франции», которому и преподнес его, как об этом свидетельствует миниатюра того времени.

же она может быть регентшей, если неизвестно еще, родится король или нет?! Взгляните сами, в состоянии ли она править государством!

— Вы же знаете, что я ничего не вижу, — ответил старик.

Прижав ладонь ко лбу, Клеменция думала лишь об одном: «Когда же они кончат препираться? Когда оставят меня в покое?»

А Жуанвиль принялся рассказывать, при каких условиях после смерти короля Людовика VIII королева Бланка Кастильская, к великой радости подданных, взяла на себя бремя управления страной.

— Мадам Бланка Кастильская… конечно, вслух об этом не говорили… не совсем отвечала тому образу беспорочности, каковой создала молва… И говорят даже, что граф Тибо де Шампань, добрый приятель мессира моего отца, служил ей верой и правдой также и на ложе…

Приходилось терпеливо слушать. Если сенешаль сегодня забывал то, что произошло вчера, зато он в мельчайших подробностях помнил то, что ему довелось слышать в детстве. Наконец-то он нашел аудиторию, и он не желал упускать счастливого случая. По-стариковски дрожащими руками он непрерывно разглаживал свое шелко-

вое одеяние, туго натянутое на острых коленях.

— И даже когда наш святой государь отправился в Крестовый поход, где вместе с ним был и я…

— Королева в его отсутствие правила Парижем, если не ошибаюсь, — прервал разглагольствования старца Карл Валуа.

— Да, да, — залопотал старик.

Первой сдалась Клеменция.

— Будь по-вашему, дядюшка, — произнесла она, — я покорюсь вашей воле и перееду в Сите.

— Мудрое решение, и, надеюсь, мессир де Жуанвиль вполне его одобрит.

— Да… да…

— Сейчас пойду распоряжусь. Ваш поезд будет возглавлять мой сын Филипп и наш кузен Робер Артуа.

— Спасибо, дядюшка, большое спасибо, — проговорила Клеменция, чувствуя, что ее покидают силы. — А сейчас прошу вас, как милости, дайте мне помолиться в одиночестве.

Через час во исполнение приказа графа Валуа мирный Венсеннский замок пробудился ото сна. Из каретных сараев выкатывали повозки; кнуты конюхов прохаживались по мощным крупам коней, взращенных в Перше. Слуги суетливо бегали взад и вперед; лучники, отложив в сторону

оружие, взялись помогать конюхам. Впервые после кончины короля люди, говорившие чуть ли не шепотом, обрадовались поводу покричать. Если бы и впрямь какому-нибудь злодею пришла мысль посягнуть на жизнь королевы, вряд ли ему представилась бы более благоприятная минута.

А в самом замке орудовала целая армия обойщиков; снимали со стен гобелены, скатывали ковры, выносили поставцы, столики и кофры. Свита королевы, ее придворные дамы наспех складывали свои пожитки. Первым поездом рассчитывали отправить двадцать карет, но придется сделать не меньше двух ездок, чтобы переправить все это добро.

Клеменция Венгерская в длинном белом одеянии, к которому она еще не привыкла, бродила по покоям замка в сопровождении верного Бувилля. Повсюду пыль, запах пота, суетня, похожая на грабеж, — неизбежные спутники любого переезда. Казначей со списком в руках наблюдал за упаковкой посуды и ценных предметов, которые снесли по его распоряжению в залу и разложили на полу; здесь были блюда, кувшины для воды, дюжина золоченых кубков — дар Людовика Клеменции, а также огромная рака из чистого золота, содержащая частицу Креста Господня, —

сооружение столь увесистое, что слуга, кряхтя, сгибался под его тяжестью, словно и впрямь шел на Голгофу.

В покоях королевы главная кастелянша Эделина, бывшая любовница Людовика X, еще до его первого брака с Маргаритой, распоряжалась укладкой носильных вещей.

— К чему… к чему таскать с собой все эти платья, раз все равно мне их никогда не носить! — проговорила Клеменция.

Да и все эти драгоценности, запертые в тяжелые железные лари, эти перстни, эти редчайшие камни, которые щедро дарил ей Людовик в дни их недолгого супружества, и они тоже теперь ни к чему. Даже три короны, усыпанные изумрудами и жемчугом, слишком массивны, слишком роскошны, и не подобает вдове носить их. Отныне единственным ее украшением, да и то по истечении траура, будет гладкий золотой обруч с узором из лилий, надетый поверх белой вуали.

«Вот и я стала белой королевой, как моя бабушка, Мария Венгерская, — подумала Клеменция. — Но бабушке тогда было больше шестидесяти лет, и она дала жизнь тринадцати отпрыскам… А мой супруг так никогда и не увидит своего…»

— Мадам, — обратилась к ней Эделина, —

следовать ли мне за вами во дворец? Никаких распоряжений я не получила.

Клеменция взглянула на эту белокурую красавицу, которая, забыв свою ревность, была ей надежным подспорьем все эти последние месяцы, и особенно во время агонии Людовика. «Он имел от нее дитя и отнял у нее дочку, заточил ее в монастырь… Неужто и за этот проступок нас карает Господь?» Ей казалось, что все злые поступки, совершенные Людовиком до их брака, тяжелым бременем легли ей на плечи и именно ей суждено искупить их ценою своих собственных мук. Впереди у нее целая жизнь, и слезами, молитвой и милостыней она успеет испросить у Бога прощение за грехи, отягчавшие душу Людовика.

— Нет, Эделина, нет, — прошептала она. — Не надо следовать за мной. Пусть хоть кто-нибудь, кто его любил, останется здесь.

И после этих слов, отослав даже верного Бувилля, она удалилась в соседние апартаменты, где царило спокойствие, единственные, которые пощадила общая суматоха, в ту самую залу, где скончался ее супруг.

От спущенных занавесей в комнате стоял полумрак. Клеменция преклонила колена у ложа,

прижалась губами к парчовому покрывалу.

Вдруг она отчетливо услышала какой-то странный звук, будто кто-то скреб ногтем по ткани. Ее охватил страх, и страх этот показал королеве, что еще не окончательно угасло в ее душе желание жить. Она застыла на месте, боясь вздохнуть. А где-то позади все слышалось это непонятное царапанье. Клеменция пугливо оглянулась. Это оказался сенешаль де Жуанвиль, которого привели в королевские покои, и здесь, забившись в угол комнаты, он терпеливо ждал отъезда в Париж.

Глава II
Кардинал, не верящий в ад

Июньская ночь начала бледнеть; узенькая серая полоска, прочертившая на востоке небосвод, предвещала близкую зарю, скоро она зальет своим сиянием город Лион.

Был тот час, когда из близлежащих сел тянутся в город повозки с овощами и фруктами, когда смолкает уханье сов, не сменившееся еще чириканьем воробьев, и в этот именно час за узкими окошками парадных покоев аббатства Эне размышлял о смерти кардинал Жак Дюэз.

С юных лет кардинал не испытывал потребно-

сти в долгом сне, а с годами и вовсе разучился спать. Ему вполне хватало трех часов сна. После полуночи он подымался с постели и усаживался перед письменным прибором. Человек острого ума, поразительных знаний во всех областях, он писал трактаты по теологии, праву, медицине и алхимии, получившие признание духовенства и ученых мужей того времени.

В ту пору, когда любой — будь то последний бедняк или могущественный владыка — мечтал о золоте алхимиков, люди много говорили о трудах кардинала Дюэза, трактующих о создании эликсиров, способных вызвать трансмутацию металлов.

«Для приготовления сего эликсира три вещи потребны, — писал кардинал в своем труде, озаглавленном «Эликсир философов», — и суть они семь металлов, семь элементов и многое прочее… Семь металлов суть солнце, луна, медь, олово, свинец, железо и ртуть; семь элементов суть серебро, сода, аммиачная соль, трехсернистый мышьяк, окись цинка, магнезия, марказит; а прочее — ртуть, кровь человеческая, кровь из волос и мочи, а моча должна быть тоже человеческая…»

В семьдесят два года кардинал вдруг обнаружил, что остались еще кое-какие области знаний,

по поводу коих он не успел высказать своего суждения, и, пока ближние его мирно почивали, творил в ночной тишине. Он один изводил больше свечей, чем вся святая обитель со всеми ее монахами.

Долгими ночами он трудился также над обширной корреспонденцией, которую вел со множеством прелатов, аббатов, легистов, ученых, канцлеров и царствующих особ всей Европы. Секретарь и переписчики Дюэза обнаруживали поутру плоды его ночных бдений, которые они переписывали потом набело весь божий день.

Или, изучая гороскоп своих соперников по конклаву, он сравнивал его со своим собственным гороскопом, вопрошая небесные светила, дабы в расположении их прочесть ответ на вопрос, увенчает ли его чело папская тиара. По расположению небесных светил выходило, что наиболее благоприятный срок для того — начало августа и начало сентября нынешнего года. Однако сейчас уже было десятое июня, а туман все еще не рассеялся…

А потом наступал самый мучительный час — час предрассветный. И как бы предчувствуя, что он покинет земную юдоль именно в эти минуты, кардинал испытывал какой-то смутный страх,

какое-то томление духа и тела. И чем неодолимей была телесная слабость, тем чаще возвращался он мыслью к совершенным поступкам. Память разворачивала перед ним картины необычной судьбы, его собственной судьбы… Сын башмачника из города Кагора, проживший в безвестности до того возраста, когда большинство его сверстников уже завершали свою карьеру, он, казалось, начал жить только на сорок четвертом году, нежданно-негаданно попав по торговым делам вместе со своим дядей в Неаполь. Путешествие, жизнь на чужбине, открывшая ему Италию, — все это повлияло на Дюэза самым странным образом. Буквально через несколько дней после прибытия в Неаполь он сделался учеником наставника королевских детей и набросился на изучение отвлеченных предметов со страстью, с исступлением, с необычной легкостью усваивая сложнейшие дисциплины и так легко запоминая услышанное, что ему в этом отношении мог бы позавидовать самый одаренный подросток. Он без труда переносил и голод, и бессонницу. Ломоть хлеба составлял всю его пищу в течение целого дня, и, если бы его заточили в темницу, он прижился бы и в узилище, при том, конечно, условии, что ему доставляли бы вдоволь книг.

Вскоре он сделался доктором канонического права, затем права гражданского, вслед за чем пришла известность. Королевский двор в Неаполе охотно советовался с клириком из Кагора.

На смену жажде знаний пришла жажда власти. Советник короля Карла II Анжу-Сицилийского (деда королевы Клеменции), затем секретарь тайного совета, обладатель множества церковных бенефиций, он через десять лет после своего прибытия в Италию был назначен епископом Фрежюсским и вскоре стал отправлять обязанности канцлера Неаполитанского королевства, другими словами, стал первым министром государства, включавшего в себя Южную Италию и графство Прованское.

Само собой, такой сказочный взлет не мог совершиться только благодаря юридическим и богословским талантам епископа Фрежюсского, особенно в той атмосфере интриг, которая царила при неаполитанском дворе. Один факт, известный лишь немногим — ибо то была церковная тайна, — свидетельствовал, что Дюэз обладает также достаточной долей коварства и хладнокровием, граничащим с наглостью.

Несколько месяцев спустя после смерти Карла II Дюэз был послан со специальной миссией

к папскому двору, как раз в то время, когда Авиньонская епархия — наиболее влиятельная во всем христианском мире, ибо там находился Святой престол, — пустовала. Будучи канцлером, а следовательно, и хранителем печати, Дюэз не колеблясь написал письмо папе от имени нового неаполитанского короля Роберта, в котором тот якобы просил назначить Жака Дюэза в Авиньонскую епархию. Произошло это в 1310 году. Климент V, стремясь обеспечить себе поддержку Неаполя в эти смутные времена, когда отношения папского престола с королем Франции Филиппом Красивым были достаточно натянутыми, не замедлил удовлетворить эту просьбу. Мошенничество Дюэза открылось при личной встрече папы Климента с королем Робертом, когда оба не могли скрыть удивления, — первый потому, что его даже не поблагодарили за столь великую милость, а второй потому, что считал это неожиданное назначение чересчур бесцеремонным, поскольку его лишили канцлера. Но было уже поздно. Не желая устраивать бесполезного скандала, король Роберт Неаполитанский закрыл глаза на все и предпочел не рвать с человеком, занявшим в церковной иерархии одно из самых высоких мест. Это оказалось всем на руку. Теперь

Дюэз был кардиналом курии, и его труды изучали в университетах.

Но как ни удивительна судьба человека, она кажется таковой лишь посторонним, тем, кто смотрит на нее со стороны. Для самого же человека безразлично, прожил ли он жизнь, заполненную до краев или безнадежно пустую, тревожную или спокойную; любой минувший день погребен в прошлом — в прошлом, прах и пепел коего одинаково весят на любой ладони.

К чему весь этот пыл, притязания, эта кипучая деятельность, коль скоро все это неизбежно низвергается в потусторонность, о коей самым высоким умам и самым изощренным наукам не дано знать ничего, кроме невразумительных письмен? Стоит ли жаждать папского престола? А не разумнее ли удалиться в монастырь, отрешившись от земной суеты? Совлечь с себя гордыню знаний, равно как и тщету власти… Обрести смирение самой простодушной веры… готовиться к небытию… Но даже подобные рассуждения становились в голове кардинала Дюэза умозрительными и отвлеченными построениями, а страх смерти превращался в юридический спор с небесами.

«Ученые мужи уверяют нас, — думал он в это

утро, — что души праведных после кончины тотчас же удостаиваются блаженного лицезрения Господа, что и служит им наградой. Возможно, возможно… Но после светопреставления, когда воскресшие к жизни тела соединятся со своими душами, всех нас ждет Страшный суд. А ведь Бог, который само совершенство, не может пересматривать свои собственные приговоры. Не может Бог совершить ошибку и изгнать из рая избранных им праведников. Впрочем, не закономерно ли, что душа должна ликовать от созерцания Господа лишь в тот момент, когда, соединившись с телом, она сама становится совершенной по своей природе? А раз так… раз так, ученые мужи заблуждаются… А раз так, то не может быть, собственно говоря, ни вечного блаженства, ни созерцания лика Божьего раньше светопреставления, и Бог даст нам себя лицезреть лишь после Страшного суда. Но где же до тех пор находятся души умерших? Не придется ли нам ждать sub altare dei[2], у того самого алтаря Господня, о котором говорит в „Апокалипсисе“ святой Иоанн?»

Стук лошадиных копыт — явление необычное в столь ранний час — раздался у стен аббатства; ко-

---

[2] Примечания: 2
У алтаря Господня *(лат.)*.

пыта четко цокали по маленьким круглым валунам, которыми были вымощены главные улицы Лиона. Кардинал на миг рассеянно прислушался, затем вновь углубился в свои рассуждения, которые вели к поистине неожиданным выводам.

«…Ибо, если рай пуст, — думал он, — это коренным образом меняет положение тех, кого мы считаем святыми или приснoблаженными… Но то, что верно в отношении душ праведных, так же верно и в отношении душ грешников. Господь Бог не будет карать злых раньше, чем вознаградит добрых. Ведь работник получает свою плату лишь в конце дня; точно так же и в конце света доброе семя и плевелы будут окончательно отделены друг от друга. Ни одна душа ныне не обитает в аду, коль скоро она еще не осуждена. Другими словами, ада пока не существует…»

Такое положение вселяет бодрость в тех, кто размышляет о смерти; оно отодвигает час расплаты, не лишая надежды на жизнь вечную, и как нельзя лучше соответствует тому представлению, какое имеет о смерти большинство людей: в их понятии смерть — это падение в беспросветную бездну безмолвия, это полнейшее отсутствие сознания.

Бесспорно, если бы подобная доктрина была

публично проповедуема с церковных кафедр, она вызвала бы самый решительный отпор среди ученых мужей церкви и смутила бы бесхитростную веру народа… Да и кандидату на папский престол, пожалуй, негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют[3].

«Подождем лучше конца конклава», — решил кардинал.

Ход его мыслей был прерван стуком в дверь — это брат привратник пришел доложить кардиналу о прибытии гонца из Парижа.

— А кем он послан? — осведомился кардинал.

Голос у Дюэза был глухой, тихий, монотонный, но говорил он внятно.

— От графа Бувилля, — пояснил брат привратник. — Должно быть, гнал всю дорогу, потому что сейчас еле на ногах стоит; пока я ходил за ключами и отпирал дверь, он успел задремать, прислонившись лбом к косяку.

— Введите его немедленно.

И кардинал, который всего лишь пять минут назад размышлял о тщете мирских притязаний,

---

[3] Примечания: 3

Избранному папой в странных обстоятельствах — которые мы лишь облекли в романную форму, но отнюдь не выдумали, — Жаку Дюэзу (Иоанну XXII) предстоит примерно с середины своего понтификата поддерживать в различных проповедях и поучениях свой тезис о блаженном видении.

подумал без всякого перехода: «А вдруг он послан насчет избрания папы? А вдруг двор Франции сошелся во мнениях и открыто назовет мое имя? Или же мне хотят предложить какую-либо сделку?..»

Он поднялся с места, волнуемый любопытством и надеждами, и зашагал по комнате мелкими быстрыми шажками. Ростом и хрупким телосложением Дюэз напоминал пятнадцатилетнего мальчика, личико у него было крысиное, брови очень густые и совсем седые.

Небо за окнами порозовело; свечи гасить еще было рано, но все-таки это уже рассвет, заря. Зловещий час суток миновал…

Вошел приезжий; с первого же взгляда кардинал определил, что перед ним не обычный гонец. Во-первых, настоящий гонец прежде всего упал бы на колени и вручил ящичек с посланием, а этот остался стоять, правда преклонив голову, и произнес: «Монсеньор!» И во-вторых, французский королевский двор обычно отправлял свои послания с дюжими молодцами, как, например, с детиной Робэн-Кюис-Мариа, частенько курсировавшим между Парижем и Авиньоном. А перед Дюэзом стоял востроносый юноша, у которого слипались веки и которого даже качало

от усталости. «По-моему, не иначе как маскарад… — подумал Дюэз. — Впрочем, я где-то уже видел это лицо».

Маленькой, сухонькой ручкой он разорвал конверт, ломая печати, и сразу же почувствовал разочарование. Речь шла отнюдь не о предстоящем избрании папы, а просто содержала просьбу оказать посланному покровительство. Однако кардиналу хотелось видеть в этом благоприятное предзнаменование; когда Париж нуждается в услуге духовных властей, обращаются все-таки к нему, к Дюэзу.

— Allora, lei é il signore Guccio Baglioni?[4] — спросил он, прочитав послание.

Юноша даже вздрогнул, услышав итальянскую речь.

— Да, монсеньор…

— Граф Бувилль рекомендует вас мне, просит взять вас под свое покровительство и защитить от преследования ваших недругов.

— О, если бы вы оказали мне эту милость, монсеньор!

— Похоже, что вы попали в какую-то скверную историю, раз вынуждены были бежать в

---

[4] Примечания: 4
Итак, вы синьор Гуччо Бальони? *(ит.)*

одежде гонца, — продолжал кардинал глухим, невыразительным голосом. — Расскажите мне, что произошло. Бувилль пишет, что вы находились в свите королевы Клеменции, когда она направлялась во Францию. Ага, припоминаю теперь, там-то я вас и видел… И вы племянник мессира Толомеи, главного капитана парижских ломбардцев. Чудесно, чудесно. Расскажите-ка вашу историю.

Он уселся и стал машинально вертеть вращающийся пюпитр, на котором лежали книги, необходимые для его научных трудов. Сейчас, когда кардинала отпустили ночные страхи, он чувствовал себя спокойным и не прочь был отвлечься чужими делами.

Гуччо Бальони меньше чем за четыре дня проскакал сто двадцать лье и во всем теле чувствовал усталость от бешеной скачки. Ноги ему не повиновались, в голове стоял туман, застилая взор, и он отдал бы все блага мира, лишь бы лечь, растянуться вот здесь, прямо на полу и спать… спать…

Однако ему удалось стряхнуть с себя сонное оцепенение; ради собственной безопасности, ради своей любви, ради будущего он обязан побороть усталость, продержаться хотя бы еще несколько минут.

— Так вот, монсеньор, я женился на девице знатного рода, — произнес он.

Гуччо показалось, что слова эти произнес не он, а кто-то другой. И вовсе не эти слова собирался он сказать. Ему хотелось объяснить кардиналу, что на него обрушилась неслыханная беда, что он самый несчастный, самый жалкий человек во всей вселенной, что жизнь его в опасности, что он, возможно, навеки разлучен со своей женой, а жизни без нее он не мыслит, что его жену вот-вот заточат в монастырь, что в эту последнюю неделю с ними произошли такие ужасные события, налетевшие с такой жестокой внезапностью, что само время как бы прервало свой обычный ход, и что он, Гуччо, уже не принадлежит к числу живых… Но вся его трагедия, когда о ней пришлось рассказывать, свелась к коротенькой фразе: «Монсеньор, я женился на девице знатного рода».

— Вот оно в чем дело, — пробормотал Дюэз. — А как ее имя?

— Мари де Крессе.

— Крессе, Крессе… Не слыхал.

— Но мне пришлось венчаться тайком, семья была против нашего брака.

— Потому что вы ломбардец? Так… так… Понятно. Во Франции еще придерживаются отсталых

взглядов. В Италии, конечно… Итак, вы хотите добиться расторжения брака?.. Но… но ведь, коль скоро венчание происходило втайне…

— Да нет, монсеньор, я ее люблю, и она меня любит, — проговорил Гуччо. — Но ее семья узнала, что Мари в тягости, и братья бросились за мной в погоню, чуть меня не убили.

— Что ж, они в своем праве, закон, освященный обычаем, на их стороне. В их глазах вы просто соблазнитель… А кто вас венчал?

— Фра Винченцо.

— Фра Винченцо? Не слыхал.

— Хуже всего, монсеньор, что его убили. И я не могу даже доказать, что мы действительно обвенчаны. Не подумайте, монсеньор, что я трус. Я готов был с ними драться. Но дядя обратился к Бувиллю, а он…

— А он благоразумно посоветовал вам скрыться на время.

— Да, но ведь Мари заточат в монастырь! Скажите, монсеньор, вы могли бы ее оттуда вызволить? Скажите, увижу ли я ее вновь?

— Слишком много вопросов за один раз, дражайший сын мой, — ответил кардинал, продолжая вращать пюпитр. — Монастырь? А может статься, ей сейчас лучше побыть в монастыре?

Уповайте на безграничное милосердие Господне.

Гуччо устало понурил голову. Его черные волосы были щедро припудрены дорожной пылью.

— А ваш дядя имеет дела с Барди? — осведомился кардинал.

— Конечно, монсеньор, конечно. Если не ошибаюсь, Барди — ваши банкиры, — добавил Гуччо только из вежливости, почти машинально.

— Да, они мои банкиры. Но, на мой взгляд, сейчас они не столь… не столь сговорчивы, как в былые времена… А ведь это весьма солидная компания! Повсюду у них есть свои отделения. А при малейшей просьбе им, видите ли, нужно сначала запросить Флоренцию. Словом, они столь же медлительны, как церковный суд… А среди клиентов вашего дядюшки есть прелаты?

Мыслями Гуччо был далек от всех банков мира. В голове сгущался туман, глаза жгло как огнем.

— Нет, большинство наших клиентов высокородные бароны, — ответил он. — Граф Валуа, граф Артуа… Мы были бы весьма польщены, монсеньор…

— Поговорим об этом потом. Сейчас вы находитесь в святой обители, под защитой ее стен. Для всех посторонних вы будете у меня в услужении. Пожалуй, лучше всего нарядить вас в сутану… Я

потолкую об этом со своим капелланом. А пока скиньте-ка эту ливрею и почивайте с миром, ибо, по-моему, вам прежде всего необходимо хорошенько отдохнуть.

Гуччо поклонился, пробормотал что-то, желая поблагодарить кардинала, и направился к дверям. Но вдруг он остановился и проговорил:

— Я не могу пока скинуть эту ливрею, монсеньор; я должен передать еще одно поручение.

— Кому? — спросил Дюэз, сразу насторожившись.

— Графу Пуатье.

— Вручите послание мне, а я тотчас же направлю к графу брата служителя…

— Дело в том, монсеньор, что граф Бувилль очень настаивал…

— А не известно ли вам, имеет это послание какое-нибудь отношение к конклаву?

— Нет, монсеньор, оно послано в связи со смертью короля.

Кардинал даже подскочил в своем кресле.

— Как, король Людовик скончался? Но почему же вы до сих пор молчали?

— А разве здесь об этом не знают? Я думал, что вам, монсеньор, это уже известно.

Откровенно говоря, Гуччо вовсе так не думал.

Его собственные беды, усталость как-то вытеснили из памяти это важнейшее событие. Он скакал и скакал от самого Парижа, меняя притомившихся лошадей в указанных ему монастырях, перехватывал на ходу кусок хлеба, не пускался ни с кем в разговоры и обогнал, сам того не подозревая, официальных гонцов.

— Отчего он скончался?

— Вот как раз это обстоятельство мессир Бувилль и поручил мне довести до сведения графа Пуатье.

— Злодеяние? — выдохнул шепотом Дюэз.

— Говорят, короля отравили.

Кардинал задумался.

— Это многое может изменить, — пробормотал он. — Регента уже назначили?

— Не знаю, монсеньор. Когда я уезжал, прошел слух, что назначат графа Валуа…

— Что ж, чудесно, дражайший сын мой, идите прилягте.

— Но, монсеньор, а как же быть с графом Пуатье?

Тонкие губы прелата тронула легкая улыбка, которую при желании можно было счесть знаком благоволения.

— Неосторожно было бы с вашей стороны по-

казываться в городе, не говоря уже о том, что вы просто падаете с ног от усталости, — сказал он. — Давайте сюда послание, и, дабы вас ни в чем не могли упрекнуть, я сам передам его по адресу.

Несколько минут спустя кардинал курии, сопровождаемый, как требовалось по чину, слугой, несшим факел, и секретарем, покинул Энейское аббатство, находившееся между Роной и Соной, и отважно углубился в мрачные улочки, где приходилось порой шагать прямо по кучам нечистот. Этот семидесятидвухлетний иссохший старец на редкость легко нес свое щуплое тело, поспешая вперед подпрыгивающим шагом. Его пурпурное одеяние плясало, как огонек, среди темных стен.

Колокола двадцати церквей и сорока двух лионских монастырей зазвонили к заутрене. В этом городе, насчитывавшем в ту пору не более двадцати тысяч обитателей, для одной половины которых промыслом была религия, а для другой — религией был промысел, расстояние между любыми пунктами было невелико. Таким образом, кардинал быстро добрался до дома судьи, у которого остановился граф Пуатье.

Глава III
Ворота Лиона

Граф Пуатье заканчивал свой туалет, когда камергер доложил ему о визите кардинала.

Высокий, тощий, длинноносый, с тщательно зачесанными на лоб коротенькими прядями волос, спущенных локонами вдоль щек с нежной и свежей кожей, какая бывает только в двадцать три года, в домашнем платье из темной тафты[5], юный принц пошел навстречу монсеньору Дюэзу и почтительно облобызал его перстень.

Даже при желании трудно было бы найти двух более несхожих, до смешного различных людей, чем эти двое, из коих один напоминал старого хорька, вылезшего из своей норы, а другой — цап-

---

[5] Примечания: 5

Основные шелковые ткани, использовавшиеся тогда в одежде, были: samit, близкий к нашему атласу, sandal и camocas, весьма похожие на тафту, а также золотые или серебряные материи — тяжелая парча с шелковой основой. Из шерстяных тканей использовали много marbre (мраморных), сотканных из разных цветов, raye (полосатых), camelin, то есть из верблюжьей шерсти или ее имитаций, и особенно ecarlates (пунцовых, алых). Эти последние были самыми роскошными и наиболее ценимыми, в них облачались по торжественным случаям. Наилучшие из них изготовлялись во Фландрии и Англии. Краситель добывали из сушеного червеца-кермеса, маленького насекомого, которое водится в Лангедоке. Были различные оттенки: ярко-алый, розовый, фиолетовый, кроваво-красный.

лю, величественно шествующую через болото.

— Несмотря на столь ранний час, ваше высочество, — начал кардинал, — я счел за благо не мешкая вознести за вас свои молитвы в постигшей вас утрате.

— Утрате? — повторил Филипп Пуатье, вздрогнув всем телом.

Первая мысль принца была о его супруге Жанне, оставшейся в Париже и ожидавшей через месяц разрешения от бремени.

— Я вижу, что поступил правильно, придя сюда, дабы известить вас о случившемся, — продолжал Дюэз. — Король, ваш брат, скончался пять дней тому назад.

Ничто не выдало чувств Филиппа, разве что судорожнее заходила грудь. Ни удивления, ни печали, ни даже нетерпения узнать подробности о смерти брата не отразилось на его лице.

— Я благодарен вам за ваше рвение, монсеньор, — проговорил он. — Но каким образом вам стала известна эта весть… раньше, чем мне?

— Мессир Бувилль срочно прислал гонца, дабы я втайне ото всех вручил вам это послание.

Граф Пуатье сломал печать и по примеру всех близоруких людей стал читать письмо, уткнувшись носом в пергамент. Но и сейчас ничто не

выдало его чувств; окончив чтение, он сложил письмо и молча опустил его в карман.

Молчал и Дюэз с видом притворного сочувствия к горю принца, хотя, по всей видимости, принц не слишком скорбел.

— Да сохранит его Господь Бог от адских мук, — произнес наконец граф Пуатье, поняв, чего ждет от него прелат со своей постно-благочестивой миной.

— О… ад… — пробормотал Дюэз. — Помолимся вместе Творцу за душу покойного! Я сразу подумал о несчастной королеве Клеменции, ведь она выросла на моих глазах, когда я находился при короле Неаполитанском. Такая кроткая, такая прекрасная принцесса…

— Да, я глубоко жалею мою невестку, — отозвался Филипп.

А сам в это время думал: «Людовик не оставил посмертного распоряжения насчет регентства. Если судить по письму Бувилля, наш дядюшка Валуа уже начал действовать…»

— Что вы намереваетесь делать, ваше высочество? Срочно возвратитесь в Париж? — осведомился кардинал.

— Не знаю, сам еще не знаю, — ответил Филипп. — Подожду более подробных известий.

Пусть моей особой располагает, как найдет нужным, королевство.

Бувилль в своем письме не скрыл, что приезд графа Пуатье был бы весьма желателен. Место Филиппа Пуатье, брата покойного короля и пэра Франции, — в Королевском совете, где на первом же заседании начались споры по поводу кандидатуры регента.

Но, с другой стороны, мысль о том, что придется покинуть Лион, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна Филиппу Пуатье, но и просто невыносима.

Прежде всего ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которой не исполнилось еще и пяти лет, и Вьеннским принцем-дофином, крошкой Гигом, уже достигшим шестилетнего возраста. Для переговоров об этом браке пришлось даже заглянуть в Верхнюю Вьенну к отцу жениха, дофину Иоанну II де ла Тур дю Пэну, женатому на Беатрисе, родной сестре королевы Клеменции. Прекрасный союз, благодаря которому французская корона сможет противостоять влиянию в этих краях Анжуйско-Сицилийской ветви. Подписание брачного контракта должно было состояться через несколько дней.

И главное, предстоят выборы папы. Вот уже несколько недель Филипп рыскал по всему Провансу, по Верхней Вьенне и окрестностям Лиона, повидался с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов[6], уверил каждого, что случай, происшедший в Карпантра, не повторится, что к ним не применят более насилия; намекал то одному, то другому кардиналу, что именно у него есть шансы стать папой, взывал послужить делу веры к вящей славе католической церкви, интересам государства. В конце концов с помощью уговоров, неусыпных трудов и золота ему удалось собрать беглых кардиналов в Лионе, в городе, издревле находившемся под властью духовенства, но совсем недавно, в последние годы царствования Филиппа Красивого,

[6] Примечания: 6

Большинство авторов насчитывает в конклаве 1314–1316 гг. двадцать три кардинала. Мы насчитали двадцать четыре. В «римскую» партию входили шесть итальянцев — Якопо Колонна, Пьетро Колонна, Наполеоне Орсини, Франческо Каэтани, Якопо Стефанески-Каэтани, Никколо Альберти (Альбертини) деи Прато; один анжуец из Неаполя — Гийом де Лонжи и, наконец, один испанец — Лука де Фиески, кровный родственник короля Арагонского. Они стали кардиналами еще до понтификата Климента V и обоснования пап в Авиньоне и получили свои шляпы между 1278 и 1303 гг., при Николае III, Николае IV, Целестине V, Бонифации VIII и Бенедикте XI. Всех остальных кардиналами сделал Климент V. «Провансальская» партия включала в себя Гийома де Мандагу, Беранже Фредоля старшего, Беранже Фредоля младшего, кагорца Жака Дюэза и нормандцев Никола де Фреовиля и Мишеля дю Бека. Наконец, гасконцы в количестве десяти были: Арно де Пелагрю, Арно де Фужер, Арно Нувель, Арно д'Ок, Реймон-Гийом де Фарж, Бернар

де Гарв, Гийом-Пьер Годен, Реймон де Го, Виталь дю Фур и Гийом Тест.

перешедшем во владение французских королей.

Граф Пуатье чувствовал, что дело идет на лад. Но если он уедет в Париж, разве не придется начинать все сызнова, разве не разгорится опять вражда среди кардиналов, люто ненавидевших своих соперников, разве влияние римской знати или Неаполитанского короля не вытеснит здесь влияние французской короны, разве не станут разные партии обвинять друг друга в ереси? А что, если папский престол будет перенесен обратно в Рим? «Отец именно этого и опасался, — думал Филипп Пуатье. — И неужели дело его, которому и без того достаточно повредили Людовик и дядюшка Валуа, погибнет бесславно?»

Кардиналу Дюэзу показалось, что молодой принц совсем забыл о его присутствии. Вдруг Пуатье обратился к нему:

— Будет ли и сейчас гасконская партия поддерживать кандидатуру кардинала Пелагрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться наконец для выбора папы?.. Присядьте, монсеньор, и поведайте мне все ваши соображения на сей счет. В каком положении сейчас дела?

Немало повидал на своем веку старик-кардинал земных владык и правителей, недаром

больше трети века он делил с ними заботы по управлению государством. Но ни разу он не встречал подобного самообладания. Вот он только что сообщил двадцатитрехлетнему принцу, что брат его скончался, что французский престол пустует, а принц сидит и разговаривает с таким видом, будто нет у него важнее заботы, чем кардинальские свары.

Усевшись бок о бок у окошка на ларе, покрытом парчой, они завели беседу. Коротенькие ножки кардинала не доставали до пола, а граф Пуатье не спеша покачивал своей тощей длинной ногой.

По словам Дюэза, все вернулось к исходной точке, к тому положению, которое создалось два года назад, после кончины папы Климента V.

Гасконская партия, куда входило десять кардиналов, именуемая также партией французской, по-прежнему была наиболее многочисленной, но все же ее сил было недостаточно для того, чтобы образовать без поддержки других партий большинство, поскольку требовалось, чтобы кандидат собрал две трети голосов священного конклава — другими словами, шестнадцать голосов. Гасконцы, считавшие себя прямыми хранителями заветов покойного папы, который и произвел их в кардиналы, упорно требовали,

чтобы папский престол оставался в Авиньоне, и с поразительным единодушием выступали против двух других партий. Но и между ними шел глухой разлад; на папский престол притязал не только Арно де Пелагрю, но и Арно де Фужер, и Арно Нувель. Все трое не скупились на взаимные посулы и старались подставить сопернику ножку.

— В сущности, это борьба трех Арно, — бормотал Дюэз. — А теперь посмотрим, как обстоят дела в итальянской партии.

Итальянцев было всего восемь, причем эта восьмерка разделилась на три группы. Грозный кардинал Каэтани, племянник папы Бонифация VIII, подкапывается под двух кардиналов Колонна, так как между их семьями издревле существует соперничество, превратившееся в лютую ненависть после дела Ананьи и пощечины, которую дал один из Колонна папе Бонифацию. Все прочие итальянцы склоняются то к одному, то к другому сопернику. Так, например, Стефанески, ярый противник политики Филиппа Красивого, держит руку Каэтани, которому, кстати сказать, доводится родней. Наполеон Орсини лавирует. Эта восьмерка согласна лишь в одном пункте: папский престол должен быть возвращен в Вечный город. Тут уж они ни за что не отступятся.

— А знаете, ваше высочество, — продолжал Дюэз, — была минута, когда мог начаться раскол, да и сейчас может… Наши итальянцы отказывались собраться во Франции и недавно дали нам знать, что, ежели будет выбран папа из гасконцев, они его не признают и выберут второго папу у себя в Риме.

— Раскола не будет, — спокойно произнес граф Пуатье.

— Только благодаря вам, ваше высочество, только благодаря вам, мне приятно это сознавать, и я повсюду об этом твержу. Разъезжая по городам и весям, вы, носитель доброго слова, если еще не нашли достойного пастыря, зато хоть собрали воедино стадо.

— Недешево обошлись мне эти овечки, монсеньор! Известно ли вам, что я привез из Парижа шестнадцать тысяч ливров и что на прошлой неделе мне пришлось затребовать еще столько же? Язон по сравнению со мной был просто бедняком. И я порадовался бы, если все это золотое руно сослужило нам хоть какую-то службу, — добавил граф Пуатье, слегка прищурившись, чтобы лучше разглядеть лицо кардинала.

А кардинал, который сумел окольным путем широко попользоваться щедротами французско-

го двора, отлично понял намек, но предпочел дать уклончивый ответ.

— Думаю, что Наполеон Орсини и Альбертини де Прато, а возможно, даже и Гийом де Лонжи, бывший до меня канцлером Неаполитанского короля, без труда отрекутся от своей партии, — хладнокровно пояснил он. — Только бы избежать раскола, для этого любая цена хороша.

«Значит, он истратил наши деньги на подкуп трех итальянцев, то есть заручился для себя еще тремя голосами. Что ж, ход ловкий», — подумал Филипп.

Что касается Каэтани, то, хотя он по-прежнему держится непримиримо, положение его заметно пошатнулось с тех пор, как была открыта его причастность к ворожбе и его попытка навести порчу на короля Франции и на самого графа Пуатье. Бывший тамплиер, полубезумный Эврар, чьими услугами при сношении с дьяволом пользовался Каэтани, немало порассказал о проделках кардинала, прежде чем отдался в руки королевской страже.

— Это дело я держу про запас, — признался Пуатье. — Запашок костра сумеет в нужную минуту согнуть нашего непримиримого Каэтани.

При мысли о том, что на костер пошлют карди-

нала, узкие губы старого прелата тронула легкая, тут же угасшая усмешка.

— Говорят, что Франческо Каэтани окончательно отвратился от дел Божьих и предался сатане, — добавил Дюэз. — Уж не он ли, видя, что порча не помогла, прибег к помощи яда, дабы отправить вашего брата на тот свет?

Граф Пуатье пожал плечами.

— Всякий раз, когда кончается король, утверждают, что его отравили, — сказал он. — Так говорили о моем деде Людовике Восьмом, так говорили и о моем отце, упокой, Господи, его душу… Мой брат был слаб здоровьем. Но над этим стоит поразмыслить.

— Наконец остается, — продолжал Дюэз, — третья партия, которую зовут провансальской, поскольку кардинал Мандагу самый деятельный среди нас…

Эта последняя партия насчитывала всего шесть кардиналов различного происхождения; южане, такие как братья Беранже Фредоли, мирно уживались с нормандцами, уроженцами Керси, откуда родом был сам Дюэз.

Золото, которым осыпал эту партию Филипп Пуатье, сделало провансальских кардиналов более восприимчивыми к доводам французской

политики.

— Нас меньше всех, мы слабее всех, — сказал Дюэз, — но все-таки мы — необходимая опора любого большинства. И коль скоро итальянцы и гасконцы не желают папы из враждебной партии, значит, ваше высочество…

— Значит, придется выбирать папу из вашей… Так я вас понял?

— Думаю, что так, даже уверен, что так. Я твержу об этом со дня смерти папы Климента. Но меня не слушали: полагали, что я хлопочу о себе, ибо мое имя в самом деле называли, но, заметьте, без моего желания. Однако французский двор никогда не оказывал мне большого доверия.

— Только потому, монсеньор, что вас, пожалуй, слишком открыто поддерживал двор неаполитанский.

— А если бы меня, ваше высочество, никто не поддерживал, кто бы тогда обо мне позаботился? Поверьте, нет у меня иных чаяний, как добиться порядка в делах христианства, находящихся ныне в плачевном состоянии; тяжелое бремя падет на плечи будущего преемника святого Петра.

Граф Пуатье, сцепив длинные пальцы, поднес их ко лбу и задумался.

— Полагаете ли вы, — начал он, — что итальян-

цы, если им посулить, что в папы пройдет не представитель гасконцев, согласятся на пребывание Святого престола в Авиньоне и что гасконцы, если их уверить, что папский престол останется в Авиньоне, откажутся от своего кандидата и присоединятся к вашей третьей партии?

В переводе на обычный язык слова эти означали: «Если вы, монсеньор Дюэз, станете при моей поддержке папой, можете ли вы твердо обещать, что теперешнее местопребывание папского престола останется неизменным?»

Дюэз понял все.

— Ваше высочество, — произнес он, — это будет мудрейшее решение.

— Я запомню ваши ценные советы, — сказал Филипп, подымаясь с места и тем давая понять гостю, что аудиенция окончена.

Он пошел проводить кардинала до двери.

В это мгновение Филипп и Дюэз, столь отличные друг от друга возрастом и внешним видом, опытом и родом деятельности, поняли, что оба они одного склада и что между ними может родиться дружба, что они должны трудиться бок о бок, а такие мгновения являются скорее следствием таинственных предначертаний судьбы, нежели плодом долгой беседы.

Когда Филипп нагнулся, чтобы облобызать перстень кардинала, старик шепнул ему:

— Вы, ваше высочество, были бы превосходным регентом.

Филипп распрямил свой длинный стан. «Неужели он догадался, что я думал только об этом?» — спросил он себя.

— А разве из вас, монсеньор, не вышел бы превосходный папа? — ответил он.

И оба невольно улыбнулись друг другу, старик — отцовски-нежной улыбкой, молодой принц — дружелюбно и почтительно.

— Я был бы весьма признателен, если бы вы сохранили в тайне важнейшую весть, сообщенную мне, хотя бы до того времени, пока она не будет возвещена публично.

— Рад служить вам, ваше высочество.

Оставшись один, граф Пуатье остановился в нерешительности, но тут же стряхнул с себя задумчивость и кликнул первого камергера.

— Скажите, Адам Эрон, не прибыл еще из Парижа гонец? — спросил Филипп.

— Нет, ваше высочество.

— В таком случае прикажите закрыть все лионские ворота.

Глава IV
«Осушим слезы наши»

Этим утром жители Лиона остались без свежих овощей. Повозки окрестных огородников задержали у городских ворот, и хозяйки с громкой руганью обходили пустой рынок. Единственный мост через Сону (мост через Рону не был еще наведен) перегородили отрядом стражников. Но если нельзя было попасть в Лион, то в равной мере нельзя было и выйти из Лиона. Торговцы-итальянцы, путники, странствующие монахи толпились у ворот и требовали объяснений, а к ним присоединялись зеваки и бездельники. На все вопросы стражники твердили: «Приказ графа Пуатье» — с важно-снисходительным видом, с каким обычно разговаривают с толпой представители власти, когда им дают поручение, смысл коего неясен им самим.

— Но у меня в Фурвьере дочка больная лежит…

— Вчера, когда звонили к вечерне, у меня в Сен-Жюсте амбар сгорел…

— Бальи Вильфранка велит меня в тюрьму засадить, если я не принесу ему нынче оброка!.. —

кричали из толпы.

— Приказ графа Пуатье!

И когда толпа стала напирать, королевские стражники угрожающе подняли дубинки.

По городу поползли странные слухи.

Одни уверяли, что готовится война. Но с кем? На этот вопрос никто ответить не мог. Другие клялись, что нынче ночью у стен монастыря августинцев произошла кровопролитная стычка между королевскими людьми и сторонниками итальянских кардиналов. Многие слышали конский топот. Называли даже число убитых. Но у августинцев все было мирно и тихо.

Архиепископ Петр Савойский пребывал в состоянии тревоги, он боялся повторения событий 1312 года, когда его силой принудили отречься в пользу архиепископа Санского от Галльского приматства, единственной прерогативы, которую ему удалось сохранить при присоединении

Лиона к французской короне[7]. Он послал одного из каноников за новостями; но каноника, сунувшегося было к графу Пуатье, выставил за дверь конюший, вежливо, но молча. И архиепископ с минуты на минуту ждал, когда ему пришлют ультиматум.

Среди кардиналов, нашедших себе приют в различных святых обителях, тоже царил страх, доходивший чуть ли не до умопомрачения. А что, если им снова подстроили ловушку, как в Карпантра? Но на сей раз как и куда бежать? Кардинальские посланцы шныряли из одного монастыря в другой, от августинцев к францисканцам и от доминиканцев к картезианцам. Каэтани отрядил своего человека, аббата Пьера, свою правую руку, к Наполеону Орсини, от него

[7] Примечания: 7

До середины XII в. городом Лионом владели графы де Форе и де Роанне — под чисто номинальным суверенитетом германского императора. Начиная с 1173 г., когда император признал за архиепископом Лионским, примасом Галлии, суверенные права, городом стала управлять церковная власть, имевшая право судить, чеканить монету и собирать войска. Этот режим не нравился сильной коммуне Лиона, состоявшей единственно из буржуа и купцов, которые более века боролись, чтобы освободиться от него. Наконец, после многих неудачных восстаний, они обратились к королю Филиппу Красивому, и тот в 1292 г. взял город под свое покровительство. Через двадцать лет, 10 апреля 1312 г., договор, заключенный между коммуной, архиепископством и королем, окончательно присоединил Лион к французскому королевству. Несмотря на требования Жана де Мариньи, архиепископа Санского, который контролировал и Парижскую епархию, архиепископ Лионский сумел сохранить сан примаса Галльского, единственную прерогативу,

которая была за ним оставлена.

В конце Средних веков в Лионе насчитывалось 24 трактирщика, 32 брадобрея, 48 ткачей, 56 портных, 44 торговца рыбой, 36 мясников, бакалейщиков и колбасников, 57 ловчих (то есть охотников), 36 хлебников и булочников, 25 содержателей постоялых дворов, 15 ювелиров или золотильщиков, 20 суконщиков и 87 нотариусов. Город управлялся коммуной, состоявшей из горожан-коммерсантов, которые назначали каждое 21 декабря двенадцать консулов, всегда из именитых граждан и выбранных из богатых семей; этот корпус назывался синдикальным.

Одним из самых старинных консульских родов было семейство Варе, суконщиков и менял. Тридцать один из ее представителей носил звание консула; некоторые часто переизбирались, один из них даже десять раз. Среди пятидесяти граждан, которых лионцы сделали своими вожаками в 1285 г. для борьбы против архиепископа и за присоединение к Франции, насчитывалось восемь Варе.

— к Альбертини де Прато, оттуда — к Фиески, единственному испанцу среди претендентов на папский престол, и наказал сообщить каждому: «Ну, вот видите, вы позволили соблазнить себя посулами графа Пуатье. Он поклялся нас не притеснять, клялся, что нам для подачи голосов даже не придется входить в ограду, что мы будем свободны. А теперь взял и запер нас в Лионе».

К самому Дюэзу тоже примчались два его коллеги-провансальца — кардинал Мандагу и Беранже Фредоль старший. Но Дюэз сделал вид, что с головой ушел в свои богословские труды и ничего не ведает. А тем временем в келье, рядом с покоями кардинала, сном праведника спал Гуччо Бальони, даже не подозревавший, что он явился причиной такой паники.

Целый час мессир Варе, лионский судья, прибывший в сопровождении трех своих коллег от имени городского совета к графу Пуатье потребовать объяснений, топтался в его прихожей.

А сам граф Пуатье заседал при закрытых дверях с приближенными и свитой, сопровождавшей его в поездке.

Наконец чья-то рука раздвинула драпировки, и, окруженный советниками, показался граф Пуатье. На всех лицах застыло торжественное

выражение, как обычно в минуты, когда принимаются особо важные государственные решения.

— А, мессир Варе, вы пришли очень кстати, и вы тоже, мессиры, — проговорил Пуатье, обращаясь к судье и его спутникам. — Таким образом, мы незамедлительно можем вручить вам послание, которое намеревались довести до вашего сведения. Мессир Миль, соблаговолите прочесть.

Миль де Нуайе, легист, советник парламента и маршал войска Филиппа Красивого, развернул пергамент и начал читать:

Всем бальи, сенешалям и советам славных городов.

Доводим до вашего сведения о великой печали, каковую причинила нам кончина возлюбленного брата нашего, короля нашего, сира Людовика X, по воле Божьей отнятого у верных его подданных. Но натура человеческая создана так, что никто не может продлить отпущенные ему сроки. Посему решили мы осушить слезы наши, вознести вместе с вами молитву Иисусу Христу за душу усопшего короля и верно служить французскому королевству и королевству Наваррскому,

дабы не пострадали их исконные права и дабы подданные сих двух королевств жили счастливо, защищаемые мечом правосудия и мира.

Милостью Божьей регент обоих королевств

Филипп

Когда улеглось первое волнение, мессир Вare поспешил облобызать руку графа Пуатье, и прочие судьи без колебаний последовали его примеру.

Король умер. Неожиданная весть ошеломила всех до такой степени, что никто не спросил себя, особенно в первые минуты, кто же сменит его на престоле. За отсутствием совершеннолетнего наследника власть по справедливости должна перейти в руки старшего из братьев покойного государя. Лионские судьи ни на минуту не усомнились, что решение это было принято в Париже палатой пэров.

— Соблаговолите разослать по городу герольдов, чтобы они прочли наше послание, — приказал Филипп Пуатье, — и вслед за тем немедленно откройте все ворота.

Потом он добавил:

— Вы, мессир Варе, ведете крупную торговлю сукном; я буду вам весьма признателен, если мне доставят двадцать черных плащей; их положат в прихожей, чтобы каждый пришедший выразить мне свою скорбь мог надеть траурное одеяние.

И он отпустил судей.

Так совершились два первых акта взятия власти. Филиппа провозгласили регентом его приближенные, которые благодаря этому превратились в членов Государственного совета. Сейчас его признает город Лион, где он случайно оказался в эти дни. А теперь надо побыстрее распространить весть по всему королевству и поставить Париж перед свершившимся фактом. Важнее всего было выиграть время.

Писцы уже перебеляли послание во множестве экземпляров, а гонцы седлали коней, готовясь отбыть во все французские провинции.

И как только ворота Лиона открыли, гонцы Пуатье отправились в путь и повстречались с тремя гонцами, которых с утра продержали на том берегу Соны. Первый из этих гонцов привез письмо от графа Валуа, он писал уже в новом качестве регента, назначенного Королевским советом, и просил Филиппа дать свое согласие, дабы назначение возымело силу. «Уверен, что

вы захотите помочь мне в моей задаче на благо государства и дадите немедля ваше согласие, как и подобает разумному и возлюбленному племяннику нашему».

Второе послание было от герцога Бургундского, который тоже требовал назначить его регентом при малолетней племяннице — Жанне Наваррской.

И наконец, граф д'Эврё извещал Филиппа, что, вопреки существующим установлениям, многие пэры Франции отсутствовали на Совете и Карл Валуа, торопясь прибрать власть к рукам, не счел нужным опереться на какой-либо текст закона или на волю соответствующей ассамблеи.

Граф Пуатье сразу же собрал своих приближенных для обсуждения всех этих вопросов. Окружение Филиппа составляли люди, враждебные политике, которую проводили в последние полтора года Людовик Сварливый и Карл Валуа; в числе их находился коннетабль Франции Гоше де Шатийон, командовавший войсками с 1302 года и так и не простивший Людовику X нелепый «грязевой поход» во Фландрию, который он вынужден был вести прошлым летом. Его зять, Миль де Нуайе, вполне разделял эти чувства. Легист Рауль де Прель, оказавший столько ценных

услуг Железному королю, пережил после смерти своего господина черные дни: все имущество его конфисковали, повесили лучшего его друга Ангеррана де Мариньи, а самого подвергли «пытке водой», но так и не вырвали у него признаний; после всех этих бед у него осталась хроническая болезнь желудка да изрядная доля злобы против бывшего императора Константинопольского. Своим спасением и возвращением на государственный пост он был обязан графу Пуатье.

Таким образом, вокруг Филиппа создалось нечто вроде оппозиционной партии, состоявшей в основном из уцелевших от расправы главных сановников Филиппа Красивого. Любой из них косо смотрел на притязания графа Валуа и равно не желал, чтобы в государственные дела вмешался герцог Бургундский. Все они дружно восхищались быстротой и энергией юного принца и возлагали на него все свои надежды.

Пуатье написал Эду Бургундскому и Карлу Валуа, даже не упомянув о полученных письмах, словно они до него не дошли, и сообщил своим родным, что по естественному праву считает себя регентом и при первой возможности намерен собрать всех пэров Франции, которые и подтвердят его избрание.

В то же самое время он назначил эмиссаров, которые должны были незамедлительно отправиться в важнейшие центры государства и управлять ими от его, Филиппа Пуатье, имени. Множество его рыцарей пустились в путь в тот же день — впоследствии им суждено было именоваться «рыцарями сопровождения», — и в том числе Реньо де Лор, Тома де Марфонтен и Гийом Куртегез. При себе Филипп оставил Ансо де Жуанвиля, сына знаменитого сенешаля Жуанвиля, а также Анри де Сюлли.

Пока со всех колоколен неслась печальный перезвон, Филипп Пуатье вел долгую беседу с Гоше де Шатийоном. Коннетабль Франции по установленному обычаю заседал во всех государственных советах, и в палате пэров, и в Большом и Малом советах. Филипп просил Гоше отбыть в Париж и представлять его там, а главное, вплоть до его прибытия расстраивать козни Карла Валуа; с другой стороны, присутствие коннетабля в Париже было порукой тому, что наемные солдаты столичного гарнизона, и в частности полк арбалетчиков, будут хранить верность Филиппу.

Ибо вновь назначенный регент, сначала к великому удивлению, а затем к дружному одобрению своих советников, решил временно не покидать

Лиона.

— Мы не можем бросать начатое дело, — пояснил он. — Самое главное сейчас для нашего государства — это иметь папу, и мы станем еще сильнее, если сами посадим его на престол!

Он ускорил также подписание брачного контракта между своей дочкой и принцем-дофином. Казалось, этот брак не имеет ничего общего с выборами папы, однако Филипп видел между ними непосредственную связь. Союз с дофином Вьеннским, который правил всеми землями к югу от Лиона и под чьим надзором находилась дорога в Италию, был не последним козырем в начатой игре. Кардиналы, если им придет охота снова разбежаться, не найдут себе убежища на землях дофина. Кроме того, помолвка укрепляла позиции регента; дофин, переходя на его сторону, имел все основания хранить Филиппу верность.

Из-за траура контракт был подписан без празднеств и пиров в один из следующих дней.

Одновременно Филипп столковался с самым могущественным здешним бароном, графом де Форе, кстати, зятем дофина, державшим в своих руках весь правый берег Роны.

Жан де Форе не раз участвовал в походах во Фландрию, не раз представлял Филиппа Краси-

вого при папском дворе и немало потрудился для присоединения Лиона к Франции. Граф Пуатье, продолжавший отцовскую политику, мог смело рассчитывать на его поддержку.

Шестнадцатого июня граф де Форе совершил акт весьма впечатляющий. Он принес торжественную присягу Филиппу как первому сеньору Франции, признав таким образом Пуатье носителем королевской власти.

На следующий день граф Бермон де ла Вут, чье ленное владение Пьергурд находилось в Лионском сенешальстве, тоже торжественно присягнул Пуатье, вложив свои руки в руки Филиппа.

К графу де Форе Филипп обратился с просьбой держать наготове, но и в тайне семьсот вооруженных людей. Таким образом, кардиналы шагу не смогут сделать за пределы Лиона.

Но отсюда до избрания папы было еще далеко. Переговоры затягивались. Итальянцы, смекнув, что регенту не терпится поскорее отбыть в Париж, упорно не шли на уступки. «Ничего, сдастся первым», — говорили они. Их ничуть не смущала трагическая неразбериха, губившая дело Святой церкви.

Филипп Пуатье десятки раз встречался с Дю-

эзом, которого он теперь безоговорочно считал не только самым умным деятелем во всем конклаве, но и самым опытным и проницательным человеком, самым изощренным в делах религии, наиболее подходящим главой христианства, особенно в эту смутную годину.

— Ересь, ваше высочество, вновь расцветает повсюду, — тревожно твердил Дюэз своим глухим, надтреснутым голоском. — Да и как может быть иначе, коль скоро сами мы подаем верующим недостойный пример. Дьявол пользуется нашими распрями, дабы повсеместно сеять плевелы. А особенно мощно произрастают они в Тулузской епархии. Это исстари крамольная земля, подверженная дурным мечтаниям. Трудно управлять столь обширной епархией, будущему папе следовало бы разбить ее на пять епископств и каждое вести твердой рукой.

— Что и повлечет за собой образование нескольких новых бенефиций, с которых, само собой разумеется, французская корона будет получать аннаты, — отозвался Филипп. — А это, по-вашему, не вызовет возражений?

— Ничуть.

«Аннатами» называлось право короля получать доходы с любой новой церковной бенефиции в те-

чение первого года ее существования. Отсутствие папы препятствовало образованию новых бенефиций, в силу чего королевская казна Франции переживала тяжелые дни безденежья, не говоря уже о том, что недоимки по церковным налогам почти не поступали, а духовенство, пользуясь смутным временем и тем, что Святой престол пустовал, чинило всякие препятствия.

Таким образом, пока Филипп и Дюэз строили планы на будущее — один в качестве регента, другой в качестве кандидата на папский престол, — обоих в равной мере и в первую очередь интересовали финансы.

Королевская казна не только иссякла, но и вошла в долги на много лет вперед, и повинны в этом были восстания феодалов, мятеж во Фландрии, мятеж баронов графства Артуа и «блистательные» финансовые реформы Карла Валуа.

Да и папская казна после двух лет бродячего конклава находилась не в лучшем состоянии; и если кардиналы продавались сильным мира сего за столь высокую плату, то объяснялось это тем, что у большинства из них не было иных средств существования, кроме торговли своими голосами.

— Обложения, ваше высочество, только обло-

жения! — внушал Дюэз молодому регенту. — Обложите штрафом тех, кто сотворил зло, и чем они богаче, тем сильнее наносите им удар. Если у нарушителя законов сто ливров, отберите у него двадцать. Но ежели владеет он тысячью, возьмите у него пятьсот, ежели есть у него сто тысяч — лишите почти всего достояния. Предложение мое содержит три преимущества: первое — поступления в казну возрастут, второе — лишившись благ, человек, преступивший закон, не сможет более совершать злоупотреблений, и, наконец, третье — бедняки, а их большинство, будут на вашей стороне и поверят в вашу справедливость.

Филипп Пуатье улыбнулся.

— То, за что вы так ратуете, монсеньор, вполне разумно и соответствует королевскому правосудию, которое вершит дела светские, — ответил он. — Но я не вижу, как таким путем можно пополнить финансы Святой церкви…

— Обложения, обложения, ваше высочество, — повторил Дюэз. — Наложим налог на грешников; сей источник неиссякаем. Человек по натуре своей греховен, но он склонен расплачиваться скорее сердечным раскаянием, нежели кошельком. И он живее восчувствует раскаяние за содеянный про-

ступок, если искупление грехов обойдется ему в кругленькую сумму, и еще подумает, прежде чем согрешить вторично. Тот, кто жаждет, чтобы ему отпустили грехи, пусть платит за их отпущение.

«Что это, шутка?» — подумал Пуатье, который после многочасовых бесед с Дюэзом обнаружил в кардинале курии немалую склонность к парадоксам и даже плутовству.

— А на какие же грехи вы, монсеньор, собираетесь ввести таксу? — спросил он, как будто соглашаясь поддерживать игру.

— Первым делом на те, что совершаются духовными лицами. Постараемся для начала усовершенствовать самих себя, прежде чем браться за усовершенствование ближнего своего. Наша матерь, Святая католическая церковь, слишком терпима к различным недостаткам и уродствам. По моему мнению, на духовные должности нельзя назначать калек и убогих. А я ведь сам видел некоего священника, по имени Пьер, который состоит при особе кардинала Каэтани и у которого, представьте себе, на левой руке два больших пальца.

«Легкий, но коварный выпад в адрес нашего старого недруга», — подумал Пуатье.

— Я провел обследование, — продолжал Дюэз. —

И выяснилось, что среди духовенства несчетное количество хромых, безруких, евнухов, которые скрывают под сутаной свое увечье, однако живут они на церковные бенефиции. Изгоним ли мы их из лона Святой церкви, обречем ли их на нищету, сами ли толкнем в объятия тулузских еретиков или каких-нибудь иных духовных братств — все равно их недостатки непоправимы. Лучше уж разрешим искупить им свои грехи; а тот, кто сказал «искупить», говорит «купить».

Старый прелат произнес всю эту тираду самым серьезным тоном. После встречи с убогим отцом Пьером его воображение неудержимо заработало, и бессонными ночами он уже успел создать весьма стройную систему, которую рассчитывал изложить письменно и поднести в дар, как он скромно говорил, будущему папе.

Речь шла о введении Святой епитимьи; продавая буллы с отпущением любых грехов, можно будет в короткий срок пополнить папскую казну. Увечные священники тоже смогут получить отпущение грехов, внеся столько-то ливров за отсутствующий палец, вдвойне за отсутствующий глаз и такую же сумму за отсутствующие гениталии. Тот, кто кастрирует себя сам, платит вдвойне. От убожеств телесных Дюэз перешел

к убожествам души. Незаконнорожденные, скрывшие свое происхождение при вступлении в орден, священники, принявшие сан, состоя в браке, вступившие в брак после посвящения или сожительствующие с женщиной вне брака, двоеженцы, а равно кровосмесители и содомиты — для всех предусматривалась плата соответственно совершенному ими греху[8]. Но особенно высокая плата предусматривалась за отпущение грехов монахиням, распутствующим в стенах или вне стен монастырей с несколькими мужчинами.

— Если введение этой системы, — заявил Дюэз, — в первый же год не даст нам двести тысяч ливров, то пусть меня…

Он чуть было не сказал «пусть меня сожгут», но

---

[8] Примечания: 8

Римская церковь, вопреки частым утверждениям ее противников, никогда не продавала отпущения грехов. Но она, что совсем другое дело, заставляла платить грешников за буллы, папские грамоты, которыми удостоверялось, что они получили прощение за свой грех. Эти буллы были необходимы в случае публичного проступка или преступления, когда требовалось представить доказательство отпущения греха, чтобы снова быть допущенным к церковным таинствам.

Тот же принцип применялся и в гражданском праве: королевские письма о прощении и помиловании требовалось занести в регистры, что служило основанием для взимания платы. Этот обычай восходит еще ко временам франков, даже до их обращения в христианство.

Жак Дюэз (Иоанн XXII) своей книгой расценок и учреждением Святой Пенитенцерии (церковного суда) систематизировал и широко распространил этот обычай, поправляя таким образом финансы церкви.

К получению этих булл понуждалось не одно только духовенство, выплаты предусматривались и для мирян. Тарифы были рассчитаны в гро, денежных единицах, равных примерно шести ливрам. Так, отцеубийство, братоубийство или убийство родственника среди мирян оценивалось в пять-шесть гро, так же как кровосмешение, изнасилование девственницы или кража священных предметов. Муж, побивший свою жену или доведший ее до выкидыша, был принужден уплатить шесть гро, и семь, если у супруги были вырваны волосы. Самый тяжкий штраф, двадцать семь гро, грозил за подделку апостолических посланий, то есть подписи папы. Со временем цены росли параллельно обесцениванию денег.

Но, повторим, речь шла не о покупке отпущения грехов, а только о регистрационном сборе за предоставление подлинных доказательств. Все бесчисленные памфлеты, посвященные этому вопросу, распространявшиеся начиная с Реформации, чтобы дискредитировать Римскую церковь, опирались на это умышленное недоразумение.

вовремя спохватился.

А Филипп тем временем думал: «Если его изберут, то мне, слава богу, не придется ломать себе голову над финансовыми делами Святого престола».

Но несмотря на все ухищрения Дюэза и тайную поддержку Филиппа, конклав не сдвинулся с места.

А тем временем из Парижа шли дурные вести. Гоше де Шатийон, объединившись с графом д'Эврё и Маго Артуа, пытался обуздать притязания Карла Валуа. А тот жил во дворце Сите и держал при себе королеву Клеменцию чуть ли не заложницей; по собственному разумению вершил он государственные дела, рассылал в провинции приказы, противоречившие тем, которые слал из Лиона Филипп Пуатье. С другой стороны, шестнадцатого июня в Париж прибыл герцог Бургундский требовать признания своих законных прав; он знал, что за ним стоят вассалы его огромного герцогства. Итак, во Франции было одновременно три регента. Такое положение не могло длиться далее, и Гоше умолял Филиппа поскорее вернуться в столицу.

Двадцать седьмого июня, после совета, на котором присутствовали граф де Форе и граф де

ла Вут, молодой принц решил незамедлительно отправиться в путь и приказал своей свите готовиться к отъезду. И тут, вспомнив, что об усопшем его брате не было еще торжественной службы, он повелел, чтобы завтра, до его отъезда, во всех лионских церквах отслужили мессу. Все духовенство, и высшее и низшее, обязано было присутствовать на службе, дабы присоединить свои моления к молитвам регента.

Все кардиналы, и в первую очередь итальянцы, возликовали. Пришлось все-таки Филиппу Пуатье покинуть Лион, не сломив их волю.

— Пытается скрыть свое бегство торжественными мессами! — твердил Каэтани. — А все-таки вынудили его, проклятого, уехать. Надеялся нас прибрать к рукам. Ну так вот, поверьте мне, через месяц, если не раньше, мы возвратимся в Рим.

Глава V
Врата конклава

Кардиналы, как известно, особы высокочтимые, которым мелкая церковная сошка никак не ровня. Поэтому граф Пуатье распорядился, чтобы для заупокойной мессы по усопшему Людовику X кардиналам отвели церковь при монастыре

доминиканцев, называемую иначе церковью Святого Иакова[9], самую роскошную, самую просторную после собора Святого Иоанна, а также и наиболее укрепленную. Кардиналы узрели в этом выборе знак естественного уважения к их сану. И все до одного явились на торжественную церемонию.

Было их только двадцать четыре; и однако же, церковь оказалась битком набитой, ибо каждый кардинал привел с собою весь свой клир — капеллана, секретаря, казначея, писцов, пажей, слуг, тех, кто нес, согласно установленному обычаю, за ним шлейф, а перед ним факел; так что меж белых массивных колонн толпилось в общем человек шестьсот.

Пожалуй, редко когда заупокойной мессе внимали с такой явной рассеянностью. Впервые после многих месяцев кардиналы, расселившиеся группками по монастырям, собрались вместе. Многие не встречались почти два года. Они искоса поглядывали друг на друга, наблюдали за

---

[9] Примечания: 9

Братья-проповедники, или доминиканцы, назывались также якобинцами из-за церкви Святого Иакова, предоставленной им в Париже, вокруг которой они устроили свой монастырь. Лионская обитель, где состоялся конклав 1316 г., была построена в 1236 г. на территории за домом тамплиеров. Монастырский ансамбль простирался от современной площади Якобинцев до площади Белькур.

соседями, комментировали вслух внешность и жесты соперников.

— Видели, видели? — шептал один другому. — Орсини поклонился Фредолю младшему... А Стефанески как вошел, так сразу же заговорил с Мандагу. Неужели они сблизились с провансальцами? Зато Дюэз совсем высох, лицо с кулачок стало. Как он постарел!

И в самом деле, Жак Дюэз, стараясь сдержать свой подпрыгивающий шаг, придававший старику неестественно юную прыть, медленно и степенно продвигался вперед и рассеянно отвечал на поклоны, как и подобает человеку, отрешившемуся от мирских дел.

Гуччо Бальони в новом облачении тоже прибыл сюда вместе с кардинальской свитой. Ему было приказано говорить только по-итальянски и отвечать всем, что он прибыл в Лион прямо из Сиены.

«Пожалуй, лучше было бы мне, — думал он, — попасть под покровительство графа Пуатье. Ибо я, без сомнения, мог бы вернуться вместе с ним в Париж и навести справки о Мари, о которой я ничего столько дней не слышал. А сейчас я во всем завишу от этой старой лисы да еще обещал ему достать у дяди денег, и пока деньги не будут

у него в руках, он не намерен заниматься моей судьбой. А дядя, как на грех, не отвечает. И говорят, в Париже смута. Мари, прелестная моя Мари!.. Вдруг она подумает, что я ее покинул? А может быть, она уже возненавидела меня? Что они с ней сделали?»

Ее братья способны на все: заточить Мари в Крессе, а возможно, и упрятать в какой-нибудь монастырь для кающихся девиц. «Если через неделю я не получу от нее известий, удеру в Париж».

Дюэз то и дело оглядывался через плечо, и лицо его всякий раз принимало настороженное выражение.

— Вы опасаетесь чего-нибудь, монсеньор? — спросил наконец Гуччо.

— Нет, нет, отнюдь, — ответил Дюэз, украдкой посматривая на своих соседей.

Грозный кардинал Каэтани с изможденным лицом, посреди которого торчал длинный горбатый нос, не скрывал своего торжества, и его седые кудри, подобно завиткам белого пламени, упрямо выбивались из-под алой шапки. Катафалк — символ успения Людовика X — вызывал в его памяти восковую фигуру, исколотую булавками, — ту, над которой он совершил ворожбу.

Он переглядывался со своими людьми — с отцом Пьером, братом Бостом и своим секретарем Андрие, — так смотрят победители. Его подмывало крикнуть во всеуслышание: «Вот видите, мессиры, что происходит с тем, кто по неосторожности навлек на себя гнев Каэтани, ибо Каэтани были могущественными людьми еще во времена Юлия Цезаря».

Оба брата Колонна с тяжелыми пухлыми подбородками, украшенными посередине ямочкой, казались двумя воинами, вырядившимися прелатами.

Граф Пуатье не пожалел расходов на певчих. Хор в сотню с лишним голосов звучал на славу в сопровождении органа, у которого не покладая рук трудились четыре прислужника, раздувая мехи. Громовая, воистину королевская музыка гулко отдавалась под сводами, сотрясала воздух, оглушала толпу. Мальчики-прислужники могли безнаказанно болтать между собой, а дворяне из кардинальских свит высмеивать вслух своих владык. Невозможно было расслышать даже того, что говорилось в трех шагах, а того, что происходило у входа, и подавно.

Служба закончилась; замолкли орган и хор; створки дверей главного портала были широко

распахнуты. Но ни один луч дневного света не проникал в собор.

На мгновение толпа замерла: всем показалось, будто во время заупокойной мессы чудом затмилось солнце; но вдруг кардиналы поняли всё, и яростный гул голосов заполнил церковь. Свежая каменная кладка закрыла портал; регент приказал во время мессы замуровать все входы и выходы. Кардиналы очутились на положении пленников.

Тут-то и началось столпотворение: прелаты, каноники, священники, слуги, забыв о чинопочитании и рангах, смешались в кучу и суетливо сновали по храму Божьему, как крысы, попавшие в западню. Пажи влезали друг другу на плечи, подтягивались на руках, заглядывали в окна и кричали сверху:

— Собор со всех сторон окружен вооруженными людьми!

— Что с нами будет, что с нами будет? — стонали кардиналы. — Регент коварно обманул нас.

— Так вот почему он угостил нас такой музыкой!

— Но это же прямое посягательство на Святую церковь! Что нам делать?!

— Отлучить его! — кричал Каэтани.

— А что, если он возьмет и уморит нас голодом или велит всех перебить?

Воинственные братья Колонна и их свита, вооружившись тяжелыми бронзовыми подсвечниками, скамьями и жезлами для торжественных процессий, готовились дорого продать свою жизнь. И уже итальянцы с гасконцами начали осыпать друг друга оскорблениями и упреками.

— Нет, это ваша ошибка! — кричали итальянцы. — Почему вы согласились перебраться в Лион? Мы отлично знали, что попадем в ловушку.

— Если бы вы выбрали кого-нибудь из наших, не пришлось бы нам здесь сейчас торчать, — возражали гасконцы. — Это вы во всем виноваты, недостойные христиане!

Еще минута, и обе партии схватились бы врукопашную.

Лишь одна-единственная дверь была замурована не полностью — в ней оставили узкий проход, куда мог протиснуться человек, но из этого узкого отверстия торчал целый лес пик, зажатых в железные перчатки. Вдруг пики приподнялись, и граф де Форе в доспехах, Бермон де ла Вут и несколько закованных в латы людей проникли в церковь. Их встретили градом угроз и грубейшей

руганью.

Сложив руки на эфесе шпаги, граф де Форе спокойно дождался конца бури. Был он человек могучий, смелый, равно нечувствительный как к угрозам, так и к мольбам, а главное, его глубоко возмущало недостойное поведение кардиналов, подававших в течение двух лет худой пример своей пастве; поэтому граф решил любой ценой выполнить распоряжение Филиппа Пуатье. Грубое его лицо было изборождено глубокими морщинами, глаза сурово глядели из-под забрала шлема.

Когда кардиналы и их приспешники наконец осипли от крика, граф де Форе заговорил; его четкая, размеренная речь отдавалась гулким эхом под сводами церкви.

— Мессиры, я нахожусь здесь по приказу регента Франции и уполномочен сообщить вам, что единственной вашей заботой отныне должно быть избрание папы, а равно довожу до вашего сведения, что ни один из вас не выйдет отсюда, пока папа не будет избран. При каждом кардинале может остаться по одному капеллану, по два дворянина для услуг или — если угодно — по два писца. Это уж выбирайте сами. Все прочие могут покинуть собор.

Гасконцы и провансальцы негодовали не меньше итальянской партии.

— Мошенничество! — вопил кардинал де Пелагрю. — Граф Пуатье поклялся, что нам даже не придется войти в ограду монастыря, и только на этом условии мы согласились собраться в Лионе.

— Устами графа Пуатье, — возразил граф де Форе, — говорил король Франции. Но короля Франции нет в живых, и теперь вам говорит регент моими устами.

Единодушное негодование охватило всех пленников. Проклятия на трех языках — итальянском, провансальском и французском — сливались в нестройный гул. Кардинал Дюэз без сил рухнул на сиденье в одной из исповедален и даже руку к сердцу приложил, всем видом показывая, что в столь преклонном возрасте нелегко сносить подобные удары, и притворно-сокрушенно бормотал что-то невразумительное, как бы присоединяя свой голос к протестующим крикам кардиналов. Арно д'Ош, кардинал-камерлинг, брюхатый, полнокровный прелат, бросился к графу де Форе и заявил ему угрожающим тоном:

— Напоминаю вам, мессир, что папу в таких условиях выбирать не положено, ибо вы нарушили устав Григория Десятого, согласно которому

конклав должен собираться именно в том городе, где скончался папа.

— Вы там сидели, монсеньоры, в течение двух лет и разбрелись кто куда, не выбрав папы, что, позвольте вам заметить, тоже противоречит уставу. Но ежели вы почему-либо желаете попасть в Карпантра — пожалуйста, мы доставим вас туда в закрытых повозках под надежной охраной.

— Не будем заседать под угрозой насилия!

— Вот поэтому-то, монсеньоры, церковь окружена вооруженной стражей в семьсот человек, которые надежно защищают вас по решению городских властей, дабы обеспечить вам безопасность и дать возможность побыть в уединении… что, кстати сказать, тоже соответствует упомянутому вами уставу. Сир де ла Вут, который, как именитый гражданин Лиона, тоже находится здесь, будет наблюдать за всем. Мессир регент просил также передать вам, что, если в течение трех дней вы не придете к соглашению, вам будет подаваться пища один раз в день, а с девятого дня вас переведут на хлеб и воду, что опять-таки записано в уставе папы Григория X. И если, наконец, пост не просветит ваш разум, мы прикажем разобрать крышу, и тогда придется вам испытать ярость стихии…

Графа прервал Беранже Фредоль старший:

— Мессир, таким образом, вы будете повинны в человекоубийстве, ибо многие из нас не вынесут такого режима. Взгляните на монсеньора Дюэза, он уже сейчас еле дышит и нуждается в уходе.

— Верно, ох, ох, верно! — голосом умирающего произнес Дюэз. — Конечно не вынесу…

— Да бросьте вы с ним разговаривать, — крикнул Каэтани. — Вы же сами видите, что мы попали в руки свирепых и вонючих хищников! Но знайте, мессир, вместо того чтобы выбрать папу, мы отлучим от церкви вас и всех ваших вероломных приспешников.

— Если вы намереваетесь нас отлучить, монсеньор Каэтани, — холодно ответил граф де Форе, — регент может сообщить конклаву кое-какие сведения о заклинателях и ворожеях, коим место уготовано в геенне огненной…

— При чем тут ворожба! — уже без прежнего запала возразил Каэтани. — Главная наша обязанность — избрать папу.

— Э, монсеньор, мы, как видно, поняли друг друга; соблаговолите-ка приказать ненужным вам людям покинуть храм, ибо съестные припасы будут доставляться в строго ограниченном количестве и лишним ртам еды не хватит.

Кардиналы поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и что этого закованного в железные латы сеньора, который недрогнувшим голосом передал им приказ графа Пуатье, не так-то просто согнуть. А позади Жана де Форе виднелись вооруженные пиками стражники, которые по одному пролезали в незамурованное отверстие и выстраивались в глубине церкви.

— Придется прибегнуть к хитрости, коль скоро мы лишены возможности прибегнуть к силе, — вполголоса сказал Каэтани своим итальянцам. — Сделаем вид, что покорились, раз не можем пока сделать ничего иного.

Каждый кардинал отобрал из своей свиты трех человек, наиболее ему преданных, умеющих дать нужный совет, искушенных в интригах или же таких, кто мог облегчить телесные страдания владыки в тех тяжелых условиях, в коих ему суждено было очутиться. Каэтани пожелал оставить брата Боста, Андрие и шестипалого Пьера, то есть тех, кто был замешан вместе с ним в ворожбе против Людовика X; он предпочел держать их при себе, боясь отпустить на свободу, где с помощью золота или пыток им могли развязать язык. Братья Колонна остановили выбор на четырех дворянчиках, каждый из которых одним ударом

мог оглушить быка. Каноники, писцы, факельщики и шлейфоносцы один за другим исчезали в отверстии, миновав строй вооруженных стражников. Когда они проходили мимо своих владык, те шептали им на ухо последние распоряжения:

— Срочно дайте знать о случившемся моему брату епископу… Напишите от моего имени кузену де Го… Немедленно отправляйтесь в Рим.

Когда Гуччо Бальони пристроился было в хвост уходящих, Жак Дюэз просунул свою иссохшую ручку сквозь решетку исповедальни, где он прикорнул без сил, и схватил итальянца за полу.

— Останьтесь, дитя мое, со мной, — шепнул он, — я уверен, что вы мне пригодитесь.

Дюэз по опыту знал, что деньги имеют немалую власть в любом конклаве; для кардинала было весьма кстати иметь при себе представителя ломбардских банкиров.

Через час в церкви осталось всего девяносто шесть человек, которым предстояло томиться здесь до тех пор, пока двадцать четыре из них не придут к соглашению и не остановят свой выбор на одном. Прежде чем покинуть церковь, стражники внесли внутрь несколько охапок соломы, отныне ей вместе с голым камнем суждено было служить ложем самым могущественным

прелатам христианского мира. Принесли также несколько лоханей, чтобы они могли справлять туалет, и несколько глиняных кувшинов с водой, отданных в распоряжение самих кардиналов. Каменщики под зорким оком графа де Форе замуровали последний проход, оставив в середине крошечное квадратное отверстие, достаточно широкое, чтобы через него прошло блюдо с пищей, но недостаточно широкое для того, чтобы через него мог пролезть человек. Вокруг церкви вновь расставили караульных на расстоянии трех туазов друг от друга и выстроили их двумя рядами; один ряд стоял спиной к стене и наблюдал за городом, другой стоял лицом к церкви и наблюдал за окнами.

В полдень граф Пуатье отбыл в Париж. Вместе со своей свитой он увозил дофина Вьеннского и маленького дофинчика, который так и останется жить при французском дворе, чтобы сдружиться со своей пятилетней невестой.

В тот же час кардиналам подали пищу, а так как день был постный, мяса им не полагалось.

Глава VI

Из Нофля в Сен-Марсель

Ранним июльским утром, еще до рассвета, старший де Кресс вошел в спальню сестры. Толстяк Жан держал в руке чадившую свечу; при свете ее было заметно, что брат Мари успел умыться, расчесал бороду и надел лучший свой кафтан для верховой езды.

— Вставай, Мари, — сказал он, — сегодня ты уедешь. Мы с Пьером сами тебя отвезем.

Молодая девушка приподнялась на локте.

— Уеду?.. Как так? Уеду сегодня утром?..

Она еще не очнулась от сна и пристально смотрела на брата большими темно-голубыми глазами, стараясь понять, о чем идет речь. Машинальным жестом она откинула назад свои длинные густые шелковистые волосы, отливавшие золотом.

Жан де Кресс хмуро глядел на красавицу-сестру, так, словно сама эта красота тоже была грехом.

— Собирай пожитки. Домой ты вернешься не скоро.

— Но куда вы меня везете? — спросила Мари.

— Сама увидишь.

— Но вчера… почему вчера вы мне ничего не

сказали?

— Тебе скажешь, а ты снова с нами какую-нибудь шутку сыграешь. Что, разве нет?.. Ну ладно, торопись; выедем пораньше, чтобы наши крестьяне не заметили. Хватит с нас позора, незачем им снова трепать языками на твой счет.

Мари ничего не ответила. Вот уже целый месяц только так обращались с ней домашние, только таким тоном говорили. Она тяжело поднялась с постели: по утрам, особенно в первые минуты, давала себя знать пятимесячная беременность, хотя днем она почти ее не ощущала. При свете свечи, которую оставил ей брат, она стала собираться в дорогу, ополоснула лицо и шею водой, быстро заколола волосы; тут только она заметила, что руки ее дрожат. Куда ее везут? В какой монастырь? Мари надела на шею золотую ладанку, подарок Гуччо, которую, по его уверениям, он получил в дар от королевы Клеменции. «Пока что эта реликвия что-то плохо меня защищала, — подумалось ей. — А может быть, я недостаточно молилась?» Она уложила верхнее платье, несколько нижних платьев, безрукавку и куски полотна для умывания.

— Наденешь плащ с капюшоном, — бросил Жан, снова появляясь в спальне.

— Но ведь я в нем сгорю! — воскликнула Мари. — Это зимняя одежда.

— Мать требует, чтобы ты ехала с закрытым лицом. Не перечь, пожалуйста, и поторапливайся.

Во дворе младший брат де Кресс собственноручно седлал лошадей.

Мари отлично знала, что рано или поздно этот день наступит; и хотя сердце ее сжимал тоскливый страх, она не слишком страдала от предстоящей разлуки, больше того, постепенно стала ее желать. Самый неприветливый монастырь, самый строгий устав все же лучше, чем ежедневные уколы и укоры. По крайней мере, там она будет наедине со своим горем. Ей хотя бы не придется больше выносить яростных приступов материнского гнева; после всех этих трагических событий мать, которой кровь бросилась в голову, слегла в постель и всякий раз, когда Мари приносила ей целебную настойку, проклинала и оскорбляла дочь. Тогда приходилось срочно вызывать из Нофля цирюльника, чтобы он отворил кровь тучной владелице замка. Таким образом за две недели у мадам Элиабель выпустили не меньше шести пинт дурной крови, но даже при этих энергичных мерах вряд ли можно было надеяться, что к ней полностью вернется здоровье.

Оба брата, а особенно старший, Жан, обращались с Мари как с преступницей. Ох, уж лучше любой монастырь, в тысячу раз лучше! Одно страшно: сможет ли дойти в святую обитель весть о Гуччо и когда? Вот эта-то мысль доводила ее до умопомрачения, лишь поэтому она страшилась своей участи. Злые ее братья уверяли, что Гуччо бежал за пределы Франции.

«Они скрывают от меня, — думала Мари, — но они, наверное, запрятали его в темницу. Невозможно, немыслимо, чтобы он меня бросил! Должно быть, он вернулся в наши края, чтобы меня спасти; вот поэтому они так торопятся меня увезти, а потом убьют его. Ах, почему я не согласилась убежать с ним! Я не желала слушать доводов Гуччо, боялась оскорбить мать и братьев, и вот за то, что я хотела сделать им добро, они отплатили мне злом!»

В ее воображении рисовались картины одна другой страшнее. Минутами ей хотелось, чтобы Гуччо действительно убежал в Италию, оставив ее на произвол злой судьбы. И нет никого, чтобы спросить совета, нет никого, кто бы утешил ее в горе. Одно утешение — это дитя, что она носит под сердцем; но, откровенно говоря, крохотное существо было ничтожно малым подспорьем,

хоть и вселяло мужество в душу Мари.

Когда наступил час отъезда, Мари де Крессе спросила братьев, может ли она попрощаться с матерью. Пьер молча поднялся в материнскую спальню, но оттуда донесся такой истошный крик — видно, частые кровопускания не оказали воздействия на голосовые связки мадам Элиабель, — что Мари сразу поняла всю бессмысленность своей просьбы. Пьер вышел из спальни матери с грустным лицом и беспомощно развел руками.

— Она говорит, что у нее нет дочери, — пояснил он.

И Мари снова подумала: «Лучше бы я убежала с Гуччо. Сама во всем виновата; я обязана была последовать за ним».

Братья вскочили на коней, и Жан де Крессе посадил сестру позади себя на круп своей лошади, которая была все же получше, вернее, менее заморенная, чем у Пьера. Пьер восседал на запаленной кобыле, которая при каждом шаге тяжело выпускала из ноздрей воздух с таким шумом, словно по железу водили напильником; именно на этом одре в прошлом месяце братья де Крессе совершили торжественный въезд в столицу.

Мари бросила прощальный взгляд на малень-

кий замок, которого не покидала со дня рождения и который сейчас, в первых, еще нежных проблесках зари, вставал перед ней в сероватой дымке, будто уже из прошлого. С тех пор как она помнит себя, каждое мгновение ее жизни проходило в этих стенах, на фоне этого пейзажа; ее детские игры, чудесное открытие самой себя и окружающего мира, который день за днем каждый творит как бы заново. Неистощимое разнообразие луговых трав, удивительные венчики цветов и чудесная пыльца на самом их донышке, мягчайший пушок на брюшке утенка, переливы солнечных лучей на крылышке стрекозы… Здесь оставляла она все пережитые часы, те часы, когда впервые заметила, что взрослеет, когда впервые прислушалась к голосу грез, когда зорко подмечала все изменения своего лица, множество раз отраженного прозрачными водами Модры. Здесь она испытала то великое, почти ослепляющее чувство жизни, приходившее в те минуты, когда она ложилась навзничь на луг и смотрела в небо, видя в форме облаков таинственные предзнаменования, надеясь узреть Господа Бога в глубине сверкающей лазури. Она проехала мимо часовни, где под каменной плитой покоился прах ее отца и где итальянский монах тайно обвенчал

ее с Гуччо.

— Надвинь пониже капюшон! — приказал старший брат Жан.

Как только они перебрались вброд через речку, он подстегнул лошадь и вслед за ними поскакала кобыла Пьера, шумно выдыхая воздух.

— А не слишком ли ты быстро скачешь? — сказал Пьер, движением головы указывая на сестру.

— Ничего, дурное семя — оно цепкое, — отозвался старший брат, очевидно желая в глубине души, чтобы с Мари стряслась беда.

Но напрасны были его надежды. Здоровая и крепкая Мари была создана для материнства. Переезд в десять лье, отделявший Нофль от Парижа, она перенесла без всякого для себя ущерба. Правда, ныла поясница, Мари задыхалась от жары, но ни разу она даже не охнула. Из-под низко надвинутого на лоб капюшона она не могла разглядеть Париж, видела только мостовые, нижние этажи домов да людей без голов. Сколько ног! Какая обувь! С огромной радостью скинула бы она капюшон, но не смела. Больше всего ее поразил шум, невнятное мощное гудение столицы, крики глашатаев, продавцов, торгующих всякой снедью, разнообразный шум мастерских. На иных перекрестках толпилось столько народу, что

лошади с трудом пробирались вперед. Прохожие задевали ноги Мари. Наконец они остановились. Брат ссадил на землю измученную, запыленную Мари. Ей разрешили откинуть капюшон плаща.

— А где мы? — спросила она, с удивлением оглядывая двор и красивый дом.

— У дядюшки твоего ломбардца, — пояснил Жан де Кресс.

А через несколько минут мессир Толомеи, по привычке прищурив левый глаз и широко открыв правый, рассматривал троих отпрысков покойного сира де Кресс, сидевших перед ним рядком, — бородача Жана, безусого Пьера и их сестру, пристроившуюся чуть поодаль и не поднимавшую опущенной головы.

— Значит, понимаете, мессир Толомеи, — начал Жан, — вы дали нам обещание…

— Как же, помню, помню, — подтвердил Толомеи. — И я сдержу свое слово, друзья мои, не сомневайтесь.

— Но, понимаете, нам пришлось действовать быстрее. Значит, понимаете, сестре после всего позора и шума у нас не жить. Значит, понимаете, мы даже к соседям заглянуть не смеем, мужики и те нам вслед смеются, а когда грех, так сказать, слишком уж округлится, нам и вовсе проходу

не будет.

На языке у Толомеи вертелся ответ: «Но, сынки, вы сами подняли весь этот шум! Никто вас не заставлял бросаться как одержимых на Гуччо, подняв на ноги весь стольный град Нофль, и тем самым извещать людей о своем позоре без помощи глашатаев».

— И понимаете, наша матушка от горя совсем занемогла, прокляла дочь, и держать Мари дома, значит, никак нельзя, мы боимся, что матушка отдаст Богу душу от гнева. Значит, понимаете…

«…Этот негодяй, как и все, кто требует, чтобы их „понимали“, должно быть, просто болван. Ничего, поболтает и перестанет! Но я-то отлично понимаю теперь, — думал банкир, — почему мой Гуччо наделал столько безумств ради этой красотки. Прежде я его во всем обвинял, но, когда она вошла, я сразу сдался: и если бы в мои годы такое было возможно, я тоже потерял бы из-за нее голову. Прелестные глазки, прелестные волосы, прелестная кожа… Настоящая весенняя ягодка! И по-видимому, мужественно переносит свою беду, а эти-то два дурня орут так, как будто их самих лишили невинности! Но для бедной этой девчурки даже самое страшное горе обернулось благом! У нее добрая душа, это сразу видно. Какая

жалость, что она родилась под одним кровом с этими двумя глупцами, и как бы я радовался, если бы Гуччо мог обвенчаться с нею открыто, если бы она жила здесь и краса ее стала бы утехой моей старости».

Томеи не спускал с Мари глаз. А Мари, вскинув на него взгляд, тут же потупилась, потом снова с тревогой посмотрела ему в лицо. Что подумает о ней дядя Гуччо, почему он так настойчиво за ней наблюдает?

— Значит, понимаете, мессир, ваш племянник…

— Ох, не говорите мне о нем, я от него отрекся, лишил его наследства! Если бы он не удрал в Италию, я бы убил его собственными руками. Если бы я знал, где он сейчас скрывается… — Томеи сокрушенно склонил голову на руки.

И тут из-под ладоней, приставленных ко лбу щитком, он незаметно для братьев Кресси, но так, чтобы видела Мари, дважды приоткрыл свой глаз, обычно скрытый мясистым веком. Мари сразу догадалась, что нашла в лице банкира союзника, и не могла удержать вздоха облегчения. Гуччо жив, Гуччо находится в надежном месте, и дядя знает, где он. Что по сравнению с этой радостной вестью все монастыри мира!

Мари перестала слушать разглагольствования Жана. Впрочем, и не слушая, она знала, о чем он говорит. Пьер де Крессе молчал, и на его усталом лице застыло какое-то нерешительное выражение. Он упрекал себя за то, что тоже поддался гневному порыву, но не смел высказать свои мысли. И он не прерывал старшего брата, который собственными речами старался убедить себя, что действовал правильно, не прерывал его рассуждений о голубой крови и рыцарской чести, дабы хоть этим оправдать их неслыханно глупый поступок.

Когда после своего маленького, жалкого, полуразвалившегося замка, после их двора, где летом и зимой воняло навозом, братья Крессе увидели королевское жилище Толомеи, парчу, серебряные вазы, когда почувствовали под пальцами тонкую резьбу подлокотников и вдохнули воздух богатства, изобилия, веявший во всем этом доме, они вынуждены были признать, что сестре их жилось бы не так уж плохо, если бы домашние разрешили ей поступить по велению сердца. Младший брат испытывал искренние угрызения совести. «Хоть она одна из всей семьи жила бы в достатке, да и нам было бы хорошо», — твердил про себя Пьер. Но бородатый Жан, человек

ограниченный, все больше распалялся злобой и довольно-таки низменным чувством зависти. «Почему ей, грешнице, должно достаться все это богатство, а мы вынуждены влачить нищенское существование?»

Даже Мари не осталась равнодушной к этой роскоши, которая обступала ее, ослепляла, и она еще сильнее почувствовала свое горе.

«Ах, если бы Гуччо был хоть скромным дворянином, — думала она, — или если бы у нас не было дворянства! Да и что значит рыцарство? Неужели же это такая важность, чтоб из-за него столько страдать? И разве богатство не есть тоже своего рода знатность? Такая ли уж большая разница — пользоваться плодами труда сервов или плодами денежных операций?»

— Не беспокойтесь ни о чем, друзья мои, — проговорил наконец Толомеи, — и во всем положитесь на меня. Такова, видно, доля всех дядюшек — исправлять ошибки, содеянные дурными племянниками. Благодаря моим высокородным друзьям я добился разрешения поместить вашу сестру в Сен-Марсель — королевский монастырь для девиц. Ну как, довольны?

Братья Кресс переглянулись и одобрительно закивали. Монастырь Святой Клариссы, что в

предместье Сен-Марсель, пользовался самой лучшей репутацией среди всех прочих женских обителей. Туда, как правило, допускали лишь отпрысков знатных семей. И здесь иной раз под белой вуалью скрывалась незаконная дочь кого-нибудь из членов королевской фамилии. Злоба Жана де Кресс утихла — его дворянское тщеславие было удовлетворено. И, желая показать, что они, Кресс, вполне достойны этой чести, несмотря на грехопадение их сестрицы, он поспешно добавил:

— Вот это отменно хорошо. Кстати, тамошняя настоятельница, если не ошибаюсь, нам сродни; матушка неоднократно об этом говорила.

— Значит, все устроилось как нельзя лучше, — произнес Толомеи. — Я сейчас отведу вашу сестрицу к мессиру Югу де Бувиллю, бывшему первому камергеру…

Братья, как по команде, слегка склонили голову в знак уважения к столь высокой персоне.

— От него-то я и добился этой милости, — продолжал Толомеи, — и сегодня же вечером, обещаю вам, она будет в монастыре. Поэтому отправляйтесь с миром восвояси; я буду сообщать вам все новости.

Братьям только это и требовалось. Им удалось

отвязаться от сестрицы, переложив заботы о ней на чужие плечи; причем оба считали, что выполнили свой долг. Молчание святой обители поглотит эту драму, и отныне в Крессе не нужно будет говорить о ней шепотом, да и вообще можно будет не говорить об этом.

— Да хранит тебя Господь и да направит на путь раскаяния, — сказал Жан сестре и больше ничего не добавил перед долгой разлукой.

Гораздо горячее попрощался он с банкиром и поблагодарил за все заботы. Еще немного, и он накинулся бы на Мари с упреками — зачем, мол, она причинила столько хлопот такому превосходному человеку.

— Да хранит тебя Господь, Мари, — взволнованно произнес Пьер.

Он потянулся было поцеловать сестру, но под суровым взглядом старшего брата смущенно отступил назад. А Мари, оставшись наедине с Толомеи, дивилась, что этот смуглолицый толстяк-банкир с чувственным ртом и зажмуренным глазом вдруг оказался ей дядей.

Братья Крессе выехали со двора, и скоро утих вдали храп запаленной кобылы — последний отзвук родного Крессе, уже отходившего вдаль.

— А теперь идемте к столу, дитя мое. За едой

слез не льют, — сказал Толомеи.

Он помог своей молодой гостье снять плащ, под тяжестью которого она буквально задыхалась; Мари кинула на него удивленно-признательный взгляд, ибо за долгие недели унижений уже успела отвыкнуть не только от знаков внимания, но даже и от простой вежливости.

«Гляди-ка, материя-то моя», — подумал Толомеи, разглядывая платье Мари.

Ломбардец был не только банкиром, он вел также торговлю с Востоком; рагу, куда он изящно запускал всю пятерню, мясо, от которого он деликатно отрывал кусочки, обчищая кости, — все было пропитано пряными, возбуждающими аппетит запахами. Но Мари еле притрагивалась к пище и отведала лишь первую перемену.

— Он в Лионе, — вдруг проговорил Толомеи, подымая левое, обычно опущенное веко. — Сейчас он не может оттуда выехать, но думает он о вас и в вас верит.

— Он не в тюрьме? — спросила Мари.

— Как бы вам сказать, не совсем... Правда, он находится в заключении, но отнюдь не в связи с вашим делом, а разделяет заточение со столь высокими лицами, что опасаться за него не следует; по всему видно, что он благополучно выйдет из

церкви и заключение только придаст ему весу.

— Из церкви? — удивленно переспросила Мари.

— Больше я ничего не имею права вам сообщить.

Но Мари и не настаивала. Гуччо заперт в какой-то церкви вместе с какими-то столь важными особами, что даже имени их назвать нельзя… Эта тайна не умещалась в ее головке. Но в жизни Гуччо уже случались всякие загадочные события, и именно таинственность, окружавшая его, была, пожалуй, одной из причин ее восхищения любимым. В первый раз, когда они встретились, разве не попал он в их Нофль прямо из Англии, куда ездил с поручением к королеве Изабелле? Разве дважды не отлучался он на долгий срок в Неаполь, куда его посылали к королеве Клеменции, и она даже подарила Гуччо ладанку с частицей тела Иоанна Крестителя, надетую у Мари на шее! «Непременно назову своего ребенка Иоанном или Иоанной». Если Гуччо находится сейчас в заключении, то это, должно быть, тоже из-за какой-нибудь королевы. Мари радовалась, что Гуччо, вращаясь среди могущественных принцесс и королев, по-прежнему предпочитает ее, деревенскую простушку. Гуччо жив, Гуччо ее лю-

бит, а больше ей ничего и не требовалось, чтобы вновь почувствовать радость жизни, и поэтому Мари принялась за еду со здоровым аппетитом восемнадцатилетней женщины, еще до рассвета пустившейся в дорогу.

Но если Толомеи умел легко и непринужденно беседовать с самыми знатными баронами и пэрами Франции, с прославленными легистами и архиепископами, он уже давно отвык говорить с женщинами, особенно с такими молоденькими. Поэтому разговор не вязался. Старый банкир с восторгом глядел на свою новоявленную племянницу, которая свалилась к нему как снег на голову и которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше.

«Какая жалость, — думал он, — что приходится отправлять ее в монастырь! Если бы Гуччо не находился в заключении вместе с конклавом, я переправил бы это прелестное дитя к нему в Лион; но что она будет делать там одна, без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя!.. А может быть, оставить ее здесь, при себе, и ждать возвращения Гуччо? Это, пожалуй, было бы мне еще приятнее. Но нет, нельзя: я ведь просил Бувилля о милости; как же я покажусь теперь ему

на глаза, отказавшись от его услуг? А что, если настоятельница действительно сродни де Крессе и этим болванам придет в голову осведомиться у нее о сестре!.. Нет, нет, пусть хоть я в этом деле не потеряю головы по примеру Гуччо. Отправлю ее в монастырь...»

— ...но не на всю жизнь, — произнес он вслух. — И речи не может идти о вашем пострижении. Согласитесь на временное пребывание в обители и постарайтесь не грустить; а когда родится ребенок, обещаю, что сам устрою ваши дела, и вы будете жить счастливо с моим племянником.

Мари схватила руку банкира и поднесла ее к губам; старик-ломбардец почувствовал смущение; доброта не входила в число его добродетелей, да и по самому характеру своих занятий он не привык к подобным проявлениям благодарности.

— А теперь пора передать вас на руки графа Бувилля, — произнес он.

От Ломбардской улицы до дворца Сите рукой подать. Мари, шедшая рядом с Толомеи, проделала этот путь в состоянии восторженного изумления. Она впервые попала в большой город. Толпы людей под ярким июльским солнцем, красота зданий, множество лавок, сверкающие витрины ювелиров — все это показалось ей

какой-то прекрасной феерией. «Какое счастье, просто счастье, — думала она, — жить здесь, и какой чудесный человек дядя моего Гуччо, и как хорошо, что он покровительствует нам! О да, я без слова жалобы перенесу свое заточение в монастыре!» Они прошли через мост Менял и углубились в Торговую галерею, забитую лотками с товарами.

Только ради удовольствия услышать еще раз слова благодарности и увидеть улыбку Мари, открывавшую белоснежные зубки, Толомеи не удержался и купил ей суму на пояс, расшитую мелким жемчугом.

— Это от имени Гуччо. Теперь я его вам заменяю, — пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к оптовому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок за полцены.

Наконец они поднялись по широкой лестнице во дворец. Итак, только потому, что Мари согрешила с юным ломбардцем, она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на свое рыцарство, насчитывавшее уже триста лет, и на услуги, оказанные ими королям на поле брани.

Во дворце царил тот особый беспорядок, когда

каждый изображает из себя важную персону, та лихорадочная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карл Валуа. Пройдя по бесчисленным галереям, коридорам и анфиладам (причем Мари чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте), Толомеи и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель и выходившей на Сену и на Еврейский остров. Страж из дворян в воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покои королевы Клеменции без разрешения хранителей чрева. Пока слуги разыскивали графа де Бувилля, Толомеи и Мари отошли к окну.

— Вот, посмотрите, здесь сожгли тамплиеров, — пояснил Толомеи, указывая на остров.

Наконец появился толстяк Бувилль, тоже в полном воинском снаряжении, и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям; под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объемистое брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где, сидя в кресле, мирно дремал сир де Жуанвиль. Двое его конюших тут же в сосредоточенном молчании

играли в шахматы. Затем Бувилль ввел посетителей в свои собственные покои.

— Оправилась ли мадам Клеменция от своего горя? — спросил Толомеи у Бувилля.

— Плачет она теперь не так часто, — ответил толстяк, — вернее, не показывает нам своих слез, старается их удержать. Но она по-прежнему сражена смертью государя. Да и здешняя жара ей вредна, у нее то и дело бывают головокружения и обмороки.

«Значит, королева Франции здесь, совсем рядом! — думала Мари со жгучим любопытством. — А вдруг меня ей представят? Осмелюсь ли заговорить с ней о Гуччо?»

Ей пришлось присутствовать при бесконечно долгой беседе — из которой, впрочем, она не поняла ни слова — между банкиром и бывшим камергером Филиппа Красивого. Называя какие-то имена, оба понижали голос, а то и отходили в сторону, и Мари старалась не прислушиваться к их шепоту.

Граф Пуатье должен был приехать завтра из Лиона. И теперь Бувилль, так страстно ждавший его возвращения, уже и сам не знал, к добру это или нет. Ибо его высочество Валуа решил немедленно отправиться навстречу Филиппу вместе с

графом де ла Маршем; и Бувилль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бургундский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наваррской. Королевская казна окончательно опустела. Недобрый ветер мятежа реет над столицей, и борьба за регентство грозит страшными бедами. По мнению Бувилля, следовало бы назначить матерью-регентшей королеву Клеменцию, а ей придать Королевский совет в составе Валуа, Пуатье и герцога Бургундского.

Хотя Толомеи слушал с интересом рассказ Бувилля о дворцовых интригах, он все же не раз пытался прервать его сетования и заговорить о цели своего визита.

— Конечно, конечно, мы позаботимся об этой девице, — рассеянно отвечал Бувилль и тут же снова заводил речь о политике.

Получает ли Толомеи сведения из Лиона? Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. Как? Гуччо заперли вместе с Дюэзом и всем конклавом? Ну и ловкий малый! А как полагает Толомеи, можно ли сообщаться с его племянником? Если ему удастся

получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть немедленно даст знать; Гуччо послужит им в качестве весьма ценного посредника. А что касается Мари…

— Конечно, конечно, — продолжал Бувилль. — Моя супруга — особа весьма умная и деятельная, она уже устроила все как нельзя лучше. Так что не тревожьтесь.

Кликнули мадам Бувилль, невысокую худенькую даму с властными манерами и личиком, изрезанным продольными морщинами; ее сухонькие ручки постоянно находились в движении. В обществе двух толстяков — Толомеи и Бувилля — Мари чувствовала себя под надежной защитой, а теперь ее сразу охватила тревога и какая-то неловкость.

— Ах, значит, это вы должны скрыть свой грех! — проговорила мадам Бувилль, окинув гостью недоброжелательным взглядом. — Вас ждут в монастыре. Настоятельница не особенно охотно пошла нам навстречу, а когда узнала ваше имя, то просто возмутилась, потому что, оказывается, состоит с вами в родстве и, конечно, не может одобрить вашего поведения. Но в конце концов положение моего супруга при дворе сыграло свою роль. Пришлось мне немножко с ней повздорить,

и все уладилось. Вас примут в монастырь. Я сама отвезу вас туда к вечеру.

Говорила она быстро, и прервать ее было нелегко. Когда она остановилась, чтобы перевести дух, Мари ответила ей почтительно, но с достоинством:

— Мадам, я не согрешила, ибо я обвенчана перед Господом Богом.

— Ладно, ладно, — прервала ее мадам Бувилль, — не вынуждайте меня жалеть о том, что мы для вас сделали. Поблагодарите лучше тех, кто вам помог, чем хвастаться своими добродетелями.

Тут Толомеи поторопился поблагодарить супругу Бувилля от имени Мари. Когда же Мари увидела, что банкир направился к двери, ее охватило такое отчаяние, такая растерянность, она почувствовала себя такой одинокой, что, не помня себя, бросилась к Толомеи, словно к родному отцу.

— Сообщайте мне о судьбе Гуччо, — шепнула она ему, — и передайте ему, что я томлюсь без него.

Толомеи ушел, а вслед за ним исчезли и супруги Бувилль. Все послеобеденное время Мари просидела в их приемной, не смея шелохнуться,

и только поглядывала в открытое окно на двор, где готовился к отъезду Карл Валуа со свитой. Это зрелище на время отвлекло Мари от ее собственных бед. Никогда еще она не видела таких прекрасных коней, такой прекрасной сбруи, такой прекрасной одежды, и притом в таком множестве. Она вспомнила крестьян из Крессе, одетых в лохмотья, с тряпичными обмотками на ногах, и ей впервые пришла в голову мысль, что мир устроен весьма странно, раз одинаковые существа об одной голове и двух руках, равно сотворенные Господом Богом по его образу и подобию, принадлежат, если судить по их внешнему виду, к двум различным расам.

Молодые конюшие, заметив, что на них смотрит из окошка такая красавица, начали ей улыбаться, а потом, осмелев, слать воздушные поцелуи. Вдруг, прервав свою забаву, они бросились к какому-то вельможе, сплошь расшитому серебром, а тот, видно, был весьма горд собой и принимал царственные позы; потом вся кавалькада умчалась, и полуденный зной тяжело навис над дворами и садами дворца.

К концу дня за Мари пришла мадам Бувилль. Взобравшись на мулов, оседланных по-дамски, то есть ходивших под вьючным седлом, на которое

садились боком и ставили ноги на маленькую перекладинку, обе женщины в сопровождении слуг отправились в путь. У дверей таверн толпился народ, слышались крики; между сторонниками графа Валуа и людьми герцога Бургундского началась драка, причем обе стороны были изрядно под хмельком. Городской страже ударами дубинок удалось навести порядок.

— В городе неспокойно, — пояснила мадам Бувилль. — И я ничуть не удивлюсь, если завтра начнется смута.

Проехав через мост Сент-Женевьев и заставу Сен-Марсель, они выехали за пределы Парижа. Пригороды уже окутывал вечерний сумрак.

— В дни моей молодости, — продолжала мадам Бувилль, — здесь и двух десятков домов не было. Но теперь людям негде селиться в городе, вот они и застроили все поля.

Монастырь Святой Клариссы был обнесен высокой белой стеной, скрывавшей от постороннего глаза строения, палисадники и фруктовые сады. В стене — низенькая дверца и возле дверцы — башенка, встроенная в толщу каменной стены. Какая-то женщина, с низко надвинутым на лоб капюшоном, быстро прошла вдоль стены, приблизилась к башенке и, вынув из-под плаща

сверток, положила его в клеть; из свертка неслись жалобные попискивания; женщина повернула деревянный барабан, дернула за веревку колокол, но, заметив посторонних, бросилась прочь.

— Что она делает? — полюбопытствовала Мари.

— Подкинула своего младенца, рожденного вне брака, — пояснила мадам Бувилль, кинув на Мари осуждающий взгляд. — Таков обычай. Давайте поторопимся.

Мари стала подгонять своего мула. Ей подумалось, что, может, и ей тоже в один злосчастный день пришлось бы подкинуть свое дитя, так что не стоит слишком жаловаться на свою судьбу.

— Я так благодарна вам, мадам, за все ваши заботы обо мне, — пробормотала она, и на глазах ее выступили слезы.

– Наконец-то слышу от вас первое разумное слово, — ответила мадам Бувилль.

Через несколько минут перед ними распахнулись ворота, и Мари поглотило безмолвие святой обители.

Глава VII

Дворцовые ворота

Этим же вечером граф Пуатье добрался до замка Фонтебло, где ему предстояло провести ночь — последнюю ночь перед въездом в Париж. Он заканчивал ужин в обществе дофина Вьеннского, графа Савойского и своей многочисленной свиты, когда ему доложили о прибытии его дяди графа Валуа, его родного брата графа де ла Марша и их общего кузена Сен-Поля.

— Пусть войдут, пусть войдут немедленно, — приказал Филипп Пуатье.

Но сам не поспешил навстречу дяде. И когда тот, звонко чеканя шаг, торжественно задрав подбородок, появился в пропыленном плаще на пороге, Филипп не сделал даже шага в его сторону, а лишь поднялся с кресла и стоя ждал его приближения. Несколько смущенный таким приемом, Валуа замер в дверях, оглядывая присутствующих, и, так как Филипп упорно не двигался с места, Валуа пришлось сделать к нему несколько шагов. Все свидетели этой сцены замолкли. Когда Валуа приблизился, Филипп обнял его за плечи и дважды коснулся губами его щек, что могло бы при желании сойти за родственную встречу любящего племянника с дядей, но, коль

скоро племянник не соблаговолил сдвинуться с места, было чисто королевским жестом.

Поведение Филиппа рассердило Карла де ла Марша. «Неужели мы мчались всю дорогу, — подумал он, — для такой встречи? В конце концов, я ничуть не ниже Филиппа, мы с ним равны; так почему же он позволяет себе обращаться с нами свысока?»

Его прекрасное лицо с правильными чертами, на котором застыло глуповатое выражение, исказилось от горького чувства зависти.

Филипп протянул ему обе руки, поэтому Карлу де ла Маршу не оставалось ничего другого, как обнять брата, впрочем довольно холодно. Но, желая придать себе веса, а также подчеркнуть свое значение, он проговорил, указывая на Валуа:

— Филипп, вы знаете, что наш дядя старейший член царствующего дома. Мы оценили по достоинству ваше достохвальное согласие с ним и с его намерением взять власть в свои руки. Ибо королевству грозит гибель, если власть перейдет к ребенку, который еще не родился и который, естественно, не может осуществлять верховную власть, даже появившись на свет божий; а главное, как сын своей матери, он навсегда останется для нас чужестранцем.

Эта двусмысленная фраза прозвучала не совсем уместно. Она могла означать, что граф де ла Марш склоняется на сторону своего дяди Валуа, которому и надлежит быть регентом вплоть до рождения ребенка покойного короля, а буде таковой родится мужского пола, то и до его совершеннолетия; но она одновременно выдавала и непомерные притязания самого Валуа. Очевидно, граф де ла Марш повторил, но не совсем точно, те слова, которые вдалбливал ему по пути дядя. Некоторые выражения в этой тираде заставили Филиппа Пуатье нахмуриться. Ясно, Валуа метит на королевский престол.

— Мы нарочно взяли с собой нашего кузена Сен-Поля, — продолжал граф де ла Марш, — пусть он подтвердит вам, что такого же мнения придерживаются и бароны.

Филипп бросил на Карла презрительный взгляд.

— Весьма признателен вам, брат мой, за добрый совет, — холодно произнес он, — и за проделанный вами столь длинный путь лишь для того, чтобы я услышал ваше мнение. Но я полагаю, что вы устали не меньше, чем я, а усталость — плохой советчик. Посему предлагаю вам отправиться спать, а завтра со свежей головой в тесном кругу

обсудим все эти вопросы. Доброй ночи, мессиры… Рауль, Ансо, Адам, прошу вас следовать за мной.

И он вышел из залы, не предложив своим гостям отужинать и даже не поинтересовавшись, где и как они устроятся на ночлег.

В сопровождении Адама Эрона, Рауля де Преля и Ансо де Жуанвиля регент направился в королевские покои. С тех пор как Филипп Красивый испустил здесь дух, никто не касался королевского ложа, но теперь его приготовили для ночлега графу Пуатье. Филипп поторопился занять королевские покои главным образом для того, чтобы их не заняли другие.

Адам Эрон бросился было раздевать Филиппа.

— Боюсь, что нынче ночью мне не придется раздеваться, — остановил его Филипп. — Отправьте-ка, Адам, одного из моих конюших к мессиру Гоше де Шатийону и дайте ему знать, что завтра утром я буду у заставы д'Анфер. И потом пришлите сюда моего цирюльника, ибо я хочу иметь свежий вид… Велите также приготовить к полуночи двадцать лошадей, но только смотрите, когда мой дядя заснет, не раньше… А вам, Ансо, — добавил он, обратившись к сыну сенешаля де Жуанвиля, мужчине уже в летах, — а вам я поручаю предупредить графа Савойского

и дофина, а то они, чего доброго, решат, что я им не доверяю. Оставайтесь здесь до утра и, когда дядя обнаружит мое отсутствие, постарайтесь его задержать и всячески замедлить его отъезд. Сделайте так, чтобы он приехал в Париж как можно позже.

Оставшись наедине с Раулем де Прелем, Филипп погрузился в свои мысли, и легист не посмел нарушить этого молчаливого раздумья.

— Рауль, — проговорил наконец граф, — вы день за днем трудились рядом с моим покойным отцом, и вы знали его даже лучше, чем я. Скажите, как бы поступил он в подобных обстоятельствах?

— Поступил бы, как вы, ваше высочество, ручаюсь вам в том и говорю это не для того, чтобы вам польстить, а лишь потому, что твердо в этом уверен. Я слишком любил нашего государя, короля Филиппа, и слишком натерпелся с тех пор, как его призвал к себе Господь, и если я служу вам теперь верой и правдой, то лишь потому, что вы напоминаете мне его во всем, даже в мелочах.

— Увы, Рауль, увы, что я по сравнению с ним! Отец мог следить за полетом охотничьего сокола и ни на минуту не выпускать его из виду, а у меня слабое зрение. Отец без труда сгибал пальцами

подкову. Нет, я не унаследовал от него ни твердости руки во владении оружием, ни внешнего облика, по которому каждый узнавал короля.

Продолжая беседовать с Раулем, Филипп не отрываясь глядел на королевское ложе.

В Лионе он уже чувствовал себя регентом, и ничто там не могло поколебать этой уверенности. Но по мере приближения к столице вера эта понемногу улетучивалась, хоть он и скрывал это от посторонних. Как бы отвечая на не заданный вслух вопрос, Рауль де Прель проговорил:

— Но ведь, ваше высочество, такое положение создалось впервые. Недаром мы обсуждали его в течение нескольких дней. В том состоянии ослабленности, в каком находится ныне французское королевство, власть окажется в руках того, кто осмелится ее взять. И если это удастся сделать вам, Франция будет в выигрыше.

Когда легист удалился, Филипп, не раздеваясь, прилег на кровать, вглядываясь в маленькую лампу, свисавшую под пологом. Граф Пуатье не испытывал ни малейшей неловкости, никакого неприятного чувства на этом ложе, где еще так недавно покоилось тело его отца. Напротив, он как бы черпал в этом силу; ему казалось, что он становится сколком с отца, замещает его,

занимает то обширное место на земле, которое принадлежало королю. «Отец, вселитесь в меня!» — молил он и, не шевелясь, скрестив на груди руки, ждал чуда перевоплощения, надеясь, что в него вселится душа, отлетевшая к небу двадцать месяцев назад.

Из коридора донесся шум шагов, голоса, и он услышал, как его камергер сказал кому-то из свиты Карла Валуа, что граф Пуатье почивает. Тишина окутала замок. А через несколько минут явился брадобрей с неизменным своим тазиком, бритвами и нагретыми полотенцами. Пока его брили, Филипп вспоминал, как в этой самой комнате в присутствии всего двора покойный отец давал последние наставления Людовику, который, увы, не воспользовался мудрыми советами умирающего: «Вникните, Людовик, вникните, что значит быть королем Франции. Как можно скорее ознакомьтесь с состоянием вашего королевства».

Ровно в полночь вошел Адам Эрон и доложил, что лошади готовы. И когда граф Пуатье вышел из королевской опочивальни, ему показалось, что не было этих двадцати месяцев, прошедших со дня смерти Филиппа Красивого, и ничто не изменилось за это время, словно он принял прямо

из рук покойного отца бразды правления.

Луна благоприятствовала путникам, освещая им дорогу. Июльское небо, все в мерцающих звездах, напоминало богатый покров Пресвятой Богородицы. Лес слал им навстречу все свои ароматы — запахи мха, прелой земли и папоротника, под ветвями слышался таинственный шорох зверья, населявшего этот мрак. Филипп Пуатье скакал на чистокровном коне и наслаждался его прекрасным аллюром. Свежий ветер хлестал по его лицу, чуть раздраженному после бритья.

«Как будет жаль, — думал он, — если столь чудесный край попадет в скверные руки».

Небольшая кавалькада миновала лес, пронеслась галопом через Понтьерри и на рассвете сделала привал в ложбине у Эссона, чтобы перекусить и дать отдышаться лошадям. Филипп поел, сидя на межевой тумбе. Лицо его сияло счастьем. Ему было всего двадцать три года, их ночная вылазка чем-то напоминала воинский поход, и он весело шутил со своими спутниками. Веселость, столь редкая у Филиппа, успокоила всех.

В тот час, когда пронзительный звон окрестных монастырей сзывал верующих к ранней мессе, Филипп достиг ворот Парижа. Там его уже до-

жидались Людовик д'Эврё и Гоше де Шатийон. Коннетабль хмурился, как в дни проигранных сражений. Без лишних слов он предложил графу отправиться в Лувр.

— А почему не прямо во дворец Сите? — удивился Филипп.

— Потому что по приказу наших достоуважаемых сеньоров графа Валуа и графа де ла Марша дворец занят их вооруженными людьми. А в Лувре находятся королевские войска, повинующиеся мне, то есть вам, а также арбалетчики мессира Галара… Но надо действовать решительно и спешно, — добавил коннетабль, — дабы опередить наших двух Карлов. Если вы дадите мне приказ, ваше высочество, я овладею дворцом.

Филипп понимал, что каждая минута сейчас дорога. Но ведь в любом случае он опередил Валуа на шесть-семь часов.

— Я не хочу предпринимать никаких решительных мер, прежде чем не узнаю, будут ли они благосклонно приняты зажиточными горожанами и народом Парижа, — ответил он.

И, прибыв в Лувр, Филипп первым делом велел вызвать к себе из Парижской палаты мэтра Кокатри, мэтра Жантьена и еще нескольких знатных нотаблей, а с ними прево Гийома, настоятеля

собора Святой Мадлены, который в марте занял место прево Плуабуша.

Не тратя зря слов, Филипп сообщил собравшимся о том, какое огромное значение придает он богатым горожанам, равно как и людям, занимающимся ремеслами и торговлей. Польщенные его словами, горожане сразу же успокоились. С такими речами никто не обращался к ним со дня смерти Филиппа Красивого, которого при жизни они, случалось, и поругивали тайком, но о котором в последнее время вспоминали с сожалением. Отвечал Филиппу Жоффруа Кокатри, генеральный контролер, наблюдавший за полноценностью монеты, имевшей хождение в государстве, в чьем ведении находились субсидии и пособия, распределитель военной казны, поставщик армии, досмотрщик над всеми портами и дорогами королевства, глава счетной палаты, — все эти должности он получил при Филиппе Красивом, и покойный король дал ему, как и всем высоким должностным лицам государства, право на наследственное пособие и никогда не спрашивал с него отчета в делах. Мэтр Кокатри побаивался Карла Валуа, который всегда противился назначению горожан на высокие государственные посты, что и доказал на примере

Мариньи; он опасался, что Карл отстранит его от должности, чтобы отобрать огромное состояние, нажитое за последние годы. Посему Кокатри поспешил заверить графа Пуатье, величая его при всяком удобном и неудобном случае «мессиром регентом», в полной преданности парижского населения. А слово мэтра Кокатри стоило многого, ибо в Парижской палате он пользовался неограниченной властью и был достаточно богат, чтобы в случае надобности купить всех городских бродяг и поднять в Париже мятеж.

Весть о возвращении Филиппа Пуатье быстро распространилась по столице. Бароны и рыцари, сочувствовавшие его назначению, начали съезжаться в Лувр, и первой появилась графиня Маго Артуа, лично извещенная о приезде зятя.

— Ну, как себя чувствует моя душенька Жанна? — обратился Филипп к теще, открывая ей объятия.

— Ждет со дня на день разрешения от бремени.

— Вот только закончу дела и сразу же поеду к ней.

После чего граф снова решил посоветоваться со своим дядей Людовиком д'Эврё и коннетаблем.

— А сейчас, Гоше, смело можете брать дворец. Постарайтесь, если, конечно, удастся, закончить

операцию к полудню. Но всеми возможными способами избегайте кровопролития. Действуйте более страхом, чем насилием. Не хотелось бы мне вступать во дворец по трупам.

Гоше принял командование над вооруженной стражей, собранной в Лувре, и направился к Сите. Одновременно он послал прево в квартал Тампль кликнуть самых искусных плотников и слесарей.

Ворота дворца оказались на запоре. Гоше, при котором неотступно находился командир арбалетчиков, потребовал, чтобы его выслушали. Караульный офицер, выглянув в окошечко, пробитое над главным входом, ответил, что может отпереть ворота лишь по распоряжению графа Валуа или графа де ла Марша.

— Придется вам все-таки мне открыть, — сказал коннетабль, — ибо я намерен войти во дворец и приготовить его к встрече регента, который явится сюда сразу же вслед за нами.

— Открыть мы не можем.

Гоше де Шатийон пригнулся к луке седла.

— Что ж, откроем тогда сами, — сказал он.

И он махнул рукой, подзывая к себе мэтра Пьера, королевского плотника, который явился во главе целого отряда своих подручных, несших

пилы, клещи и толстые железные брусья. В то же самое время арбалетчики, вставив ногу в петлю — нечто вроде стремени, помещавшегося на конце самострела, — натянули луки, вложили стрелы в зарубку и выстроились боевым строем, целясь в амбразуры и в просветы между зубцами стены. Лучники и копейщики, сдвинув вплотную щиты, прикрывали, как панцирем, плотников сбоку и сверху. В прилегающих ко дворцу улочках толпились мальчишки и зеваки, которым не терпелось увидеть осаду. Впрочем, держались они на почтительном расстоянии от места предполагаемой битвы. Это было нечаянное развлечение, одних разговоров о таком событии хватит на полгода: «Говорю вам, я сам там был… А коннетабль как вытащит шпагу, длинную-предлинную, своими глазами видел… Уж поверьте на слово, было их две тысячи, да нет, какое, больше чем две…»

Наконец Гоше громовым голосом, каким посылал войска в атаку, крикнул, подняв забрало:

— Мессиры, находящиеся внутри дворца, смотрите, вот мастера — плотники и слесаря, они сейчас разнесут ворота! А вот и арбалетчики мессира Галара, они окружили дворец со всех сторон! Ни одному из вас не удастся проскользнуть наружу. В последний раз предлагаю вам открыть вход,

ибо, если вы не сдадитесь на нашу милость, ваши головы полетят прочь, будь вы самые знатные бароны и сеньоры. Не ждите от регента пощады.

И опустил на лицо забрало, показывая, что в дальнейшие переговоры вступать не намерен.

А там, во дворце, должно быть, царили страх и смятение, так как едва только плотники прикоснулись к воротам, они раскрылись сами. Гарнизон графа Валуа сдался.

— В самое время взялись за ум, — похвалил их коннетабль, въезжая как завоеватель во дворец. — Возвращайтесь по домам или в особняки ваших сеньоров, не вздумайте собираться кучно, тогда вам никто не причинит зла.

Через час Филипп Пуатье расположился в королевских покоях. И сразу же принял все меры предосторожности. Двор Сите, обычно открытый для толпы, заперли, выставили вооруженную стражу и тщательно удостоверяли личность каждого, кто пытался проникнуть внутрь. Торговцев красным товаром, издавна пользовавшихся привилегией торговать в большой дворцовой галерее, попросили закрыть на время их лавки.

Когда граф Валуа и его племянник Карл де ла Марш прибыли в Париж, они сразу поняли, что их ставка бита.

— Филипп сыграл с нами злую шутку, — твердили они.

И оба поспешили во дворец, чтобы за неимением иного выхода повыгоднее продать свое согласие подчиниться новому регенту. Вокруг Филиппа Пуатье уже толпились знатные сеньоры, горожане и священнослужители, в числе коих находился и Жан Мариньи, как всегда поспешивший встать на сторону сильного.

— Недолго он продержится! Видно, не слишком уверен в своих силах, раз вынужден опираться на простонародье, — вполголоса заметил Валуа, увидев среди присутствующих мэтра Кокатри, Жантьена и других нотаблей.

Тем не менее он принял самый беспечный вид и пробился вперед, чтобы испросить у Филиппа прощения за утренний инцидент.

— Мои оруженосцы и стража ничего не знали. А дан им был такой строгий приказ из-за… королевы Клеменции.

Он ждал от племянника суровой отповеди, больше того, мечтал о ней, чтобы под благовидным предлогом вступить с племянником в открытую борьбу. Но Филипп и не подумал предоставить дяде выгоду ссоры и ответил самым миролюбивым тоном:

— Я вынужден был так действовать, к великому моему огорчению, ибо необходимо было предотвратить козни герцога Бургундского, которому ваш отъезд развязал руки. Нынче ночью в Фонтенбло я получил об этом весть и не захотел вас будить.

Желая скрыть свою неудачу, Карл Валуа волей-неволей принял это объяснение и даже заставил себя приветливо улыбнуться коннетаблю, которого не без основания считал главным действующим лицом всей этой интриги.

Карл де ла Марш, не столь понаторевший в искусстве притворства, стоял не раскрывая рта.

Тут граф д'Эврё внес предложение, которое они заранее обсудили с Филиппом. Воспользовавшись той минутой, когда Пуатье удалился в угол якобы за тем, чтобы решить кое-какие неотложные дела с коннетаблем и Милем де Нуайе, Людовик д'Эврё начал:

— Благородные сеньоры и все вы, мессиры, послушайтесь моего совета, пусть ради блага нашего королевства и предотвращения пагубных смут наш возлюбленный племянник Филипп возьмет в свои руки бразды правления с всеобщего нашего согласия и вершит дела от имени будущего своего племянника, если по Господней

милости королева Клеменция разродится младенцем мужеского пола; советую также созвать ассамблею с участием самых высокопоставленных в государстве лиц, и притом по возможности скорее; пусть в ней примут участие пэры и бароны, дабы одобрить наше решение и присягнуть на верность регенту.

Это был ответный удар на заявление, сделанное накануне в Фонтенбло Карлом де ла Маршем. Но эту сцену разыграли более искусные актеры. Подстрекаемые приспешниками графа Пуатье, все присутствующие дружно выразили свое одобрение. И тут Людовик д'Эврё повторил жест графа де Форе, когда тот в Лионе вложил обе свои руки в руки Филиппа.

— Клянусь вам в верности, племянник, — сказал он, преклоняя колена.

Филипп поднял дядю с колен, облобызал и успел шепнуть ему на ухо:

— Все прошло как нельзя лучше; огромное спасибо вам, дядюшка.

Карл де ла Марш, в полном отчаянии, не в силах сдержать ярости при виде торжества брата, злобно прошипел:

— Король… Он себя уже королем считает!

Но Людовик д'Эврё подошел к Карлу Валуа и

произнес:

— Простите, брат мой, что я нарушил законы старшинства.

Карлу Валуа осталось лишь одно — смириться. Он приблизился к Филиппу, протягивая руки. Но эти руки повисли в воздухе.

— Надеюсь, дядя, вы окажете мне честь и будете заседать в моем Совете, — сказал Филипп.

Валуа побледнел. Еще накануне он собственноручно подписывал ордонансы и скреплял их своей личной печатью. А сегодня ему как великую честь предлагают заседать в Совете, как будто у него нет на это права!

— Вручите нам также ключи от казны, — добавил Филипп, понижая голос. — Я отлично знаю, что там свищет ветер. Но пусть хоть окончательно все оттуда не высвищет.

Валуа невольно отпрянул; это уж была полная отставка от всех должностей.

— Но, племянник, не могу… — пробормотал он. — Ведь надо еще привести в порядок счета…

— Так ли уж вы, дядюшка, стремитесь привести счета в порядок? — спросил Филипп с еле заметной иронией. — В таком случае мы также вынуждены будем их проверить, а равно судьбу имущества, изъятого у Ангеррана Мариньи.

Лучше отдайте нам ключи, и будем считать, что мы квиты.

Валуа понял, что это угроза.

— Будь по-вашему, племянник, ключи будут здесь через час.

Тут только Филипп протянул дяде руки и принял присягу от своего самого могущественного соперника.

К новому регенту подошел коннетабль Франции.

— А теперь, Гоше, — шепнул ему Филипп, — займемся бургундцем.

Глава VIII
Первые визиты графа Пуатье

Граф Пуатье не строил себе иллюзий. Он одержал первую победу, быструю и внушительную, но понимал, что его противники так просто не сложат оружия.

Приняв от его высочества Валуа присягу на верность, хотя и не сомневаясь, что присягу принесли лживые уста, Филипп первым делом направился к своей невестке Клеменции, чьи покои находились в самом дальнем конце дворца. Его сопровождали Ансо де Жуанвиль и графиня

Маго. Завидев Филиппа, Юг Бувилль даже заплакал от радости и, упав на колени, облобызал его руки. Бывший первый камергер Филиппа Красивого, хоть он и входил в Совет пэров, не явился на вечернее заседание; все последнее время он ни на минуту не покидал своего поста, не выпускал из рук шпаги. Осада дворца людьми коннетабля, общая суматоха и бегство приверженцев графа Валуа — все это оказалось слишком суровым испытанием для его чересчур чувствительной натуры.

— Простите, ваше высочество, простите мне эту слабость… Я плачу от радости, оттого, что вы возвратились, — бормотал он, обливая слезами тонкие пальцы регента.

— Ну полноте, полноте, дражайший Бувилль, — сказал Филипп.

Древний старец Жуанвиль не узнал графа Пуатье. Не узнал он также и родного сына и только после трехкратных повторений понял, кто перед ним, но тут же опять все перепутал и почтительно склонился перед Ансо.

Бувилль распахнул двери покоев королевы. Но когда Маго двинулась было вслед за Филиппом, хранитель чрева обрел прежнюю энергию и воскликнул:

— Только вы один, ваше высочество, только вы один!

И захлопнул двери перед самым носом графини.

Королева Клеменция сидела в своих покоях с бледным, усталым лицом, и чувствовалось, что тревожные события, разыгравшиеся во дворце и взволновавшие жителей столицы, были ей глубоко безразличны. Но, увидев Филиппа, который приближался к ней с широко раскрытыми объятиями, она невольно подумала: «Выйди я замуж за него, я не была бы сейчас вдовой. Почему Людовик? Почему не Филипп?» Она гнала прочь эти мысли, которые считала богохульством, упреком Всевышнему. Но нет на свете такой силы, даже пламенная вера не может помешать двадцатитрехлетней вдове терзаться вопросом: почему, почему другие молодые мужчины, почему чужие мужья остались в живых?

Филипп сообщил ей о своем регентстве и уверил королеву в своей безусловной преданности.

— Да, брат мой, да, помогите мне, — пробормотала она.

Ей хотелось сказать: «Помогите мне жить, помогите мне бороться с безысходным моим горем. Помогите мне произвести на свет это новое

существо, которому отныне принадлежат все мои помыслы», но она не сумела выразить свою мысль и только спросила:

— Почему наш дядя Валуа силой увез меня из Венсеннского дворца? Ведь Людовик на смертном одре подарил дворец мне.

— Стало быть, вы хотите туда возвратиться? — осведомился Филипп.

— Это единственное мое желание, брат мой! Там я почувствую себя сильнее. И дитя мое родится в близости от того места, где душа его отца отлетела прочь.

Не в привычках Филиппа было принимать решения наспех, даже самые, казалось бы, второстепенные. Он отвел взор от бледного личика Клеменции, полускрытого белой вуалью, и через окно поглядел на шпиль Сент-Шапель; четкие линии часовни расплывались и туманились в его близоруких глазах, и он видел лишь огромный каменный стебель, разукрашенный золотом, на вершине которого как бы расцветала королевская лилия.

«Если я удовлетворю эту просьбу, — думал он, — Клеменция будет мне признательна как своему защитнику и покровителю и будет следовать всем моим решениям. К тому же моим

противникам будет труднее добраться до нее в Венсенне, а значит, и труднее пользоваться ею как орудием против меня. Хотя в теперешнем ее состоянии скорби никому она не послужит орудием».

— Я стремлюсь только к тому, сестра, чтобы удовлетворить любое ваше желание, — произнес он, — и когда высокая ассамблея утвердит меня в правах регента, первой моей заботой будет отправить вас обратно в Венсенн. Сегодня понедельник, ассамблея, поскольку я тороплюсь, соберется не позднее пятницы. Так что в следующее воскресенье вы, надеюсь, сможете прослушать мессу в вашем собственном дворце.

— Я знала и знаю, Филипп, что вы мне настоящий брат. Ваш приезд — первое утешение, милостиво посланное мне Господом.

Выйдя из покоев королевы, Филипп увидел поджидавшую его тещу. Она сцепилась было с Бувиллем, но, потерпев поражение, широким мужским шагом мерила длинную галерею под недоверчивым взглядом конюших.

— Ну, как она? — обратилась Маго к Филиппу.

— Благочестива и смиренна, как всегда, и вполне достойна произвести на свет короля Франции, — ответил Филипп громко, чтобы его могли

слышать присутствующие. — Затем, понизив голос, добавил: — Не думаю, что при ее состоянии здоровья она способна доносить ребенка до положенного срока.

— Лучшего подарка она не может нам преподнести, а главное, все тогда уладилось бы само собой, — тоже полушепотом ответила Маго. — Кончились бы, слава те Господи, все эти страхи и подозрения, вся эта комедия с охраной, словно кругом идет война. С каких это пор пэру Франции заказан вход к королеве? Я тоже осталась вдовой, но, черт возьми, если дело касалось интересов моих владений, люди свободно приходили ко мне.

Эта отравительница искренне негодовала, что меры, принятые для охраны королевы, направлены и против нее тоже.

Филипп, еще не видевший жены, последовал за Маго в отель Артуа.

— Ваша разлука тяжело отразилась на моей дочери, — сказала Маго. — Но тем не менее вы, надеюсь, найдете ее восхитительно свежей. Никто не скажет, что она накануне родов. И я тоже, когда бывала в тягости, помню, до последней минуты бегала по всему замку.

Встреча графа Пуатье с женой прошла весьма трогательно, хотя не было пролито ни одной

слезы. Правда, Жанна отяжелела и двигалась не так изящно, как прежде, но весь ее облик свидетельствовал об отменном здоровье и счастье. Начинало темнеть, и при свечах — отблеск коих благоприятен дамам, заботящимся о своей наружности, — лицо Жанны не носило никаких следов ее положения, словно она и не была на сносях. Несколько ниток кораллов, которые, как известно, помогают при родах, украшали ее шейку.

Только в присутствии жены Филипп впервые понял, сколь велика одержанная им победа, и впервые почувствовал гордость. Обняв жену, он произнес:

— Надеюсь, милый друг, отныне я смогу называть вас мадам регентшей.

— Если бы Господь Бог смилостивился надо мной и послал вам сына! — ответила она, прижимаясь к груди худощавого, но крепкого Филиппа.

— Пусть бы Господь Бог простер свое милосердие, чтобы роды произошли не раньше пятницы, — шепнул Филипп на ухо жене.

Но тут же между Маго и Филиппом начался спор. Графиня Артуа считала, что Жанну следует немедленно перевести в королевский дворец, в покои ее супруга. А Филипп держался проти-

воположного мнения и требовал, чтобы Жанна оставалась в отеле Артуа. Он приводил десятки вполне разумных доводов, но скрыл единственную истинную причину своего упорства и, конечно, ничуть не убедил графиню Маго. В королевском дворце соберется ассамблея, неизвестно еще, пройдет ли она мирно; во всяком случае, волнение может пагубно отразиться на состоянии роженицы; с другой стороны, Филипп считал необходимым дождаться отъезда королевы Клеменции в Венсенн и лишь после этого поселить Жанну в королевском дворце.

— Бог знает, что вы говорите, Филипп, — воскликнула Маго. — А вдруг завтра ее уже поздно будет трогать с места? Неужели вам не хочется, чтобы ваш ребенок увидел божий свет во дворце?

— Именно этого-то я и хочу избежать.

— Решительно не понимаю вас, сын мой, — промолвила Маго, пожимая своими могучими плечами.

Этот спор утомил Филиппа. Он не спал больше суток, проскакал еще до рассвета пятнадцать лье, а сегодняшний день был самым трудным, самым беспокойным днем за всю его жизнь. Он досадливо провел ладонью по щекам, уже успев-

шим зарасти густой щетиной; он чувствовал, что временами веки его неудержимо смыкаются. Но решил не поддаваться усталости. «В постель, скорее в постель. Только бы она быстрее подчинилась мне, и тогда я смогу лечь», — думал он.

— Узнаем лучше мнение Жанны. Чего вы сами хотите, душенька? — спросил он, уверенный в ответе жены.

Графиня Маго славилась чисто мужским умом, чисто мужским самообладанием и неусыпно пеклась о престиже своего славного рода. Жанна пошла характером не в мать и уже давно смирилась с тем, что самой судьбой предназначена для второстепенных ролей. Сначала ее прочили в невесты Сварливому, но потом отдали в жены второму сыну Филиппа Красивого, и таким образом ей пришлось распрощаться со столь уже близкой короной Наварры и Франции. Когда разразился неслыханный скандал в Нельской башне, она, хоть и помогала сестрам в любовных интригах, хоть и приобщилась к чужим романам, сама не нарушала супружеской верности; даже когда преступницы понесли жестокую кару и были осуждены на пожизненное заключение, она избегла их суровой участи. Причастная ко всем драмам, Жанна ни в одной не играла главной

роли. Скорее из чувства какого-то внутреннего изящества, нежели по соображениям морали брезгливо сторонилась она крайностей; а год, проведенный в крепости Дурдан, лишь усугубил ее природную осмотрительность. Умная, чувствительная и ловкая, Жанна искусно и всегда кстати прибегала к исконному женскому орудию — к покорности.

Сразу поняв, что Филипп неспроста настаивает на своем, она сумела подавить мимолетное чувство вполне законного тщеславия и произнесла:

— Я хочу, матушка, рожать именно тут. Мне здесь будет лучше.

В сущности, ей действительно было все равно, родится ли ее четвертый ребенок в королевском дворце или где-либо еще. Филипп поблагодарил жену ласковой улыбкой. Сидя в огромном кресле с прямой спинкой, удобно скрестив длинные ноги, он стал расспрашивать тещу о повивальных бабках и акушерках, которые будут принимать младенца; пожелал узнать их имена, осведомился, кто присоветовал позвать именно их и можно ли на них полностью положиться. А главное, добавил он, пусть приведут их к присяге, хотя эта мера предосторожности принималась лишь при разрешении от бремени особ королевского рода.

«Как он заботится обо мне, какой у меня добрый супруг», — думала Жанна, слушая его речи.

Филипп потребовал также, чтобы, когда у графини начнутся схватки, ворота отеля Артуа закрыли наглухо. И пусть оттуда никого не выпускают, за исключением одного лица, которому будет поручено сообщить ему, Филиппу, о положении роженицы.

— Ну, хотя бы вас, — добавил он, указывая на красавицу Беатрису д'Ирсон, присутствовавшую при разговоре. — Моему камергеру будет дано соответствующее распоряжение, и он вас проведет ко мне в любой час, если даже я буду заседать в Совете. И если вокруг меня будут посторонние, говорите шепотом и ни слова никому другому… если родится сын. Я доверяю вам, ибо не забыл, что вы верно послужили мне.

— Если бы вы знали, ваше высочество, как верно я вам служу, — ответила Беатриса, чуть склонив голову.

Маго метнула на Беатрису испепеляющий взгляд. Даже она сама, бесстрашная графиня Артуа, трепетала перед этой девицей, казалось бы такой томной и бесхитростной, но способной на самые отчаянные поступки. Беатриса по-прежнему улыбалась. Эта мимическая сцена

не ускользнула от Жанны, но она сочла благоразумным промолчать. Между графиней и ее фрейлиной накопилось столько тайн, что Жанна предпочитала не поднимать над ними завесы.

Она тревожно оглянулась на мужа, но тот ничего не заметил. Опершись затылком о спинку кресла, он крепко спал, сраженный внезапным сном победителя. На его остроносом и обычно суровом лице застыло кроткое выражение, словно он прислушивался к чему-то, и сейчас регент Филипп напоминал того мальчика, каким был когда-то. Жанна умилилась. Неслышно ступая, подошла она к мужу и осторожно коснулась губами его лба.

Глава IX
Дитя, родившееся в пятницу

На следующий же день Филипп начал готовиться к ассамблее, назначенной на пятницу. Если он победит, никто не осмелится оспаривать его право на власть ни сейчас, ни потом.

По его приказу срочно рассылали гонцов и глашатаев созывать на ассамблею по издавна установленному обычаю знатных людей королевства — но позвали лишь тех, кто находился

не более чем в двух днях пути от Парижа; преимущества такого приглашения были очевидны: с одной стороны, нужно было ковать железо, пока оно горячо, а с другой — устранить кое-кого из знатных сеньоров, чьей неприязни не без основания опасался Филипп, имея в виду графа Фландрского и короля Англии.

Одновременно он поручил Гоше де Шатийону, Милю де Нуайе и Раулю де Прелю подготовить положение о регентстве, каковое подлежало рассмотрению на ассамблее. Опираясь на уже принятые решения, легисты утвердили следующие пункты: граф Пуатье будет управлять обоими королевствами во временном звании хранителя, регента и правителя и взимать все королевские доходы. Ежели королева Клеменция родит сына, тот, само собой разумеется, будет королем, а Филипп останется регентом вплоть до его совершеннолетия. Но если Клеменция родит дочь… Вот тут-то и начинались главные трудности. Ибо по справедливости следовало бы короновать в этом случае маленькую Жанну Наваррскую, дочь Сварливого от первого брака. Но доказано ли, что она его законная дочь? Этим вопросом задавался весь двор, все королевство. Не будь скандальной истории с Нельской баш-

ней, не будь любовной интриги и суда в Поатуазе, права девочки на французский престол были бы неоспоримы, и она, за неимением наследника мужского пола, стала бы королевой Франции. Но в отношении маленькой Жанны существовали тяжелые подозрения, и именно на ее незаконное происхождение особенно напирал Карл Валуа, устраивая второй брак Людовика X, да и сам Филипп при случае не прочь был намекнуть на это обстоятельство. Сопоставление дат рождения Жанны и начала преступной связи ее матери наводило на кое-какие мысли. Равно как и то непонятное отвращение, с каким Людовик относился к своей дочери, которой запрещено было даже показываться на глаза отцу. И неудивительно поэтому, что при дворе прошел слух, что она дочь Филиппа д'Онэ.

Таким образом, истории Нельской башни, приукрашенной народной фантазией, суждено было со временем стать некой волшебной сказкой, легендой великой любви, порока, преступления и ужаса; этот, в общем, обычный адюльтер, обнаруженный два года назад, поставил перед государственными мужами сложную династическую проблему, и именно он изменил издревле принятый во Франции порядок наследования.

Кто-то предложил уже сейчас решить, что корона в любом случае переходит к ребенку Клеменции, будь то мальчик или девочка.

Услышав такие слова, Филипп нахмурился и привел десяток вполне разумных доводов против этого проекта. Безусловно, подозрения насчет законнорожденности Жанны Наваррской вполне основательны, но ведь прямых доказательств не существует. Ни мать Маргариты Наваррской, престарелая Агнесса, вдовствующая герцогиня Бургундская, ни ее сын, Эд IV, нынешний герцог Бургундский, конечно, не согласятся с тем, чтобы их внучку и племянницу насильственно лишили прав на престол. Все враги королевской власти, и первый — граф Фландрский, не преминут принять их сторону ради своих личных выгод. Таким образом, во Франции может вскоре вспыхнуть гражданская война, война двух королев.

— В таком случае, — предложил Гоше де Шатийон, — давайте прямо так и скажем, что женщины не могут взойти на престол. Должен же существовать какой-нибудь старинный обычай, на него-то мы и сошлемся.

— Мне тоже приходила в голову такая мысль, — отозвался Миль де Нуайе. — Более того, я велел просмотреть все законы, но, увы, ничего не об-

наружил.

— Пускай ищут получше! Поручите это ученым мужам из Университета и парламента. Если они возьмутся за дело, они раскопают что угодно, под любое решение подведут обычай и истолкуют его так, как нам надобно. Они до самого Хлодвига дойдут и докажут как дважды два, что вам нужно отсечь голову, поджарить пятки или отрубить вам то, чем вы особенно дорожите.

— Ваша правда, так далеко они не заглядывали, — согласился Миль. — Я приказал им начинать с королевских обычаев, установленных Гуго Великим. Следовало бы копнуть поглубже. Но, боюсь, к пятнице мы ничего подходящего не обнаружим.

Убежденный женоненавистник, как и все добрые вояки, коннетабль упрямо твердил, свирепо двигая своей квадратной челюстью и жмуря морщинистые, как у черепахи, веки:

— Ей-богу, просто безумие позволять женщинам править страной! Ну скажите, где вы видели, чтобы дама или девица командовала армией, не говоря уже о том, что каждый месяц она считается нечистой и каждый год беременеет! И как она, по-вашему, может привести к повиновению вассалов, если не способна смирить голос

собственной плоти? Нет, и думать об этом не хочу, и если такое случится — возвращаю вам свою шпагу. Выслушайте меня, мессиры, Франция слишком благородное королевство, чтобы засадить ее за прялку и ткацкий станок. Негоже лилиям прясть!

Этот афоризм хоть и не был немедленно принят всеми присутствующими, все же запал в голову легистам, и позже они не преминули с успехом пустить его в ход.

Филипп Пуатье наконец одобрил весьма двусмысленно составленный документ, откладывавший окончательное решение на неопределенный срок.

— Главное — поставить вопросы, но самим ответа на них не давать, — говорил он. — И напустить побольше туману, дабы каждый поверил, что здесь-то и таится для него прямая выгода.

Таким образом было установлено, что, буде королева Клеменция разрешится дочерью, Филипп останется регентом вплоть до совершеннолетия старшей своей племянницы Жанны. Только тогда будет решено, кому перейдет корона — то ли двум принцессам, между коими поделят Францию и Наварру, то ли одной из них, которая будет, как и ныне, править двумя объединенными королев-

ствами, то ли ни одной из них, если обе откажутся от своих законных прав или ежели ассамблея пэров, призванная для обсуждения, решит, что Францией не может править женщина; в таком случае корона переходит ближайшему родственнику мужского пола последнего короля… другими словами, Филиппу Пуатье. Итак, впервые было официально названо его имя как претендента на престол, но при этом было нагромождено столько оговорок, что создавалось впечатление, будто решение это чисто временное, скорее всего обычный компромисс, и притом весьма спорный.

Это установление, одобренное лично каждым из баронов, сторонников Филиппа, было единодушно принято.

Одна лишь Маго выказала непонятное упрямство и не согласилась одобрить этот акт, подготовляющий восхождение на престол Франции ее зятя и ее собственной дочери. Кое-какие пункты этого устава пришлись ей не по душе.

— А нельзя ли просто написать, — твердила она, — «буде обе королевские дочери откажутся от своих прав…» и не выносить на ассамблею пэров решение вопроса о том, могут ли вообще править особы женского пола?

— Да что вы, матушка, — возразил Филипп, — в

таком случае они ни за что не откажутся. Пэры, а ведь вы сами принадлежите к их числу, — единственная полномочная ассамблея. В прежние времена пэры избирали короля, как кардиналы избирают папу или пфальцграфы — императора, и именно они выбрали нашего предка Гуго, который и стал герцогом Франции. Если теперь им не приходится избирать, то лишь потому, что в течение трехсот лет ваши короли бессменно от отца к сыну наследовали престол[10].

— Хорош порядок, который зависит от счастливого случая! — возразила Маго. — Ведь ваш устав будет на руку моему племяннику Роберу. Вот увидите, он непременно этим воспользуется и опять попытается отобрать у меня мое графство.

Как и всегда, все помыслы Маго занимал ее

---

[10] Примечания: 10

Обычно забывают про изначально выборный характер монархии Капетингов, который предшествовал ее наследственному характеру или, по крайней мере, сосуществовал с ним. По смерти от несчастного случая Людовика V Ленивого, погибшего в двадцать лет после нескольких месяцев царствования, корона посредством выборов была передана Югу Капету, герцогу Французскому и сыну Юга Великого. Юг Капет сразу же приобщил к престолу своего сына Робера II, заставив выбрать его как своего преемника и короновать в тот же год, когда короновался сам. И так было в течение следующих царствований. Как только старший сын короля объявлялся наследником, пэрам оставалось утвердить этот выбор, и заранее назначенный преемник короновался еще при жизни своего отца.

Первым от этой традиции предварительного выбора отказался Филипп Август. Он проявлял мало уважения к способностям своего сына и, без

сомнения, ничуть не желал приобщать его к правлению. По смерти Филиппа Августа Людовик VIII принял 14 июля 1223 г. корону Франции точно так, как принял по наследству вотчину. С этого дня французская монархия стала по-настоящему наследственной.

спор с племянником из-за наследства, а никак не интересы Франции.

— Обычаи государства не одно и то же, что обычаи ленных владений, матушка. И вам легче будет сохранить свое графство не с помощью различных юридических закавык, а с помощью короля, другими словами, вашего зятя.

Маго, хоть и не дала убедить себя, вынуждена была покориться.

— Подите ждите после этого благодарности от зятьев, — жаловалась она вечером Беатрисе д'Ирсон. — Тут хлопочешь, подносишь яд королю, чтобы очистить им место, а они, нате вам, сразу же начинают делать все по-своему и ни с кем не желают считаться…

— А все потому, мадам, что он не знает достоверно, чем вам обязан, не знает он также, почему и как нашего государя Людовика вынесли из дворца ногами вперед.

— И не надо ему ничего знать, господи боже ты мой! — воскликнула Маго, поспешно коснувшись того самого места на груди, где висела ладанка с мощами святого Дрюона. Каждый раз, когда речь заходила о ее злодеяниях, она прибегала к его высокой защите. — В конце концов, это же его родной брат, и наш Филипп по-своему понимает

справедливость. Придержи-ка язычок, сделай милость, придержи-ка язычок!

Тем временем Карл Валуа с помощью Карла де ла Марша и Робера Артуа развил бурную деятельность; они твердили всем и каждому, что назначать регентом графа Пуатье — безумие и столь же безумно прочить его в наследники престола. У Филиппа и его тещи слишком много врагов; кончина Людовика пришлась им на руку, чего они теперь и не скрывают, и вряд ли они совсем уж непричастны к этой подозрительно быстрой смерти. Он, Валуа, совсем другое дело, и он один, по его словам, может разрешить все трудные проблемы, стоящие перед Францией. Он в дружеских отношениях с Неаполитанским королем и, понятно, сумеет предотвратить любые неприятности, могущие возникнуть со стороны Клеменции. К тому же он единственный из всей королевской фамилии сохранил, вопреки войнам и набегам, добрососедские отношения с графом Фландрским. Оказав немало услуг папскому престолу, он пользуется безграничным доверием итальянских кардиналов, а без них папы не выберешь, несмотря на все грязные махинации с конклавом, который заперли в соборе. Да и бывшие тамплиеры не забыли, что Карл не одобрял

гонений на их орден, так что и в этом отношении он тоже наиболее подходящая кандидатура в регенты.

Когда до Филиппа дошел слух об этих кознях, он поручил своим сторонникам на все такие разговоры отвечать одно: странно все-таки, что родной дядя короля хвастает своей близостью с врагами короны и ищет в них поддержку, и если желательно, чтобы папа был в Риме, а Франция в руках анжуйцев, фламандцев или воскресшего ордена тамплиеров, Филипп, не мешкая, передаст графу Валуа бразды правления.

Наконец наступила долгожданная пятница, когда должна была собраться ассамблея. На заре Беатриса д'Ирсон явилась во дворец и была тут же проведена в покои Филиппа. Придворная дама графини Маго изрядно запыхалась, промчавшись единым духом по улице Моконсей. Филипп приподнялся на подушках.

— Мальчик? — спросил он.

— Мальчик, ваше высочество, и на редкость здоровый, — ответила Беатриса, взмахивая ресницами.

Филипп поспешно оделся и бросился в отель Артуа.

— Ворота, ворота! Пусть ворота будут на запо-

ре! — приказал он, входя во двор. — Строго ли исполняются мои распоряжения? Никто, кроме Беатрисы, отсюда не выходил? Пусть до вечера все так и будет.

И тут же помчался вверх по лестнице. С него мигом слетела всегдашняя его скованность и важность, которую он обычно напускал на себя.

«Родильные покои» — ибо в ту пору в каждой семье, принадлежавшей к царствующему дому, роженице отводились особые апартаменты — были пышно разукрашены. Роскошные гобелены, расшитые травами и попугаями, знаменитые аррасские гобелены, гордость графини Маго, покрывали стены сверху донизу. Весь пол был устлан цветами — ирисами, розами, маргаритками, которые безжалостно топтали входившие. Роженица с блестящими глазами, но с бледным личиком, еще носившим следы пережитых мук, лежала на широкой кровати под шелковым пологом, на белоснежных простынях, спускавшихся с постели и покрывавших пол на локоть вокруг. В углу стояли две кушетки, тоже под шелковыми пологами: одна предназначалась для повивальной бабки, принесшей присягу, другая для няньки, охранявшей колыбель.

Молодой регент направился прямо к богато

разукрашенной колыбельке и склонился над ней, стараясь разглядеть своего богоданного сына. Страшненький и все же умилительный, как все новорожденные, с красным морщинистым личиком, со слипшимися веками и слюнявым ротиком, с жиденькой прядкой белокурых волосиков на лысом черепе, младенец продолжал спать, словно зародыш в материнской утробе, и, туго запеленутый до самой шеи, казался крохотной мумией.

— Так вот он, мой маленький Луи-Филипп[11], которого я так долго ждал и который появился на свет божий в самое время, — произнес граф Пуатье.

Лишь после этого он приблизился к жене, расцеловал ее в обе щеки и проговорил голосом, исполненным глубокой признательности:

— Спасибо вам, душенька, великое спасибо.

---

[11] Примечания: 11

В родословных сын Филиппа V, родившийся в июле 1316 г., часто именуется Людовиком. Однако в счетах Жоффруа де Флери, казначея Филиппа Длинного, который начал вести свои счетные книги в тот же год, вступив в должность 12 июля, ребенок указан под именем Филиппа. Другие родословия упоминают двоих сыновей, один из которых родился в 1315 г. и, стало быть, был зачат в то время, когда Жанна Бургундская была узницей в Дурдане; это кажется весьма маловероятным, если знаешь об усилиях, которые приложила Маго, чтобы помирить свою дочь и зятя. Ребенок, ставший плодом этого примирения, получил бы, вероятно, как то было заведено, по меньшей мере два из имен, обычно носимых в роду.

Вы доставили мне огромную радость, и пусть отныне навсегда исчезнут все былые наши недоразумения.

Жанна схватила длинную, узкую кисть Филиппа, поднесла ее к губам, провела ею по своему лицу.

— Господь Бог благословил наш союз, благословил нашу августовскую встречу, — шепнула она.

Жанна до сих пор еще не рассталась со своим коралловым ожерельем.

Графиня Маго, засучив, по обыкновению, рукава и открыв поросшие густым пушком руки, присутствовала при этой сцене с таким видом, словно именно она была главной виновницей торжества. И, вмешавшись в разговор, энергично хлопнула себя по животу.

— Ну что, сынок? — зычно пророкотала она. — Ну что я вам говорила? Уж поверьте мне, утробы графства Артуа и Бургундии не подведут.

О всех представительницах их славного рода она говорила как о заводских кобылах.

Филипп тем временем снова подошел к колыбельке.

— А нельзя ли распеленать мальчика, чтобы я мог его получше рассмотреть? — спросил он.

— Не стоит, ваше высочество, — возразила

повивальная бабка. — Члены ребенка весьма хрупки, и посему советуют как можно дольше держать младенца спеленутым, дабы их укрепить и дабы они не искривились. Но будьте благонадежны, ваше высочество, мы его хорошенько протерли солью и медом и посыпали толчеными розовыми лепестками, чтобы очистить от слизи, а потом обмакнули палец в мед и помазали ему медом язык и нёбо, чтобы ему было сладко и захотелось кушать. Будьте спокойны, мы его холим и лелеем.

— И вашу Жанну тоже, сынок, — добавила Маго. — Я по совету мэтра Арно де Вильнева велела натереть ее бальзамом, настоянном на заячьем помете, а он имеет свойство сокращать мускулы, особенно живота.

Теща упирала главным образом на это обстоятельство, намекая, что ее зятя ждут новые услады.

— Но, матушка, — возразила роженица, — по-моему, это помогает лишь бесплодным женщинам.

— Не говори! Заячий помет хорош при всех случаях, — уверяла графиня.

Филипп по-прежнему не отрываясь глядел на своего наследника.

— Не находите ли вы, что он очень похож на моего отца, великого короля Филиппа? — обратился регент к теще. — Смотрите, лоб, а особенно подбородок!..

— Возможно, чуточку похож, — неохотно согласилась Маго. — По правде говоря, как только я на него взглянула, мне показалось, что я вижу перед собой покойного Оттона… Лишь бы он унаследовал от обоих дедушек их душевную и телесную силу, вот чего я ему желаю.

— А по-моему, он больше всего похож на вас, Филипп, — кротко заметила Жанна.

Граф Пуатье горделиво расправил плечи.

— Надеюсь, теперь вы поняли смысл моих приказаний, матушка, — произнес он, — поняли, почему я прошу вас держать ворота на запоре. Ни одна живая душа не должна покамест знать, что у меня родился сын. В противном случае непременно начнут говорить, что я нарочно предложил такой порядок наследования, чтобы закрепить за ним престол после себя, ежели Клеменция родит дочь; и я знаю также, что первым заупрямится мой братец Карл, коль скоро он таким образом лишится надежды получить французскую корону. Поэтому, если вы хотите, чтобы этому дитяте удалось стать в свое время королем, — ни слова

на сегодняшней ассамблее.

— Ах, ведь и верно, сегодня ассамблея! Из-за нашего молодца я совсем об этом забыла! — воскликнула Маго, указывая на колыбельку. — Давно пора одеваться, да и перекусить перед боем не мешает. У меня кишки с голоду подвело, ведь я поднялась нынче ни свет ни заря. Вы правы, Филипп. Беатриса, иди сюда, Беатриса!

Маго хлопнула в ладоши и велела подать себе паштет из щуки, вареные яйца, творог с пряностями, ореховое варенье, персики и белое вино «Шато-Шалон».

— Нынче пятница — постный день, — пояснила она.

Солнце, поднявшееся над крышами Парижа, заливало своим светом это счастливое семейство.

— Поешь немножечко. Паштет из щуки не повредит, — посоветовала Маго дочери.

Филипп заторопился — надо было еще отдать последние распоряжения относительно ассамблеи, час открытия которой приближался.

— Сегодня, душенька, вам не придется принимать поздравлений, — обратился он к Жанне, указывая на подушки, разложенные полукругом у постели. — Но завтра от посетителей отбоя не будет.

Он направился к двери, но Маго успела схватить его за рукав.

— Подумайте, сын мой, о Бланке, которая томится в Шато-Гайаре. Ведь она родная сестра вашей супруги.

— Подумаю, подумаю. Посмотрю, как и чем облегчить ее участь.

И он ушел, так и не заметив, что к подошве его сапога прилип раздавленный ирис, один из тех ирисов, что устилали пол в покоях роженицы.

Маго собственноручно закрыла за зятем дверь.

— А теперь, няньки, пойте колыбельную, — приказала она.

Глава X
Ассамблея трех династий

Со двора в покои королевы Клеменции доносился гул голосов, раскатывавшийся эхом под каменными сводами, топот ног высокородных сеньоров и знатных людей, съезжавшихся на ассамблею.

Как раз вчера истекли сорок дней, в течение которых вдовствующей королеве запрещено было показываться на люди, и Клеменция по наивности души решила, что созыв ассамблеи с

умыслом приурочен к этому дню, дабы она могла ее возглавить. Королева заранее начала готовиться к своему первому торжественному выходу с невольным чувством любопытства, интереса и нетерпения; в эти дни ей даже стало казаться, что в душе ее вновь просыпается вкус к жизни. Но в последнюю минуту совет лекарей и медиков, в числе коих находились личные врачеватели графа Пуатье и графини Маго, порекомендовал ей не покидать своих покоев, ибо, по их словам, любое волнение может пагубно отразиться на ее положении.

Каждый поспешил признать это решение весьма разумным, так как в действительности никто не собирался отстаивать права королевы Клеменции на регентство и даже на ее законное право присутствовать на ассамблее. Но тем не менее, поскольку заинтересованные люди судорожно искали в истории французского королевства нужные примеры и прецеденты, на свет божий из тьмы веков извлекли королеву Анну Русскую, вдову Генриха I, правившую Францией после смерти супруга вместе со своим зятем Бодуэном Фландрским «в силу нерушимого права, дарованного при помазании»; равно ссылались на более близкий пример — на королеву Бланку Кастиль-

скую[12], память о которой была еще свежа.

Однако дофин Вьеннский, зять Клеменции, который имел все основания выступить в защиту интересов вдовствующей королевы, целиком перешел на сторону Филиппа после подписания брачного контракта между своим сыном и маленькой дочкой графа Пуатье.

Карл Валуа, выдававший себя за ярого защитника и покровителя племянницы, охладел к своей роли, считая рискованным за нее заступаться; к тому же ему приходилось отстаивать свои личные интересы.

Что касается герцога Эда Бургундского, месяц назад объявившего, что он явился в Париж лишь затем, чтобы защищать права своей сестры Маргариты и отомстить за ее смерть, то он питал к

---

[12] Примечания: 12

Однако приход Бланки Кастильской к власти не обошелся без трудностей. Хоть и назначенная актом короля Людовика VIII, своего супруга, опекуншей и регентшей, Бланка натолкнулась на яростную враждебность крупных вассалов.

«Слышите, сеньоры бароны,
Весьма Франция выродилась,
Коли женщине ее вручают», —

писал Юг де ла Ферте. Но Бланка Кастильская была другого закала, нежели Клеменция Венгерская. Кроме того, она была королевой десять лет и родила двенадцать детей. Она восторжествовала над баронами благодаря поддержке графа Тибо Шампанского, которого считали ее любовником.

Клеменции вполне понятную неприязнь.

А она сама была королевой так недолго, что бароны плохо знали ее и она по-прежнему была для них чужой; большинство знатных сеньоров считали ее ненужной помехой, оставшейся им после краткого правления Людовика X, чреватого смутами и бедствиями.

— Нет, не принесла она удачи французскому королевству, — вздыхали они.

И если Клеменция еще существовала как мать будущего короля, то уже перестала существовать как королева. Сидя взаперти в дальнем крыле дворца, Клеменция прислушивалась к утихавшему гулу, так как члены ассамблеи уже вошли в зал Большого совета и за ними заперли двери.

«Боже мой, Господи, — думала она, — почему, почему я не осталась в Неаполе?!»

И, вспомнив счастливые дни детства, лазурную гладь моря, тамошний шумный, суетливый, великодушный народ, чуткий к чужой беде, «ее» народ, который умеет так горячо любить, она громко зарыдала.

А тем временем Миль де Нуайе зачитывал новый устав престолонаследования.

Граф Пуатье счел уместным отказаться от всех внешних атрибутов королевской власти. Крес-

ло водрузили в самом центре возвышения, но балдахин он приказал не ставить. Он появился в темном одеянии, без единого украшения, хотя официально траур при дворе уже кончился. Всем своим видом он, казалось, говорил: «Мессиры, мы пришли сюда работать». Всего трое булавоносцев, шествовавшие перед Филиппом, молча встали за его креслом.

Таким образом, он уже осуществлял верховную власть, не провозгласив себя ее носителем. Зато он тщательно обдумал, куда кого посадить в зале; к его приходу камергеры развели присутствующих на заранее отведенные для них места, и этот чересчур строгий церемониал, введенный им самовольно, поразил участников ассамблеи, напомнив им времена и повадки Филиппа Красивого.

Справа от себя Филипп усадил Карла Валуа, рядом с ним — Гоше де Шатийона, рассчитывая таким образом держать бывшего императора Константинопольского на виду, а главное, подальше от его клана. Филипп Валуа очутился в шести рядах от отца. По левую руку регента оставили место для его дяди Людовика д'Эврё, чьим соседом оказался родной брат короля Карл де ла Марш, так что оба Карла не могли перегова-

риваться во время заседания и бунтовать против присяги, данной ими Филиппу четыре дня назад.

Но особенно тревожил графа Пуатье его кузен, герцог Бургундский, с которого он не спускал глаз и которого посадили между графиней Маго и дофином Вьеннским.

Филипп знал, что герцог будет говорить от имени своей матери, герцогини Агнессы, которая в качестве последней оставшейся в живых дочери Людовика IX пользовалась влиянием среди баронов, хотя на ассамблеях не появлялась. Все, что было связано с памятью святого короля, поборника христианской веры, героя Туниса, а равно и то, чего ласково касалась его рука, стало чуть ли не предметом культа; таким образом, все, кто видел его при жизни, внимал его речам или пользовался его расположением, были окутаны покровом святости.

Достаточно было Эду Бургундскому встать и сказать: «Моя матушка, дочь короля Людовика Святого, давшего ей свое благословение, когда он отбывал к неверным и погиб там...» — и все присутствующие умилялись.

Потому-то, стремясь заранее отразить этот ловкий ход, Филипп ввел в игру еще один, совершенно неожиданный козырь — Робера

Клермонского, шестого сына Людовика Святого, последнего оставшегося в живых. Раз им требуется порука Людовика Святого, они ее получат.

Присутствие Робера, графа Клермонского, казалось чудом, ибо в последний раз он появлялся при королевском дворе более пяти лет назад; о его существовании давно забыли, а когда случайно вспоминали, то говорили о нем чуть ли не шепотом.

И впрямь, Робер был безумец, он лишился рассудка в двадцатичетырехлетнем возрасте, получив удар палицей по голове. Лихорадочный бред сменялся длительными периодами затишья, чем и пользовался иной раз Филипп Красивый, когда ему для представительства требовался отпрыск Людовика Святого. Можно было не опасаться, что старик скажет лишнее, он вообще почти не говорил. Зато приходилось опасаться его поступков, ибо приступы безумия накатывали на Робера без всяких видимых причин, и тогда он, обнажив меч, бросался на своих же родных, внезапно проникшись к ним лютой ненавистью. Было поистине мучительно видеть, как столь высокородный и красивый старец — он и в шестьдесят два года сохранил величественную осанку — крушит мебель, режет гобелены

и гоняется за прислужницами, вопя, что они его противники по турниру[13].

Граф Пуатье велел усадить его на другом конце, напротив герцога Бургундского и поближе к дверям. Два конюших могучего телосложения стояли вплотную за его креслом, готовые при малейшем признаке тревоги связать Робера. А сам граф Клермонский осматривал собравшихся недоверчивым, скучающе-рассеянным взглядом, иногда задерживался на каком-нибудь лице, и тогда в глазах его на миг загоралось мучительное беспокойство, словно безумец хотел что-то припомнить, но оно тут же гасло. На него были устремлены все взоры, и каждый при виде этого почтенного старца ощущал какую-то неловкость.

---

[13] Примечания: 13

Признают поразительное сходство между безумием Робера де Клермона и безумием Карла VI, дважды его внучатого племянника — в пятом колене по мужской линии и в четвертом по женской. В обоих случаях невменяемость началась из-за удара оружием, с черепной травмой у Клермона, без травмы у Карла VI, но у обоих это вызвало одинаково бешеную манию: те же периоды лихорадочных припадков с долгими ремиссиями, когда больной вел себя с виду нормально; та же навязчивая тяга к турнирам, которые обоим не могли помешать устраивать и на которых они чаще, чем когда-либо, казались в состоянии исступления. Клермон, совсем обезумевший и опасный, имел разрешение охотиться в королевских угодьях. Он даже явился в войско Филиппа Красивого во время одного из его походов во Фландрию — как и Карл VI, безумный уже в течение двадцати лет, присутствовал при осаде Буржа и в боях против герцога Беррийского.

Рядом с безумцем сидел его родной сын, Людовик I Бурбон; хромота мешала ему идти в атаку на врага, однако ничуть не мешала бежать с поля боя, что он блистательно доказал во время битвы при Куртре. Неуклюжий, уродливый коротышка, Бурбон обладал зато светлым разумом, недаром он принял сторону Филиппа Пуатье.

Вот от этих-то сеньоров, слабых кто на голову, кто на ноги, и пошла линия Бурбонов. Итак, на ассамблее, состоявшейся 16 июля 1316 года, сошлись три ветви Капетингов, которым предстояло править Францией в течение еще пяти столетий. Три династии могли воочию видеть свой корень, свое начало или свой конец: тут были прямые потомки Капетингов, линиям которых скоро суждено было угаснуть с Филиппом Пуатье и Карлом де ла Маршем; тут были Валуа, которые, начиная с сына Карла, тринадцать раз будут восходить на французский престол; и, наконец, Бурбоны, которые станут королями лишь после того, как угаснет ветвь Валуа и потребуется снова призвать на трон кого-либо из потомков Людовика Святого. И всякий раз, когда одна династия сменит другую, смена эта будет сопровождаться опустошительными, кровопролитными войнами.

В силу всегда поражающего наблюдателя взаимодействия между деяниями людей и неожиданными поворотами судьбы ход истории французской монархии со всем ее блеском и всеми ее драмами зависел от закона престолонаследования, который в настоящую минуту оглашал легист мессир Миль.

Степенно выпрямившись на скамьях или небрежно прислонившись к стене, бароны, прелаты, ученые мужи парламента и представители богатых горожан внимательно слушали.

«У меня сын, у меня сын, и это станет известно только завтра», — твердил про себя Филипп Пуатье, понимавший в глубине души, что затеял все эти труды лишь в своих собственных интересах и в интересах своего сына. И он готов был в любую минуту отразить внезапную атаку герцога Бургундского. Но атака началась с другого фланга.

Присутствовал на этой ассамблее человек, которого ничто не могло образумить, который уже давно потерял счет деньгам, полученным за то, что продавался направо и налево, которому нипочем была любая знать, ибо в жилах его текла кровь королей, который не склонялся перед чужой силой, ибо сам мог ударом кулака свалить наземь лошадь, который презирал все

махинации, кроме своих собственных, и которого не взволновал даже вид безумного родича. Человеком этим был Робер Артуа. Именно он, как только Миль де Нуайе закончил чтение, поднялся с места, желая дать Филиппу бой, ни с кем не посоветовавшись.

Так как сегодня происходил смотр королевской родни и каждый привел с собой своих близких, Робер Артуа явился вместе со своей матушкой, Бланкой Бретонской, крошечной, седоволосой, хрупкой старушкой с тонким личиком, пребывавшей в состоянии непрерывного удивления перед этим гигантом, которого она каким-то чудом произвела на свет божий.

Расставив ноги в красных сапогах и зацепив большие пальцы рук за серебряный пояс, Робер Артуа начал:

— Я поражен, сеньоры, тем, что нам предложили новый порядок установления регентства, каждая статья которого составлена именно в расчете на данный случай, тогда как существуют предписания нашего последнего короля.

Все взгляды обратились к графу Пуатье, и кое-кто из присутствующих с тревогой подумал, что их обвели вокруг пальца и утаили от них завещание Людовика X.

— Не понимаю, о каком предписании вы говорите, кузен мой, — сказал Филипп Пуатье. — Вы сами присутствовали при кончине моего брата, равно как и многие находящиеся здесь сеньоры, и никто никогда не говорил мне, что он выразил свою последнюю волю на сей счет.

— Но, кузен, брат мой, — насмешливо возразил Робер Артуа, — под «последним королем» я вовсе не имею в виду вашего брата Людовика Десятого, упокой, Господи, его душу, но вашего отца, нашего возлюбленного государя Филиппа… упокой, Господи, также и его душу! А ведь король Филипп решил, записал и велел в том присягнуть своим пэрам, что если он умрет до того, как его сын достигнет возраста, положенного для восшествия на престол, всю королевскую власть и регентство должен взять на себя его высочество Карл, брат покойного, граф Валуа. Итак, кузен, коль скоро с тех пор не было вынесено никакого иного решения, по-моему, следует придерживаться этого завещания.

Миниатюрная Бланка Бретонская одобрительно кивала, улыбалась во весь свой беззубый рот и поглядывала поочередно на соседей живыми, блестящими глазками, как бы приглашая их полюбоваться ее сыном и одобрить его пред-

ложение. Что бы ни сделал или ни сказал ее горлопан-сынок, все она одобряла, всем восхищалась в этом чудо-богатыре, затевал ли он кляузный процесс, буйствовал ли, транжирил ли деньги или портил девушек. Она заметила, что граф Валуа поблагодарил ее, безмолвно опустив веки.

Филипп Пуатье, слегка опершись на подлокотники кресла, медленно взмахнул рукой.

— Я восхищен, Робер, я просто восхищен вашим теперешним пылом, с каким вы отстаиваете ныне волю моего отца, хотя при жизни не слишком склонялись перед его судом. Что ж, с годами, видно, вы образумились! Но не беспокойтесь. Именно волю моего отца мы и творим здесь. Разве не так, дядюшка? — добавил он, повернувшись к Людовику д'Эврё.

За последние полтора месяца его сводный брат Карл Валуа и его шурин Робер Артуа так досадили Людовику д'Эврё своими интригами, что он не мог отказать себе в удовольствии поставить их на место.

— То установление, на которое вы ссылаетесь, Робер, ценно для нас как принципиальное решение вопроса, а не тем, что там названы те или иные имена. Ибо, если подобный случай в

королевской фамилии произойдет, скажем, через пять, десять или сто лет, то ведь не будут же приглашать моего брата Карла стать регентом королевства… хоть я от души желаю ему долгой жизни. Но, — воскликнул он с неожиданным для такого невозмутимого человека пылом, — но не создал Господь Бог Карла бессмертным лишь для того, чтобы тот каждый раз бросался занимать опустевший трон. Если регентом следует назначать старшего из оставшихся братьев, то, понятно, им должен быть Филипп, и именно потому мы почтили его своим выбором. И не возвращайтесь, пожалуйста, к уже решенному вопросу.

Присутствующие подумали, что Робер разбит наголову. Но, видно, плохо они его знали. Робер сделал два шага вперед, наклонил голову, подставив свой жирный загривок солнечным лучам, заглядывавшим в витражи. Его огромная тень, темная, как угроза, распростерлась на плитах пола, коснувшись ног графа Пуатье.

— В распоряжениях покойного короля Филиппа, — возразил он, — ничего не сказано насчет королевских дочерей; ни о том, что им следует отказываться от своих прав, ни о том, что ассамблея пэров правомочна решать вопрос, будут ли

они править государством.

Сеньоры герцога Бургундского одобрительно закивали, а герцог Эд, не удержавшись, крикнул:

— Хорошо сказано, Робер! Я об этом как раз и собирался говорить!

Бланка Бретонская снова обвела собрание пронзительным взглядом своих живых, блестящих глаз. Коннетабль досадливо шевельнулся в кресле. Соседи услыхали, как он чертыхается, и все сразу поняли, что сейчас разразится гроза.

— С каких это пор, — спросил герцог Бургундский, подымаясь с места, — с каких это пор подобное новшество введено в свод наших обычаев? Боюсь, что только со вчерашнего дня! С каких это пор королевским дочерям за неимением наследника мужского пола отказано в праве наследовать отцовскую власть и корону?

Тут поднялся коннетабль.

— С тех самых пор, мессир герцог, — произнес он неторопливо, что, очевидно, входило в его расчеты, — с тех самых пор, как мы не можем быть полностью уверены, что та или иная принцесса рождена действительно от своего отца, в чьи преемницы ее прочат. Так знайте же, что говорят на сей счет люди и что десять раз твердил нам на Малых советах Карл Валуа. Франция слишком

прекрасная и слишком огромная страна, мессир герцог, чтобы можно было без согласия пэров короновать принцессу, коль скоро мы не знаем, дочь ли она короля или дочь конюшего.

Угрожающая тишина нависла над залом. Эд Бургундский побледнел. Советник Гийом де Мелло, приставленный к герцогу по настоянию герцогини Агнессы, зашептал ему что-то на ухо, но тот ничего не слышал. Всем показалось, что герцог вот-вот бросится на Гоше де Шатийона, который спокойно ждал атаки, напружив мускулы, выпятив грудь, сжав кулаки. Хотя коннетабль был лет на тридцать старше своего противника и ниже его на полголовы, он бесстрашно готовился к бою, который, пожалуй, даже принес бы ему победу. Но гнев герцога Бургундского обратился против Карла Валуа и развязал ему язык.

— Так зачем же вы, Карл, — завопил он, — зачем же вы в таком случае добивались руки второй моей сестры для вашего старшего сына, который, как я вижу, тоже находится здесь, а теперь порочите на всех перекрестках несчастную покойницу?

— Да бросьте, Эд! — возразил Валуа. — Будто для того, чтобы опорочить королеву Маргариту — прости, Господи, ее прегрешения, — требуется

мое пособничество!

И, обратившись к Гоше де Шатийону, он вполголоса добавил:

— И надо же вам было упоминать мое имя!

— А вы, зять, — гремел Эд, адресуясь теперь уже к Филиппу Валуа, — неужели и вы одобряете все эти мерзости, которые здесь говорятся?

Но долговязый и скованный в движениях Филипп Валуа тщетно пытался со своего места поймать взгляд отца и прочесть в нем совет, поэтому он ограничился тем, что воздел к потолку обе руки жестом покорного бессилия и сказал:

— Надо признать, брат мой, что скандал был громкий!

Ассамблея загудела. В зале нарастал сердитый рокот голосов; одни сеньоры с пеной у рта настаивали на незаконном происхождении Жанны, другие доказывали, что она рождена от Людовика. Карл де ла Марш сидел бледный, понурив голову, боясь поднять глаза, с тем чувством неловкости, какую он испытывал всякий раз, когда при нем заходила речь об этой несчастной истории. «Маргарита умерла, Людовик умер, — думал он, — а моя супруга Бланка жива, и с меня по-прежнему не смыто клеймо бесчестия».

Граф Клермонский, о котором все успели поза-

быть, вдруг беспокойно оглядел залу.

— Вызываю вас на бой, мессиры! Вызываю вас всех! — закричал последний сын Людовика Святого, вскакивая с места.

— Подождите, отец мой, подождите немножко, сейчас мы с вами отправимся на турнир, — уговаривал его Людовик Бурбон и махнул рукой двум великанам-конюшим, приказывая им подойти поближе и приготовиться.

Робер Артуа торжествующе оглядывал присутствующих, которых ему, к великой его радости, удалось стравить друг с другом.

Эд Бургундский, не слушая советов Гийома де Мелло, напрасно старавшегося его образумить и направить герцогскую ярость по нужному руслу, снова завопил, глядя в упор на Карла Валуа:

— Я тоже надеюсь, Карл, что Господь Бог простит моей сестре Маргарите ее прегрешения, буде она их совершила, но я надеюсь также, что он не помилует ее убийц!

— Зря вы верите глупым россказням, Эд, — возразил Валуа. — Вы отлично знаете, что ваша сестра скончалась в темнице потому, что ее замучила совесть.

И он украдкой бросил взгляд в сторону Робера Артуа, желая убедиться, что тот не выдал себя

неосторожным жестом или словом.

Теперь, когда граф Валуа и герцог Бургундский переругались не на живот, а на смерть и трудно было надеяться, что между ними воцарится доброе согласие, Филипп Пуатье протянул вперед обе руки, призывая присутствующих к спокойствию.

Но Эд не желал успокаиваться. Не затем он явился на ассамблею, о, отнюдь не затем!

— Достаточно я наслушался сегодня оскорблений нашей Бургундии, кузен мой, — заявил он. — Довожу до вашего сведения, что не признаю вашего права на регентство и подтверждаю перед всеми права моей племянницы Жанны!

Потом, жестом приказав бургундским баронам следовать за собой, герцог покинул залу.

— Мессиры, — проговорил граф Филипп Пуатье, — именно этого и хотели избежать наши легисты, откладывая на более поздний срок решение вопроса о наследственных правах принцесс, коль скоро таковое потребуется от Совета пэров. Ибо, если королева Клеменция даст стране наследника престола, все эти споры потеряют всякий смысл.

Робер Артуа по-прежнему стоял перед возвышением, уперев руки в бока.

— Итак, насколько я вас понял, кузен, — крик-

нул он, — освященные обычаем права женщин на наследование отныне отменяются. Поэтому я прошу вернуть мне мое графство, которое незаконно отошло к моей тетке Маго, а она, как известно, принадлежит к особам женского пола, что могут засвидетельствовать многие присутствующие здесь сеньоры. И коль скоро вы не намерены исправить совершенную несправедливость, ноги моей больше на ваших советах не будет.

С этими словами он направился к боковой двери, а за ним засеменила его матушка, гордясь своим сыном и не меньше гордясь собою, породившей на свет такого богатыря.

Графиня Маго махнула Филиппу рукой, и жест ее выражал: «Видите! Ну что я вам говорила!»

Робер, замешкавшись у порога, нагнулся к графу Клермонскому и, злобно усмехаясь, шепнул ему на ухо:

— В бой, кузен, в бой!

— Режьте веревки! Скликайте людей![14] — завопил граф Клермонский, вскакивая с кресла.

— Чтобы черт тебя взял со всеми потрохами, зловредный боров! — набросился Людовик Бурбон на Робера. — Потом обратился к своему

---

[14] Примечания: 14
Предписанные уставом возгласы, отмечающие начало турнира.

отцу: — Побудьте пока с нами. Трубы еще не играли.

— Как же так? Почему не играли? Пусть играют. А то мы опоздаем, — залопотал граф Клермонский.

И он стал ждать зова трубы, рассеянно блуждая взором по зале, широко раскинув обе руки.

Людовик Бурбон, прихрамывая, подошел к Филиппу Пуатье и, понизив голос, посоветовал ему поторапливаться. Филипп утвердительно кивнул.

Бурбон вернулся к безумцу, взял его за руку и внушительно проговорил:

— А сейчас надо изъяснить свою верность, батюшка.

— Ах, верность? Хорошо!

Хромой, поддерживая безумца, подвел его к Филиппу.

— Мессиры, — начал Людовик Бурбон, — перед вами мой отец, самый старший из оставшихся в живых отпрысков Людовика Святого, и он полностью одобряет порядок престолонаследования, признает права мессира Филиппа как регента и приносит ему клятву в верности.

— Да, мессиры, да… — лопотал Робер Клермонский.

А Филипп с ужасом ждал, прислушиваясь к бормотанию дяди. «Сейчас он назовет меня „мадам“ и попросит у меня на счастье шарф».

Но граф Клермонский вдруг заговорил твердым, звучным голосом:

— Признаю вас, Филипп, и по праву наследования и как наиболее мудрого. Пусть благословит вас с небес пресвятая душа моего отца, пусть поможет вам сохранить мир в королевстве и защитить нашу святую веру!

По рядам прошел радостно-изумленный шепот. Что происходит в голове этого старца, который без всяких видимых причин то безумен, то полон здравого смысла, то смешон, то велик?

Старик, не торопясь, преклонил колена перед своим внучатым племянником, протянул ему обе руки исполненным благородства жестом, потом поднялся с колен, и когда регент заключил его в объятия, он отвернулся и в его огромных голубых глазах блеснула слеза.

Все присутствующие, не сговариваясь, поднялись с мест и ликующими криками приветствовали обоих принцев.

Филиппа признало регентом все французское королевство, за исключением одной провинции — Бургундии и за исключением одного человека

— Робера Артуа.

Глава XI
Жених и невеста играют в кошки-мышки

Великие ассамблеи баронов являли сходство с теперешними международными конференциями по крайней мере в одном пункте. Участник ее, с шумом и треском покинувший зал заседания, протестуя против принятого решения, все же соглашался отобедать за одним столом со своими противниками при условии, если его хорошенько попросят. Именно так и поступил герцог Бургундский, к которому Филипп Пуатье отрядил гонца, дабы выразить свои сожаления по поводу утреннего инцидента, уверить в своей искренней привязанности и напомнить, что его ждут к обеду.

Пиршество было устроено в Венсеннском замке, потому что Филипп хотел до переезда туда королевы Клеменции хорошенько осмотреть ее будущее жилище, куда по его приказу свезли все необходимое для предстоящего пира. Весь двор отправился в Венсенн, и около пяти часов, другими словами между ранней и поздней вечернями,

гости уже сидели за столами, составленными из досок, положенных на козлы и застланных белоснежными скатертями.

Присутствие Эда Бургундского лишь подчеркнуло отсутствие Робера Артуа.

— Мой сын, выйдя из зала, сразу же упал без чувств, до того он огорчился всем, что там происходило, — поясняла его матушка Бланка Бретонская.

— Вот как, Робер лишился чувств? — заметил Филипп Пуатье. — Надеюсь, он не очень разбился, упав с такой высоты. Впрочем, вы, как я вижу, не особенно встревожены, стало быть, и мне нечего волноваться.

Зато никто не удивился, не видя среди приглашенных графа Клермонского, которого сын после торжественной присяги спешно отправил домой. Гости наперебой подходили к графу Бурбону, выражая свое восхищение стариком, который произвел на всех такое прекрасное впечатление, и каждый сожалел, что недуг, кстати сказать, благородный недуг, коль скоро он был приобретен на поле брани, редко позволяет ему принимать участие в решении государственных дел.

Обед, таким образом, начался довольно мирно. Коннетабля с умыслом посадили подальше от

герцога Бургундского; впрочем, сами враги старались не глядеть друг на друга. Валуа громогласно распространялся о своих добродетелях.

Но самое удивительное было, что здесь присутствовали дети, и при этом в таком количестве. Эд Бургундский, дав согласие явиться на торжество, оговорил, что придет лишь в том случае, если там будет присутствовать его племянница Жанна Наваррская, чтобы, так сказать, вознаградить ее за понесенное в Совете бесчестие; граф Пуатье привел трех своих дочек, граф Валуа — самых младших своих отпрысков от третьей жены, граф д'Эврё — дочку и сына, находившихся еще в том возрасте, когда играют в куклы, Вьеннский дофин — крошку Гига, жениха третьей дочки регента, а граф Бурбон — троих своих детей… Трудно было разобраться во всех этих именах: здесь кишели Изабеллы, Бланки, Карлы и Филиппы; когда кто-нибудь окликал: «Жанна», поворачивалось разом с полудюжины головенок.

Всем этим двоюродным братьям и сестрам суждено было впоследствии переженится между собой ради политических комбинаций их папаш и мамаш, которые, в свою очередь, тоже вступали в брак с кровными родственниками. Сколько придется клянчить у папы римского всяческих

поблажек, дабы с его святого соизволения попрать законы Божьи и ради территориальных интересов пренебречь здоровьем потомства! Сколько в королевской семье появится вновь и вновь хромых и безумных! Единственной разницей между потомками Адама и Капета было то, что Капетинги пока еще воздерживались от браков между родными братьями и сестрами.

Дофинчик и его нареченная, крошка Изабелла Пуатье, которую в скором времени будут именовать Изабеллой Французской, являли собой образец самого трогательного согласия. Ели они с одной тарелки; дофинчик выбирал для своей будущей супруги самые лакомые кусочки, вылавливая из рагу ломтики угря, щедро обмакивал их в соус, а затем силком совал в рот девочке и перемазал ей всю мордочку. Прочие малыши завидовали счастливцам, уже перешедшим на семейное положение; в доме регента малолетней чете отвели особые покои, приставили к ним слугу, конюшего, камеристок.

Зато Жанна Наваррская почти не прикасалась к еде. Присутствующие знали, чем объяснялось ее появление на пиру, а так как дети чутьем угадывают настроение родителей и заходят еще дальше в выражении своей неприязни, все мно-

гочисленные кузены и кузины сиротки Жанны не обращали на нее никакого внимания. К тому же Жанна была моложе всех, ей было только пять лет. С возрастом она стала еще больше походить на свою мать, Маргариту Наваррскую, — тот же выпуклый лоб, те же выступающие скулы, только цвет волос не унаследовала она от брюнетки-матери — Жанна была блондинка. Эта крошка, не знавшая ребяческих игр и жившая одна, среди слуг, в мрачных покоях Нельского отеля, никогда не видела такого огромного сборища, никогда не слышала таких громких криков; и теперь она восхищенно и боязливо поглядывала на эти груды мяса и дичи, на всю эту снедь, которую без передышки подносили слуги и ставили на длинные столы перед гостями, не жаловавшимися на отсутствие аппетита. Жанна чувствовала, что никто ее не любит; когда она обращалась к соседям с вопросом, те бесцеремонно отворачивались; несмотря на свой младенческий возраст, девочка о многом судила не по-детски здраво, поэтому она не переставая твердила про себя: «Мой батюшка был король, моя матушка была королева; но вот они умерли, и никто не хочет со мной говорить». Должно быть, на всю жизнь останется в ее памяти этот пир в Венсенне. И чем громче становились

голоса, чем раскатистее звучал смех, тем печальнее глядела крошка Жанна, тоскливо озиравшая всех этих гигантов, уписывавших за обе щеки мясо. Людовик д'Эврё заметил со своего места, что девочка вот-вот расплачется, и крикнул сыну:

— Филипп, поухаживай за своей кузиной Жанной!

Маленький Филипп решил взять пример с дофинчика и сунул Жанне в рот кусок стерляди в апельсиновом соусе, но она терпеть не могла рыбы и выплюнула ее прямо на скатерть.

Согласно установленному церемониалу кравчие наливали вино подряд всем присутствующим, не считаясь с их возрастом; вскоре взрослые заметили, что всей этой детворе, одетой в парчу, будет плохо, и после шестой перемены отослали их поиграть в сад. С королевскими отпрысками, увы, бывает то же самое, что и с детьми простых смертных во время праздничных обедов: их лишают самых любимых блюд — леденцов, пирожного и десерта.

Как только гости встали из-за стола, Филипп Пуатье взял герцога Бургундского под руку и, отведя его в сторону, сказал, что хочет побеседовать без свидетелей.

— Давайте присядем в сторонке, кузен, нам

подадут туда сладкое. И вы идите к нам, дядя, — добавил Филипп, обращаясь к Людовику д'Эврё, — и вы тоже, мессир де Мелло.

Филипп предложил троим мужчинам проследовать в смежную с залой небольшую гостиную, куда им подали подслащенное вино и пряности; и сразу же, не теряя времени, он обратился к герцогу Бургундскому со словами увещевания: клялся, что жаждет умиротворения, упирая главным образом на те преимущества, которые дает устав регентства.

— Сейчас в умах царит разброд, потому я и хочу отложить окончательное решение вопроса до совершеннолетия Жанны, — говорил он. — Ждать этого еще десять лет, а мы с вами, кузен, знаем, что за такой долгий срок все может перемениться и те, кто с пеной у рта отстаивает сейчас свое мнение, могут перейти в лучший из миров. Мне казалось, что я действую как раз вам на пользу, и вы, по-моему, не совсем поняли мои намерения. Коль скоро вы и Валуа не можете сейчас договориться между собой, так договоритесь же каждый в отдельности со мною.

Герцог Бургундский хмуро слушал речи Филиппа; был он недалекого ума и не без основания боялся, что его обведут вокруг пальца, как то бы-

вало не раз. Герцогиня Агнесса, которую отнюдь не ослепляла материнская любовь, здраво оценивала умственные способности сына и, отправляя его в путь, надавала ему множество разумных советов:

— Берегись, как бы тебя не обошли. А главное, не говори, не подумав, а если ничего не придумаешь, так лучше помолчи, пусть говорит мессир де Мелло — он человек более сообразительный, чем ты.

Эд Бургундский, достигший тридцатипятилетнего возраста, облеченный герцогской властью и множеством почетных титулов, до сих пор жил в постоянном страхе перед своей матушкой и думал лишь о том, как бы не ударить в грязь лицом и оправдать перед ней свои поступки. Поэтому он не осмелился прямо ответить на предложения Филиппа.

— Моя матушка, герцогиня Агнесса, велела вручить вам письмо, где она пишет... Что написано в этом письме, мессир де Мелло?

— Мадам Агнесса просит, чтобы мадам Жанну Наваррскую поручили ее заботам, и она удивлена, ваше высочество, что до сих пор не получила от вас ответа.

— Но что я ей мог ответить, кузен? — возра-

зил Филипп, по-прежнему обращаясь к Эду так, словно Мелло присутствовал при их беседе лишь в качестве толмача. — Такое решение может принять лишь регент. Только теперь я вправе ответить на ее просьбу. Откуда вы взяли, кузен, что я откажу? Полагаю, вы собираетесь увезти с собой вашу племянницу?

Герцог, приготовившийся было к длительным спорам, удивленно поглядел на мессира де Мелло, как бы говоря: «Оказывается, с этим человеком не так уж трудно договориться!»

— При том условии, кузен, — продолжал Пуатье, — при том условии, конечно, что Жанна не вступит в брак без моего согласия. Но это уж само собой разумеется; в ее замужестве заинтересована вся королевская фамилия, и вы не решитесь обвенчать без нашего согласия девицу, которая в один прекрасный день может стать королевой Франции.

Вторая половина фразы заставила Эда забыть ее начало. Эд и впрямь решил, что Филипп задумал короновать Жанну, если королева Клеменция не произведет на свет сына.

— Конечно, конечно, кузен, — произнес он, — в этом вопросе мы с вами вполне согласны.

— Итак, все недоразумения позади, и давайте

сейчас, не откладывая, напишем соглашение, — предложил Филипп.

И, не дожидаясь ответа, он велел кликнуть Миля де Нуайе, который не имел соперников во всей Франции по части составления таких договоров.

— Ну-ка, мессир Миль, — обратился Филипп к вошедшему легисту, — запишите-ка нам на пергаменте: «Мы, Филипп, пэр Франции и граф де Пуатье, милостью Божию регент двух королевств, и наш возлюбленный кузен, могущественный и великий сеньор Эд Четвертый, пэр Франции и герцог Бургундский, клянемся на Святом Писании оказывать друг другу добрые услуги и поддерживать вечную дружбу». Это, конечно, только общая мысль, мессир Миль, так сказать, черновой набросок… «И во имя нашей дружбы, в коей мы поклялись, мы совместно решили, что мадам Жанна Наваррская…»

Гийом де Мелло потянул герцога за рукав, шепнул ему на ухо несколько слов, и тот понял, что сейчас его проведут.

— Э, нет, кузен, — закричал он, — матушка не велела мне признавать вас регентом.

Разговор зашел в тупик. Филипп соглашался отдать Жанну бабушке лишь при том условии, если герцог признает его регентом. Надеясь по-

кончить дело миром, он пошел даже на то, что торжественно обещал оставить за Жанной все права на владения Наваррой, Шампанью и Бри. Но герцог стоял на своем. Сначала пускай решат по всей форме вопрос о ее правах на престол, тогда можно будет поговорить и о регентстве.

«Не будь здесь этой хитрой бестии Мелло, Эд обязательно уступил бы», — подумал граф Пуатье. С делано усталым видом он вытянул свои длинные ноги, потом скрестил их и задумчиво потер подбородок.

Людовик д'Эврё, наблюдавший за этой сценой, ждал ответа племянника, понимая, как трудно будет ему вывернуться. «Боюсь, что в Дижоне скоро забряцают оружием», — подумал дальновидный политик д'Эврё. Несколько раз он порывался прийти племяннику на помощь и сказать ему: «Ну ладно, уступим бургундцам в вопросе о престолонаследии!» — но не успел, Филипп живо обернулся к Эду:

— Послушайте, кузен, а сами вы не собираетесь вступить в брак?

Герцог Бургундский ошалело взглянул на говорившего, так как, будучи тугодумом, решил было, что Филипп прочит ему в невесты Жанну Наваррскую.

— Раз мы поклялись друг другу в верной дружбе, — продолжал Филипп так, словно были приняты все предложенные им пункты еще не составленного договора, — вы, дражайший кузен, стали тем самым надежной моей опорой, и я решил, в свою очередь, пойти вам навстречу и еще сильнее укрепить, к великому моему удовольствию, узы нашего родства. Согласны вы взять себе в жены мою старшую дочь Жанну?

Эд взглянул сначала на Мелло, потом на Людовика д'Эврё и наконец уставился на Миля де Нуайе, который почтительно дожидался конца разговора, держа наготове тростинку для письма.

— Но, кузен, сколько же ей лет? — осведомился он.

— Восемь, — ответил Филипп. Затем, выдержав многозначительную паузу, добавил: — Не исключена возможность, что Жанне достанется графство Бургундское, унаследованное ею от матери.

Эд вскинул голову, как конь, почуявший овес. С давних пор, еще со времен Роберта I, внука Гуго Капета, слияние двух Бургундий — графства и герцогства — было заветной мечтой наследных герцогов. Объединить оба двора — Дольский

и Дижонский, владеть территорией от Оксера до Понтарлье и от Макона до Безансона, претендовать на власть во Франции, равно как и в Священной империи, ибо Бургундия была пфальцграфством, — возможно ли, что это чудо сбудется? Теперь, в сущности, бургундцы могут подумать о восстановлении под своей эгидой империи Карла Великого.

Людовик д'Эврё не мог не восхититься отважным шагом племянника: партия казалась безнадежно проигранной, и вдруг такой дерзкий удар! Но дядя понял, к чему клонит племянник: ведь в приданое дочери он отвел не свои земли, а земли тещи. Графине Маго дали графство Артуа в ущерб прямым интересам Робера Артуа, и дали лишь затем, чтобы она отказалась от графства Бургундского, а графство это получил Филипп в приданое за женой, чтобы можно было домогаться избрания в императоры. Теперь Филипп метит на французский престол, или, на худой конец, ему обеспечены десять лет регентства: графство Бургундское в таких условиях не слишком его интересует, лишь бы оно досталось вассалу, что и произошло.

— Не могу ли я увидеть вашу дочь? — решительно спросил Эд, не считавший нужным в данном

случае запрашивать согласия и совета матушки.

— Вы ее только что видели, кузен, за обедом.

— Конечно видел, но не разглядел… То есть я хочу сказать, что не смотрел на нее как на свою нареченную.

Послали за Жанной, старшей дочкой Филиппа, которая играла в кошки-мышки со своими сестрами[15] и многочисленными кузенами и кузинами.

— Что им от меня надо? Оставьте меня в покое, я хочу играть! — крикнула девочка и побежала к конюшням вдогонку за дофинчиком.

— Вас зовет ваш батюшка.

Жанна успела догнать маленького Гига, с криком «Кошка!» хлопнула его по спине и, надувшись, пошла за камергером, который повел ее за руку.

Так, еще не отдышавшаяся, потная, растрепанная, в расшитом золотом, изрядно запылившемся

---

[15] Примечания: 15

Игрушки и детские игры практически не изменились со Средних веков до наших дней. Уже тогда это были мячи и мячики из кожи или материи, обручи, волчки, куклы, деревянные лошадки и плоские битки. Бегали взапуски, играли в жмурки, в короткую соломинку, в салочки, в ладошки, в прятки и чехарду. Играли и с надевавшимися на пальцы марионетками. У мальчиков из богатых семей были также имитации вооружения, сделанные по их мерке: легкие железные шлемы, кольчуги, тупые мечи — предки сегодняшних арсеналов генерала или ковбоя.

платьице, и предстала она перед кузеном Эдом, перед своим женихом, который был старше невесты на целых двадцать семь лет. Худенькая девочка, ни хорошенькая, ни дурнушка, не могла даже подозревать, что сейчас решается ее судьба, неотделимая от судьбы французского престола… Бывает, поглядишь на малого ребенка и сразу видишь, каким он станет позже, а тут и видеть-то было нечего… Эд видел только Бургундию в сиянии мечты.

Кто спорит, графство вещь прекрасная; но, с другой стороны, вполне могут подсунуть в спешке жену-калеку. «Если у нее прямые ножки — соглашусь», — решил про себя Эд Бургундский. Уж кто-кто, а он имел все основания опасаться такого коварства: ведь сумели же они сами подсунуть Филиппу Валуа младшую сестру его и Маргариты Наваррской, у которой одна нога была короче другой[16]. Эта хромота сыграла не

[16] Примечания: 16

Последняя дочь Аньес Бургундской, Жанна, выданная замуж за Филиппа де Валуа, будущего Филиппа VI, была хромой, как и ее кузен Людовик I Бурбонский, сын Робера де Клермона. Хромота отмечалась также в боковой, Анжуйской ветви, поскольку король Карл II, дед Клеменции Венгерской, имел прозвище Хромец. Впрочем, традиция, подхваченная Мистралем в его «Золотых островах», утверждает, что, когда посол короля Франции, то есть граф де Бувилль, прибыл просить руки Клеменции для своего государя, он потребовал, желая удостовериться в прямизне ее ног, чтобы принцесса разделась перед ним.

последнюю роль в теперешней взаимной ненависти Валуа и герцогов Бургундских. Поэтому требование Эда, чтобы девочка подняла юбочку, никого не удивило: он посмотрит, прямые у нее ножки или нет. Ножки оказались худенькими как палочки, ни икр ни ляжек — видно, пошла в отца. Зато ничего не скажешь — прямые.

— Вы правы, кузен, — заявил герцог. — По-моему, это хороший способ скрепить нашу дружбу.

— Вот видите! — сказал Пуатье. — Так к чему же нам ссориться? Отныне я буду называть вас зятем.

И обнял зятя, который на двенадцать лет был старше тестя.

— А теперь, дочь моя, поцелуйте вашего жениха, — обратился Филипп к Жанне.

— Ой, значит, теперь он мой жених! — воскликнула девочка.

И она горделиво выпрямила свой худенький стан.

— Как хорошо! — добавила она. — Мой жених гораздо выше, чем дофинчик.

«До чего же я разумно поступил, — думал тем временем Филипп, — что отдал в прошлом месяце дофину младшую дочку и не распорядился раньше времени судьбой Жанны, а следователь-

но, и графством!»

Пришлось герцогу Бургундскому поднять свою будущую супругу, и она запечатлела на его лице поцелуй, вернее, просто обслюнявила ему щеку. Как только он опустил свою нареченную на землю, она вихрем помчалась во двор, где играли дети, и гордо объявила:

— Я теперь невеста!

Игры разом прекратились.

— И жених у меня вовсе не такой малышка, как у тебя, — попрекнула она сестру, указывая на Гига. — Мой большой, как наш папа.

И, заметив крошку Жанну Наваррскую, которая хмуро стояла в стороне, невеста добавила:

— Теперь я буду твоя тетя.

— Почему тетя? — удивилась сиротка.

— Потому что выйду замуж за твоего дядю Эда.

Одна из младших дочерей графа Валуа, которой не было и семи лет, но которую чуть ли не с пеленок научили пересказывать все старшим, бросилась в замок и отыскала там своего батюшку. Карл Валуа сидел в задних покоях с Бланкой Бретонской и кое с кем из преданных ему сеньоров и вел с ними оживленную беседу, очевидно готовя новый комплот, но тут появилась дочка и пересказала все, о чем говорилось на заднем

дворе. Карл вскочил, ударом ноги отбросил стул и, сбычившись, пошел в залу, где сидел регент.

— Ах, дорогой мой дядюшка, вас-то нам и недоставало! — воскликнул Филипп Пуатье. — Я как раз собирался послать за вами — хотел попросить вас быть свидетелем нашего договора.

И он протянул Карлу договор, только что составленный Милем де Нуайе: «…дабы совместно со всеми нашими сородичами скрепить нашей подписью условия, на коих мы пришли к полному согласию с дражайшим кузеном Бургундским».

Невеселая неделя выпала на долю бывшего императора Константинопольского. И что хуже всего, приходилось безропотно подчиняться. Вслед за ним свои подписи под соглашением поставили Людовик д'Эврё, Маго Артуа, дофин Вьеннский, Эме Савойский, Карл де ла Марш, Людовик Бурбон, Бланка Бретонская, Ги де Сен-Поль, Анри де Сюлли, Гийом д'Аркур, Ансо де Жуанвиль и коннетабль Гоше де Шатийон.

Поздние июльские сумерки неторопливо спускались на Венсенн. Трава и деревья еще хранили дневное тепло. Большинство гостей разъехалось по домам.

Регент не спеша прогуливался под столетними дубами в обществе самых близких, самых

преданных ему людей — тех, что шли с ним от Лиона и кому он был обязан своей победой. Кто-то вспомнил о пресловутом дереве, под коим Людовик Святой творил суд, кто-то пошутил, что дерево так и не удалось обнаружить. Вдруг регент обратился к присутствующим:

— Мессиры, на сердце у меня отрадно и радостно: добрая моя супруга нынче произвела на свет сына.

Он вздохнул глубоко, вздохнул с наслаждением, даже с блаженством, как будто и впрямь воздух французского королевства принадлежал ему.

Филипп присел на мшистую кочку. Опершись спиной о ствол дерева, он молча любовался резным узором листвы, вырисовывавшимся на вечернем розовом небе, как вдруг к нему направился крупными шагами Гоше де Шатийон. Тень вновь омрачала чело коннетабля.

— Я принес вам, ваше высочество, дурную весть.

— Уже? Так скоро?! — спросил регент.

— Граф Робер только что отбыл в Артуа.

Часть вторая
ГРАФСТВО АРТУА И КОНКЛАВ
Глава I
Прибытие графа Робера

Десяток всадников, прискакавших из Дуллана, предводительствуемые гигантом в кроваво-красном кафтане, галопом промчались через поселок Букмезон и осадили коней там, где дорога круто уходит под гору. Внизу под ними лежала равнина, спускавшаяся уступами к горизонту, окаймленному синеватой бахромкой леса, вся в буковых рощицах, вся в горбатых пригорках, меж которых простирались нивы.

— Вот здесь начинаются земли графства Артуа, ваша светлость, — произнес один из всадников, Жак де Варенн, обращаясь к вожаку.

— Мое графство! Вот оно наконец, мое графство! Вот она, родная моя земля, по которой я не ступал целых четырнадцать лет! — проговорил гигант.

Над истомленными зноем полями нависла тяжкая тишина. Слышен был лишь прерывистый храп лошадей, не отдышавшихся от скачки, да густое жужжание шмелей, опьяненных жарой.

Робер Артуа спрыгнул с лошади, бросил поводья своему слуге Лорме, одним духом взлетел на придорожный откос, топча сапогами траву и цветы, и все так же молча пошел по полю. Его спутники не тронулись с места, предоставляя графу в одиночестве насладиться радостью минуты. А Робер тем временем шагал прямо через пшеницу, доходившую ему до бедер, раздвигая золотые тяжелые колосья. На ходу он ласкал их рукой — так гладят походя покорного коня или светлые кудри красотки.

— Моя земля, моя пшеница! — твердил он.

Вдруг он рухнул прямо на землю, растянулся среди колосьев во весь свой гигантский рост; обезумев от счастья, он катался по земле, прижимался к ее лону, как бы желая слиться с ней; он жадно хватал зубами колосья, жевал их и чувствовал на языке чудесный вкус раздавленного зерна, уже достигшего молочной спелости; он не замечал, что остья царапают ему губы. Он упивался лазурью небес, запахом сухой земли и колосьев и один ухитрился примять больше пшеницы, чем стадо кабанов. Наконец он поднялся на ноги, великолепный, хоть и в измятом кафтане, и направился к своим дорожным спутникам, потрясая охапкой колосьев.

— Лорме, — скомандовал он, — расстегни на мне кафтан и распусти кольчугу.

И когда слуга выполнил приказание, Робер засунул охапку колосьев под рубашку, прямо на голое тело.

— Клянусь Господом Богом, мессиры, — прогремел он, — пока мы не отвоюем обратно мое графство до последнего лужка, до последнего деревца, я не расстанусь с этими колосьями! А теперь в поход!

Он вскочил в седло и, сжав лошадиные бока ногами, поднял коня в галоп.

— Эй, Лорме, — кликнул он, стараясь перекричать свист ветра, — эй, Лорме, а знаешь, лошадиные копыта как-то звонче цокают по здешней земле, как по-твоему?

— Ваша правда, — отозвался этот убийца с чувствительной душой, слепо соглашавшийся с хозяином, за которым он ходил как за малым ребенком. — Да у вас кольчуга на сторону съехала, придержите-ка коня, я сейчас вам ее поправлю.

Так они проскакали еще немного. А там, где дорога внезапно обрывалась, перед Робером открылось наконец великолепное зрелище: внизу, на лугу, сверкал на солнце сомкнутый строй кирас, целая армия в тысячу восемьсот всадников,

пришедших встретить своего сюзерена. Робер даже мечтать не мог, что по его зову подымется столько людей.

— Ну как, Варенн? Ты, я вижу, куманек, здорово потрудился! — восхищенно крикнул Робер.

Рыцари графства Артуа, узнав Робера, грянули во всю мощь своих глоток:

— Добро пожаловать, граф Робер! Многие лета нашему славному сеньору!

Самые нетерпеливые поскакали ему навстречу; со звоном сталкивались стальные наколенники, острия копий золотились на солнце, словно нива, раскинувшаяся рядом.

— А вот и Комон! Вот Суастр! Узнаю вас по гербам, друзья, — говорил Робер.

В открытые забрала виднелись лица всадников, хоть и смоченные потом, но сиявшие в предвкушении воинских забав. Большинство мелких дворянчиков явилось в старых доспехах, доставшихся им еще от отца, а то и от деда и наспех подогнанных по мерке своими силами у себя в замке. Ох и сотрут же себе к вечеру высокородные сеньоры кожу, покроются кровавыми струпьями! Недаром они предусмотрительно упаковали вместе с пожитками, которые вез за каждым оруженосец, горшочки с бальзамом, приготов-

ленным руками заботливых жен, и разорванный на полосы холст для перевязки ран.

Все образчики воинских доспехов за целое столетие продефилировали перед Робером: тут были шлемы всех видов, шишаки всех фасонов, кольчуги и огромные мечи, сопровождавшие рыцарей еще в Крестовые походы. Провинциальные щеголи нацепили на шлем султаны из петушиных, фазаньих, а то и павлиньих перьев; кое у кого шлем увенчивался золотым драконом, а один сеньор даже украсил свой железный шлем изображением обнаженной женщины и, естественно, привлекал всеобщее внимание.

Все подновили свои щиты, и на них переливались всеми цветами радуги гербы, у кого попроще, у кого посложнее, в зависимости от древности рода, причем самые незатейливые гербы принадлежали самым родовитым сеньорам.

— Вот Сен-Венан, вот Лонгвиль, а это Недоншель, — представлял Роберу рыцарей Жан де Варенн.

— Ваш верноподданный, ваш верноподданный, — отзывался названный.

— Верноподданный Недоншель… верноподданный Бельянкур… верноподданный Пикиньи… — повторял Робер, проезжая перед строем.

А юношам, впервые готовящимся к бранному делу и вспыхивавшим от гордости, Робер посулил полное рыцарское вооружение, буде они сумеют показать себя в бою.

Потом он решил немедля назначить двух маршалов, как в настоящем королевском войске. Выбор его пал на сира де Опонлье, который не пожалел труда, собирая это крикливое воинство.

— А вторым я назначу… ну, вот тебя, Боваль, — объявил Робер. — У регента маршал Бомон, а у меня будет Боваль.

Мелкопоместные сеньоры, охочие до шуток и каламбуров, дружным ржанием приветствовали маршала Жана де Боваля, обязанного этой высокой чести своему имени.

— А теперь разрешите спросить, ваша светлость, — проговорил Жан де Варенн, — какую дорогу вы изволите выбрать? Может быть, мы сначала отправимся в Сен-Поль или же прямо в Аррас? Все графство Артуа в вашем распоряжении, выбирайте!

— А какая дорога ведет в Эден?

— Вот эта, ваша светлость, она проходит через Фреван.

— Так вот что, друзья, первым делом я хочу посетить замок своих отцов.

По рядам всадников прошел тревожный шепот. Зря это граф Робер сразу же после своего появления в Артуа намеревается скакать в Эден.

— Дело в том, ваша светлость, — промямлил Суастр, тот самый, у кого на шлеме красовалась обнаженная женщина, — дело в том, что вряд ли в замке вас ждет добрый прием.

— Что такое? Неужели там до сих пор сидит сир де Бросс, назначенный моим кузеном Сварливым?

— Нет, мы давно прогнали Жана де Бросса, но заодно чуточку погромили замок.

— Погромили? — повторил Робер. — Надеюсь, хоть не сожгли?

— Нет, ваша светлость, нет, стены остались целы.

— Ах, значит, вы его чуть разграбили, милейшие сеньоры? Что ж, если только разграбили, тогда молодцы! Все, что принадлежит Маго, прощелыге Маго, свинье Маго, Маго-шлюхе, — все ваше, мессиры, и я охотно делюсь с вами ее добром!

Ну как было не обожать столь великодушного сюзерена! Союзники снова грянули «ура» в честь своего славного графа Робера, и мятежное воинство тронулось по дороге в Эден.

Только к концу дня кавалькада достигла крепости графов Артуа с ее четырнадцатью башнями и с замком, занимавшим огромную площадь в двенадцать «мер», иными словами, около пяти гектаров.

Много кровавых трудов, много пота стоила окрестному мелкому люду, умученному непосильными податями, эта сказочная крепость, которая, как уверяли, воздвигнута ради того, чтобы защитить простолюдинов от бедствий войны! Одна война сменялась другой, но замок оказался для них неверным оплотом, и так как бои обычно шли вокруг него, то местное население предпочитало отсиживаться в своих лачугах, моля Господа Бога пронести этот смерч стороной.

Поэтому и не высыпал народ на улицы, чтобы приветствовать сеньора Робера. Жители, натерпевшиеся страха еще во время вчерашнего грабежа, попрятались по домам. Только самые трусливые вышли на порог и крикнули что-то вслед проезжавшей кавалькаде, но крик получился какой-то жидкий.

Подступы к замку являли собой малоприглядное зрелище: королевский гарнизон, аккуратно развешанный на зубцах стены, уже порядком попахивал. У больших ворот, так называемых

Цыплячьих ворот, был спущен подъемный мост. Внутренность двора носила страшные следы набега: из кладовых струйкой вытекало вино, так как вчера перебили все чаны; повсюду валялась дохлая птица; в коровниках надрывно мычали недоеные коровы, а на кирпичах, которыми был вымощен внутренний двор — неслыханная по тем временам роскошь, — была начертана вся история вчерашней бойни: о ней рассказывали широкие пятна уже успевшей высохнуть крови.

Жилище семейства Артуа насчитывало пятьдесят покоев, и ни один не пощадили славные союзники Робера. Все, что не удалось вынести или вывезти, все, что не годилось для украшения их замков, было разбито и разломано на месте.

Исчез из часовни огромный червленый крест, равно как и статуя Людовика Святого, в которой был заключен обломок пречистой кости и несколько королевских волосков. Исчезла золотая дарохранительница, которую присвоил себе Ферри де Пикиньи и которая потом отыскалась у одного парижского лавочника, так как этот сеньор перепродал ему святую реликвию. Расхитили библиотеку, насчитывавшую дюжины томов, украли шахматы из яшмы и халцедона. А платья, пеньюары, белье графини Маго мелкопо-

местные дворянчики торжественно преподнесли в дар своим возлюбленным и ждали ночи, когда их горячо отблагодарят за великодушный дар. Даже из кухни унесли все запасы перца, имбиря, шафрана и корицы…[17]

Под ногами хрустели осколки посуды, шелестели обрывки парчи; повсюду валялись балдахины, поломанная мебель, сорванные гобелены. Вдохновители грабежа не без смущения плелись вслед за Робером, но при каждом новом открытии гигант начинал хохотать так громко и искренне, что они мало-помалу приободрились.

В гербовом зале по приказу хозяйки вдоль стен водрузили каменные статуи, изображавшие всех графов и графинь Артуа, начиная с прародителей и кончая самой Маго. Хотя трудно было отличить одного каменного предка от другого, общий вид зала получился внушительным.

— Вот тут, ваша светлость, — проговорил Пикиньи, у которого совесть и без того была нечиста, — вот тут мы ничего не тронули.

— И зря, куманек, — возразил Робер. — Среди

---

[17] Примечания: 17

Маго составила тщательную опись краж и разрушений, учиненных в ее замке Эден, заключавшую не меньше ста двадцати девяти пунктов, и возбудила тяжбу перед Парижским парламентом, добиваясь возмещения ущерба. Частично оно было ей предоставлено судебным решением от 9 мая 1321 г.

этих каменных истуканов есть такие, что не очень-то мне по нутру. Лорме, палицу!

Вооружившись тяжелой палицей, которую поспешил подать Лорме, Робер трижды описал круг над головой и с размаху опустил ее на лик графини Маго. Каменная громада покачнулась на цоколе, а голова, слетев с плеч, разбилась о плиты пола.

— Пускай с нее живой вот так покатится голова и пускай все мои союзники ее окропят! — провозгласил Робер.

Тому, кто любит крушить, стоит только начать; привычная тяжесть палицы ласкала руку гиганта в пурпурном одеянии.

— Ах, моя тетушка-шлюха, ведь вы лишили меня графства Артуа лишь потому, что тот, кто произвел меня на свет…

И он одним ударом смахнул с плеч голову родного отца, графа Филиппа.

— …имел глупость помереть раньше, чем вот этот…

И он обезглавил заодно и своего деда — графа Робера II.

— …и мне придется жить среди каменных болванов, изготовленных по вашему приказу ради возвеличения собственной персоны, на что вы

не имеете никакого права! Вон моих предков, долой! Мы начнем все заново и не на ворованные денежки!

Стены дрожали, осколки камня усыпали весь пол. Бароны молчали, у них даже дух перехватило перед невиданным еще размахом ярости, далеко превосходившей их в искусстве разгромов. Ну не сладко ли покориться такому вождю!

Обезглавив весь свой род, граф Робер III швырнул палицу в окно, откуда со звоном вылетели стекла, и блаженно потянулся.

— Теперь, друзья, можно и поговорить на свободе… Мессиры, славные мои соратники и верноподданные, я требую, чтобы все города, превотства, сеньории, которые мы освободим из-под ига Маго и всех ее чертовых Ирсонов, составили список своих претензий против ее правления и чтобы были подробно перечислены все ее злодеяния, после чего мы перешлем их жалобы прямо в руки ее зятька, мессира Ворота на Запоре… ибо, где бы сей сеньор ни появлялся, он первым делом запирает все — будь то город, конклав, казна… в собственные руки мессира Слепуши, нашего обожаемого сеньора Филиппа

Кривого[18], объявившего себя регентом, ради коего у нас четырнадцать лет назад отобрали наше графство, чтобы он жирел на бургундских хлебах! Так пусть же подохнет, зверюга, пусть удавится собственными кишками!

Коротышка Жерар Кьере, кляузник и крючкотвор, тот самый, что представительствовал перед покойным королем Людовиком Сварливым за баронов графства Артуа, взбунтовавшихся против Маго, взял слово:

— Есть тут одна зацепочка, ваша светлость. Можно не только Артуа, но и все королевство взбудоражить: пожалуй, регенту любопытно будет узнать, почему его брат, Людовик Десятый, отдал Богу душу.

— Что за черт, неужто ты, Жерар, думаешь то же самое, что и мне приходило в голову? Неужто у тебя есть доказательства, что моя достопочтенная тетушка приложила к этому руку?

— Доказательства, ваша светлость? Легко сказать, доказательства! Зато подозрения есть, и вполне основательные, свидетели тоже имеются. Я знаю в Аррасе одну даму, зовется она Изабелла Ферьенн, и сын у нее есть — Жан, так вот оба они

---

[18] Примечания: 18

Тогда говорили «кривой» вместо «близорукий». Филиппа V называли Длинным, Большим или Кривым.

чернокнижники и торгуют разными волшебными зельями, а имела с ними дело некая девица Ирсон, по имени Беатриса…

— Ах эта! Эту я вам рано или поздно выдам на утеху! — подхватил Робер. — С первого взгляда видно, лакомый кусок, ох и лакомый!

— Мать и сын Ферьенн продали ей для мадам Маго яду, чтобы травить оленей, а было это за две недели до кончины Людовика. То, что годно для оленей, сгодится и для короля.

Бароны веселым кудахтаньем одобрили эту незамысловатую шутку.

— Так или иначе, яд для рогатых, — уточнил Робер. — Упокой, Господи, душу моего рогача-кузена!

Кудахтанье стало громче.

— А все это подтверждается тем, мессир Робер, — продолжал Кьере, — что в прошлом году мадам Ферьенн похвалялась, что изготовила зелье и что мессир Филипп, которого вы величаете Кривым, выпив его, снова полюбил свою супругу мадам Жанну, дочь Маго…

— Такую же шлюху, как и ее матушка, и вы, бароны, тоже хороши: не могли придушить эту гадину, когда она прошлой осенью попалась вам в руки, — прервал его Робер. — Подайте мне

мадам Ферьенн, подайте мне ее сынка! Как прибудем в Аррас, потрудитесь сразу же их схватить. А теперь давайте закусим, после трудов праведных у меня разыгрался аппетит. Пусть заколют самого большого быка, какой только найдется в хлеву, и пусть зажарят его целиком; пусть выловят из пруда всех карпов Маго и пусть подадут вино, которое вы еще не успели выпить.

А через два часа, когда день уже начал клониться к закату, вся честная компания была мертвецки пьяна. Робер отрядил своего Лорме, которого не брал хмель, с надежным эскортом в город — пускай обшарят все дома и доставят сюда девушек, чтобы бароны могли позабавиться. В поисках требуемого товара Лорме со стражниками не особенно церемонились и стаскивали с постелей всех женщин подряд — будь то невинная девица или же честная мать семейства. И вскоре Лорме пригнал к замку ревущую от страха толпу женщин в одних ночных рубашках. В разгромленных покоях графини Маго начался безудержный шабаш. Визг женщин лишь еще больше распалял высокородных рыцарей, которые бросались в атаку на своих жертв, словно перед ними было воинство неверных, старались опередить друг друга в ловкости и по трое тащи-

ли в разные стороны свою добычу. Робер выбрал для себя самые лакомые кусочки и уволок девиц за волосы, даже не потрудившись снять кольчугу. И так как весил он более двухсот фунтов, несчастные даже кричать не могли и только задыхались. А тем временем Суастр, потеряв где-то свой великолепный шлем, стоял в уголке, согнувшись вдвое, прижав к груди руки, и отдавал обратно пищу без передышки, как водосточная труба во время грозы.

Потом доблестные вояки мирно захрапели; и один человек мог бы без помех перерезать нынче ночью всю знать графства Артуа.

На следующее утро достославная рать, еле волоча с перепоя ноги, чувствуя во рту горечь, а в голове шум, тронулась на Аррас, где Робер решил устроить свою резиденцию. Один лишь он был свеж, как только что пойманная щука, чем окончательно покорил свою армию. По дороге то и дело устраивали привалы, так как в окрестностях Маго владела еще и другими замками, при виде которых бароны приободрились.

Но когда в День святой Магдалины Робер Артуа прибыл в Аррас, мадам Ферьенн обнаружить не удалось — она как в воду канула.

Глава II
Папский ломбардец

Тем временем в Лионе кардиналы по-прежнему сидели взаперти. Они надеялись, что регент устанет и сдастся; пленение их длилось уже месяц. Семьсот лучников графа Форе все так же зорко охраняли церковь и доминиканский монастырь; и хотя графу Савелли, главе конклава, в знак уважения оставили ключи от храма Божьего, ключи эти оказались ни к чему — замурованную дверь все равно не отопрешь.

Кардиналы с каждым днем все смелее нарушали заповеди папы Григория и не испытывали при этом ни малейших угрызений совести, коль скоро их силой загнали сюда. И каждый день они заявляли об этом графу Форе, когда тот просовывал в отверстие для подачи пищи голову, увенчанную шлемом. На что граф тоже каждый день отвечал, что он свято чтит закон конклава. Этот диалог грозил затянуться до бесконечности.

Кардиналы, коим велено было жить вместе, постепенно расселились; хотя церковь и была достаточно велика, но под сводами нефа ютилась

сотня человек, и уже через несколько дней их жизнь превратилась в ад, тем паче что спать приходилось прямо на каменных плитах, на тоненькой соломенной подстилке. Да и зловоние, наполнившее церковь с первого же дня заточения кардиналов, мало подходило к торжественной церемонии избрания папы. Поэтому прелаты, недолго думая, захватили монастырь, сообщавшийся с церковью и находившийся в той же ограде. Вытеснив монахов, святые отцы по трое поселились в кельях, что тоже было не очень удобно. Их приближенные силой заняли общую спальню, а капелланы облюбовали себе странноприимный дом, благо странников за ограду не пускали.

Правда, обещанная угроза — урезать в случае неповиновения и без того скудный паек — не была приведена в исполнение, не то конклав превратился бы в сборище скелетов. По приказу кардиналов им доставляли с воли кое-какие лакомства, предназначенные, по их словам, для аббата. Тайна переговоров нарушалась то и дело: ежедневно конклав получал и посылал письма, засунутые в печеный хлеб или между пустыми блюдами. Час, отведенный для обеда, превращался в час писания и чтения писем,

поэтому послания, с помощью которых святые отцы рассчитывали привести к согласию весь христианский мир, были сплошь испещрены жирными пятнами.

О всех этих попустительствах Форе сообщал регенту, а тот отвечал, что пусть все так и остается. «Чем больше они натворят ошибок, — говорил Филипп Пуатье, — тем строже мы с них взыщем, когда будет на то наша воля. Что касается посланий, пропускайте их с умыслом, только старайтесь всякий раз, как представится случай, прочесть их, чтобы я мог знать содержание».

Таким образом стало известно, что на папский престол были выдвинуты четыре кандидата, тут же отвергнутые конклавом; сначала назвали Арно Нувеля, бывшего аббата Фонфруадского, о котором Жан де Форе сообщил Филиппу, что не считает сего кардинала «особо горячим приверженцем французского королевства»; потом провалились кандидатуры Гийома де Мандагу, кардинала Пренестра, Арно де Пелагрю и Беранже Фредоля старшего. Гасконцы и провансальцы взаимно проваливали друг друга. Вслед за тем стало известно, что от грозного кардинала Каэтани отвернулся кое-кто из итальянской партии, даже его кузен Стефанески, до того опротивел

он всем своими низкими интригами и клеветой, нелепость которой бросалась в глаза.

Разве не он предположил — правда в шутку, но ведь всем известно, что означает в таких устах шутка, — вызвать дьявола, и пускай-де он назначит папу, раз Господь Бог не желает проявить свою волю.

На что Дюэз, пришепетывая по обыкновению, возразил:

— Не впервые, Франческо, ох не впервые сатана воцарится среди нас!

Когда Каэтани требовал себе свечу, то, по общему мнению, отнюдь не затем, чтобы она освещала его келью, а чтобы с помощью воска совершать заклятие.

Раньше, живя врозь, кардиналы, случалось, спорили, отстаивая свои доктрины, престиж и интересы, а теперь, прожив месяц бок о бок в неустройстве и тесноте, они возненавидели друг друга по личным соображениям, возненавидели почти физически. Многие опустились, перестали следить за собой, ни разу не побрились в течение месяца, не могли побороть бренной своей плоти. Теперь кандидат в папы в поисках сторонников не прибегал к посулам, не обещал ни бенефиций, ни денег, но делил свою скудную порцию пищи с

обжорой, что было строжайше запрещено. Шепотом один доносил другому:

— Камерлинг опять съел три порции — претенденты в папы его подкармливают.

Если благодаря всем этим махинациям кардинальские желудки пришли в относительное равновесие, то не так легко оказалось жить в полном целомудрии, к чему святые отцы не имели привычки, и это обстоятельство окончательно их озлобило. Среди провансальцев ходила незамысловатая шутка:

— Монсеньор д'Ош страдает от отсутствия жареных птиц, а их святейшества Колонна — от отсутствия девиц.

Ибо братья Колонна, гиганты, рожденные скорее для лат, чем для сутаны, начали уже гоняться по монастырским коридорам за молодыми дворянчиками и сулили им отпущение грехов.

Вспоминались старые обиды, то и дело слышались сердитые возгласы:

— Если бы вы не канонизировали Целестина… если бы вы не отреклись от Бонифация… если бы вы не согласились переехать из Рима… если бы вы не осудили тамплиеров…

Святые отцы упрекали друг друга в недостаточной защите церкви, в тщеславии и продажности.

Послушать этих кардиналов, так ни один из них не был достоин не только сесть на папский престол, но даже занять место деревенского викария.

Один лишь монсеньор Дюэз, казалось, не замечал ни неудобств, ни интриг, ни злословия. За последние два года он столько намутил среди своих коллег, что сейчас ему не было нужды ни во что вмешиваться, ибо посеянные им дурные семена произрастали и без его помощи. А так как он всегда страдал отсутствием аппетита, ему вполне хватало скудного пайка. По собственной воле поселился он в келье вместе с двумя нормандскими кардиналами, тяготевшими к провансальской партии, — с Никола де Фреовиллем, бывшим исповедником Филиппа Красивого, и Мишелем дю Беком, которые были не на виду и к тому же слишком слабы, чтобы сколотить собственную партию. Их не опасались, и никто не усматривал в их совместном пребывании с Дюэзом какого-либо заговора. Впрочем, Дюэз мало виделся со своими сожителями. В определенные часы он прогуливался в ограде монастыря, обычно опершись на руку Гуччо, который не скупился на поучения.

— Идите тише, монсеньор! Вы же видите, что я

едва за вами поспеваю, у меня нога не сгибается после несчастья в Марселе, когда я упал с корабля, на котором прибыла во Францию королева Клеменция… Насколько я могу судить по разговорам, чем слабее вы будете казаться с виду, тем сильнее шансы на ваше избрание.

— Верно, верно, неглупо сказано, — отвечал Дюэз, старательно сутулясь и волоча ноги, как и подобает семидесятидвухлетнему старцу.

Все остальное время он читал или писал. Он раздобыл то, что было для него важнее всего на свете: книги, свечу и пергамент. Когда его звали кардиналы, собиравшиеся посовещаться на хорах, он делал вид, что с неохотой отрывается от книг, с трудом добирался до своего места, с наслаждением слушал, как его коллеги язвят и клянут друг друга, и кротко шептал:

— Я молю, молю Господа, братья, дабы он помог нам выбрать наидостойнейшего.

Знавшие его ранее кардиналы находили, что он сильно изменился за последнее время. Он казался преисполненным христианских добродетелей, усердно умерщвлял плоть и являл всем пример благожелательности и милосердия. Когда ему говорили об этом, он, досадливо махнув рукой, отвечал обычным своим полушепотом:

— Смерть не за горами… Пора к ней готовиться…

Он едва прикасался к пище, и по приказу Дюэза его почти полную миску относили по очереди кардиналам; желая оправдать это нарушение правил, он ссылался на свое слабое здоровье. Гуччо то и дело являлся с дарами к камерлингу, который жирел, как бык на откорме, и говорил ему:

— Монсеньор Дюэз просил вам передать вот это. Он видел вас нынче утром и считает, что вы похудели.

Гуччо было легче, чем остальным девяноста шести узникам, общаться с волей; ему сразу же удалось связаться с представителем банка Толомеи в Лионе. Именно этим путем уходили не только те письма, которые сам Гуччо слал дяде, но и более секретные послания Дюэза, адресованные регенту. Эти послания миновало печальное соседство с жирной посудой; их переправляли в книгах, необходимых кардиналу для его благочестивых трудов.

Дюэз и впрямь не имел иного поверенного, кроме юного ломбардца, чье хитроумие он ценил с каждым днем все больше. Их судьбы были нерасторжимо связаны, ибо если Дюэз мечтал

прямо из этой церкви, раскаленной июльским солнцем, попасть на папский престол, то Гуччо не терпелось вырваться отсюда как можно скорее, заручившись высоким покровительством, чтобы помочь своей милой. Впрочем, в последнее время тревоги Гуччо немного улеглись: Толомеи сообщил ему, что заботится о Мари, как и подобает родному дяде.

В самом начале последней недели июля, когда Дюэз убедился, что его коллеги совсем выбились из сил, истомлены жарой и окончательно перегрызлись, он решил разыграть комедию, к которой готовился уже давно и которую тщательно разработал с помощью Гуччо.

— Ну как, научился я волочить ногу? Видно по моему лицу, что я сижу на хлебе и воде? Достаточно ли у меня скверный вид? — допытывался он у случайно попавшего ему в служки Гуччо. — Достаточно ли мои собратья надоели друг другу и можно ли, воспользовавшись их состоянием, добиться нужного нам решения?

— Думаю, что так, монсеньор, думаю, что они уже вполне созрели.

— Ну-ну, дружок, пойдите и поработайте хорошенько языком, а я прилягу и, боюсь, больше не встану…

Гуччо тут же принялся за дело, распространяя среди кардинальских служителей слух о том, что монсеньор Дюэз сильно ослабел, видимо, серьезно занемог и, принимая в расчет его почтенный возраст, вряд ли дождется конца конклава.

Назавтра Дюэз не явился на обычное сборище, и кардиналы шепотом передавали друг другу распространенную Гуччо весть как неопровержимую истину.

А еще через день кардинал Орсини после жестокой перепалки с братьями Колонна встретил в коридоре Гуччо и спросил его, правда ли, что монсеньор Дюэз так ослабел.

— Сущая правда. Вы же видите, я себе с горя места не нахожу, — ответил Гуччо. — Известно ли вам, что добрый мой владыка даже читать не может? А это означает, что недолго ему осталось жить.

И добавил с наивно-дерзким видом, какой умел напускать на себя в случае надобности:

— Будь я на вашем месте, монсеньор, я бы знал, что мне делать. Избрал бы папой Дюэза. Ведь вас тогда немедленно отсюда выпустят. И после его кончины, а ждать ее, повторяю, недолго, выберете себе кого-нибудь другого, кто вам больше по душе. Воспользуйтесь этим, а то через неделю

будет уже поздно.

В тот же вечер Гуччо заметил, что Наполеон Орсини приватно беседует с кардиналом Стефанески, своим родичем по материнской линии, с Альбертини де Прато и Гийомом де Лонжи, то есть с итальянскими сторонниками Дюэза. А наутро вышеупомянутые кардиналы держались уже сплоченной группой; к ним присоединился испанец Лука Фиески, сводный брат Хайме II, короля Арагонского, и Арно де Пелагрю, глава гасконской партии; Гуччо, проходя мимо, услышал чей-то вопрос:

— E se non muore?[19]

— Peccato…[20] Но если он умрет завтра, нам здесь еще полгода сидеть.

Не теряя времени, Гуччо отправил дядюшке письмо и посоветовал ему скупить все векселя Жака Дюэза, выданные компании Барди и хранившиеся в Лионском отделении банка. «Вам, несомненно, удастся приобрести их за полцены, ибо должник считается при смерти и кредитор, конечно, сочтет вас безумцем. Скупайте их по любой цене за сотню, дело, повторяю, верное, не

---

[19] Примечания: 19
А если он не умрет? *(ит.)*

[20] Примечания: 20
Жаль… *(ит.)*

будь я ваш племянник». Он даже посоветовал Томеи как можно скорее прибыть в Лион.

Двадцать девятого июля граф де Форе официально вручил кардиналу-камерлингу послание от регента. Даже Жак Дюэз решил подняться с одра и присутствовать при чтении; правда, в собор его почти внесли на руках.

Послание оказалось грозным. Граф де Пуатье подробно перечислял все прегрешения кардиналов против устава папы Григория. Напомнил о своем обещании разобрать крышу собора. Стыдил святых отцов за раздоры и предлагал им, если они не в силах прийти к соглашению, вручить тиару самому старшему по возрасту. А самым старшим как раз и был Жак Дюэз.

Но, услышав совет регента, Жак Дюэз расслабленно, как умирающий, махнул рукой и еле слышно проговорил:

— Самого достойного, братья, самого достойного! На что вам нужен пастырь, которому не под силу направлять паству, который и сам-то себя направить не может, чье место не здесь, а на небесах, если Господь пожелает меня призвать к себе?

Он велел отнести себя в келью, лег на постель и повернулся к стене. Хорошо, что Гуччо успел

изучить нрав своего кардинала и один мог догадаться, что плечи Дюэза сотрясает не предсмертная икота, а смех.

На следующий день Дюэзу полегчало: слишком затянувшаяся комедия слабости могла пробудить подозрение. Но когда прибыло послание от Неаполитанского короля, который поддерживал предложение регента, на старика напал такой кашель, что вчуже страшно становилось; видно, и впрямь он был плох, если ухитрился в такую жару схватить простуду.

Однако надежда еще тлела в кардинальских душах, и торг продолжался, беспощадный, бесконечный. Вряд ли из двадцати четырех кардиналов нашелся хоть один, который, как ни малы были его шансы на избрание, не подумал пусть на минуту: «А почему бы и не меня?»

Среди приезжих, наводнивших Лион в надежде на близкое завершение дела, утвердилось мнение, что все эти установления чересчур далеки от совершенства — все они стоят друг друга, недостатки их порождены человеческим тщеславием; система избрания папы на престол святого Петра ничуть не лучше порядка наследования престола французского.

А тут еще усилил строгости граф де Форе. По его

приказу осматривали еду, которую давали теперь уже только раз в день, послания, адресованные кардиналам, конфисковывали, их письма швыряли обратно в окошко.

Пятого августа Наполеону Орсини удалось склонить на сторону Дюэза самого Каэтани, грозу конклава, а также кое-кого из гасконской партии. Провансальцы потирали руки, предвкушая победу.

А шестого августа подсчитали, что монсеньор Дюэз может рассчитывать на восемнадцать голосов, то есть получить на два голоса больше, чем требовалось для пресловутого большинства, которого в течение двух лет и трех месяцев не мог собрать ни один из претендентов. Оставшиеся в меньшинстве раскольники, поняв, что избрание произойдет без их помощи, даже вопреки их воле, и справедливо опасаясь кары за свое упорство, поспешили признать высокие христианские добродетели монсеньора Дюэза и изъявили согласие голосовать за него.

Голосование назначили на понедельник — седьмое августа 1316 года. Выбрали четырех кардиналов для подсчета голосов. Появился и сам Дюэз, которого несли Гуччо и второй кардинальский служка.

— Прямо перышко, весу в нем совсем нет, — шептал Гуччо кардиналам, собравшимся посмотреть на шествие и почтительно расступавшимся перед Дюэзом, из чего нетрудно было заключить, что выбор их уже сделан.

— На все воля Твоя, Господи, Твоя воля, — прошелестел Дюэз, беря в руки бумагу, где ему предстояло написать имя кандидата.

А через несколько минут Дюэз был единогласно избран папой, и двадцать три бывших его соперника устроили ему шумную овацию.

Досаждал же он избравшим его кардиналам еще целых восемнадцать лет!

Гуччо бросился было, чтобы помочь подняться хилому старику, ставшему отныне главой христианского мира.

— Нет, нет, сын мой, не надо, — запротестовал Дюэз. — Попытаюсь ходить без посторонней помощи. Лишь бы Господь Бог укрепил меня.

Те, кто поглупее, поверили, что совершилось чудо, а все прочие поняли, что их обвели вокруг пальца.

Кардинал-камерлинг тем временем приказал сжечь в камине все документы, связанные с голосованием, и белый дымок известил мир об избрании нового главы католической церкви.

И сразу же застучали кирки, разбивая каменную кладку, преграждавшую главный выход. Но граф де Форе был человек осмотрительный; как только каменщики пробили достаточно большое отверстие, он первым проскользнул в амбразуру.

— Да, да, сын мой, избрали именно меня, — бросил ему Дюэз, ковыляя к дверям.

Каменщики разобрали кладку; в освобожденные от камней окна хлынуло солнце — впервые за сорок дней пребывания конклава в церкви Святого Иакова.

Огромная толпа собралась на паперти; простой люд, лионские горожане, судьи, сеньоры и наблюдатели иностранных дворов как по команде опустились на колени. Какой-то толстый человек с оливково-смуглым лицом и крепко зажмуренным левым глазом сумел пробиться внутрь церкви сразу же вслед за графом де Форе. Схватив край папского одеяния, он почтительно поднес его к губам, и на его седую голову пало первое благословение того, кто отныне стал зваться папой Иоанном XXII.

— Zio Spinello![21] — крикнул Гуччо, вглядываясь в коленопреклоненного толстяка.

---

[21] Примечания: 21
Дядя Спинелло! *(ит.)*

— Ах, так это ваш дядя! Я очень полюбил вашего племянника, сын мой, — проговорил Дюэз и сделал банкиру знак, чтобы тот поднялся с колен. — Он верно служил мне, и я намерен оставить его при себе. Но обнимите же его, обнимите скорее!

Гуччо бросился на шею Толомеи.

— Я выкупил все, как ты мне сказал, платил по шесть за десять, — шепнул дядя на ухо племяннику, пока Дюэз благословлял толпу. — Этот папа должен нам не одну тысячу ливров. Bel lavoro, figlio mio![22] Ты мой настоящий племянник по крови!

Но не у одних только кардиналов вытянулись с досады лица; какой-то человек, стоявший позади Толомеи, тоже не мог сдержать досадливого жеста — это был сеньор Боккаччо, главный приказчик Барди.

— Эх, знал бы я, что ты тут замешан, mascalzone[23], — обратился он к Гуччо, — ни за что бы не продал!

— А Мари? Где Мари? — тревожно допытывался Гуччо.

---

[22] Примечания: 22
Славно сработано, сын мой! *(ит.)*

[23] Примечания: 23
Мошенник *(ит.).*

— Успокойся, твоя Мари чувствует себя превосходно. Она столь же красива, сколь ты лукав, и если крошечный ломбардец, который пока что находится у нее в утробе, унаследует ваши качества, он наверняка пробьет себе дорогу! Иди, иди скорее, мальчик! Слышишь, святой отец тебя кличет.

Глава III
Плата за преступление

Регент Филипп решил присутствовать при церемонии возведения на престол папы, который был собственной его креатурой, и таким образом явить себя всему свету как ревностного защитника христианства.

— Потрудился я для него немало, — говорил Филипп. — Теперь пускай он по справедливости поможет мне упрочить мое правление. Я обязательно поеду в Лион на миропомазание.

Но из графства Артуа по-прежнему шли тревожные вести. Робер, не встречая сопротивления, взял Аррас, Авен, Терруан — словом, продолжал прибирать к рукам все графство. Из Парижа его тайно поддерживал граф Валуа.

Регент не изменил своей прежней тактике

окружения, подсказанной ему не так разумом, как его природными склонностями; он сразу же взялся обрабатывать прилегавшие к Артуа области, боясь, что мятеж перекинется туда. Пикардийским баронам он направил послание, в котором говорилось об узах верности, связывающих их с французским престолом, и весьма любезно, но недвусмысленно намекалось, что регент не потерпит ни малейшего нарушения верноподданнического долга; вслед за тем во все пикардийские превотства прибыли французские войска и стража для поддержания порядка. Фламандцам, которые все еще язвительно подтрунивали над «грязевым походом» Сварливого, хотя с тех пор прошло больше года, этим самым фламандцам Филипп предложил новый мирный договор на весьма выгодных для них условиях.

— Раз уж началась такая сумятица, лучше потерять малое, но спасти остальное, — говорил он своим советникам.

Хотя зять графа Фландрского, Жан де Фьенн, был одним из верных приспешников Робера Артуа, суверен Фландрии, почуяв, что вряд ли представится еще столь же благоприятный случай, согласился на переговоры и, таким образом, не стал вмешиваться в дела соседнего графства.

Словом, Филипп запер ворота Артуа. И тогда послал Гоше де Шатийона к вожакам мятежников поторговаться с ними и уверить их в доброжелательности графини Маго.

— Поймите меня хорошенько, Гоше, не вздумайте объясняться с Робером, — наставлял Филипп своего коннетабля, — а то он решит, что мы тем самым признаем его права. Мнения своего мы не изменили — Робер лишен этих земель, коль скоро такова была воля моего отца. Вас посылают в Артуа с единственной целью — уладить раздоры графини с ее вассалами, что, по нашему мнению, ничуть Робера не касается. Делайте вид, что просто его не замечаете.

— Говоря начистоту, сир, — произнес коннетабль, — вы желаете, чтобы полностью восторжествовала ваша теща?

— Отнюдь нет, Гоше, отнюдь нет, если она злоупотребила своими правами, а я думаю, что так оно и есть. Дело в том, что наша мадам Маго натура властная и считает, что любой человек рожден на свет божий с единственной целью служить ей, отдавать ей все до последнего лиарда и до последней капли пота! Я хочу мира, — продолжал регент, — и именно поэтому пусть каждому воздастся по заслугам. Нам известно, что богатые

горожане держат руку графини, потому что горожане всегда идут против знати, а знать встала на сторону Робера, чтобы подкрепить свои претензии. Последите за тем, насколько просьбы обоснованны, и постарайтесь их удовлетворить, не ущемляя, конечно, интересов короны; и главное — приложите все силы, чтобы отторгнуть баронов от нашего смутьяна-кузена, докажите им, что они добьются большего, положившись на нашу справедливость, нежели от него, прибегая к насилию.

— Вы, сир, на редкость рассудительный человек, поистине рассудительный! — проговорил коннетабль. — Не думал я, что мне на старости лет доведется служить такому мудрому владыке, и служить с радостью, а ведь вы втрое меня моложе.

Одновременно регент обратился к папе через графа де Форе с просьбой отложить церемонию восхождения на папский престол. Как ни хотелось Дюэзу поскорее освятить свое избрание, он любезно согласился подождать две недели.

Но прошло две недели, а дела в Артуа были еще далеки от завершения, да и договор с фламандцами мог быть подписан не раньше первого сентября. Поэтому Филипп снова попросил Дюэза

об отсрочке, на сей раз через посредство вьеннского дофина. Но Дюэз, к великому удивлению регента, выказал неожиданную твердость духа и ответил чуть ли не грубо: церемония, мол, назначается на пятое сентября, и это уж бесповоротно.

Вновь избранный папа настаивал именно на этой дате по весьма веским в его глазах причинам, которые, впрочем, предпочитал держать в тайне, да и догадаться о них было трудно. А дело заключалось в том, что в 1300 году, именно пятого сентября, его посвятили в епископы города Фрежюса; именно в первую неделю сентября 1309 года короновался покровитель Дюэза — король Роберт Неаполитанский; и именно четвертого сентября 1310 года увенчался успехом маневр Дюэза, когда он, подделав королевскую подпись, добился для себя епископского кресла в Авиньоне.

Новый папа умел ладить с небесными светилами и знал, когда движение солнца благоприятно его собственному восхождению.

«Ежели его высочеству, регенту Франции и Наварры, столь любезному нашему сердцу, — велел передать он Филиппу, — государственные заботы препятствуют находиться вместе с нами в сей высокоторжественный день, мы душевно скорбим, но раз уже нам нечего бояться, что ему предстоит

совершить столь дальний путь, мы возложим на себя тиару в городе Авиньоне».

Филипп Пуатье скрепил договор с фламандцами утром первого сентября. А пятого на заре он прибыл в Лион в сопровождении графа Валуа и графа де ла Марша, боясь оставить их без присмотра в Париже, а также в сопровождении Людовика д'Эврё.

— Вы, племянник, совсем загнали нас, мчались сломя голову, — сказал Валуа, вступив на лионскую землю.

Прибывшие едва успели переодеться в особые одежды, приготовленные для церемонии и заранее заказанные для них казначеем Жоффруа де Флери. Регенту принесли мантию персикового цвета, подбитую беличьими животиками в количестве двадцати шести штук. Карл Валуа, Людовик д'Эврё, Карл де ла Марш и Филипп Валуа, тоже приглашенный на празднество, получили в подарок плащи, богато подбитые мехом.

Празднично разубранный Лион кишел народом, собравшимся поглядеть на торжественное шествие.

Жак Дюэз прибыл в храм Святого Иоанна верхом на коне, а впереди него прогарцевал мимо коленопреклоненных толп сам регент Франции.

Над городом стоял оглушительный колокольный звон. Папского коня вели под уздцы граф д'Эврё и граф де ла Марш. Французская монархия тесно замкнула папство в свое кольцо. Сзади шествовали кардиналы в красных шапках, завязанных тесьмой под подбородок и надетых поверх скуфеек. Епископские митры сияли на солнце. Сам кардинал Орсини, потомок римских патрициев, возложил тиару на чело Жака Дюэза, сына простого горожанина из Кагора.

Гуччо, успевший занять в соборе удобное место, восхищался своим господином. Сухонький, узкоплечий старичок с острым подбородком, который еще месяц назад готовился, по всеобщему мнению, отдать Богу душу, без малейшего усилия нес на себе тяжелые атрибуты папской власти. Сказочно пышные обряды этой многочасовой церемонии, возвышавшей простого кардинала над всеми прочими священнослужителями, превращавшие его в живой символ божества, — все это, помимо воли, оказало на Дюэза свое воздействие: черты лица, осанка приобрели несвойственную ему внушительность и величавость, и выражение это проступило еще явственнее к концу литургии. Однако, когда Дюэза обули в папские туфли, он не мог удержать легкой улыбки.

«Scarpinelli! Мне дали кличку scarpinelli — кардинал-туфельщик, — подумал он. — Распространяли слухи, что я сын башмачника. А теперь я сам буду ходить в туфлях… Господи! Нечего мне больше желать. Только бы умело повести дела!»

Он и доказал свое умение вести дела — в тот же день по просьбе папы регент пожаловал его брату, Пьеру Дюэзу, дворянство, а сам он собирался уже собственной волей назначить пятерых своих племянников кардиналами и выполнил свое намерение в течение двух ближайших лет.

Акт о пожаловании дворянства, продиктованный лично Филиппом Пуатье по окончании церемонии, если и имел целью отдать долг уважения наместнику святого Петра в лице родного брата папы, одновременно свидетельствовал об удивительных умонастроениях юного регента. «Фамильное достояние, накопленное богатство и все прочие дары фортуны, — писал он, — играют ничтожно малую роль в совокупности моральных качеств и в достохвальных деяниях человеческих; все это переходит достойным, равно как и недостойным, заслуженно, а равно и незаслуженно лишь игрою случая… Зато каждый есть детище собственных своих деяний и личных заслуг, и не имеет значения, откуда мы пришли,

если даже мы знаем, от кого мы произошли…»

Но регент не для того проделал столь длинный путь и выказал в отношении нового папы так много внимания, чтобы уехать с пустыми руками, не получив ничего взамен. Между этими двумя людьми, которых разделяли целые полвека («Вы, ваше высочество, восход, а я, увы, закат!» — любил повторять Дюэз Филиппу), с первой же встречи установилась какая-то тайная близость и общность замыслов. Иоанн XXII не забыл тех обещаний, которые давал Жак Дюэз, а регент — тех, которые давал граф Пуатье. Как только регент завел разговор о церковных бенефициях, первый аннуитет от которых должен был поступить в королевскую казну, новый папа тут же сообщил, что документы ждут лишь подписи. Но прежде чем были приложены печати, Филипп успел приватно побеседовать с Карлом Валуа.

— Нет ли у вас ко мне каких-нибудь претензий, дядюшка? — спросил он.

— Конечно нет, племянник, — ответил бывший император Константинопольский.

Единственный способ сказать человеку в лицо, что у тебя к нему одна лишь претензия — зачем он вообще существует на свете!

— В таком случае, дядюшка, если вы не имеете

оснований на меня жаловаться, зачем же вы вредите мне? Я заверил вас, когда вы вручали мне ключи от казны, что не спрошу отчета, и сдержал свое обещание. Вы же клялись мне в преданности и верности, а слова своего не держите и оказываете помощь Роберу Артуа.

Валуа возмущенно махнул рукой.

— Боюсь, что вы просчитаетесь, дядя, — продолжал Филипп, — Робер обойдется вам слишком дорого. У Робера гроша за душой нет; единственный его доход — это деньги, которые ему выплачивает казна, а я распорядился не выплачивать ему больше ничего. Поэтому теперь он будет осаждать вас просьбами о помощи. А где вы сами возьмете нужные средства, поскольку финансы королевства уже не в ваших руках? Да не дуйтесь вы, не краснейте, а главное, воздержитесь от грубых слов, о которых вы сами пожалеете, так как я пекусь о вашем же благе. Дайте мне обещание не слишком поддерживать Робера, а я со своей стороны попрошу святого отца, чтобы аннаты епископств Валуа и Мэн шли прямо вам, минуя казну.

Сердце графа Валуа терзали ненависть и алчность.

— А какова сумма этих аннатов? — спросил он.

— От десяти до тринадцати тысяч ливров в год, дядюшка; возьмите в расчет, что в последние годы царствования моего отца и во все время царствования Людовика бенефиции вообще не взимались.

Для Карла Валуа, не вылезавшего из долгов, привыкшего к королевскому образу жизни и посулившего непомерно огромное приданое за своими дочерьми, для которых он мечтал о самых выгодных партиях, десять — тринадцать тысяч ливров ежегодного дохода если и не разрешали окончательно финансовых затруднений, то, во всяком случае, давали временную передышку.

— Вы, племянник, как я вижу, человек добрый и понимаете мои нужды, — ответил Карл Валуа.

Получив от Гоше де Шатийона добрые вести, Филипп, не торопясь, возвращался в Париж, делая небольшие переходы, улаживал по дороге всевозможные дела и наконец, прежде чем въехать в столицу, заглянул в Бенсен к королеве Клеменции, чтобы передать ей благословение нового папы.

— Как я счастлива, — воскликнула королева, — что наш дорогой Дюэз взял себе имя Иоанн, ведь то же имя я выбрала своему ребенку. Я дала обет назвать его Иоанном еще на корабле, по дороге

во Францию, когда разразилась страшная буря.

Клеменцию по-прежнему не интересовали вопросы власти. Всеми помыслами ее владел покойный супруг и будущее материнство со всеми его заботами. Пребывание в Венсенне благотворно сказалось на состоянии Клеменции: она похорошела, к ней вернулись прежние краски, и сейчас, раздобрев на седьмом месяце, она чувствовала себя совсем здоровой, что нередко бывает к концу тяжелой беременности.

— Неподходящее имя для французских королей, — заметил Филипп. — В нашем роду никогда не было Иоаннов.

— Но, брат мой, я говорю вам, что дала обет.

— Что ж, придется уважить ваше желание… Если родится мальчик, он будет зваться Иоанн Первый.

Прибыв во дворец Сите, Филипп направился в покои своей супруги Жанны, которая, сияя счастьем, нянчилась с крошкой Луи-Филиппом, кричавшим, как и подобает кричать в двухмесячном возрасте.

Но графиня Маго, услышав о возвращении зятя, как фурия примчалась во дворец, засучивая на ходу рукава.

— Ох, сынок, пока вы отсутствовали, меня пре-

дали! Известно вам, что натворил в Артуа ваш плут Гоше?

— Гоше вовсе не плут, а коннетабль Франции, матушка, и еще недавно вы не считали его плутом. Так что же он наделал?

— Он отступился от меня! — вопила Маго. — Осудил во всем. Ваши посланцы снюхались, как воры на ярмарке, с моими вассалами, посмели потребовать, чтобы я не возвращалась в Артуа… Слышите, это мне, Маго, запрещают возвращаться в мое же собственное графство… прежде чем я подпишу этот проклятый мирный договор, который я в прошлом декабре отказалась подписать, как ни понуждал меня к этому покойный Людовик. Больше того, они требуют, чтобы я вернула какие-то подати, которые я, по их мнению, неправильно взимала.

— Все это кажется мне вполне справедливым. Мои посланцы строго выполняют мои распоряжения, — спокойно отозвался Филипп.

От удивления Маго даже замолчала и застыла на месте с открытым ртом, выпучив глаза. Но, оправившись от первого потрясения, завопила еще громче:

— Ах, справедливо! Значит, по-вашему, справедливо грабить мои замки, вешать мою стражу,

топтать мои нивы?! Значит, это вы так распорядились, значит, вы поддерживаете моих врагов! Ваши распоряжения! Вот уж действительно заплатили мне за все добро, которое я для вас сделала!

На ее лбу вздулась толстая синяя жила, и Филипп подумал, что вечером его теще придется отворить кровь.

— Не знаю, матушка, что вы такое для меня сделали, если не считать того, что отдали мне свою дочь, — возразил он, — и почему я должен терпеть, что вы наносите ущерб моим подданным и ради собственной выгоды ставите под угрозу мир в королевстве.

Маго не сразу нашлась что ответить, ярость боролась в ее душе с благоразумием. Но, услышав из уст зятя слова «мои подданные», чисто королевские слова, она забыла все.

— А убить твоего братца, — крикнула она, наступая на Филиппа, — это, по-твоему, ничего не значит?

Десять недель она хранила про себя тайну и выдала ее сейчас в неразумном порыве гнева.

Филипп не отпрянул, не крикнул от ужаса, он только бросился закрывать двери и близоруко оглядывался, боясь обнаружить нежелательного

свидетеля, который мог их слышать. Затем запер все замки, вынул ключи и засунул их за пояс. Маго вздрогнула от страха, а когда она увидела медленно приближавшегося к ней Филиппа, увидела его лицо, она совсем перетрусила.

— Стало быть, это вы, — проговорил он негромко, — стало быть, то, о чем шушукаются по всей Франции, правда?

Но Маго была не из тех, кто сдается без боя.

— А как, по-вашему, все это произошло, сын мой? И кому, по-вашему, вы обязаны честью быть регентом, а возможно, рано или поздно и королем? Ну-ну, не прикидывайтесь простачком! Ваш брат отобрал у меня Артуа; Карл Валуа настраивал его против меня; а вы, вы сидели в Лионе, выбирали папу. Подумаешь, нужен мне папа! Не смотрите на меня как блаженненький и не вздумайте уверять, что не одобряете моего поступка! Ничуть вы не любили Людовика и, конечно, рады, что вам досталось после него еще тепленькое местечко! А все благодаря мне, все потому, что я чуточку, совсем чуточку приправила его драже. Но вот уж чего я никак не ожидала — что вы окажетесь еще хуже Людовика!

Филипп опустился в кресло, скрестил на груди свои длинные руки и задумался.

«Рано или поздно, это все равно бы произошло, — подумала Маго. — В каком-то отношении это даже лучше; теперь он у меня в руках».

— Жанна знает? — вдруг спросил Филипп.

— Ничего не знает. Это не женское дело.

— А кто знает, кроме вас?

— Беатриса, моя придворная дама.

— И этого уже много, — отозвался Филипп.

— Ох, не трогайте ее! — вскричала Маго. — Она из могущественной семьи.

— О да, как раз из той семьи, по чьей вине вас так обожают в Артуа! А кроме Беатрисы? Кто вам дал… эту приправу, как вы изволили выразиться?

— Одна колдунья из Арраса, я ее в глаза не видела, а Беатриса ее знает. Я велела нарочно сказать, что хочу избавиться от оленей, которые портят мой парк, и действительно мы их немало потравили.

— Следовало бы найти эту женщину, — заметил Филипп.

— Поняли ли вы наконец, — продолжала Маго, — что теперь вы не можете от меня отступиться? Как только люди увидят, что вы лишили меня своего покровительства, враги мои осмелеют и начнут клеветать…

— Злословить, матушка, злословить… — уточнил Филипп.

— И если меня обвинят, то — да было бы вам известно — вся тяжесть обвинения падет на вас, люди скажут, что я действовала в ваших интересах, если не по вашему прямому наущению.

— Знаю, матушка, знаю; я как раз об этом и думал.

— Помните, Филипп, ради вас я рисковала загубить свою душу. Так что не будьте неблагодарным.

Филипп даже зашелся от гнева, что случалось с ним весьма редко.

— Нет, это уж слишком, матушка! Вы теперь потребуете, чтобы я вам ноги целовал за то, что вы отравили моего брата! Если бы я знал, что регентство достанется мне такой ценой, я никогда, слышите, никогда не согласился бы. Я отвергаю убийство; никого не следует убивать ради достижения своей цели; к такому средству прибегают плохие политики, и я приказываю вам более не прибегать к нему, пока я ваш сюзерен.

В первое мгновение он чуть было не поддался благородному порыву: немедленно собрать Совет пэров, разоблачить преступление, потребовать достойной кары… Маго, угадавшая по выраже-

нию лица Филиппа ход его мыслей, пережила скверную минуту. Но Филипп никогда не следовал своим первым побуждениям, даже самым благим. Поступить так — значит бросить тень не только на свою жену, но и на самого себя. Да и графиня Маго способна возвести на него любой поклеп, лишь бы обелить себя, лишь бы загубить его, не вставшего на ее защиту. Найдется немало желающих воспользоваться удобным случаем и пересмотреть вопрос о регентстве и престолонаследовании. А Филипп успел уже немало сделать ради Франции и мечтал сделать еще больше; он не вправе лишиться власти. В конце концов, брат его, Людовик, был скверным королем, да и убийцей к тому же… Возможно, такова воля провидения, воздавшего убийце за убийство и передавшего Францию в более достойные руки.

— Бог вам судья, матушка, Бог вам судья, — произнес он. — Мне хотелось бы только, чтобы адское пламя по вашей милости не коснулось нас еще при жизни. Приходится расплачиваться за ваше преступление, и поскольку я не могу бросить вас в темницу, я и впрямь вынужден стать вам поддержкой… Искусно вы сумели все подстроить. Послезавтра мессир Гоше получит от меня новые распоряжения. Не скрою от вас, что

даю их с тяжелой душой.

Маго бросилась было на шею зятю. Но он отстранил ее.

— И запомните хорошенько, — сказал он, — отныне все кушанья, прежде чем поступят ко мне на стол, будут пробоваться трижды, и если я почувствую хоть малейшие желудочные колики, часы вашей жизни будет нетрудно сосчитать. Так что молитесь за мое здоровье.

Маго склонила чело.

— Я так верно буду служить вам, сын мой, — произнесла она, — что рано или поздно вы вернете мне свою любовь.

Глава IV
«Коль скоро нас вынуждают воевать...»

Никто, и в первую очередь Гоше де Шатийон, не мог понять, почему Филипп Пуатье так круто изменил свою политику в отношении графства Артуа. Регент внезапно объявил своих собственных посланцев неправомочными, а подготовленное ими соглашение неприемлемым и потребовал составить новое, которое более благоприятствовало бы графине. Последствия не

замедлили сказаться. Переговоры были прерваны, и участники их, представлявшие умеренную часть знати графства Артуа, сразу же присоединились к стану мятежников. Трудно описать их негодование; коннетабль их предал, провел; отныне единственное их оружие — сила.

Граф Робер ликовал.

— Ну что, разве не предупреждал я вас, что с этими мошенниками нельзя вести переговоры? — говорил он всем и каждому.

Собрав свое воинство, он снова двинул его на Аррас.

Гоше, прибывший для переговоров с горсткой людей, едва успел улизнуть из Арраса через Перонские ворота, когда Робер торжественно, под звуки труб, с развернутыми знаменами, вступил в свою столицу через ворота Сент-Омер. Войди он на четверть часа раньше, быть бы коннетаблю Франции в плену. Произошло все это двадцать второго сентября. В тот же день Робер отправил своей тетке Маго следующее послание:

Высокочтимой, высокороднейшей даме Маго Артуа, графине Бургундской от Робера Артуа, шевалье. Так как вы препятствовали осуществлению моих законных прав в графстве Артуа, что много мне вредило и тяжелым камнем на

душе лежит, каковое положение терпеть более я не намерен, сим довожу до вашего сведения, что отныне буду сам вершить все дела и надеюсь возвратить себе все свое добро, как только успею.

Робер не был силен в эпистолярном искусстве; дипломатические выверты и тонкости были не по его части, и он весьма гордился своим посланием, полностью выражавшим то, что он хотел сказать.

В Париж коннетабль Франции явился туча тучей и не замедлил высказать графу Филиппу все, что накипело у него на душе. Перед регентом он не чувствовал ни малейшего стеснения — он знал его с пеленок; Гоше прямо так и сказал Филиппу и добавил, что негоже подобным образом обращаться с верным слугой и преданным родственником, который целых двадцать лет командует французской армией. Где это видано, посылать человека заключать договор на одних условиях, а потом менять их!

— До сих пор, ваше высочество, я слыл человеком честным и раз уж давал кому слово, то каждый знал, что сдержу его. А по вашей милости я очутился в роли предателя и плута. Когда я поддерживал вас как будущего регента, я надеялся обнаружить в вас хоть какие-то черты

моего покойного государя, вашего батюшки, тем паче что до этого вы не раз делом доказывали, что пошли в него. А теперь я вижу, что жестоко заблуждался. Неужели вы до такой степени попали под влияние женщины, что меняете мнения, как перчатки?

Филипп старался успокоить коннетабля, уверяя его, что поначалу плохо разобрался в делах и дал неправильные указания. Все равно бесполезно идти на мировую со знатью графства Артуа, пока Робер не сложит оружия. Робер представляет собой вечную угрозу для государства и для всей королевской фамилии, ибо бесчестит ее. Разве не он первый посеял смуту, разве не он распространяет клеветнический слух, что Маго отравила Людовика?

Гоше пожал плечами.

— Но кто же поверит такой ерунде? — вскричал он в сердцах.

— Не вы, Гоше, конечно, не вы, — заметил Филипп, — но многие прислушиваются к клевете с удовольствием, лишь бы нам навредить, а завтра они скажут, что я, что вы тоже причастны к этой кончине, которую хотят обставить таинственными обстоятельствами. Но ничего, Робер сделал ложный шаг, чего, впрочем, я и ждал. Посмотри-

те, что он пишет Маго…

Филипп протянул коннетаблю письмо от двадцать второго сентября.

— В этом письме, — продолжал Филипп, — он отказывается признавать решение, вынесенное парламентом по настоянию моего отца еще в тысяча триста девятом году. До сих пор он поддерживал врагов графини, а сейчас он бунтует уже против законов королевства. Придется вам снова отправиться в Артуа.

— Нет уж, увольте, ваше высочество, — воскликнул Гоше. — Слишком я там осрамился. Улепетывал из Арраса, как старый кабан от гончих, даже помочиться и то не успел. Нет уж, сделайте милость, найдите себе другого, пусть он и улаживает такие дела.

Филипп поднес сплетенные пальцы к губам. «Если бы ты только, Гоше, знал, — думал он, — как мне больно тебя обманывать! Но скажи я тебе всю правду, ты бы еще больше стал меня презирать!» И он повторил:

— Вы поедете в Артуа, Гоше, из любви ко мне и потому что я вас об этом прошу. Возьмите с собой вашего зятя, мессира Миля, и на этот раз достаточно вооруженных людей, а также горожан и затребуйте подкрепление из Пикардии;

Роберу объявите, что ему следует предстать перед парламентом и дать отчет в своих действиях. Одновременно поддержите деньгами и вооруженными людьми тех горожан, которые остались нам верны. А если Робер не подчинится, я сумею привести его к повиновению иным способом… Правитель — такой же человек, как и все прочие, — продолжал Филипп, взяв Гоше за плечи, — он может поначалу сделать ошибку, но самая большая ошибка — упорствовать в своей неправоте. Ремеслу правителя учатся, как любому другому ремеслу, и я пока еще учусь. Простите меня за то, что я поставил вас в неловкое положение.

Ничто так не трогает человека в летах, как откровенное признание юноши в своей неопытности, особенно когда этот юноша стоит много выше вас на иерархической лестнице. Слеза увлажнила глаза Гоше, полуприкрытые морщинистыми, как у черепахи, веками.

— Ах да, я и забыл! — воскликнул Филипп. — Я решил, что вы будете опекуном будущего ребенка королевы Клеменции… нашего короля, если Бог пошлет мальчика, и вторым крестным отцом

после меня[24].

— Ваше высочество, ваше высочество!.. — растроганно лопотал Гоше.

И он бросился обнимать регента, словно вина за неудачу в Артуа падала только на него, Гоше.

— А насчет крестной матери, — продолжал Филипп, — мы решили с самой королевой, что крестить будет графиня Маго, и это положит конец всем слухам.

Через неделю коннетабль снова отбыл в Артуа.

Как и следовало ожидать, Робер отказался повиноваться регенту и продолжал бесчинствовать вместе со своей вооруженной ордой. Но в октябре счастье изменило ему. Если Робер был великолепным воином, он был скверным стратегом: свои набеги совершал без системы и плана, сегодня бросал людей на север, завтра — на юг, словом, куда ему подсказывало вдохновение. Первый рейтар среди рейтаров, первый кондотьер среди кондотьеров, он был скорее создан для подчи-

---

[24] Примечания: 24

По обычаю тех лет у отпрысков королевских или княжеских семейств было сразу по нескольку крестных отцов и матерей, иногда до восьми. Так, Карл де Валуа и Гоше де Шатийон оба оказались крестными отцами Карла де ла Марша, третьего сына Филиппа Красивого. Маго тоже была крестной матерью этого принца, как, впрочем, и многих других детей рода. А потому не было ничего удивительного в том, что ее избрали, чтобы нести к купели посмертного ребенка Людовика X — напротив, не выбрать ее показалось бы опалой.

ненной роли, как военная сила, направляемая свыше, чем для роли командира, что и доказал пятнадцать лет спустя, когда сражался на стороне Англии против Франции. В графстве Артуа, которое он считал своей родной вотчиной, Робер распоясался, как на вражеской территории, и вел опасную, дикую, лихорадочную жизнь, что вполне отвечало его вкусам. Он наслаждался тем, что при его приближении все трепещет, но не замечал, что сеет вокруг себя ненависть. Слишком много повешенных на первом попавшемся суку, слишком много обезглавленных и зарытых живьем в землю под радостное ржание его приспешников, слишком много испорченных девушек, на чьей нежной коже сохранились царапины от медных кольчуг, слишком много пожаров отмечало его победоносный путь. Матери, желая утихомирить расхныкавшееся дитя, грозили позвать его светлость Робера, но как только он появлялся поблизости, они хватали своих ребятишек и бежали прятаться в соседний лес.

Городские ворота забаррикадировали; ремесленники, наученные примером фландрских коммун, точили втихомолку ножи, а старшины поддерживали связь с эмиссарами Гоше. Робер любил бой в открытом поле и презирал осадную

войну. Жители Сент-Омера или Кале запирали ворота перед его носом, а он пожимал плечами и грозился:

— Вот вернусь, и все вы у меня передóхнете!

И шел сражаться дальше.

Но с деньгами становилось все труднее. Валуа не отвечал на просьбы Робера, и лишь изредка от него приходили послания, содержавшие изъявление родственных чувств и советы образумиться. Даже Толомеи, дражайший банкир Толомеи, молчал. Сам он куда-то уехал, а служащим никаких распоряжений не дал… папа и тот вмешался в распри; в своем послании, адресованном лично Роберу, а также кое-кому из баронов Артуа, святой отец напоминал им об их долге…

Как-то утром, в конце октября, регент на Совете заявил собравшимся с невозмутимым спокойствием, как и всегда, когда принимал важное решение:

— Наш кузен Робер Артуа позволил себе слишком долго пренебрегать нашей волей. Коль скоро он вынуждает нас воевать, мы подымем против Артуа орифламму в Сен-Дени в последний день октября, и так как мессир Гоше в отлучке, войско, которое я поведу сам, будет находиться под командованием нашего дяди…

Взгляды всех присутствующих обратились к Карлу Валуа, но Филипп продолжал:

— …нашего дяди, его высочества д'Эврё. Нам было бы весьма желательно поручить командование его высочеству Валуа, который, кстати сказать, не раз доказывал свои таланты военачальника, но он, к сожалению, должен уехать в Мэнские владения, чтобы получить церковные аннаты.

— Благодарю вас, племянник, — ответил Валуа, — вы знаете, что я люблю Робера, и, хотя не одобряю этот мятеж, который, на мой взгляд, не что иное, как глупое упрямство, мне было бы неприятно сражаться с ним.

Армия, собранная регентом для похода на Артуа, отнюдь не напоминала то непомерно разбухшее войско, которое шестнадцать месяцев назад, по вине покойного Людовика, увязло во фландрской грязи. Войско, направлявшееся в Артуа, состояло из регулярных частей и из рекрутов, завербованных в королевских владениях. Жалованье было повышено: тридцать су в день дворянину, имевшему право распустить знамя, пятнадцать су коннику, три су пехотинцу. Были призваны не только знать, но и мелкопоместные дворяне. Два маршала — Жан де Корбей и Жан

де Бомон, по прозвищу Выгребай Назад, он же сеньор графства Клиши, — собирали войска. Арбалетчики Пьера Галара были готовы к походу. Жоффруа Кокатри уже две недели как получил секретные указания относительно средств передвижения и поставок.

Тридцатого октября Филипп Пуатье взял орифламму в часовне Сен-Дени. Четвертого ноября он был уже в Амьене и послал оттуда второго камергера Робера де Гамаша с эскортом конюших передать своему непокорному кузену последние увещевания.

Глава V
Войско регента берет пленного

На опустевших глинистых полях догнивали сероватые кучи соломы, оставшиеся от далекой уже теперь жатвы. Тяжелые темные тучи медленно плыли по осеннему небу, и отсюда, с этой равнины, казалось, что там, за дальним ее краем, кончается белый свет. Налетавший порывами пронзительный ветер приносил с собой горьковатый привкус дыма.

Перед Букмезоном, перед тем самым поселком, где три месяца назад граф Робер вступил на землю

Артуа, стояла теперь армия регента, построенная в боевом порядке, и вымпелы королевского дома трепетали на верхушках копий на протяжении целого полулье.

Филипп Пуатье, окруженный военачальниками, держался в нескольких шагах от проезжей дороги. Он сидел с обнаженной головой, сложив руки в железных перчатках на луке седла. Конюший держал его шлем.

— Значит, он уверил тебя, что именно сюда приедет с повинной? — обратился регент к Роберу де Гамашу, возвратившемуся после переговоров с графом Артуа.

— Да, ваше высочество, — подтвердил второй камергер. — Он сам выбрал место… «В поле, возле межевого столба с крестом» — так он мне сказал. И уверял, что будет к концу мессы.

— А ты точно знаешь, что поблизости нет другого столба с крестом? Ведь он способен сыграть плохую шутку: будет ждать где-нибудь в другом месте и заявит, что нас там не было… Скажи, ты действительно веришь, что он прибудет?

— Верю, ваше высочество, он ведь заколебался. Я сообщил ему численность вашего войска, довел до сведения, что коннетабль занял фландрские рубежи и города Севера и что, таким образом,

граф Робер зажат в тиски и даже бежать ему некуда. И еще я вручил графу Роберу послание от Карла Валуа, который советует ему сдаться без боя, так как исход дела предрешен, и пишет, что вы сильно гневаетесь на графа Артуа и, если возьметесь за оружие, ему, пожалуй, не сносить головы. Вот это-то его особенно удручает.

Регент пригнул свой длинный торс к лошадиной холке. Нет, решительно все эти военные доспехи не для него; тяжело таскать на себе двадцать фунтов железа, которое давит на плечи, не дает расправить спину.

— Тогда он уединился со своими баронами, — продолжал Гамаш, — но что они там говорили, мне неизвестно. Однако думаю, что кое-кто из них не прочь его предать, а другие умоляют не покидать их на произвол судьбы. Наконец он вышел ко мне, сообщил свое решение, которое я в точности вам передал, и заверил меня, что питает к его высочеству регенту всяческое уважение и поэтому ни в чем не смеет его ослушаться.

Но Филипп Пуатье не очень этому верил. Эта неизвестно откуда взявшаяся покорность беспокоила его, он опасался ловушки. Близоруко щурясь, он оглядел печальный край, лежавший перед ним.

— Место выбрано неплохо, нас ничего не стоит окружить и напасть с тылу, пока мы торчим здесь и ждем его! Корбей, Бомон! — обратился Филипп к своим маршалам. — Пошлите несколько человек на разведку, пусть проверят фланги, прикажите проехать по долинам: пусть удостоверятся, что ни там, ни на дорогах, ни в нашем тылу не скрывается враг. И когда на той колокольне, сзади нас, пробьет час, — добавил он, обращаясь к Людовику д'Эврё, — а Робера не будет, мы двинемся вперед.

Но через несколько минут по рядам прокатился крик:

— Вот он! Вот он сам!

Регент снова прищурил глаза, но ничего не увидел.

— Прямо против вас, ваше высочество, — кричали ему. — Смотрите вправо по холке коня, вон он на гребне холма едет на вас.

Робер Артуа прибыл на свидание с регентом без своего воинства, без конюшего, даже без слуги. Его огромный, под стать всаднику, жеребец шел шагом, и среди пустынной местности гигант Робер казался еще массивнее, чем всегда. Его богатырский силуэт четко вырисовывался на фоне неба, и чудилось, будто этот великан в алом

бархате пронзает своим копьем тучи.

— Да он просто издевается над вами, ваше высочество! Нет, вы только посмотрите, едет — и хоть бы что!

— Пускай себе издевается, пускай! — проговорил Филипп Пуатье.

Люди, посланные на разведку, донесли, что в окрестностях все спокойно.

— А я думал, что он ожесточится еще больше, когда поймет, что положение его безнадежно, — задумчиво проговорил регент.

Любой другой на месте Филиппа, желая сделать красивый жест, поехал бы навстречу Роберу тоже без конюших и слуг. Но Филипп Пуатье видел свое достоинство в ином и отнюдь не собирался соперничать в рыцарстве, раз явился сюда не как рыцарь, а как государь. Поэтому он ждал, не трогаясь с места, пока Робер Артуа, запыхавшийся, забрызганный, подъедет к нему.

Вся армия затаила дух, и мертвую тишину нарушало лишь позвякивание удил.

Вдруг гигант швырнул свое копье на землю. Регент проследил глазами полет копья, упавшего на скирду, и не сказал ни слова.

Робер отцепил от седла свой шлем и тяжелую шпагу и обеими руками кинул их вслед за копьем

на землю.

Регент по-прежнему молчал; он ни разу не поднял глаз на Робера; он не сводил взгляда с валявшегося на земле оружия, будто ждал еще чего-то.

Робер Артуа наконец спешился, шагнул вперед и, содрогаясь каждой жилкой от гнева, преклонил одно колено, стараясь поймать взгляд регента.

— Добрый кузен мой! — вскричал он, широко раскинув руки.

Но Филипп прервал его.

— Вы не голодны, кузен? — спросил он.

И так как Робер ждал трагической сцены обмена благородными речами, рукопожатиями, ждал, что его подымут с колен, вслед за чем наступит примирение, он застыл от неожиданности. А Филипп продолжал:

— Тогда садитесь в седло и поспешим в Амьен, где я продиктую вам свои условия мира. Поедете рядом со мной, а закусим по дороге… Эрон! Гамаш! Подберите оружие нашего кузена.

Но Робер Артуа медлил и, стоя возле коня, оглядывался вокруг.

— Вы что-нибудь ищете? — спросил, не выдержав, регент.

— Нет, ничего я не ищу, Филипп. Просто смотрю

на поле, чтобы запомнить его навсегда, — ответил Робер.

И он положил ладонь себе на грудь, на то место, где под кольчугой висел бархатный мешочек, в котором хранились, как священная реликвия, сорванные здесь летним днем колосья, уже полуистлевшие сейчас колоски. Надменная улыбка тронула его губы.

Как только они пустились в путь, обычная самоуверенность вернулась к Роберу.

— Немалую же вы собрали армию, кузен мой, для того чтобы захватить одного-единственного пленника, — насмешливо проговорил он.

— Возьми я в плен двадцать вражеских полков, кузен, — в тон ему ответил Филипп, — и то я не радовался бы этому так, как вашему обществу… Но скажите мне другое: почему вы сразу же решили сдаться? Ибо если численное преимущество на моей стороне, то ведь вас никак нельзя упрекнуть в недостатке отваги!

— Я решил, что, если мы начнем войну, плохо придется простому люду.

— До чего же вы вдруг стали чувствительны, Робер! — отозвался Филипп. — А ведь полученные мною из Артуа сведения не слишком доказывают ваше милосердие.

— Наш пресвятой папа удостоил меня посланием и призывал к выполнению моих обязанностей.

— И благочестивы к тому же! — воскликнул регент.

— Я долго размышлял над письмом нашего доброго папы… которого, как слышал, столь хитроумно выбрали… И поскольку он в тех же самых словах, что и вы, заклинал меня одуматься, я и решил доказать, что я верный ваш подданный и добрый христианин.

— Чувствительность, религия, верность! Нет, вы решительно переменились, кузен!

И, поглядывая искоса на массивный подбородок Робера, Филипп думал про себя: «Смейся, смейся; боюсь, что ты не будешь так хорохориться, когда узнаешь, на каких условиях я предложу тебе мир».

Но и в Совете, который собрали спешно, сразу же по прибытии в Амьен, Робер держался все той же тактики. Безропотно соглашался на любые предложения, не пытался бунтовать, кляузничать, так что со стороны могло показаться, будто он и не слушает чтеца, оглашавшего пункты договора.

Он обязался вернуть «все замки, крепости,

сеньории и все прочее, что отобрал или занял». Обязался возвратить все угодья, захваченные его сторонниками. Обещал заключить с Маго перемирие до Пасхи; тогда графиня выразит свою волю и Совет пэров примет решение, установит права обеих сторон. А пока регент берет графство Артуа под свою руку и разместит там угодное ему число стражей, войск и своих вассалов. И наконец, вплоть до окончательного решения пэров доходы от графства Артуа будут поступать графу д'Эврё и… графу Валуа…

Услышав этот последний пункт, Робер понял, какой ценой было куплено отступничество главного его союзника. Но даже и тут он бровью не повел и подписал бумагу.

Такая чрезмерная покорность начинала тревожить регента. «Какие еще козни он затевает?» — думал Филипп.

Регент торопился вернуться в Париж ко дню разрешения от бремени вдовствующей королевы и поручил двум своим маршалам с отрядом наемных солдат сменить в Артуа коннетабля и следить на месте за неукоснительным выполнением договора. Робер с улыбкой наблюдал за приготовлениями маршалов в дорогу.

Расчет его был прост. Сдавшись в плен один, он

тем самым сохранил свое войско. Фьенн, Суастр, Пикиньи и прочие будут вести малую войну, сеять смуту, чтобы взять врага измором. Не может же регент каждые две недели собирать людей и отправляться в поход — казна не позволит. Таким образом Робер добился нескольких месяцев передышки. Пока что он предпочитал вернуться в Париж и находил, что это возвращение благоприятствует его замыслам. Тем более что, возможно, скоро не будет уже ни регента, ни графини Маго.

И впрямь, Роберу удалось отыскать даму Ферьенн — потому-то он так и улыбался, — даму, поставлявшую яд графине Маго. На ее след его навели два соглядатая регента, которые тоже разыскивали ее. Изабелла Ферьенн с сыном были застигнуты на месте преступления — отмеривали покупателю зелье, чтобы напускать порчу. Люди Робера без лишнего шума убрали соглядатаев регента, и теперь колдунья находилась под стражей в одном из замков Артуа, где и продиктовала подробную и очень содержательную исповедь своих злодеяний.

«Ничего, ты у меня еще попляшешь! — думал Робер, искоса поглядывая на Филиппа. — Я прикажу Жану де Варенну привести ко мне эту даму, возьму ее с собой на Совет пэров, а она расскажет,

как ты велел убить своего братца! И даже дражайший твой папа не поможет!»

Весь обратный путь Филипп ни на шаг не отпускал от себя Робера; на привалах они ели за одним столом, остановившись на ночлег в монастыре или королевском замке, спали в двух соседних покоях, и многочисленная стража регента берегла Робера как зеницу ока. Но нельзя безнаказанно пить, есть и спать бок о бок со своим врагом — рано или поздно его присутствие невольно пробудит в любом сердце человеческие чувства; так оно и случилось, и никогда еще два царственных кузена не были так близки между собой, как сейчас. Регент, казалось, простил Роберу весь этот ненужный поход, затеянный по его вине, дорожную усталость и расходы; его даже забавляли вольные шуточки Робера и его наигранное прямодушие.

«Еще день-другой, и этот плут меня от души полюбит! — думал гигант. — Как я его провел, как же славно я его провел!»

Утром одиннадцатого ноября, когда показались наконец заставы Парижа, Филипп вдруг осадил коня.

— Добрый мой кузен, — начал он, — тогда, в Амьене, вы обещали моим маршалам сдать все

замки… Но, к великому прискорбию, мне стало известно, что большинство ваших друзей не признают договора и отказываются очистить замки.

Робер с улыбкой широко развел руками, как бы говоря, что тут он бессилен.

— А ведь вы поручились за них, — повторил Филипп.

— Верно, кузен, и подписал все, что вы требовали. Но раз я сложил с себя полномочия, пусть уж ваши маршалы постараются привести моих людей к повиновению.

Регент задумчиво погладил холку своего коня.

— Правда ли, Робер, — спросил он, — что вы прозвали меня Филипп Запри Ворота?

— Правда, кузен, сущая правда, — со смехом подтвердил гигант. — Говорят, что вам без закрытых ворот несподручно править страной.

— Ну что же, кузен, — продолжал регент, — потому-то вас и поместят в тюрьму Шатле, и придется вам там посидеть до тех пор, пока я не освобожу последний замок Артуа.

Впервые после своей добровольной сдачи в плен Робер чуть побледнел. Весь его план рухнул, даже отравительница Ферьенн была ему теперь ни к чему.

Часть третья
ТРАУР И КОРОНОВАНИЕ
Глава I
Королевская кормилица

Иоанн I, король Франции, сын Людовика X и королевы Клеменции, родился в Венсеннском замке через полгода после смерти своего отца, в ночь с 13 на 14 ноября 1316 года.

Весть о его появлении на свет сразу же распространилась по всему Парижу, и знатные сеньоры вырядились в шелка. В тавернах уже с полудня стоял дым коромыслом, так как для бродяг и пьяниц любое событие — прекрасный повод выпить и покричать. Ювелиры, торговцы шелками, дорогими тканями и позументами, продавцы пряностей, редкой рыбы и заморских диковин радостно потирали руки, прикидывая, какие доходы принесут им общее веселье и празднества.

Казалось, даже улицы расцвели улыбкой. Прохожие останавливали встречных словами:

— Ну, куманек, наконец-то у нас есть король!

Парижане почувствовали прилив свежих сил, а непотребные девки с крашеными желтыми во-

лосами вышли на промысел чуть ли не с полудня, хотя в узких улочках позади собора Парижской Богоматери, которые отвел в их владение особым эдиктом Людовик Святой, гулял осенний ветер.

А за четыре дня до того в странноприимном доме при монастыре Святой Клариссы Мари де Крессе родила мальчика, весившего больше восьми фунтов, с белокурыми, как у матери, волосами. Закрыв глаза, он жадно, словно щенок, сосал материнскую грудь.

Каждую минуту молоденькие послушницы в белых покрывалах вбегали в келью Мари посмотреть, как она пеленает младенца, полюбоваться ее сияющим лицом, когда она кормит, ее розовой пышной грудью, воочию увидеть чудо материнства, которое они, обреченные на вечное девство, созерцали доныне лишь на церковных витражах.

Если и случалось монахине согрешить, то происходило это совсем не так часто, как уверяли в своих песенках уличные рифмоплеты, и появление новорожденного младенца в стенах монастыря было всегда настоящим событием.

В этот день ликовала вся обитель, так как капеллан сообщил о рождении короля; веселье, охватившее весь Париж, проникло даже сквозь

монастырскую ограду.

— Король зовется Иоанном, как и мое дитя, — твердила Мари.

Она видела в этом доброе предзнаменование. Всему поколению, которому еще предстояло родиться, будут давать имя короля, но самое удивительное то, что имя Иоанн впервые появилось среди имен французских королей. Ко всем этим маленьким Филиппам, маленьким Людовикам прибавятся отныне и навеки маленькие Иоанны. «Но мой — первый», — думала Мари.

Когда в келью уже проникли ранние осенние сумерки, к Мари вбежала молоденькая монахиня.

— Мадам Мари, — крикнула она, — мать настоятельница зовет вас в приемную. Там вас ждут!

— Кто?

— Не знаю, не видела. Но, если не ошибаюсь, за вами приехали.

Щеки Мари запылали от радостного волнения.

— Это Гуччо, Гуччо! Это отец… — пояснила она послушницам. — За нами приехал мой супруг.

Она застегнула лиф, быстрым движением поправила сбившиеся волосы перед тусклым оконным стеклом, заменявшим ей зеркало, накинула на плечи плащ и вдруг в нерешительности

остановилась перед колыбелькой, стоявшей прямо на полу. Не захватить ли с собой и мальчика, чтобы в первую же минуту встречи обрадовать Гуччо таким чудесным сюрпризом?

— Вы видите, как он, ангелок, спит, — твердили юные послушницы. — Не надо его будить и не берите его вниз, а то простудите. Бегите скорее, мы за ним посмотрим.

— Только не вынимайте его из колыбельки и вообще не трогайте! — наказала девочкам Мари.

Уже на лестнице ее охватила материнская тревога: «Лишь бы они не стали с ним играть и не уронили его!» Но ноги сами несли ее в приемную, и она удивилась легкости своей поступи.

В белой зале, единственным украшением которой было огромное распятие да две свечи, отчего сумерки, залегшие в углах, казались еще гуще, мать настоятельница, сцепив в рукавах кисти рук, беседовала с мадам Бувилль. Увидев супругу хранителя чрева, Мари испытала не только разочарование, у нее вдруг почему-то появилась необъяснимая уверенность, что эта сухонькая женщина с лицом, изрезанным продольными морщинами, непременно принесет ей горе.

Всякая другая на месте Мари просто призналась бы себе, что не любит мадам Бувилль; но

все чувства Мари были сродни страстям, и, питая к кому-нибудь отвращение или любовь, она прежде всего видела в этом перст судьбы. «Я так и знала, что она пришла причинить мне зло», — подумала Мари.

Проницательным, недружелюбным взглядом мадам Бувилль оглядела Мари с головы до ног.

— Только четыре дня назад родила, — воскликнула она, — и смотрите-ка, свежа и румяна, как шиповник! Примите мои поздравления, милая; вы, как я вижу, можете начинать все сызнова. И впрямь Господь Бог снисходит к тем, кто нарушает Его святую волю и оставляет все муки на долю наиболее достойных. Знаете ли, матушка, — обратилась мадам Бувилль к настоятельнице, — бедняжка-королева мучилась больше тридцати часов! До сих пор у меня в ушах стоят ее крики. Король шел спинкой. Пришлось наложить щипцы. Еще немного, и оба — и мать, и младенец — погибли бы. А все потому, что королева не оправилась от горя после смерти супруга. На мой взгляд, просто чудо, что ребенок остался жив. Но когда судьба против человека, все, надо признаться, идет вкривь и вкось! К примеру, Эделина, кастелянша… Впрочем, вы ее знаете…

Настоятельница многозначительно кивнула.

Среди маленьких послушниц в ее монастыре находилась одиннадцатилетняя девочка, незаконная дочь Сварливого от Эделины.

— В присутствии Эделины королеве было легче, и мадам Клеменция то и дело требовала ее к себе, — продолжала мадам Бувилль. — Ну так вот, Эделина сломала руку, упав со скамейки, и ее пришлось поместить в больницу. А теперь, в довершение всех бед, кормилица, которую мы выбрали еще за неделю до родов, вдруг объявляет, что у нее пропало молоко; подумайте только, в такую минуту! Ибо королева, как вы понимаете, сама кормить не может, у нее горячка... Мой бедный Юг мечется, суетится, из сил выбился и не знает, на что решиться, так как, согласитесь, не мужское это дело, а сир де Жуанвиль ничего не видит, ничего не помнит. Слава богу, что еще не скончался у нас на руках. Короче говоря, матушка, мне одной приходится все расхлебывать.

Мари де Кressе старалась понять, почему ее посвящают в дворцовые тайны, но тут мадам Бувилль подошла к ней и затараторила:

— К счастью, я одна не потеряла голову и вовремя вспомнила, что эта девица, которую сюда привезли, уже разрешилась от бремени... Надеюсь, молока у вас хватает и ваш ребенок

прибавляет в весе?

Слова эти мадам Бувилль произнесла таким тоном, будто упрекала молодую мать в отменном здоровье.

— А ну-ка, проверим, — добавила она.

И опытной рукой она потрогала грудь Мари, как щупают на рынке фрукты. Мари не смогла сдержать отвращения и резко отступила.

— Вы вполне можете вскормить двоих, — продолжала мадам Бувилль. — А сейчас вы пойдете за мной, красавица, и накормите короля.

— Не могу, мадам! — воскликнула Мари, сама не зная, как объяснить свой отказ.

— А почему не можете? Не можете потому, что согрешили? Не важно, вы все же девица знатного рода и пусть совершили грех, но не лишились молока. Кроме того, вы хоть отчасти искупите этим ваш проступок.

— Я не совершила греха, мадам, я замужем!

— Только вы одна и утверждаете это, бедняжка! Будь вы замужем, с какой стати вы очутились бы здесь? Но вопрос не в этом. Нам, повторяю, нужна кормилица…

— Не могу, я жду своего супруга, он должен приехать за мной и увезти отсюда. Он велел мне передать, что он скоро приедет и папа ему

обещал…

— Папа! Папа! — крикнула супруга хранителя чрева. — Ей-богу, она просто рехнулась! Вообразила себе, что замужем, вообразила, что папа о ней печется… Хватит этих глупых выдумок! Я бы на вашем месте постыдилась даже имя нашего святого отца поминать. Мы немедленно отправляемся в Венсенн.

— Нет, мадам, никуда я не поеду, — упорствовала Мари.

Ярость затуманила рассудок мадам Бувилль, и, не помня себя, она схватила Мари за ворот и тряхнула ее.

— Нет, вы только полюбуйтесь на это неблагодарное создание! Распутничает, беременеет! О ней заботятся, спасают ее от рук правосудия, помещают в лучший монастырь, а когда королю Франции требуется кормилица, мы, видите ли, начинаем кривляться! Нечего сказать, хорошие пошли подданные! Знаете ли вы, несчастная, что эту великую честь оспаривают друг у друга самые знатные дамы королевства?!

— Ну так и обращайтесь тогда к этим знатным дамам, раз они достойнее меня, — смело возразила Мари.

— В том-то и горе, что они, дурочки, не согре-

шили в подходящий момент! Господи, что я такое говорю… Хватит болтать, следуйте за мной!

Если бы дядя Толомеи или сам Бувилль обратились к Мари де Кресс с такой же просьбой, она, безусловно, дала бы согласие. Сердце у нее было доброе и великодушное, она готова была выкормить любое несчастное дитя, а уж тем более королевское. Помимо природной доброты ее побудили бы к этому тщеславие и даже личные интересы. Мари — кормилица короля, а Гуччо состоит при папе, значит все мучительные вопросы уладятся и их ждет счастье. Но супруга хранителя чрева не так взялась за дело. Она говорила с Мари не как со счастливой матерью, а как с преступницей, не как с достойной женщиной, а как с рабой, и, поскольку сама мадам Бувилль по-прежнему была в ее глазах предвестницей бед, Мари даже не пыталась разобраться в своих чувствах и отчаянно отбивалась. Ее темно-голубые глаза заблестели от страха и негодования.

— Я буду кормить только своего сына! — твердила она.

— Ну, это мы еще посмотрим, злое создание! Раз вы не желаете покориться добровольно, я сейчас кликну конюших, и они силой вас повезут.

Тут вмешалась настоятельница. Ее монастырь

— святое прибежище, и она не может позволить чинить здесь насилие и самовольничать.

— Я не одобряю поведения моей родственницы, — заметила она, — но ее, как-никак, вверили моему попечению…

— Но кто вверил-то? Я! — воскликнула мадам Бувилль.

— Пусть так, но это не значит, что вы можете действовать силой в стенах монастыря. Мари выйдет отсюда лишь по доброй воле или по приказанию церкви.

— Или короля! Не забудьте, матушка, что ваш монастырь — королевский. Я действую от имени моего супруга; если вам требуется распоряжение коннетабля, который назначен крестным отцом короля, — кстати, коннетабль уже вернулся в Париж, — или распоряжение самого регента, мессир Юг добьется от них соответствующего приказа; правда, мы потеряем три часа, но зато будет по-моему.

Настоятельница отвела мадам Бувилль в сторону и шепнула ей, что Мари не случайно упомянула о папе и что тут есть доля истины.

— Ну и что ж! — прервала ее мадам Бувилль. — Мне важно, чтобы король остался жив, а другой кормилицы у нас сейчас нет.

Она подошла к двери, кликнула сопровождавших ее людей и велела им схватить непокорную.

— Прошу вас засвидетельствовать, мадам, — заметила настоятельница, — что я не давала вам разрешения на это похищение.

Двое конюших грубо поволокли Мари к двери, а она вырывалась и кричала:

— Мой сын! Дайте мне моего сына!

— Она права, — сказала мадам Бувилль. — Пусть берет с собой ребенка. Она так орала, что мы совсем голову потеряли.

Через несколько минут Мари, наспех сложив пожитки и прижимая к груди своего первенца, с рыданиями покинула монастырь.

У входа их ожидали носилки.

— Вот видите! — воскликнула мадам Бувилль. — Ей носилки подают, как принцессе, а она раскричалась, возись тут с ней!

Под мерную рысь мулов, тащивших во мраке деревянный ящик, в окна которого, откидывая занавески, врывался холодный ноябрьский ветер, Мари впервые с благодарностью подумала о своих братьях, заставивших ее при отъезде из Крессе надеть теплый плащ. А тогда, въезжая в Париж, как страдала она от жары, как ненавидела это тяжелое, грубое одеяние! «Откуда бы я ни

уезжала, мне вечно сопутствуют горе и слезы, — думала она. — Неужели я так провинилась, что все ополчилось на меня!»

Сынок ее спал, укрытый плащом. Чувствуя у своей груди это крохотное существо, еще ничего не смыслившее и безмятежно дремавшее, Мари мало-помалу успокоилась. Она увидит королеву Клеменцию, поговорит с ней о Гуччо, покажет ладанку с частицей тела святого Иоанна. Королева так молода, она прекрасна собой и милостива к обездоленным. «Королева… Я буду кормить дитя королевы», — думала Мари, дивясь тому, что с ней приключилась столь неожиданная и необычная история, которая поначалу обернулась к ней самой мрачной стороной, в чем была повинна мадам Бувилль, эта грубая и властная женщина.

Проскрипел на петлях подъемный мост, который спешно опустили при их приближении, слабо процокали подковы по толстым доскам, а затем громко зазвенели по мощеному двору… Мари предложили выйти из носилок; она прошла между двух рядов вооруженных солдат, проникла в каменный, плохо освещенный коридор, и тут перед ней появился какой-то толстяк в кольчуге, в котором она не без труда узнала мессира Бувилля. Проходившие по коридору люди говорили

шепотом; до слуха Мари донеслось слово «горячка», повторенное несколько раз. Ей сделали знак идти на цыпочках, и наконец чья-то рука раздвинула драпировки.

Несмотря на тяжелую болезнь королевы, спальня ее была убрана согласно ритуалу, установленному для коронованных рожениц. Пора цветов миновала, и по полу разбросали пожелтевшую осеннюю листву, уже гниющую, растоптанную ногами. Возле кровати были разложены подушки, но посетителей не пускали. Главная повитуха, стоя в углу, растирала между пальцев ароматические травы. В очаге на железной треноге кипели какие-то мутные отвары. Комнату освещали лишь отблески пламени, горевшего в очаге, да масляный ночник, висевший над кроватью.

Колыбелька стояла в углу, и оттуда не доносилось ни звука.

Королева Клеменция без сил лежала на спине, простыни туго обтягивали ее поджатые от боли колени. На скулах горел неестественный румянец, густые пряди золотистых волос рассыпались на подушках. Ничего не видящие глаза блестели лихорадочным огнем.

— Пить… Умоляю, пить… — стонала королева.

Повивальная бабка шепнула на ухо мадам

Бувилль:

— Ее целый час знобит. Зубы стучат, а губы совсем лиловые стали, как у покойницы. Мы уж думали, она отходит. Бросились ее оттирать, а теперь она, как вы сами видите, огнем горит. От пота все простыни насквозь промокли, надо бы ей белье сменить, да никто не знает, где ключи от бельевой, кому их Эделина передала.

— Сейчас я найду ключи, — сказала мадам Бувилль.

Она провела Мари в соседнюю, так же жарко натопленную комнату.

— Устраивайтесь здесь, — скомандовала она.

По ее приказу в комнату внесли королевскую колыбельку. Мари еле разглядела короля среди вороха пеленок. Носик у него был крошечный, веки набрякшие, плотно сомкнутые; хилый, вялый, болезненный отпрыск королевского дома лежал не шевелясь. Только низко нагнувшись над колыбелькой, Мари убедилась, что он дышит. Время от времени еле заметная гримаска, какая-то болезненная судорога кривила его личико, и тогда оно казалось не таким безжизненным.

Глядя на это крошечное, едва подававшее признаки жизни существо, чей отец умер, чья мать, возможно, доживает свои последние часы, Мари

де Кресс вдруг почувствовала острую жалость. «Я его спасу, выращу его крепким и сильным», — пообещала она себе.

И так как в опочивальне не было второй колыбельки, она положила собственное дитя рядом с королем.

Глава II
Да свершится воля Божия!

Прошли уже целые сутки, а графиня Маго все еще кипела от негодования.

Когда Беатриса д'Ирсон помогала ей одеваться для королевских крестин, Маго дала волю своей ярости и досаде.

— Ну кто бы мог подумать, что такая хилая особа, как Клеменция, доносит младенца до положенного срока? И покрепче ее скидывают до времени. А ведь вот, продержалась все девять месяцев! И неужели она не могла разрешиться от бремени мертворожденным? Как бы не так! Щенок жив и здоров. Могла бы родиться девочка! Так на ж тебе! Родился мальчик. Посуди сама, Беатриса, ну стоит ли так хлопотать, подвергать себя такой опасности, которая еще и сейчас не миновала, чтобы судьба сыграла с нами подоб-

ную шутку?

Ибо Маго сумела себя убедить, что отравила Людовика Сварливого лишь затем, чтобы освободить престол Франции для своего зятя и своей дочки. Она даже начинала сожалеть, что не прикончила одновременно с мужем и жену, и вся ее ненависть обратилась против новорожденного наследника престола, которого она еще и в глаза не видела, против этого младенца, будущего своего крестника, чье появление на свет стало ей помехой, спутало ее планы.

Эта женщина, знатнейшая из знатных, богачиха, тиранка, по самой своей натуре была закоренелой преступницей. Всякий раз, когда ей требовалось склонить чашу весов на свою сторону, она прибегала к излюбленному оружию — к убийству; ей нравилось вынашивать планы преступления, она жила воспоминаниями о них, в них черпала она свои радости, загораясь при мысли о мучениях жертвы, упиваясь своей изворотливостью и наслаждаясь тайными своими победами. И если одно убийство не оправдывало ее надежд, она горько сетовала на несправедливость судьбы, жалела себя чуть не до слез и сразу же переходила к новым проектам, искала и находила новую жертву — того, кто стоял у нее

на пути и должен был поплатиться за это своей головой.

Беатриса д'Ирсон, уже давно научившаяся предупреждать желания своей госпожи, скромно опустила длинные ресницы.

— Я сберегла, мадам, — кротко произнесла она, — немножко того порошка, которым вы нынешней весной так удачно воспользовались для изготовления королевского драже.

— И хорошо сделала! Молодец! И хорошо сделала! — похвалила ее Маго. — Всегда полезно иметь под рукой все необходимое, ведь у нас множество врагов!

Хотя Беатриса славилась высоким ростом, но и ей пришлось приподняться на цыпочки, чтобы накинуть на плечи графине плащ и завязать под ее подбородком завязки.

— Вы будете, мадам, держать младенца на руках… Другой такой случай не скоро представится, — продолжала она. — Ведь это порошок, и на кончике пальца его не заметят.

Эти слова искусительница произнесла томным голосом, как будто речь шла о лакомстве.

— Ну уж нет! — воскликнула Маго. — Только не во время крестин! Так недолго и на себя накликать беду!

— Почему же? Ведь вы отправите на небеса еще безгрешную душу!

— А главное, один Бог знает, как мой зятек посмотрит на такие дела. Думаешь, я забыла, какое у него было лицо, когда я сказала ему всю правду о кончине Людовика? С тех пор он со мной холоден… И так уж меня втихомолку обвиняют во всех смертных грехах. По королю в год — за глаза хватит, подождем-ка еще немного с этим новорожденным.

Малочисленная, чуть ли не тайком собравшаяся кавалькада отправилась в Венсенн, где Иоанну I предстояло стать христианином; напрасно знатные бароны, уже заранее раскошелившиеся на праздничную одежду, ждали приглашения на эту торжественную церемонию.

Болезнь королевы, хмурая зимняя погода, а главное, то, что король родился не в Париже и не особенно порадовал своим появлением на свет родного дядю — регента, свели высокоторжественную церемонию крестин к простой и поспешно выполненной формальности.

Филипп прибыл в Венсенн вместе со своей супругой Жанной, с графиней Маго и Гоше де Шатийоном; их сопровождали конюшие, чтобы держать лошадей. Всю остальную семью даже

не потрудились известить. Впрочем, Валуа объезжал свои ленные владения, собирая аннаты, д'Эврё сидел в Артуа и распутывал дела, которые натворил там Робер. А с Карлом де ла Маршем у Филиппа накануне произошло столкновение. Карл в честь рождения короля попросил брата возвести его в пэры Франции, увеличить его удел, а следовательно, и доход.

— Но, брат мой, я ведь регент, не более того, — возразил Филипп. — Лишь один король сможет даровать вам звание пэра… когда он достигнет совершеннолетия.

Бувилль встретил кортеж на красном дворе и первым делом обратился к регенту с вопросом:

— Ни у кого нет оружия, ваше высочество? Никто не имеет при себе кинжала или стилета?

И неизвестно было, кто вызывает в Бувилле большую тревогу — свита регента или родственники короля.

— Я не имею обыкновения, Бувилль, ездить с безоружной стражей, — сухо ответил Филипп.

Бувилль робко, но настойчиво потребовал, чтобы стража осталась во дворе. Такое рвение и излишняя осторожность раздосадовали регента.

— Я весьма ценю, Бувилль, ваши заботы о королеве, — произнес он, — но отныне вы уже не

хранитель чрева, и заботиться о короле поручено нам с коннетаблем. Мы оставляем вам ваши полномочия, так не злоупотребляйте же ими.

— Ваше высочество! Ваше высочество! — лепетал Бувилль. — У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Но ведь столько разных слухов ходит по королевству... Одного я хочу, чтобы вы воочию могли убедиться, как свято я выполняю свой долг и как горжусь этим.

Толстяк Бувилль не умел скрывать своих чувств. Не удержавшись, он исподтишка кинул взгляд на графиню Маго и сразу же потупился.

«Положительно все и вся относятся ко мне с подозрением и мне не доверяют», — подумала графиня.

Жанна Пуатье сделала вид, что ничего не заметила. А Гоше де Шатийон, даже не понявший, о чем идет речь, рассеял всеобщее замешательство:

— Да вы, Бувилль, нас здесь совсем заморозите! Пустите-ка нас поскорее внутрь.

Никто не зашел взглянуть на королеву. Слишком тревожные вести о ее здоровье сообщила мадам Бувилль: горячка все еще мучает больную, она жалуется на непереносимые головные боли, и каждую минуту всю ее сводит от позывов к

рвоте.

— Живот у нее снова вздулся, будто она еще не разрешилась от бремени, — пояснила мадам Бувилль. — Ни на секунду не может забыться сном, все молит нас, чтобы прекратился колокольный звон, от которого у нее в ушах гудит, и все время говорит с нами, вернее, не с нами, а обращается к своей бабке Марии Венгерской или к покойному своему супругу Людовику. Жалость берет слушать ее; она на наших глазах теряет рассудок, а заставить ее молчать мы не в силах.

Пробыв двадцать лет на посту первого камергера при короле Филиппе Красивом, граф Бувилль приобрел достаточный опыт в проведении торжественных церемоний. Он уже забыл счет крестинам, на которых был распорядителем.

Присутствующим вручили все необходимое для церемонии. Бувилль и двое дворян заткнули за воротник длинные белые полотенца и придерживали их за концы, растянув перед собой во всю длину: одним полотенцем полагалось прикрыть купель со святой водой, другим — купель пустую, третьим — чашу с солью.

Повитуха, принимавшая младенца, держала крестильный чепчик, который следовало надеть на короля после миропомазания.

Потом появилась кормилица с новорожденным на руках.

«Экая красавица!» — подумал коннетабль.

Мадам Бувилль нарядила Мари в розовое бархатное платье, скромно отделанное мехом у ворота и запястий, и не пожалела времени, чтобы обучить ее полагающемуся при обряде церемониалу. Младенец был закутан в мантию, в которую свободно мог бы завернуться взрослый, а сверх нее накинули еще лиловую шелковую вуаль, ниспадавшую как шлейф.

Процессия двинулась к дворцовой часовне. Шествие открывали конюшие с горящими свечами в руках. А позади, шатаясь, еле плелся сенешаль де Жуанвиль, хотя его поддерживали с двух сторон. Однако он вышел из состояния вечной дремоты, узнав, что будущий король, Иоанн, его тезка.

Вся часовня была затянута драпировками, пол вокруг купели застлан лиловым бархатом. Сбоку стоял стол, на котором расстелили беличье одеяло, прикрыв его тонкой простыней, а сверху положили еще шелковые подушечки. С полдюжины жаровен не могли все же нагреть промозглое, холодное помещение.

Мари положила младенца на стол и принялась его распеленывать. Следя за каждым своим

движением, боясь отступить от ритуала, она задыхалась от волнения и еле различала лица присутствующих. Могла ли она, блудная дочь, изгнанная с позором из отчего дома, могла ли она даже вообразить себе, что именно ей придется играть на крестинах короля чуть ли не главную роль, стоять рядом с регентом Франции и графиней Артуа? Ослепленная таким несказанным счастьем, вновь повернувшимся к ней лицом, Мари испытывала теперь в отношении мадам Бувилль самую горячую признательность и, отправляясь в часовню, попросила у нее прощения за свою вчерашнюю дерзость.

Разворачивая пеленки, она краем уха услышала, как коннетабль спросил у мадам Бувилль имя кормилицы и откуда она взялась, и сама почувствовала, как вспыхнуло ее лицо.

Капеллан королевы четырежды дунул на тельце младенца, как бы символизируя этим четыре стороны креста, долженствовавшего отогнать сатану с помощью святого духа; потом плюнул себе на указательный палец, омочил слюной ноздри и уши новорожденного, дабы не внимал он наветам дьявола, не вдыхал соблазнов суетного мира и плоти.

Филипп и Маго приподняли младенца за ножки

и за плечики. Филипп, близоруко щурясь, внимательно присматривался к крохотному розовому червячку, который разрушал всю его хитроумную выдумку с правом наследования, смотрел на этот смехотворный символ мужских привилегий, на это ничтожное, но непреодолимое препятствие между ним и престолом Франции.

«В любом случае пятнадцать лет я регент, — пытался утешить себя Филипп. — А за пятнадцать лет все может произойти; да и буду ли я сам жив через пятнадцать лет? И будет ли жить это дитя?»

Но регент — это не король.

Во время вступительных молитв младенец лежал тихо и даже подремывал. И только когда его погрузили в холодную купель, присутствующие впервые услышали его крик; тут уж он начал кричать во все горло, задыхался, и слезы катились по его личику, смешиваясь с каплями святой воды. Трижды его погружали в купель[25] — сначала головой к востоку, потом к северу, потом к югу,

---

[25] Примечания: 25

Крещение в ту эпоху устраивалось всегда на следующий день после рождения. Полное погружение ребенка в холодную воду практиковалось до начала XIV в. В 1313 г. заседавший в Равенне синод впервые решил, что крестить можно и окроплением, при нехватке освященной воды или при опасениях, что полное погружение повредит здоровью ребенка. Но по-настоящему практика полного погружения исчезла только в XV веке.

дабы получилось изображение святого Креста Господня, и трижды над его голеньким тельцем простирали руки прочие восприемники и восприемницы — Жанна, Гоше, супруги Бувилль и сенешаль.

Наконец его вынули из ледяной ванны. Он успокоился и не закричал, когда ему помазали святым миром лобик. Младенца положили на шелковые подушки, Мари стала потихоньку обтирать его, а все присутствующие при церемонии сбились у жарко пылавшей жаровни.

Вдруг пронзительный крик Мари нарушил благоговейную тишину часовни.

— Господи! Господи! Он кончается… — крикнула она.

Все бросились к столу. Младенец-король посинел, потом почернел; тельце его напряглось, кулачки судорожно сжались, головка свесилась набок, глаза закатились, так что видны были только одни белки.

Какая-то невидимая рука душила это крошечное несмышленое существо, чья жизнь отлетала прочь среди мерцающих свечей и склонившихся тревожных лиц.

Маго услышала чей-то шепот:

— Это она.

Подняв глаза, она встретила подозрительные взгляды супругов Бувилль.

«Но кто же это сделал, чтобы потом свалить все на меня?» — подумалось ей.

Тем временем повитуха выхватила ребенка из трясущихся рук Мари и стала приводить его в чувство.

— Он еще не умер, не умер… — твердила она.

Целые две минуты, показавшиеся присутствующим вечностью, младенец не подавал признаков жизни. Сине-черное тельце его было по-прежнему словно окоченевшим, застывшим. Потом внезапно его стали корчить судороги, и головка беспомощно моталась из стороны в сторону. Руки и ноги сводило — они сжимались и разжимались; удивительно было, как в столь крошечном существе живет такая сила — повитуха с трудом удерживала его на месте. Капеллан осенил себя крестным знамением, словно отгоняя сатану, и принялся читать отходную. Личико ребенка кривила гримаса, изо рта струйкой текла слюна; синеватость прошла, но зато сменилась не менее ужасной мертвенной бледностью. Вдруг он затих, помочился на платье повитухи, и все решили, что он спасен. Но головенка его снова бессильно свесилась, тельце обмякло, и, глядя на его непо-

движные члены, каждый подумал: кончается.

— Слава Богу, хоть успели его окрестить, — шепнул коннетабль.

Филипп Пуатье машинально сдирал ногтями с руки горячие капли воска.

И вдруг трупик засучил ножками, крикнул, сначала негромко, а потом веселее и задвигал губами, ища грудь: король ожил и хотел теперь есть.

— Сатана не желал без борьбы покинуть его тело, — глубокомысленно заметил капеллан.

— Родимчик, надо вам сказать, — пояснила повитуха, — редко бывает в первые дни жизни. Думаю, произошло это потому, что при родах накладывали щипцы; такие случаи мне известны. И думаю, потому, что его долго не кормили…

Мари де Кressе почувствовала себя чуть ли не преступницей. «Если бы я вместо того, чтобы пререкаться с мадам Бувилль, сразу же поехала в Венсенн…» — подумала она.

И никому из присутствующих не пришло в голову, что виновато здесь купание в ледяной воде, недоброе наследие предков, всех этих хромых, слабоумных, эпилептиков, щедро украшавших достославное геральдическое древо.

Поэтому каждый согласился с доводами пови-

тухи, особенно же убедительной показалась ее ссылка на щипцы, которые, очевидно, повредили не окрепший еще череп младенца.

— Как по-вашему, могут повторяться эти припадки? — осведомилась Маго.

— Боюсь, что да, мадам, — ответила повитуха. — Никто не знает, откуда берется такая напасть и почему она проходит.

— Бедный крошка! — произнесла Маго во всеуслышание.

Короля Иоанна I отнесли в опочивальню, и все уныло разошлись.

На обратном пути Филипп упорно молчал. Во дворце он увел в свои покои тещу и заперся с ней.

— Вы чуть было не стали королем, сын мой, — начала она.

Филипп не ответил.

— И впрямь, после сегодняшней сцены никто не удивится, если ребенок на днях умрет, — сказала Маго.

Филипп по-прежнему молчал.

— Если его не станет, вам все равно придется ждать совершеннолетия Жанны Наваррской.

— Вот уж нет, матушка, нет и нет! — живо возразил Филипп. — Отныне установление,

принятое в июле, больше не помеха. Вопрос о наследнике Людовика решен: таковым стал Иоанн. Между покойным братом и мною будет король, и наследником племянника стану именно я.

Маго с восхищением поглядела на зятя. «Должно быть, во время крестин все это сообразил!» — решила она.

— Признайтесь, Филипп, вы всегда мечтали стать королем, — проговорила она вслух. — Когда вы были еще мальчиком, вы ломали ветки и делали себе из них скипетр.

Филипп приподнял голову и улыбнулся теще, не прерывая молчания. Затем сказал серьезным тоном:

— Знаете, матушка, дама Ферьенн исчезла из Арраса, а вместе с нею и те люди, которых я посылал, чтобы они ее похитили и она не наболтала лишнего… Говорят, ее держат в одном из замков Артуа. Более того, я слышал, ваши бароны этим похваляются.

Маго промолчала, размышляя над словами зятя. Хотел ли Филипп просто предупредить ее о грядущей опасности? Или таким образом выразил свою о ней заботу? А возможно, подтверждал свой запрет прибегать к помощи яда? Или, напротив, намекает, что, коль скоро поставщица

ядов в заключении, у нее, Маго, тем самым развязаны руки?

— Но ведь он может погибнуть от второго родимчика, — настаивала Маго.

— Предоставим все воле Божией, матушка, — проговорил Филипп, давая понять графине, что разговор окончен.

«Да, предоставим воле Божией… Или моей? — думала Маго. — Филипп человек осторожный и не будет брать греха на душу, но он меня понял… Больше всего будет хлопот с этим болваном Бувиллем».

Воображение ее уже заработало. Наконец-то впереди забрезжило преступление! И то, что будущей ее жертвой должен был стать невинный младенец, горячило графиню Маго сильнее, чем если бы ей предстояло отправить на тот свет самого заклятого своего врага.

С этого дня графиня Маго начала вероломную, тщательно продуманную кампанию. «Бедняжка-король не жилец на этом свете», — твердила она всем встречным и со слезами на глазах описывала ужасную сцену, происшедшую во время крестин.

— Мы уже решили, что он кончается на наших глазах, еще минута, и так бы оно и вышло.

Спросите-ка мессира Гоше, мы с ним были вместе; впервые я видела, чтобы наш храбрец Гоше так побледнел… Впрочем, когда короля будут представлять баронам, каждый сам убедится, что младенец еле жив. А может быть, он уже умер, только от нас скрывают. Не понимаю, чего ради тянут с церемонией и не говорят почему. Ходят слухи, что мессир Бувилль противится потому, что бедняжке-королеве, да хранит ее Бог, совсем плохо. Но ведь королева — это не король.

Близкие к Маго люди, в первую очередь ее кузен Анри дю Сюлли и ее канцлер Тьери д'Ирсон, усиленно разносили эти слухи.

Бароны начинали тревожиться. И впрямь, почему так тянут, почему откладывают торжественную церемонию представления? Крестины, происходившие чуть ли не тайком, чрезмерная бдительность Бувилля, полнейшее молчание вокруг того, что делается в Венсенне, — все это указывало на то, что тут кроется какая-то тайна.

По Парижу ползли самые противоречивые слухи. Король родился калекой, поэтому-то его и не хотят никому показывать… Ничего подобного, граф Валуа велел его похитить и переправил в Неаполь, где король находится в полной безопасности… Нет, королева вовсе не больна, а

вернулась к себе на родину…

— Если он скончался, пусть нам так и скажут, — ворчали одни.

— Регент приказал его убрать! — утверждали другие.

— Не мелите чепуху. Не такой регент человек. Просто он не доверяет Валуа.

— И вовсе не регент, а графиня Маго. Она сумеет расправиться с младенцем, если только уже не расправилась. Что-то слишком упорно она твердит, что король не жилец на этом свете.

Зловещий ветер вновь взбудоражил весь королевский дворец. И пока каждый томился под бременем гнусных догадок, грязных подозрений, не щадивших никого и пятнавших всех подряд, регент сохранял невозмутимое спокойствие. Он с головой ушел в государственные дела, и когда с ним заговаривали о племяннике, он в ответ заводил разговор о Фландрии, графстве Артуа и налогах.

Утром девятнадцатого ноября, когда брожение умов достигло высшей точки, многочисленная делегация баронов и ученых мужей парламента предстала перед Филиппом и попросила, вернее, потребовала дать свое согласие на представление короля. И в глазах тех, кто ждал прямого отказа

или туманного обещания отложить церемонию, блестел недобрый огонь.

— Но я, мессиры, желаю этого не меньше вас, — сказал регент. — Мне самому чинят препятствия: противится граф Бувилль.

И, повернувшись к Карлу Валуа, который только накануне возвратился из графства Мэн, куда ездил поправлять свои финансы, Филипп спросил:

— Это вы, дядюшка, запретили Бувиллю показывать нам короля в интересах вашей племянницы Клеменции?

Бывший император Константинопольский даже побагровел от дерзкой, а главное, необъяснимой выходки Филиппа и по обыкновению закричал:

— Но, племянник, скажите ради бога, откуда вы это взяли! Ничего я не требовал и требовать не хочу! Я даже не видел Бувилля и давно не получал от него вестей. И возвратился я как раз, чтобы быть на представлении короля. Напротив, я от души желаю, чтобы оно состоялось, и состоялось по обычаям наших предков. Давно пора…

— В таком случае, мессиры, — произнес регент, — мы все здесь держимся одного мнения и хотим одного… Гоше! Вы присутствовали при

рождении моего брата… Верно ли, что королевское дитя представляет баронам крестная мать?

— Конечно, конечно, — поспешно отозвался Карл Валуа; он не мог перенести, что с таким вопросом обращаются не к нему — знатоку, а к кому-то другому. — Я присутствовал при всех представлениях; при вашем, менее торжественном, поскольку вы второй ребенок, при представлении Людовика и, наконец, Карла. И точно так же представляли моих детей. Только крестная мать!

— Ну что ж, — сказал регент, — тогда я немедленно дам знать графине Маго, чтобы она готовилась к церемонии, и прикажу Бувиллю открыть ворота Венсеннского замка. Едем в полдень верхами.

Настал наконец для Маго долгожданный час. Одеваясь к предстоящей церемонии, графиня отпустила своих придворных дам, за исключением Беатрисы, которая помогала ей возложить на голову корону: для убийства короля стоило появиться во всем великолепии.

— А через сколько времени, по-твоему, подействует порошок на пятидневного младенца?

— Вот уж не знаю, мадам, — ответила Беатриса. — Для ваших оленей оказалось достаточно

полсуток. Король Людовик боролся со смертью целых три дня.

— Слава богу, на этот раз я смогу отвести глаза, — продолжала Маго. — Знаешь, кого я имею в виду? Ту самую кормилицу, которую я видела на крестинах. Красавица, ничего не скажешь. Взялась она неизвестно откуда, и никто не знает, как она очутилась во дворце. Конечно, это Бувилли…

— Все понятно, мадам, — улыбнулась Беатриса. — Если кто-нибудь усомнится в том, что смерть последовала от естественных причин, можно будет обвинить вашу красавицу, и ее четвертуют.

— Ой, где же моя ладанка? — вдруг испуганно воскликнула Маго, шаря у себя за пазухой. — Слава богу, на месте!

Когда она уже выходила из спальни, Беатриса нагнала ее и шепнула на ухо:

— Только смотрите, мадам, не высморкайтесь по рассеянности.

Глава III
Хитроумный Бувилль

— Разжигайте огонь, — скомандовал Бувилль. — Затопить все камины, дров не жалеть,

пусть и в коридорах будет тепло.

Мессир Бувилль носился по всему замку и, понукая каждого, мешал всем. Он проверял часовых у подъемного моста, велел посыпать красный двор песком и тут же приказал его смести, так как стало еще грязнее; осматривал засовы и замки, уже давно не запиравшиеся. Всю эту бурную деятельность он затеял с единственной целью — заглушить голос тревоги. «Она его убьет, непременно убьет!» — твердил он про себя.

В коридоре он встретил жену.

— Ну, как королева? — спросил он.

Королеву Клеменцию соборовали нынче утром.

Злой недуг обезобразил ту, что еще недавно славилась своей сказочной красотой в обоих королевствах. Точеный носик заострился, белоснежная кожа приняла желтый оттенок, по лицу пошли багровые пятна, каждое величиной с серебряную монету; ужасный запах шел от ее постели; мочилась она кровью, дыхание с хрипом вырывалось из груди вперемежку со стонами — так непереносимо мучительно ныли затылок и живот. Теперь она уже почти не приходила в сознание.

— Это четвертый приступ горячки, — пояснила

мужу мадам Бувилль. — Повитуха уверяет, что, если королева дотянет до вечера, она, возможно, выживет. Маго предлагала прислать своего личного лекаря, мэтра Павильи.

— Ни за что на свете! Ни за что на свете! — воскликнул граф. — И не думай пускать сюда никого из людей графини.

Мать умирает, над новорожденным нависла угроза, а тут с минуты на минуту явятся двести баронов с вооруженной свитой! То-то начнется суматоха, и какой удобный случай представится для любого преступления!

— Нельзя оставлять младенца в комнате, смежной со спальней королевы, — продолжал Бувилль. — Не могу же я ввести сюда сотню стражников для его охраны, да и проскользнуть за занавеси ничего не стоит.

— Твоя правда. Давай подумаем, куда поместить младенца.

— В королевские покои, туда легко преградить все входы.

Супруги переглянулись, обоим в голову пришла одна и та же мысль: в этих покоях скончался Сварливый.

— Вели приготовить комнату, скажи, чтобы там хорошенько натопили, — решительно про-

изнес Бувилль.

— Ну что ж, дружок, пусть будет по-твоему. Но пойми, если даже ты расставишь полсотни стражников, все равно ты не можешь возражать против того, чтобы младенца несла на руках Маго.

— Я с нее глаз не спущу.

— Но если она уже решилась на злодеяние, она младенца на твоих глазах прикончит, бедный мой Юг. А ты ничего и не заметишь. Пятидневный младенец даже не пикнет. В суматохе воткнет ему иголку в затылок, или даст понюхать яда, или просто удушит шнурком…

— Что же мне тогда делать, ну скажи сама?! — закричал Бувилль. — Не могу же я заявить регенту: «Мы не желаем, чтобы ваша теща несла короля, боимся, мол, что она его прикончит!..»

— Конечно не можешь! Одно нам остается — молить Бога, — бросила мадам Бувилль на ходу.

А граф уныло поплелся в смежную с опочивальней королевы комнату, где устроилась кормилица.

Мари де Кресс как раз кормила обоих младенцев разом. Жадные ротики громко причмокивали, и крошечные ручонки с мягкими еще ноготками цеплялись за кормящую их грудь.

Мари великодушно дала королю левую грудь, ибо слыхала, что она богаче молоком.

— Что с вами, мессир? Вы, как я вижу, совсем приуныли, — обратилась Мари к Бувиллю.

Бувилль, этот престарелый архангел на страже несмышленого младенца, встал рядом с Мари, оперся на эфес длинной шпаги, черно-седые пряди волос печально свисали ему на щеки, кольчуга плотно обтягивала объемистое брюшко.

— До чего слабенький наш король, до чего же он слабенький! — вздохнул он.

— Вовсе нет, мессир, напротив, он крепнет день ото дня, посмотрите, он почти догнал моего. От всех этих снадобий, которыми меня пичкают[26], мне подчас тошно становится, зато ему они пошли на пользу.

Бувилль протянул огромную руку, загрубевшую от конских поводий и сабельных рукояток, и осторожно погладил маленькую головенку, уже поросшую бесцветным пушком.

— Это будет не такой король, как все прочие, вот увидите… — шепнул он.

Старый слуга Филиппа Красивого не умел иначе выразить своих чувств. С тех пор как он стал

---

[26] Примечания: 26

Когда у новорожденного наблюдались признаки болезни, лекарства давали не ему, а его кормилице.

помнить себя, с тех пор как себя помнил его отец, монархия, держава, Франция — смысл его деятельности и забот — были нерасторжимо слиты в его представлении с длинной и прочной цепью королей, зрелых, могущественных, требовавших безоговорочной преданности, расточающих милости.

Целых двадцать лет стоял он у трона, где восседал монарх, перед коим трепетал весь христианский мир. Ему даже в голову не могло прийти, что эта могучая цепь так быстро ослабнет и воплотится в этом хрупком розовом звене, в этом младенце, с подбородка которого стекало молоко и которого можно раздавить одной рукой.

— Вы правы, — проговорил он, — младенец поправляется; не будь следов от щипцов — впрочем, их уже почти не видно, — его нельзя было бы отличить от вашего сынка, разве что получше приглядеться.

— О нет, мессир, — живо возразила Мари, — мой гораздо тяжелее. Ведь верно, Иоанн-второй, ты у нас гораздо тяжелее?

Вдруг краска залила лицо Мари, и она поспешила объяснить:

— Ведь оба они Иоанны, поэтому я и зову своего Иоанном-вторым. Скажите, может быть, я не

должна этого делать?

Бувилль погладил по голове и второго Иоанна машинальным жестом, подсказанным долголетней придворной учтивостью. Взгляд его перебегал с одного младенца на другого.

Мари решила было, что этот пожилой дворянин загляделся на ее обнаженную грудь, и покраснела еще пуще… «Когда же наконец, — с досадой подумала она, — я отучусь вспыхивать по любому пустяку? Ведь нет ничего неприличного или бесчестного в том, чтобы кормить грудью ребенка!»

Тут в комнату вошла мадам Бувилль, неся приготовленные для церемонии одежды короля. Но Бувилль перехватил жену на полпути и, отведя ее в угол, шепнул:

— Кажется, я нашел выход.

Они начали шептаться. Мадам Бувилль недоверчиво качала головой, раза два она метнула быстрый взгляд в сторону Мари.

— Поговори с ней сам, — наконец сказала она. — Меня она терпеть не может.

Бувилль снова подошел к молодой женщине.

— Мари, дитя мое, — начал он, — вы можете оказать огромную услугу нашему малютке-королю, к которому, как я вижу, вы по-настоящему привязались. Видите ли, сейчас на церемонию

представления съедутся бароны. Но мы с супругой боимся, как бы короля не застудили; вспомните-ка, что у него во время крестин был родимчик. И вообразите, что получится, если его снова при всех схватят судороги. Начнут болтать, что он не жилец на этом свете, наши враги и без того стараются распространять такие слухи. Ведь мы, бароны, — прирожденные воины, нам нужен такой король, чтобы даже в младенчестве в нем чувствовалась сила. А ваше дитя и потолще, и лучше выглядит. Вот мы и решили показать его баронам вместо настоящего короля.

Мари испуганно вскинула глаза на мадам Бувилль, которая поспешно проговорила:

— Я тут ни при чем. Это придумал мой супруг.

— А не будет ли в том греха, мессир?

— Какой же тут грех, дитя мое? Напротив, оберегать короля — это не грех, а добродетель. И уже не впервые народу представляют крепкого младенца вместо хилого наследника престола, — смело солгал Бувилль, решив покривить душой ради такого случая.

— А вдруг кто-нибудь заметит?

— Да как же заметить? — воскликнула мадам Бувилль. — Оба они беленькие, к тому же все новорожденные на одно лицо и меняются с каж-

дым днем. Ну, скажите, кто знает короля? Мессир Жуанвиль, который ничего не видит, регент, который почти не видит, да коннетабль, который лучше разбирается в лошадях, чем в новорожденных младенцах?

— А графиня Маго не удивится, если не заметит следа от щипцов?

— Да как же она увидит под чепчиком и короной? К тому же сегодня день пасмурный. Боюсь, придется зажечь свечи, — добавил Бувилль, кивая на окно, куда еле пробивался печальный ноябрьский свет.

Мари исчерпала все свои доводы. В глубине души мысль о замене короля собственным ребенком льстила ее самолюбию, да и Бувилля она не подозревала в дурных замыслах. Она с радостью начала обряжать своего Иоанна в королевские одежды — запеленала его в шелковые пеленки, завернула в голубой плащ, затканный золотыми лилиями, надела на него чепчик, а поверх чепца крохотную корону, — все эти предметы входили в обязательное для венценосного младенца приданое.

— Какой же ты у меня хорошенький, Жанно, — твердила Мари. — Господи, да у него корона! Настоящая корона! А ведь придется тебе ее отдать

королю, слышишь, сынок, придется отдать!

Она вертела перед люлькой короля своего Иоанна, как тряпичную куклу.

— Посмотрите, государь, посмотрите на вашего молочного брата, на верного вашего слугу, его покажут баронам вместо вас, чтобы вы не простудились.

А про себя она думала: «Поскорее бы рассказать об этом Гуччо… Воображаю, что с ним будет, когда я скажу, что его сын — молочный брат короля и что именно его показывали баронам… Странная у нас с Гуччо судьба, и все-таки я ни с кем бы не поменялась! Как хорошо, что я полюбила его, милого моего ломбардца!»

Но когда из соседней комнаты донесся протяжный стон, радость Мари сразу померкла.

«Королева… Боже мой, королева… — подумала она. — А я о ней совсем забыла…»

Вошел конюший и объявил, что кортеж баронов во главе с регентом уже въезжает в ворота замка. Мадам Бувилль выхватила ребенка из рук Мари.

— Я сама отнесу его в королевские покои, — сказала она, — и вручу после окончания церемонии, когда придворные разъедутся по домам. А вы, Мари, отсюда ни шагу, ждите меня здесь. И если

кто-нибудь войдет, хотя мы поставили у дверей стражу, и спросит вас, говорите, что ребенок, который остался при вас, — ваше собственное дитя.

Глава IV
«Перед вами король, мессиры»

Баронам было тесно в большой зале; они переговаривались, кашляли, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, устав от долгого стояния. Их свита забила все коридоры. Желая полюбоваться предстоящей церемонией, изо всех дверей выглядывали любопытные.

Сенешаль де Жуанвиль, которого, снисходя к его слабости, подняли с кресла в самую последнюю минуту, вместе с Бувиллем стоял у дверей королевской опочивальни.

— Объявлять придется вам, мессир сенешаль, — твердил Бувилль. — Ведь вы старше всех соратников Людовика Святого, вам и выпала эта честь.

По лицу Бувилля стекали струйки пота, он чуть не падал от страха.

«Я бы не мог, — думал он, — не мог бы объявить… Голос выдал бы меня…»

В дальнем конце темного коридора он заметил внушительную фигуру графини Маго с короной на голове и в парадной мантии, отчего она казалась настоящей великаншей. Никогда еще Маго Артуа не выглядела такой огромной и такой страшной.

Он бросился в комнату и шепнул жене:

— Пора.

Мадам Бувилль двинулась навстречу графине, под чьей богатырской стопой жалобно скрипели половицы, и вручила ей свою невесомую ношу.

В коридоре было темно, и графиня Маго не стала присматриваться к младенцу. Однако, взяв его на руки, она удивилась, как он потяжелел со дня крестин.

— Да наш маленький король поздоровел, — произнесла она. — Поздравляю вас, душенька.

— Это потому, что мы за ним хорошо ходим, мадам, боимся, как бы нас не упрекнула в нерадивости его крестная мать, — ответила мадам Бувилль самым естественным тоном.

«Нет, решительно сейчас самое время, — подумала Маго, — слишком уж он окреп».

При свете, падавшем из окна, она вдруг увидела бывшего камергера Филиппа Красивого.

— Что это с вами, мессир Бувилль? — осведо-

милась она. — Вы весь в поту, хотя день не из жарких…

— Я велел повсюду разжечь камины, — очевидно, от этого меня и бросило в пот. Мессир регент не дал нам времени привести все в порядок.

Они обменялись взглядом, причем каждый пережил скверную минуту.

— Ну, пора, — спохватилась Маго. — Шествуйте впереди меня.

Бувилль взял за руку старика-сенешаля, и оба хранителя чрева медленно направились в залу. Маго шла позади, в нескольких шагах от них. Наступил благоприятный момент, и вряд ли он еще повторится. Старый сенешаль еле плелся, и, таким образом, у нее было время. Правда, вдоль стен шпалерами стояли придворные дамы и конюшие, сбежавшиеся посмотреть на венценосного малютку, и все глаза были устремлены на графиню, но кто заметит, кто обратит внимание на вполне естественный ее жест?

— Ну, ну, давайте-ка представимся баронам в самом лучшем виде, — обратилась Маго к младенцу, которого несла на сгибе левой руки. — Не опозорим королевства, а главное, не будем пускать слюни.

Она вытащила из сумы, висевшей на поясе,

носовой платок и быстро отерла им крохотный слюнявый ротик. Бувилль оглянулся, но Маго, зажав платок в руке, сделала вид, что оправляет на младенце мантию.

— Ну, мы готовы, — произнесла она.

Двери залы распахнулись, и воцарилось молчание. Но сенешаль по слепоте не заметил, что комната набита народом.

— Объявляйте же, мессир, объявляйте, — шептал ему Бувилль.

— А что объявлять? — удивленно спросил Жуанвиль.

— Да что король здесь, понимаете, король!

— Король… — лепетал Жуанвиль. — А знаете, я уже пятому королю служу!

— Конечно, конечно, только объявляйте поскорей, — тревожно торопил его Бувилль.

Маго, стоя за ними, еще раз для верности вытерла губки ребенка.

Сир де Жуанвиль прокашлялся, чтобы очистить горло, и наконец решился; он провозгласил важно и почти разборчиво:

— Мессиры, перед вами король! Перед вами король, мессиры!

— Да здравствует король! — грянули в ответ бароны, первые произнося это слово после смерти

Сварливого.

Маго направилась прямо к регенту, и все члены королевской семьи столпились вокруг них.

— Да он здоровяк… Какой розовый… Просто жирненький… — говорили бароны, проходя мимо этой группы.

— Кто это наговорил, что младенец хилый и не жилец на этом свете? — шепнул Карл Валуа своему сыну Филиппу.

— Да полноте, французская порода крепкая, — подхватил Карл де ла Марш, слепо подражавший дяде.

Сын Мари де Кресс и ломбардца чувствовал себя хорошо, даже слишком хорошо, по мнению Маго. «Ну что ему стоит покричать немножко? Хоть бы судороги его взяли, как в прошлый раз», — думала она. И незаметно старалась ущипнуть его под мантией. Но шелковые пеленки были слишком плотные, и ребенок не ощущал ничего, кроме приятной щекотки. Широко открытыми глазенками он смотрел вокруг, и казалось, все, что он видит здесь, доставляет ему удовольствие. «Вот ведь негодяй! Ничего, ты у меня еще запоешь! Если не сейчас, то ночью… А вдруг Беатрисин порошок выветрился?..»

В глубине залы нарастал гул голосов:

— Нам его отсюда не видно! Мы хотим им полюбоваться!

— Возьмите ребенка, Филипп, — сказала Маго и передала младенца зятю. — У вас руки длиннее моих. Покажите короля его подданным.

Регент взял маленького Иоанна, поднял его над головой, чтобы каждый мог увидеть и вдоволь насладиться лицезрением своего владыки. Вдруг Филипп почувствовал, что по рукам его течет что-то липкое и теплое. Ребенок, икая, срыгнул молоко, которого насосался полчаса назад, но молоко это приобрело зеленоватый оттенок и было перемешано с желчью; личико младенца тоже позеленело, потом стало густо багрового цвета, что не предвещало ничего доброго, головка бессильно запрокинулась назад. Громкий крик ужаса и разочарования вырвался из груди баронов.

— Господи, Господи! — воскликнула Маго. — Снова у него начался родимчик!

— Возьмите его, — пробормотал Филипп, сунув ей ребенка, как будто в этом запеленутом существе таилась для него какая-то опасность.

— Так я и знал! — раздался вдруг чей-то голос.

Это крикнул Бувилль. Он весь налился кровью и гневно глядел то на графиню, то на регента.

— Вы были совершенно правы, Бувилль, — отозвался Филипп, — нельзя так рано представлять баронам больного ребенка.

— Так я и знал… — повторил Бувилль.

Но тут жена быстро дернула его за рукав, опасаясь, как бы он не натворил непоправимых глупостей. Их взгляды встретились, и Бувилль сразу успокоился. «Что это я? — подумал он. — Видно, и впрямь я сошел с ума. Ведь настоящий король цел и невредим».

Но если Бувилль предпринял все, что мог, лишь бы удар миновал короля, пусть даже обрушившись на другого, старый слуга Филиппа Красивого как-то не подумал о том, что следует предпринять, коль скоро преступление все же совершится.

Графиня Маго тоже была застигнута врасплох. Она никак не предполагала, что яд подействует так быстро. И заговорила, желая успокоить окружающих:

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь! Тогда, на крестинах, мы тоже думали, что он кончается, а он, смотрите-ка, оправился. Страшно видеть родимчик, но у детей он быстро проходит. Повитуха! Пусть кликнут повитуху! — добавила она, решившись на этот рискованный шаг, лишь бы

обелить себя в глазах присутствующих.

Регент неловко растопырил руки, стараясь не прикасаться к одежде; он глядел на свои пальцы со страхом и отвращением, боясь притронуться к чему-либо.

Младенец посинел и задыхался.

Среди общей суматохи и отчаяния никто толком не понимал, что надо делать, как все это случилось. Мадам Бувилль бросилась в опочивальню королевы, но остановилась на пороге, пораженная пришедшей ей в голову новой мыслью: «Если я крикну повитуху, она сразу увидит, что мы подменили дитя и что у него на голове нет следа щипцов. Только бы, о Господи, только бы с него не сняли чепчик!» Она бегом вернулась обратно, а тем временем все присутствующие устремились к покоям короля.

Помощь самой искусной повитухи была уже ни к чему. Все еще закутанный в затканную лилиями мантию, с крошечной короной, сбившейся на сторону, младенец покоился, как щепочка, на огромной кровати, застланной шелковым покрывалом. Закатив глаза, в мокрых пеленках, с почерневшими губами и с сожженными ядом внутренностями, младенец, которого представили баронам как короля Франции, приказал

долго жить.

Глава V
Ломбардец в усыпальнице Сен-Дени

— Что же нам теперь делать? — одновременно произнесли супруги Бувилль.

Они попались в свою же собственную ловушку.

Регент не пожелал оставаться в Венсенне. Собрав всех членов королевской фамилии, он предложил им сесть на коней и сопровождать его в Париж, где состоится Совет. Когда регент уже выезжал из дворца, Бувилль вдруг в отчаянном припадке храбрости бросился к нему.

— Ваше высочество, — закричал он, хватая коня под уздцы.

Но Филипп не дал ему продолжать:

— Знаю, знаю, Бувилль, знаю, что вы разделяете с нами общую печаль, и признателен вам за ваше доброе чувство. Вас, поверьте, мы ни в чем не упрекаем. Ничего не поделаешь! Такова природа человеческая. Я сообщу вам свои распоряжения насчет похорон.

И регент, подняв коня в галоп, проскакал по опущенному мосту. Вряд ли на таком бешеном

аллюре сопровождавшие его лица могли обдумать все случившееся.

Большинство баронов поскакали вслед за ним. В Венсенне остались лишь бездельники да те, кто поплоше; собравшись группками, они горячо обсуждали событие.

— Пойми, — твердил Бувилль жене, — я обязан был немедленно все ему сказать. Зачем ты меня удержала?

Они отошли к амбразуре окна и тихонько шептались, даже друг другу боясь поверить свои мысли.

— А кормилица? — спросил Бувилль.

— Я за ней сама смотрю. Увела в свою спальню, заперла на ключ, а возле дверей поставила двух человек.

— Она ничего не подозревает?

— Нет.

— Надо бы ей сказать.

— Подождем, пока все разъедутся.

— Нет, я должен был открыть ему…

Толстяка Бувилля терзала совесть — почему, почему не послушался он своего первого порыва? «Если бы я сказал правду перед всеми баронами, если бы сразу привел доказательства…» Но для этого требовалось быть не Бувиллем, а человеком

иного склада, скажем коннетаблем, а главное, не иметь супруги, которая дергает тебя за рукав.

— Но разве могли мы знать, — говорила мадам Бувилль, — что Маго так ловко поведет дело и что ребенок умрет у всех на глазах?

— В сущности, — пробормотал Бувилль, — может, лучше было бы нам представить баронам настоящего, пусть бы свершилось предназначенное судьбой.

— А что, а что я тебе говорила?

— Верно, я не снимаю с себя вины. Ведь мне в голову пришла эта мысль… дурная мысль…

Кто им теперь поверит? Как, кому смогут они объявить, что обманули баронов, что увенчали королевской короной младенца кормилицы? Ведь уже одно это — прямое святотатство.

— Знаешь, чем мы рискуем, если это станет известно?.. — шептала мадам Бувилль. — Тем, что Маго отравит и нас с тобой.

— Я уверен, что регент с ней в сговоре. Когда он вытер руки, запачканные младенцем, то сразу бросил тряпку в огонь, я сам видел… Он нас к суду притянет за клевету на Маго.

Отныне все их помыслы занимала единственная мысль, как бы спастись самим.

— Ребенка обрядили? — спросил Бувилль.

— Я сама его обряжала вместе с горничной, пока ты провожал регента, — пояснила супруга. — И поставила возле него четырех конюших. Так что с этой стороны опасаться нечего.

— А королева?

— Я запретила с ней об этом говорить, боюсь, как бы ей не стало хуже. Хотя вряд ли она и поняла бы. Я приказала повитухе ни на шаг не отходить от ее ложа.

В скором времени в Венсенн прибыл камергер Гийом де Сериз и объявил де Бувиллю, что регента только что возвели в королевское звание с согласия его дядей, брата и оказавшихся во дворце пэров. Совет заседал недолго.

— А что касается похорон его племянника, — продолжал камергер, — то наш государь Филипп решил, что они состоятся в самое ближайшее время, дабы не длить горе народное. Выставлять гроб новопреставленного не будут. Так как сегодня пятница, а в воскресенье покойников земле не предают, тело завтра же будет перевезено в Сен-Дени. Бальзамировщик уже вызван. А я, мессир, отправляюсь в обратный путь, так как король приказал мне не мешкать.

Бувилль молча глядел вслед удалявшемуся камергеру. «Король, король…» — беззвучно шеп-

тал он.

Граф Пуатье стал королем; маленького ломбардца похоронят в королевской усыпальнице в Сен-Дени, а Иоанн I жив и здоров!

Бувилль поплелся в спальню к жене.

— Филипп уже король, — сообщил он. — А мы остались с младенцем-королем на руках…

— Надо, чтобы он исчез…

— Да что ты говоришь?! — негодующе крикнул Бувилль.

— А что я говорю? Ты, видно, совсем рехнулся, Юг! — возразила мадам Бувилль. — Я имею в виду — надо его спрятать.

— Но тогда ему не взойти на престол.

— Зато хоть жив останется. И возможно, в один прекрасный день… Разве можно знать, что будет…

Но как его спрятать? Кому доверить младенца, не вызвав подозрения? А самое главное — надо вскормить его.

— Кормилица! — вдруг воскликнула мадам Бувилль. — Только кормилица может нам помочь. Пойдем скорее к ней.

Они поступили весьма разумно, подождав отъезда баронов и только после этого сообщив Мари де Кресс о смерти ее сына. Вопли и крики ее раз-

носились не только по всему замку, но слышны были даже во дворе. А тем, кто услышал ее крики и застыл от ужаса на месте, объявили потом, что это кричала королева. Даже сама королева, выйдя на мгновение из беспамятства, поднялась с подушек и тревожно спросила:

— Что случилось?

Даже почтенный старец, сенешаль де Жуанвиль, и тот, очнувшись от дремоты, задрожал с ног до головы.

— Кого-то убивают, — произнес он, — так кричат только под ножом убийцы, я-то, слава богу, знаю.

А Мари тем временем твердила, не умолкая:

— Я хочу его видеть! Хочу его видеть! Хочу его видеть!

Бувилль с супругой вынуждены были схватить ее, потому что она, обезумев от горя, рвалась из комнаты в дальние покои, где лежал труп ее сына.

Целых два часа супруги пытались успокоить, утешить, а главное, вразумить Мари, десятки раз повторяя одни и те же доводы, но она не слушала.

Напрасно Бувилль клялся, что никак не желал причинить ей такое зло, что во всем винова-

та графиня Маго, сумевшая осуществить свой преступный замысел. Слова эти запали в голову Мари, хотя вряд ли она поняла их, но со временем они сами всплывут в ее памяти; однако сейчас все это не имело для нее никакого смысла.

Временами слезы высыхали у нее на глазах, она глядела вдаль невидящим взором, а потом снова начинала громко стонать. Так стонет животное, раздавленное колесами.

Бувилли подумали, что она и впрямь лишилась рассудка. Они уже истощили все свои доводы: принеся в жертву родное дитя, Мари, пусть даже невольно, спасла жизнь королю Франции, потомку прославленной династии Капетингов…

— Вы молоды, — твердила мадам Бувилль, — у вас еще будут дети. Ведь нет женщины, которая не потеряла бы грудное дитя.

И она перечислила всех отпрысков королевской фамилии, погибших в младенчестве на протяжении трех поколений, и начала свой перечень с мертворожденных близнецов, которыми разрешилась от бремени Бланка Кастильская. У Анжуйских, у Куртене, у герцогов и графов Бургундских, у Шатийонов, даже в роду самих Бувиллей сколько раз матери горевали над гробом своего младенца и жили затем в радости, окру-

женные многочисленным потомством! Каждая женщина рожает двенадцать — пятнадцать раз, а выживает не больше половины детей.

— Я вас отлично понимаю, — продолжала мадам Бувилль, — больнее всего потерять первенца.

— Нет, нет, ничего вы не понимаете! — кричала Мари, рыдая. — Этого… этого никто мне никогда не заменит!

Убиенное дитя было плодом ее любви, столь страстного желания, столь пламенной веры, что перед ними отступили все законы и все запреты; в нем воплотилась ее мечта, за него она заплатила дорогой ценой — двумя месяцами оскорблений и четырьмя месяцами заточения в монастыре, его она готовилась, как бесценный дар, вручить тому, на кого пал ее выбор; для нее новорожденный был как бы чудесным деревцем, в котором должна была расцвести вновь ее жизнь, ее трудная, ее волшебная любовь!

— Нет, не можете вы понять! — жалобно твердила она. — Вас ведь не прогнала семья из-за ребенка. Нет, никогда у меня не будет другого!

Когда человек, сраженный горем, начинает говорить о своей беде, описывать ее обычными словами, значит он уже смирился. На смену отча-

янию, почти физическому ощущению своей муки постепенно приходит душевная боль, жестокое раздумье.

— Я знала, знала, недаром я не хотела сюда идти, знала, что здесь меня ждет беда!

Мадам Бувилль не посмела ей возразить.

— А что скажет Гуччо, когда ему все станет известно? — спрашивала Мари. — Как я могу сообщить ему эту весть?

— Он ничего и не должен знать, дитя мое! — воскликнула мадам Бувилль. — Никто не должен знать, что король остался жив, ибо те, кто нанес удар невинному, не остановятся перед новым преступлением. Вам самой грозит опасность, так как вы действовали заодно с нами. И вы должны хранить тайну, покуда с вас не снимут запрет.

И, повернувшись к мужу, мадам Бувилль шепнула:

— Скорее неси Евангелие.

Когда Бувилль вернулся с тяжелым Евангелием в руках, за которым ему пришлось бегать в часовню, супруги уговорили Мари положить руку на серебряную крышку и поклясться хранить полное молчание: пусть она ничего не говорит даже отцу погибшего ребенка, даже на исповеди пусть молчит о свершившейся трагедии. Лишь Бувилль

или его жена могут разрешить ее клятву.

Сломленная горем Мари поклялась во всем, что от нее потребовали. Бувилль обещал выплачивать ей определенное содержание. Но до денег ли ей было!

— А теперь, милочка, вам придется растить короля Франции и говорить всем, что это ваше собственное дитя, — заключила мадам Бувилль.

Мари возмутилась. Она не хотела прикасаться к ребенку, вместо которого убили ее сына. Не желает она оставаться в Венсенне. Одного ей хочется — уйти отсюда куда глаза глядят и умереть.

— Не беспокойтесь, вы умрете, и очень скоро, если выдадите вашу тайну. Маго не замедлит вас отравить или велит прикончить ударом кинжала.

— Нет, нет, я ничего не скажу, ведь я обещала! Но отпустите меня, дайте мне уйти!

— Вы уедете, уедете, хорошо! Но не погубите еще и этого младенца. Вы сами видите, что он голоден. Покормите его хоть сегодня, — добавила мадам Бувилль, кладя на руки Мари сына королевы Клеменции.

Когда Мари почувствовала у своей груди ребенка, она зарыдала пуще прежнего. С ужасом и болью ощутила она, что по другую руку не

лежит ее собственное дитя, что место его навеки опустело.

— Сберегите его. Он теперь как бы ваш, — внушала ей мадам Бувилль. — И когда придет время, когда он вступит на престол, вам будут возданы такие же почести, как и ему; вы будете его второй матерью.

При таком нагромождении лжи еще одна ложь была не в счет. Впрочем, не обещание будущих почестей, на которые не скупилась жена бывшего хранителя чрева, тронуло Мари, а присутствие этого крохотного существа, лежавшего у нее на руках, и она бессознательно перенесла на него свою материнскую любовь.

Прикоснувшись губами к покрытой белокурым пушком головке ребенка, она машинальным жестом расстегнула корсаж и пробормотала:

— Нет, я не дам тебе погибнуть… маленький мой… маленький мой Иоанн.

Супруги Бувилль с облегчением вздохнули. Они выиграли партию хотя бы на ближайшее время.

— Завтра, когда будут уносить ее дитя, она должна быть уже далеко от Венсенна, — шепнула мадам Бувилль мужу.

На следующее утро Мари, совсем обессилевшую от горя и безропотно подчинявшуюся всем

распоряжениям мадам Бувилль, отправили с младенцем обратно в монастырь Святой Клариссы.

Матушке настоятельнице мадам Бувилль объяснила, что Мари помутилась в рассудке после кончины ее питомца, короля Иоанна, и что не следует придавать значение ее речам.

— Она нас самих до смерти испугала: вопила в голос, даже собственного ребенка не узнавала.

Мадам Бувилль потребовала, чтобы в келью к Мари никого не допускали, пусть живет себе в полном покое и нерушимой тишине.

— Кто бы к ней ни явился, не пропускайте никого, сначала предупредите меня.

В тот же самый день в Венсенн доставили четыре савана — два затканных золотыми лилиями, два с гербами Франции, вышитыми бирюзой, а также восемь локтей черного бархата — все это потребовалось для похорон первого французского короля, нареченного Иоанном. И в гроб действительно положили младенца по имени Иоанн, в такой крохотный гробик, что после недолгих размышлений его решили везти не на катафалке, где оставалось бы слишком много пустого места, а просто на муле и приторочили деревянный ящик к вьючному седлу.

Мэтр Жоффруа де Флери, королевский казна-

чей, занес в свои книги запись расходов на эти похороны, выразившихся в сумме ста одиннадцати ливров, семнадцати су и восьми денье.

За гробом младенца Иоанна не шествовал, как полагалось, бесконечный кортеж провожающих, не было традиционной панихиды в соборе Парижской Богоматери. Процессия сразу же отправилась в Сен-Дени, и после заупокойной мессы состоялись похороны. В ногах надгробья Людовика X, которое соорудили еще так недавно, что камень сверкал ослепительной белизной, вырыли узкий ровик и сюда, рядом с останками владык Франции, положили дитя Мари де Кressе, бедной дворяночки из Иль-де-Франса, и Гуччо Бальони, сиенского купца.

Адам Эрон, первый камергер и дворецкий, подошел к краю маленькой могилки и, глядя на своего господина Филиппа Пуатье, громогласно провозгласил:

— Король умер! Да здравствует король!

Царствование Филиппа V Длинного началось; Жанна Бургундская стала королевой Франции, к вящему торжеству ее матушки графини Маго Артуа.

Только три человека во всей французской державе знали, что законный король жив. Одна из

знавших эту тайну поклялась молчать на святом Евангелии, а двое других тряслись от страха, как бы их тайна не открылась.

Итак, с этой субботы, пришедшейся на 20 ноября 1316 года, все короли, сменявшие друг друга на престоле Франции, были, по существу, лишь длинной чередой невольных узурпаторов власти.

Глава VI
Франция в железных руках

В борьбе за французский престол Филипп V, используя монархические установления, прибег еще и к извечному маневру, именуемому на современном языке государственным переворотом.

В силу личного влияния и благодаря поддержке своего клана Филипп, став регентом, то есть человеком, облеченным верховной властью, и собрав июльскую ассамблею, навязал ей новый, благоприятный для него закон престолонаследования, но добился этого не сразу и не без существенных оговорок. Исчезновение младенца Иоанна явилось счастливой неожиданностью. Филипп, тут же откинув им самим установленные законы

наследования, завладел короной, забыв о всех сроках и оговорках.

Власти, захваченной в подобных обстоятельствах, неизбежно грозит многое, особенно поначалу.

Трудясь над упрочением своего положения, Филипп не имел ни досуга, ни возможности насладиться победой, улицезреть себя на вершине наконец-то воплотившейся в жизнь мечты. Он достиг вершины, но еле удерживался на ее острие.

По всему королевству поползли зловещие слухи, в душе каждого зрели подозрения. Однако люди уже успели убедиться, что у нового короля твердая рука, и все, кто имел основания опасаться этого, сплотились вокруг герцога Бургундского.

А сам герцог срочно примчался в Париж, дабы оспорить право своего будущего тестя на французский престол. Он требовал, чтобы немедленно созвали Совет пэров и признали Жанну Наваррскую королевой.

Филипп продолжал хитрить. За звание регента он предложил герцогу свою дочь и Бургундское графство, за корону он предложил отделить Францию от Наварры, хотя объединение произошло лишь совсем недавно, и посулил закрепить это крохотное пиренейское королевство за дочерью

Сварливого, хотя никто не знал, была ли она его законной дочерью.

Но если Жанна, по мнению самого Филиппа, достойна править Наваррой, то почему же она недостойна править Францией? Во всяком случае, так рассуждал герцог Эд и отказался уступить. Очевидно, придется решать этот спор силой.

Эд столь же стремительно поскакал в Дижон и бросил клич от имени своей малолетней племянницы всем баронам Артуа и Пикардии, Бри и Шампани, призывая их не покоряться узурпатору.

В том же духе он обратился к королю Эдуарду II Английскому, который, вопреки вмешательству своей супруги Изабеллы, поспешил подлить масла в огонь, встав на сторону бургундцев. Любое разделение Франции было выгодно английскому королю, который надеялся прибрать к рукам провинцию Гиень.

«Неужели ради этого я разоблачала шашни моих невесток?» — думала королева Изабелла.

Всякий другой на месте Филиппа Длинного пал бы духом, видя, как с севера, востока и юго-запада надвигается угроза. Но молодой король знал, что впереди есть еще несколько месяцев сроку: зимой не воюют, враги его будут ждать весны,

если только действительно решатся собрать войско. Поэтому первой заботой Филиппа было как можно скорее короноваться, ибо помазание на царство — лучшая защита властителю.

Поначалу Филипп решил приурочить торжественный обряд ко Дню богоявления; короноваться в королевский день казалось ему добрым предзнаменованием; недаром этот день выбрал и его покойный отец. Но ему доложили, что жители Реймса не успеют приготовить все необходимое; тогда Филипп отложил церемонию еще на три дня. Двор отбудет из Парижа первого января, а коронование состоится в воскресенье, девятого.

Со времен Людовика VIII, первого короля, который не был избран при жизни своего предшественника, никогда еще наследник престола не рвался так в Реймс.

Но венчание на царство, этот древний религиозный обряд, казалось Филиппу еще недостаточным; он решил поразить воображение народа чем-то новым, небывалым.

Не раз размышлял он над писаниями Эджидио Колонны, наставника Филиппа Красивого, того, кто пестовал сознание Железного короля… «Размышляя отвлеченно, — писал Эджидио Колонна в своем трактате о принципах власти, —

безусловно, предпочтительнее, чтобы короля избирали; лишь разнузданные аппетиты людей и их способ действия заставляют нас предпочесть наследственное право выборному».

— Я хочу взойти на престол с согласия моих подданных, — заявил Филипп Длинный. — И буду чувствовать себя достойным королевского звания лишь при этом условии. И коль скоро кое-кто из высокородной знати чинит мне препятствия, я предоставлю слово малым сим.

Еще покойный отец указал Филиппу правильный путь: в тяжелые для Франции дни он собирал ассамблеи с участием представителей всех классов, всех сословий королевства. И Филипп решил собрать две такие ассамблеи, но в более расширенном составе, нежели раньше: одна состоится в Париже — для тех, кто пользуется диалектом лангедольским, другая в Бурже — для тех, кто говорит на лангедокском диалекте, и обе соберутся через несколько недель после коронования. И тут он впервые с начала своего правления произнес слова «Генеральные штаты».

Легистам поручили отыскивать и подтасовывать тексты, которые затем предназначалось объявить Генеральным штатам, дабы глас народный подтвердил законность восшествия

Филиппа на престол. В первую очередь, понятно, в ход пошло знаменитое изречение коннетабля о том, что лилиям-де негоже прясть и что держава — нечто столь высокое и достойное, что нельзя вручать бразды правления женским рукам. Выдвигались и другие, еще более несуразные аргументы; в частности, легистам велено было исходить из того, что между высокочтимым Людовиком Святым и Жанной Наваррской насчитывается трое преемников, в то время как между Людовиком Святым и Филиппом Длинным их всего лишь двое.

Узнав об этом, Валуа вполне справедливо заметил:

— Но в таком случае почему не я? Ведь от Людовика Святого меня отделяет лишь мой покойный батюшка!

Наконец парламентские советники, которым мессир де Нуайе не давал ни отдыха ни срока, раскопали, правда не возлагая на свои розыски особых надежд, старинный свод обычаев салических франков, созданный еще до обращения Хлодвига в христианство. В своде этом ни слова не говорилось о передаче королевской власти. По сути дела, это был судебник, свод гражданских и уголовных законов, к тому же весьма прими-

тивно составленный и малопонятный, так как со дня его появления на свет прошло более восьми веков. В нем довольно глухо упоминалось, что наследственные земли делятся поровну между наследниками мужского пола. И все.

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы несколько ученых правоведов возвели на столь жалком фундаменте целую систему доказательств и поддержали положение о престолонаследовании, за что и получили соответствующую мзду. Корона Франции переходит лишь к лицам мужского пола, ибо понятие «корона» включает в себя владение землями. И разве не является самым веским доказательством того, что салический закон применялся издавна, тот факт, что одни лишь мужчины являлись наследниками земельных угодий? Тем самым Жанна Наваррская могла быть отстранена от престола даже без ссылки на ее незаконное происхождение, каковое, впрочем, еще не было доказано.

Недаром легисты считались мастерами тарабарщины. Никому и в голову не пришло возразить им, что Капетинги пошли не от салических франков, а от сикамбров и от брюктеров; никому не было охоты копаться в подлинных текстах пресловутого салического закона, тем паче что на

него не столько ссылались, сколько начисто его выдумали; закон этот с успехом утвердился в истории после целого века опустошающей войны, в которую по его вине была ввергнута Франция.

Дорого же обошлись стране любовные шашни Маргариты Наваррской!

Но пока что центральная власть не дремала. Филипп уже перестраивал систему управления, призывал на свои Советы представителей богатых горожан и учредил особый клан «рыцарей сопровождения»[27], желая отблагодарить тех, кто, начиная с Лиона, верно служил ему.

У Карла Валуа он перекупил мастерскую по чеканке монеты, находившуюся в Мэне, а потом скупил еще десяток мастерских, разбросанных по всей Франции. Теперь вся монета, имевшая хож-

---

[27] Примечания: 27

Эта рыцарская свита была создана Филиппом V в начале его царствования. Входившие в нее рыцари назначались королем, чтобы сопровождать его и подавать советы; им полагалось быть рядом с государем во всех его передвижениях, но не всем вместе. Среди них встречаются близкие родственники короля, такие как граф де Валуа, граф д'Эврё, граф де ла Марш, граф де Клермон; крупные вельможи, такие как графы де Форе, де Булонь, де Савуа, де Сен-Поль, де Сюлли, д'Аркур и де Коменж; высшие офицеры короны — коннетабль, маршалы, командир арбалетчиков, равно как и другие должностные лица — члены Тайного или «правящего» совета, легисты, администраторы Казначейства, а также возведенные в дворянство буржуа и личные друзья короля. Там обнаруживаются такие имена, как Миль де Нуайе, Жиро Гетт, Ги Флоран, Гийом Флотт, Гийом Куртез, Мартен дез Эссар, Ансо де Жуанвиль. Эти рыцари были прообразом корпуса дворян королевских покоев, учрежденного Генрихом III и просуществовавшего

до правления Карла X.

дение в государстве, чеканилась на королевском монетном дворе.

Вспомнив проекты папы Иоанна XXII, которые тот развивал перед ним, еще будучи кардиналом Дюэзом, Филипп подготовил реформу системы штрафов и казначейских сборов. Отныне каждую субботу нотариусы будут вкладывать в государеву казну собранные ими суммы, и счетная палата установит специальный тариф за регистрацию официальных актов.

Точно такая же судьба постигнет таможни, превотства, городское управление, финансовые операции. Злоупотребления и лихоимство, пышно расцветшие после смерти Железного короля, сурово пресекались. Во всех слоях общества, даже в самых высших, во всей государственной жизни, в суде, в портах, на рынках и ярмарках почувствовали наконец, что Францию держат крепкие руки… руки двадцатитрехлетнего юноши!

За верность тоже приходится платить. Естественно, что восшествие Филиппа на престол сопровождалось щедрыми подачками.

Дряхлого старца сенешаля де Жуанвиля отправили в его замок Васси, ибо он изъявил желание именно там окончить свои дни. Он чувствовал, что конец его близок. Сын сенешаля Ансо, став-

ший со времен Лиона ближайшим соратником Филиппа, как-то сказал ему:

— Мой батюшка уверяет, что удивительные дела творились в Венсенне в день смерти малолетнего короля и что до него дошли весьма тревожные слухи.

— Знаю, знаю, — живо отозвался Филипп. — Мне самому многое из того, что там творилось в те дни, кажется престранным. Хотите знать мое мнение, Ансо? Мне не хочется плохо говорить о Бувилле, да и доказательств у меня нет, но я не раз думал вот о чем: уж не скончался ли мой племянник еще до нашего прибытия в Венсенн и не подсунули ли нам другого ребенка?

— Господи, а на что это было нужно?

— Не знаю… Из страха перед упреками, из боязни, что Валуа или еще кто-нибудь обвинят его. Ибо за ребенком смотрел один Бувилль. И вспомните, как он упорно не желал нам его показывать. Повторяю, все это только догадки, внутреннее мое ощущение, ни на чем, в сущности, не основанное… Но так или иначе, уже слишком поздно…

Помолчав, Филипп добавил:

— Кстати, Ансо, я распорядился, чтобы вам из казны выдали в дар четыре тысячи ливров, и

таким образом вы поймете, сколь я признателен вам за вашу постоянную помощь. И если в день коронования мой кузен герцог Бургундский не прибудет в Реймс — а полагаю, что так оно и случится, — я попрошу вас выполнить положенный обряд и привязать мне шпоры. Вы достаточно знатны для этого.

Нет более подходящего металла для заклепки ртов, чем золото, но Филипп отлично знал, что в иных случаях этот надежный припой требует изящества отделки.

Оставалось еще уладить дело с Робером Артуа. Филипп десятки раз поздравлял себя с тем, что в эти дни, чреватые событиями, его смутьян-родич содержится под стражей. Но нельзя было до бесконечности держать его в тюрьме Шатле. Обычно коронование сопровождается актами милосердия и помилования. Поэтому-то, когда Карл Валуа насел на Филиппа, тот ответил ему с наигранно-благодушным видом доброго владыки:

— Только чтобы вам угодить, дядюшка, я готов дать Роберу свободу…

Он не кончил фразы и, казалось, углубился в какие-то расчеты.

— Но лишь через три дня после моего отъезда в Реймс, — добавил он, — и с запрещением отда-

ляться от столицы больше чем на двадцать лье.

Глава VII
Безжалостно разбитые мечты…

На пути своего восхождения к трону Филипп Длинный перешагнул не только через два трупа: его царственная поступь смела еще две судьбы, разбила жизнь двум женщинам: одной — королеве и другой — безвестной простушке из Нофля.

На следующий день после погребения Лже-Иоанна I в королевской усыпальнице Сен-Дени к Клеменции Венгерской, чьей кончины ждали с минуты на минуту, вернулись признаки сознания и жизни. Какое-то из бесчисленных снадобий оказало свое действие; лихорадка и недуг покинули измученное тело, чтобы уступить место для новых терзаний. Первые слова королевы были о ее сыне, которого она почти не видела. В памяти ее сохранился маленький голенький комочек, и комочек этот растирают розовой водой, кладут в колыбельку…

Когда ей осторожно, со множеством оговорок, сообщили, что видеть ребенка сейчас нельзя, она прошептала:

— Он умер, скажите, умер? Я это знала, чув-

ствовала во время болезни… И это также должно было случиться.

Королева не впала в бурное отчаяние, чего так опасались. Без сил лежала она, откинувшись на подушки, не проронила ни слезинки, лишь на лице ее застыло то выражение трагической иронии, с каким смотрят люди на пепелище пожара, пожравшего все их добро. Губы ее свела странная насмешливая гримаска, и присутствующие испугались, что она потеряла разум.

Беды и так в изобилии рушились на нее: душа королевы уже наполовину омертвела, и как бы судьба ни старалась множить удары, ей не удалось высечь новой боли.

Тяжелее всего приходилось Бувиллю, взявшему на себя фальшивую миссию утешителя, бессильного против беды. Любое ласковое слово Клеменции наполняло его угрызениями.

«Ее дитя живо, и я не смел ей об этом сказать. А ведь я мог бы дать ей такую великую радость!..»

Раз двадцать, побуждаемый жалостью и простой порядочностью, он чуть было не признался Клеменции во всем. Но мадам Бувилль, хорошо изучившая своего малодушного супруга, не оставляла его наедине с королевой.

Зато он облегчал душу, обвиняя в убийстве — и

обвиняя справедливо — графиню Маго.

Королева пожимала плечами. Не все ли равно, чья рука нанесла этот последний удар, раз на нее, Клеменцию, ополчились все силы зла?!

— Я усердно молилась, я была доброй, во всяком случае старалась быть, — говорила она, — я свято следовала всем христианским заповедям и пыталась обратить на путь истинный тех, кто был мне дорог. Никогда и никому я не желала зла. А Бог покарал меня так, как никого из своих созданий… И злые теперь торжествуют во всем.

Клеменция не возмущалась, не богохульствовала, все былое казалось ей лишь одной огромной ошибкой.

Родителей унесла чума, когда ей, Клеменции, не исполнилось еще и двух лет. Все принцессы в их роду, за редким исключением, нашли свое счастье, даже не достигнув совершеннолетия, а ей пришлось ждать мужа до двадцати двух лет. И наконец ее руки нежданно-негаданно попросил тот, выше которого в ее представлении не было никого на целом свете. Этот брачный союз с Францией ослепил ее своим блеском, одурманил — пусть вымышленной — любовью, вдохнул в нее самые благие намерения. Но уже по пути в новую свою отчизну она чуть не погибла во

время бури. А через несколько недель узнала, что сочеталась браком с убийцей, что первую жену короля удушили. Прожив в замужестве всего десять месяцев, она овдовела, но носила под сердцем ребенка. Под предлогом заботы о ее безопасности королеву тотчас же отстранили от власти, превратили в затворницу. Целую неделю она боролась со смертью лишь затем, чтобы, вырвавшись из преддверия ада, узнать, что ребенок ее умер, что его, без сомнения, отравили, как отравили перед тем ее супруга.

Можно ли вообразить себе более плачевную и трагическую участь!

— Люди моей страны верят в злую судьбу. И они правы: мне выпала злая судьба, — повторяла она. — Отныне я не смею ничего предпринимать, ни за что браться.

Она исчерпала все данные ей природой добродетели. Любовь, милосердие, надежда, даже вера разом покинули ее. Все равно они пропали бы втуне. Ничего у нее не осталось, чем можно одаривать людей.

Во время болезни Клеменция так настрадалась, столько раз была на пороге смерти, что теперь, обнаружив, что жива, что может свободно дышать, есть, смотреть на стены, на лица, она дивилась

этому, как чуду, и черпала в этом единственно живые чувства, на какие еще была способна ее на три четверти отмершая душа.

По мере того как к Клеменции медленно возвращались силы и красота, легендарная ее красота, в ней одновременно пробуждались вкусы и наклонности пожившей, капризной женщины. Казалось, с начала ее болезни прошла не неделя, а сорок лет, хотя по-прежнему очаровательна была внешняя оболочка, все так же золотились кудри и лицо напоминало запрестольный образ, с каждым днем все соблазнительнее становилась эта великолепная грудь, это точеное тело. Но в этом прелестном теле жила стареющая вдова, жадно требовавшая от жизни последних радостей. И требовала их еще одиннадцать лет.

Доныне воздержанная в пище и из религиозных соображений, и просто по природе, королева приказывала подавать самые дорогие и редкостные яства и питье. Осыпанная сверх меры дарами покойного мужа, она, которая с трудом соглашалась принимать их, оживлялась теперь при виде ларца с драгоценностями, почти сладострастно перебирала камни, подсчитывала их стоимость, любовалась их чистотой и блеском. Она вызывала к себе ювелиров и, вдруг решив переделать

оправу, вместе с ними набрасывала эскизы, подбирала камни. Целые дни она проводила с белошвейками, скупала бесценные восточные ткани, и все ее одеяния были густо пропитаны благовониями.

Выходя из своих покоев, она надевала белое вдовье облачение, зато ее приближенные смущенно отводили глаза, застав королеву, свернувшуюся клубочком перед камином и закутанную в прозрачные покрывала.

Прежняя ее щедрость приняла теперь уродливую форму нелепых даров. У торговцев была круговая порука, они знали, что можно без страха запрашивать любую цену. Слуг и тех охватила жадность. О, конечно, королеве Клеменции прислуживали на славу. На кухне шли споры, кому подавать ей на стол, ибо за красиво разукрашенный десерт, за миндальное молоко, за «золотую воду» — последнее изобретение кулинарии, куда входили розмарин и гвоздика, выдержанные предварительно в соке граната, — королева могла вдруг кинуть слуге пригоршню золотых монет.

Вскоре ей пришла охота слушать пение, и сколько сказок, лэ и романов нарассказали ей красивые уста! Один менестрель, обладатель статной фигуры и задушевного голоса, развле-

кавший ее целый час, смущенно опуская взор, чтобы не видеть сквозь кипрские покрывала обнаженное тело королевы, получил от нее столько денег, что мог пировать в тавернах в течение целого месяца.

Бувилль кряхтел, видя такие траты, что не мешало ему самому стать объектом щедрот королевы.

Первого января, которое, по обычаю, было днем взаимных поздравлений и преподнесения подарков, хотя официально новый год начинался на Пасху, королева Клеменция вручила Бувиллю богато расшитый кошель, где лежали три сотни золотых монет. Бывший камергер Филиппа Красивого в испуге отпрянул назад.

— Нет, мадам, умоляю вас, не надо, я не заслужил такой милости!

Но нельзя отказываться от даров королевы, если даже королеве этой грозит разорение и если тебе самому приходится гнусно лгать ей в глаза.

Злополучный Бувилль, терзаемый страхом и угрызениями совести, предвидел, что близится час, когда у Клеменции начнутся жесточайшие

финансовые затруднения[28].

В тот же самый день, первого января, к Бувиллю явился с визитом мессир Толомеи. Банкир даже удивился неестественной худобе бывшего камергера, его седине. Одежда болталась на Юге де Бувилле, дряблые щеки печально свисали, взгляд беспокойно блуждал, особенно ослабели его умственные способности.

«Этого человека, — думал банкир, — подтачивает какой-то тайный недуг, и я не удивлюсь, если скоро узнаю, что он смертельно болен. Надо поскорее уладить дела Гуччо».

Толомеи знал придворные обычаи. По случаю нового года он преподнес мадам Бувилль штуку великолепной материи.

— Это чтобы ее отблагодарить, — пояснил он, —

---

[28] Примечания: 28

Внезапное мотовство королевы Клеменции после ее трагических родов, кажущееся признаком умственного расстройства, в дальнейшем еще больше усилилось. Папа Иоанн XXII, который всегда покровительствовал Клеменции, поскольку она была принцессой Анжуйского рода, оказался вынужден отчитать молодую вдову в своем майском письме, призывая ее жить скромно, целомудренно и смиренно, быть умеренной за столом, скромной в словах и в одежде и не появляться на людях в обществе одних только молодых людей. В то же время он обратился к Филиппу V для определения вдовьей доли Клеменции в оставленном ее мужем наследстве, что не обошлось без трудностей. Папа еще не раз писал Клеменции, увещевая ее сократить чрезмерные расходы, и настоятельно просил рассчитаться с долгами, особенно флорентийским Барди. В конечном счете ей пришлось в 1318 г. удалиться на несколько лет в обитель Святой Марии Назаретской близ Экс-ан-Прованса. Но перед тем ее обязали оставить в залог все свои

драгоценности, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

за все заботы о той девице, которая родила моему племяннику сына.

Бувилль хотел было отказаться и от этого подарка тоже.

— Нет, нет, — настаивал Толомеи. — Кстати, я хочу побеседовать с вами о нашем деле. Мой племянник скоро возвратится из Авиньона, где наш святой отец папа…

При этих словах Толомеи осенил себя крестным знамением.

— …где папа удерживал его, чтобы тот привел в порядок его казну. И он хочет забрать свою молодую супругу и свое дитя…

Кровь отхлынула от сердца Бувилля.

— Сейчас, мессир, минуточку, — залепетал он, — я вспомнил, что меня ждет гонец, и я должен немедленно дать ему ответ. Будьте любезны, подождите меня здесь.

И он исчез, зажав штуку материи под мышкой: побежал советоваться с супругой.

— Муж возвращается, — бухнул он.

— Чей муж? — спросила мадам Бувилль.

— Муж кормилицы!

— Но ведь она не замужем.

— Как бы не так! У меня сидит Толомеи. Смотри, что он тебе принес.

— А что он хочет?

— Забрать девицу из монастыря.

— Когда?

— Не знаю. Должно быть, скоро.

— Тогда постарайся узнать, ничего ему не обещай и приходи сюда.

Бувилль снова предстал перед гостем.

— Итак, о чем вы говорили, мессир Толомеи?

— Говорил, что приезжает мой племянник Гуччо и хочет забрать из монастыря, куда вы так любезно ее поместили, свою жену и сына. Теперь им нечего бояться. У Гуччо есть письмо от самого папы. И думаю, на время он обоснуется в Авиньоне… А жаль, мне бы очень хотелось, чтобы они пожили у меня. Ведь, как вам известно, я еще не видел своего новорожденного внука. Все был в отлучках, объезжал наши отделения и получил только одно письмо, и очень веселое, от молодой мамаши. Вернулся я позавчера и сразу же решил отнести ей кое-какие сладости, но не тут-то было: в монастыре мне даже дверей не открыли.

— Там, видите ли, очень суровый устав, — промямлил Бувилль. — Да мы и сами, следуя вашему желанию, дали строгий наказ.

— Надеюсь, ничего худого не произошло?

— Нет, мессир, нет, ничего, сколько мне извест-

но. Я сразу бы сообщил вам, — ответил Бувилль, чувствуя, что его поджаривают на медленном огне. — А когда ваш племянник возвращается?

— Я жду его через два-три дня.

Бувилль испуганно уставился на банкира.

— Еще раз прошу прощения, я вдруг вспомнил, что королева поручила мне принести ей одну вещь, а я совсем забыл. Я сейчас вернусь, сейчас вернусь.

И он снова скрылся за драпировкой.

«Должно быть, голова у него не в порядке, — подумал Толомеи. — Вот уж удовольствие беседовать с человеком, который каждую минуту куда-то исчезает! Хоть не забыл бы, что я здесь его жду!»

Банкир присел на сундук, пригладил меховую опушку на рукавах и от нечего делать стал высчитывать стоимость находившейся в приемной мебели, что ему и удалось сделать с точностью до десяти ливров, так как времени было больше чем достаточно.

— Вот и я, — вдруг проговорил Бувилль, выныривая из-под драпировок. — Значит, вы говорили мне о своем племяннике? Я ему, знаете ли, многим обязан. В жизни у меня не было такого приятного спутника, как во время поездки в Неаполь! Неа-

поль… — повторил он растроганно. — Если бы я только мог предвидеть… Несчастная королева, несчастная…

Бувилль бессильно рухнул на сундук рядом с Толомеи и стал утирать толстыми пальцами навернувшиеся на глаза слезы, слезы воспоминаний.

«Ну как вам это понравится! Теперь он начал реветь у меня над ухом!» — подумал банкир. А вслух произнес:

— Я не хотел касаться всех этих трагических происшествий, воображаю, как вы сражены всем случившимся. Я не раз о вас думал…

— Ох, Толомеи, если бы вы только знали!.. Все это настолько страшно, что вы и представить себе не можете; тут не обошлось без вмешательства сатаны…

За драпировкой послышался приглушенный кашель, и Бувилль сразу замолк на самой грани опасных признаний.

«А ведь нас подслушивают», — решил Толомеи и тут же переменил тему разговора:

— Слава богу, что в таком горе у нас есть утешение — хороший король.

— Конечно, конечно, король у нас хороший, — без особого воодушевления подтвердил Бувилль.

— Я, видите ли, опасался, — начал банкир, стараясь отвести своего собеседника подальше от подозрительной драпировки, — опасался, что новый король прижмет нас, я имею в виду нас, ломбардцев. Ничуть не бывало! Говорят, даже в некоторых сенешальствах он поручил сбор налогов людям наших компаний… А что касается моего племянника, который, должен вам сказать, немало потрудился, то я хочу, чтобы за все выпавшие на его долю испытания он по приезде в Париж встретился со своей красавицей и сынком у меня в доме. Я уже велел приготовить покои для этой прелестной четы. О теперешних молодых людях часто злословят. Не верят, что они способны на искреннюю, преданную любовь. А эти двое, позвольте вам заметить, крепко любят друг друга. Вы посмотрели бы их письма! А если свадьба состоялась и не по всем правилам — что ж! — повторим церемонию, и прошу вас быть на их бракосочетании свидетелем, если, конечно, для вас это не зазорно.

— Напротив, для меня это великая честь, мессир, — отозвался Бувилль, поглядывая на драпировку с таким видом, словно по ней ползет паук. — Но ведь есть также семья.

— Какая семья?

— Ну да, семья, семья кормилицы.

— Какой кормилицы? — переспросил окончательно запутавшийся Толомеи.

Снова за драпировкой раздалось приглушенное покашливание. Бувилль даже в лице переменился, залепетал что-то, стал заикаться.

— Видите ли, мессир… Да, да, я хотел сказать… Что же я, бишь, хотел сказать?.. Да, я сразу хотел вам сообщить, что… но из-за разных этих дел запамятовал… Ах да, вот что я хочу вам сказать… Ваша… жена вашего племянника, коль скоро, по вашим словам, они обвенчаны, так вот мы ее попросили… Ну, нам нужна была кормилица. Так вот, по доброй своей воле, заметьте, по доброй воле она уступила просьбам моей жены и кормила маленького короля… увы, недолго, всего неделю.

— Стало быть, она была здесь? Вы брали ее из монастыря?

— И отвезли обратно! Я не мог сообщить вам об этом раньше… времени не было. И к тому же все это продолжалось недолго.

— Но, мессир, чего же вы стыдитесь, вы правильно поступили. Ах, наша красотка Мари! Значит, она кормила короля? Миссия, надо сказать, удивительная и почетная, весьма почетная! Жаль только, что кормить пришлось ей так

недолго, — произнес Толомеи, сожалея о всех упущенных в связи с таким чрезвычайным обстоятельством выгодах. — Значит, вам нетрудно снова взять ее из монастыря?

— В том-то и дело, что нет. Для того чтобы она навсегда покинула святую обитель, требуется согласие семьи. Вы виделись с ее родными?

— Нет. Братья, которые поначалу устроили шум, по-моему, были рады спихнуть ее мне на руки и даже глаз теперь не кажут.

— А где они живут?

— У себя в поместье, в Креccе.

— Креccе, Креccе… А где находится это самое Креccе?

— Возле Нофля, где у меня есть отделение.

— Креccе… Нофль… Чудесно, чудесно.

— Разрешите заметить, мессир, но вы все-таки странный человек! — не сдержавшись, воскликнул Толомеи. — Я поручаю вашей заботе девицу, рассказываю вам о ней все, как на духу; вы берете ее в кормилицы к королевскому сыну, она живет здесь при вас восемь-десять дней…

— Пять, — уточнил Бувилль.

— Пусть будет пять, — продолжал Толомеи, — и вы даже представления не имеете ни откуда она родом, ни как ее зовут!

— Да нет, знаю, знал прекрасно, — отозвался Бувилль и даже побагровел. — Но временами, видите ли, все у меня из головы вылетает.

Ему неловко было в третий раз бежать за советом к супруге. И почему она, вместо того чтобы стоять за драпировкой, не придет ему на помощь? А потом еще будет пилить мужа за то, что он наболтал лишнего! Впрочем, если не выходит, значит так и нужно.

— Этот Толомеи — единственный человек, которого я опасаюсь, — внушала жена Бувиллю. — У ломбардца чутье потоньше, чем у целой своры гончих. Если он будет говорить с тобой, дурачком, наедине, он не станет ничего опасаться, да и мне потом легче будет повернуть дело в нашу пользу.

«С дурачком… И верно, я совсем дураком стал, — думал Бувилль. — Вот поди ж ты! А раньше с королями умел говорить, участвовал в обсуждении государственных дел. Меня посылали устраивать брак Людовика с мадам Клеменцией. Я занимался конклавом и удачно хитрил с Дюэзом…» — вот это последнее соображение и спасло Бувилля.

— Вы, кажется, сказали, что у вашего племянника есть письмо от святого папы? — проговорил

он. — Чудесно, значит, все в порядке. Пускай сам Гуччо за ней приедет, пусть покажет письмо. Тогда все мы останемся в стороне и никто не сумеет нас упрекнуть или затеять с нами тяжбу. Шутка ли, сам папа! Тут никто возразить не посмеет. Через два или три дня, так вы, кажется, сказали? Что ж, пожелаем, чтобы все прошло гладко. И большое вам спасибо за прекрасную ткань; уверен, славная моя супруга сумеет оценить по достоинству ваш подарок. А теперь до свидания, мессир, остаюсь вашим покорным слугой.

Эта тирада совсем подкосила Бувилля, будто он ходил в атаку один против многочисленных врагов.

По дороге из Венсенна Толомеи думал: «Или мне все налгали — а почему лгали, я не знаю, — или старик просто впадает в детство. Что ж, подождем Гуччо».

Но мадам Бувилль не стала ждать. Она тут же велела запрячь мулов в носилки и отправилась в предместье Сен-Марсель. Здесь она заперлась в келье с Мари; убив ее ребенка, она требовала теперь у несчастной отречься от своей любви.

— Вы поклялись хранить тайну на святом Евангелии, — твердила она. — А способны ли вы сохранить тайну от этого человека? Неужели у

вас хватит дерзости жить с мужем, — (теперь мадам Бувилль готова была на все, даже признать Гуччо законным мужем Мари), — и обманывать его, уверяя, что он отец чужого ребенка? Скрывать такие вещи от своего супруга — тяжкий грех! А когда наконец восторжествует правда и короля призовут на престол, что вы тогда скажете вашему мужу? Вы честная женщина, дочь благородных родителей, и вы не пойдете на подобную низость.

Все эти вопросы Мари сотни, тысячи раз сама ставила перед собой, каждый час, каждую минуту своего затворнического существования. Ни о чем другом она не думала, и мысли эти чуть не свели ее с ума. И она уже знала наперед свой ответ. Знала, что, очутившись в объятиях Гуччо, не сможет ничего утаить, и вовсе не потому, что это будет «тяжкий грех», как выразилась мадам Бувилль, но потому, что сама любовь не потерпела бы столь жестокой лжи.

— Гуччо меня поймет, Гуччо простит. Я объясню ему, что моей вины тут нет; он поможет мне нести это бремя. Гуччо никому ничего не скажет, мадам, я могу поклясться за него, как я клялась за себя.

— Можно клясться лишь за себя, дитя мое. А

тем более нельзя клясться за ломбардца; неужели вы верите, что он будет молчать? Да он первым делом постарается извлечь из этого выгоду.

— Мадам, не оскорбляйте его!

— Вовсе я его не оскорбляю, милочка, но я знаю людей. Вы дали клятву ничего не говорить даже на святой исповеди. На вашем попечении находится король Франции, и мы разрешим вашу клятву, когда придет время. Но не раньше.

— Молю, мадам, возьмите у меня короля и дайте мне свободу.

— Не я вам вручила младенца, на то была воля Божия. Это дар Господень, врученный вам на сохранение. Неужели вы предали бы слугам Иродовым Иисуса Христа, которого вам поручили бы сберечь во время избиения младенцев?.. Это дитя должно жить. Мой супруг обязан иметь вас и дитя под наблюдением, чтобы в любую минуту найти, а как прикажете ему поступить, если вы укатите в Авиньон?

— Я попрошу Гуччо поселиться там, где вы потребуете, уверяю вас, он не проговорится.

— Не проговорится лишь потому, что вы его никогда не увидите!

Их спор, прерывавшийся лишь на время кормления ребенка, длился до самого вечера. Обе

женщины бились, как два зверя, захлопнутые одной ловушкой. Но у мадам Бувилль зубы и когти оказались крепче, чем у Мари.

— Что же со мной будет? Неужели вы заточите меня в монастыре до конца моих дней? — стонала Мари.

«С огромным удовольствием заточила бы, — думала мадам Бувилль. — Но ведь твой муженек везет письмо от самого папы…»

— А если семья согласится принять вас обратно? — рискнула она наконец. — Думаю, что мессир Юг сумеет добиться согласия ваших братьев.

Вернуться в Крессе к враждебно настроенной родне, да еще с ребенком на руках, на которого все будут коситься как на плод греховной любви, тогда как нет во всей Франции другого дитяти, столь заслуживающего почета и уважения! Отречься от всего, молчать, стариться с единой мыслью о чудовищно злом роке, о безнадежной гибели любви, которая, казалось, никогда не иссякнет! Все ее мечты безжалостно разбиты.

Мари возмутилась и обрела ту силу, что помогла ей презреть законы человеческие, родную семью, ту силу, что толкнула ее в объятия любимого. Она наотрез отказалась повиноваться

мадам Бувилль.

— Я увижусь с Гуччо, я буду ему принадлежать, я буду с ним вместе! — кричала она.

Тут заговорила мадам Бувилль, сопровождая свои слова размеренными ударами сухонького кулачка по ручке кресла.

— Никогда вы не увидите вашего Гуччо, потому что, как только он посмеет приблизиться к монастырю или к другому какому-нибудь месту, куда мы сочтем благоразумным вас поместить, и как только вы заговорите с ним, это будет последняя минута его жизни. Мой супруг, да было бы вам известно, становится грозным, когда речь заходит о спасении короля, и начинает энергично действовать. Если уж вы так настаиваете на встрече с вашим Гуччо, пожалуйста, любуйтесь на него, но запомните, что он будет лежать с кинжалом между лопаток.

Мари бессильно поникла в кресле.

— Довольно и того, что погиб ребенок, — прошептала она, — так неужели еще должен погибнуть отец?

— Это зависит только от вас, — сказала мадам Бувилль.

— Не думала я, что в королевском дворе за полушку убивают людей. Хорош ваш двор, а ведь все

государство его уважает. А вам я вот что скажу: я вас ненавижу.

— Вы несправедливы ко мне, Мари. Не скрою, бремя мое тяжко, но я защищаю вас от вас же самой. Садитесь и напишите то, что я вам продиктую.

Мари растерялась, сдалась; чувствуя мучительную боль в висках, почти ослепнув от слез, она с трудом нацарапала несколько фраз. Даже предположить она не могла, что ей придется когда-нибудь писать Гуччо такое письмо. Ее послание мадам Бувилль решила доставить Толомеи, чтобы тот сам вручил его племяннику.

В своем письме Мари сообщала, что стыдится и ужасается совершенному ею греху, что хочет посвятить всю свою жизнь ребенку, зачатому во грехе, что никогда больше не поддастся голосу плоти и презирает того, кто совратил ее с пути истинного. И что запрещает Гуччо пытаться увидеть ее, где бы она ни находилась.

Ей хотелось сделать хотя бы в конце приписку: «Клянусь, никогда я не буду принадлежать никому, кроме вас, не доверюсь никому другому». Но мадам Бувилль запротестовала.

— Нельзя, а то он решит, что вы его еще любите. Ну, живо подпишите письмо и отдайте его мне.

Мари даже не заметила, когда и как мадам Бувилль ушла.

«Он возненавидит меня. Он станет меня презирать. И никогда он не узнает, что я сделала это для его спасения!» — подумала она, услышав стук захлопнувшейся монастырской калитки.

Глава VIII
Отъезды

На другой же день в замок Кressе прискакал гонец с лилиями, вышитыми на левом рукаве, и королевским гербом на вороте. Появление его произвело всеобщий переполох. Местные жители почтительно именовали его «ваша светлость», а братья Кressе, прочитав краткое послание, срочно вызывавшее их в Венсенн, решили, что их приглашают командовать королевскими егерями или уже назначили сенешалями.

— Ничего удивительного тут нет, — говорила мадам Элиабель. — Наконец-то вспомнили наши заслуги и нашу службу королям Франции в течение трех столетий. Новый король, по-видимому, знает, где искать достойных людей! Отправляйтесь в путь, дети мои; оденьтесь в парадное платье и скачите во весь дух! Есть все-таки спра-

ведливость на небесах, и пусть хоть это утешит нас за тот позор, которым покрыла нашу семью ваша сестрица.

Мадам Элиабель еще не оправилась после болезни, поразившей ее летом. Она отяжелела, утратила былую бойкость и проявляла свою власть лишь над судомойкой. Управление их небольшим поместьем она передала сыновьям, что мало способствовало его процветанию.

Братья Крессе двинулись в путь, полные самых тщеславных надежд. Лошадь Пьера уже под Венсенном начала так храпеть, что, казалось, совершает свой последний путь.

— Я хочу поговорить с вами, юные мессиры, о весьма важных вещах, — такими словами встретил их Бувилль.

Вслед за тем им поднесли вино с пряностями и леденцы.

Как истая деревенщина, братья Крессе пристроились на самом кончике сиденья и робко отхлебывали вино из серебряных кубков.

— А вон и королева, — произнес вдруг Бувилль. — Сейчас ей немножко полегче, и она вышла подышать свежим воздухом.

Братья Крессе, затаив дыхание, вытянули шею и поглядели сквозь зеленоватое оконное стекло,

но увидели лишь белую фигуру в широком плаще, — это Клеменция медленно прогуливалась по аллеям в сопровождении слуг. Потом братья многозначительно переглянулись и покачали головой. Шутка ли, они видели королеву!

— А поговорить я с вами хочу о вашей юной сестре, — продолжал Бувилль. — Расположены ли вы принять ее обратно? Но прежде хочу вам сообщить, что она кормила ребенка королевы.

И Бувилль по возможности кратко рассказал им об известных событиях то, что считал нужным рассказать.

— Ах да, у меня для вас есть и еще одна добрая весть, — добавил он. — Тот итальянец, который ее обрюхатил… так вот, она не желает его больше видеть. Она поняла свою вину и, как девица благородного происхождения, не хочет снизойти до супружества с ломбардцем, как бы он ни был хорош собой. Ибо, не скрою, он весьма милый юноша и смышленый к тому же…

— Но в конце концов, он ломбардец, а этим все сказано, — прервала Бувилля супруга, которая на сей раз присутствовала при разговоре, — другими словами, человек без чести и совести, что он и доказал своим поведением.

Бувилль потупился.

«Ну вот, теперь я и тебя предал, друг мой Гуччо, милый мой спутник! Уж не суждено ли мне окончить свои дни, отрекаясь от всех, кто дарил меня дружбой?» — думал он. И умолк, предоставив жене вести переговоры.

Братья, а особенно старший, Жан, были разочарованы. Они ждали невесть чего, а оказывается, речь идет лишь об их сестре. Неужели каждое сколько-нибудь значительное событие в их жизни связано с ней? Они почти завидовали Мари. Кормилица короля! И подумать только, что сам первый камергер интересуется ее судьбой! Кто бы мог себе представить, что так будет!

Стрекот мадам Бувилль не давал им опомниться.

— Долг христианина, — тараторила почтенная дама, — помочь грешнику в его раскаянии. Ведите себя, как и подобает благородным дворянам. Кто знает, возможно, на то была воля Господня, чтоб ваша сестра разрешилась от бремени в положенную минуту, хоть и не было от этого особого проку, поскольку младенец-король скончался, но, так или иначе, она нам очень пригодилась.

Желая доказать свою признательность, королева Клеменция велела выдавать ребенку кормилицы из вдовьей казны ежегодно по пять-

десят ливров. Сверх того, ему единовременно вручают в дар триста ливров золотом. Эти деньги — вот они здесь, в вышитом кошельке.

Братьям Кressе не удалось скрыть охватившего их волнения. Целое состояние свалилось на них с небес, теперь можно будет починить каменную ограду ветхого замка, знать, что ты будешь сыт в течение всего года, купить доспехи и экипировать хоть десяток сервов, чтобы не ударить в грязь лицом, когда их позовут в поход! О, Кressе еще прославятся, еще сумеют показать себя в бою!

— Поймите меня хорошенько, — уточнила мадам Бувилль, — эти деньги дарованы младенцу. Если с ним будут плохо обращаться или если с ним произойдет несчастье, ежегодное пособие, само собой разумеется, выплачиваться не будет. То обстоятельство, что он молочный брат короля, ставит его выше прочих детей, и вам следует помнить, что он не простой дворянин.

— Конечно, конечно, я согласен… Раз Мари покаялась и раз мессир и вы, мадам, люди столь высокого положения, просите нас ее простить, мы встретим ее с распростертыми объятиями… — произнес Жак-бородач, проявив в порыве признательности отнюдь не свойственную ему

велеречивость. — Покровительство королевы снимает с нее бремя греха. И пускай попробует дворянин или смерд хихикать мне вслед — пополам разрублю!

— А что скажет матушка? — спросил младший Крессе.

— Не беспокойся, я сумею ее убедить. Не забывайте, что после смерти отца я глава семьи, — ответил Жан.

— А сейчас вы, само собой разумеется, — подхватила мадам Бувилль, — поклянетесь на святом Евангелии не слушать, не разглашать того, что, возможно, расскажет вам ваша сестра о происходивших здесь событиях во время ее пребывания в Венсенне, так как все это касается державы, а следовательно, должно оставаться в тайне. Впрочем, ничего она не могла видеть, просто кормила ребенка! Но у вашей сестры сумасбродная голова, и она сочиняет разные сказки. Впрочем, вы сами имели случай в том убедиться… Юг! Принеси Евангелие.

Справа — Священное Писание, слева — кошель с золотыми монетами, напротив — королева, прогуливающаяся по саду… Братья Крессе поклялись хранить тайну насчет всех обстоятельств смерти Иоанна I, холить, кормить и защищать

дитя, рожденное сестрой, а равно не пускать на порог ее соблазнителя.

— С превеликим удовольствием! Не беспокойтесь, не пустим! — крикнул старший Кресс.

Младший, Пьер, произносил слова клятвы менее уверенным тоном, подобная неблагодарность ему претила. «Не будь Гуччо…» — невольно подумалось ему.

— Впрочем, мы будем следить, как вы соблюдаете клятву, — поспешила добавить мадам Бувилль.

Она предложила братьям немедленно отправиться в монастырь и вызвалась их сопровождать.

— Не стоит так беспокоиться, мадам, — сказал Жан де Кресс, — мы и сами доберемся.

— Нет, нет, я обязательно должна с вами ехать. Без моего приказа настоятельница не выпустит Мари.

Лицо бородача омрачилось. Он задумался.

— В чем дело? — нетерпеливо спросила мадам Бувилль. — Мой план вас не устраивает?

— Да нет… только я сначала хотел купить мула, а то нашей сестре не на чем ехать.

Когда Мари была беременна, Жан без зазрения совести вез ее из Нофля в Париж на крупе своей

кобылы, но теперь, когда они разбогатели по ее милости, он решил обставить возвращение сестры под отчий кров как можно торжественнее. Но мул, находившийся в распоряжении мадам Элиабель, подох еще в прошлом месяце.

— Ну, это пустяки, — сказала мадам Бувилль. — Мы вам его дадим. Юг, скажи, чтобы оседлали мула.

Бувилль проводил до подъемного моста свою супругу и братьев Крессе.

«Господи, хоть бы умереть поскорее, чтобы разом покончить с ложью и страхом», — думал несчастный старик, дрожа всем телом, утратившим былую дородность, и с тоской глядя на обнаженный осенью лес.

«Париж! Наконец-то Париж!» — твердил про себя Гуччо Бальони, въезжая через заставу Сен-Жак.

Угрюмо встретил его скованный морозом Париж; обычно после празднования Нового года жизнь в столице замирала, а в этом году и подавно — в связи с отъездом королевского двора.

Но юный путешественник, прожив в разлуке с Парижем целых полгода, не видел клочьев тумана, лениво цеплявшегося за гребни крыш, не замечал, что на прежде оживленных улицах

лишь изредка встречались окоченевшие прохожие; в его глазах город был залит солнцем, был самой надеждой, ибо эти три слова: «наконец-то Париж», которые Гуччо повторял про себя, звучали как сулящий счастье припев: «Наконец-то я увижу Мари!»

Пускаясь в дальнюю дорогу, Гуччо надел подбитую мехом шубу и поверх ее плащ с капюшоном из верблюжьей шерсти. При каждом шаге лошади он чувствовал у левого бедра приятную тяжесть расшитого золотом кошеля, прицепленного к поясу[29] и наполненного доверху монетами с изображением папы; на голове его красовалась модная шляпа из красного фетра с приподнятыми сзади полями, выступающая надо лбом в виде лодочки. Трудно было дамам устоять против такого щеголя. И трудно было представить себе, что человек может испытывать более сильную жажду жизни, так гореть нетерпением.

Во дворе дома по Ломбардской улице он легко соскочил с седла и, чуть выбрасывая вперед правую ногу, плохо гнувшуюся после марсельского происшествия, взбежал на крыльцо и бросился в

---

[29] Примечания: 29

Круглые поясные кошели с узкой горловиной назывались «кошель с мужичьим задом». Порой они изрядно украшались, и сеньоры часто держали там вместе с деньгами и свою печать.

объятия банкира Толомеи.

— Дядюшка, дорогой дядюшка! Вы видели моего сына? Ну как он? А Мари, трудные у нее были роды или нет? Что она вам сказала? Когда она меня ждет?

Толомеи молча протянул племяннику письмо Мари. Гуччо прочитал его два раза, перечитал в третий раз… Дойдя до слов: «Знайте же, что мне отвратителен мой грех и я не желаю больше видеть того, кто покрыл меня позором. И я намерена искупить бесчестье», он воскликнул:

— Это неправда, это просто немыслимо! Не она это писала!

— Разве это не ее почерк? — спросил Толомеи.

— Ее!

Банкир положил руку на плечо племянника.

— Я хотел предупредить тебя заранее, но не смог, — произнес он. — Письмо это я получил только позавчера, на следующий день после визита к Бувиллю…

Гуччо, судорожно сжав зубы, ничего не слушал, глаза его, устремленные в одну точку, горели. Потом он спросил у дяди, где находится монастырь.

— В предместье Сен-Марсель? Немедленно туда! — воскликнул он.

Гуччо велел подать коня, которого еще не успе-

ли расседлать, пересек город, ничего не видя, и смело позвонил у ворот монастыря Святой Клариссы. Там ему ответили, что какие-то два дворянина — один из них с бородой — увезли вчера девицу де Крессе. И напрасно потрясал Гуччо посланием с папской печатью, напрасно бушевал и скандалил — больше он от сестры привратницы ничего не добился.

— Где настоятельница? Мне необходимо видеть мать настоятельницу!

— По уставу мужчинам запрещается проникать за ограду монастыря.

В конце концов Гуччо пригрозили, что пошлют за городской стражей.

Задыхаясь от ярости, с землистым и вдруг до неузнаваемости изменившимся лицом, Гуччо вернулся на Ломбардскую улицу.

— Это ее братья, эти гуляки, увезли Мари! — сообщил он Толомеи. — Ах, слишком долго я был в отсутствии! Но хороша и ее верность! Клялась ждать меня, а не выдержала и полугода! А ведь благородные дамы, по крайней мере так пишут в романах, по десять лет ждут, когда их рыцарь вернется из Крестового похода. Конечно, стоит ли ждать какого-то ломбардца! Поверьте, дядюшка, дело лишь в этом! Перечтите-ка ее письмо, вду-

майтесь в каждое слово. Одни лишь оскорбления и презрение ко мне. Ее могли силой принудить не видеться со мной, но чтобы так плюнуть мне в лицо… Ну и пусть! Мы, дядя, богаты, у нас двенадцать тысяч флоринов; самые знатные бароны к нам льнут, лишь бы мы заплатили их долги, сам папа держал меня при себе как советника во время конклава, а эта голь перекатная плюет мне в лицо с высоты своего глиняного замка, который можно свалить одним щелчком! Стоило только этим двум паршивцам появиться, и их сестрица тут же от меня отреклась. Нет, глубоко ошибается тот, кто верит, будто дочка может не походить на своих родителей.

У таких людей, как Гуччо, печаль легко переходит в гнев, и именно уязвленная гордость уберегла его от отчаяния. Он перестал любить, но не перестал мучиться.

— Ничего не понимаю, — уныло сказал Толомеи. — Она ведь так тебя любила, так радовалась, что вы будете вместе. Вот уж никогда бы не подумал… Теперь я понимаю, почему Бувилль тогда мямлил. Он, конечно, уже знал что-то. И однако, она мне такие письма писала! Но выходит, что после моего визита он предупредил братьев Мари… Ничего не понимаю. Хочешь, я повидаю

Бувилля?

— Ничего я не хочу, ничего! — кричал Гуччо. — Я и так надоел высокопоставленным особам, носясь с этой обманщицей, с этой шлюхой… Даже папе, у которого я выклянчил для нее защиту и покровительство… Любила, говоришь? Она тебя улещивала, когда думала, что родные от нее отреклись, и мы с тобой были единственным ее прибежищем. А ведь мы с нею венчаны! Конечно, ей не терпелось стать моей, однако только с благословения священника. Ты говоришь, что она прожила у королевы Клеменции пять дней, кормила ее ребенка! Очевидно, эта должность вскружила ей голову. Как будто нельзя было ее заменить любой служанкой! Я тоже состоял при королеве, я ей еще больше помог! Спас ее во время шторма…

В приступе ярости Гуччо говорил бессвязно и, выбрасывая вперед негнущуюся ногу, прошагал по дядиному кабинету чуть ли не четверть лье.

— Может быть, ты повидаешься с королевой?..

— Ни с королевой и вообще ни с кем! Пускай Мари возвращается в свой замок, то бишь в свинарник, где в навозе утонуть можно. Ей, конечно, уже подыскали мужа, славного муженька под стать ее боровам-братцам. Какого-нибудь волоса-

того рыцаря, от которого разит конюшней, и он, рогач проклятый, будет воспитывать моего сына! И если она у меня в ногах будет валяться, я на нее и не взгляну, слышишь, даже не взгляну!

— Думаю, если бы она сейчас вошла, ты запел бы по-другому, — кротко заметил Толомеи.

Гуччо побледнел и закрыл глаза ладонями… «Мари, моя красавица…» Он увидел ее такой, как тогда, в его комнате в Нофле, увидел ее близко, совсем рядом, успел заметить даже золотистые искорки в ее темно-голубых глазах. Как поверить, что в таких глазах могла таиться измена?

— Я уеду, дядя!

— Вернешься в Авиньон?

— Нет, там меня на смех подымут! Ведь пойми, я всем и каждому объявил, что вернусь с супругой, говорил о ней как о святой, расписывал ее добродетели. Да папа первый спросит меня, что произошло…

— Боккаччо говорил мне как-то, что Перуцци хотят передать сбор налогов в сенешальстве Каркассон…

— Нет, только не Каркассон, только не Авиньон…

— И Париж тоже нет, — печально закончил Толомеи.

На закате жизни у любого человека, даже у самого отъявленного эгоиста, наступает минута, когда он устает трудиться только ради себя. Банкир, с радостью ожидавший появления в своем доме хорошенькой племянницы, уже мечтавший о счастье жить в кругу семьи, понял, что мечты его грубо разбиты, а впереди маячит долгая одинокая старость.

— Нет, я хочу уехать, — продолжал Гуччо. — Хватит с меня этой Франции, которая жиреет благодаря нам и нас же еще презирает, потому что мы итальянцы. Ну что я получил от Франции, скажи сам!.. Сломал ногу, четыре месяца провалялся в марсельской больнице, шесть недель просидел на запоре в церкви, а в довершение всего… еще и это! Давно пора бы понять, что Франция мне хуже чумы. Вспомни-ка сам! На следующий день после приезда в Париж я едва не сбил с ног на улице короля Филиппа Красивого. А это, согласись, плохое предзнаменование! Не говоря уже о двух морских путешествиях, когда я чуть было не погиб; а сколько времени я потратил зря, считая медные гроши в этой грязной дыре, в Нофле, только потому, что воображал, что влюблен.

— Все же у тебя останутся от Франции и хорошие воспоминания, — заметил Толомеи.

— Ба! В мои годы воспоминания не нужны. Я хочу возвратиться в родную Сиену, где хватит красивых девушек; таких красавиц во всем свете нет, по крайней мере все уверяют меня в этом, когда я говорю, что родом из Сиены. И уж во всяком случае, не такие шлюхи, как здешние! Батюшка послал меня к тебе учиться: думаю, что теперь я уже достаточно учен.

Томмеи приоткрыл левый глаз, и племянник увидел, что он затуманен печалью.

— Возможно, ты и прав, — сказал он. — Вдали от Парижа твоя боль пройдет скорее. Но не жалей ни о чем, Гуччо. Ты действительно многому научился. Ты жил, путешествовал, ты видел горе и нищету простых людей, узнал слабости великих мира сего. Был при четырех дворах, которые управляют Европой, я имею в виду Париж, Лондон, Неаполь и Авиньон. Не многим посчастливилось принять участие в конклаве, пусть даже тебе пришлось посидеть для этого взаперти. Ты понаторел в делах. Получишь от меня свою часть: сумма, надо сказать, кругленькая. Конечно, из-за любви ты натворил глупостей и, как всякий, кто много путешествовал, оставил по дороге незаконнорожденного отпрыска… А тебе ведь всего двадцать… Когда ты собираешься уехать?

— Завтра, дядя Спинелло, завтра, если вы не возражаете. Но я вернусь! — добавил Гуччо грозно.

— Надеюсь, сынок, что так и будет! Надеюсь, ты еще повидаешь старика-дядю, не дашь ему умереть в одиночестве.

— Рано или поздно я вернусь, чтобы похитить своего сына. В конце концов, он такой же мой, как и этих Кресссе! С какой стати я оставлю его у них? Для того чтобы они растили его в своей конюшне, как паршивого безродного щенка? Я его украду, слышишь, и этим накажу Мари! Ты сам знаешь, что о нас говорят: месть тосканца…

Топот ног, донесшийся с нижнего этажа, помешал Гуччо докончить фразу. Весь деревянный дом сотрясался от фундамента до крыши, словно во двор въехал десяток повозок. Захлопали двери.

Дядя с племянником бросились к винтовой лестнице, так как грохот и топот шли теперь оттуда. Чей-то голос прогремел снизу:

— Банкир! Где ты, банкир? Мне нужны деньги.

И его светлость Робер Артуа появился на верхних ступеньках лестницы.

— Смотри на меня, смотри на меня хорошенько, дружище-банкир, я только что вышел из тюрьмы! — гремел новоприбывший. — Не веришь?

Мой любимый, мой обожаемый, мой косоглазый кузен… то бишь, я хочу сказать, король… кажется, он уже королем успел стать… наконец-то удосужился вспомнить, что я гнию в темнице, куда сам же меня бросил, и вернул мне — что за славный мальчик! — свободу.

— Милости просим, ваша светлость, — проговорил Толомеи без особого воодушевления.

И он поклонился, все еще не веря, что за Робером не следует целая толпа; трудно было представить, что такой чудовищный грохот может произвести один человек.

Пригнув голову, чтобы не стукнуться о дверную притолоку, граф Артуа вошел в кабинет банкира и первым делом направился к зеркалу.

— Ого! Ну и вид — настоящий мертвец, — проговорил он, хватая себя обеими руками за щеки. — Чуть было совсем не зачах. Семь недель, представь себе, семь недель видеть дневной свет лишь через окошко, забранное железными прутьями толщиной в ослиный хвост. Дважды в день какое-то месиво, от одного вида которого колики начинаются. Хорошо еще мой славный Лорме передавал мне кушанья своего приготовления, а то бы я давно ноги протянул. А постель… и не говорите! Из уважения к моей королевской крови

решили меня осчастливить — принесли кровать. Пришлось выломать деревянную спинку, чтобы можно было ноги вытянуть! Терпение, терпение, все это зачтется моему дражайшему кузену.

В действительности Робер не похудел ни на золотник, пребывание в тюрьме отнюдь не подточило его мощный организм. Правда, былой румянец несколько поблек, зато в серых глазах с жестким, кремневым отливом сверкала лютая злоба.

— Ну и свободу мне даровали! «Вы свободны, ваша светлость… — продолжал великан, передразнивая начальника тюрьмы Шатле. — Но… вы не имеете права удаляться от Парижа больше чем на двадцать лье; но королевские сержанты должны быть извещены, если вы направитесь в ваше графство». Другими словами: «Сиди, Робер, здесь, в Париже, шляйся по улицам под присмотром стражи или прозябай в Конше. Но ни шагу в Артуа и ни шагу в Реймс! Твое присутствие на коронации нежелательно, совсем нежелательно! А то, чего доброго, пропоешь там какой-нибудь псалом, который не всем придется по вкусу!» И ведь день-то какой выбрали для моего освобождения. Ни часом раньше, ни часом позже. Весь двор в отъезде, ни души во дворце, ни души у Валуа…

Карл тоже бросил меня на произвол судьбы! И вот торчу один, город словно вымер, в кармане ни гроша, не на что даже поужинать и нанять девицу для утоления любовного пыла! Ибо семь недель, видишь ли, банкир… да нет, тебе этого не понять, такие вещи тебя уже не волнуют. Прошу заметить, покуда меня не выманили из Артуа, я там неплохо погулял и поэтому сидел более или менее спокойно; надо думать, что я успел там изготовить себе немало будущих вассалов, которые так никогда и не узнают, что, говоря о Филиппе-Августе, имеют полное право величать его прадедушкой. Но вот в какой странности я убедился, и пускай эти крысы — магистры и философы — подумают над этим вопросом: почему мужчина устроен так, что чем больше он себя расходует, тем больше ему этого самого требуется?

Он громко захохотал, опустился на дубовое кресло, угрожающе крякнувшее под его тяжестью, и тут только заметил Гуччо.

— А как ваши любовные дела, миленький? — спросил он, очевидно не вкладывая в свой вопрос особого смысла, просто как другие говорят «здравствуйте».

— Любовные дела! Не стоит об этом говорить, ваша светлость! — хмуро отозвался Гуччо, недо-

вольный тем, что ему пришлось прервать свои излияния под напором еще более буйных страстей.

Толомеи незаметно подмигнул графу Артуа, показывая, что этой темы касаться не следует.

— Так вот оно что! — бухнул Робер со своей обычной деликатностью. — Красотка вас бросила? Живо, дайте мне ее адрес, помчусь немедленно к ней! И не стройте такой похоронной мины — все женщины шлюхи.

— Вы правы, ваша светлость, все до одной!

— Ну так в чем же тогда дело?.. Будем веселиться с настоящими шлюхами, они хоть не скрывают этого. Банкир, мне деньги нужны. Сто ливров. И я поведу твоего племянника ужинать, чтобы прогнать его черные мысли. Сто ливров!.. Знаю, знаю, сейчас вы скажете, что я вам и так должен и что никогда я с вами не расплачусь, — вот и ошиблись. В самом ближайшем времени Робер Артуа предстанет перед вами более могущественным, чем когда-либо. Пускай милейший кузен Филипп натягивает корону хоть на самый нос, все равно при моей помощи она слетит с его башки. Ибо я хочу сообщить тебе нечто, что подороже твоих ста ливров, а главное, поможет тебе впредь давать деньги с разбором… К чему

приговаривают по закону цареубийц? К повешению, четвертованию, отсечению головы? Так вот, скоро вы увидите премиленькое зрелище: мою жирную распутницу тетку Маго, раздетую донага, разорвут на части четыре лошади, и подлые ее потроха вывалятся на пыльную землю. И ее барсука-зятька заодно! Жаль, что нельзя казнить их дважды. Ведь они, мошенники, двоих угробили. Когда я сидел в Шатле, я, конечно, молчал, потому что меня преспокойно могли прирезать ночью, не хуже борова. Но заключение не помешало мне быть в курсе дела. Лорме… верный мой Лорме — все он. Какой же славный малый! Ну так слушайте…

Неутомимый болтун наверстывал теперь семинедельное вынужденное молчание и делал паузы лишь затем, чтобы перевести дух.

— Так слушайте меня хорошенько, — продолжал он. — Пункт первый: Людовик отбирает у Маго графство Артуа и отдает его мне; Маго тут же велит его отравить. Пункт второй: Маго в поисках высокого покровителя проталкивает в регенты Филиппа, отстранив Валуа, который, бесспорно, держал бы мою руку. Пункт третий: Филипп проводит свой закон о наследовании, по которому женщины не имеют права восходить

на престол Франции, но не лишает их права наследовать земли, нет, вы только вдумайтесь, что это значит! Пункт четвертый: став регентом, Филипп собирает войска, дабы отнять у меня графство Артуа, которое я успел отобрать почти целиком. Но дураков нет, я еду один и сдаюсь в плен. А тут родит королева Клеменция; этой компании нужно иметь свободные руки, вот меня и берут под стражу. Пункт пятый: королева разрешается от бремени сыном. Получилась промашка! Ворота Венсенна держат на запоре, младенца скрывают от баронов, повсюду распространяют слухи, что он-де не жилец на этом свете, склоняют на свою сторону какую-нибудь повитуху или кормилицу: то ли запугивают ее, то ли покупают и приканчивают второго короля. После чего едут короноваться в Реймс… Вот, друзья мои, как добиваются короны. И все ради того, чтобы не возвращать мне моего графства Артуа!

При слове «кормилица» Толомеи и Гуччо тревожно переглянулись.

— Все так думают, — продолжал Робер, — но вслух заявить боятся за неимением прямых доказательств. А вот у меня доказательства есть! Есть у меня живая свидетельница — одна дама, торгующая ядами. Хотелось бы мне послушать,

как взвоет в испанском сапоге некая Беатриса д'Ирсон, которая во всем этом деле самая главная сводница и есть, главная пособница сатаны. Пора положить этому конец, а то нас всех передушат.

— Пятьдесят ливров, ваша светлость; могу вам вручить пятьдесят ливров.

— Ох и скупец!

— Последние отдаю.

— Ну, быть по сему. Значит, пятьдесят за тобой. Маго за меня расплатится, да еще с процентами.

— Гуччо, — обратился к племяннику Толомеи, — помоги мне отсчитать пятьдесят ливров для его светлости.

И он вышел, сопровождаемый племянником, в соседнюю комнату.

— Дядюшка, — зашептал Гуччо, — вы верите тому, что он наболтал?

— Не знаю, сынок, не знаю, думаю только, что ты правильно поступил, решив уехать. Неразумно мешаться в дела, которые дурно пахнут. Странное поведение Бувилля, внезапное бегство Мари… Разумеется, нельзя принимать всерьез все бредни этого одержимого, но я уже не в первый раз замечаю, что, когда речь идет о каком-нибудь злодеянии, он всегда оказывается почти прав; он и сам на этот счет первый мастер, у него нюх на

преступления. Вспомни-ка дело о прелюбодеянии принцесс; ведь это он его открыл и нам об этом сказал. А твоя Мари… — банкир неопределенным жестом развел свои жирные руки, — возможно, она не так уж наивна и не так искренна, как нам казалось. Во всяком случае, какая-то тайна тут есть.

— После ее лживого письма во все можно поверить, — произнес Гуччо, который по-прежнему не мог собраться с мыслями.

— Не верь ничему, не старайся узнать истину, уезжай. Вот тебе мой совет.

Когда его светлость стал обладателем пятидесяти ливров, он пристал к Гуччо, чтобы тот принял участие в пиршестве, которым он решил отпраздновать свое освобождение. Ему требуется собутыльник, ни за что он не проведет вечер в одиночестве, лучше уж напиться вместе со своим конем.

Он так усиленно звал Гуччо, что Толомеи в конце концов шепнул племяннику:

— Иди, а то он на нас обидится. Но смотри, держи язык за зубами.

Итак, этот злосчастный день Гуччо закончил в таверне, хозяин коей выплачивал определенную мзду городским стражникам, и те смотрели

сквозь пальцы на то, что здесь торговали также и живым товаром. Впрочем, любое слово, которое произносилось в таверне, завтра же становилось известно стражникам.

Граф Артуа был в ударе, пил без перерыва, ел с редкостным аппетитом, орал, сквернословил, трогательно ухаживал за своим юным сотрапезником, задирал на заду юбки непотребных девиц, чтобы Гуччо мог полюбоваться, как выражался Робер, «настоящим лицом тетушки Маго».

Гуччо не отставал от него и скоро окончательно опьянел. Растрепанный, с неестественно блестящими глазами, он кричал, размахивая непослушными руками:

— Мне тоже кое-что известно! Если бы только я заговорил…

— Ну, говори, говори же!

Но как ни пьян был Гуччо, где-то в глубине сознания еще не окончательно угас огонек благоразумия.

— Папа… — бормотал он. — Я кое-что про папу знаю.

Вдруг он заплакал в три ручья, припав к плечу гулящей девки, потом ни с того ни с сего закатил ей оплеуху, словно в ней воплотилось для него в эту минуту все женское вероломство.

— Но я еще вернусь… я его еще украду!

— Кого украдешь? папу?

— Нет, своего ребенка.

Пирующие уже не понимали, что говорят, в глазах у них все кружилось, и девицы, предоставленные гостям услужливым хозяином, успели раздеться донага, как вдруг к Роберу приблизился Лорме и шепнул ему:

— Там у дверей стоит какой-то человек — видать, шпионит за нами.

— Убей его! — небрежно бросил великан.

— Слушаюсь, ваша светлость.

Так мадам Бувилль лишилась одного из своих слуг, которого она отрядила следить за молодым итальянцем.

А Гуччо никогда не узнает, что Мари, решившись пожертвовать своим счастьем, возможно, спасла его от гибели, а то плыть бы ему брюхом вверх по Сене.

Растянувшись на грязном ложе возле той самой девицы, которой он дал оплеуху и которая, кстати сказать, оказалась весьма догадливой насчет того, как надо утешать огорченных мужчин, Гуччо клял Мари и, обнимая продажное тело, верил, что мстит за вероломство любимой.

— Верно ты говоришь. Я тоже баб терпеть не

могу, все они знаешь какие враньи! — поддакивала девица, черты лица которой так и не удалось запомнить Гуччо.

На следующий день Гуччо, вялый, храня в душе и во всем теле отвратительный след вчерашнего пиршества, нахлобучил шляпу на лоб и отправился в Италию. С собой он увозил целое состояние — заемное письмо за подписью дяди, где указывалась часть прибылей от тех дел, которые Гуччо вел в течение двух лет.

В тот же день король Филипп V, его супруга Жанна, графиня Маго и весь королевский двор прибыли в Реймс.

Ворота замка Крессе наглухо закрылись за неутешной красавицей Мари, жизнь для которой стала бесконечной безрадостной стужей.

Настоящий король Франции будет расти в Крессе, как растут все незаконнорожденные дети. На этом грязном дворе, среди домашних уток, он сделает свои первые шаги, будет валяться на лугу, где желтеют ирисы, цветущие вдоль берегов Модры, на том самом лугу, где Мари всякий раз чудилось лицо ее соблазнителя-сиенца и скоротечные минуты навеки умершей любви. Она сдержит свою клятву и только через тридцать лет, на смертном одре, откроет тайну одному испанскому монаху,

случайно забредшему в их края.

Странная участь выпала на долю Мари де Крессе. Любила — и обречена была на одиночество, покинула единственный раз отчий кров — и попала, ни в чем не повинная, робкая, в самую гущу династической драмы. А исповеди ее суждено было в один прекрасный день взбудоражить всю Европу.

Глава IX
Накануне коронования

Городские ворота Реймса, украшенные королевскими гербами, выкрасили заново. Вдоль улиц растянули яркие драпировки, ковры и шелка — впрочем, те самые, что и полтора года назад в честь коронования Людовика X. Возле дворца архиепископа спешно возвели три деревянных зала: один для королевского стола, другой для стола королевы и третий для вельмож, чтобы было где попировать всему двору.

Реймские горожане, вынужденные раскошеливаться по случаю коронации, считали, что получается чересчур уж накладно.

— Если короли так часто начнут помирать, — говорили они, — и если каждый год нам выпадет

честь короновать нового, нам самим скоро придется обедать раз в год, да и то продав с себя последнюю рубашку! Да, дорого обошелся нам Хлодвиг, решив принять христианство в Реймсе! Если какому-нибудь другому городу так уж захочется приобрести у нас склянку с миром, мы дорожиться не станем.

Но отцов города одолевали не только денежные заботы, надо было достать в разгар зимы припасы, необходимые для пиршества, да еще в огромном количестве! Реймсским горожанам вменялось в обязанность поставить восемьдесят два быка, двести сорок баранов, четыреста двадцать пять телят, семьдесят восемь свиней, восемьсот зайцев и кроликов, восемьсот каплунов, тысячу восемьсот двадцать гусей, более десяти тысяч кур и сорок тысяч яиц, не говоря уже о бочонках с осетриной, которые доставлялись из Малина, о четырех тысячах раков зимнего улова, а там еще семга, щуки, лини, лещи, окуни и карпы, три тысячи пятьсот угрей, предназначенных для изготовления пятисот паштетов. Уже припасено было две тысячи сыров, и реймсцы в душе лелеяли надежду, что трехсот бочек вина — слава богу, хоть вино производилось здесь, на месте! — хватит, чтобы утолить жажду гостей,

намеревавшихся пировать в Реймсе три дня, а то и более.

Камергеры, прибывшие заранее, чтобы установить порядок церемониала, предъявили непомерные требования. Взяли, например, и заявили, что на стол необходимо подать разом три сотни жареных цапель! Камергеры эти, в сущности, ничем не отличались от своего господина, от своего торопыги-короля, который что ни день требовал коронования, словно речь шла об обыкновенной мессе за два лиарда во исцеление сломанной ноги!

С утра до вечера кондитеры возводили крепости из миндального теста, окрашенного в цвета Франции.

Позвольте, а как же горчица? В том-то и дело, что горчицу не успели доставить. А требовалось ее не больше и не меньше как тридцать один сетье[30]. Кроме того, не будут ведь гости есть с ладони. К великой досаде устроителей, пятьдесят тысяч деревянных мисок, оставшихся от предыдущего коронования, продали за смехотворно низкую цену; гораздо разумнее было бы их хорошенько помыть и спрятать про запас.

---

[30] Примечания: 30

Сетье — старинная французская мера объема, около полулитра. — *Примеч. ред.*

А что касается четырех тысяч кувшинов, то их раскрали или разбили. Белошвейки, не разгибая спины, подрубали скатерти, на которые пошло две тысячи шестьсот локтей полотна. И уже сейчас ясно было, что расходы на коронацию обойдутся городу в круглую сумму — примерно в десять тысяч ливров.

Но, откровенно говоря, жители Реймса при всех этих тратах все же надеялись извлечь из предстоящих празднеств немалую выгоду, так как на коронование обычно собиралось множество купцов — ломбардцев и евреев, плативших городу налог за право торговли.

Подобно всем королевским празднествам, коронование протекало в шумной атмосфере кермессы. В такие торжественные дни народ беспрерывно угощали различными зрелищами и увеселениями, и посмотреть на них съезжались издалека. Жены требовали от мужей новых нарядов; щеголи толпились в ювелирных лавках; вышивки, самые дорогие ткани, меха — все бралось нарасхват. Счастье само шло в руки расторопным людям, и если торговец не зевал и умел угодить покупателям, он за одну неделю зарабатывал столько, что ему с лихвой хватало на пять лет.

Новый король выбрал себе в качестве резиденции архиепископский дворец, перед которым круглые сутки толпились зеваки, надеясь узреть земных владык или поахать при виде обитой алым бархатом кареты королевы.

Окруженная придворными дамами, королева Жанна с оживленно-счастливым лицом — такие лица бывают лишь у тех, кого судьба сверх меры осыпала благодеяниями, — лично следила за тем, как выгружают ее багаж, состоявший из двенадцати сундуков, четырех баулов, кофра с обувью и еще одного — с пряностями. Несомненно, такого роскошного гардероба никогда еще не имела во Франции ни одна знатная дама. Особое платье предназначалось не только для каждого дня праздничной церемонии, но чуть ли не для каждого часа этой триумфальной поездки.

Королева в накидке из золототканого сукна, подбитой горностаем, торжественно въехала в Реймс, где на каждой улице королевскую чету ждали представления, мистерии, игрища. Накануне коронования устраивался торжественный ужин, и сейчас к столу королева выйдет в платье лилового бархата с беличьей опушкой. На утро для коронации приготовлено платье из турецкой золотистой парчи, алая накидка и пурпурный

казакин; для обеда — платье, расшитое лилиями Франции; для ужина — тоже затканное золотом платье и два горностаевых плаща: один белый с черными хвостиками, другой черный, а хвостики белые.

Послезавтра она наденет зеленое бархатное платье[31], потом сменит его на другое — из лазурной парчи с беличьей пелеринкой. Ни разу не появится она на людях, не сменив наряда и драгоценностей.

Все эти сокровища были разложены в комнате, убранство для которой тоже привезли из Парижа: белая шелковая обивка для стен, расшитая золотыми попугаями в количестве тысячи трехсот двадцати одного, в центре гербы графов Бургундских — лев на пурпуровом фоне, балдахин над кроватью, стеганое парадное одеяло и подушки — все изукрашенное серебряными трилистниками в количестве семи тысяч. На полу ковры — тоже с гербами Бургундии и Франции.

Несколько раз Жанна вбегала в покои мужа и требовала, чтобы он полюбовался красивой

---

[31] Примечания: 31

Под платьем понимали (в смысле набора носильных вещей) полное одеяние, состоящее из нескольких предметов, которые назывались уборами (garnements), все из одной ткани. Нарядное платье включало в себя: два верхних платья (surcot), одно закрытое, другое открытое, housse, garnache, капюшон (chaperon) и плащ (manteau).

тканью, изяществом отделки.

— Дорогой сир, любимый! — восклицала она. — Если бы вы только знали, как я счастлива благодаря вам!

Не склонная по природе к чувствительности и душевным излияниям, Жанна все же не могла сдержать слез умиления. Она дивилась собственной своей участи, с ужасом вспоминая недавние времена, когда ее, узницу, держали в Дурдане. Какая чудесная превратность судьбы, а ведь с тех пор не прошло и полутора лет! Она вспомнила покойницу Маргариту, вспомнила родную сестру, Бланку Бургундскую, по-прежнему томившуюся в Шато-Гайаре… «Бедная Бланка, она так любила наряды! Вот бы порадовалась сейчас!» — думала Жанна, примеривая золотой пояс, усыпанный рубинами и изумрудами.

Но Филипп озабоченно хмурился, и восторги жены лишь усиливали его дурное настроение, так как он вместе со своим главным казначеем просматривал счета.

— Я очень рад, душенька, что все это вам нравится, — наконец промолвил он. — Но я, видите ли, следую примеру отца, который, как вам известно, был весьма скромен в личных своих расходах, но не скупился, когда речь шла о

величии королевства. Появляйтесь повсюду в роскошных убранствах, они принадлежат не только вам, но и народу, ибо благодаря его трудам вы имеете все эти наряды, и берегите свои платья, так как вам еще не скоро удастся сшить новые. После коронования нам придется сократить свои личные расходы.

— Филипп, неужели даже ради такого дня вы ничего не сделаете для моей сестры Бланки? — спросила Жанна.

— Я уже сделал, сделал. Ей возвращается титул принцессы, но при условии, что она не покинет места заточения. Должна же быть разница между Бланкой, которая согрешила, и вами, Жанна, которая не нарушила супружеского долга и на которую возвели напраслину.

При последних словах Филипп пристально посмотрел на жену, и в глазах его читалась не столько уверенность любящего супруга, сколько забота о королевском престиже.

— К тому же ее супруг, — добавил Филипп, — сейчас не особенно нас радует. Бог послал мне скверного брата.

Жанна поняла, что настаивать бесполезно и что лучше не касаться впредь этого вопроса. Пока Филипп будет править Францией, он не согласит-

ся освободить Бланку.

Жанна удалилась, и Филипп снова погрузился в изучение длинной колонки цифр, представленных главным казначеем Жоффруа де Флери.

Список не ограничивался расходами на гардероб королевской четы, тем более что Филипп получил достаточно подарков. Так, например, платье пепельного цвета, которое он надел для ужина, преподнесла его бабка Мария Брабантская, вдова Филиппа III, а Маго не поскупилась на штуку пестрого сукна, из которого нашили платьица принцессам и крошке Луи-Филиппу. Но по сравнению со всем прочим это капля в море.

Королю пришлось заново обмундировать свою личную охрану, другими словами, пятьдесят четыре человека, и их начальника Пьера де Галара — капитана арбалетчиков. Камергеры — Адам Эрон, Робер де Гамаш, Гийом де Сериз — получили каждый по десяти локтей полосатой ткани, выписанной из Дуэ, для новых камзолов. Ловчие — Анри де Медон, Фюран де ла Фуайи, Жанно Мальженест — тоже были заново экипированы, равно как и все лучники. И так как после коронования полагается посвящать в рыцари двадцать человек, значит потребуется еще двадцать костюмов. Раздачи одежды в качестве даров требовал

обычай, и тот же обычай требовал, чтобы новый король добавил к раке Сен-Дени золотую лилию, увенчанную изумрудами и рубинами.

— Каков итог? — спросил Филипп.

— Восемь тысяч пятьсот сорок восемь ливров тринадцать су и одиннадцать денье, сир, — ответил казначей. — Может быть, потребовать налог в связи с таким радостным событием, как ваше восшествие на престол?

— Оно будет куда более радостным, если я не обложу народ новыми податями. Постараемся выйти из положения иным путем, — сказал король.

Но как раз в эту минуту доложили о прибытии графа Валуа. Филипп воздел обе руки к потолку.

— Вот о ком мы забыли, подводя счета. Вот увидите, Жоффруа, вот увидите сами! Один этот дядюшка обойдется мне дороже, чем десяток коронований! Не беспокойтесь, выторгует у меня все, что ему надо. Оставьте-ка нас наедине.

До чего же блистателен был нынче его высочество Карл Валуа! Весь в золотом шитье, весь в позументах, казавшийся еще толще в мехах и камзоле, украшенном драгоценными камнями! Если бы жители Реймса не знали, что их новый владыка молод и тощ, они непременно приняли

бы этого сеньора за самого короля.

— Дорогой племянник, — начал Валуа, — как видите, я весьма удручен… удручен за вас. Ваш зять, король Англии, не прибудет на коронование.

— Уже очень давно, дядюшка, заморские короли не присутствуют на наших коронациях, — ответил Филипп.

— Вы правы, но они посылают вместо себя кого-нибудь из родственников или знатных вельмож, чтобы представлять герцогов Гиеньских. А Эдуард никого не соблаговолил послать, и это равносильно тому, что он не признает вашего права на престол. Граф Фландрский, которого вы надеялись умягчить новым сентябрьским договором, тоже не будет присутствовать, не будет и герцога Бретонского.

— Знаю, дядюшка, знаю.

— Не стоит уж и говорить о герцоге Бургундском. Нам заранее было известно, что он не явится. Но зато только что прибыла его матушка, наша тетка Агнесса, и, боюсь, вовсе не за тем, чтобы поддержать вас.

— Знаю, дядюшка, знаю, — повторил Филипп.

Неожиданное прибытие последней оставшейся в живых дочери Людовика Святого тревожило

Филиппа, хотя он старался не показывать виду. Сначала он подумал, что герцогиня Агнесса приехала с целью что-нибудь выторговать. Но она не торопилась открыть свои карты, и племянник, в свою очередь, решил не делать первого шага. «Если бы народ, который приветствует меня на улицах и завидует мне, знал, среди какой вражды и угроз приходится мне жить!» — подумал он.

— Так что из шести светских пэров Франции, которым завтра полагается держать над вашей головой корону[32], — продолжал Валуа, — не явится ни одного…

— Как же так, дядюшка, вы забыли графиню Артуа… и себя…

Валуа злобно пожал плечами.

— Графиня Артуа! — крикнул он. — Женщина будет держать корону, когда вы, вы сами, Филипп, добились своих прав, запретив женщинам короноваться.

— Держать корону — не значит надеть ее на себя, — возразил Филипп.

---

[32] Примечания: 32

После избрания Юга Капета шестеро крупнейших вельмож королевства, три герцога и три графа, назначенные для возложения на него короны при коронации, были: герцог Бургундский, герцог Нормандский, герцог Гиенский, граф Шампанский, граф Фландрский, граф Тулузский. Они считались ровней королю — пэрами (pairs — равные). Кроме них, там были еще три герцога-архиепископа и три графа-епископа.

— За то, что Маго помогла вам стать королем, вы готовы ее всячески возносить! Но ведь вы тем самым как бы подтверждаете лживые выдумки, которые ходят по всей стране. Ладно, не будем касаться прошлого, но скажите, Филипп, разве, по-вашему, не должен быть пэром графства Артуа ваш кузен Робер?

Филипп сделал вид, что не придает никакого значения вопросу дяди.

— Во всяком случае, церковные пэры собрались.

— Собрались, собрались… — передразнил племянника Валуа, играя перстнями. — Итак, из полагающихся шести будет только пятеро. И что, по-вашему, сделают эти самые церковные пэры, когда увидят, что со стороны пэров королевства лишь одна рука — и какая! — поднимется для возложения короны…

— А себя, дядюшка, вы, значит, в счет не принимаете?

Тут уж Валуа сделал вид, что не считает нужным отвечать на такой вопрос.

— Даже родной брат сердит на вас, — добавил он.

— И сердит лишь потому, — кротко заметил Филипп, — что еще не знает, дражайший дядюшка,

договоримся ли мы с вами, и думает, что в угоду вам надо мне вредить… Но успокойтесь, он будет возведен в пэры, и не позже завтрашнего дня.

— А почему бы вам не дать ему во владение одновременно и пэрство? Ваш батюшка сделал это для меня, а ваш брат Людовик — для вас. Все-таки мне приятнее, что я не один буду вас поддерживать.

«Или меня предавать…» — подумал Филипп, а вслух произнес:

— Вы пришли ко мне просить за Робера или Карла или хотите поговорить со мной о ваших делах?

Валуа выдержал паузу, приосанился и стал разглядывать брильянт, блестевший на указательном пальце.

«Пятьдесят… или сто тысяч? — думал Филипп. — На других мне плевать. Но он мне нужен, и он это знает. Если он откажется и устроит скандал, боюсь, придется отложить коронование».

— Вы же сами видите, Филипп, — подумав, произнес Валуа, — что я на вас не сержусь, напротив, я изрядно поистратился, пришлось сделать костюм себе и свите, чтобы вас не осрамить. Но коль скоро все прочие пэры будут отсутствовать, думаю, что и мне лучше уехать. Что скажут люди,

если я один перейду на вашу сторону? Скажут прямо, что вы меня купили.

— Очень жаль, дядюшка, очень… Но что поделаешь. И в самом деле, я не могу принудить вас, если вы против. Возможно, уже пришло время отказаться от обычая, согласно которому пэры решают судьбу короны…

— Опомнитесь, Филипп! — закричал Валуа.

— …и если уж приходится спрашивать чьего-нибудь согласия, — продолжал, словно не слыша его слов, Филипп, — то лучше испрашивать его не у полудюжины знатных баронов, а у народа, дядюшка, который поставляет нам солдат и пополняет нашу казну. Пускай этим ведают новые Штаты, которые я собираюсь созвать.

Валуа, не выдержав, сорвался с места и закричал:

— Вы кощунствуете, Филипп, или просто лишились рассудка! Где это видано, чтобы подданные выбирали монарха? Нечего сказать, готовите вы нам сюрприз с вашими Штатами! Вы просто повторяете мысли Мариньи, который вышел из простонародья и немало навредил вашему отцу. А я вам вот что скажу: если вы введете такое новшество, то через пятьдесят лет народ обойдется без нас и выберет себе в короли какого-нибудь

разбогатевшего горожанина, кого-нибудь из ученых мужей парламента или мясника, разжившегося на кражах. Нет, племянник, нет, на сей раз я твердо решил, я не буду держать корону такого короля, который не нуждается в нашей поддержке и который, сверх того, готов отдать свою корону в лапы смердов!

Весь побагровев от негодования, Валуа зашагал по королевской опочивальне.

«Пятьдесят… или сто тысяч? — снова подумал Филипп. — На какую сумму он метит?»

— Хорошо, дядюшка, не хотите — не держите, — произнес он. — Но в таком случае я с вашего соизволения велю кликнуть главного казначея.

— Это еще зачем?

— Чтобы он внес кое-какие изменения в список лиц, представленных к наградам, который я собирался подписать завтра в честь восшествия на престол. Кстати сказать, первым в списке шли вы, дядюшка, так как вам назначено… сто тысяч ливров.

Удар попал в цель. Валуа круто остановился и даже руки растопырил.

Филипп понял, что партия выиграна, и как ни дорого обошлась ему эта победа, он лишь усилием воли заставил себя не рассмеяться при виде оше-

ломленной физиономии родного дядюшки. Но тот быстро вышел из положения. Слова Филиппа застали его в самый разгар гневных обличений, и он снова начал обличать. Гнев служил Карлу Валуа надежным оружием, дабы сбить собеседника с толку и спутать его доводы, когда собственные доводы оказались неубедительными.

— Все зло идет от Эда, — снова заговорил он. — Я не одобряю его действий и прямо напишу ему об этом! Какая надобность графу Фландрскому и герцогу Бретонскому держать его руку и отвергать вас? Когда король приказывает тебе явиться, чтобы держать корону, потрудись явиться! Я ведь приехал. И впрямь, эти бароны злоупотребляют своими правами. Власть и в самом деле может перейти таким образом к нашим вассалам и горожанам. А чего спрашивать с короля Эдуарда Английского? Ну можно ли доверять мужчине, который ведет себя как женщина? Я буду с вами, чтобы проучить их. А вашу награду соглашаюсь принять просто из чувства справедливости. Ибо справедливость требует, чтобы те, которые хранят верность королю, видели с его стороны иное обращение, чем те, которые короля предают. Вы успешно правите страной. А этот… этот дар, который я рассматриваю как знак уважения ко

мне, когда вы подпишете указ?

— Тут же, дядюшка, если вам угодно, но помечен он будет завтрашним числом, — ответил король.

Третий раз, и опять-таки с помощью денег, ему удалось обуздать графа Валуа.

— Пора, пора мне короноваться, — обратился Филипп к казначею после ухода Карла Валуа. — Если мне придется еще раз вступить с ним в спор, боюсь, что я вынужден буду продать свое королевство.

И так как Флери удивился размерам обещанной суммы, Филипп произнес:

— Успокойтесь, Жоффруа, успокойтесь, ведь я ни словом не обмолвился, когда дар будет выплачен. Дядя будет получать деньги мелкими суммами… Зато может брать под эту сумму в долг… А теперь пора ужинать.

По торжественному церемониалу король после вечерней трапезы в сопровождении приближенных и капитула должен был отправиться в собор, чтобы сосредоточиться мыслями и помолиться. Церковь была уже готова к приему высокого гостя: стены задрапированы, сотни свечей зажжены и перед хорами воздвигнут большой помост. Филипп молился недолго, зато провел в церкви

немало времени, желая расспросить еще раз о ходе церемонии и о том, что полагается делать ему самому. Он собственноручно проверил, хорошо ли запираются боковые двери, осведомился, как и где будет размещена охрана и какие места отводятся для участников церемонии.

— Светские пэры, члены королевской фамилии и высшие сановники разместятся на помосте, — пояснили ему. — Коннетабль будет находиться при вас, а канцлер по другую сторону, около королевы. Трон напротив вашего трона предназначен для архиепископа Реймсского, а скамьи, расставленные вокруг главного алтаря, отведены для пэров церкви.

Филипп медленно прошелся по помосту, откинул носком загнувшийся кончик ковра.

«Как все это странно, — думал он. — На этом самом месте я присутствовал в прошлом году на короновании моего брата… И не обратил внимания на все эти подробности».

Он присел, но не на королевский трон: какой-то суеверный страх помешал ему это сделать. «Завтра… завтра я действительно стану королем». Он подумал о своем отце, о длинной череде предков, короновавшихся до него в этом соборе; подумал о старшем брате, ставшем жертвой преступления,

в котором он, Филипп, неповинен, но именно его плодами сейчас пользуется; подумал еще об одном преступлении, жертвой которого стал малый ребенок; и на сей раз он не сказал прямо: «Убий!» — и все-таки стал молчаливым соучастником убийства, чуть ли не его вдохновителем… Он подумал о смерти, о собственной своей смерти, подумал о миллионах людей, своих подданных, о миллионах отцов, сыновей, братьев, которыми отныне ему суждено править.

«Неужели все, подобно мне, способны на преступление, если для такового представится случай, и невинны лишь по неспособности действовать, неужели готовы они служить злу, лишь бы удовлетворить свое честолюбие? Однако в Лионе я давал обет быть справедливым. Но так ли это?.. Вообще ли низка человеческая природа или такими нас делает трон? Или эта безмерная грязь и мерзость — неизбежная дань, которую мы платим за право носить корону?.. Зачем Господь Бог создал нас смертными, ведь смерть повинна в нашей гнусности: слишком мы ее боимся и слишком охотно пользуемся ею как своим орудием… Возможно, еще нынче ночью меня попытаются убить».

Филипп поглядел на широкие дрожащие по-

лосы тени у высоких стрелок свода, залегшие между потолочными балками. Он не испытывал раскаяния, но не испытывал и счастья при мысли о королевской власти.

«Так вот что подразумевают под словами „молитвенное бдение“ и вот почему нам советуют провести ночь перед коронованием в церкви!»

Он здраво судил о себе: скверный человек, но со всеми задатками великого государя.

Спать ему не хотелось, он охотно остался бы еще здесь, в соборе, чтобы на досуге предаться размышлениям о самом себе, об участи людской, о причинах деяний наших и поставить перед собой единственно важные в мире вопросы, на которые никогда не будет ответа.

— Сколько времени продлится церемония? — спросил он.

— Полных два часа, сир.

— Вот как! Тогда попытаемся уснуть. Завтра мы должны быть бодрыми.

Но во дворце архиепископа Филипп, не заглянув к себе, прошел в опочивальню королевы и присел на край ее постели. Он заговорил с ней о пустяках, рассказывая, как распределены места в соборе, осведомился о туалете принцесс.

Жанна слушала мужа, борясь со сном. Ей стои-

ло немалых усилий вникать в его слова; но даже сквозь одолевавшую ее дремоту она догадалась, что муж ищет у нее защиты от нервного напряжения и от тоскливого страха.

— Друг мой, — сказала она, — может быть, вы останетесь сегодня со мной?

Он нерешительно пожал плечами.

— Не могу, я не предупредил камергера, — ответил он.

— Но ведь вы король, Филипп, — улыбнулась Жанна, — и можете давать камергеру любые распоряжения.

Филипп решился не сразу. Этот юноша, умевший силою оружия или деньгами укрощать самых могущественных вассалов, стеснялся сказать слугам, что он передумал и останется на ночь в спальне королевы.

Наконец он кликнул служанку, дремавшую в соседней комнате, и послал ее предупредить Адама Эрона, чтобы тот не ждал и не ложился сегодня ночью у дверей королевской опочивальни.

Потом, раздевшись среди золоченых попугаев и серебряных трилистников, он скользнул под одеяло. И непобедимый страх и тоска, от которых не мог уберечь его целый полк коннетаблей, ибо тосковал и страшился не король, а простой

человек, утихли от близости этого женского тела, этих крепких длинных ног, этого покорного лона и горячей груди.

— Душенька, — шепнул Филипп, зарывшись лицом в волосы Жанны, — скажи, ты мне изменяла? Отвечай без боязни, ибо, даже если ты была мне неверна, знай, что я тебя прощаю навеки.

Жанна обвила обеими руками худощавый, сильный стан мужа, чувствуя под пальцами его ребра.

— Никогда, Филипп, клянусь тебе в том, — ответила она. — Я призналась тебе, что испытывала соблазн, но не поддалась.

— Спасибо тебе, душенька, — шепнул Филипп. — Теперь полнота моего царствования неоспорима.

И в самом деле, он почувствовал себя вполне королем, ибо он был подобен всем мужчинам своего королевства: ему нужна была женщина, женщина, принадлежавшая ему всецело.

Глава X
Реймсские колокола

Несколько часов спустя Филипп в длинном одеянии пурпурного бархата уже возлежал на па-

радном ложе, украшенном гербами Франции, и, сложив на груди руки, ждал епископов, которые поведут его в собор.

Первый камергер Адам Эрон, тоже в праздничной одежде, стоял возле королевского ложа. Тусклое январское утро заливало опочивальню молочным светом.

В дверь постучали.

— К кому вы пришли? — спросил камергер.

— К королю.

— А кто его хочет видеть?

— Его брат.

Филипп и Адам Эрон досадливо и удивленно переглянулись.

— Хорошо. Пусть войдет, — сказал Филипп, приподнявшись на подушках.

— У вас, сир, осталось мало времени… — заметил камергер.

Незаметным движением век Филипп успокоил камергера, и тот понял: беседа братьев продлится недолго.

Красавец Карл де ла Марш еще не успел снять дорожного платья. Он только что прибыл в Реймс и, заглянув на минутку к своему дяде Валуа, отправился к королю. Его лицо дышало гневом, даже по походке чувствовалось, что он еле себя

сдерживает.

Но как ни велика была его ярость, вид старшего брата, облаченного в пурпур и возлежащего на ложе в ритуальной позе коронуемого, внушил ему невольное уважение; он остановился, глаза его округлились.

«Как бы ему хотелось быть на моем месте», — подумал Филипп. А вслух произнес:

— Итак, вы прибыли, мой дорогой брат. Весьма признателен вам за то, что вы правильно поняли ваш долг и заставили замолчать злые языки, распространявшие клевету о том, будто вы не пожелали присутствовать на моем короновании. Весьма вам признателен. А теперь поспешите переодеться, потому что вы не можете явиться в таком виде в собор. А то опоздаете.

— Брат мой, — ответил де ла Марш, — сначала мне надо побеседовать с вами о важных вещах.

— О важных вообще или важных для вас? Самое важное сейчас — это не заставлять ждать клир. Через несколько минут за мной явятся епископы.

— Ну и что ж, пускай подождут! — крикнул Карл. — Каждый находит случай и время поговорить с вами, чтобы добиться своей выгоды, и каждого вы выслушиваете. Только меня одного

вы не принимаете в расчет, но на сей раз вы меня выслушаете!

— Тогда давайте поговорим, Карл, — произнес Филипп, садясь на край постели. — Но предупреждаю, времени у нас мало.

Карл мотнул головой, как бы говоря: «Там видно будет», уселся в кресло и, стараясь придать себе независимый вид, напыжился, вздернув кверху подбородок.

«Бедняга Карл, — подумал Филипп, — теперь он старается подражать нашему уважаемому дядюшке Валуа; но ему явно не хватает дородности».

— Филипп, — начал де ла Марш, — я десятки раз просил вас дать мне во владение пэрство, просил увеличить мой удел, равно как и мои доходы. Просил я вас об этом или нет?

— Ну и семейка! — пробормотал Филипп.

— А вы притворялись, что не слышите. Повторяю вам в последний раз: я прибыл в Реймс, но присутствовать на вашем короновании буду лишь в качестве пэра. Иначе я сейчас же уезжаю обратно.

Филипп с минуту молча глядел на брата, и под этим пристальным взглядом Карл вдруг почувствовал, что теряет всю свою самоуверенность,

весь свой апломб, даже ростом становится меньше, тает, как лед под солнцем.

Только в присутствии их отца, Филиппа Красивого, Карл так остро испытывал чувство собственного ничтожества.

— Сейчас, Карл, — сказал Филипп, поднялся с постели и, сделав знак рукой Адаму Эрону, отошел с ним в угол комнаты. — Адам, — спросил он, понизив голос, — бароны, которые должны были доставить мирницу из аббатства Сен-Реми, уже возвратились?

— Да, сир, они в соборе вместе с духовенством.

— Прекрасно. Тогда ворота города… ну, словом, как в Лионе.

И он трижды, почти незаметным для глаз движением, повернул кисть руки, и Эрон понял, что это означает: решетки, запоры, ключи.

— В день коронования, сир? — удивленно пробормотал Эрон.

— Именно в день коронования. И действуйте быстро.

Когда камергер вышел, Филипп снова улегся на свое ложе.

— Ну, брат мой, что же вы у меня просили?

— Пэрство, Филипп.

— Ах да… пэрство. Что ж, брат мой, я согласен…

пожалуйста… только не сейчас, вы слишком много кричали о своих требованиях. Если я вам уступлю, люди скажут, что я действовал не по своей воле, а по принуждению, и каждого это побудит действовать по вашему примеру. Итак, знайте, что отныне не будет больше уделов, нарочно созданных или приращенных, прежде чем не будет издан ордонанс, объявляющий, что любая часть неотделима от королевства[33].

— Но ведь вам не нужно больше ваше пэрство Пуатье! Почему бы вам не отдать его мне? Согласитесь, что моя часть недостаточна!

— Недостаточна?! — закричал Филипп, поддавшись гневу. — Вы сын короля, вы королевский брат! Неужели вы и в самом деле воображаете, что этого недостаточно для человека ваших умственных способностей и ваших заслуг?

— Моих заслуг?

— Да, ваших, а они невелики. Пришло время сказать вам в лицо: вы просто дурачок, вы и всегда были дурачком, и с возрастом не набрались ума. Когда вы были еще совсем ребенком,

---

[33] Примечания: 33

Через пять веков в своей речи перед палатой пэров (произнесенной 21 марта 1817 г.) по поводу одного финансового закона Шатобриан привел в качестве довода этот указ Филиппа Длинного, обнародованный в 1318 г., который объявлял владения короны неотчуждаемым имуществом.

уже тогда все видели вашу глупость и скудоумие, недаром наша покойная матушка — святая женщина! — стыдилась вас и даже прозвала гусенком. Вспомните, Карл, гусенком! Вы были гусенком, гусенком и остались. Наш отец включил вас в свой Совет, а чему вы там научились? Сидели и считали мух, когда обсуждались государственные вопросы, и я не припомню, чтобы вы хоть раз произнесли дельное слово, а если и начинали говорить, отец и мессир Ангерран только плечами пожимали. Неужели вы воображаете, что я так уж стремлюсь сделать вас более могущественным в благодарность за ту помощь, которую вы мне оказывали, интригуя против меня в течение полугода? Вы всего бы могли добиться, если бы избрали другой путь. Вы считаете себя сильной натурой и думаете, что все будут перед вами гнуть шею? Но никто не забыл, каким слюнтяем вы себя показали в Мобюиссоне, как блеяли во весь голос: «Бланка, Бланка!» — и перед целым двором оплакивали свой позор.

— И это вы мне говорите, Филипп? — воскликнул Карл, вскакивая с кресла, и лицо его перекосилось. — Вы, чья жена…

— Ни слова против Жанны, ни слова против королевы, — прервал его Филипп, угрожающе

подымая руку. — Я знаю, что, желая мне навредить и не быть одному в дураках, вы по-прежнему сеете лживые сплетни.

— Вы нарочно оправдывали Жанну, потому что хотели сохранить за собой Бургундию, потому что для вас и раньше и теперь ваши интересы выше чести. Но возможно, моя неверная жена мне тоже может быть кое-чем полезна!

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что сказал! — отрезал Карл де ла Марш. — И я заявляю: если вы желаете видеть меня на вашем короновании, то я соглашусь присутствовать на церемонии лишь в качестве пэра. Пэрство — или я уезжаю!

В комнату вошел Адам Эрон и кивнул, давая знать королю, что его распоряжения выполнены. Филипп поблагодарил его столь же неприметным движением головы.

— Что ж, уезжайте, брат мой, — произнес Филипп. — Сегодня мне необходим лишь один человек: архиепископ Реймсский, который венчает меня на царство. Вы пока еще не архиепископ, надеюсь? Тогда уезжайте, если вам угодно.

— Но почему, почему, — воскликнул Карл, — наш дядя Валуа всегда добивается своего, а я никогда?

Через полуоткрытые двери донеслось пение приближавшейся процессии.

«Подумать только, что после моей смерти этот болван станет регентом!» — подумал Филипп. Затем положил руку на плечо брата:

— Если бы вы вредили французскому королевству столь же долго, как наш дядя, вы могли бы тоже потребовать для себя такой цены. Но, слава богу, вы, при вашем скудоумии, не столь проворны, как он.

Взглядом он указал брату на дверь, и граф де ла Марш, мертвенно-бледный, сжигаемый бессильной яростью, вышел из комнаты и вынужден был посторониться перед бесконечной процессией духовенства.

Филипп поспешно подошел к ложу и улегся в подобающей позе, сложив руки на груди и опустив веки.

В дверь постучали: на сей раз стучали епископы своими посохами.

— За кем вы пришли? — спросил Адам Эрон.

— За королем, — торжественно провозгласили за дверью.

— А кто его хочет видеть?

— Пэры-епископы.

Дверь распахнулась, епископ Лангрский и

епископ Бовезский вошли в королевскую опочивальню в митрах, с ковчежцами на шее. Они приблизились к ложу, помогли королю встать на ноги, окропили его святой водой и, когда он преклонил колена на шелковый квадратный коврик, прочитали над ним молитву.

Затем Адам Эрон возложил на плечи Филиппа плащ из пурпурного бархата, такой же, как и его одеяние. И вдруг послышались сердитые восклицания — это повздорили между собой епископы за право старшинства. По обычаю справа от короля должен идти епископ Лаонский. Но как раз в это время в Лаоне не было епископа. Епископ Лангрский, Гийом дю Дюрфор, должен был заменить отсутствующего. Но Филипп велел идти по правую руку епископу Бовезскому. Для этого у него имелось две причины: первая — епископ Лангрский охотно привечал в своей епархии бывших тамплиеров, назначая их на духовные должности; с другой стороны, епископ Бовезский был из рода Мариньи — родственник великого Ангеррана и его брата архиепископа Санского. Поэтому Филипп считал своим долгом оказать уважение если не ему лично, то славному его имени.

В итоге всех этих пререканий справа у короля

оказались два прелата, а слева ни одного.

— Я старейший епископ, я должен стоять одесную, — твердил Гийом де Дюрфор.

— Епархия Бове более древняя, нежели Лангрская, — возражал Мариньи.

Их физиономии под митрами уже зловеще побагровели.

— Ваши святейшества, слово за королем, — утихомирил их Филипп.

Дюрфору пришлось повиноваться и уступить место.

«Одним недовольным больше», — подумалось Филиппу.

Так они спустились среди золотых крестов, горящих свечей и ладана на улицу, где уже ожидала свита во главе с королевой. Процессия двинулась пешком к собору.

Приветственные клики неслись по пути следования короля. Филипп был бледен и близоруко щурился. Реймсская земля показалась ему вдруг странно твердой, словно он шагал по мрамору.

На паперти собора процессия остановилась, снова прочитали молитву, затем под рев органа Филипп проследовал в неф, к алтарю, к высокому помосту, к трону, на который он сел теперь без колебания. И, сев, первым делом указал королеве

место, уготованное справа от трона.

Собор был битком набит. Со своего места Филиппу было видно лишь море корон, торсов и плеч, расшитых золотом и усеянных драгоценностями, да жирная позолота риз, переливавшихся в мерцании свечей. Словно некий звездный полог расстилался у его ног.

Он обвел взглядом помост и повернул голову сначала влево, потом вправо, стараясь разглядеть, кто там находится. И разглядел Карла Валуа, разглядел Маго, огромную, всю в парче и бархате; она ему улыбнулась. Людовик д'Эврё держался несколько поодаль. Но Филипп не заметил ни Карла де ла Марша, ни Филиппа Валуа, которого отец тоже напрасно искал взором.

Архиепископ Реймсский, Робер де Куртене, с трудом поднялся в своем тяжелом облачении с трона, стоявшего напротив королевского; Филипп последовал его примеру и распростерся перед алтарем.

Все время, пока длилась служба, Филипп упорно думал: «Действительно ли успели запереть все ворота? Выполнен ли мой приказ? Не такой человек наш Карл, чтобы усидеть дома, когда его брата коронуют. И почему не пришел Филипп Валуа? Какой еще сюрприз они мне готовят? Надо

бы оставить Галара на улице, чтобы ему легче было командовать арбалетчиками».

А тем временем, пока король тревожно вопрошал себя о том, что поделывает его младший брат, тот барахтался в болоте.

Выбежав в ярости из королевских покоев, Карл де ла Марш поспешил к дому, где остановились Валуа. Дяди уже не оказалось — он уехал в собор. Карл застал Филиппа, который заканчивал свой туалет и тоже собирался отправиться на коронование. Ему-то Карл, задыхаясь от бега и злобы, поведал о «вероломстве», как он выразился, своего брата.

Оба кузена были схожи между собой, только Филипп Валуа был повыше ростом и покрепче телосложением, но в смысле умственных способностей они подходили друг другу, ибо оба отличались непомерным тщеславием и глупостью.

— Если он посмел так поступить, я тоже не пойду на церемонию, я уеду вместе с тобой, — заявил Валуа-младший.

После чего кузены в сопровождении свиты гордо поскакали к городским воротам. Однако их высочествам пришлось спасовать перед городскими сержантами.

— Въезд и выезд запрещены. Приказ короля.

— Запрещены даже принцам Франции?

— Даже принцам, приказ короля.

— Ах вот как! Он хочет нас принудить! — закричал Филипп Валуа, который усмотрел в поведении стражников посягательство на свою личную честь. — Что ж, мы все равно уйдем!

— Как же ты уйдешь, если ворота на запоре?

— Сделаем вид, что возвращаемся домой, и предоставь действовать мне.

Тут уже началось чистое мальчишество: конюших молодого графа Валуа отрядили за лестницами, которые приставили в одном из тупичков к стене, где, по-видимому, не было охраны. И вот оба кузена, выставив зады, пошли на штурм реймсской стены, не подозревая, что по ту сторону тянутся непроходимые Вельские болота. Они по веревке спустились в ров. Карл де ла Марш оступился и шлепнулся в грязную ледяную воду. Так бы он и окончил свои дни в этой яме, если бы Филипп Валуа, шести футов ростом и крепкого телосложения, не выудил кузена. Вслед за тем они, как слепцы, побрели по болоту. И речи быть не могло о том, чтобы вернуться. Идти вперед или отступить в данном случае было одно и то же. Они смело поставили на карту свою жизнь и

целых три часа потратили на то, чтобы выбраться из этой трясины. Конюшие, последовавшие за ними, тоже барахтались в грязи и, не стесняясь, вслух поносили своих господ.

— Если нам удастся выйти отсюда живыми, — кричал Карл де ла Марш, желая приободрить себя и своих спутников, — я знаю, куда ехать, знаю! Прямо в Шато-Гайар!

Валуа-сын, обливавшийся потом, несмотря на ледяной ветер, высунул из-за тростника свою глуповатую физиономию.

— Значит, до сих пор тебе дорога Бланка? — спросил он.

— Ничуть не дорога, но мне надо кое-что у нее узнать. Она одна может нам сказать, действительно ли дочь Людовика незаконнорожденная и не рогат ли сам Филипп. Как только она это засвидетельствует, я, в свою очередь, осрамлю братца и добьюсь коронования Жанны, дочери Людовика.

Гулкий перезвон реймсских колоколов достиг их слуха.

— Только подумать, что ради него бьют во все колокола! — завопил Карл де ла Марш, увязнув по пояс в грязи и указывая рукой в направлении города.

...А в соборе тем временем камергеры сняли с короля одежду. Филипп Длинный стоял перед алтарем совсем раздетый, если не считать двух рубах, надетых прямо на голое тело, одна на другую, — из тонкого полотна и из шелка, — причем обе с большим вырезом у шеи и под мышками. Прежде чем короля облекали властью, ему вменялось в обязанность показаться перед сборищем своих подданных почти голым и, сверх того, как в данном случае, дрожащим от холода.

Атрибуты власти были разложены в алтаре на аналое под охраной аббата из Сен-Дени, который и доставил их сюда. Камергер Адам Эрон принял из рук аббата длинные шелковые штаны, расшитые лилиями, и помог королю надеть их, так же как и туфли, тоже расшитые золотом. Затем Ансо де Жуанвиль, за отсутствием герцога Бургундского, прикрепил к ногам короля золотые шпоры и тут же их снял. Архиепископ благословил длинный меч, принадлежавший, по поверью, еще Карлу Великому, и повесил его на перевязи через плечо короля со словами:

— Accipe hunc gladium cum Dei benedictione...[34]

— Гоше, приблизься, — приказал король.

---

[34] Примечания: 34

Вручаю тебе меч сей с благословением Господним... *(лат.)*

Гоше де Шатийон выступил вперед, и король, сняв с себя меч, передал его коннетаблю.

Никогда еще в истории французского королевства ни на одном короновании не было коннетабля, столь достойного, как Гоше, чтобы принять из рук своего владыки знаки воинской мощи. Для них обоих это был не просто ритуальный жест, недаром они обменялись долгим взглядом. Символ здесь становился реальностью.

Кончиком золотой иглы архиепископ взял из священного сосуда, который протянул ему аббат из Сен-Реми, частицу масла, посланного, по уверениям духовенства, с небес, смешал его пальцем с елеем, приготовленным в дискосе. Затем архиепископ помазал Филиппа на царство, коснувшись пальцем, смоченным в елее, его макушки, груди, спины и подмышек. Адам Эрон продернул шнурки в колечки и застегнул застежки на обеих рубахах. После окончания церемонии нижнюю полотняную рубаху полагалось сжечь, ибо ее коснулся священный елей.

Король надел одежды, разложенные на алтаре: сначала камзол алого атласа с серебряной шнуровкой, затем тунику голубого атласа, унизанную жемчугом и расшитую золотыми лилиями, поверх нее мантию из той же ткани, а поверх еще

широкий квадратный плащ, скрепленный на правом плече золотой пряжкой. С каждым новым одеянием Филипп чувствовал, как растет тяжесть, давящая на его плечи. Архиепископ помазал Филиппу руки, надел ему на палец королевский перстень, вложил в правую руку золотой скипетр, а в левую руку — символическую длань правосудия. Преклонив колена перед дарохранительницей, прелат наконец взял корону, а первый камергер тем временем начал вызывать присутствующих на церемонии пэров.

— Могущественный и великолепный сеньор, граф…

Вдруг чей-то громкий, властный голос прозвучал в нефе:

— Остановись, архиепископ! Не смей венчать сего узурпатора, так приказывает тебе дочь Людовика Святого.

Гул изумления пробежал под сводами собора. Все головы обратились к нефу, откуда раздался крик. Приглашенные, находившиеся на помосте, и священнослужители тревожно переглянулись. Толпа расступилась.

В сопровождении своих вельмож шла, направляясь к алтарю, высокая женщина, еще прекрасная собой, с решительно выставленным

подбородком, со светлыми глазами, искрившимися от гнева, в скромной диадеме и вдовьем покрывале на пышных седых волосах.

Вслед ей несся шепот:

— Это герцогиня Агнесса, это она!

Гости тянули шею, чтобы получше разглядеть герцогиню. И каждый дивился, что она еще так моложава на вид, что так тверда ее поступь, ибо была она родной дочерью Людовика Святого, и всем казалось, что она рождена еще в незапамятные времена; каждый считал, что эта прабабка, похожая на призрак, еле волочит ноги где-то в бургундском замке. И вдруг она появилась здесь, в соборе, — живая, властная женщина пятидесяти семи лет от роду.

— Остановись, архиепископ, — повторила она, не дойдя нескольких шагов до алтаря. — А вы все слушайте меня! Читайте, Мелло, — приказала она шедшему за ней следом советнику.

Гийом де Мелло развернул пергамент и начал читать:

«Мы, высокородная дама Агнесса Французская, герцогиня Бургундская, дочь короля Людовика Святого, от нашего имени и от имени нашего сына, высокородного и могущественного герцога Эда, обращаемся к вам, бароны и сеньоры, здесь

присутствующие, а также находящиеся за стенами Реймса, во французском королевстве, дабы не признали вы королем графа де Пуатье, который не является законным наследником престола, и воспрепятствовали бы коронованию и отсрочили бы церемонию, пока не будут признаны права Жанны Французской и Наваррской, дочери и наследницы почившего в бозе короля и нашей родной дочери».

Смятение среди вельмож усилилось, и по собору пополз зловещий шепот. Приглашенные сбились в кучу.

Архиепископ застыл с короной в руках, не зная, то ли положить ее обратно на алтарь, то ли продолжать церемонию.

Филипп стоял неподвижно, с непокрытой головой, сгибаясь под тяжестью сорока фунтов золота и парчи, неловко держа в руках символы Власти и Правосудия. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным, таким уязвимым, таким одиноким. Рука в железной перчатке сжала его сердце. Его спокойствие наводило ужас. Сделай он хоть один жест, разомкни в эту минуту уста, затей спор — и неизбежна сумятица, если не поражение. Он замер, стал как бы частью пышных своих одеяний, будто битва эта шла где-то

далеко у его ног.

До него донесся тревожный шепот церковников:

— Что же нам теперь делать?

Прелат из Лангра, в памяти коего еще свежо было нанесенное ему нынче утром оскорбление, склонялся к тому, чтобы прекратить церемонию.

— Уйдем и обсудим положение, — предложил еще кто-то.

— Нельзя: он уже помазанник Божий, то есть король, коронуйте его, — возразил епископ Бовезский.

Графиня Маго нагнулась к своей дочери Жанне и шепнула ей на ухо:

— Вот мерзавка! Чтоб она сдохла!

В воздухе запахло ядом…

Коннетабль, кинув из-под своих морщинистых, как у черепахи, век повелительный взгляд на Адама Эрона, приказал ему продолжать перекличку.

— Могущественный и великолепный сеньор, граф Валуа, пэр королевства! — провозгласил камергер.

Теперь все взоры устремились на дядю короля. Если он ответит на призыв, Филипп выиграл партию; значит, Валуа дает поруку от лица пэров королевства, то есть от лица реальной власти.

Если же он не откликнется, Филипп проиграл.

Валуа не спешил откликнуться на призыв, и архиепископ, родом из семейства Куртене, состоявшего в родстве с графом, выжидал его решения.

Тут Филипп впервые шевельнулся — повернул голову в сторону дяди, и взгляд, брошенный на Валуа, стоил ста тысяч ливров. Никогда бургундка не даст и половины!

Бывший император Константинопольский поднялся и, недовольно хмурясь, встал позади племянника.

«Как хорошо, что я не поскупился!» — подумал Филипп.

— Благородная и могущественная дама Маго, графиня д'Артуа, пэр королевства! — провозгласил Адам Эрон.

Архиепископ поднял тяжелый золотой обруч, украшенный спереди крестом, и произнес долгожданные слова:

— Coronet te Deus[35].

Одному из пэров Франции полагалось взять корону и держать ее над головой короля, а всем прочим пэрам лишь прикасаться к ней чисто

---

[35] Примечания: 35
Венчает тебя Господь *(лат.)*.

символически — пальцем. Валуа потянулся было к короне, но Филипп движением скипетра остановил его.

— Корону будете держать вы, матушка, — обратился он к Маго.

— Благодарю вас, сын мой, — шепнула великанша.

Выбрав графиню Маго для этой почетной миссии на глазах у всего народа, Филипп заплатил ей тем самым за оба цареубийства. Таким образом она становилась первым из пэров Франции, и графство Артуа навечно переходило в ее владение.

— Никогда Бургундия не склонит выи! — крикнула герцогиня Агнесса.

И, созвав свою свиту, она зашагала к дверям, а Маго и Валуа тем временем медленно повели Филиппа к трону.

Когда он опустился на трон и положил ноги на шелковую подушку, архиепископ снял митру и, поцеловав короля в уста, возгласил:

— Vivat rex in aeternum![36]

Все прочие пэры последовали его примеру и тоже провозгласили:

---

[36] Примечания: 36
Да здравствует король во веки веков! *(лат.)*

— Vivat rex in aeternum!

Филипп чувствовал усталость. После семи месяцев непрестанной борьбы он выиграл последний бой и достиг высшей власти, которую уже никто не мог у него оспорить.

Колокольный звон, славивший нового короля, разрывал воздух над Реймсом, за стенами собора вопил народ, желая Филиппу славной и долгой жизни; все его противники были укрощены. У него сын, который унаследует отцовский престол, у него счастливая супруга, которая делит с ним все тяготы и радости. Ему принадлежит французская держава.

«Как я устал, до чего же я устал!» — думал Филипп.

Этот двадцатитрехлетний король, который добился власти своим упорством и волей, который пользовался плодами преступления, этот король, обладавший неоспоримыми качествами великого монарха, казалось, достиг вершин.

Начиналась пора возмездий.

Французская волчица

Французская волчица, чьи клыки остервенело вгрызаются во чрево твоего увечного супруга.

Томас Грей

Пролог

И предсказанные кары, проклятия, брошенные с высоты костра Великим магистром ордена тамплиеров, лавиной обрушивались на Францию. Судьба сражала королей, словно шахматные фигуры.

После Филиппа IV Красивого, внезапно унесенного смертью, после его старшего сына Людовика X, отравленного через полтора года, казалось, его второго сына Филиппа V ожидало долгое царствование. Но прошло шесть лет, и Филипп V в свою очередь скончался, не достигнув тридцатилетнего возраста.

Остановимся на этом царствовании, которое по сравнению с последовавшими за ним драмами и потрясениями кажется затишьем перед бурей. Тусклое царствование, подумает тот, кто, рассеянно перелистывая историю, не замечает крови, остающейся на пальцах. А на самом деле… Посмотрим же, какова бывает жизнь великого властителя, против которого ополчается сама судьба.

Ибо Филипп V Длинный был великим монархом. Пуская в ход силу и коварство, законы и

преступления, он еще молодым захватил трон, бывший предметом многих честолюбивых вожделений. Вспомним запертый в соборе конклав, взятый приступом королевский дворец, навязанный Франции закон о престолонаследовании, подавленный после десятидневного похода мятеж в провинции, брошенного в темницу знатного сеньора, убитого в колыбели младенца-короля (по крайней мере, так считали) — вот этапы его стремительного шествия к власти.

Январским утром 1317 года, выйдя под звон колоколов из Реймского собора, второй сын Железного короля мог считать себя победителем, призванным возродить великие политические замыслы отца, которыми восхищался сын. Вся семья вынуждена была склониться перед Филиппом. Бароны были усмирены, парламент находился под его влиянием, и зажиточные горожане восторженно приветствовали его, радуясь тому, что вновь обрели сильного государя; с его супруги Жанны было смыто пятно позора Нельской башни; после рождения сына появился продолжатель рода; наконец, коронация облекала его незыблемым величием. У Филиппа V было все для того, чтобы наслаждаться относительным счастьем королей, все, вплоть до мудрого стрем-

ления к миру, благо коего он так высоко ценил.

Спустя три недели умирает сын. Это был единственный его отпрыск мужского пола, и королева, ставшая к этому времени бесплодной, не смогла родить ему другого.

В начале лета на страну обрушился голод, усеявший города трупами.

Вскоре после этого над всей Францией пронесся вихрь безумия. Какой-то слепой, полумистический порыв, смутные мечты о святости и приключениях и вместе с тем крайняя нищета, неистовая жажда уничтожения побудили внезапно деревенских юношей и девушек, пастухов, гуртоправов и свинопасов, мелких ремесленников, прях, преимущественно в возрасте от пятнадцати до двадцати лет, покинуть свои семьи и деревни и, босыми, без денег и еды, объединиться в бродячие банды. Предлогом для этого стихийного исхода послужила некая туманная идея Крестового похода.

На самом же деле истоком этого безумия был орден тамплиеров или, вернее, то, что от него осталось. Многие бывшие члены ордена, прошедшие через тюрьмы, судилища, пытки, отступившиеся в страхе перед дыбой и зрелищем костров, на которых жгли их братьев, наполовину

потеряли рассудок. Жажда мщения, еще свежая память об утраченном могуществе и обладание тайнами черной магии, почерпнутыми на Востоке, сделали их фанатиками, тем более грозными, что скрывались они под смиренным одеянием писцов или блузой поденщиков. Они вновь объединились в тайное общество и повиновались таинственно передававшимся приказам никому не известного Великого магистра, который заменил прежнего Великого магистра, сожженного на костре.

В одну из зим именно эти люди, внезапно превратившиеся в деревенских проповедников, подобно пресловутому крысолову рейнских легенд, увлекли за собой молодежь Франции. Если верить им — в поход на Святую землю. Меж тем их истинною целью было разрушить королевство и уничтожить папство. И папа, и король были равно бессильны перед этими рассыпавшимися по дорогам ордами одержимых, перед этими человеческими реками, в которые вливались все новые и новые ручьи, будто кто-то околдовал землю Франции, Нормандии, Бретани, Пуату.

Десять тысяч, двадцать тысяч, сто тысяч… пастухи все шли и шли к каким-то таинственным сборным пунктам. К их толпам присоединялись

священники-расстриги, монахи-вероотступники, разбойники, воры, нищие и гулящие девки.

Перед этой разгульной и распутной лавиной молодых пастушков несли святой крест. Сотни тысяч путников в лохмотьях, входя в какой-нибудь город, чтобы попросить там милостыню, не задумываясь, пускали его на поток и разграбление.

И преступление, которое поначалу лишь сопровождает кражу, становится потребностью порочной натуры. Пастухи опустошали Францию в течение целого года, действуя даже с какой-то последовательностью, несмотря на беспорядок, царивший в их рядах, и не щадили ни храмов, ни монастырей. Париж с ужасом увидел, как эта армия грабителей заполонила его улицы. Король Филипп V из окна своего дворца призывал их к умиротворению. Они требовали от короля, чтобы он возглавил их поход. Взяв штурмом Шатле, они убили прево, разграбили аббатство Сен-Жермен-де-Пре. Затем новый приказ, столь же таинственный, как и тот, который собрал их, бросил их на дороги Юга. Парижане еще дрожали от страха, а пастухи уже запрудили Орлеан. Святая земля была далеко, и их неистовство испытали на себе города и провинции — Лимож, Бурж, Сент, а

также Перигор, Бордо, Гасконь и Ажене.

Иоанн XXII, обеспокоенный приближением мятежной волны к Авиньону, пригрозил отлучить от церкви этих лжекрестоносцев. Но им нужны были жертвы, и они набросились на евреев. Тут жители города, приветствуя кровавые погромы, стали брататься с пастухами. Были разгромлены гетто Лектура, Овилара, Кастельсарразена, Альби, Оша, Тулузы; в одном месте сто пятнадцать трупов, в другом — сто двадцать два… Не было города в Лангедоке, где обошлось бы без погрома. Евреи Вердена-сюр-Гаронн сначала бросали в фанатиков, словно метательные снаряды, своих собственных детей, а затем перерезали друг друга, чтобы не попасть в руки одержимых.

Тогда папа своим епископам, а король своим сенешалям приказали защитить евреев, в торговле коих они были заинтересованы. Графу де Фуа, подоспевшему на помощь сенешалю Каркассона, пришлось вести настоящее сражение, во время которого тысячи пастухов, отброшенных в болота Эг-Морта, погибли под ударами мечей и копий, были засосаны трясиной или утонули. Земля Франции пила свою собственную кровь, пожирала свою собственную молодежь. Духовенство и сановники королевства объединились,

преследуя тех, кто уцелел. Перед беглецами закрывали ворота городов, им отказывали в пище и ночлеге, их загоняли в глухие ущелья Севенн; пленников вешали на деревьях гроздьями по двадцать — тридцать человек. Мелкие банды продолжали бродить по стране еще около двух лет, проникали даже в Италию.

Франция, ее кровь и плоть, была поражена недугом. Едва положили конец неистовству пастухов, как началось безумие прокаженных.

Были ли виноваты эти несчастные с изъеденным болезнью телом, с лицами мертвецов и культяпками вместо рук, эти люди, заточенные в зараженных лепрозориях, где они плодились и множились, откуда им разрешалось выходить лишь с трещоткой в руках, были ли они действительно повинны в заражении вод? Ибо летом 1321 года источники, ручьи, колодцы и водоемы во многих местах оказались отравленными. И народ Франции в этот год задыхался от жажды на берегах своих полноводных рек или же пил эту воду, с ужасом ожидая после каждого глотка неминуемой смерти. Не приложил ли тут свою руку все тот же орден тамплиеров, не он ли изготовил странный яд, в состав которого входили человеческая кровь, моча, колдовские

травы, головы ужей, толченые жабьи лапки, кощунственно проколотые просфоры и волосы развратниц; яд, которым, как уверяли, и были заражены воды? Или, быть может, тамплиеры толкнули на бунт этих проклятых Богом людей, внушив им, как признали под пыткой некоторые прокаженные, желание погубить всех христиан или заразить их проказой?

Бедствие началось в Пуату, где в это время находился король Филипп V. Оно быстро охватило всю страну. Жители городов и деревень бросились на лепрозории, чтобы перебить больных, внезапно ставших врагами общества. Щадили только беременных женщин и матерей, да и то лишь до тех пор, пока они кормили своих младенцев. Затем и их предавали сожжению. Королевские судьи покрывали в своих приговорах эти массовые убийства, а знать даже выделяла для их свершения своих вооруженных людей. Затем снова принялись за евреев, которых обвиняли как соучастников какого-то чудовищного, но непонятного заговора, вдохновленного, как уверяли, мавританскими королями Гранады и Туниса. Казалось, Франция, принося эти неисчислимые человеческие жертвы, пыталась утишить свои тревоги, избавиться от страхов.

Ветер Аквитании был насыщен зловещей гарью костров. В Шиноне евреи всей округи были брошены в огромный, объятый пламенем ров; в Париже они были сожжены на том самом злосчастном острове, который носил их имя, напротив королевского дворца, как раз там, откуда Жак де Моле бросил свое роковое проклятие.

И король умер. Он умер от горячки и мучительной болезни, которой заразился в своем удельном владении Пуату и которая поразила его внутренности; он умер, выпив воды из французских рек, отравленной людьми французской земли.

Целых пять месяцев он угасал в ужасных страданиях, изнуренный, похожий на скелет.

Каждое утро он приказывал открывать двери своей опочивальни в аббатстве Лонгшан, куда велел перевезти себя, и разрешал всем прихожанам подходить к своему ложу и говорил им: «Смотрите, вот король Франции, ваш верховный суверен, самый несчастный человек во всем своем королевстве, ибо не найдется ни одного среди вас, с которым я не поменялся бы своей участью. Смотрите, дети мои, на своего государя и обращайтесь всем сердцем к Богу, дабы уразумели вы, что все смертные лишь игрушки в его руках».

Его останки были погребены рядом с прахом

предков в Сен-Дени на другой день после праздника Богоявления, 7 января 1322 года, и никто, кроме жены, не оплакивал его.

А меж тем он был весьма мудрым правителем, заботившимся о государственном благе. Он объявил весь королевский домен, то есть собственно Францию, единым и неделимым; он унифицировал монеты, меры и весы, перестроил судебную систему, с тем чтобы правосудие отправлялось с большей справедливостью, запретил совмещать несколько государственных должностей, закрыл прелатам доступ в парламент, учредил особый надзор над финансами. Он предпринял также дальнейшие шаги по раскрепощению крестьян; ему хотелось полностью искоренить крепостничество в своем государстве, он желал править «подлинно свободными» людьми, такими как их создала природа.

Он не поддался соблазну войны и упразднил многие гарнизоны внутри государства, усилив пограничные посты, при всех обстоятельствах предпочитал выторговывать мир, лишь бы избегать бессмысленных военных походов. Но он родился слишком рано, и народ еще не осознал, что за справедливость и мир стоит платить столь высокую цену, и не понял, почему король так на-

стойчиво добивался поддержки народной. Люди спрашивали: «На что шли доходы, десятины и ежегодные сборы, кредиты ломбардцев и евреев, если количество подачек сократилось, ристалищ не устраивали, зданий не возводили? В какую же прорву все это ухнуло?»

Знатные бароны внешне смирились и нередко перед лицом крестьянских волнений волей-неволей сплачивались вокруг суверена, но терпеливо ждали своего часа, чтобы взять реванш. Удовлетворенным взором они наблюдали за агонией своего молодого короля, так им не полюбившегося.

Филипп V, опередивший свое время, был одинок и так и ушел непонятым.

После него остались лишь дочери; закон о престолонаследовании, который он издал себе на пользу, исключал женщин из числа претендентов на трон. Корона досталась его младшему брату Карлу де ла Маршу, не блещущему умом, зато блещущему красотой. Всемогущий граф Валуа, граф Робер Артуа, вся родня Капетингов и крамольные бароны вновь торжествовали. Наконец-то можно снова разглагольствовать о Крестовом походе, вмешаться в интриги империи, наживаться на курсе золота и с усмешкой

наблюдать за трудностями, переживаемыми английским королевством.

А в Англии легкомысленный и незадачливый король, находящийся в плену любовной страсти к своему фавориту, вел борьбу с баронами, епископами и тоже обагрял землю королевства кровью своих подданных.

Там в постоянном страхе за свою жизнь влачила долгие дни, дни униженной женщины и поруганной королевы, дочь французского короля и плела паутину заговора, желая спасти себя и отомстить своим недругам.

Казалось, Изабелла, дочь Железного короля и сестра Карла IV Французского, принесла с собой на тот берег Ла-Манша проклятие тамплиеров…

Часть первая
ОТ ТЕМЗЫ ДО ГАРОННЫ
Глава I
«Из Тауэра не бегут...»

Чудовищно огромный, размером чуть не с гуся ворон, черный и переливчатый, прыгал перед окошком. Иногда ворон останавливался, опустив крылья, и прикрывал веком круглый глаз, будто сморенный дремотой. Потом вдруг вытягивал клюв, стараясь угодить в человеческий глаз, блестевший за решеткой окошка. Эти серые глаза, отливавшие кремнистым блеском, казалось, неудержимо притягивали птицу. Но узник был проворен и всякий раз успевал увернуться. Тогда ворон снова принимался расхаживать перед окошком, передвигаясь короткими тяжелыми прыжками.

Потом наступала очередь узника. Теперь уж он высовывал из окошка большую красивую руку с длинными сильными пальцами и потихоньку вытягивал ее вперед, затем рука замирала и, бессильно лежа в пыли, походила на обломанную ветвь, а на самом деле лишь ждала минуты,

чтобы схватить ворона за шею.

Но, несмотря на свою величину, птица тоже была подвижной — с хриплым карканьем она отскакивала в сторону.

— Берегись, Эдуард, берегись, — говорил человек за решеткой. — Рано или поздно я тебя все равно придушу.

Ибо он нарек зловещего ворона именем своего врага — короля Англии.

Вот уже полтора года продолжалась эта игра, полтора года ворон старался выклевать глаза узнику, полтора года узник пытался задушить черную птицу, полтора года Роджер Мортимер, восьмой барон Уигморский, знатный сеньор Валлийской марки и бывший наместник короля в Ирландии, находился вместе со своим дядей Роджером Мортимером, лордом Чирком, бывшим наместником Уэльса, в заточении в одном из каменных мешков Тауэра. Обычай требовал, чтобы заключенных столь высокого ранга, принадлежащих к древнейшей знати королевства, содержали в более или менее пристойном помещении. Но король Эдуард II после победы, одержанной им в битве под Шрусбери над мятежными баронами, двух своих пленников Мортимеров приказал содержать в тесной темнице с нависшим потолком,

куда свет проникал лишь в окошко, расположенное вровень с землей; само же узилище находилось в новом здании, недавно построенном по желанию Эдуарда справа от колокольни. Вынужденный под давлением двора, епископов и даже народа заменить пожизненным заключением смертную казнь, к которой по его приказанию приговорили Мортимеров, король надеялся, что эта губительная для человека дыра, этот погреб, где узник упирался макушкой в потолок, с успехом заменит палача.

И в самом деле, если тридцатишестилетний Роджер Мортимер Уигморский сумел выжить в этой темнице, то полтора года, проведенные в каменном мешке, куда через окошко вползал туман, где во время дождей по стенам струилась вода, а в жаркие месяцы стояла удушающая жара, сломили старого лорда Чирка. Старший Мортимер, облысевший, потерявший все зубы, с распухшими ногами и скрюченными ревматизмом пальцами, почти не покидал дубовой доски, служившей ему ложем, а племянник его с утра устраивался у окошка, устремив взор к свету.

Шло второе лето их заточения.

Вот уже два часа, как взошло солнце над самой

прославленной крепостью Англии[37], сердцем королевства и символом могущества ее владык, над Белым Тауэром — огромной квадратной башней, кажущейся легкой, несмотря на свои гигантские размеры, и построенной еще Вильгельмом Завоевателем на фундаменте старой римской крепости, — над сторожевыми башнями и зубчатыми стенами, возведенными Ричардом Львиное Сердце, над королевским дворцом, часовней Святого Петра и воротами Предателей. День обещал быть таким же жарким и душным, что и накануне, так как солнце успело раскалить камни, а из крепостных рвов, расположенных вдоль берега Темзы, поднимался тошнотворный запах тины.

Ворон по кличке Эдуард вспорхнул, стая гигант-

---

[37] Примечания: 37

Тауэр еще в XIV в. представлял собой восточную границу Лондона и даже был отделен от Сити, то есть собственно города, монастырскими садами. Современный Тауэр-бридж, разумеется, не существовал; единственный лондонский мост был тогда перекинут через Темзу выше Тауэра по течению.

Если главное сооружение, Белый Тауэр, построенное около 1078 г. по приказу Вильгельма Завоевателя его архитектором монахом Гэндальфом, предстает перед нами спустя девятьсот лет почти в своем первоначальном виде — реставрация Кристофера Рена, несмотря на расширение оконных проемов, мало что изменила, — то общий вид всего укрепленного ансамбля во времена Эдуарда II изрядно отличался от нынешнего.

Современный пояс укреплений еще не был построен, за исключением башни Святого Томаса и Средней башни, обязанных своим появлением

соответственно Генриху III и Эдуарду I. То, что образует сегодня второй пояс, было тогда внешними стенами — этот пятиугольный ансамбль с двенадцатью башнями построил Ричард Львиное Сердце и постоянно переделывали его преемники.

Можно наблюдать удивительную эволюцию средневекового стиля на протяжении одного века, сравнивая Белый Тауэр (конец XI в.), где, несмотря на огромность массы, в форме и пропорциях сохраняется воспоминание о древних галло-римских виллах, и окружающие укрепления Ричарда Львиное Сердце (конец XII в.), — вторая постройка уже имеет характеристики классического замка типа Шато-Гайара во Франции, возведенного самим Ричардом I, или более поздних анжуйских построек в Неаполе.

Белый Тауэр остался единственным практически нетронутым монументом, свидетельствующим о стиле начала тысячелетия, потому что им постоянно пользовались на протяжении веков.

ских птиц полетела к пользующейся печальной славой лужайке Грин, где в дни смертной казни устанавливали плаху; птицы клевали там траву, напоенную кровью шотландских патриотов, государственных преступников и впавших в немилость фаворитов.

Лужайку скребли скребком, подметали окружавшие ее мощеные дорожки, но вороны не боялись человека, так как никто не осмеливался тронуть этих птиц, которые поселились здесь с незапамятных времен и были окружены своего рода суеверным уважением.

Из кордегардии выходили солдаты, они на ходу затягивали пояса, зашнуровывали поножи, надевали железные шлемы, спеша на ежедневный смотр, ибо сегодня, 1 августа, в День святого Петра в оковах, в честь которого была выстроена часовня, и в ежегодный праздник Тауэра, смотр происходил особенно торжественно.

Засовы низкой дверцы, ведущей в темницу Мортимеров, заскрежетали. Тюремщик открыл дверь, бросил взгляд внутрь и пропустил брадобрея. Брадобрей, длинноносый человечек с маленькими глазками и губами, сложенными сердечком, приходил раз в неделю брить Роджера Мортимера-младшего. В зимние месяцы

эта операция превращалась в подлинную пытку для узника, ибо констебль[38] Стивен Сигрейв, комендант Тауэра, заявил:

— Если лорд Мортимер желает ходить бритым, я буду посылать к нему цирюльника, но я отнюдь не обязан снабжать его горячей водой.

Лорд Мортимер держался стойко, во-первых, для того, чтобы показать констеблю свое презрение, во-вторых, потому, что заклятый его враг король Эдуард носил красивую светлую бородку; наконец — и это было главное, — он делал это для себя самого, ибо знал, что стоит заключенному сдаться хотя бы в мелочи, и он неизбежно опустится физически. Перед глазами его был пример дяди, который перестал следить за собой; беспорядочно растущая, спутанная

---

[38] Примечания: 38

Слово «констебль» *(constable)*, искаженное «коннетабль» *(connetable)*, которое обозначает в наши дни офицера полиции, было официальным титулом коменданта Тауэра. Констеблю помогал бывший у него в подчинении лейтенант. Эти две должности, впрочем, существуют и поныне, но стали чисто почетными — на них назначаются прославившие себя военные в конце карьеры. Действительные функции коменданта Тауэра в наши дни осуществляет *майор*, который тоже является генералом. Как видим, в званиях тут полная противоположность тому, что наблюдается в армии. *Майор* проживает в Тауэре, в Доме Короля — или Королевы, — постройке эпохи Тюдоров, примыкающей к Колокольной башне; первые королевские покои, которые датируются временем Генриха I, были снесены при Кромвеле. Равным же образом в эпоху нашего рассказа — в 1323 г. — существовала лишь романская часть современной часовни Святого Петра.

борода и растрепанные пряди волос придавали лорду Чирку вид старого отшельника; к тому же он беспрестанно жаловался на одолевавшие его многочисленные недуги.

— Только страдания моей несчастной плоти, — говорил он иногда, — напоминают мне, что я еще жив.

Итак, Роджер Мортимер-младший принимал брадобрея Огла каждую неделю, даже тогда, когда приходилось пробивать лед в тазике, а щеки после бритья кровоточили. Однако он был вознагражден за все свои муки, так как через несколько месяцев по некоторым признакам понял, что Огл может служить ему для связи с внешним миром. Странный человек был этот брадобрей: корыстолюбивый и одновременно способный принести себя в жертву, он страдал от своего подчиненного положения, считая, что заслуживает лучшей участи; интрига давала ему возможность взять тайный реванш, ибо, проникая в тайны знатных людей, он как бы вырастал в собственных глазах. Барон Уигмор был, несомненно, самым благородным как по происхождению, так и по характеру человеком, с каким ему когда-либо приходилось иметь дело. Кроме того, узник, упорно продолжавший бриться даже в морозные дни, невольно

вызывает восхищение!

С помощью брадобрея Мортимеру удавалось поддерживать хоть и не часто, но регулярно связь со своими сторонниками, и в первую очередь с Адамом Орлетоном, епископом Херефордским; наконец, через брадобрея он узнал, что можно попытаться привлечь на свою сторону помощника коменданта Тауэра Джерарда Элспея; все через того же брадобрея Мортимер разрабатывал план побега. Епископ заверил его, что он будет освобожден летом. И вот лето наступило…

Время от времени тюремщик, движимый профессиональной привычкой, а не чрезмерной подозрительностью, бросал через глазок в двери взгляд в темницу.

Роджер Мортимер, склонившись над деревянной лоханью — увидит ли он когда-нибудь вновь таз из тонкого чеканного серебра, которым пользовался раньше? — слушал ничего не значащую болтовню брадобрея, с умыслом повысившего голос, чтобы обмануть бдительность тюремщика. Солнце, лето, жара… По-прежнему стоит хорошая погода, и — что самое замечательное — даже в праздник святого Петра…

Наклонившись еще ниже над Мортимером, Огл шепнул ему на ухо:

— Be ready for tonight, my lord[39].

Роджер Мортимер даже не вздрогнул. Только поднял глаза серо-кремневого оттенка под густыми бровями и взглянул в маленькие черные глазки брадобрея, который движением век подтвердил сказанное.

— Элспей?.. — прошептал Мортимер.

— He'll go with us[40], — ответил брадобрей, принимаясь за другую щеку барона.

— The bishop?[41] — спросил еще узник.

— He'll wait for you outside, after dark[42], — проронил брадобрей и тотчас же вновь громко заговорил о погоде, о готовящемся смотре и игрищах, которые состоятся после полудня…

Наконец бритье было окончено, Роджер Мортимер ополоснул лицо и вытерся холстиной, даже не ощутив ее грубого прикосновения к коже.

Когда брадобрей Огл удалился в сопровождении тюремщика, узник обеими руками сжал

---

[39] Примечания: 39
Будьте готовы сегодня вечером, милорд *(англ.).*

[40] Примечания: 40
Он отправится вместе с нами *(англ.).*

[41] Примечания: 41
А епископ? *(англ.)*

[42] Примечания: 42
Он будет ждать вас снаружи, как только стемнеет *(англ.).*

себе грудь и глубоко вздохнул. Он едва сдержал себя, чтобы не закричать: «Будьте готовы сегодня вечером!» Слова брадобрея гудели у него в голове. Неужели сегодня вечером *это* наконец свершится?

Он подошел к нарам, где дремал его товарищ по узилищу.

— Дядя, — проговорил он, — побег состоится сегодня вечером.

Старый лорд Чирк со стоном повернулся, поднял на племянника выцветшие глаза, отливавшие в полумраке темницы зеленью, как морская вода, и устало ответил:

— Из Тауэра не бегут, мой мальчик… Ни сегодня вечером, и ни в какое другое время.

Лицо Мортимера-младшего омрачила тень досады. К чему это упрямое отрицание, это нежелание рисковать человеку, которому осталось так мало жить, который даже в худшем случае рискует всего лишь годом? Усилием воли он заставил себя промолчать, боясь вспылить. Хотя они говорили между собой по-французски, как весь двор и вся знать нормандского происхождения, а слуги, солдаты и простолюдины говорили по-английски, они боялись, что их могут услышать.

Мортимер вернулся к окошку и стал смотреть

снизу вверх на лужайку, где выстроились солдаты, он испытывал волнение при мысли, что, быть может, видит смотр в последний раз.

На уровне его глаз мелькали солдатские поножи; тяжелые кожаные башмаки топали по земле. Роджер Мортимер не мог удержаться от восхищения, глядя на упражнения, четко выполняемые прославленными на всю Европу английскими лучниками, которые успевали выпустить дюжину стрел в минуту.

Стоя посредине лужайки, помощник коменданта Элспей, застыв неподвижно, как каменное изваяние, громким голосом выкрикивал слова команды, представляя гарнизон констеблю. Трудно было поверить, что этот высокий молодой человек, светловолосый и розовощекий, столь ревностный служака, обуреваемый желанием отличиться, мог пойти на измену. Должно быть, его толкали на этот шаг иные соображения, нежели одна лишь денежная приманка. Джерард Элспей, помощник коменданта Тауэра, так же как многие офицеры, шерифы, епископы и дворяне, жаждал видеть Англию освобожденной от негодных министров, окружавших короля; как и свойственно молодости, он мечтал играть выдающуюся роль; наконец, он страстно ненавидел и презирал сво-

его начальника, констебля Сигрейва.

А констебль, кривоглазый, с дряблым лицом выпивохи, человек нерадивый, попал на эту высокую должность исключительно благодаря протекции как раз тех самых никудышных министров. Следуя нравам, которые король Эдуард не только ни от кого не скрывал, но словно с умыслом выставлял напоказ, констебль превратил гарнизон в свой гарем. Особенно по душе ему были молодые рослые блондины, и поэтому жизнь Элспея, юноши весьма благочестивого и далекого от порока, превратилась в подлинный ад. Именно потому, что Элспей отверг нежности констебля, он стал объектом постоянных притеснений. Желая отомстить непокорному, Сигрейв не скупился на оскорбления и придирки. А так как кривоглазый констебль по лености не занимался службой, ему с избытком хватало времени, чтобы проявлять свою жестокость. Вот и сейчас, проводя смотр, он осыпал своего помощника грубыми насмешками, придираясь к любому пустяку — то к ошибке в построении, то к пятнышку ржавчины на клинке ножа, то к еле заметной дырочке в кожаном колчане. Его единственный глаз выискивал только недостатки.

Хотя был праздник — день, когда обычно нака-

зания не применяются, констебль велел высечь на месте троих лучников за то, что небрежно относились к своему снаряжению. Эти трое были как раз самыми примерными солдатами. Сержант принес лозу. Наказываемым велели спустить штаны перед шеренгой своих товарищей. Это зрелище, казалось, весьма забавляло констебля.

— Если стража не подтянется, — сказал он, — в следующий раз, Элспей, наступит ваш черед.

Затем весь гарнизон, за исключением часовых у ворот и на крепостной стене, промаршировал в часовню слушать мессу и петь церковные гимны.

До узника, стоявшего у окошка, доносились грубые, фальшивые голоса. «Будьте готовы сегодня вечером, милорд…» Бывший королевский наместник в Ирландии упорно думал о том, что вечером он, возможно, обретет свободу. Еще целый день ожидания, надежд, целый день опасений… Опасений, что Огл совершит какую-нибудь оплошность при выполнении задуманного плана, опасений, как бы в последнюю минуту в душе Элспея не возобладало чувство долга… Целый день перебирать в уме все возможные препятствия, все случайности, из-за которых может

сорваться побег.

«Лучше не думать об этом, — твердил он про себя, — лучше верить, что все окончится благополучно. Все равно всегда случается то, чего не предусмотришь заранее. Но побеждает тот, у кого крепче воля». И тем не менее Мортимер не мог отвлечься от своих тревожных мыслей: «На стенах все-таки останется стража…»

Вдруг он резко отпрянул назад. Незаметно прокравшись вдоль стены, ворон на сей раз чуть не клюнул узника в глаз.

— Ну, Эдуард, это уж слишком, — процедил Мортимер сквозь зубы. — И если мне суждено придушить тебя, то я сделаю это сегодня.

Солдаты гарнизона покинули церковь и вошли в трапезную для праздничной пирушки.

В дверях темницы вновь появился тюремщик в сопровождении стражника, разносящего заключенным пищу. Ради праздника к бобовой похлебке, в виде исключения, добавили кусочек баранины.

— Постарайтесь встать, дядя, — сказал Мортимер.

— Нас, словно отлученных от церкви, лишают даже мессы, — проговорил старый лорд.

Он и на этот раз не поднялся с нар. Впрочем, он

едва притронулся к своей порции.

— Возьми мою долю, тебе она нужней, чем мне, — сказал он племяннику.

Тюремщик ушел. До вечера никто больше не посещал заключенных.

— Итак, дядя, вы и в самом деле не хотите бежать со мной? — спросил Мортимер.

— Куда бежать, мой мальчик? Из Тауэра не бегут. Никогда еще никому не удавался побег отсюда. Кроме того, против своего короля не бунтуют. Конечно, Англия имела лучших монархов, чем Эдуард, и оба его Диспенсера с бóльшим правом могли бы занять наши места в темнице. Но короля не выбирают, королю служат. Зачем я послушался вас — тебя и Томаса Ланкастера, когда вы взялись за оружие? Ибо с Томаса сняли голову, а мы угодили в эту дыру…

В этот час, после нескольких ложек похлебки, дяде обычно приходила охота поговорить, и он, стеная и охая, заводил все те же монотонные речи, поверяя то, что племянник сотни раз слышал за эти полтора года. В шестьдесят семь лет Мортимер-старший уже ничем не напоминал того красавца, знатного вельможу, каким он был раньше, когда блистал на знаменитых турнирах, которые устраивались в замке Кенилворт и о

которых все еще вспоминали целых три поколения. Тщетно племянник старался высечь хотя бы искру былого огня в душе этого изнуренного старца, на лоб которого уныло свисали седые пряди волос, лицо его с трудом можно было различить в полумраке темницы.

— Боюсь, что меня подведут ноги, — добавил он.

— Почему бы вам не поупражняться немного! Расстаньтесь хоть на время с вашим одром. А потом я понесу вас на себе, я уже говорил вам об этом.

— Этого не хватало! Ты будешь перелезать со мной через стены, полезешь со мной в воду, а плавать я не умею. Ты прямым путем принесешь мою голову на плаху, а вместе с ней и свою. Сам Бог, возможно, готовит наше освобождение, а ты, упрямец, все загубишь своим сумасбродством. Да, бунт в крови у Мортимеров. Вспомни первого Роджера, сына епископа и дочери датского короля Герфаста. Под стенами своего замка в Мортимер-ан-Брей он перебил целую армию короля

Франции[43]. И однако, он так сильно оскорбил нашего кузена Завоевателя, что у него отобрали все земли и все добро…

Роджер-младший, сидевший на табурете, скрестил на груди руки, закрыл глаза и, откинувшись назад, оперся о стену. Приходилось терпеть ежедневную порцию воспоминаний о предках, в сотый раз смиренно слушать о том, как Ральф Бородатый, сын первого Роджера, высадился в Англии вместе с герцогом Вильгельмом, и как он получил в ленное владение Уигмор, и каким образом Мортимеры распространили свое могущество на четыре графства.

Из трапезной доносились застольные песни, которые горланили подвыпившие солдаты.

— Ради бога, дядя, — воскликнул Мортимер, — забудьте хоть на минуту наших предков. В отличие от вас я отнюдь не спешу встретиться с ними. Да, я знаю, что мы потомки короля. Но в тюрьме королевская кровь ничем не отличается от крови простого смертного. Разве меч Герфаста в силах освободить нас отсюда? Где теперь наши

[43] Примечания: 43

В 1054 г., против короля Генриха I Французского. Роджер I Мортимер, внук Херфаста Датского, был племянником Ричарда I Бесстрашного, третьего герцога Нормандского, деда Вильгельма Незаконнорожденного, то есть Вильгельма Завоевателя.

земли и на что нам в этой темнице наши доходы? И когда вы упорно перечисляете мне наших прапрабабушек — Эдвигу, Мелисинду, Матильду ла Мескин, Уолшелину де Феррер, Гладузу де Броз, неужели до конца дней я должен думать только о них, а не о какой-нибудь другой женщине?

Старик молчал, рассеянно рассматривая свою распухшую руку с непомерно длинными, поломанными ногтями. Потом он проговорил:

— Каждый заселяет свою темницу тем, чем может: старики — безвозвратно ушедшим прошлым, молодые — будущим, которого им не суждено увидеть. Ты, например, утешаешься тем, что вся Англия тебя любит и трудится ради твоего спасения, что епископ Орлетон — твой верный друг, что сама королева способствует твоему побегу и что ты через несколько часов отправишься во Францию, в Аквитанию, в Прованс или еще куда-нибудь. И что повсюду тебя будет встречать приветственный звон колоколов. Но ты увидишь, что нынче вечером никто не придет.

Усталым жестом он провел пальцами по векам и отвернулся к стене.

Мортимер-младший снова подошел к окошку, просунул руку между прутьями — она лежала в пыли, словно неживая.

«Теперь до вечера дядя будет дремать, — думал он, — а потом, в последнюю минуту, решится. С ним и впрямь будет нелегко; как бы из-за него не провалилась вся затея. Ага, вот и Эдуард».

Птица остановилась недалеко от неподвижно лежавшей руки и принялась чистить лапой свой большой черный клюв.

«Если я его задушу, побег удастся. Если нет — мне не убежать».

Это была уже не игра — Мортимер как бы заключил пари с самой судьбой. Чтобы хоть как-то заполнить часы ожидания и отвлечься от тревожных мыслей, узник изобретал всевозможные приметы. И теперь пристальным взглядом охотника следил он за огромным вороном. Но ворон, словно разгадав опасность, отошел подальше.

Солдаты выходили из трапезной с сияющими лицами. Они разбились на группки во дворе, и начались игрища с состязаниями в беге и борьбе, которые по традиции устраивались в этот праздник. В течение двух часов, сняв рубахи, солдаты потели под солнцем, мерились силой, стремясь прижать противника к земле, или демонстрировали ловкость, норовя попасть булавой в деревянный кол.

В темницу доносился крик констебля:

— Награда короля! А ну-ка, кому она достанется? Один шиллинг[44]!

Затем, когда уже начало смеркаться, солдаты отправились к водоему помыться, после чего, обсуждая свои подвиги и поражения, вновь вернулись в трапезную, где продолжалась пирушка, еще более шумная, чем утром. На того, кто не был пьян к вечеру в праздник святого Петра в оковах, презрительно косились товарищи. Узник слышал, как там, внизу, стражники набросились на вино. Двор постепенно окутывали сумерки, голубоватые сумерки летнего вечера, и снова из крепостных рвов потянуло запахом тины.

Внезапно неистовое, хриплое карканье, протяжный звериный крик, от которого человеку становится не по себе, раздался около окошка.

— Что случилось? — спросил старый лорд из глубины камеры.

— Я его упустил, — сказал племянник. — Ухватил не за шею, а за крыло.

В руках у Мортимера осталось несколько черных перьев, которые он грустно рассматривал в

---

[44] Примечания: 44

Шиллинг в ту эпоху был денежной единицей, но не монетой в собственном смысле слова. То же самое с фунтом и маркой. Самой крупной из ходивших тогда монет был пенни. Надо ждать царствования Эдуарда III, чтобы увидеть появление золотых монет — флоринов и ноблей. Серебряный шиллинг начнут чеканить только в XVI в.

слабых отсветах сумерек. Ворон исчез и на сей раз больше не вернется.

«Глупость, ребячество придавать этому значение, — думал Мортимер-младший. — Ничего, заветный час близок». Но он не в силах был прогнать дурные предчувствия.

От мрачных мыслей его отвлекла необычная тишина, вдруг воцарившаяся в Тауэре. Из трапезной не доносилось больше ни звука; пьяные голоса стихли; прекратился стук подносов и кувшинов. Были слышны лишь лай собаки в саду да далекий крик лодочника на Темзе… Уж не обнаружено ли предательство Элспея? И не потому ли все замолкло в крепости, что вслед за раскрытием великих заговоров обычно наступает оцепенение?

Прижавшись лбом к прутьям решетки, узник, затаив дыхание, пристально всматривался в темноту, ловил каждый звук. Какой-то лучник, шатаясь, пересек двор, уперся в стену в приступе неудержимой рвоты, потом свалился на землю и застыл. Мортимер разглядел неподвижную фигуру, лежавшую в траве. На небе появились первые звезды. Ночь обещала быть светлой.

Еще два солдата, держась за живот, вышли из трапезной и рухнули на землю у дерева. Это

было какое-то необычное опьянение, оно словно ударом дубинки намертво оглушало человека.

Роджер Мортимер шагнул вглубь камеры; на привычном месте, в углу, он нашел свои сапоги и обулся; он сильно исхудал за это время и натянул их без труда.

— Что ты делаешь, Роджер? — спросил Мортимер-старший.

— Готовлюсь, дядя, час близок. Кажется, наш друг Элспей поработал на славу, можно без преувеличения сказать, что весь Тауэр просто вымер.

— Нам и в самом деле не принесли ужина, — заметил старый лорд, и в голосе его прозвучало беспокойство.

Роджер Мортимер заправил рубашку в панталоны и затянул поясом свой походный камзол. Его одежда износилась и измялась, так как все эти полтора года ему отказывались выдать новую и он носил тот самый костюм, в котором сражался, когда его захватили в плен и сняли с него смятые доспехи; нижняя губа у него была рассечена подбородником.

— Если тебе удастся бежать, их месть падет на меня, — добавил дядя.

В том упорстве, с каким старик всячески ста-

рался отговорить племянника от побега, таилась немалая доля эгоизма.

— Слышите, дядя, к нам идут, — сказал Мортимер-младший ясным и властным голосом. — Вставайте.

В мощенном каменными плитами коридоре гулко отдавались шаги, кто-то спешил к их двери. Чей-то голос позвал:

— Милорд!

— Это ты, Элспей? — спросил Мортимер-младший.

— Да, милорд, но у меня нет ключа. Ваш тюремщик напился и куда-то задевал всю связку, а сейчас он в таком состоянии, что добиться от него толку невозможно. Я все обшарил.

С нар, где лежал дядя, послышался ехидный смешок.

От досады Мортимер-младший выругался. Может быть, Элспей просто струсил в последнюю минуту? Но тогда зачем он пришел? Или это была нелепая случайность, та самая случайность, которую узник старался предугадать в течение целого дня и которой суждено было принять вот эту смехотворно нелепую форму?

— Все готово, милорд, уверяю вас, — продолжал Элспей. — Полученный от епископа порошок,

который подмешали к вину, оказал превосходное действие. Они уже были совсем пьяны и ничего не заметили. А теперь все лежат, как трупы. Веревки готовы, лодка ждет вас. Но нет ключа.

— Сколько у вас времени?

– Часовые спохватятся не раньше чем через полчаса. Они тоже приняли участие в пирушке, прежде чем заступить в караул.

— Кто с тобой?

— Огл.

— Пошли его за молотком, клином и ломом, и отвалите камень.

— Я пойду с ним и тотчас же вернусь.

Они удалились. Роджер Мортимер отсчитывал время по ударам своего сердца. Подумать только, какой-то затерявшийся ключ! А теперь достаточно, чтобы часовой по самому пустяковому предлогу покинул свой пост, и все пропало… Даже старый лорд хранил молчание, и из дальнего угла доносились лишь его тяжелые вздохи.

Вскоре в щелку под дверью проник луч света. Элспей возвратился с брадобреем, который нес свечу и инструменты. Они обрушились на камень в стене, в который на глубине двух футов был вделан засов. Несмотря на их старания заглушить шум ударов, им казалось, что гул разносится по

всему Тауэру. Осколки камня сыпались на пол. Наконец кладка поддалась и дверь открылась.

— Быстрее, милорд, — проговорил Элспей.

Его раскрасневшееся лицо, освещенное свечой, было покрыто потом, руки дрожали.

Роджер Мортимер подошел к дяде и склонился над ним.

— Нет, иди один, мой мальчик, — сказал старик, — ты должен бежать. Да хранит тебя Бог. И не сердись на меня за то, что я стар.

Взяв племянника за рукав, Мортимер-старший привлек его к себе и большим пальцем начертил на его лбу крест.

— Отомсти за нас, Роджер, — добавил он шепотом.

Пригнувшись, Роджер Мортимер вышел из темницы.

— Как пойдем? — спросил он.

— Через кухню, — ответил Элспей.

Помощник коменданта, брадобрей и узник поднялись на несколько ступенек, прошли по коридору, пересекли множество темных комнат.

— Ты вооружен, Элспей? — внезапно прошептал Мортимер.

— У меня есть кинжал.

— Там впереди кто-то стоит!

На фоне стены смутно виднелась чья-то тень, которую Мортимер заметил первым. Брадобрей прикрыл ладонью слабое пламя свечи; Элспей вытащил кинжал; все трое замедлили шаг.

Человек, скрытый полумраком, не шевелился. Распластав крестом руки и раздвинув ноги, он, казалось, лишь с трудом удерживал равновесие.

— Это Сигрейв, — шепнул Элспей.

Кривой констебль, поняв, что его и всю стражу опоили зельем, кое-как добрался сюда и теперь боролся с непреодолимым оцепенением. Он видел, как убегал его узник; видел, что помощник предал его, но не мог издать ни единого звука; тело отказывалось ему повиноваться, и в единственном глазу под упорно не желавшим подыматься веком читался предсмертный ужас. Элспей с размаху ударил его кулаком по лицу; голова Сигрейва стукнулась о камень стены, и констебль рухнул на пол.

Трое мужчин прошли мимо двери огромной трапезной, где чадили факелы; там находился весь гарнизон, спавший глубоким сном. Навалившись на столы, раскинувшись на скамьях, растянувшись прямо на полу, храпели лучники, раскрыв рты и застыв в нелепых позах, — казалось, некий волшебник погрузил их

в вековой сон. То же зрелище открылось им в кухне, освещенной слабым светом дотлевавших под огромными котлами углей, в кухне, где стоял тяжелый запах горелого сала. Маркитанты также приложились к аквитанскому вину, к которому брадобрей Огл подмешал зелье, и теперь валялись пузом кверху, широко раскинув руки, кто под кухонным столом, кто около ящика для хлеба, кто между кувшинами. Казалось, тут было лишь одно живое существо — кот: обожравшийся сырого мяса, бродил он по столам, осторожно переставляя лапки.

— Сюда, милорд, — сказал помощник коменданта, указывая узнику на чулан, служивший отхожим местом, куда обычно сливали помои.

В этом чулане было пробито слуховое окошко, через которое мог пролезть человек, — единственное отверстие на этой стороне крепости[45].

---

[45] Примечания: 45

Очень вероятно, в башне Бичем (Beauchamp), которая, правда, еще не носила это название. Она стала так называться лишь с 1397 г. из-за заточенного в ней Томаса Бичема, графа Уорика, который был — любопытное совпадение — внуком Роджера Мортимера. Башня, построенная при Эдуарде II, во времена Мортимера была совсем недавним сооружением.

Окошки отхожих мест были слабым звеном укрепленных построек. Именно через отверстие подобного рода солдаты Филиппа Августа смогли после долгой осады, грозившей оказаться напрасной, проникнуть ночью в Шато-Гайар — большую французскую крепость Ричарда Львиное Сердце.

Огл принес веревочную лестницу, которую он припрятал в сундуке, и пододвинул табуретку. Лестницу привязали к оконной раме; Элспей полез первым, за ним Роджер Мортимер и, наконец, брадобрей. Вскоре все трое, уцепившись за лестницу, заскользили вдоль стены в тридцати футах от тускло поблескивавшей в крепостном рву воды. Луна еще не взошла.

«Дядя и в самом деле не смог бы бежать с нами», — подумал Мортимер.

Вдруг рядом с ним зашевелилось что-то черное и послышался шорох перьев. Это был устроившийся на ночь в бойнице огромный ворон, сон которого потревожили беглецы. Мортимер машинально протянул руку и, пошарив в теплых перьях, нащупал птичью шею. Ворон издал протяжный страдальческий крик, похожий на крик человека; беглец изо всех сил сжал кисть и, повернув руку, почувствовал наконец, как под его пальцами хрустнули позвонки.

Дохлая птица с громким всплеском упала в воду.

— Who goes there?[46] — тотчас же крикнул часовой.

---

[46] Примечания: 46
Кто идет? *(англ.)*

И из-за зубца стены на верхушке колокольни свесилась голова в шлеме. Трое беглецов, вцепившись в веревочную лестницу, прижались к стене.

«Зачем я это сделал? — подумал Мортимер. — Зачем поддался глупому искушению? Побег и без того связан с риском, и незачем создавать дополнительные трудности. К тому же я не знаю даже, был ли это Эдуард...»

Между тем часовой, убедившись, что все спокойно, возобновил обход, и шум его шагов затих в ночи.

Беглецы продолжили спуск. В это время года воды во рву было мало. Трое мужчин погрузились в нее по плечи и пошли вдоль основания крепости, опираясь рукой о камни стены. Они обогнули колокольню и пересекли ров, стараясь не шуметь. Откос рва был покрыт скользким илом. Помогая друг другу, беглецы ползком взобрались наверх, затем, пригнувшись, добежали до берега реки. Там, спрятанная в камышах, их ждала лодка. На веслах сидели двое гребцов; какой-то человек, закутанный в широкий темный плащ и в темном капюшоне, сидел на корме; он тихо свистнул три раза. Беглецы прыгнули в лодку.

— Милорд Мортимер, — сказал человек в пла-

ще, протягивая руки.

— Милорд епископ, — ответил беглец, тем же жестом протянув свои руки.

Его пальцы нащупали кабошон перстня, и он прикоснулся к нему губами.

— Go ahead quickly![47] — скомандовал прелат гребцам.

И весла вспенили воду.

Адам Орлетон, лорд-епископ Херефордский, назначенный на эту должность папой против воли короля и возглавлявший оппозицию духовенства, способствовал побегу самого знатного сеньора королевства. Все было сделано и подготовлено Орлетоном, это он склонил на свою сторону Элспея, уверив его, что в награду за помощь тот получит целое состояние и место в раю, это он снабдил его зельем, которое погрузило Тауэр в сонное оцепенение.

— Все прошло удачно, Элспей? — спросил он.

— Как нельзя лучше, милорд, — ответил помощник коменданта. — Сколько времени они еще проспят?

— Не меньше двух дней… Здесь у меня то, что обещано каждому, — сказал епископ, распахивая

---

[47] Примечания: 47
Вперед, быстро! *(англ.)*

плащ и показывая тяжелый кошель. — И для вас, милорд, у меня тоже имеется сумма, которой вам хватит по крайней мере на несколько недель.

В эту минуту до них донесся крик часового:

— Sound the alarm![48]

Но лодку уже подхватило течение, а самые отчаянные крики часовых не в силах были разбудить Тауэр.

— Я обязан вам всем, и прежде всего жизнью, — обратился Мортимер к епископу.

— Доберитесь до Франции, — ответил епископ, — только тогда вы сможете меня благодарить. На другом берегу, в Бермондсее, нас ждут лошади. В Дувре мы зафрахтовали корабль. Он уже готов к отплытию.

— Вы отправитесь вместе со мной?

— Нет, милорд, у меня нет никаких причин для бегства. Как только я посажу вас на корабль, я возвращусь в свою епархию.

— А вы не опасаетесь за свою судьбу после того, что произошло здесь?

— Я служитель церкви, — ответил епископ с легкой насмешкой в голосе. — Король ненавидит меня, но тронуть не осмелится.

---

[48] Примечания: 48
Тревога! *(англ.)*

Этот прелат, спокойно и уверенно разговаривавший на водах Темзы так, словно находился у себя в епископском дворце, обладал незаурядным мужеством, и Мортимер искренне восхищался им.

Гребцы сидели в середине лодки; Элспей и брадобрей устроились на носу.

— А что королева? — спросил Мортимер. — Видели ли вы ее? Ее по-прежнему мучают?

— Сейчас королева в Йоркшире, где путешествует король. Кстати, это облегчило наше предприятие. Ваша супруга, — епископ выделил голосом это слово, — ваша супруга вчера передала мне оттуда последние новости.

Мортимер почувствовал, что краснеет, и возблагодарил темноту, скрывшую его смятение. Он побеспокоился о королеве раньше, чем о своих родных и о своей собственной жене. И почему, спрашивая о ней, он понизил голос? Не означало ли это, что все полтора года в заточении он думал лишь о королеве Изабелле?

— Королева желает вам всяческого добра, — продолжал епископ. — Это она вручила мне из своего ларца — кстати, из полупустого ларца, который наши добрые друзья Диспенсеры великодушно соглашаются оставлять ей, — деньги,

а я вручу их вам, чтобы вы могли жить во Франции. Все же остальное: то, что положено Элспею, брадобрею, плата за лошадей и ожидающий вас корабль, — все это оплатила моя епархия.

Он положил свою руку на руку беглеца.

— Да вы промокли! — воскликнул он.

— Пустяки! — проговорил Мортимер. — Воздух свободы быстро высушит меня.

Он поднялся, снял камзол и рубашку и стоял теперь в лодке с обнаженным торсом. У него было красивое, крепкое тело, мощные плечи и длинная мускулистая спина; в заточении он похудел, но тем не менее от него по-прежнему веяло силой. Только что взошедшая луна заливала его серебристым светом, обрисовывая мускулы на груди.

— Сообщница влюбленных, недруг беглецов, — сказал епископ, показывая на луну. — Мы удачно проскочили.

Роджер Мортимер чувствовал, как по его коже и мокрым волосам струился ночной ветерок, напоенный влагой и ароматом трав. Темза, плоская и черная, бежала вдоль лодки, а весла вздымали фонтаны сверкающих брызг. Приближался противоположный берег. Барон обернулся, чтобы взглянуть последний раз на Тауэр, высокий, непомерно огромный, вздымающийся

над крепостными стенами, рвами и насыпями. «Из Тауэра не бегут…» Он был первым узником, которому удалось совершить побег из Тауэра; он понимал все значение своего поступка, понимал, что бросает вызов могуществу королей.

Позади, в ночи, вырисовывался уснувший город. Вдоль обоих берегов до большого Торгового моста, охраняемого высокими башнями, медленно покачивался лес мачт. Это стояли на якоре корабли Лондонской Ганзы, Тевтонской Ганзы, Парижской Ганзы морской торговли. Корабли со всей Европы, которые привозили полотна из Брюгге, медь, деготь, вар, кожи, вина из Сентонжа и Аквитании, сушеную рыбу, а вывозили во Фландрию, в Руан, в Бордо, в Лиссабон хлеб, кожи, олово, сыры и особенно шерсть, лучшую в мире шерсть английских овец. Среди кораблей своей формой и обильной позолотой выделялись большие венецианские галеры.

Но Роджер Мортимер Уигморский уже думал о Франции. Сначала он попросит убежища в Артуа, у своего кузена Жана де Фьенна, сына брата его матери… И он широко распростер руки жестом свободного человека.

А епископ Орлетон, сожалевший, что не родился ни красавцем, ни сеньором, не без зависти

смотрел на это крупное, уверенное в движениях тело, точно напрягшееся перед прыжком, на этот высокий, словно литой, торс, на этот гордый подбородок и жесткие вьющиеся волосы человека, который увозит с собой в изгнание судьбу Англии.

Глава II
Поруганная королева

Подушечка из красного бархата, на которую королева Изабелла ставила свои узкие ступни, была протерта до ниток основы; золотые кисточки на четырех ее углах потускнели; французские лилии и английские львы, вышитые на ткани, обтрепались. Но к чему менять подушку, к чему заказывать другую, если новая сразу же попадет под вышитые жемчугом туфли Хью Диспенсера — любимца короля! Королева смотрела на эту старую подушечку, знакомую с плитами всех замков королевства: несколько месяцев в Дорсете, затем в Норфолке, прошлую зиму в Уорике, а это лето в Йоркшире, всякий раз не более трех дней на одном месте. Менее недели назад, 1 августа, двор находился в Коуике, вчера остановились в Эзерике, сегодня почти по-лагерному расположились

в приорстве Киркхейм, а послезавтра, возможно, отправятся в Локтон или Пикеринг. Несколько пыльных драпировок, погнутую посуду, поношенные платья — весь багаж королевы Изабеллы — снова свалят в дорожные сундуки; кровать с пологом разберут, а потом ее вновь соберут в другом месте, да и сама кровать от частых перевозок того и гляди развалится, и на эту кровать королева укладывала с собой то свою придворную даму Джейн Мортимер, то своего старшего сына, принца Эдуарда, ибо боялась, что ее убьют, если она останется одна. Не осмелятся же Диспенсеры заколоть ее на глазах наследного принца… И продолжалось путешествие по королевству, по зеленым его полям и грустным замкам.

Эдуарду II хотелось показать себя самым ничтожным своим вассалам; он воображал, что, останавливаясь у них, оказывает им честь и с помощью дружеских слов приобретет в их лице верных союзников против шотландцев и уэльской партии, но в действительности он выгадал бы куда больше, если бы не показывался на людях. В каждом его движении чувствовалась какая-то развинченность и вялость; та чрезмерная легкость, с какой он толковал о государственных делах и какая, по его мнению, являлась при-

знаком истинно королевской безмятежности, оскорбляла сеньоров, аббатов и именитых горожан, приходивших поведать ему о местных нуждах; его подчеркнутая интимность со своим всемогущим камергером, чью руку он нежно поглаживал даже на заседаниях Совета и во время мессы, его резкий смех, щедроты, которыми он ни с того ни с сего осыпал какого-нибудь писца либо конюшего, подтверждали скандальные слухи, доходившие до самых отдаленных уголков графств, где мужья, конечно, так же как и повсюду, изменяли своим женам, но изменяли с женщинами; и то, о чем до его приезда говорили лишь шепотом, после его отъезда говорили во весь голос. Достаточно было появиться этому светлобородому венценосному красавцу, столь слабому духом, и сразу же от королевского престижа и величия не оставалось и следа. А окружавшие Эдуарда II алчные куртизаны навлекали на него еще большую ненависть.

Всеми забытая Изабелла присутствовала при этом позоре, не в силах помешать падению королевского престижа. Противоречивые чувства терзали ее: с одной стороны, Изабелла, истая дочь Капетингов, получившая от них в наследство царственный нрав, не могла без возмущения и

муки видеть, как год за годом падает престиж королевской власти, но с другой стороны, поруганная, оскорбленная, живущая в постоянном страхе супруга короля радовалась в глубине души каждому новому врагу короны. Она не понимала, как могла она раньше любить или хотя бы делать вид, что любит столь презренное существо, обращавшееся с ней как с последней служанкой. Зачем от нее требуют участия в этих поездках, зачем выставляют ее, поруганную королеву, напоказ всему королевству? Уж не считают ли король и его фаворит, что присутствие королевы обманет людей и придаст невинный характер их связи? Или, напротив, не хотят выпускать ее из-под своего наблюдения? С какой радостью она осталась бы в Лондоне, или Виндзоре, или даже в одном из тех замков, которые якобы были подарены ей и где она могла бы ждать счастливого поворота судьбы или хотя бы старости! И как жалела она о том, что Томас Ланкастер и Роджер Мортимер, эти могучие бароны, настоящие мужчины, не добились в прошлом году успеха во время поднятого ими мятежа…

Она устремила свои прекрасные голубые глаза на сира Бувилля, посланца французского двора, и негромко сказала:

— Уже целый месяц вы наблюдаете мою жизнь, мессир Юг. Я даже не прошу вас рассказывать о моих страданиях ни брату моему, ни дяде Карлу Валуа. Уже четыре короля сменилось на французском престоле: мой отец, король Филипп, который выдал меня замуж ради интересов короны…

— Упокой Господь его душу, мадам, упокой ее Господь! — произнес толстяк Бувилль убежденным тоном, но голоса не повысил. — Не было человека в мире, которого бы я любил сильнее и которому бы служил я с большей радостью.

— …затем брат мой Людовик, который царствовал всего лишь несколько месяцев; потом брат мой Филипп, с которым я не особенно была дружна, но который не был лишен благоразумия…

Бувилль нахмурился, как и всегда, когда при нем упоминали короля Филиппа Длинного.

— …наконец, брат мой Карл, правящий в настоящее время, — продолжала королева. — Всем им было известно о моем положении, и они ничего не смогли или ничего не захотели сделать. Англия интересует королей Франции лишь тогда, когда речь идет об Аквитании и о той присяге верности, которую должны им принести за это ленное владение. Французская принцесса на

английском троне, поскольку она тем самым становится герцогиней Аквитанской, является для них залогом мира. И когда в Гиени спокойно, что им до того, если дочь или сестра гибнет за морем от стыда и одиночества. Говорить им об этом нет никакого смысла. Однако дни, которые вы провели здесь со мной, стали для меня праздником, ибо я могла беседовать с вами как с другом. А вы сами видели, как мало у меня друзей. Пожалуй, их у меня и вовсе нет, кроме дорогой моей леди Джейн, которая неизменно разделяет мои страдания.

При последних словах королева повернулась к своей придворной даме, сидевшей рядом, к Джейн Мортимер, внучатой племяннице знаменитого сенешаля Жуанвилля, рослой женщине лет тридцати семи, с правильными чертами открытого лица и крупными белыми руками.

— Мадам, — отозвалась леди Джейн, — вы делаете значительно больше, дабы поддержать во мне бодрость духа, чем я в этом отношении делаю для вас. И вы пошли на большой риск, оставив меня при себе, раз супруг мой брошен в узилище.

Трое собеседников продолжали разговаривать вполголоса, ибо шепот и намеки вошли в обычай при этом дворе, где королева была лишена возможности уединиться и жила, окруженная

недоброжелателями.

Пока шла эта беседа, три горничные в углу комнаты вышивали одеяло для леди Элинор Диспенсер, жены фаворита, игравшей у открытого окна в шахматы с принцем-наследником. Немного поодаль второй сын королевы, которому три недели назад исполнилось семь лет, мастерил себе лук из орехового прута, а две ее маленькие дочки, Изабелла и Элинор, пяти и двух лет, сидя на полу, играли тряпичными куклами.

Передвигая шахматные фигуры, выточенные из слоновой кости, Элинор Диспенсер не переставала следить за королевой и старалась уловить ее слова. С гладким, но на редкость узким лбом, с горящими, близко посаженными глазами и иронической складкой губ, эта женщина, не будучи по-настоящему некрасивой, носила на себе печать уродства души. Эта представительница семейства Клэр прославилась своей необычной карьерой: сначала свояченица бывшего фаворита короля, рыцаря Гавестона, которого бароны, возглавляемые Томасом Ланкастером, казнили одиннадцать лет тому назад, теперь жена нынешнего королевского фаворита. Она находила какое-то болезненное наслаждение в том, что способствовала мужской любви, лишь бы удо-

влетворить таким путем свою жажду богатства и могущества. Помимо всего, она была глупа: готова была проиграть партию в шахматы лишь из-за одного удовольствия воскликнуть вызывающим тоном:

— Гарде королеве… Гарде королеве!

Наследный принц Эдуард, мальчик одиннадцати лет, с тонким и длинным лицом, скорее скрытный, чем застенчивый по характеру, с вечно потупленным взором, старался воспользоваться любой ошибкой партнерши и прилагал все усилия, чтобы выиграть.

Августовский ветерок заносил через узкое, с полукруглым сводом окно нагретую за день пыль, но как только солнце скрылось, сырая прохлада вновь воцарилась среди толстых мрачных стен старинного приорства Киркхейм.

Из большого зала, предназначенного для заседаний капитула, доносился шум голосов — там король собрал свой кочующий Совет.

— Мадам, — продолжал граф Бувилль, — я с готовностью посвятил бы вам все свои дни, если б мог хоть немного быть вам полезен. И сделал бы это с огромным удовольствием, поверьте мне. Теперь, когда я овдовел, а сыновья мои пристроены, мне не остается ничего иного в нашем грешном

мире, как отдать последние свои силы на службу потомкам короля, моего усопшего благодетеля. И именно около вас, мадам, я был бы ближе всего к нему. Вы воплощаете в себе твердость его души, его манеру говорить, когда он снисходил до разговора, и его красоту, против которой бессильно время. В сорок шесть лет его настигла смерть, а с виду ему можно было дать не более тридцати. И вы пошли в него. Трудно даже представить, что вы — мать четверых детей.

Лицо королевы озарилось улыбкой. Ей, окруженной ненавистниками, так отрадно было видеть такую верность и преданность; ей, женщине, чьи чувства были оскорблены и поруганы, было так сладостно слышать похвалу своей красоте, пусть даже исходила она из уст белого как лунь толстяка, смотревшего на нее глазами старого преданного пса.

— Мне уже тридцать один год, — проговорила она, — и пятнадцать из них я прожила так, как вы сами сейчас видите. Такая жизнь, быть может, не оставляет своих помет на лице, но зато вся моя душа изборождена морщинами… Я тоже, Бувилль, охотно оставила бы вас при себе, будь это возможно.

— Увы, мадам! Моя миссия, я сам это пони-

маю, подходит к концу, и без особого успеха. Король Эдуард уже дважды намекал мне на это, и поскольку он выдал ломбардца парламенту французского короля, он даже удивляется, что я еще здесь.

Французский двор послал к Эдуарду Юга де Бувилля под официальным предлогом требовать выдачи некоего Томазо Анри, представителя крупной флорентийской компании Скали; этот банкир, взяв в аренду несколько земельных владений, принадлежащих французской короне, получил с них значительный доход и, ни гроша не уплатив казначейству, бежал в Англию. Дело, безусловно, было серьезное, но его можно было без труда уладить путем переписки или направив в Англию судейских, и, уж само собой разумеется, оно не требовало поездки бывшего первого камергера Филиппа Красивого, члена Малого совета. В действительности же Бувиллю было поручено начать другие, более сложные переговоры.

Его высочеству Карлу Валуа, дяде короля Франции и королевы Изабеллы, пришла в голову мысль выдать замуж в будущем году свою пятую дочь, Марию, за принца Эдуарда, наследника английского престола. Его высочество Валуа — кто

в Европе не знал этого? — родил семь дочерей, устройство которых было предметом постоянных забот этого неугомонного, честолюбивого и расточительного сеньора, пользовавшегося даже собственным потомством ради всевозможных интриг. Семь его дочерей были от трех браков, ибо его высочество Карл имел несчастье в течение своей бурной жизни дважды остаться вдовцом.

Надо было иметь недюжинную память и ясный рассудок, чтобы не запутаться в его потомстве и знать, кого именно имеют в виду, говоря о мадам Жанне Валуа, — графиню Геннегау или же графиню Бомон, другими словами, жену Робера Артуа. Ибо, как назло, две дочери носили одинаковые имена. Что касается Катрин, наследницы призрачного константинопольского престола, которая родилась от второго брака, то ей нашли мужа в лице Филиппа Тарантского, князя Ахейского, старшего брата первой жены ее родного батюшки. Настоящая головоломка!

Сейчас речь шла о старшей дочери от третьего брака, которую его высочество Карл решил предложить своему английскому внучатому племяннику.

Вначале его высочество Валуа направил в Англию графа Анри де Сюлли, Рауля Севена де

Жуи и Робера Бертрана, по прозванию Рыцарь Зеленого Льва. Эти посланцы, стремясь завоевать расположение короля Эдуарда II, сопровождали его во время похода в Шотландию, но в битве при Блекморе англичане обратились в бегство и бросили французских гостей, которые угодили в руки врага. Пришлось вести переговоры об их освобождении, платить за них выкуп; когда наконец после всех этих малоприятных перипетий они оказались на свободе, Эдуард дал им уклончивый ответ, что, мол, нельзя так быстро решать вопрос о женитьбе его сына, что дело это слишком важное, чтобы решать его без ведома парламента, и что парламент соберется для обсуждения лишь в июне. Он хотел связать все это с присягой, которую следует принести королю Франции за герцогство Аквитанское… А когда парламент собрался, вопрос этот даже не

поставили[49].

Поэтому-то нетерпеливый Валуа под первым подвернувшимся предлогом направил в Англию графа Бувилля, в преданности которого семье Капетингов никто не сомневался и который хоть и не блистал умом, зато имел немалый опыт по части подобных поручений. Бувилль вел в прошлом по указаниям Валуа переговоры в Неаполе о втором браке Людовика X с Клеменцией Венгерской; он был хранителем чрева этой королевы после смерти Людовика Сварливого, но о том времени он не любил распространяться. Выполнял он также различные поручения в Авиньоне при папском дворе; крепко хранил в памяти все, что касалось семейных связей и бесконечно сложных переплетений разветвленной

[49] Примечания: 49

Наименование «парламент», означающее, собственно, «собрание», прилагается и во Франции, и в Англии к учреждениям общего происхождения (поначалу это было расширением curia regis), но вскоре принявшим совершенно разные формы и полномочия.

Французский парламент, сначала разъездной, потом закрепленный в Париже еще до того, как в провинции были учреждены второстепенные парламенты, являлся юридической ассамблеей, действующей по приказу и от имени государя. Члены парламента сначала назначались королем лишь на время юридической сессии, но начиная с конца XIII — начала XIV в., то есть с царствования Филиппа Красивого, стали пожизненными. Французскому парламенту довелось познать и крупные конфликты личных интересов, и процессы, сталкивающие частных лиц с короной, и важные для жизни государства уголовные дела, и споры из-за толкования обычаев, всего вообще, что касалось

законодательства королевства в целом, включая даже закон о наследовании трона (как это случилось в начале царствования Филиппа V). Но, повторяем, роль парламента и его полномочия были исключительно судебными и юридическими. Его политическая власть основывалась лишь на том, что ни один королевский ордонанс, эдикт, указ о помиловании и т. д. не были действительны без регистрации и утверждения этим самым парламентом; но по-настоящему пользоваться силой своего отказа он начал только в конце XIV — начале XV в., когда монархия оказалась ослабленной.

Английский же парламент был собранием одновременно судебным, поскольку туда отзывались крупные государственные дела, и уже политическим. Никто не заседал там по праву; это всегда был лишь своего рода расширенный Большой совет, куда государь призывал кого хотел, то есть членов своего Малого совета, крупных вельмож королевства, как мирских, так и церковных, а также представителей графств и городов, выбранных в основном шерифами. Изначально политическая роль английского парламента должна была ограничиваться двойной информационной миссией: король осведомлял там представителей своего народа, избранных им самим, об общих решениях, которые намеревался принять, а эти представители в свою очередь осведомляли государя (либо посредством подачи прошений, либо изустно) о пожеланиях различных классов или административных областей, к которым принадлежали.

В теории король Англии был единственным хозяином своего парламента, который оставался, в общем, лишь его привилегированной аудиторией, у которой он не требовал ничего иного, кроме как символического и пассивного одобрения своей политики. Но едва только короли Англии оказывались в серьезных затруднениях или же им случалось проявить себя слабыми либо дурными правителями, парламенты, которые они сами же и набрали, становились гораздо более требовательными, притязали на откровенно обсуждающую роль и диктовали государям свою волю. По крайней мере, тем уже

приходилось считаться с высказанными мнениями.

Члены парламентов всегда держали в голове прецедент Великой хартии вольностей, навязанной в 1215 г. Иоанну Безземельному его же баронами, которая по сути являлась упорядочиванием английских свобод. Второй прецедент был создан в 1311 г., когда Эдуарда II вынудили принять хартию, согласно которой подле короля учреждался совет распорядителей из крупных баронов, избранных парламентом, который действительно осуществлял власть от имени государя. Эдуард II всю жизнь боролся против его решений, сначала отвергая их, потом подчиняясь после своего поражения в 1314 г. от шотландцев. По-настоящему он избавился от них, на свою беду, только в 1322 г., когда борьба за влияние расколола распорядителей и он смог раздавить в битвах при Шрусбери и Боробридже партию Ланкастера — Мортимера, поднявших против него оружие.

Напомним, наконец, что английский парламент не был привязан к определенному месту и государь мог его созвать или потребовать созыва в любом городе королевства, где бы сам ни находился.

сети династических союзов. Верный Бувилль был сильно раздосадован, что на сей раз ему придется возвращаться несолоно хлебавши.

— Его высочество Валуа, — промолвил он, — будет очень разгневан, ведь он уже обратился к папе за особым разрешением на этот брак…

— Я сделала все, что могла, Бувилль, — проговорила королева. — Таким образом, вы имели случай еще раз убедиться, как мало здесь со мной считаются… Впрочем, я сожалею меньше, чем вы: не пожелаю ни одной принцессе из нашей семьи познать здесь то, что выпало на мою долю.

— Не сомневаетесь ли вы в своем сыне, мадам? — спросил Бувилль, еще больше понижая голос. — Хотя он, хвала небу, кажется, пошел скорее в вас, чем в отца!.. Я помню вас в таком же возрасте в дворцовом саду в Сите или в Фонтенбло…

Он не успел договорить фразу. Дверь открылась, и на пороге показался король Англии. Откинув назад голову и нервно поглаживая светлую бородку, что свидетельствовало о дурном расположении духа, король большими шагами вошел в комнату. За ним следовали его обычные советники, а именно отец и сын Диспенсеры, канцлер Бальдок, граф Арундел и епископ Эксетер. Его

сводные братья — граф Кент и граф Норфолк, оба молодые люди, в чьих жилах текла французская кровь, ибо их мать доводилась родной сестрой Филиппу Красивому, тоже состояли в королевской свите, но против их желания, равно как и Генри Лестер, человек с квадратными плечами и большими ясными глазами навыкате, по прозвищу Кривая Шея, так как затылок и плечи у него были искривлены, отчего голову ему приходилось держать набок, что доставляло множество мучений оружейникам, изготовлявшим для него доспехи.

— Знаете ли вы новость, мадам? — воскликнул король Эдуард, обращаясь к королеве. — Она, несомненно, вас обрадует. *Ваш* Мортимер бежал из Тауэра.

Леди Диспенсер даже подскочила перед шахматной доской и издала негодующее восклицание, как если бы побег барона Уигморского был для нее личным оскорблением.

Королева Изабелла не шелохнулась, не покраснела, только веки ее красивых голубых глаз моргнули быстрее обычного, а рука украдкой нащупала в пышных складках платья руку леди Джейн Мортимер и сжала ее, как бы призывая сохранять спокойствие и достоинство. Толстяк

Бувилль поднялся и отступил назад, чувствуя себя лишним в таких делах, которые касались лишь английской короны.

— Это не *мой* Мортимер, сир, — ответила королева. — Лорд Роджер, как мне кажется, в большей степени ваш подданный, чем мой, а за действия ваших баронов я не отвечаю. Вы бросили его в темницу, он постарался убежать — таков закон жизни.

— Ага! Значит, вы одобряете его поступок. Так дайте же волю своей радости, мадам! С тех пор как этот Мортимер соблаговолил появиться при моем дворе, вы перестали замечать всех, кроме него, вы все время превозносили его заслуги, и даже вероломство в отношении меня умудрялись истолковать благородными порывами души.

— Но разве не вы сами, сир, супруг мой, научили меня любить его еще в те времена, когда он вместо вас, подвергаясь смертельной опасности, завоевывал ирландское королевство… удержать которое без него стоит вам, кстати, немало труда?

Неужто это можно назвать изменой[50]?

Эта отповедь на мгновение обескуражила Эдуарда, но он тут же бросил на жену злобный взгляд и ответил только:

— Как раз теперь он бежит, ваш друг, бежит, и, несомненно, в вашу страну!

Продолжая говорить, король шагал взад и вперед по комнате, чтобы дать выход своей бессильной ярости. Драгоценности, украшавшие его одежду, позвякивали при каждом шаге. И присутствующие, следя за его движениями, вертели головой то влево, то вправо, как при игре в лапту. Король, бесспорно, был очень красивый мужчина, мускулист, подвижен, ловок и притом атлетического сложения; его тело, закаленное физическими упражнениями и играми, стойко сопротивлялось подкрадывавшемуся ожирению, так как Эдуард близился уже к сорока годам. Но того, кто пригляделся бы к нему повнимательнее, поразило бы отсутствие морщин на лбу, будто государственные заботы не сумели наложить на

---

[50] Примечания: 50

В 1318 г., то есть пятью годами раньше, Роджер Мортимер из Уигмора, назначенный верховным судьей и наместником английского короля в Ирландии, разбил, командуя войском баронов марки, Эдуарда Брюса, короля Ирландии, и брата короля, Роберта Брюса Шотландского. Захват и казнь Эдуарда Брюса отметили конец ирландского королевства. Но английская власть там еще долго не могла установиться.

это чело свой отпечаток, поразили бы мешки под глазами, невыразительно очерченные ноздри; линия подбородка под легкой вьющейся бородой не свидетельствовала ни об энергии, ни о властности, ни даже о настоящей чувственности, просто он был чересчур крупным и длинным. В маленьком подбородке королевы угадывалось гораздо больше воли, чем в этой яйцеобразной челюсти. Даже шелковистая бородка не могла скрыть душевной слабости короля. Вялой рукой он то беспричинно тер лицо, то размахивал в воздухе, то теребил нашитые на камзол жемчужины. Голос, который он считал властным, изменял ему, несмотря на все старания. Спина, хотя и широкая, производила неприятное впечатление, линия от шеи до поясницы казалась какой-то волнообразной, будто позвоночник гнулся под тяжестью торса. Эдуард никак не мог простить жене то, что она однажды посоветовала ему по возможности не показывать спину, если он желает внушать уважение своим баронам. Ноги Эдуарда, на редкость прямые и стройные, безусловно, были самым ценным даром, которым природа одарила этого человека, так мало подходившего для своей роли и получившего корону по прямому недосмотру судьбы.

— Разве мало и без того у меня хлопот, разве мало у меня волнений? — продолжал Эдуард. — Моим границам постоянно угрожают шотландцы; они беспрестанно вторгаются в мое королевство, а как только дело доходит до сражения, войска мои бегут. Да и как могу я победить, когда мои епископы без моего согласия договариваются между собой и ведут переговоры с врагом, когда среди моих вассалов столько предателей и когда мои бароны идут против меня походом, ссылаясь на то, что они шпагой отвоевали свои земли, хотя уже давно, двадцать пять лет назад, отец мой, король Эдуард, рассудил иначе и по-иному решил этот вопрос! Неужели они забыли об этом! Но Шрусбери и Боробридж показали всем, что значит бунтовать против меня. Не так ли, Лестер?

Генри Лестер молча покачал своей большой уродливой головой; не слишком-то вежливо было напоминать ему о смерти его брата Томаса Лестера, обезглавленного год и четыре месяца назад, когда были повешены двадцать знатных баронов и столько же брошено в тюрьмы.

— Они и впрямь увидели, сир, супруг мой, что единственные битвы, которые вы смогли выиграть, — это битвы против собственных баронов, — проговорила Изабелла.

Эдуард вновь бросил на нее полный ненависти взгляд. «До чего же смела, — подумал Бувилль, — до чего же смела эта благороднейшая королева!»

— И несправедливо говорить, — продолжала она, — что они поднялись против вас, отстаивая права своей шпаги. Скорее уж они выступили, отстаивая право на графство Глостер[51], которое вы решили передать мессиру Хью.

Оба Диспенсера шагнули друг к другу, как бы желая вместе отразить удар. Леди Диспенсер-младшая встала из-за шахматной доски; она доводилась дочерью умершему графу Глостеру. Эдуард II топнул ногой о пол. В конце концов, королева становится просто невыносимой: она открывает рот лишь затем, чтобы подчеркнуть его промахи и ошибки в управлении государ-

[51] Примечания: 51

История с графством Глостер, весьма темная и запутанная, родилась из невероятных притязаний, заявленных на него Хью Диспенсером-младшим, не имевшим ни малейшего шанса, не будь он фаворитом короля. Хью-младший, не удовлетворившись получением Гламоргана как части приданого своей жены, потребовал в обход шуринов, и в частности Мориса Беркли, все владения покойного графа, своего тестя. Против этого ополчилась вся знать запада Англии, и Томас Ланкастер возглавил оппозицию с тем большим пылом, что в стане противников находился его злейший враг, граф Уоренн, похитивший его молодую жену, красавицу Элис. Диспенсеры, на некоторое время изгнанные постановлением парламента, принятым под давлением вооруженных сторонников Ланкастера, вскоре вернулись назад, поскольку Эдуард не мог жить ни без своего любовника, ни под опекой своего кузена Томаса. Возвращение Диспенсеров к власти стало поводом для возобновления смуты. Но Томас Ланкастер, столь же незадачливый в войне, как и

в браке, весьма плохо руководил коалицией. Не придя вовремя на помощь баронам Валлийской марки, он позволил разбить их в январе 1322 г. на западе, при Шрусбери, где в плен попали оба Мортимера, а сам, напрасно ожидая в Йоркшире шотландских подкреплений, был разбит через два месяца при Боробридже и сразу после этого приговорен к смерти.

ством!

— Я раздаю ленные владения кому хочу, мадам, раздаю их тем, кто меня любит и служит мне! — вскричал Эдуард, кладя руку на плечо младшего Хью. — На кого другого могу я опереться? Где мои союзники? Какую помощь, например, оказывает мне ваш брат, король Франции? А ведь он должен был бы вести себя как мой собственный брат, ибо в конечном счете именно на этом условии меня уговорили взять вас в жены. Он требует, чтобы я приехал к нему и принес присягу верности за герцогство Аквитанское, вот и вся его поддержка. И куда он шлет свои приказы? В Гиень? Как бы не так! Он действует в моем же королевстве, попирая все феодальные обычаи и, очевидно, с намерением оскорбить меня. Уж не считает ли он себя сюзереном Англии? Да и потом, я приносил эту присягу. Первый раз — вашему отцу, когда меня чуть было не зажарили заживо во время пожара в Мобюиссоне, затем, три года назад, вашему брату Филиппу, когда я совершил поездку в Амьен. Принимая в расчет, с какой быстротой, мадам, в вашем семействе умирают короли, мне, вероятно, скоро придется обосноваться на континенте!

В глубине комнаты сеньоры, епископы и но-

табли Йоркшира переглядывались между собой, ничуть не испуганные, а скорее ошеломленные этой вспышкой бессильного гнева, который столь далеко увел короля от причины, вызвавшей этот гнев, и открывал им трудности, переживаемые королевством, а заодно и характер самого Эдуарда. Так вот он какой, этот суверен, требующий от них пополнения своей казны, монарх, которому они обязаны во всем повиноваться и ради которого должны рисковать жизнью, когда он призывает их принять участие в своих войнах! Пожалуй, у лорда Мортимера были немалые основания для бунта…

Даже близкие советники Эдуарда, видимо, чувствовали себя неловко, хоть и знали привычку короля, сказывавшуюся также в его посланиях, при каждой личной неудаче перечислять все тяготы своего царствования.

Канцлер Бальдок потирал кадык, торчавший над воротом его архидиаконского одеяния. Лорд-казначей, епископ Эксетерский, покусывавший ноготь большого пальца, исподтишка наблюдал за соседями. Один лишь Хью Диспенсер-младший, слишком разряженный, слишком завитой, слишком надушенный для тридцатитрехлетнего мужчины, был явно доволен. Рука короля,

лежавшая на плече фаворита, недвусмысленно свидетельствовала о значении и могуществе Хью.

У Хью был короткий нос с горбинкой, резко очерченные губы; он то и дело вздергивал голову, словно застоявшийся жеребец, и одобрял каждое слово Эдуарда хриплым покашливанием; на лице его было написано: «Ну, на сей раз чаша переполнилась, теперь мы прибегнем к строгим мерам!» Он был худ, высок и узкоплеч, кожа у него была нечистая и часто воспалялась.

— Мессир Бувилль, — обратился внезапно король Эдуард к послу Франции, — передайте его высочеству Валуа, что брак, который он нам предлагает, не состоится, хотя мы оценили по достоинству высокую честь, которую он нам оказал. Но у нас иные планы в отношении нашего старшего сына. Таким образом будет раз и навсегда покончено с прискорбным обычаем, согласно которому английские короли берут себе жен во Франции, что не приносит никаких выгод.

Толстяк Бувилль побледнел от оскорбления и поклонился. Затем бросил на королеву полный сожаления взгляд и вышел.

Первым и совершенно непредвиденным последствием бегства Роджера Мортимера из

темницы было то, что король Англии рвал традиционный союз. Он хотел оскорбить свою супругу, но тем самым оскорбил своих сводных братьев Норфолка и Кента, мать которых была француженкой. Юноши разом повернулись к своему кузену Генри Кривая Шея, который равнодушно и покорно чуть пожал своим уродливым плечом. Король, не подумав, навсегда оттолкнул от себя могущественного графа Валуа, ибо, как всем было известно, Валуа правил Францией от имени своего племянника Карла Красивого. Так короли иной раз теряют трон и жизнь, поддавшись вспышке безрассудства…

Молодой принц Эдуард, по-прежнему неподвижно и молча стоявший у окна, наблюдал за матерью и осуждал отца. В конце концов, речь шла о его женитьбе, а ему не позволили сказать ни слова. Но если бы ему предложили выбирать между английской и французской кровью, он отдал бы предпочтение последней.

Трое младших детей прекратили игру: королева знаком велела служанке увести их.

Затем очень спокойно, глядя прямо в глаза королю, она проговорила:

— Когда муж ненавидит жену, вполне естественно, что он считает ее причиной всех бед.

Эдуард был не из тех, кто способен ответить ударом на удар.

— Вся стража в Тауэре напилась до бесчувствия, — вскричал он, — помощник коменданта бежал с изменником, а констебль смертельно болен от зелья, которым его отравили! Если, конечно, он не предатель и не притворяется больным, дабы избежать заслуженной кары. Ибо его дело было следить за тем, чтобы узник не сбежал, слышите, Уинчестер?

Хью Диспенсер-отец, чьими стараниями Сигрейв был назначен на пост констебля, склонился, пережидая шквал. У него была длинная узкая спина, согбенная отчасти от рождения, отчасти от долгой карьеры куртизана. Недруги прозвали его Хорьком. В морщинах лица под покрасневшими веками, казалось, гнездятся алчность, завистливость, подлость, эгоизм, вероломство и упоение всеми этими пороками. Он не был лишен смелости, но не ведал обычных человеческих чувств, разве что к своему сыну и к двум-трем друзьям, в число которых как раз и входил Сигрейв. Приглядевшись к отцу, можно было легче понять характер сына.

— Милорд, — произнес он спокойным голосом, — я уверен, что Сигрейв ни в чем не

повинен…

– Он виновен в небрежности и лени; виновен в том, что дал себя одурачить; виновен в том, что не сумел открыть заговор, который готовился у него под носом; виновен, быть может, в том, что он неудачник от природы… А я не прощаю неудачников. Пусть вы покровительствовали Сигрейву, Уинчестер, он будет наказан — тогда никто не осмелится сказать, что я пристрастен и милостив лишь к вашим ставленникам. Сигрейв будет заточен в темницу вместо Мортимера; таким образом, его преемники будут лучше нести свою службу. Вот, сын мой, как следует управлять, — добавил король, остановившись перед наследником престола.

Мальчик поднял на него глаза и тотчас же потупил взгляд.

Хью-младший, умевший направлять гнев Эдуарда в угодную для себя сторону, откинул голову и промолвил, глядя на балки потолка:

— Мне хотелось бы обратить ваше внимание, дорогой сир, на другого изменника, который ведет себя по отношению к вам чересчур вызывающе. Я имею в виду епископа Орлетона; это он подготовил побег и, судя по всему, так мало с вами считается, что даже не счел нужным бежать

или хотя бы скрыться.

Эдуард взглянул на Хью-младшего с признательностью и восхищением. Разве можно равнодушно смотреть на этот профиль, на красивую позу говорившего Хью; разве можно равнодушно слушать этот высокий, отлично поставленный голос, в особенности когда он нежно и вместе с тем почтительно произносит на французский манер «дорогой сир», точно так же как произносил эти слова прелестный Гавестон, которого убили бароны и епископы… Но теперь Эдуард стал опытней, он узнал людскую злобу, убедился, что уступками ничего не добьешься. Никто не разлучит его с Хью, а тот, кто посягнет на их близость, будет безжалостно сметен.

— Объявляю вам, милорды, что епископ Орлетон предстанет перед парламентом для суда и приговора над ним.

Эдуард скрестил руки и поднял голову, желая убедиться, какое действие произвели его слова. Канцлер-архидиакон и епископ-казначей, хотя и были заклятыми врагами Орлетона, вздрогнули — в них заговорила солидарность служителей церкви.

Генри Кривая Шея, человек умный и уравновешенный по натуре, старавшийся по мере

возможности вернуть короля на путь разума, не удержался и спокойно заметил, что епископа может судить лишь церковный суд, состоящий из пэров церкви.

— Все имеет свое начало, Лестер. Насколько мне известно, Евангелие не учит заговорам против короля. Но Орлетон забыл о том, что кесарю — кесарево, и кесарь напомнит ему об этом. Вот еще одно благодеяние, которым я обязан вашей семье, мадам, — продолжал король, обращаясь к Изабелле, — ибо не кто иной, как ваш брат Филипп Пятый, заставил своего французского папу назначить против моей воли этого Адама Орлетона епископом Херефорда. Быть по сему! Пусть он станет первым прелатом, подлежащим королевскому суду, и кара, которую он понесет, послужит уроком для других.

— Орлетон никогда не проявлял враждебности в отношении вас, кузен, — настаивал Генри, — и у него не было бы ни малейших оснований стать вашим недругом, если бы вы не ополчились против него и не воспротивились на заседании Совета тому, что папа дал ему митру. Это человек великих знаний и сильной души. Быть может, сейчас, воспользовавшись тем, что он виновен, было бы разумнее привлечь его на свою сторону,

проявив снисходительность, и отказаться от суда, который при ваших нынешних затруднениях вызовет недовольство и среди духовенства.

— Снисходительность, милосердие! Всякий раз, когда меня оскорбляют, бросают мне вызов и предают, у вас на устах только одни эти слова, Лестер! Меня умоляли помиловать барона Уигморского, и я совершил ошибку, послушавшись советов! Не станете же вы отрицать, что если бы я поступил с ним так же, как с вашим братом, то ныне этот бунтарь не был бы на пути во Францию.

Генри пожал своим уродливым плечом, закрыл глаза, и на его лице появилось усталое выражение. До чего же отвратительная привычка у Эдуарда — хотя сам он считал ее истинно королевской — называть членов своей семьи и своих главных советников по имени их графств и говорить своему двоюродному брату «Лестер», а не просто «кузен», как это делают все и даже сама королева! И какой дурной тон — при всяком удобном и неудобном случае вспоминать об убийстве Томаса как о славном деянии. До чего же он странный человек и дурной король! Вообразил, что можно безнаказанно рубить головы своим ближайшим родственникам, не породив в семье злобы, считает, что одного его королевского

объятия достаточно, чтобы заглушить в сердцах боль потери; он требует преданности от тех самых людей, которым он причинил зло, и желает, чтобы все верой и правдой служили ему, этому олицетворению необдуманной жестокости.

— Да, конечно, вы правы, милорд, — проговорил Генри Кривая Шея, — шестнадцатилетний опыт правления, несомненно, научил вас взвешивать свои решения. Пусть ваш епископ предстанет перед парламентом. Я не стану чинить этому препятствий.

И он процедил сквозь зубы, так чтобы его слышал лишь молодой граф Норфолк:

— Хотя голова у меня набекрень, все-таки жаль с ней расставаться.

— Согласитесь, — продолжал Эдуард, рубя ребром ладони воздух, — что бежать из крепости, которую я нарочно построил с таким расчетом, чтобы из нее никто не сбежал, значит оскорбить меня лично.

— Возможно, сир, супруг мой, — промолвила королева, — строя крепость, вы обращали больше внимания на красоту каменщиков, нежели на прочность сооружения.

В комнате воцарилась гробовая тишина. Оскорбление было достаточно сильным и доста-

точно неожиданным. Присутствующие, затаив дыхание, смотрели, кто с почтением, кто с ненавистью, на эту хрупкую, одинокую женщину, прямо восседавшую на своем кресле и осмелившуюся дать королю столь резкий отпор. Приоткрыв губы, Изабелла обнажила мелкие, плотно сидевшие, острые зубы, зубы хищного зверька. Нанесенный удар, независимо от последствий, доставил ей явное удовлетворение.

Хью-младший побагровел; Хью-отец сделал вид, что ничего не слышал.

Разумеется, Эдуард должен был отомстить, но каким образом? Ответный удар запаздывал. Королева смотрела на капельки пота, выступившие на висках ее мужа. Ничто не может вызвать большего отвращения у женщины, чем пот мужчины, которого она разлюбила.

— Кент, — вскричал король, — я назначил вас смотрителем Пяти Портов и комендантом Дувра. Что охраняете вы здесь? Почему вы не на вверенном вам побережье, где изменник попытается сесть на корабль?

— Сир, брат мой, — с изумлением проговорил молодой граф Кент, — ведь вы же сами приказали мне сопровождать вас в поездке…

— Так вот теперь я приказываю вам вернуться

в ваше графство, поднять города и селения на поиски беглеца и лично проследить за тем, чтобы все корабли, заходящие в порты, подвергались тщательному досмотру.

— Пусть зашлют на корабли соглядатаев и пусть добудут живым или мертвым Мортимера, если он поднимется на борт корабля, — добавил Хью-младший.

— Добрый совет, Глостер, — одобрил Эдуард. — Что касается вас, Степлдон…

Епископ Эксетерский перестал грызть ноготь и пробормотал:

— Милорд…

— А вы спешно вернетесь в Лондон! Под предлогом проверки государственной казны, что, кстати, входит в ваши обязанности, вы явитесь в Тауэр и, показав оттиск моей печати, возьмете крепость под свое командование и наблюдение до тех пор, пока не будет назначен новый констебль. Бальдок срочно выдаст вам обоим грамоты, обязывающие всех выполнять ваши приказания.

Генри Кривая Шея, склонив голову на плечо и глядя в окно, казалось, о чем-то мечтал. Он подсчитывал… Подсчитывал, что с момента бегства Мортимера прошло шесть дней, что понадобится

еще не менее недели, чтобы приказы начали приводиться в действие, и что если только Мортимер не безумец, чего про него не скажешь, то он, несомненно, успеет за это время покинуть пределы королевства[52]. И он с радостью подумал о том, что после Боробриджа вместе с большинством епископов и сеньоров старался сохранить жизнь барону Уигморскому. Ибо теперь, когда Мортимер бежал, оппозиция против Диспенсеров, быть может, вновь обретет вожака, чего ей недоставало со времени смерти Томаса Ланкастера; вожака даже более энергичного, более ловкого и сильного, чем покойный Томас…

По спине короля прошло волнообразное движение, Эдуард круто повернулся и очутился лицом к лицу со своей женой.

— Так вот, мадам, я и впрямь считаю вас виновной в случившемся. Но прежде всего попрошу вас отпустить руку, которую вы не выпускаете с тех пор, как я вошел! Отпустите руку леди Джейн! — крикнул Эдуард, топнув ногой. — Держать при себе с таким упрямством жену предателя — это

---

[52] Примечания: 52

Поручение епископу Эксетерскому датируется согласно *Calendar of close rolls* 6 августа 1323 г. По поводу дела Мортимера были отправлены и другие приказы — в частности, 10 августа шерифам графства Кент, а 26 августа самому графу Кентскому. Непохоже, чтобы король Эдуард узнал раньше 1 октября, куда направился беглец.

значит одобрять его самого. Тот, кто помог бежать Мортимеру, разумеется, знал о поддержке королевы… Да к тому же без денег не убежишь; за измену платят, и стены разрушают золотом. От королевы к придворной даме, от придворной дамы к епископу, от епископа к бунтовщику — путь простой. Придется повнимательнее проверить ваш ларец.

— Сир, супруг мой, мой ларец и без того проверяют достаточно тщательно, — проговорила Изабелла, указывая на леди Диспенсер.

Казалось, Хью-младший вдруг потерял интерес к спору. Наконец-то гнев короля, как и обычно, обернулся против королевы. Эдуард, несомненно, нашел способ отомстить ей, и Хью торжествовал. Он взял книгу, которая лежала рядом с креслом и которую леди Мортимер читала королеве до прихода графа Бувилля. Это было собрание лэ Марии Французской[53]; шелковой закладкой был

---

[53] Примечания: 53

Мария Французская, старейшая из французских поэтесс, жила во второй половине XII в. при дворе Генриха II Плантагенета, куда была привезена или призвана Элинор Аквитанской, неверной государыней (по крайней мере, по отношению к своему первому супругу, королю Франции), но наверняка великолепной и создавшей вокруг себя в Англии настоящий центр искусства и поэзии. Элинор сама была внучкой поэта, герцога Гийома IX.

Произведения Марии Французской пользовались огромным успехом не только при ее жизни, но еще и на протяжении всего XIII и в начале XIV в.

отмечен куплет:

Ни в Бургундии, ни в Булони,
Ни в Анжу и ни в Гаскони
Вам вовеки не сыскать
Рыцаря ему под стать.
Все прекраснейшие дамы,
Благородные девицы
Лишь о нем одном вздыхают,
Он один во сне им снится.

«Франция, вечно одна только Франция… И читают они лишь об этой стране, — подумал Хью. — Но кто же этот рыцарь, о котором они мечтают? Разумеется, Мортимер…»

— Милорд, я не слежу за милостыней, которую раздает королева, — проговорила Элинор Диспенсер.

Фаворит поднял глаза и улыбнулся. В душе он поздравил жену с этим ловким ходом.

— Итак, придется мне отказаться и от раздачи милостыни, — сказала Изабелла. — Вскоре я лишусь всех привилегий королевы, даже права быть милосердной.

— Вам придется также, мадам, — продолжал Эдуард, — ради любви, которую вы питаете ко

мне и которая всем очевидна, расстаться с леди Мортимер, ибо отныне никто в королевстве не сможет понять, почему она пребывает при вас.

На сей раз королева побледнела и поникла в своем кресле. Большие белые руки леди Джейн задрожали.

— Не следует считать, Эдуард, что супруга причастна к действиям мужа. Возьмите, к примеру, меня. И поверьте, леди Мортимер столь же мало виновна в ошибках своего мужа, как и я в ваших грехах, если вам случается таковые совершать.

Однако на этот раз атака не удалась.

— Леди Джейн отправится в Уигморский замок, который я отныне вверяю наблюдению моего брата Кента, вплоть до того дня, пока я не приму решения о судьбе имущества того человека, чье имя в следующий раз будет произнесено в моем присутствии лишь при вынесении смертного приговора. Полагаю, леди Джейн, что вы предпочтете уехать в ваш замок добровольно и не заставите применять в отношении вас силу.

— Так, значит, меня хотят оставить в полном одиночестве, — промолвила Изабелла.

— Как вы можете говорить об одиночестве, мадам! — воскликнул Хью-младший своим красивым певучим голосом. — Все мы — друзья

короля, а значит, и ваши преданные друзья. И разве моя преданная жена, госпожа Элинор, не ваша верная подруга? Какая красивая книга, — добавил он, показывая на сборник лэ, — и иллюстрирована изящнейшими гравюрами; не дадите ли вы ее мне почитать?

— Конечно же, конечно, королева даст ее вам, — сказал король. — Не правда ли, мадам, вы сделаете нам удовольствие и дадите книгу нашему другу Глостеру?

— Весьма охотно, сир, супруг мой, весьма охотно. Хотя я знаю, что означают слова «дать на время», когда речь идет о *вашем* друге лорде Диспенсере. Вот уже десять лет, как я ему точно так же отдала свой жемчуг, и, как видите, он до сих пор носит его на шее!

Она не сдавалась, но сердце бешено колотилось в ее груди. Впредь ей предстоит одной сносить каждодневные оскорбления. Но если когда-нибудь наступит день мести, она припомнит все.

Хью-младший положил книгу на ларец и заговорщически подмигнул жене. Лэ Марии Французской ждала судьба золотых застежек со львами из драгоценных камней, трех золотых корон, четырех корон, украшенных рубинами и изумрудами, ста двадцати серебряных ложек,

тридцати больших блюд, десяти золотых кубков, постельного белья, расшитого золотыми геральдическими ромбами, кареты с шестеркой лошадей, носильного белья, серебряных тазиков, упряжек, церковного убранства — всех этих чудесных вещей, подаренных Изабелле отцом или близкими, вещей, составлявших часть ее приданого, занесенного Югом де Бувиллем в подробный перечень перед отъездом в Англию, и перешедших затем в руки фаворитов короля — сначала Гавестона, потом Диспенсера. У нее отобрали даже широкий расшитый плащ из турецкого сукна, который был на ней в день свадьбы!

— Итак, милорды, — сказал король, хлопнув в ладоши, — исполняйте незамедлительно мои приказы, и да будет каждый из вас на высоте своего долга!

Это тоже было его любимое выражение, еще одна фраза, которую Эдуард считал поистине королевской и которой он оканчивал свои Советы. Он вышел, за ним последовали остальные, и комната опустела.

Приорство Киркхейм постепенно погрузилось во мрак, и вместе с сумерками в окна проникло немного прохлады. Королева Изабелла и леди Мортимер, боясь расплакаться, не решались

промолвить ни слова. Они виделись в последний раз перед долгой разлукой. Суждено ли им встретиться когда-нибудь? Какая судьба уготована каждой из них?

Молодой принц Эдуард, потупив взор, бесшумно сел позади матери, словно желая заменить подругу, которой ее лишали.

Леди Диспенсер подошла, чтобы взять книгу, приглянувшуюся ее мужу, красивую книгу, бархатный переплет которой был украшен драгоценными камнями. Уже давно этот томик был предметом ее вожделения, тем более что она знала ему цену. Но когда она намеревалась взять лэ, молодой принц Эдуард положил на переплет свою руку.

— Ну нет, скверная женщина, — проговорил он, — вам ее не видать.

Королева молча отстранила руку принца, взяла книгу и протянула ее своей ненавистнице. Затем повернулась к сыну, слегка улыбнувшись и вновь показав свои мелкие зубки хищницы. Одиннадцатилетний ребенок не мог еще быть надежной опорой, но его поддержка все-таки значила немало, ибо он был наследным принцем.

Глава III
Новый клиент мессира Толомеи

Старый Спинелло Толомеи, откинув ногой край ковра в своем кабинете на втором этаже и сдвинув маленькую деревянную заслонку, открыл секретный глазок, через который мог наблюдать за своими приказчиками, работавшими в большой галерее нижнего этажа. С помощью подобного скрытого в балках «шпиона» — чисто флорентийское изобретение — мессир Толомеи мог видеть все, что происходило внизу, слышать все, что там говорилось.

Сейчас в его заведении, занимавшемся банковскими операциями и торговлей, царило великое смятение. По прилавкам пробегали тени от беспокойно колебавшегося пламени ламп с тремя светильниками, приказчики перестали подсчитывать медные жетоны, железный аршин с грохотом упал на пол, а на столиках менял покачивались весы, хотя никто к ним не прикасался. Покупатели повернулись к двери, а старшие приказчики, приложив руку к груди, уже склонились в поклоне.

Мессир Толомеи усмехнулся, догадавшись по этому смятению, что к нему пожаловал граф Артуа. Впрочем, через минуту он и сам увидел в глазок огромную, красного бархата шляпу с гребнем, красные перчатки, красные сапоги с громко звенящими шпорами, ярко-красный плащ, свободно развевавшийся за плечами гиганта. Только его светлость Робер Артуа входил к Толомеи с таким шумом, вызывая своим появлением дрожь у служащих, только он имел привычку пощипывать на ходу горожанок, чьи мужья не осмеливались пикнуть, только он одним своим дыханием, казалось, сотрясал стены.

Но все это не производило на старого банкира особого впечатления. Толомеи давно знал графа Артуа. Много раз наблюдал он за ним, и отсюда, сверху, ему было хорошо видно, сколько наигранного, показного, театрального в жестах этого сеньора. Только потому, что природа наделила Артуа исключительными физическими данными, он разыгрывал из себя людоеда. На самом же деле он просто хитрец, бестия. К тому же Толомеи вел финансовые дела Робера…

Куда больше заинтересовал банкира спутник Артуа; он был в черной одежде, шагал уверенно, по виду это был человек сдержанный, замкнутый

и высокомерный. С первого же взгляда Толомеи распознал в нем по-настоящему сильный характер.

Оба посетителя остановились перед прилавком с оружием и упряжью, и его светлость Артуа принялся перебирать своей огромной лапищей в красной перчатке кинжалы, клинки, образцы ножен, ворошить попоны, стремена, изогнутые удила, зубчатые, узорно расшитые уздечки. Потом приказчикам и за час не разложить товары по местам. Робер выбрал пару толедских шпор с длинными остриями, загнутыми кверху и наружу для того, чтобы не повредить сухожилий своего любимого Ахилла при резких ударах шпор: это было остроумное и, несомненно, весьма полезное для турниров нововведение. Крепления шпор были украшены цветами и лентами, на позолоченной стали круглыми буквами был выгравирован девиз: «Побеждать».

— Дарю их вам, милорд, — сказал гигант сеньору в черном. — Недостает лишь дамы, которая пристегнула бы их к вашим ногам. Но тут задержки не будет, французские дамы легко возгораются страстью к чужестранцам. Вы найдете здесь все, что угодно, — продолжал он, обводя рукой галерею. — Мой друг Толомеи, искусный ростовщик и

купец, хитрая лиса, достанет вам все, чего бы вы ни просили, застать его врасплох невозможно. Не хотите ли вы преподнести в дар вашему капеллану ризу? У него их тут три десятка на выбор… Колечко вашей возлюбленной? У него полные сундуки драгоценных камней… Если вы хотите надушить девицу, прежде чем развлекаться с ней, он предложит вам мускус, доставленный прямо с рынков Востока… Может быть, вам требуется реликвия?.. У него их три сундука… И помимо всего, он продает золото, чтобы скупать все эти сокровища! У него есть монеты со всех уголков Европы; можете узнать курс каждой на тех аспидных досках. Он торгует цифрами, и это, пожалуй, главное, чем он торгует: арендные счета, проценты с займов, доходы с ленных владений… За каждой такой маленькой дверцей у него сидят приказчики, которые подсчитывают, удерживают. Что делали бы мы без этого человека, который обогащается, потому что мы слабы в арифметике! Поднимемся к нему.

И деревянные ступеньки винтовой лестницы заскрипели под тяжестью графа Артуа. Мессир Толомеи задвинул заслонку глазка и опустил край ковра.

Комната, куда вошли оба сеньора, была мрач-

ной, пышно обставлена тяжелой мебелью, большими серебряными вазами, на стенах висели узорчатые ковры, заглушавшие все шумы; здесь пахло свечами, ладаном, пряностями и лекарственными травами. Казалось, собранные банкиром богатства впитали в себя все запахи жизни.

Банкир поднялся им навстречу. Робер Артуа, давно не видевший Толомеи — почти три месяца он разъезжал со своим кузеном, королем Франции, сопровождал его в Нормандию, куда они прибыли в конце августа, затем вместе с ним провел осень в Анжу, — удивился перемене, происшедшей в сиенце. Банкир постарел, седые волосы жидкими прядями спадали на воротник его кафтана; время наложило жестокий отпечаток на его лицо: от висков к скулам легла сетка морщин, словно по лицу его прошлись птичьи когти; дряблые щеки слились с отвисшим подбородком; грудь впала, зато живот торчал сильнее прежнего; коротко остриженные ногти крошились. Только левый глаз, знаменитый левый глаз мессира Толомеи, обычно зажмуренный, придавал ему выражение живости и лукавства; но взгляд другого глаза, широко открытого, рассеянный, отсутствующий и утомленный взгляд,

выдавал человека изнемогшего и помышляющего не так о внешнем мире, как о дряхлой своей плоти, где гнездятся недуги и усталость, о плоти, которая скоро превратится в прах.

— Друг Толомеи, — воскликнул Робер Артуа, сняв перчатки и швырнув их, словно кровавый кусок мяса, на стол, — друг мой Толомеи, в лице этого посетителя вам улыбается фортуна.

Банкир указал гостям на кресла.

— Во что же она мне обойдется, ваша светлость? — спросил он в ответ.

— Ну-ну, банкир, — сказал Робер Артуа, — разве когда-нибудь по моей вине вы помещали невыгодно капиталы?

— Никогда, ваша светлость, никогда, признаю. Правда, с платежами иногда немного запаздывали, но, в конце концов, Бог даровал мне довольно долгую жизнь, и я смог пожать плоды оказанного мне вами доверия. Но представьте, ваша светлость, что я бы умер, как умирают другие, в пятьдесят лет. Тогда по вашей милости я умер бы банкротом.

Остроумная шутка развеселила Робера Артуа, и он улыбнулся всем своим широким лицом, обнажив крепкие, но грязные зубы.

— Разве вы когда-нибудь теряли на мне? — от-

ветил он. — Вспомните, как в свое время я втянул вас в игру его высочества Валуа против Ангеррана де Мариньи. И вы сами видите, кто сейчас Карл Валуа и как кончил Мариньи свою бренную жизнь. Разве я не вернул вам сполна всю сумму, которую вы дали мне на войну в Артуа? Я признателен вам, банкир, весьма признателен за то, что вы всегда меня поддерживали, даже в самые тяжелые часы, ибо было время, когда я по уши влез в долги, — продолжал он, повернувшись к сеньору в черном, — у меня не оставалось земель, если не считать несчастного графства Бомон-ле-Роже, доходы от коего казна к тому же выплачивала не мне, а мой любезный кузен Филипп Длинный — да хранит Бог его душу в самых дальних закоулках ада — упрятал меня в Шатле. И вот этот банкир, которого вы, милорд, видите перед собой, ростовщик и величайший плут, каких когда-либо давала миру Ломбардия, человек, способный взять в залог ребенка в утробе матери, никогда не оставлял меня в беде. Вот почему он так долго прожил и проживет еще немало…

Мессир Толомеи растопырил два пальца правой руки на манер рожек и прикоснулся к деревянной столешнице.

— Да, да, король ростовщиков, вы будете еще

долго жить, уж поверьте мне… Вот почему этот человек будет всегда моим другом, которому я безгранично верю. И он был прав, поддерживая меня, ибо ныне я зять его высочества Валуа, член королевского Совета и живу на доходы с собственного графства. Мессир Томеи, знатный сеньор, которого вы видите, — это лорд Мортимер, барон Уигморский.

— Бежавший из Тауэра первого августа, — проговорил банкир, склоняя голову. — Большая честь, милорд, большая честь!

— Черт подери! — вскричал Артуа. — Так, значит, вам все известно?

— Ваша светлость, барон Уигморский слишком видная фигура, чтобы мы не знали, что случилось с ним, — ответил Томеи. — Мне даже известно, милорд, что, когда король Эдуард отдал приказ своим шерифам на побережье отыскать и арестовать вас, вы уже отплыли и были вне досягаемости английского правосудия. Мне известно, что, когда он велел обшарить все суда, готовящиеся к отплытию в Ирландию, и перехватить всю почту из Франции, ваши друзья в Лондоне и по всей Англии уже были уведомлены о благополучном вашем прибытии в Пикардию, к вашему кузену мессиру Жану де Фиенну. И наконец, мне

известно, что, когда король Эдуард приказал мессиру де Фьенну вас выдать, угрожая отобрать все его земли, находящиеся по ту сторону Ла-Манша, этот сеньор, горячий сторонник и верная опора его светлости Робера, тотчас же направил вас к нему. Должен сказать вам, что я не только предполагал, я был уверен, что вы придете ко мне, ибо его светлость Артуа — мой постоянный клиент, как он сам об этом сказал, — всегда вспоминает обо мне, когда его друзья попадают в затруднительное положение.

Роджер Мортимер внимательно слушал банкира.

— Я вижу, мессир, — ответил он, — что у ломбардцев отличные соглядатаи при английском дворе.

— Для вашей же пользы, милорд… Вам, вероятно, известно, что король Эдуард должен нашим компаниям крупную сумму. А за должником нужно следить. Тем более что ваш король уже давно отказывается признавать свою же собственную подпись, по крайней мере, когда дело касается нас. Он ответил нам через своего лорда-казначея епископа Эксетерского, что незначительные доходы от сбора податей, тягостное бремя войн и происки его баронов не позволяют ему посту-

пить иначе. А между тем пошлин, которыми он облагает наши товары в одном лишь лондонском порту, вполне хватило бы на то, чтобы рассчитаться с нами.

Слуга принес подогретое вино и драже — обычное угощение для знатных посетителей. Толомеи поднес гостям по целому кубку пряного вина, себе же налил лишь несколько капель и едва пригубил кубок.

— В настоящее время казна Франции находится, по-моему, в лучшем состоянии, нежели английская, — добавил он. — Не известно ли уже сейчас, ваша светлость Робер, каким приблизительно будет сальдо в этом году?

— Если в нынешнем месяце не грянет какая-нибудь нежданная беда — чума, голод, женитьба или похороны кого-нибудь из наших родственников королевской крови, то доходы на двенадцать тысяч ливров превысят расходы; эти цифры представил сегодня утром Совету глава счетной палаты Миль де Нуайе. Активное сальдо в двенадцать тысяч! Никогда еще во времена двух Филиппов — и Четвертого, и Пятого (а не дай бог появиться Шестому!) — казна не была в таком блестящем состоянии.

— Как удалось вам, ваша светлость, добиться

превышения доходов над расходами? — спросил Роджер Мортимер. — Не является ли это следствием того, что государство не ведет войн?

— С одной стороны, войн нет, но в то же время война есть, война, которую готовят, но не ведут. Или, точнее говоря, Крестовый поход. Должен сказать, Валуа, как никто, умеет воспользоваться выгодами Крестового похода! Не подумайте, что я считаю его плохим христианином! Разумеется, он от всего сердца желает освободить Армению от турок, так же как он желает восстановить ту самую Константинопольскую империю, корону которой он в свое время носил, так и не сумев взойти на трон. Но в конце концов, Крестовый поход в один день не подготовишь! Надо еще снарядить флот, выковать оружие, а главное — надо найти крестоносцев, договориться с Испанией, договориться с Германией… А первый шаг на этом пути — добиться от папы уплаты десятины с духовенства. Мой дорогой тесть добился этой десятины, и сейчас все убытки казны покрывает не кто иной, как папа.

— Ну и ну! Вы, ваша светлость, чрезвычайно меня заинтересовали! — произнес Толомеи. — Поскольку я являюсь банкиром папы… Четвертая доля вместе с Барди, но и эта четвертая доля доста-

точно велика! И если папа, не дай бог, обеднеет…

Артуа, отхлебнувший большой глоток вина, прыснул со смеху в серебряный кубок и поперхнулся.

— Обеднеет? Кто? Святой отец? — воскликнул он, проглотив наконец вино. — Да ведь он богач, у него сотни тысяч флоринов! О, этот человек мог бы кое-чему научить даже вас, Спинелло. Каким великим банкиром мог бы он стать, не будь он духовным лицом! Ведь когда он принял папскую казну, в ней было еще меньше денег, чем в моем кармане шесть лет назад…

— Знаю, знаю, — пробормотал Толомеи.

— Дело в том, что кюре лучшие сборщики налогов, какие когда-либо существовали на свете, и его высочество Валуа отлично усвоил эту истину. Вместо того чтобы увеличивать подати, используя для этого ненавистных всем сборщиков, в ход были пущены священнослужители, они выклянчивают пожертвования, а с них берут десятину. Рано или поздно крестоносцы двинутся в путь. А пока платит папа, стрижет шерсть со своих овечек, то бишь паствы.

Толомеи осторожно потер правую ногу — с некоторых пор нога начала холодеть и побаливала при ходьбе.

— Так вы говорите, ваша светлость, что сегодня утром состоялся Совет. Не было ли принято на нем каких-нибудь важных ордонансов? — спросил он.

— О! Как и обычно. Обсудили стоимость свечей и приняли решение запретить подмешивать в воск животное сало, а также смешивать старое варенье с новым. В отношении товаров, продаваемых в упаковке, вес упаковки должен вычитаться и не включается в цену. Все это в угоду простому люду, дабы показать ему, что о нем пекутся.

Слушая разглагольствования Робера, Толомеи внимательно разглядывал своих посетителей. Оба они казались ему молодыми; сколько могло быть лет Артуа? Тридцать пять — тридцать шесть… Да и англичанину не больше. Все мужчины, не достигшие шестидесяти лет, казались ему чуть ли не юношами! Сколько у них впереди дел, сколько волнений, битв, надежд и сколько восходов солнца, которых ему уже не увидеть! Сколько раз эти двое, проснувшись, вдохнут воздух нового дня, когда его прах уже будет покоиться в земле!

И что за человек этот лорд Мортимер? Лицо с правильными чертами и густыми бровями, гордый разрез серых глаз, строгая одежда, манера скрещивать руки, высокомерная и спокойная

осанка человека, который еще недавно был на вершине могущества и старается сохранить свое достоинство в изгнании, даже машинальное движение, когда он проводил пальцем по небольшому белому шраму на губе, — все это понравилось старому сиенцу. И Толомеи вдруг захотелось, чтобы этот сеньор вновь обрел счастье! С некоторых пор Толомеи получал своеобразное удовольствие, думая о других людях.

— А что, ордонанс о вывозе монет будет вскоре обнародован, ваша светлость, или нет? — спросил он.

Робер Артуа заколебался с ответом.

— Может быть, вы не слишком осведомлены об этом… — добавил Толомеи.

— Разумеется, разумеется, я осведомлен. Вы же прекрасно знаете, что король и особенно его высочество Валуа не делают ничего, не спросив моего совета. Ордонанс будет подписан через два дня: никто не будет иметь права вывозить за пределы королевства золотые или серебряные монеты, отчеканенные где-либо во Франции. Только паломникам разрешат брать с собой несколько мелких монет.

Банкир сделал вид, что придает этой новости ничуть не больше значения, чем ценам на свечи

и подмешиванию старого варенья в новое. Но про себя он уже думал: «Значит, вывозить из королевства можно будет только иностранные монеты; следовательно, они возрастут в цене… Какую помощь в нашем деле оказывают болтуны и как дешево отдают нам бахвалы то, что могли бы продать втридорога!»

— Итак, милорд, — сказал он, поворачиваясь к Мортимеру, — вы рассчитываете обосноваться во Франции? Чем я могу быть вам полезен?

За Мортимера ответил Робер:

— Всем, что необходимо знатному сеньору для поддержания своего положения. У вас достаточно богатый опыт в этом деле, Толомеи!

Банкир позвонил в колокольчик. Вошел слуга, и банкир велел ему принести свою большую книгу, добавив:

— Если мессир Боккаччо еще не уехал, скажи ему, пусть подождет меня.

Принесли книгу — огромный фолиант в обложке из черной кожи, сильно потертой от бесчисленных прикосновений; веленевые листы книги были скреплены при помощи подвижных зажимов. При желании в книгу можно было добавлять сколько угодно новых листков. Этот прием позволял мессиру Толомеи подкалывать

счета своих знатных клиентов в алфавитном порядке, вместо того чтобы каждый раз искать разрозненные листки. Банкир положил книгу на колени и с некоторой торжественностью открыл ее.

— Вы будете в хорошей компании, милорд, — проговорил он. — По месту и почет… Книга начинается с графа Артуа. У вас много счетов, ваша светлость, — добавил он с усмешкой, обращаясь к Роберу. — Затем следует граф Бувилль, попавший сюда в связи с его поездками к папе и в Неаполь… Королева Клеменция…

Банкир почтительно склонил голову.

— О! Она доставила нам немало забот после смерти короля Людовика Десятого; можно было подумать, что горе породило в ней ненасытную расточительность. Сам святейший отец заклинал ее в особом послании быть умеренной, и она вынуждена была заложить у меня свои драгоценности, чтобы расплатиться с долгами. Сейчас она живет доходами с земель, завещанных ей покойным супругом, в отеле Тампль, который получила в обмен на Венсеннский замок, и, кажется, вновь обрела покой.

Он продолжал переворачивать шелестевшие под его рукой страницы.

«Ну вот, теперь я сам расхвастался, — подумал Толомеи. — Впрочем, нужно же хоть немного подчеркнуть услуги, которые оказываешь, а заодно показать, что ничуть не польщен новым должником».

Толомеи с необычайной ловкостью показывал посетителям лишь имена, прикрывая рукой столбцы цифр. Таким образом, он был нескромен только наполовину. Кроме того, вся его жизнь была как бы заключена в этой книге, и он с тайной радостью листал ее при всяком удобном случае. Каждое имя, каждый счет вызывали множество воспоминаний, были связаны со множеством интриг и чужих тайн, со множеством обращенных к нему просьб, так что книга стала как бы мерилом его могущества. Каждая сумма была живым напоминанием о чьем-нибудь посещении, письме, ловкой сделке, свидетельствовала о симпатии или жестокости в отношении неаккуратного должника… Прошло уже почти полвека с тех пор, как Спинелло Толомеи, приехавший из Сиены и поначалу торговавший на ярмарках в Шампани, обосновался здесь, на Ломбардской улице, и от-

крыл собственный банк[54].

Еще страница, еще одна, зацепившаяся за поломанный ноготь. Имя, перечеркнутое черной чертой.

— Смотрите-ка, вот мессир Данте Алигьери, поэт… Счет на небольшую сумму, которую он взял, когда прибыл в Париж навестить королеву Клеменцию в дни траура. Он был большим другом Клеменции и ее отца короля Карла Венгерского. Помню, как он сидел в том же кресле, что и вы, милорд. Недобрый он был человек. Сам сын менялы, он целый час говорил мне о своем презрении к профессии банкира. Но пусть он бывал злым, пусть пьянствовал с девками в злачных местах, а сам твердил о своей небесной любви к Беатриче! Зато первый показал, сколь певуч наш язык, никто до него не сумел этого сделать. А как он описал ад, милорд! Вы не читали? Ай-ай-ай,

---

[54] Примечания: 54

Компания Толомеи, один из самых значительных сиенских банков наряду с компанией Буонсиньори, приобрела большую силу и известность с начала XIII в. Ее главным клиентом было папство; основатель банка, Толомео Толомеи, участвовал в посольстве к папе Александру III. При Александре IV Толомеи стали исключительными банкирами Святого престола. Урбан IV номинально исключил их из общего отлучения, направленного против Сиены между 1260 и 1273 гг. Примерно в это же время (конец царствования Людовика Святого, начало царствования Филиппа III) Толомеи начали появляться на больших ярмарках в Шампани; тогда же Спинелло основал французскую ветвь компании. В Сиене до сих пор существуют площадь и палаццо Толомеи.

прикажите-ка вам перевести! Содрогаешься при одной мысли, что так оно и есть. А знаете, в Равенне, где мессир Данте прожил свои последние годы, люди со страхом разбегались при виде его, ибо думали, что он и в самом деле спускался в преисподнюю. До сих пор немало людей отказываются верить, что он действительно умер два года назад, они утверждают, что он волшебник и не может умереть!.. Да, он не любил ни банков, ни его высочество Валуа, который изгнал его из Флоренции.

Пока Толомеи рассказывал о Данте, он прижимал раздвинутые рожками пальцы к деревянной ручке кресла.

— Вот, вы будете здесь, милорд, — вновь заговорил он, делая пометку в толстой книге. — Сразу же после монсеньора Мариньи; не беспокойтесь, не того, которого повесили и о котором только что упомянул его светлость Артуа, нет, а его родича, епископа Бовезского. С нынешнего дня я открываю вам счет на десять тысяч ливров. Можете использовать их по своему усмотрению; мой скромный дом всегда к вашим услугам. Ткани, оружие вы возьмете здесь у меня и получите любые товары в кредит.

У Толомеи уже давно вошло в привычку давать

людям взаймы деньги на покупку того, что он сам же продавал.

— А как ваш процесс против тетушки, ваша светлость? Не намерены ли вы возобновить его теперь, когда достигли такого могущества? — спросил он Робера.

— Непременно, непременно, но всему свое время, — ответил гигант, вставая. — Торопиться нечего, и я давно убедился, что излишняя поспешность мне только во вред. Пусть моя дражайшая тетушка стареет, пусть растрачивает силы в мелких тяжбах с вассалами и своим сутяжничеством каждый день наживает себе новых врагов, пусть приводит в порядок замки, с которыми я не совсем бережно обошелся во время последнего пребывания на ее землях и которые на самом-то деле принадлежат мне. Она начинает понимать, во что ей обойдется владение моим добром! Ей пришлось одолжить его высочеству Валуа пятьдесят тысяч ливров, которых она в глаза не увидит, ибо их дали в приданое за моей супругой и именно из этой суммы я уплатил вам долг. Как видите, эта шлюха на самом деле не такая уж вредная особа, как об этом говорят. Я только стараюсь поменьше с ней встречаться, ибо она меня до того любит, что вполне может

отправить к праотцам, подсунув какое-нибудь засахаренное драже, от которого уже отдали богу душу немало наших родичей… Но я верну свое графство, банкир, верну, будьте уверены, и, когда это случится, я сдержу свое слово и сделаю вас своим казначеем.

Провожая посетителей, мессир Толомеи, осторожно нащупывая ступеньки, спустился по лестнице и довел их до двери, выходившей на Ломбардскую улицу. Когда Роджер Мортимер осведомился, под какой процент ему даны деньги, банкир жестом дал понять, что вопрос этот излишен.

— Окажите лишь честь, заглядывая в мой банк, навещать меня, — сказал он. — Вы, несомненно, сможете рассказать мне много поучительного, милорд.

Слова эти сопровождались улыбкой, а левый глаз вдруг приоткрылся и даже слегка подмигнул, что должно было означать: «Поговорим наедине, без болтливых свидетелей».

От холодного ноябрьского воздуха, ворвавшегося с улицы, по телу старика пробежала легкая дрожь; но как только дверь за посетителями закрылась, Толомеи прошел за прилавки в маленькую комнату для ожидания, где находился

Боккаччо, кочующий представитель компании Барди.

— Друг Боккаччо, — обратился к нему Толомеи, — сегодня и завтра скупай все английские, голландские и испанские монеты, итальянские флорины, дублоны, дукаты — всю чужеземную валюту; можешь переплачивать по денье, а то и по два на каждой монете. Через три дня цена на них возрастет на четверть. Все путешественники вынуждены будут запасаться ими у нас, ибо вывоз французского золота будет запрещен. Доход от этой операции поделим пополам[55].

Банкир приблизительно прикинул, сколько можно будет собрать иностранного золота на месте, приплюсовав то, что лежало у него в сундуках, и подсчитал, что это дельце принесет ему пятнадцать — двадцать тысяч ливров чистой прибыли. Иными словами, он удвоит ту сумму в десять тысяч ливров, которую только что дал взаймы, и благодаря удачной операции будет иметь возможность предоставлять новые займы.

---

[55] Примечания: 55

Указ Карла IV о запрещении вывоза французской монеты был, несомненно, случаем спекуляции, потому что другой указ, опубликованный через четыре месяца, запрещал покупать золото и серебро по более высокому курсу, нежели денежный курс королевства. Год спустя у итальянских купцов были отняты права прочей буржуазии, правда это не означает, что им пришлось покидать Францию, просто их вынуждали еще раз выкупать разрешение на коммерцию.

Вот что значит сноровка!

И когда флорентийский горожанин Боккаччо рассыпался в комплиментах по адресу Толомеи и, медленно цедя фразы своим тонкогубым ртом, заметил, что не зря ломбардские компании в Париже выбрали мессира Спинелло Толомеи своим капитаном, старик ответил:

— О! Когда занимаешься больше полувека нашим ремеслом, тут уж нечего говорить о личных заслугах, все получается само собой. А будь я действительно ловким человеком, знаешь, что бы я сделал? Скупил бы твои запасы флоринов и забрал бы себе всю прибыль. Но к чему мне это? Ты сам это поймешь позже, Боккаччо, сейчас ты еще слишком молод…

А у Боккаччо на висках уже пробивалась седина.

— …человек, достигнув известного возраста и работая только для себя, испытывает такое чувство, будто он работает впустую. Мне недостает моего племянника. Дела его здесь уладились; уверен, что он ничем не рискует, если вернется. Но он отказывается, этот чертов Гуччо, упрямится, как полагаю, от гордости. Этот огромный дом по вечерам, после того как приказчики разойдутся, а слуги улягутся, кажется мне таким пустым.

Порой я даже жалею, что покинул Сиену.

— Твой племянник, Спинелло, — сказал Боккаччо, — должен был поступить так же, как поступил я, когда оказался в таком же положении после истории с одной парижской дамой. Я забрал своего сына и отвез его в Италию.

Мессир Толомеи покачал головой, думая о том, как печален очаг без детей. Сыну Гуччо должно было на днях исполниться семь лет, а Толомеи еще ни разу его не видел. Этому противилась мать ребенка…

Банкир потер правую ногу: она онемела и не слушалась, будто он ее отсидел. Вот как тащит вас к себе смерть, тащит за ноги, понемножку, тащит долгие годы… Вечером, перед тем как лечь в постель, Толомеи прикажет принести таз с горячей водой, чтобы отогреть ногу.

Глава IV
Лжекрестовый поход

— Лорд Мортимер, для моего Крестового похода мне понадобятся мужественные и доблестные рыцари наподобие вас, — заявил Карл Валуа. — Быть может, вы сочтете не слишком скромным с моей стороны говорить о «моем Крестовом

походе», тогда как в действительности это поход самого нашего Господа Бога, но, признаюсь, и с этим согласятся все, если сие великое предприятие, самое значительное и самое славное, какое только может объединить христианские народы, и впрямь свершится, то оно свершится лишь потому, что я своими собственными руками подготовлю его. Итак, лорд Мортимер, со всей присущей мне чистосердечностью и прямотой я спрашиваю вас: хотите ли вы присоединиться ко мне?

Роджер Мортимер выпрямился в кресле; его лицо слегка помрачнело, а веки наполовину прикрыли серые глаза. Уж не предлагают ли ему, словно мелкому вассалу или неудавшемуся авантюристу, случайно оказавшемуся здесь, командовать отрядом из двадцати рыцарей? Тогда это предложение простая милостыня!

Граф Валуа впервые принял Мортимера, так как все время был занят то делами в Совете, то приемами иностранных послов, то поездками по королевству. Наконец-то Мортимеру удалось увидеть этого человека, правившего Францией, человека, который как раз сегодня возвел в канцлеры одного из своих подопечных, Жана де

Шершемона[56], и от которого сейчас зависела судьба Мортимера; безусловно, теперешнее положение Мортимера было завидным для бывшего узника, приговоренного к пожизненному заключению, но в то же время тягостным для столь знатного сеньора: он, изгнанник, должен просить и ждать, не предлагая ничего взамен.

Встреча состоялась во дворце короля Сицилии, который Карл Валуа получил в дар от своего первого тестя, Карла Неаполитанского Хромого, в качестве свадебного подарка. В огромном зале, отведенном для аудиенций, дюжина оруженосцев, придворных и писцов, разбившись на маленькие группки, шептались между собой, поглядывая в сторону своего господина, который, словно настоящий монарх, принимал посетителей, восседая в кресле, вернее, на троне с парчовым балдахином. Его высочество Валуа был одет в просторный домашний наряд из голубого бархата, расшитого латинскими буквами V и лилиями, с большим вырезом спереди, что позволяло видеть меховую

[56] Примечания: 56

19 ноября 1323 г. Жан де Шершемон, сеньор де Венур из Пуату, каноник собора Парижской Богоматери, казначей Ланского собора, уже был канцлером в конце царствования Филиппа V. Карл IV, взойдя на престол, заменил его Пьером Родье. Но граф Карл де Валуа, чье благорасположение он, видимо, сумел приобрести, вновь назначил его в этот день на прежнюю должность.

подпушку. Руки его были усыпаны перстнями, с пояса на золотой цепочке свисала выгравированная на драгоценном камне личная печать; голову венчал бархатный колпак, схваченный золотым чеканным ободком, нечто вроде короны для неторжественных случаев. Рядом, опираясь о спинку трона, стоял старший сын Карла Валуа — Филипп, жизнерадостный, статный здоровяк с огромным носом, а сбоку сидел на табуретке, вытянув огромные сапожищи из красной кожи, зять Карла — Робер Артуа. В камине пылал целый ствол дерева.

— Ваше высочество, — медленно произнес Мортимер, — если помощь первого среди баронов Валлийской марки человека, который управлял королевством Ирландия и командовал во многих битвах, может быть вам полезна, я с готовностью окажу ее во имя защиты христианства, и уже сейчас вы можете располагать мною.

Валуа понял, что его собеседник человек гордый: говорит он о своих ленных владениях в Валлийской марке так, словно они все еще принадлежат ему, — и что привлечь его на свою сторону можно лишь обходительным обращением.

— Я счастлив, барон, — сказал он в ответ, —

видеть, что под знамя короля Франции, вернее, под мое знамя — ибо уже сейчас решено, что мой племянник будет по-прежнему управлять королевством, в то время как я возглавлю Крестовый поход, — так вот, повторяю, счастлив видеть, что под мое знамя собираются виднейшие суверенные принцы Европы: мой родственник Иоганн Люксембургский, король Богемии, мой шурин Роберт Неаполитанский и Сицилийский, мой кузен Альфонс Испанский, а также республики Генуя и Венеция, которые по призыву святейшего папы дадут нам галеры. У вас будет неплохое общество, барон, и я позабочусь о том, чтобы все уважали и чтили в вас знатного сеньора, каким вы являетесь. Во Франции, откуда вышли ваши предки и которая была родиной вашей матушки, ваши заслуги сумеют оценить лучше, чем в Англии.

Мортимер молча склонил голову. Заверение есть заверение; придется быть начеку, чтобы оно не осталось пустыми словами.

— Вот уже более пятидесяти лет, — продолжал его высочество Валуа, — в Европе не совершалось ничего великого во имя Божье, точнее, со времен моего деда Людовика Святого, который хоть и вознесся на небеса, но оставил после себя на земле жизнь! Неверные, ободренные

нашим бездействием, вновь подняли головы и считают себя хозяевами всей земли, совершают опустошительные набеги на побережье, грабят корабли, препятствуют торговле и одним своим присутствием оскверняют святые места. А мы, что сделали мы? Постепенно покинули все наши владения, все наши поселения; ушли из построенных нами крепостей, перестали защищать завоеванные нами священные права. Все это произошло одновременно с упадком ордена тамплиеров, что было делом рук моего старшего брата — мир праху его, — но я никогда не одобрял расправы с тамплиерами! Однако те времена миновали. В начале нынешнего года к нам прибыли посланцы Малой Армении с просьбой оказать им помощь против турок. Я благодарен моему племяннику, королю Карлу Четвертому, за то, что он понял, какую пользу может принести этот шаг, и одобрил меры, принятые мною в связи с этим; дело дошло до того, что теперь он заявляет, будто ему первому пришла в голову эта мысль! Хорошо уже то, что он верит в Крестовый поход, а остальное не столь важно. Таким образом, в скором времени, собрав силы, мы двинемся в поход и нанесем сокрушительный удар по этим варварам в их далеком краю.

Робер Артуа, слышавший эту речь в сотый раз, с проникновенным видом одобрительно кивал, но в глубине души его забавляло то, с каким жаром его тесть вещает о высоких материях. Ибо Робер отлично знал истинную подоплеку дела. Знал, что на турок действительно готовится поход, но знал также, что попутно решено немного потеснить и христиан, ведь, как известно, император Андроник Палеолог, правивший Византией, не поклонялся Магомету. Разумеется, тамошняя церковь много хуже здешней и верующие иначе осеняют себя крестным знамением, но все-таки осеняют! Однако это не мешало его высочеству Валуа упорно стремиться восстановить под своей эгидой знаменитую Константинопольскую империю, включив в нее не только земли Византии, но и Кипр, Родос, Армению, а также Куртене и Лузиньян. Так что после прибытия в дальние края графа Карла со всеми его войсками Андронику Палеологу придется плохо. Его высочество Валуа вынашивал в голове мечты Цезаря…

Впрочем, заметим, что Карл Валуа охотно прибегал к подобной тактике — запросить как можно больше, чтобы получить хоть немного. Так, он уже сделал попытку уступить возложенное на него командование Крестовым походом и свои

притязания на Константинопольский престол за маленькое королевство Арль на Роне при условии, что к этому королевству будет также добавлен Вьенн. В начале года об этом велись переговоры с Иоганном Люксембургским, но сделка сорвалась из-за возражений графа Савойского и особенно короля Неаполитанского, который, владея землями Прованса, вовсе не желал, чтобы его беспокойный родич создал по соседству с его государством свое независимое королевство. Тогда его высочество Валуа с особым рвением взялся за подготовку к священному походу. Говорили, что за короной государя, которая ускользнула от него в Испании, в Германии и даже в Арле, ему придется отправиться на другой конец света! Но все то, что было известно Роберу, огласке не подлежало…

— Конечно, еще не все препятствия преодолены, — продолжал его высочество Валуа. — Нам пока не удалось договориться с папой относительно числа рыцарей и их жалованья. Мы считаем необходимым иметь восемь тысяч рыцарей и тридцать тысяч пехотинцев и решили назначить следующую оплату: каждому барону по двадцать су в день, каждому рыцарю — десять; семь су и десять денье — оруженосцам, два су — пехотинцам.

А папа Иоанн пытается сократить мою армию до четырех тысяч рыцарей и пятнадцати тысяч пехотинцев; правда, он посулил мне двенадцать вооруженных галер. Он дал нам право на взимание десятины, но оспаривает сумму в миллион двести тысяч ливров в год за пять лет похода, которую мы у него запросили, и не желает предоставить четыреста тысяч ливров, необходимые королю Франции на побочные расходы…

«Из которых триста тысяч ливров уже обещаны любезному дядюшке Карлу Валуа[57], — подумал про себя Робер Артуа. — За эту плату можно командовать Крестовым походом! Но мне-то к чему спорить, ведь я тоже получу свою долю!»

— О! Я не хочу сказать ничего дурного о папе, — воскликнул Валуа, — но если бы вместо моего покойного племянника Филиппа на последнем конклаве в Лионе был я, я сумел бы добиться избрания такого кардинала, который лучше понимал бы интересы христианства и не был бы так прижимист!

---

[57] Примечания: 57

Порядок, предложенный папой после заседания Королевского совета в Жизоре в июле 1323 г., предусматривал, что королю полагается 300 000 ливров из 400 000 ливров побочных расходов. Но было также оговорено — и тут торчат уши Валуа, — что, если король Франции по какой бы то ни было причине не возглавит экспедицию, эта роль по праву перейдет к Карлу де Валуа, который тогда в личном порядке получит предоставленные папой субсидии.

— Особенно с тех пор, как мы в мае этого года вздернули на монфоконской виселице его племянника, — заметил Робер Артуа.

Мортимер повернулся в кресле и удивленно посмотрел на Робера Артуа:

— Племянника папы? Какого племянника?

— Как, кузен, разве вы не знаете? — отозвался Робер Артуа и, воспользовавшись случаем, встал, он не мог долго оставаться без движения. Подойдя к камину, он подтолкнул концом сапога выпавшее из очага полено.

Мортимер уже перестал быть для него «милордом» и превратился в «кузена», так как они установили, что находятся в отдаленном родстве через Фьеннов; скоро он будет просто «Роджер».

— Как, — повторил Робер, — вы не слыхали об удивительном приключении, которое произошло с благородным сеньором Журденом де Лилем, столь благородным и столь могущественным, что святой отец отдал ему в жены свою племянницу? Да, впрочем, конечно нет, как вы могли знать? Ведь вы по милости вашего доброго друга Эдуарда томились в узилище. О! Дело совсем пустяковое. И в сущности, обошлось бы без шума, не будь этот малый женат на племяннице папы. Этот самый Журден, гасконский сеньор, был виновен

в кое-каких мелких злодеяниях: воровал, убивал, насиловал женщин, растлевал юных девиц и, сверх того, баловался с мальчиками. Король, по просьбе папы Иоанна, согласился помиловать его и даже сохранил за ним право на получение доходов с ленного владения, но при условии, что он исправится. Как бы не так! Наш Журден вернулся к себе, и вскоре стало известно, что он еще более рьяно взялся за старое, собрал вокруг себя воров, убийц и прочий сброд, который грабил в его пользу и мирян, и церковников. Тогда послали королевского сержанта, который явился к нему как положено — в руках жезл с геральдическими лилиями — и потребовал от него явки в суд. И знаете, как Журден встретил нашего сержанта? Приказал его схватить и избить королевским жезлом, а в завершение всего посадил на этот самый жезл… Ну, тот, понятно, отдал богу душу.

Тут Робер не смог сдержать громовой смех, от которого задрожали стекла окон в свинцовых переплетах. Как весело хохотал его светлость Артуа, в глубине души одобряя Журдена де Лиля и чуть ли не завидуя ему во всем, за исключением печального конца! Вот кого бы он охотно взял себе в друзья.

— По правде говоря, никто так и не знает, в чем

состояло главное его преступление, — продолжал он, — в том ли, что он убил королевского посланца, или в том, что он осквернил королевские лилии пометом какого-то сержанта! За эти подвиги сира Журдена сочли достойным вздернуть на монфоконской виселице, куда его торжественно доставили, привязав к хвосту лошади, и повесили в том самом платье, которое ему преподнес его дядюшка папа; вы можете взглянуть на него, если вам приведется побывать в тех краях! Одеяние, правда, стало для него несколько широковато.

И Робер снова захохотал, задрав голову и заложив большие пальцы рук за пояс; его веселье было столь искренним и заразительным, что Роджер Мортимер не выдержал и тоже рассмеялся. Смеялись Валуа и его сын Филипп… Придворные с любопытством поглядывали на них из глубины залы. В числе других своих милостей судьба посылает нам одну — мы не знаем, какой нас ждет конец. Они были в своем праве, эти четыре знатных барона, они могли веселиться от чистого сердца; одному из них суждено было окончить свои дни через два года, другому оставалось ждать почти день в день семь лет и найти смерть на мостовой некоего города, по улицам которого его тоже протащат, привязав к хвосту лошади.

Этот смех сдружил их. Мортимер вдруг понял, что его допустили во всесильную группу Валуа, и почувствовал облегчение. Он с симпатией посмотрел на его высочество Карла, на это широкое, с багровым румянцем лицо человека, который неумерен в еде, но из-за недостатка досуга, поглощенный государственными делами, не имеет возможности в должной мере заниматься физическими упражнениями. Мортимер не видел Валуа уже очень давно: один раз они встретились в Англии на торжествах по случаю свадьбы королевы Изабеллы и второй раз в 1313 году, когда Роджер сопровождал английского короля, посетившего Париж, дабы впервые принести ленную присягу французской короне. И хотя казалось, что все это было только вчера, на самом деле с тех пор прошло немало лет. Его высочество Валуа был тогда в полном расцвете сил, а ныне он грузный и важный, да и Мортимер прожил уже половину отпущенного ему срока и надеялся прожить столько же, конечно при условии, что Господь Бог не пожелает сразить его на поле битвы, утопить в море или положить его голову под топор королевского палача. Дожить до тридцати семи лет было само по себе несомненной удачей, особенно когда имеешь столько завистников и врагов, постоянно

рискуешь жизнью на турнирах или на войне, не считая уже полутора лет, проведенных в темнице Тауэра. Ну да ладно! Не надо только терять время и отказываться от новых приключений. В конце концов мысль о Крестовом походе пришлась по душе Мортимеру.

— И когда же, ваше высочество, корабли ваши снимутся с якорей? — спросил он.

— Полагаю, через полтора года, — ответил Валуа. — Я пошлю в Авиньон третье посольство, чтобы окончательно решить вопрос о денежной помощи, индульгенциях и девизе Крестового похода.

— О, это будет великолепный набег, лорд Мортимер, и те, кто, нацепив на себя оружие, кичатся своей отвагой при дворе, должны будут делом доказать, что они способны на большее, нежели участие в турнирах, — проговорил молчавший до этого Филипп Валуа, и лицо его порозовело.

Старший сын Карла Валуа уже видел в мыслях надутые ветром паруса галер, далекие берега, знамена, рыцарей, тяжелую поступь французской кавалерии, сминающей неверных, затоптанный копытами лошадей полумесяц, мавританских девушек, захваченных в замках, нагих красавиц-рабынь в цепях… И ничто не помешает Филиппу

Валуа утолять свои страсти с этими жирными басурманками. Его широкие ноздри раздувались в предвкушении этой услады.

Жанна Хромоножка, его супруга, которую он, разумеется, любит, но боится до смерти, останется во Франции, а в минуты ревности она способна закатить дикую сцену, стоит ему только бросить взгляд на грудь другой женщины. Да, характер у сестрицы Маргариты Бургундской не из легких! Но может же быть, что муж искренне любит свою жену и в то же время, повинуясь природе, вожделеет к другим женщинам. Однако Филиппу требовался по меньшей мере Крестовый поход, чтобы он осмелился обмануть Хромоножку.

Мортимер слегка выпрямился и одернул свой черный камзол. Ему не терпелось вернуться к теме, которая имела для него куда большее значение, чем Крестовый поход.

— Ваше высочество, — обратился он к Карлу Валуа, — можете считать, что я уже шагаю в ваших рядах. Но я пришел также затем, чтобы попросить у вас…

Слово было сказано. Бывший наместник Ирландии произнес это слово, без которого ни один проситель ничего не добьется, без которого ни один владыка не окажет поддержки. Просить, ис-

прашивать, обращаться с просьбой… И вовсе не обязательно добавлять что-либо к этим словам.

— Знаю, знаю, — ответил Карл Валуа, — мой зять Робер уже ввел меня в курс дела. Вы просите, чтобы я замолвил за вас слово перед королем Эдуардом. Однако, мой любезный друг…

Поскольку Мортимер «просил», он сразу превратился в «друга».

— Однако я не сделаю такого шага, потому что это бесполезно… и только навлечет на меня новые оскорбления! Знаете, какой ответ ваш король Эдуард передал мне через графа Бувилля? Хотя, конечно, знаете… А ведь у папы уже было испрошено разрешение на этот брак! В какое положение он меня ставит! Смогу ли я теперь обратиться к нему с просьбой, чтобы он вернул ваши земли, восстановил ваши титулы, выгнал — что неизбежно вытекает из вышесказанного — своих мерзких Диспенсеров?

— И тем самым вернул королеве Изабелле…

— Бедная моя племянница! — воскликнул Валуа. — Я знаю, преданный друг, все знаю! Но неужели вы полагаете, что я или король Франции можем заставить короля Эдуарда изменить свои нравы и сменить министров? И не забывайте, что он уже прислал к нам епископа Рочестера с

требованием выдать вас. Понятно, мы отказали; мы не пожелали даже принять его епископа! Таков первый мой ответ на оскорбление Эдуарда! Нас связывают с вами, лорд Мортимер, нанесенные нам оскорбления. И если кому-нибудь из нас выпадет случай отомстить, заверяю вас, дорогой милорд, что мстить мы будем вместе.

Мортимер почувствовал, что его охватывает отчаяние, но на лице его не отразилось ничего. Беседа, от которой, если верить обещаниям Робера Артуа, должно было ждать чудес («Мой тесть Карл может все; если он проникнется к вам дружескими чувствами, а это так и будет, победа за вами; в случае надобности склонит на вашу сторону самого папу»)... беседа эта близилась к концу. И что же? Ничего!.. Туманное обещание дать пост военачальника через полтора года в стране турок. Роджер Мортимер уже подумывал покинуть Париж, отправиться к папе; а если и там ему не удастся ничего добиться, что ж, тогда он обратится к германскому императору... О! Сколько горьких разочарований несет в себе изгнание. Сбываются предсказания дяди — лорда Чирка...

Но вот в наступившей неловкой тишине раздался голос Робера Артуа:

— А почему бы нам самим не создать повод для мести, о которой вы говорите, Карл?

При дворе один лишь Робер называл графа Валуа по имени, как он привык звать его еще в те времена, когда они были лишь кузенами; к тому же рост, сила и бахвальство давали Роберу особые права.

— Робер прав, — сказал Филипп Валуа. — Можно, например, пригласить короля Эдуарда принять участие в Крестовом походе и там…

Он закончил свою мысль неопределенным жестом. Оказывается, у Филиппа, у этого верзилы, богатое воображение! Он уже представлял себе, как они переходят реку вброд или, еще лучше, предпринимают вылазку верхами в пустыне, где им встречается толпа язычников; Эдуард ввязывается в бой, они преспокойно бросают его, и он попадает в руки турок… Вот это настоящая месть!

— Никогда, — вскричал Карл Валуа, — никогда Эдуард не присоединит свои войска к моим. Да и можно ли вообще говорить о нем как о христианском владыке? Только мавры придерживаются подобных нравов!

Несмотря на этот приступ негодования, Мортимера охватило беспокойство. Слишком хорошо

он знал, чего стоили уверения принцев, знал, как вчерашние враги могут завтра примириться, если это принесет им выгоду. Вдруг его высочеству Валуа взбредет в голову мысль для вящей славы своего Крестового похода пригласить Эдуарда и вдруг Эдуард сделает вид, что согласен?..

— Если бы вы даже и предложили, ваше высочество, — промолвил Мортимер, — весьма маловероятно, что король Эдуард ответит на ваше приглашение; он любит игрища, но презирает оружие, и уверяю вас, что в битве при Шрусбери вовсе не он победил меня. Мы проиграли из-за неудачных распоряжений Томаса Ланкастера. Оправдывая свой отказ, Эдуард сошлется, и не без основания, на ту опасность, которую представляют собой шотландцы…

— Зато я был бы не прочь видеть шотландцев среди крестоносцев! — воскликнул Валуа.

Робер Артуа неторопливо похлопывал своими широкими ладонями. Крестовый поход был ему совершенно безразличен, и, откровенно говоря, он не испытывал ни малейшей охоты участвовать в нем. Прежде всего, его укачивало в море. На земле все, что угодно, но только не на воде — на корабле грудной младенец даст сто очков гиганту Артуа! Да и к тому же в первую очередь

он мечтал вернуть себе графство Артуа, а если ему придется целых пять лет скитаться где-то в заморских странах, то вряд ли это приблизит его к цели. Константинопольский трон не входил в его наследство, и его ничуть не пленяла перспектива оказаться в один прекрасный день в роли коменданта какого-нибудь плешивого, затерянного в море островка. Не интересовала его и торговля пряностями или похищение турчанок — Париж был полон гурий за пятьдесят су и горожанок, обходившихся и того дешевле, а его супруга, мадам Бомон, дочь Карла Валуа, охотно закрывала глаза на мужнины шалости. Таким образом, Робер изо всех сил старался оттянуть начало похода и, делая вид, что содействует ему, на самом деле силился всячески задержать его подготовку. У него имелся свой план, и не зря он привел Роджера Мортимера к своему тестю.

— А я вот что думаю, Карл, — сказал он. — Благоразумно ли оставлять на столь длительный срок французское королевство без мужчин, без рыцарства, а главное, без вашего руководства, на милость короля Англии, который недвусмысленно доказал, что не желает нам добра.

— Замки подготовятся к обороне, Робер, и, кроме того, мы оставим в них сильные гарнизо-

ны, — ответил Валуа.

— Но кто защитит королевство в наше отсутствие, без дворянства, без большинства рыцарей и, главное, без вас, нашего великого полководца? Уж не коннетабль ли, которому скоро стукнет семьдесят пять! Диву даешься, как это он еще держится в седле. Наш король Карл? Если, по словам лорда Мортимера, Эдуард чувствует себя не особенно уютно на поле боя, то наш любезный кузен понимает в бранных делах и того меньше. Да и что он вообще умеет делать? Только красоваться перед своим народом, чтобы все любовались его свежим цветом лица да улыбкой? Было бы безумием оставлять Эдуарду поле для гнусных происков, не ослабив его предварительно ловким ударом.

— Тогда поможем шотландцам, — предложил Филипп Валуа. — Высадимся в Шотландии и будем сражаться бок о бок с ними. Я лично готов отправиться туда хоть сегодня.

Робер Артуа нагнул голову, чтобы не выдать своих мыслей. Ну и наделает дел наш доблестный Филипп, если ему поручат командовать экспедицией в Шотландию! Наследник Карла Валуа уже однажды показал, на что он способен; было это в Италии, куда его послали поддерживать

папского легата против миланских Висконти. Филипп горделиво прибыл со своим войском, а затем Галеаццо Висконти так ловко обвел его вокруг пальца, что посланец Франции постепенно уступил ему все, считая, что все выиграл, и вернулся домой, не дав ни одного, даже самого ничтожного, сражения. Поэтому-то надо следить в оба, чтобы этот молодец опять чего-нибудь не выкинул! Это не мешало Филиппу Валуа быть лучшим и самым близким другом Робера, не говоря уже о том, что они были родственниками, но ведь и о своем друге можно думать все, что угодно, при условии, что он об этом не знает.

Роджер Мортимер слегка побледнел, услыхав предложение Филиппа Валуа. Ибо, хотя он был соперником и врагом короля Эдуарда, Англия все же была его родиной!

— В настоящее время, — проговорил он, — шотландцы ведут себя более или менее миролюбиво и склонны соблюдать договор, который они сумели навязать Эдуарду в прошлом году.

— Вечно Шотландия, Шотландия, — поддержал его Робер. — Чтобы попасть в Шотландию, нужно переплыть море! Побережем лучше наши корабли для Крестового похода. Возможно, у нас найдется более подходящее место, чтобы доса-

дить этому ничтожеству Эдуарду. Он не принес нам присяги верности за Аквитанию. Если мы принудим его явиться во Францию для защиты своих прав на это герцогство и, кстати, разобьем его, то мы, во-первых, отомстим ему, а во-вторых, во время нашего отсутствия он не посмеет поднять голову.

Валуа вертел свои перстни и размышлял. Снова Робер показывал себя разумным советчиком. Хотя Робер просто бросил идею, Валуа уже предугадывал все ее выгоды. Тем более что Аквитания не была для него неведомым краем; он уже воевал там, провел в тех краях свою первую крупную и победоносную кампанию в 1294 году.

— Разумеется, это будет хорошей подготовкой для наших рыцарей, которые уже давно по-настоящему не воевали, — сказал он, — к тому же мы сможем испытать пороховые жерла, их уже начинают применять итальянцы, а нам их предложил поставить наш старый приятель Толомеи. И в самом деле, французский король имеет право взять Аквитанское герцогство под свою руку, коль скоро ему не была принесена присяга верности… — На мгновение он задумался. — Но это не обязательно приведет к вооруженной схватке, — заключил он. — Как всегда, начнутся

переговоры, и дело возьмут в свои руки парламенты и посольства. В конце концов присяга будет принесена, хотя бы скрепя сердце. Нет, этот повод не годится.

Робер Артуа снова сел, положив локти на колени и подперев подбородок кулаками.

— Можно подыскать более веский предлог, нежели отказ от присяги, — начал он. — По-моему, кузен Мортимер, вы не хуже нас знаете о всех трудностях, дрязгах и спорах, возникавших из-за Аквитании, с тех пор как герцогиня Элинор, наставив достаточно развесистые рога своему первому супругу, нашему королю Людовику Седьмому, когда их брак был расторгнут, легкомысленно преподнесла вместе со своей жаждущей утех плотью и свое герцогство вашему королю Генриху Второму Английскому. Известно вам, конечно, и о договоре, которым славный король Людовик Святой, задавшись целью все дела решать по справедливости, намеревался положить конец

тянувшейся сто лет войне[58]. Но справедливость ничто, когда речь идет об установлении добрых отношений между королевствами. Договор, который Людовик Святой заключил в благодатный тысяча двести пятьдесят девятый год с Генрихом Третьим Плантагенетом, создал настолько сложное и запутанное положение, что сам черт ногу сломит. Даже сенешаль Жуанвилль, двоюродный дед вашей супруги, кузен Мортимер, безгранично преданный святому королю, советовал ему не подписывать этого договора. Давайте признаем открыто, этот договор был просто глупостью.

Роберу хотелось добавить: «Как, впрочем, и все, что сделал Людовик Святой, который был самой зловещей фигурой среди всех французских королей. Его разорительные Крестовые походы, состряпанные на скорую руку договоры, привычка все видеть только в черном и белом цвете… О! Как бы повезло Франции, не будь этого царствования! И однако, после смерти Людовика

---

[58] Примечания: 58

Обычно забывают, что у Франции с Англией были две столетние войны. Окончанием первой (1152–1259) считается заключение Парижского договора между Людовиком Святым и Генрихом III Плантагенетом, хотя между 1259 и 1338 гг. обе страны еще два раза вступали в вооруженный конфликт, и по-прежнему из-за Аквитании (в 1294 и, как увидим, в 1324 г.). Во второй же Столетней войне, начавшейся в 1328 г., предметом спора будет уже не Аквитания, но наследование французского престола.

Святого люди жалеют о нем, видно, коротка их память, раз они вспоминают лишь о правосудии, которое он вершил под дубом, разбирая тяжбы простого люда и отрывая драгоценное время от государственных дел!» Но вслух Робер сказал:

— Со дня смерти Людовика Святого не прекращаются споры и пререкания, договоры то заключаются, то отвергаются; если и приносят присягу верности, то с оговорками, беспрестанно заседающие парламенты то осуждают, то оправдывают, а в герцогстве мятеж следует за мятежом и идут все новые и новые судебные разбирательства. Кстати, Карл, — повернулся Робер к Валуа, — под каким предлогом посылал вас в Аквитанию ваш брат Филипп Красивый? Помнится, вы там навели тогда отменный порядок.

— В Байонне произошли в то время большие волнения: между французскими и английскими моряками дошло до рукопашной, пролилась кровь.

— Так вот, — воскликнул Робер, — давайте-ка придумаем повод для новых волнений в Байонне. Добьемся того, чтобы подданные обоих королей схватились и чуточку поубивали друг друга. Кажется, я нашел подходящее место.

Он ткнул своим огромным указательным паль-

цем в сторону своих собеседников и продолжал:

— В Парижском договоре, подтвержденном при заключении мира в тысяча триста третьем году, пересмотренном законниками в Периге в тысяча триста одиннадцатом году, было оговорено существование отдельных привилегированных сеньорий, которые, находясь на земле Аквитании, тем не менее остаются под прямой властью короля Франции. А у этих сеньорий в свою очередь имеются вассальные земли, которые тоже находятся в Аквитании. Вопрос же о том, подлежат эти земли непосредственно власти короля Франции или же герцога Аквитанского, до сих пор не решен. Понятно?

— Понятно, — отозвался его высочество Валуа.

Но его сын Филипп ничего не понял. Его большие голубые глаза моргали так беспомощно, что отец, сжалившись, объяснил ему:

— Ну как же, сын мой. Вообрази, что я отдаю тебе весь этот дворец как бы в ленное владение, но оставляю за собой право свободного пользования и распоряжения залой, где мы сейчас сидим. Однако к этой зале примыкает небольшая комнатка, в которую ведет вот та дверь. Кто из нас двоих имеет право пользоваться этой комнатой, на ком лежит обязанность обставить ее

мебелью и убирать? — И, вновь обратившись к Роберу, добавил: — Только нужно придумать столь серьезную акцию, чтобы Эдуард не мог на нее не ответить.

— Есть у нас одна сеньория, словно нарочно для этого уготованная, — ответил гигант, — это земля Сен-Сардо в приорстве Сарлат Перигезской епархии. Вопрос о ее статуте уже обсуждался, и Филипп Красивый заключил с приором Сарлата договор, по которому король Франции становится совладельцем этой сеньории. Эдуард Первый обращался с апелляцией по этому поводу в парижский парламент, но тот не вынес окончательного решения. Что будет делать король Англии, герцог Аквитании, если французский король, совладелец Сарлата, предпримет постройку крепости в Сен-Сардо, с тем чтобы разместить в ней крупный гарнизон, отчасти угрожающий окрестностям[59]? Надо полагать, отдаст приказ своему сенешалю воспротивиться этому и тоже

[59] Примечания: 59

Это пример крайней запутанности, к которой пришла феодальная система, которую обычно полагают весьма простой; она и в самом деле была таковой, пока не задохнулась в противоречиях, порожденных ее же применением. Надо вполне сознавать, что вопрос о Сен-Сардосе, или Аквитанское дело, был, по сути, не исключением, то же самое случилось с Артуа, с Фландрией, с Валлийской маркой, с испанскими королевствами, с Сицилией, с немецкими княжествами, с Венгрией — со всей Европой.

захочет разместить в сеньории гарнизон. При первой же стычке между солдатами двух королевств, при первой же грубости в отношении королевского офицера…

Робер выразительно развел свои огромные ручищи, словно вывод напрашивался сам собой. И его высочество Валуа, весь в голубом бархате, расшитом золотом, поднялся с трона. Он уже видел себя в седле во главе войска; он вновь отправится в Гиень, где тридцать лет назад прославил короля Франции!

— Я поистине восторгаюсь вами, брат мой! — воскликнул Филипп Валуа. — Вы, столь знатный рыцарь, знаете юридические тонкости не хуже легистов.

— Ба, брат мой, да было бы вам известно, в том нет заслуги с моей стороны. Не по влечению сердца мне пришлось изучить так основательно все обычаи Франции и решения парламентов; в этом повинна моя тяжба из-за графства Артуа. Но поскольку до сих пор мне эти знания ни разу не сослужили службы, пусть они помогут хотя бы моим друзьям, — добавил Робер, слегка склоняясь перед Роджером Мортимером, словно все это затевалось исключительно ради него.

— Ваш приезд — большая для нас подмога,

мессир барон, — добавил Карл Валуа. — Наши цели едины, и мы не преминем в узком кругу обратиться к вам за советом относительно этого дела… Да поможет нам Господь!

Мортимер растерялся, голова у него пошла кругом. Он ничего не сделал, ничего не сказал и не предложил, они воспользовались его присутствием, дабы осуществить свои заветные чаяния. И теперь от него требуют принять участие в войне против его собственной страны, не оставляя ему иного выбора.

Итак, если будет на то Божья воля, французы на французской земле пойдут войной на французских подданных английского короля при поддержке знатного английского барона и на деньги, данные папой для освобождения Армении от турок.

Глава V
Ожидание

Прошла осень, за ней зима, весна и начало лета. Лорд Мортимер видел, как над Парижем пронеслись все четыре времени года, видел непроходимую грязь на узких парижских улицах, видел снег на широких крышах аббатств и лу-

гах Сен-Жермен, видел затем, как распускаются почки деревьев на берегах Сены и солнечные лучи играют на квадратной башне Лувра, на круглой Нельской башне и на острие шпиля Сент-Шапель.

Изгнаннику всегда приходится ждать. Считается, что это не только его роль, но чуть ли не обязанность. Он ждет, пока ему наконец улыбнется судьба. Ждет, когда люди в стране, где он нашел себе убежище, закончат свои собственные дела и вспомнят наконец о его делах. Первое время изгнанник и его злоключения вызывают любопытство, каждый хочет завладеть им, как диковинкой, но вскоре присутствие его начинает утомлять и даже становится стеснительным. Все видели в нем немой упрек. Но нельзя же заниматься им с утра до вечера; он проситель, он, в конце концов, может и потерпеть!

Итак, Роджер Мортимер ждал, так же как ждал он два месяца в Пикардии у своего кузена Жана де Фьенна возвращения французского двора в Париж, как ждал он, чтобы его высочество Валуа выкроил среди всех своих обязанностей свободный час и принял его… Теперь он ждал войны в Гиени, пройти через которую, казалось, было предначертано ему самой судьбой.

О, его высочество Валуа не мешкал. Королевские сановники, по совету Робера, действительно наметили в Сен-Сардо на спорных угодьях сеньории Сарлат место для закладки фундамента крепости; но крепость не возведешь в один день, даже в три месяца; поначалу действия французов не особенно встревожили подданных английского короля. Поневоле приходилось ждать инцидента.

Роджер Мортимер использовал свой досуг для ознакомления с французской столицей, которую он лишь мельком видел десять лет назад, во время короткого путешествия, и, бродя по Парижу, старался понять великий народ Франции, которого он почти не знал. Могучая, славная нация — и столь отличная от Англии! А ведь живущие на разных берегах моря считали, что походят друг на друга, ибо знать обеих стран происходила от общих предков; но сколько же различий обнаруживалось при ближайшем знакомстве! Все население Англии с ее двумя миллионами душ составляло меньше одной десятой подданных короля Франции. Общее число французов равнялось приблизительно двадцати двум миллионам. В одном Париже насчитывалось триста

тысяч душ[60], в то время как в Лондоне — всего сорок тысяч. А какое оживление на улицах, какой расцвет торговли и ремесел, золото льется рекой! Чтобы убедиться в этом, достаточно было пройти по мосту Менял или вдоль набережной Золотых дел мастеров и послушать, как стучат в глубине лавок маленькие молоточки, кующие золото; пересечь, зажав нос, Большой мясной ряд за Шатле, где работали потрошильщики и живодеры; прогуляться по улице Сен-Дени, где расположились галантерейщики; пощупать ткани на прилавках суконщиков... А сравнительно тихая Ломбардская улица, которую лорд Мортимер теперь хорошо изучил, была местом крупных сделок.

Около трехсот пятидесяти корпораций и цехов возглавляли и объединяли все эти ремесла, и у

---

[60] Примечания: 60

Эти цифры рассчитаны историками на основании документов XIV в. Исходя из количества приходов и умерших на один приход получается в среднем по одному умершему на четырех живых, что вполне соотносится с периодом около 1328 г.

За время второй Столетней войны битвы, голод и эпидемии сократили общую численность населения больше чем на треть; только через четыре века Франция вновь достигнет того уровня населенности и благосостояния, которые были у нее при Филиппе Красивом и его сыновьях. Еще в начале XIX в. можно было заметить, что в пяти французских департаментах средняя плотность населения ниже цифр 1328 г. И даже в наши дни некоторым городам, процветавшим в Средние века и разоренным Столетней войной, еще далеко до их былого положения. Уже по одному этому можно судить, во что обошлась эта война нации.

каждого цеха были свои законы, свои обычаи и свои праздники. И пожалуй, дня не проходило без того, чтобы, выслушав мессу и обсудив свои дела, мастера и их подручные не собирались на пир: то это были шляпники, то свечники, то кожевники… На холме Сент-Женевьев целое племя богословов и докторов в колпаках вели диспуты на латыни, и отзвуки их контроверзов об апологетике или принципах Аристотеля порождали споры во всем христианском мире.

У знатных баронов и прелатов, у королей многих иностранных держав в городе имелись свои особняки, где они держали нечто вроде двора. Знать посещала главным образом улицы квартала Сите, Торговую галерею Пале-Рояля и держалась поблизости от отелей Валуа, Наварр-ского, Артуа, Бургундского, Савойского. Любой из этих отелей был как бы постоянным представительством крупных ленных владений; здесь сосредоточивались интересы каждой из этих провинций. И город рос, рос без конца и края, пригороды его уже оттесняли сады и леса, выплескивались за городские стены, возведенные Филиппом-Августом, но почти исчезнувшие под натиском новых построек.

Стоило только отъехать от столицы туда, где

простирались поля, и путник без труда убеждался, что французская деревня процветает. Зачастую у простых свинопасов и пастухов были собственные виноградники или поля. Женщины, занимавшиеся полевыми работами или каким-либо иным трудом, отдыхали в субботу после обеда, хотя им и оплачивалось это время; впрочем, в субботу вообще почти повсюду работа прекращалась в три часа дня. В дни многочисленных церковных праздников, так же как и в цеховые праздники, тоже не работали. И все же люди сетовали на свою судьбу. Правда, жаловались они главным образом на подати и налоги, как все народы во все времена жаловались на то, что они работают на других и никогда по-настоящему не могут располагать ни самими собой, ни плодами своих трудов. А объяснялось это тем, что во Франции, несмотря на ордонансы Филиппа V, которым следовали не слишком-то охотно, было значительно больше крепостных, чем в Англии, где большинство крестьян были свободными людьми, — им вменялось в обязанность иметь снаряжение для службы в армии; английские крестьяне были даже представлены в королевских советах и могли, таким образом, требовать у монархов принятия угодных им хартий.

Зато среди французской знати не существовало таких глубоких противоречий, как среди английской; конечно, и тут встречалось немало заклятых врагов, чья вражда была порождена личными интересами, таких, например, как граф Робер Артуа и его тетка Маго; среди дворянства возникали кланы и группировки, но знать была заодно, когда дело касалось их общих интересов или защиты королевства. Во Франции идея нации была более определенной и укоренилась глубже. Если и существовало сходство между державами, то в ту пору оно определялось личностью их правителей. И в Лондоне, и в Париже короны достались людям слабым, которым были чужды подлинные заботы о благе страны, а владыка, не пекущийся о государстве, является таковым лишь по имени.

Мортимер представился королю Франции, виделся с ним несколько раз, но не составил себе высокого мнения об этом двадцатидевятилетнем монархе, которого сеньоры обычно именовали Карлом Красивым, а народ — Карлом Красавчиком, ибо, хотя ростом и лицом он пошел в отца, под благообразной внешностью, увы, скрывалась скудость ума.

— Нашли ли вы подходящее жилье, мессир

Мортимер? С вами ли ваша супруга? Ах! Как вам, должно быть, тоскливо без нее! Сколько детей она вам родила?

Вот и все, что изволил сказать король изгнаннику, и всякий раз, видя его, он повторял свои вопросы: «С вами ли ваша супруга? Сколько детей она вам родила?» — успев забыть с прошлой встречи ответы Мортимера. Его, по-видимому, интересовали только домашние и семейные дела. Злосчастный брак с Бланкой Бургундской, рана от которого еще не затянулась, был расторгнут, причем Карл показал себя в этой истории с нелучшей стороны. Его высочество Валуа тотчас же женил его вторично на Марии Люксембургской, юной сестре короля Богемии, с которым Валуа как раз в тот момент мечтал сговориться относительно королевства Арль. Теперь Мария Люксембургская была беременна, и Карл Красивый окружал ее заботами, подчас даже бестолковыми.

Неопытность короля в управлении страной не мешала Франции вмешиваться в дела всего мира. Совет управлял от имени короля, а его высочество Валуа — от имени Совета; ничто, казалось, не могло свершиться без слова Франции. папе непрерывно давались наставления, и самый быстрый гонец, Робен Кюис-Мариа, которому платили по

восемь ливров и несколько денье — настоящее богатство — за поездку в Авиньон, непрестанно доставлял пакеты, по дороге забирая лошадей в монастырях. Гонцы посылались во все королевские дворы: Неаполитанский, Арагонский, Германский. Особенно пристально следили за всем, что творилось в Германии, — Карл Валуа и его кум Иоганн Люксембургский изрядно потрудились, добиваясь от папы отлучения от церкви императора Людвига Баварского лишь для того, чтобы корона Священной империи досталась… кому же? Да самому Карлу Валуа! Карл упрямо стремился осуществить свою давнишнюю мечту. Всякий раз, когда трон Священной империи пустовал по Божьей или человеческой воле, его высочество Валуа тут же выставлял свою кандидатуру. Одновременно продолжалась подготовка к Крестовому походу, и нельзя было не признать, что, если бы поход возглавил император, это произвело бы весьма сильное впечатление не только на язычников, но и на христиан.

Но была еще Фландрия, та самая Фландрия, что составляла предмет постоянных забот французской короны и продолжала доставлять ей неприятности: стоило графу Фландрскому изъявить свою верность королю Франции, как начинал

бунтовать народ, и графу приходилось выступать против короля, чтобы успокоить своих подданных. Наконец, много хлопот причиняла Англия, и Роджера Мортимера приглашали теперь к Валуа всякий раз, когда обсуждались английские дела.

Мортимер снял себе жилище около особняка Робера Артуа, на улице Сен-Жермен-де-Пре, напротив Наваррского отеля. Джерард Элспей, не расставшийся с ним со дня побега из Тауэра, вел дом, брадобрей Огл выполнял роль камердинера, у Мортимера же нашли пристанище еще несколько изгнанников, вынужденных покинуть родину из-за ненависти Диспенсеров. Среди них был Джон Мальтраверс, английский сеньор — сторонник Мортимера, который, так же как и он, был потомком одного из соратников Вильгельма Завоевателя и которого объявили врагом английского короля. У этого Мальтраверса была длинная мрачная физиономия, длинные редкие волосы и огромные зубы; он ужасно походил на своего коня. Мальтраверс был не слишком приятным компаньоном — главным образом потому, что без видимой причины заливался раскатистым, похожим на ржанье смехом, от которого всякий раз вздрагивали присутствующие. Но в изгнании друзей не выбирают; друзей вам дарит общее

несчастье. Через Мальтраверса Мортимер узнал, что его жену перевели в замок Скиптон в графстве Йоркшир, дав ей в качестве свиты придворную даму, конюшего, прачку, слугу и пажа; узнал он также, что получает она тринадцать шиллингов и четыре денье в неделю содержания на себя и своих людей, — это было равносильно тюремному заключению.

А участь королевы Изабеллы изо дня в день становилась все более мучительной. Диспенсеры грабили, обирали и унижали ее методически, жестоко. «Мне не принадлежит больше ничего, кроме моей жизни, — велела она передать Мортимеру, — но я весьма опасаюсь, что и ее у меня собираются отнять. Поторопите моего брата выступить на мою защиту».

А король Франции твердил: «С вами ли ваша супруга? Есть ли у вас сыновья?..» — и не было у него иных мнений, кроме мнений его высочества Валуа, а тот все ставил в зависимость от успеха или неуспеха своих действий в Аквитании. А что, если к тому времени Диспенсеры убьют королеву?

— Не посмеют, — отвечал Валуа.

Кое-какие новости Мортимер получал через банкира Толомеи, который переправлял его

почту за Ла-Манш. Ломбардцы наладили почтовую связь куда искуснее, чем двор, и их гонцы умели более ловко припрятать в случае надобности письмо. Таким образом, переписка между Мортимером и епископом Орлетоном почти не прерывалась.

Епископ Херефордский дорого заплатил за то, что устроил побег Мортимера, но он был человек смелый и не уступал королю. Когда его, прелата, впервые в истории Англии, вынудили предстать перед светским правосудием, он отказался отвечать на вопросы обвинителей, и его поддержали все архиепископы королевства, усмотревшие в действиях короля угрозу своим привилегиям. Эдуард продолжал процесс, добился осуждения Орлетона и приказал конфисковать его имущество. Кроме того, король обратился к папе, прося его сместить епископа как бунтаря; в этих условиях было очень важно, чтобы его высочество Валуа оказал воздействие на Иоанна XXII, а тот воспрепятствовал бы отставке епископа, которая привела бы Орлетона на плаху.

В весьма щекотливом положении очутился и Генри Кривая Шея. В марте Эдуард передал ему титулы и имущество казненного брата, в том числе и большой замок Кенилворт. Затем, узнав, что

Генри, теперь уже граф Ланкастерский, направил Орлетону дружеское послание с выражением сочувствия, Эдуард обвинил его в государственной измене.

— А ваш король по-прежнему отказывается платить нам. Коль скоро вы видитесь с его высочеством Валуа и графом Артуа и находитесь в дружеских с ними отношениях, — говорил Толомеи, — не могли бы вы напомнить им, милорд, о пороховых жерлах, которые недавно были испытаны в Италии и которые в высшей степени пригодны для осады городов. Мой племянник в Сиене и семейство Барди во Флоренции могут взять на себя их поставку. Эти орудия легче устанавливать, чем громоздкие катапульты, да и разрушений они причиняют побольше. Его высочеству Валуа следовало бы вооружить такими жерлами свое воинство для Крестового похода… если, конечно, Крестовый поход состоится!

Поначалу женщины проявили немалый интерес к Мортимеру — к этому высокому мужчине с загадочным взглядом, неизменно одетому в черное, суровому и таинственному, все время покусывавшему губу, пересеченную белым шрамом. Десятки раз они требовали, чтобы он рассказывал им о побеге, и под прозрачными

корсажами из белого льняного полотна видно было, как взволнованно дышат прекрасные груди. Его низкий, чуть хрипловатый голос, чужеземный акцент, прорывавшийся в некоторых словах, заставляли учащенно биться открытые для любви сердца. Робер Артуа неоднократно пытался толкнуть английского барона в эти страстно ждавшие его объятия; желая отвлечь Мортимера от тягостных мыслей и полагая, что его больше тянет к простонародным развлечениям, он взялся поставлять ему гулящих девок в любом количестве, поодиночке или пачками. Но Мортимер не поддавался искушениям, и так как он вовсе не был похож на святошу, окружающие начали подумывать, уж не лежат ли в основе столь высокой добродетели те же склонности, что и у английского короля.

Но никто не догадывался об истинной причине этого воздержания. Мортимер, некогда связывавший свой побег из тюрьмы с гибелью ворона, дал зарок целомудрия, считая, что только в этом случае фортуна вновь улыбнется ему. Он поклялся не прикасаться к женщинам до тех пор, пока не вступит на землю Англии и не вернет себе все свои титулы и былое могущество. Такой же рыцарский обет могли дать Ланселот, Амадис

или еще кто-нибудь из соратников короля Артура. Однако Роджер Мортимер вынужден был признать, что дал этот обет несколько неосмотрительно, и это в немалой степени омрачало его настроение…

Наконец из Аквитании пришли добрые вести. Крепость, которую возводили в Сен-Сардо, начала вызывать беспокойство у сенешаля английского короля в Гиени, мессира Бассе, весьма ревниво относившегося к своему престижу особенно потому, что имя его, звучавшее как слово «такса», вызывало дружный смех. Он усмотрел в этом посягательство на права своего повелителя, короля Англии, равно как и оскорбление своей собственной персоны. Собрав немногочисленное войско, он внезапно ворвался в Сен-Сардо, разграбил это местечко, схватил сановников французского короля, наблюдавших за работами, и повесил их на столбах, на которых велел прибить металлические гербы с изображением геральдических лилий, что указывало на принадлежность владения Франции. Мессир Ральф Бассе был не одинок в своей вылазке, несколько окрестных сеньоров оказали ему помощь и поддержку.

Как только об этом сообщили Роберу Артуа, он тотчас же заехал за Мортимером, и они отправи-

лись к Карлу Валуа. Не в силах сдержать радость и гордость, его светлость Артуа смеялся громче обычного и щедро раздавал своим близким дружеские тычки, от которых те разлетались в разные стороны. Наконец-то представился подходящий случай, а главное, весь этот план родился в его изобретательной голове!

Дело незамедлительно обсудили на Малом совете, после чего были совершены обычные представления и виновникам грабежа в Сен-Сардо предписали предстать перед парламентом Тулузы. А вдруг они явятся с повинной головой и признают свою вину? Вот этого-то именно и боялись.

К счастью, один из них, Раймон Бернар де Монпеза, отказался явиться по вызову. Хотя не явился только он один, этого было достаточно. Бунтаря осудили заочно, издали приказ о конфискации его имущества, и Жана де Руа, сменившего Пьера-Гектора де Галара на посту командира арбалетчиков, отрядили в Гиень с небольшим отрядом, приказав ему захватить сира де Монпеза, отобрать его имущество и разрушить его замок. Однако победу одержал сир Монпеза, ибо он взял в плен королевского офицера и даже потребовал за него выкуп. Король Эдуард был тут

ни при чем, но силою событий его положение осложнилось, и Робер Артуа ликовал. Ибо командир арбалетчиков — достаточно видная фигура, чтобы его исчезновение не повлекло серьезных последствий!

Новые представления, сделанные на сей раз прямо королю Англии, сопровождались угрозой отобрать герцогство. В начале апреля в Париж прибыл граф Кентский, сводный брат короля Эдуарда, в сопровождении архиепископа Дублинского и для прекращения спора предложил Карлу IV просто-напросто отказаться от ленной присяги в верности, которую должен был принести Эдуард. Мортимер, который виделся с Кентом во время его пребывания в Париже (они по-прежнему обходились друг с другом весьма учтиво, несмотря на всю щекотливость их положения), доказал ему полную бесполезность подобного демарша. Впрочем, молодой граф Кентский и сам был убежден в этом; он выполнял свою миссию без всякой охоты. С тем он и уехал, увозя с собой отказ французского короля, переданный Карлом Валуа в достаточно оскорбительной форме. Все свидетельствовало о том, что война, задуманная Робером Артуа, вот-вот разразится.

Но в это самое время в Иссудене внезапно скон-

чалась новая королева, Мария Люксембургская, разрешившись раньше срока мертвым младенцем.

В период траура не воюют, к тому же король Карл был настолько подавлен, что не в состоянии был вести Совет. В супружестве его решительно преследовал злой рок. Сначала рогоносец, теперь вдовец. Его высочеству Валуа пришлось, отставив все прочие дела, срочно подыскивать третью супругу королю, который был раздражен и встревожен тем, что королевство осталось без наследника, и упрекал в этом всех и вся. Вопрос о его первом браке был решен отцом, о втором — дядей; однако оба, и отец и дядя, не слишком-то преуспели.

Найти принцессу, которая пожелала бы войти в королевскую фамилию Франции, становилось все труднее, ибо повсюду шли разговоры, что над родом Капетингов тяготеет злой рок.

Карл Валуа охотно выдал бы за своего племянника одну из своих незамужних еще дочерей, если бы не препятствовала разница в возрасте; к сожалению, самой старшей из них, той, которую он не так давно предлагал наследному принцу Англии, не исполнилось еще и двенадцати лет. А Карл Красивый не желал тянуть с таким важным

делом, он хотел вновь обрести покой своих ночей и дать королевству наследника престола.

Итак, лорд Мортимер ждал, пока королю подберут супругу…

У Карла IV оставалась еще одна двоюродная сестра, дочь ныне покойного графа Людовика д'Эврё и сестра Филиппа д'Эврё, женатого на Жанне Наваррской, которая, как считалось, была прижита Маргаритой Бургундской не от законного супруга. Жанна д'Эврё ничем не блистала, но была хорошо сложена и, главное, достигла возраста, необходимого для материнства. Его высочество Валуа, желая избавить себя от излишних хлопот, соответственно настроил весь двор, надеясь склонить короля к этому браку. Через три месяца после смерти Марии Люксембургской у папы испросили разрешения на новый брак с родственницей. И Робер Артуа, зять Карла Валуа, приходившегося королю дядей, сам в свою очередь стал дядей суверена, своего кузена, ибо Жанна д'Эврё была дочерью его покойной сестры Маргариты Артуа.

Бракосочетание состоялось 5 июня. А за четыре дня до свадьбы Карл принял решение отобрать Аквитанию и Понтье за бунт и нарушение ленной присяги в верности. Папа Иоанн XXII, как и

всегда, когда между двумя суверенами вспыхивал конфликт, счел своим долгом вмешаться и написал королю Эдуарду, призывая его принести присягу верности, дабы хоть один из спорных вопросов был улажен. Но французская армия была уже наготове и стягивалась к Орлеану, а в портах снаряжали флот для нападения на английские берега.

Король Англии в свою очередь приказал произвести частичный набор в Аквитании, и мессир Ральф Бассе поспешно собирал войска; графа Кентского вновь отправили во Францию, на этот раз океаном, и по поручению своего сводного брата Эдуарда он готовился взять на себя роль наместника герцогства.

Но значило ли это, что война вот-вот начнется? Отнюдь нет. Его высочеству Валуа требовалось еще срочно совершить поездку в Бар-сюр-Об, чтобы обсудить там с Леопольдом Габсбургским вопрос о выборах императора Священной империи и заключить договор, в силу которого Леопольд обязывался не выставлять свою кандидатуру, причем в договоре предусматривалось, что в случае, если Валуа будет избран императором, Габсбург получит отступные, пенсию и постоянный доход, размеры коего были оговоре-

ны заранее. А Роджер Мортимер все ждал…

Наконец 1 августа, в самый зной, когда рыцари в своих доспехах чуть не спеклись заживо, Карл Валуа, великолепный, громоздкий, в шлеме с перьями и расшитом золотом камзоле, надетом поверх золотой кольчуги, приказал подсадить себя в седло. С ним вместе был его второй сын, граф Алансонский, его племянник Филипп д'Эврё — новый шурин короля, коннетабль Гоше де Шатийон, лорд Мортимер, барон Уигмор, и, наконец, Робер Артуа, который, восседая на могучем коне, мог легко обозревать все войско.

Испытывал ли его высочество Валуа радость, был ли он счастлив или хотя бы просто удовлетворен, отправляясь вторично на Гиень, в поход, которого он так хотел и так добивался и который был с начала до конца делом его рук? Ничуть. Он пребывал в самом мрачном расположении духа, ибо Карл IV отказался подписать приказ о назначении его наместником короля в Аквитании. А кто, кроме Карла Валуа, имел право на этот титул? И хорош он будет перед графом Кентским, этим щеголем, этим сосунком и ко всему еще его собственным племянником, который получил от короля Эдуарда титул наместника!

Все терялись в догадках, все старались понять,

что произошло с Карлом Красивым и какова причина этого внезапного упрямства, почему отказался он сделать то, что было необходимо и о чем его просили, тем более что, как известно, он был не способен принять самостоятельно ни одного решения. Да стоит ли этот коронованный простофиля, этот гусенок, не стесняясь делился своими мыслями с соратниками Карл Валуа, тех хлопот и усилий, которые вместо него берет на себя дядя, управляя королевством французским? Может, придется в один прекрасный день и наследника ему раздобыть?

Старый коннетабль Гоше де Шатийон, который номинально командовал армией, ибо Валуа не имел никаких официальных полномочий, щурил свои морщинистые, как у черепахи, веки под старомодным шлемом. Коннетабль был глуховат, но и в семьдесят четыре года все еще внушительно выглядел в седле.

Лорд Мортимер приобрел доспехи и вооружение у Толомеи. Под приподнятым забралом сурово поблескивали его глаза, такие же по цвету, как новая сталь панциря. Так как по вине своего короля Мортимер шел войной против собственной страны, он надел в знак траура камзол из черного бархата. Никогда он не забудет дату

этого похода: было 1 августа 1324 года, праздник святого Петра в оковах; ровно год назад, день в день, он совершил побег из Тауэра.

Глава VI
Огнедышащие жерла

Тревога застала графа Эдмунда Кентского в одной из комнат замка, где он в тщетных поисках прохлады улегся прямо на каменный пол. Он лежал в одних полотняных штанах, с обнаженным торсом, разбросав руки, и не шевелился, сраженный бордоской жарой. Растянувшись рядом с ним, прерывисто дышала его любимая борзая. Собака первая услышала набат. Она приподнялась на передних лапах, вытянула морду, прижав подрагивающие уши. Молодой граф Кентский вышел из полусонного оцепенения, потянулся и внезапно понял, что в Ла-Реоле звонят во все колокола. В мгновение ока он был на ногах, схватил рубашку из легкого батиста, валявшуюся на кресле, и поспешно натянул на себя.

За дверью уже слышались торопливые шаги. Сенешаль мессир Ральф Бассе вошел в комнату в сопровождении нескольких местных сеньоров, сира де Бержерака, баронов де Бюдо и де Мовзена

и сира де Монпеза, из-за которого разгорелась вся эта война — так, по крайней мере, считал он сам и немало тем гордился.

Бассе был и впрямь почти карлик; молодой граф Кент всякий раз дивился его росту, когда сенешаль появлялся перед ним. При этом он был кругл, как бочонок, ибо отличался необычайной прожорливостью; он в любой момент готов был разразиться гневом, отчего у него вздувалась шея и глаза выкатывались из орбит.

Борзая терпеть не могла сенешаля и при его появлении громко залаяла.

— Пожар или французы, мессир сенешаль? — осведомился граф Кентский.

— Французы, ваше высочество, французы! — воскликнул сенешаль, которого даже покоробило от этого вопроса. — Идите взгляните сами. Их уже видно.

Граф Кентский склонился над оловянным зеркальцем, желая привести в порядок светлые букли у висков, и последовал за сенешалем. В белой рубашке с напуском и распахнутым воротом, в сапогах без шпор и с непокрытой головой, он среди этих вооруженных до зубов баронов в железных кольчугах производил впечатление человека смелого, грациозного, но в то же время

довольно легкомысленного.

Он вышел наружу, и его оглушил звон колоколов, ослепило яркое августовское солнце. Борзая завыла.

Все поднялись на самый верх большой круглой башни под названием Томас, построенной Ричардом Львиное Сердце. Чего только не настроил этот предок… Укрепления вокруг Тауэра, Шато-Гайар, крепость Ла-Реоль…

У подножия почти отвесного склона текла широкая, поблескивавшая на солнце Гаронна, путь которой был отмечен множеством излучин; она бежала по огромной плодородной равнине, простиравшейся до синевшей у самого небосклона полоски Аженских гор.

— Я ничего не различаю, — сказал граф Кент, ожидавший увидеть французские авангарды на подступах к городу.

— Да вон они, ваше высочество, — громко кричали бароны, надеясь заглушить гул набата. — Смотрите вдоль реки, вверх по течению, в сторону Сент-Базеля!

Прищурив глаза и приложив щитком ладонь ко лбу для защиты от солнца, граф Кентский наконец разглядел рядом с лентой реки вторую поблескивавшую ленту. Ему объяснили, что это

блестят на солнце панцири рыцарей и лошадиные попоны.

А звон колоколов по-прежнему разрывал воздух. Как это у звонарей хватало силы? На улицах городка, особенно перед ратушей, волновались жители. Какими маленькими казались все эти люди с зубцов крепости — словно насекомые. По всем дорогам, ведущим к городу, двигались перепуганные крестьяне: кто тащил на веревке корову, кто собирал разбежавшихся коз, кто погонял стрекалом быков в упряжке. Люди убегали с полей, с минуты на минуту нахлынут и жители соседних деревень с пожитками за спиной или в тачке. И всему этому люду предстоит расположиться как попало в городе, где и без того уже тесно, так как здесь стоят войско и рыцари Гиени…

— Только часа через два мы сможем точно определить численность французского войска, а до стен города они доберутся не раньше ночи, — заметил сенешаль.

— Да, плохое время для войны, — бросил в сердцах сир де Бержерак, который несколько дней назад уже бежал из Сент-Фуа-ла-Гранд при приближении французов.

— Почему ж плохое? — спросил граф Кентский,

показывая на безоблачное небо и на восхитительную равнину, расстилавшуюся перед ними. — Правда, немного жарковато, но лучше жара, чем дождь и грязь. Если бы аквитанцы знали, что значит воевать в Шотландии, они не стали бы жаловаться!

— Потому что наступил сбор винограда, ваше высочество, — проговорил сир де Монпеза, — потому что вилланы озлятся, видя, как топчут их урожай, и будут наверняка ставить нам палки в колеса. Граф Валуа знает, что делает; в тысяча двести девяносто четвертом году он поступил точно так же: уничтожал все на своем пути, чтобы наш край поскорее изнемог от войны.

Граф Кентский пожал плечами. Что значит для бордоских виноделов потеря нескольких бочонков вина — независимо от того, идет война или нет, здесь все равно будут пить кларет. Вершину Томаса внезапно овеял легкий ветерок, раздул распахнутую рубашку молодого принца и приятно освежил кожу. Сколько радости доставляет иногда простое ощущение жизни!

Граф Кентский облокотился о нагретые солнцем камни башенного зубца и замечтался. В двадцать три года он — королевский наместник целого герцогства, то есть наделен всеми коро-

левскими правами: может вершить суд, вести войну, распоряжаться финансами. Здесь он как бы представляет особу короля. Достаточно ему сказать: «Хочу», и все бросятся выполнять его желание. Может приказать: «Повесить!..» Правда, он не собирался отдавать такого приказа, но мог его отдать. А главное, он был далеко от Англии, далеко от двора, от сводного брата, от его причуд и вспышек гнева, от его вечной подозрительности, далеко от Диспенсеров, с которыми по необходимости приходилось делать вид, что ладишь, хотя в душе он терпеть не мог их отродья. Здесь же он был предоставлен самому себе, был сам себе хозяин и хозяин всего, что его окружало. К крепости приближалась армия, которую ему предстояло атаковать и, вне всякого сомнения, победить. Один астролог предсказал графу, что в возрасте между двадцатью четырьмя и двадцатью шестью годами он совершит самые свои выдающиеся деяния и тем добьется высокого положения… И вот его детские грезы внезапно становятся явью. Обширная долина, рыцари в доспехах, власть суверена… Нет, и в самом деле, впервые со дня рождения он ощущал столь полно счастье жизни. Голова слегка кружилась, словно он опьянел, но опьяняли его собственные мысли, этот ветерок,

овевающий грудь, и бескрайний горизонт…

— Какие будут приказания, ваше высочество? — спросил мессир Бассе, начинавший терять терпение.

Граф Кентский обернулся и посмотрел на коротышку-сенешаля не без высокомерного удивления.

— Приказания? — повторил он. — Скажите, чтобы трубили тревогу, мессир сенешаль, и сажайте ваших людей на лошадей. Мы выступим навстречу врагу и атакуем его.

— Но какими силами, ваше высочество?

— Да вашими же войсками, Бассе, черт возьми!

— Ваше высочество, у нас здесь самое большее две сотни воинов, а на нас движется, по полученным сведениям, более полутора тысяч. Не так ли, мессир де Бержерак?

Сир Реджинальд де Пон де Бержерак кивком подтвердил слова Бассе. Шея коротышки-сенешаля побагровела и вздулась сильнее обычного; он действительно тревожился и еле сдержался от гневной вспышки перед лицом такого бездумного легкомыслия.

— А о подкреплениях еще ничего не известно? — спросил граф Кентский.

— Ничего, ваше высочество! По-прежнему

ничего! Простите меня, но ваш брат король, по-моему, бросил нас на произвол судьбы.

Уже целый месяц они ждали эти пресловутые английские подкрепления. И, ссылаясь на это, коннетабль Бордо, у которого были войска, не двигался с места, ибо получил от короля Эдуарда приказ выступать только после прибытия подкреплений. Оказывается, юный граф Кент был не так уж всесилен, как думал…

Так как приходилось ждать, так как людей не хватало и было неизвестно даже, погрузились ли обещанные подкрепления на суда, его высочество Валуа беспрепятственно будет разгуливать по всему герцогству от Ажена до Марманда и от Бержерака до Дюра, как по собственному парку. И теперь, хотя дядя Валуа был совсем рядом, во главе своей длинной стальной ленты, с ним ничего нельзя было сделать!

— И вы тоже разделяете это мнение, Монпеза? — спросил граф Кентский.

— К сожалению, ваше высочество, увы, к большому сожалению, — ответил барон де Монпеза, покусывая черные усы.

Ибо он жаждал мести; Валуа в наказание за его неповиновение приказал разрушить его замок.

— А вы, Бержерак? — спросил Кент.

— Я чуть не плачу от бешенства, — ответил Пон де Бержерак со своеобразным поющим акцентом, характерным для сеньоров этого края.

Эдмунд Кентский не стал утруждать себя и выяснять мнения баронов Бюдо и Фарг де Мовзена: они не знали ни французского, ни английского языка и говорили только по-гасконски, а Кент ничего не понимал в их тарабарщине. К тому же выражение их лиц было и без того достаточно красноречиво.

— Тогда прикажите закрыть ворота, мессир сенешаль, и приготовьтесь к осаде. А когда прибудут подкрепления, они ударят по французам с тыла, и, возможно, так будет даже лучше, — сказал граф Кентский, желая утешить самого себя.

Он почесал кончиками пальцев морду своей борзой, затем снова облокотился на теплые камни и принялся наблюдать за тем, что делается в долине. Старинная пословица гласила: «Кто владеет Ла-Реолем, тот владеет Гиенью». Вот и продержимся здесь столько времени, сколько потребуется.

Слишком легкое продвижение почти столь же изнурительно для войска, как и отступление. Не встречая сопротивления, которое позволило бы сделать остановку хотя бы на один день и переве-

сти дух, французская армия шла и шла без отдыха уже более трех недель, точнее, ровно двадцать пять дней. Огромное войско, отряды рыцарей, оруженосцы, лучники, повозки, походные кузницы, кухни и, наконец, торговцы и содержатели притонов растянулись более чем на лье. Лошади растирали в кровь загривки, и не проходило и четверти часа, чтобы какая-нибудь из них не теряла подковы. Многим рыцарям пришлось отказаться от доспехов, ибо в такую жару там, где натирало железо, делались раны и нарывы. Пехотинцы с трудом тащили свои тяжелые башмаки, подбитые гвоздями. В довершение всего знаменитые аженские сливы тоже причинили немало бед — на ветках они казались совсем спелыми, а когда солдаты, страдая от жажды, наворовали их в садах, подействовали как самое сильное слабительное, — то и дело кто-нибудь отделялся от колонны, скрываясь в придорожные кусты.

Коннетабль Гоше де Шатийон почти все время дремал в седле. За пятьдесят лет службы, пройдя восемь войн и кампаний, он в совершенстве овладел этим искусством.

— Я, пожалуй, сосну немного, — заявлял он время от времени двум своим оруженосцам.

И оруженосцы, осадив лошадей, пристра-

ивались по обе стороны коннетабля с таким расчетом, чтобы в случае надобности, если он съедет набок, поддержать его; и старый военачальник, опершись о заднюю луку седла, мирно похрапывал под своим старомодным шлемом.

Робер Артуа исходил потом, ничуть при этом не худея, и на двадцать шагов вокруг себя распространял острый запах хищного зверя. Он сдружился с одним из англичан, сопровождавших Мортимера, с тем самым долговязым бароном Мальтраверсом, который походил на коня, и даже предложил ему перейти в его отряд, ибо Мальтраверс оказался азартным игроком и готов был играть в кости на любом привале.

Карл Валуа все еще никак не мог успокоиться. Он ехал в сопровождении сына Карла Алансонского, племянника д'Эврё, маршалов — Матье де Три и Жана де Баре, а также кузена Альфонса Испанского и поносил все и вся: и невыносимый климат, и душные ночи, и знойное солнце, и мух, и слишком жирную пищу. Вместо вина ему подали какую-то кислятину, пригодную лишь для мужичья. А ведь армия находится в краю, славящемся своим виноделием! Где же эти люди попрятали свои лучшие бочонки? Яйца были тухлые, молоко прокисшее. Иногда его высочество

Валуа тошнило по утрам, и вот уже несколько дней, как он испытывал в левом плече тупую боль, немало его тревожившую. Ко всему прочему пехота почти не продвигалась. Ах, если бы можно было вести войну с одной кавалерией!.. Он даже усомнился, правильно ли поступил, что послушал Толомеи, которого поддержал Робер Артуа, и тащил с собой от самого Кастельсарразена эти громоздкие жерла на деревянных полозьях вместо обычных катапульт и таранов, которые, возможно, труднее устанавливать, но зато их, как известно, перевозят в разобранном виде.

— Я, кажется, обречен воевать под палящим солнцем, — говорил он. — Первую кампанию, дорогой кузен Альфонс, я совершил в пятнадцать лет против вашего деда и тоже в страшную жару в вашем пустынном Арагоне, королем которого я был некоторое время.

Он обращался к Альфонсу Испанскому, наследнику арагонского престола, бесцеремонно напомнив ему о распрях, существовавших некогда между их семьями. Впрочем, Валуа мог себе это позволить, так как Альфонс славился своим добродушием, готов был со всем соглашаться, лишь бы всем угодить; соглашался отправиться в Крестовый поход лишь потому, что его об этом

попросили, и сражаться против англичан, чтобы хорошенько подготовиться к этому походу.

— Никогда не забуду взятие Жероны! — продолжал Валуа. — Вот где было пекло! Кардинал де Шоле, у которого не нашлось под рукой короны во время моей коронации, надел мне на голову свою большую кардинальскую шапку из красного фетра. Я чуть было не задохнулся под ней. Да, тогда мне было пятнадцать лет… Если бы мой дорогой отец, король Филипп Смелый, не скончался на обратном пути от лихорадки, которую он там подхватил…

Вспомнив о своем отце, Карл Валуа помрачнел. И подумал о том, что отец его умер в сорок лет. Его старший брат, Филипп Красивый, скончался в сорок шесть лет, а сводный брат, Людовик д'Эврё, — в сорок три. Ему, Карлу, в марте исполнилось пятьдесят четыре, тем самым он доказал, что оказался наиболее крепким в семье. Но как долго Провидение будет щадить его?

— А Кампанья, Романья, Тоскана — ведь там тоже палит солнце. Пересечь в самый разгар лета всю Италию от Неаполя до Сиены и Флоренции, чтобы изгнать оттуда гибеллинов, как я это сделал в… дайте-ка мне сосчитать… да, в тысяча триста первом году, двадцать три года назад!.. А

сюда, в Гиень, в тысяча двести девяносто четвертом году я тоже попал летом. Вечно лето! А вот во Фландрии, как назло, приходится сражаться зимой и увязать по пояс в грязи.

— Но ведь, Карл, во время Крестового похода жарища будет, пожалуй, посильнее, — насмешливо заметил Робер Артуа. — Вы только представьте себе — мы двигаемся на Египет. Виноградники там, по-моему, не в почете. Придется довольствоваться песком.

— Крестовый поход, Крестовый поход… — отозвался Валуа вялым и вместе с тем раздраженным тоном. — Будет ли он вообще, этот Крестовый поход, раз мне чинят столько препятствий! Кто спорит, посвятить свою жизнь служению королевству и церкви, безусловно, прекрасно, но в конце концов устаешь отдавать все силы неблагодарным людям.

Под неблагодарными людьми подразумевались многие, и в том числе папа Иоанн XXII, который продолжал тянуть с предоставлением нужных сумм, словно и впрямь решил расстроить поход; но в первую очередь это был король Франции Карл IV, который не только до сих пор не прислал Карлу Валуа полномочий наместника, что становилось уже оскорбительным, но, восполь-

зовавшись отсутствием дяди, выставил свою кандидатуру на престол Священной Римской империи. И конечно, папа официально поддержал его кандидатуру. Таким образом, вся хитрая комбинация, задуманная Валуа с Леопольдом Габсбургским, рухнула. Короля Карла считали дурачком, да он и в самом деле был неумен, но иногда он умел наносить тяжелые удары. Эту новость Валуа узнал в тот же день, 25 августа. Поистине в этом году праздник святого Людовика оказался неудачным.

Валуа был так зол и так усердно отгонял от себя мух, что не смотрел по сторонам. Даже Ла-Реоль он увидел, лишь очутившись перед крепостью на расстоянии четырех или пяти выстрелов из арбалета.

Ла-Реоль стоял на самой вершине скалы, возвышавшейся над Гаронной, а вокруг крепости высились зеленые холмы. Четко вырисовываясь на фоне по-вечернему бледного неба, в прочном кольце крепостных стен, сложенных из камня цвета охры, позлащенного закатными лучами, крепость Ла-Реоль со своими колокольнями, башнями, с высокой ратушей, с ажурной колоколенкой, с крышами из красной черепицы, плотно жавшимися друг к другу, походила на

миниатюры в часослове, изображающие Иерусалим. Действительно прелестный город! Да и расположен он на возвышенности, как и подобает идеальной цитадели; граф Кентский поступил весьма благоразумно, укрывшись именно в Ла-Реоле. Нелегко будет взять эту твердыню.

Армия остановилась в ожидании дальнейших приказов. Но его высочество Валуа не спешил их отдавать. Он дулся. Пусть сам коннетабль и маршалы примут необходимое, по их мнению, решение. А он не имеет полномочий наместника короля, не наделен никакой властью и поэтому не желает брать на себя никакой ответственности.

— Альфонс, пойдемте-ка освежимся, — предложил он своему кузену.

Коннетабль проснулся, повернул голову и выставил из-под шлема ухо, чтобы послушать, о чем говорят начальники его отрядов. Он послал графа Булонского в разведку. Через час граф вернулся и сообщил, что объехал город со стороны холмов. Все ворота закрыты, и не видно, чтобы гарнизон собирался выйти из крепости. В связи с этим решено было разбить лагерь тут же, на месте, отряды расположились как попало. Виноградные лозы, карабкавшиеся вверх по стволам деревьев и высоким жердям, образовывали удобные убе-

жища в виде беседок. Сраженное усталостью войско заснуло, как только на небе зажглись первые звезды.

Молодой граф Кентский не удержался от искушения. Всю ночь, чтобы хоть как-то убить время, он играл в кости со своими оруженосцами, а наутро, вызвав сенешаля Бассе, приказал ему привести в боевую готовность свою кавалерию и перед рассветом, не трубя тревоги, выбрался из города через потайной ход.

Французы, храпевшие в виноградниках, пробудились ото сна лишь тогда, когда гасконские кавалеристы на всем скаку ворвались в их расположение. Французы поднимали головы и тут же в страхе падали ниц, видя, как над ними мелькают лошадиные копыта. Эдмунд и его соратники с наслаждением носились среди этих полусонных людей, рубя мечами направо и налево, обрушивая булавы и тяжелые боевые бичи со свинцовыми гирями на конце на голые ноги неприятельских солдат и на не защищенные ни кольчугой, ни панцирем бока. Раздавался треск костей, и над французским лагерем послышались крики ужаса. Палатки нескольких сеньоров рухнули. Но вот, перекрывая шум схватки, прогремел зычный голос: «За мной, за Шатийоном!» И в лучах

восходящего солнца взметнулся стяг коннетабля с пурпуровым гербом, золоченую верхнюю часть которого пересекали три бело-голубые вертикальные полосы. Поверху извивался дракон, а снизу герб держали в лапах два золотых льва. Это крикнул старик Гоше, который благоразумно расположил на отдых своих рыцарей несколько поодаль и теперь спешил на выручку. Слева и справа в ответ раздались призывы: «Артуа, вперед!.. За мной, за Валуа!» Вооруженные чем попало, кто пеший, кто верхом, рыцари бросились на врага.

Лагерь был слишком разбросан, слишком обширен, а французские рыцари слишком многочисленны, чтобы граф Кентский мог продолжать свой опустошительный налет. Гасконцы скоро заметили, что их хотят взять в клещи. Кент едва успел дать сигнал к отступлению, галопом доскакал до ворот Ла-Реоля и скрылся за ними, а затем, поздравив всех с победой и сняв доспехи, со спокойной совестью отправился спать.

Во французском лагере царило смятение; отовсюду доносились стоны раненых. Среди убитых, а их было около шестидесяти, находились Жан де Баре, один из маршалов, и граф Булонский, тот самый, который накануне ездил в разведку. В

лагере глубоко сожалели, что двух этих знатных сеньоров и отважных воинов постигла столь внезапная и нелепая смерть — быть убитым, едва пробудившись ото сна.

Тем не менее отвага Кента внушала уважение. Сам Карл Валуа, который еще накануне заявлял, что в два счета расправится с этим юнцом, если встретится с ним в поединке, изменил мнение и говорил чуть ли не с гордостью:

— Ну что, мессиры? Не забывайте, он мой племянник!

Несмотря на свое уязвленное самолюбие, недуги и жару, Карл Валуа тотчас же после пышного погребения маршала де Баре стал готовиться к осаде города. Он действовал при этом не только энергично, но и со знанием дела, ибо при всем своем безграничном тщеславии был действительно незаурядным военачальником.

Все подъездные пути к Ла-Реолю были перерезаны, и за всей округой установлено тщательное наблюдение. Поблизости от стен начали копать рвы, делать насыпи и прочие земляные сооружения, с тем чтобы разместить под их прикрытием лучников. На наиболее удобных участках расчистили площадки для установки огнедышащих жерл. Одновременно возводились высокие де-

ревянные постройки для арбалетчиков. Его высочество поспевал повсюду, проверял, приказывал, торопил. Несколько поодаль рыцари разбили круглые палатки и шатры, над которыми развевались их стяги. Шатер Карла Валуа, возвышавшийся над лагерем и даже над осажденным городом, представлял собой настоящий замок из расшитой ткани. Весь лагерь расположился широким амфитеатром на склонах холмов.

30 августа Валуа наконец получил полномочия королевского наместника. Настроение его сразу улучшилось; казалось, он не сомневается в том, что война уже выиграна.

Два дня спустя оставшийся в живых маршал Матье де Три, Пьер де Кюньер и Альфонс Испанский, впереди которых шли трубачи с белым флагом парламентеров, подошли к стенам Ла-Реоля, чтобы передать графу Кентскому от имени всемогущего и великого сеньора Карла графа Валуа, наместника короля Франции в Гаскони и Аквитании, приказ о сдаче и о передаче в их руки всего герцогства за измену и отказ от принесения присяги в верности.

На это сенешаль Бассе, вставший на цыпочки (иначе его не разглядели бы между зубцами стены), ответил от имени графа Эдмунда Кентского,

наместника английского короля в Аквитании и Гаскони, что требования эти неприемлемы и только сила может заставить графа покинуть город и отдать герцогство.

После этого в соответствии с принятыми правилами была объявлена осада и каждый из противников вернулся к своим делам.

Его высочество Валуа приказал тридцати подрывникам, предоставленным ему епископом Меца, начать работу. Они должны были сделать подкоп под стены, поместить там бочонки с порохом и запалить фитили. Юг, «инженiатор», состоявший при герцоге Лотарингском, посулил, что операция эта произведет настоящее чудо. Крепостная стена раскроется, словно цветок весной.

Но осажденные, услышав глухие удары, расположили вдоль всех стен сосуды с водой, и по тому, в каких сосудах на воде появлялась рябь, определяли места, где французы рыли свои подземные ходы. В этих местах они в свою очередь начали рыть подземные галереи, но работали только ночью, тогда как лотарингские подрывники работали днем. Однажды утром галереи противников соединились, и под землей, при свете свечных огарков, произошла ужасная бойня: те, кто остался в живых, выбрались на поверхность,

покрытые потом, грязью и кровью, с обезумевшим взглядом; казалось, они вырвались из ада.

Тогда, воспользовавшись тем, что площадки для стрельбы были готовы, его высочество Валуа решил пустить в ход огнедышащие жерла.

Это были огромные стволы из толстой бронзы, схваченные железными обручами и посаженные на деревянные лафеты без колес. Для перевозки каждого из этих чудовищ требовался десяток лошадей, а для его установки, наводки и зарядки — два десятка солдат. Каждый ствол поместили как бы в ящик из толстых деревянных брусьев, чтобы защитить прислугу в случае, если жерло разорвет.

Эти орудия, доставленные из Пизы, были сначала переданы сенешалю Лангедока, который затем направил их в Кастельсарразен и Ажен. Обслуживающие их итальянцы называли эти жерла бомбардами из-за производимого ими шума.

Посмотреть на работу бомбард собрались все знатные сеньоры и военачальники. Коннетабль Гоше пожимал плечами и, презрительно кривя губы, твердил, что не верит в разрушительную силу этих махин. И почему люди так склонны доверять каким-то сомнительным новшествам, когда можно преспокойно пользоваться от-

личными катапультами, требюше и таранами, испытанными на протяжении веков? Разве когда-нибудь он, Шатийон, нуждался в каких-то ломбардских литейщиках, чтобы взять крепость? Военный успех решали мужество души и сила мускулов, а вовсе не какой-то порох алхимиков, от которого чересчур разит сатанинской серой!

Бомбардиры разожгли около каждой бомбарды угли в жаровнях, на которых раскалялись докрасна железные прутья. Затем они принялись заряжать бомбарды через жерла: сначала совками из кованого железа насыпали порох, потом заложили пыжи из пакли, после чего вкатили в каждый ствол по большому каменному ядру, весившему около ста фунтов. Затем насыпали немного пороха в углубление, устроенное в казенной части бомбард и соединявшееся через небольшое отверстие с находившимся внутри ствола зарядом.

Всех присутствующих попросили отступить на пятьдесят шагов. Орудийная прислуга легла ничком на землю, закрыв уши руками; около каждой бомбарды осталось стоять лишь по одному бомбардиру, который должен был длинным, раскаленным докрасна прутом поджечь порох. После чего бомбардиры тоже попадали на землю

и прижались к воздвигнутым около лафетов деревянным ограждениям.

Взметнулись красные языки пламени, задрожала земля. По долине Гаронны прокатился гул, и его было слышно от Марманда до Лангона.

Бомбарды заволокло черным дымом; от отдачи лафеты врезались в рыхлую почву. Коннетабль кашлял, плевал и чертыхался. Когда облако пыли осело и дым рассеялся, присутствующие увидели, что одно ядро упало в расположение французского войска и только благодаря чуду никого не убило. Зато другое ядро, по-видимому, пробило крышу городского дома.

— Много шуму, а результаты пустяковые, — ворчал коннетабль. — С помощью старых баллист с пращой все бы эти ядра достигли цели, и мы не задыхались бы от дыма.

А в Ла-Реоле сначала никто не понял, почему с крыши дома мэтра Дельпюка, нотариуса, на улицу внезапно обрушился целый каскад черепицы, никто не понял также, почему вдруг в безоблачном небе прогрохотал гром. Затем из дома в ужасе выскочил сам мэтр Дельпюк, вопя, что какое-то огромное каменное ядро угодило в его кухню.

Тогда жители бросились к крепостным стенам, но не увидели во французском лагере ни одного

громоздкого орудия, обычно применяемого при осадах. После второго, тоже не слишком меткого, залпа — ядра ударили в стену, и она пошла трещинами — осажденные убедились, что шум и ядра извергают длинные, лежащие на холме трубы, над которыми вьются клубы дыма. Всех охватил ужас, женщины бросились к церкви, моля Господа уберечь их от этого сатанинского изобретения.

Так в войнах, которые вели страны Запада, был сделан первый пушечный выстрел[61].

Утром 22 сентября мессиры Рамон де Лабизон, Жан де Мираль, Эмбер Экло, братья Доа, Барсан де Пэн и нотариус Эли де Малена — все шестеро должностные лица Ла-Реоля, а также несколько горожан обратились к графу Кентскому с прось-

---

[61] Примечания: 61

Наши читатели будут, наверное, удивлены использованием «огненных жерл» при осаде Ла-Реоля в 1324 г. В самом деле, появление пороховой артиллерии традиционно относят лишь к 1346 г., к битве при Креси. На самом же деле Креси было лишь первым сражением, когда артиллерия использовалась в чистом поле, против движущегося противника. Речь, впрочем, шла лишь об орудиях относительно малого калибра, которые не произвели ни больших разрушений, ни большого впечатления. Некоторые французские историки преувеличили их эффект, желая объяснить разгром, вызванный скорее пылкой глупостью короля Филиппа IV и его баронов, нежели использованием против них нового оружия.

«Пороховое метание» при Креси было не более чем применением в иных условиях огнестрельных орудий, которые к тому времени уже лет двадцать использовались при осадах, конкурируя с классической,

можно даже сказать, древней артиллерией, поскольку она мало изменилась со времен Цезаря и даже Александра Великого, по-прежнему забрасывая города с помощью систем из рычагов, коромысел, противовесов и оттяжек каменными шарами либо горючими веществами. Первые бомбарды тоже стреляли каменными ядрами, похожими на снаряды баллист, мангонно и прочих катапульт. Новшеством было само средство метания. Похоже, что пороховая артиллерия родилась в Италии, поскольку металлические обручи, которыми были окованы бомбарды, назывались ломбардским железом. В интересующие нас годы такие орудия применяли пизанцы.

Карл де Валуа, вероятно, был первым французским стратегом, кто воспользовался этой новой артиллерией. Он заказал ее в апреле 1324 г. и договорился с сенешалем Лангедока, чтобы ее доставили к Кастельсарразену. Стало быть, его сына Филиппа VI не должны были слишком уж удивить маленькие ядра, которыми его обстреляли при Креси.

бой принять их. Они изложили наместнику английского короля длинный перечень жалоб тоном, весьма далеким от покорности и уважения. В городе не осталось ни съестных припасов, ни воды, ни крыш. В водоемах уже просвечивало дно, в амбарах — хоть шаром покати, и у жителей не хватало больше сил выносить этот дождь ядер, обрушивавшийся на город чуть ли не каждые четверть часа в течение уже трех недель. Ядра убивали спящих прямо в кровати, детей на улицах. Больница была переполнена больными и ранеными, церковные склепы завалены трупами. Одно ядро пробило насквозь колокольню церкви Святого Петра, и колокола упали на землю с таким грохотом и звоном, что казалось, настал конец света. И каждому было ясно, что Господь Бог отвернулся от англичан. Кроме того, подошло время сбора винограда, по крайней мере на тех виноградниках, которые не успели разорить французы, и жители не желали, чтобы урожай сгнил на лозах. Население, подстрекаемое владельцами виноградников и торговцами, готово было взбунтоваться и, если понадобится, сразиться с солдатами сенешаля, чтобы ускорить сдачу города.

Пока посетители беседовали с графом Кентом,

раздался свист ядра и за ним шум рухнувшего здания. Борзая графа Кентского завыла. Усталым движением хозяин заставил ее замолчать.

Еще несколько дней назад Эдмунд Кентский понял, что сдача крепости неизбежна. Но он упрямо продолжал сопротивление, хотя это нельзя было оправдать никакими разумными доводами. Его поредевшие и упавшие духом после длительной осады войска были не способны противостоять приступу. А новая вылазка теперь, когда противник укрепил свой лагерь, была бы чистым безумием. И вот сейчас в довершение всего жители Ла-Реоля угрожают восстанием.

Граф Кентский повернулся к сенешалю Бассе.

— Верите ли вы еще, что из Бордо прибудет подкрепление, мессир Ральф? — спросил он.

Но не сенешаль, а сам граф Кентский, вопреки всякой очевидности, верил в прибытие этих пресловутых обещанных ему подкреплений, которые должны были ударить в тыл армии Карла Валуа.

Ральф Бассе окончательно обессилел и без колебаний обвинил короля Эдуарда и Диспенсеров в том, что они бросили защитников Ла-Реоля на произвол судьбы. Все это, по его мнению, сильно походило на предательство.

Такое же уныние было написано на лицах сира де Бержерака, де Бюдо и де Монпеза. Никто не желал умирать за короля, который нимало не заботился о своих преданных слугах. Слишком плохо оплачивалась верность.

— Есть ли у вас белый флаг, мессир сенешаль? — спросил граф Кентский. — Прикажите поднять его над крепостью.

Через несколько минут бомбарды умолкли, и французский лагерь погрузился в глубокую, настороженную тишину, какой встречают долгожданные события. Из Ла-Реоля вышли парламентеры; их провели в шатер маршала де Три, который сообщил общие условия сдачи. Разумеется, город должен быть сдан, но вместе с тем граф Кентский подпишет и провозгласит передачу всего герцогства в руки наместника французского короля. Грабежей не будет, в плен никого не возьмут, кроме заложников, и наложат контрибуцию. Сверх того, граф Валуа приглашал графа Кентского к себе на обед.

В шатре, расшитом французскими лилиями, где его высочество Валуа жил уже почти месяц, был устроен богатый пир. Граф Кентский прибыл в своих самых роскошных доспехах, но был бледен и старался держаться с преувеличенным досто-

инством, чтобы скрыть свое унижение и скорбь. Его сопровождали сенешаль Бассе и несколько гасконских сеньоров.

Оба королевских наместника, победитель и побежденный, разговаривали между собой довольно холодным тоном, но обращались друг к другу со словами: «мессир племянник» и «мессир дядя», как люди, между которыми даже война не в силах порвать родственные узы. Его высочество Валуа усадил графа Кентского напротив себя. Изголодавшиеся за время осады гасконские рыцари с жадностью набросились на еду.

Обе стороны изощрялись в любезностях и восхваляли отвагу друг друга, будто речь шла о простом турнире. Графа Кентского поздравили с успехом стремительной вылазки, которая стоила жизни одному из французских маршалов. Граф Кентский ответил столь же учтиво и высоко оценил действия дяди, осадившего крепость и применившего огненные жерла.

— Вы слышите, мессир коннетабль, и вы, мессиры? — воскликнул Валуа. — Слышите, что говорит мой благородный племянник?.. Без наших бомбард, стреляющих ядрами, город продержался бы четыре месяца. Запомните это хорошенько!

Через стол, уставленный подносами, кубками и кувшинами, граф Кентский и Мортимер внимательно наблюдали друг за другом.

Как только пир был окончен, главные военачальники уединились для обсуждения договора о временном прекращении военных действий, включавшего множество статей. По правде говоря, граф Кентский готов был уступить по всем пунктам, если не считать отдельных формулировок, которые могли поставить под сомнение законность власти английского короля; возражал он также и против того, что сенешаля Бассе и сира Монпеза включили в список заложников. Так как они арестовали и повесили нескольких должностных лиц французского короля, можно было не сомневаться в том, какая их ждет участь. Однако Валуа настаивал на выдаче ему сенешаля и, главное, зачинщика мятежа в Сен-Сардо. В переговорах принимал участие и лорд Мортимер. Он попросил, чтобы ему разрешили побеседовать с глазу на глаз с графом Кентским, но коннетабль запротестовал. Нельзя обсуждать вопрос о перемирии при посредстве перебежчика из лагеря противника! Однако Робер Артуа и Карл Валуа выразили полное доверие Мортимеру, и англичане отошли в угол шатра.

— Неужели вам так хочется, лорд, поскорее вернуться в Англию? — спросил Мортимер.

Граф Кентский промолчал.

— И предстать перед вашим братом, королем Эдуардом, приступы гнева и несправедливость коего вам достаточно известны, — продолжал Мортимер, — и который к тому же будет упрекать вас за поражение, хотя виновны в нем Диспенсеры? Ибо вас предали, лорд, вы сами знаете это. Нам известно, что вам обещали прислать подкрепления и клятвенно заверяли, что они уже в пути, тогда как никто их даже не собирался погрузить на корабль. А что вы скажете о приказе, данном сенешалю Бордо и запрещавшем ему оказывать вам помощь до прибытия подкреплений, которых никто и не думал посылать? Разве это не предательство? Не удивляйтесь, что я так хорошо осведомлен, я обязан этим ломбардским банкирам… Задавались ли вы вопросом, какова причина столь преступного вероломства в отношении вас? Неужели вы не видите, почему все это делается?

Граф Кентский продолжал хранить молчание; слегка склонив голову, он рассматривал свои ногти.

— Вернувшись отсюда победителем, вы, ми-

лорд, превратились бы в постоянную угрозу для Диспенсеров, — продолжал Мортимер, — вы приобрели бы слишком большой вес в королевстве. И они предпочли видеть вас в опале, как побежденного, пусть даже ценой Аквитании. Что для людей, единственная забота которых присваивать себе поместья знатных баронов, что для них потеря Аквитании? Понимаете теперь, почему три года назад я оказался перед выбором — либо бороться за Англию против короля, либо за короля против Англии? Кто поручится, что тотчас же по возвращении вас не обвинят в измене и не бросят в темницу? Вы еще молоды, милорд, и не знаете, на что способны эти мерзкие люди.

Граф Кентский отбросил свои белокурые локоны за уши и, не торопясь, ответил:

— Теперь я узнал их, милорд, на собственной шкуре.

— Не согласились ли бы вы предложить себя в качестве первого заложника, при том условии, конечно, что с вами будут обращаться как с принцем крови? Сейчас, когда Аквитания потеряна для Англии, и боюсь, что потеряна навсегда, наш долг спасти само королевство, и сделать это мы сможем, только находясь здесь.

Юный граф поднял на Мортимера удивленный

взгляд, однако барон прочел в нем согласие.

— Еще два часа назад, — проговорил граф Кент, — я был наместником моего брата короля, а сейчас вы предлагаете мне примкнуть к мятежникам?

— Эти два часа прошли как одна минута. Великие дела всегда решаются в мгновение ока.

— Сколько времени вы даете мне на размышление?

— В этом нет необходимости, милорд, поскольку вы уже решились.

И когда юный граф Эдмунд Кент, вернувшись к столу, где вырабатывались условия перемирия, заявил, что он согласен быть первым заложником, все расценили это как немалый успех Роджера Мортимера.

Мортимер, наклонившись к нему, сказал:

— А сейчас мы обязаны сделать все, чтобы спасти вашу невестку и кузину — королеву. Она достойна нашей любви и может стать главной нашей опорой.

Часть вторая
ЛЮБОВЬ ИЗАБЕЛЛЫ
Глава I
Трапеза папы Иоанна

Церковь Сент-Агриколь недавно полностью перестроили. Домский собор, церкви францисканцев, доминиканцев и августинцев были расширены и обновлены. Госпитальеры-иоанниты построили себе великолепное командорство. За площадью Менял выросла новая часовня Святого Антуана, и уже велись работы по закладке фундамента будущей церкви Святого Дидье.

Вот уже неделю граф Бувилль бродил по Авиньону и не узнавал города, не находил даже знакомых мест. Каждая прогулка была для него сюрпризом, вызывала изумление. Каким чудом мог так удивительно измениться город всего за десять лет!

Но лицо города изменили не только новые храмы, словно выросшие из-под земли, или старые, перестроенные на новый лад и выставлявшие напоказ шпили колоколен, стрельчатые своды, розетки, белокаменные узоры, которые нещедро

золотило зимнее солнце и в которых пел ветер с берегов Роны.

Повсюду возвышались также княжеские дворцы, жилища прелатов, общественные здания, дома разбогатевших горожан, помещения ломбардских компаний, склады, лавки. Повсюду слышался непрекращающийся, упорный стук, похожий на шум дождя, — это каменотесы с утра до вечера стучали металлическими молотками, дробили и шлифовали мягкий камень, из которого возводят столицы. На улицах множество людей, непрерывные факельные шествия среди бела дня, расчищающие дорогу кардиналам; повсюду кипучая, шумная, суетливая толпа, шагающая прямо по строительному мусору, опилкам, известковой пыли. А ведь красноречивее всего свидетельствуют о поре процветания именно следы строительной пыли на роскошных, расшитых узорами башмаках власть имущих.

Нет, Бувилль решительно не узнавал Авиньона. Мистраль не только запорошивал глаза пылью строек, но и ослеплял блеском роскоши. Лавки торговцев, причем каждый из них кичился тем, что являлся поставщиком либо святейшего папы, либо его кардиналов, были забиты самыми дорогими товарами, привезенными со всех концов

земли, — тут были тяжелый бархат, тончайшие шелка, парча, богатые галуны. Полки в лавках торгующих серебром сиенца Торо, торговца Корболи и мэтра Кашета ломились под тяжестью драгоценной церковной утвари: нагрудных крестов, посохов, перстней, дароносиц, ковчежцев для святых мощей, дискосов, а также пиршественных блюд, ложек, кубков и чаш с гербами папы и кардиналов.

Требовались художники для внутренней отделки всех этих нефов, сводов и часовен, и три Пьера, три художника — Пьер из Пюи, Пьер де Кармелер и Пьер Годрак, — с помощью многочисленных своих учеников расписывали стены золотом, лазурью, кармином, украшали знаками зодиака сцены из Старого и Нового Заветов. Требовались скульпторы; мастер Маччоло из Сполето вырезал по красному дубу и ореху изображения святых, а затем раскрашивал их или золотил. Прохожие на улицах низко кланялись человеку, перед которым не несли факелов, но которого всегда сопровождала внушительная свита с деревянными аршинами и огромными рулонами чертежей на тонком пергаменте, — это был мессир Гийом де Кукурон, глава всех папских архитекторов, которые начиная с 1317 года перестраивали Авиньон,

на что была ассигнована баснословная сумма в пять тысяч золотых флоринов.

Женщины в этом славном граде христианства одевались лучше, чем где-либо в другом месте. Они чаровали взгляд, когда, завернувшись в свои подбитые мехом плащи, выходили из церкви после мессы, пересекали улицы, бегали по лавкам или, смеясь и поеживаясь от холода, кокетничали прямо на улицах с любезными сеньорами или развязными молодыми клириками. Некоторые дамы, прогуливаясь, непринужденно опирались на руку каноника или епископа, и колыхавшиеся в лад подолы платья и сутаны подметали белую уличную пыль.

С помощью церковной казны процветали все сферы человеческой деятельности. В городе пришлось построить новые увеселительные заведения и расширить квартал, где жили непотребные девки, ибо не все монахи, клирики, диаконы и протодиаконы, наводнявшие Авиньон, следовали уставу Святой церкви. Городские власти развесили на особых щитах суровые ордонансы: «Запрещается публичным женщинам и сводницам показываться на главных улицах, носить одинаковые с порядочными женщинами наряды и появляться в вуали в общественных

местах. Им запрещается также прикасаться руками к хлебу и фруктам в лавках, а тронутое ими они обязаны купить. Замужние куртизанки изгоняются из города, а в случае возвращения в Авиньон предаются суду». Но вопреки всем ордонансам куртизанки рядились в самые роскошные наряды, покупали лучшие фрукты, разгуливали по главным улицам и без труда находили себе мужей, так как они были богаты и утонченны. Они смело взирали на так называемых порядочных женщин, которые вели себя точно так же, с той лишь разницей, что судьба ниспосылала им более высокопоставленных любовников.

Преображался не только Авиньон, но и весь край. По ту сторону моста Сен-Бенезе, в Вильневе, племянник папы, кардинал Арно де Виа, построил огромную обитель для каноников, и теперь башню Филиппа Красивого величали «старой башней», потому что она стояла уже тридцать лет! Но разве могли произойти все эти сказочные перемены, не будь Филиппа Красивого, который

принудил пап обосноваться в Авиньоне[62]? В Бедариде, в Шатонефе, в Нове папские строители воздвигали церкви и замки.

Бувилль взирал на новый Авиньон с чувством особой гордости. Ибо последний папа был избран отчасти не без его помощи. Это он, Бувилль, первым восемь, нет, даже девять лет назад после изнурительной погони за кардиналами, рассеявшимися между Карпантра и Оранжем, обнаружил кардинала Дюэза, передал ему деньги на подкуп кардиналов и сообщил о нем в Париж как о наиболее подходящем для Франции кандидате. По правде говоря, Дюэз, будучи к тому времени ставленником короля Неаполитанского, сам приложил немало стараний, чтобы его обнаружили. Но уж так повелось, что послы видят во всем свою заслугу, особенно если их миссия увенчалась успехом. И Бувилль, направляясь по авиньонским улицам на пир, который папа Иоанн XXII давал в его честь, раздувал свое объемистое брюшко, думая, что выпячивает грудь,

---

[62] Примечания: 62

Напомним, что король Франции не был в ту эпоху сюзереном Авиньона. В самом деле, Филипп Красивый позаботился уступить свои права на Авиньон королю Неаполитанскому, чтобы не казалось, будто папа находится под его прямой опекой. Но с помощью гарнизона, размещенного в Вильневе, и благодаря географическому положению папской резиденции он держал Святой престол и всю церковь под крепким надзором.

встряхивал седыми волосами, рассыпавшимися по меховому воротнику, и громко разговаривал со своими конюшими.

Во всяком случае, одно, казалось, было завоевано: Святой престол не вернется в Италию. С иллюзиями, которые из осторожности поддерживал Климент V во время своего пребывания на папском престоле, было покончено. Тщетно римские патриции плели интриги против Иоанна XXII и грозили, если он не вернется в Вечный город, расколом, клялись выбрать другого папу[63], который займет истинный трон святого Петра. Бывший кагорский горожанин сумел достойным образом ответить римским князьям, дав им лишь одну кардинальскую шапку из шестнадцати, которые он роздал после своего избрания в папы. Все остальные кардинальские шапки достались французам.

Несколькими днями раньше, во время первой аудиенции, которую папа Иоанн XXII дал Бувиллю, он сказал ему своим слабым голосом, повелевающим всем христианским миром:

— Видите ли, мессир граф, править нужно, опираясь на своих друзей и выступая против врагов.

---

[63] Примечания: 63

Что и впрямь случилось семь лет спустя, в 1330 г., когда римляне избрали антипапу Николая V.

Властители, которые тратят время и силы на то, чтобы привлечь на свою сторону противников, вызывают недовольство подлинных своих союзников и приобретают лжедрузей, всегда готовых на предательство.

Для того чтобы убедиться в твердом решении папы не покидать Францию, достаточно было взглянуть на замок, который он воздвиг на месте прежнего епископства и который возвышался над городом, вознося к небу зубчатые стены, башни и навесные бойницы. Внутри — просторные крытые галереи, приемные залы и роскошно разукрашенные апартаменты с лазурными потолками, усеянными звездами, как ночное небо[64]. У первых и вторых дверей стояло по два привратника, у третьей — пять, еще четырнадцать — у остальных дверей. Под начальством у дворцового смотрителя состояло сорок курьеров и шестьдесят три вооруженных сержанта. Все это отнюдь не походило на временное жилище.

---

[64] Примечания: 64

Папский дворец, каким мы его знаем, весьма отличается от замка Иоанна XXII, от которого осталось лишь несколько элементов в той части, которую называют старым дворцом. Огромное здание, составившее известность Авиньона, в основном является произведением пап Бенедикта XII, Климента VI, Иннокентия VI и Урбана V. Постройки Иоанна XXII были полностью переделаны и до такой степени поглощены новым ансамблем, что почти исчезли. Тем не менее истинным основателем Папского дворца был Иоанн XXII.

А чтобы узнать, кого папа Иоанн призвал руководить делами, Бувиллю достаточно было взглянуть на сановников, расположившихся за длинным столом, сверкавшим золотой и серебряной посудой, в торжественной зале, обитой шелком.

Кардинала-архиепископа Авиньона звали Арно де Виа; он был сыном одной из сестер папы. Гослен Дюэз, кардинал-канцлер Римской церкви, то есть первое после папы лицо в христианском мире, человек дородный и крепкий, которому весьма шла его пурпурная мантия, был сыном Пьера Дюэза, родного брата папы, которому король Филипп V пожаловал дворянство. Еще один племянник папы — кардинал де ла Мотт-Фрессанж; двоюродный брат папы — кардинал Раймон Ле Ру. Другой племянник Дюэза, Пьер де Виси, управлял папским домом, следил за расходами, под его началом находились два пекаря, четыре эконома, кучера, кузнецы, шесть камердинеров, тридцать капелланов, шестнадцать исповедников для пилигримов, звонари, метельщики, водоносы, прачки, лекари, аптекари и цирюльники.

Не последним среди сидевших за папским столом гостем был, разумеется, и кардинал Бертран

дю Пуже, легат, странствующий по Италии, о котором за глаза говорили — а за глаза здесь не стеснялись говорить все, — что он был внебрачным сыном Жака Дюэза, прижитым в те времена, когда Дюэз сорок лет назад, не будучи ни прелатом, ни канцлером короля Неаполитанского, ни даже доктором или духовным лицом, еще и в мыслях не имел стать папой и мирно проживал в своем родном Кагоре.

Все родственники папы Иоанна, включая троюродных братьев, жили в его дворце и ели за одним столом с ним; двое из них жили даже в потайных хоромах под залой, где происходили пиршества. Каждый из родственников занимал какую-нибудь должность: один входил в сотню благородных рыцарей, другой ведал раздачей милостыни, третий возглавлял папский совет, в ведении коего находились и церковные доходы — годовые подати, десятины, отчисления с наследства, доходы от продажи индульгенций. Весь папский двор насчитывал более четырехсот человек, и на его содержание ежегодно шло свыше четырех тысяч флоринов.

Когда восемь лет назад лионский конклав возвел на престол святого Петра немощного, прозрачного, как воск, старца, который, каза-

лось, через неделю отдаст Богу душу, не может не отдать, раз все этого ждали и на это надеялись, папская казна была пуста. В течение восьми лет этот маленький старичок, который не ходил, а порхал, словно перышко, гонимое ветром, с таким искусством управлял финансами церкви, так ловко обложил налогом прелюбодеев, содомитов, кровосмесителей, воров, преступников, провинившихся священников и обвиняемых в насилии епископов, так дорого продавал аббатства и осуществлял столь строгий контроль над всем церковным имуществом, что мог выстроить целый город, получая самые большие в мире доходы. Он без особого труда щедро содержал всю свою семью и правил с ее помощью. Он не скупился на подаяния беднякам и на подарки богачам, преподнося своим гостям драгоценности и священные золотые медальоны, которыми его снабжал давнишний его поставщик еврей Бонкер.

Утонув в широком кресле с высокой спинкой, поставив ноги на две большие шелковые, расшитые золотом подушки, папа Иоанн председательствовал на этой трапезе, похожей одновременно на папскую консисторию и на семейный обед. Сидя справа от папы, Бувилль смотрел на него

как зачарованный. Как же изменился святой отец с момента его избрания! Нет, не внешне: время уже не имело власти над этим хрупким человеком в отороченной мехом шапочке, над его крохотным, заостренным, подвижным морщинистым личиком с маленькими мышиными глазками без ресниц и бровей, с узким ртом и запавшей над беззубыми деснами верхней губой. Иоанн XXII носил бремя своих восьмидесяти лет легче, чем многие другие — пятьдесят. Об этом свидетельствовали его руки с гладкой, едва начинающей желтеть кожей и гибкими, подвижными пальцами. Перемена произошла в его манере держаться и говорить, в тоне его голоса. Этот человек, который получил кардинальскую шапку, подделав подпись короля, папскую тиару — после двух лет тайных интриг, подкупа кардиналов, отдавших за него свои голоса, и, наконец, в течение месяца разыгрывавший неизлечимого больного, казалось, переродился, став главой христианского мира. Начав с ничтожно малого, он достиг вершин человеческих вожделений, и ему больше нечего было желать и не к чему стремиться; все свои силы, всю грозную мощь своего ума, с помощью которого он вознесся так высоко, он мог ныне полностью отдать на благо

церкви, вернее, на то, что считал ее благом. Какую бурную деятельность он развил! И как глубоко пришлось раскаиваться тем, кто, избирая его, рассчитывал, что он либо быстро сойдет в могилу, либо предоставит курии править от его имени! Иоанн XXII держал всех в ежовых рукавицах. Этот маленький старичок был поистине великим владыкой церкви!

Он занимался всем, решал все вопросы. Не колеблясь, он отлучил от церкви в марте нынешнего года императора Германии Людвига Баварского, заодно сместив его с трона и освободив престол Священной Римской империи, на который зарились король Франции и граф Валуа. Он вмешивался во все споры христианских государей, напоминая им, как того и требовала его миссия пастыря, об обязанности хранить мир. Сейчас он занимался конфликтом в Аквитании и во время аудиенции, данной Бувиллю, изложил свои соображения на этот счет.

Он собирался обратиться к суверенам Франции и Англии с просьбой продлить перемирие, подписанное графом Кентским в Ла-Реоле, срок которого истекал в декабре этого года. Его высочество Валуа не должен пускать в дело четыреста воинов и тысячу новых арбалетчиков, которых

король Карл IV недавно посылал ему в Бержерак. Но королю Эдуарду будет в решительной форме предложено прибыть в наикратчайшие сроки к королю Франции и принести ему присягу в верности. Оба суверена обязуются освободить гасконских сеньоров, находящихся у них в плену, и никоим образом не мстить им за то, что они стали на сторону противника. Наконец, папа собирался написать королеве Изабелле, заклиная ее употребить все свое влияние, чтобы восстановить согласие между ее супругом Эдуардом и братом Карлом. Впрочем, папа Иоанн, равно как и Бувилль, не питал никаких иллюзий относительно того влияния, каким пользовалась несчастная королева. Однако самый факт обращения к ней папы, несомненно, должен был в известной мере поднять ее престиж и заставить ее врагов призадуматься, прежде чем подвергать ее новым оскорблениям. Иоанн XXII намеревался также посоветовать ей совершить поездку в Париж, опять же в целях примирения, с тем чтобы руководить подготовкой договора, в силу которого от Аквитанского герцогства за Англией должна была остаться лишь узенькая прибрежная полоса с Сентом, Бордо, Даксом и Байонной. Таким образом, политические чаяния графа Валуа, ма-

хинации Робера Артуа и сокровенные желания лорда Мортимера получали от папы поддержку, что было крайне важно для их осуществления.

Итак, выполнив вполне успешно первую часть своей миссии, Бувилль мог с аппетитом лакомиться тающим во рту ароматным рагу из угрей, которое ему подали в серебряной миске.

— Нам доставляют угрей с Мартигского пруда, — пояснил Бувиллю папа Иоанн. — По вкусу ли они вам?

Толстый Бувилль с набитым до отказа ртом ответил лишь восторженным взглядом.

Папская кухня отличалась необычайной изысканностью; даже по пятницам во дворце устраивались настоящие пиршества. Свежий тунец, норвежская треска, миноги и осетры, приготовленные десятками способов и приправленные различными соусами, следовали друг за другом нескончаемой вереницей на сверкающих блюдах. Арбуазские вина, как золото, искрились в кубках. К сырам подавались сухие вина Бургундии, Ло или Роны.

А сам папа брал себе ложечку паштета из щуки, долго разминал его беззубыми деснами и потягивал из кружки молоко. Он почему-то вбил себе в голову, что папе негоже есть мясо!

Его высочество Валуа поручил Бувиллю обсудить с папой еще один, куда более щекотливый вопрос — вопрос о Крестовом походе, но с выполнением этого поручения дело обстояло много хуже, ибо Иоанн XXII ни словом не обмолвился о Крестовом походе во время предыдущих встреч. Однако пора было решиться. Обсуждение подобных вопросов послы обычно начинают издалека, и, руководствуясь этим правилом, Бувилль сказал, считая, что делает тонкий ход:

— Святейший отец, французский двор с огромным вниманием следил за церковным собором в Вальядолиде, который два года назад был проведен вашим легатом и где было приказано священнослужителям покинуть их сожительниц…

— …под угрозой, что если они не покорятся, — подхватил папа Иоанн скороговоркой, тоненьким, тихим голосом, — то через два месяца будут лишены трети своих доходов, еще через два месяца — другой трети, а еще через два — всех доходов. По правде говоря, мессир граф, человек живет во грехе, даже если он священник, и мы отлично знаем, что нам никогда не удастся полностью искоренить грех. Но пусть, по крайней мере, те, кто упорствует во грехе, помогут нам на-

полнить сундуки, а деньги послужат тому, чтобы сеять добро. Ведь многие стараются не доводить дело до публичных скандалов.

— И таким образом, епископы не будут больше присутствовать при крещении и бракосочетании своих незаконных детей, что, к сожалению, в последнее время вошло в обычай.

При этих словах Бувилль вдруг побагровел. Как это его угораздило заговорить о незаконных детях, сидя напротив кардинала дю Пуже? Это промах с его стороны, грубый промах. Но никто, казалось, не придал значения его замечанию. Поэтому Бувилль поспешил продолжить:

— Но почему, святейший отец, в отношении священников, сожительствующих с нехристианками, предусмотрено более тяжелое наказание?

— Причина тут простая, мессир граф, — ответил папа Иоанн. — Здесь имеется в виду в первую очередь Испания, где проживает много мавров… и где наши священники без труда находят подруг, которым ничто не мешает распутничать со служителями церкви.

Он слегка шевельнулся в своем огромном кресле, и по его тонким губам скользнула легкая улыбка. Он уже понял, к чему клонил его собеседник, переводя беседу на мавров. Это на-

стораживало и забавляло его, и он внимательно следил за тем, как Бувилль, отхлебнув глоток вина для храбрости, продолжал свою речь с делано непринужденным видом.

— Этот собор, святейший отец, несомненно, принял разумное решение, которое окажет нам немалую услугу во время Крестового похода. Ибо с нашими армиями пойдет много священнослужителей, а армии будут продвигаться по землям, где живут мавры; не следует священникам показывать дурной пример.

Бувилль вздохнул свободнее, наконец-то слова «Крестовый поход» были произнесены вслух.

Папа Иоанн прищурился и сплел пальцы.

— Но будет столь же плохо, — не спеша ответил он, — если подобное беспутство распространится среди христианских народов, пока их войско будет находиться в заморских странах. Ибо приходится признать, мессир граф, что всегда, когда армии сражаются вдали от своих государств и когда народ лишают самых доблестных его сынов, в этих странах пышным цветом расцветают разнообразные пороки, как будто вместе с войском эти земли покидает и уважение, с каким люди должны относиться к законам Божьим. Ничто так не способствует греху, как война… Его высо-

чество Валуа по-прежнему настаивает на этом Крестовом походе, которым он желает почтить наш понтификат?

— Дело в том, святой отец, что посланцы Малой Армении…

— Знаю, знаю, — сказал папа Иоанн, раздвигая и сближая мизинцы. — Ведь я сам направил этих посланцев к его высочеству Валуа.

— До нас со всех сторон доходят вести о том, что мавры на побережье…

— Знаю. Вести поступают ко мне в то же время, что и к его высочеству Валуа.

Сидевшие за столом прекратили разговоры. Сопровождавший Бувилля в его поездке епископ Пьер де Мортемар, о котором говорили, что при следующем назначении кардиналов он получит кардинальскую шапку, внимательно прислушивался к разговору между Бувиллем и папой, так же как и все племянники и прочие родичи, прелаты и сановники. Ложки бесшумно скользили по дну тарелок, словно по бархату. Голос Дюэза хотя еще твердый, но лишенный всякой выразительности, походил на легкое дуновение, и требовалась сноровка, чтобы разобрать его слова, даже сидя с ним рядом.

— Его высочество Валуа, которого я люблю

отеческой любовью, вынудил нас отказаться от десятины, но пока что использовал эту десятину лишь для того, чтоб отобрать Аквитанию и подкрепить свою кандидатуру на престол Священной империи. Все это весьма благородные начинания, но вряд ли их назовешь Крестовым походом. Не знаю, смогу ли я в следующем году снова пожертвовать десятиной, а тем паче, мессир граф, предоставить на экспедицию дополнительные суммы, которые у меня просят.

Для Бувилля это был тяжелый удар. Если он вернется в Париж ни с чем, Карл Валуа совсем разъярится!

— Святейший отец, — ответил Бувилль, стараясь говорить спокойно, холодным тоном, — графу Валуа, так же как и королю Карлу, казалось, что вы небезразличны к той чести, которую мог бы принести христианству…

— Честь христианства, дражайший сын, заключается в том, чтобы жить в мире, — прервал папа Бувилля и слегка похлопал его по руке.

Так вот в чем изменился святой отец! Раньше он всегда давал собеседнику договорить свою мысль до конца, если даже понимал его с первого слова. Теперь он просто прерывал его на полуслове: он был слишком занят, чтобы ждать,

пока ему объяснят то, что уже было ему известно. Однако Бувилль, подготовивший заранее свою речь, продолжал:

— Разве не является нашим долгом обратить язычников в истинную веру и искоренить среди них ересь?

— Ересь? Ересь, Бувилль? — спросил папа Иоанн под возмущенный шепот присутствовавших. — Лучше займемся-ка поначалу искоренением той ереси, что процветает в наших собственных странах, и не будем торопиться считать чирьи на лице соседа, когда наше собственное тело изъедено проказой! Ересь — это уж моя забота, и я, по-моему, успешно ее преследую. Моим судам хватает работы, но для борьбы с ересью мне требуется не только помощь всех моих приближенных, но и помощь всех христианских владык. Если рыцари Европы отправятся на Восток, у дьявола будут развязаны руки во Франции, Испании и Италии! Давно ли утихомирились катары, альбигойцы и другие раскольники? Ведь с этой целью я раздробил огромную епархию Тулузы, которая была их логовом, и создал шестнадцать новых епископств в Лангедоке! А разве не ересь вела ваших пастухов, банды которых докатились до нас несколько лет назад? Такое зло не искоре-

нить в течение жизни одного поколения. Этого дождутся только дети наших правнуков.

Все присутствующие прелаты могли засвидетельствовать, сколь сурово Иоанн XXII преследовал ересь. Если по его приказу мирволили в отношении мелких прегрешений человеческой натуры и за определенную мзду отпускали их, зато он неуклонно требовал предавать сожжению всех тех, кто посягал на догму. В христианском мире ходило даже меткое словцо монаха Бернара Делисье, францисканца, который вздумал бороться против доминиканской инквизиции и имел смелость явиться со своими проповедями в самый Авиньон, что стоило ему пожизненного заключения. «Даже святые Петр и Павел, — сказал он, — не смогли бы доказать, что они не еретики, вернись они в этот мир и предстань перед обвинителями».

Но в то же время живой ум святого отца подсказывал ему достаточно странные идеи, и он оглашал их публично, что вызывало немалое смятение в рядах докторов теологии. Так, он поставил под сомнение непорочное зачатие Девы Марии; положение это не было догмой, но пользовалось всеобщим признанием. Самое большее, он соглашался признать, что Бог очи-

стил Богоматерь от скверны еще до рождения, но в какой момент совершил это — установить трудно. Вместе с тем он не подвергал сомнению Успение Богородицы. Кроме того, Иоанн XXII не верил в обретение небесного блаженства, во всяком случае до дня Страшного суда, и отрицал тем самым тезис, что в раю, а следовательно, и в аду находятся души умерших.

По мнению многих теологов, от таких высказываний слегка попахивало ересью. Вот почему за папским столом находился и известный цистерцианец Жак Фурнье, сын булочника из Фуа в Арьеже, бывший аббат Фонфруада и епископ Памье, прозванный из-за своего одеяния белым кардиналом, и этот Фурнье, будучи самым близким лицом святого отца, использовал все свое знание апологетики для обоснования и оправдания предерзостных положений главы христианского мира[65].

Папа Иоанн продолжал:

— Так что, мессир граф, пусть не беспокоит вас ересь мавров. Давайте лучше охранять наше побережье от их кораблей, но самих их предоставим суду всемогущего Бога, ибо, в конце концов,

---

[65] Примечания: 65

Сын булочника из Фуа в Арьеже, наперсник папы Иоанна XXII, Жак Фурнье сам через десять лет станет папой под именем Бенедикта XII.

они его создания и у него, несомненно, есть в отношении них свои намерения. Кто из нас может сказать, что станется с душами, которых еще не коснулась благодать откровения?

— По-моему, они попадут в ад, — простодушно отозвался Бувилль.

— Ад, ад! — чуть слышно произнес тщедушный папа, пожимая плечами. — Не говорите о том, чего не знаете. И не пытайтесь убедить меня — ведь мы с вами давние друзья, Бувилль! — в том, что его высочество Валуа просит из моей казны миллион двести тысяч ливров, из коих триста тысяч пойдут ему лично, ради спасения душ язычников! К тому же мне известно, что граф Валуа несколько поостыл к своему Крестовому походу.

— По правде говоря, святейший отец, — проговорил Бувилль не без колебания, — хоть я и не так хорошо осведомлен, как вы, но мне тоже казалось…

«О незадачливый посол! — думал папа Иоанн. — Будь я на его месте, я бы самого себя убедил в том, что Валуа уже собрал войска, и выцарапал бы по крайней мере триста тысяч ливров».

Папа молчал и, когда Бувилль окончательно запутался, промолвил:

— Скажите его высочеству Валуа, что святой отец отказывается от Крестового похода; его высочество Валуа, которого я знаю как покорного сына и безукоризненного христианина, послушается меня ради блага нашей Святой церкви.

Бувилль почувствовал себя самым несчастным человеком. Святой отец прав, все сошлись во мнении, что необходимо отказаться от Крестового похода, но не так же это делается, нельзя же в двух словах, а главное, без всякого, так сказать, возмещения погубить такое начинание.

— Я не сомневаюсь, святейший отец, — ответил Бувилль, — что его высочество Валуа послушается вас; но только он уже связал себя словом, поставил на карту свой престиж и понес большие расходы.

— Сколько нужно его высочеству Валуа, чтобы не слишком пострадал его личный престиж?

— Не знаю, святейший отец, — пробормотал Бувилль, краснея. — Его высочество Валуа не уполномочивал меня отвечать на подобные вопросы.

— Не может быть! Я слишком хорошо его знаю и уверен, что он предусмотрел и такой оборот дела. Сколько?

— Он уже роздал вперед деньги рыцарям своих

ленных владений на экипировку их отрядов…

— Сколько?

— Он позаботился об этих новых пороховых жерлах…

— Сколько, Бувилль?

— Он сделал заказ на различного рода вооружение…

— Я не военный человек, мессир, и не требую от вас счетов на арбалеты. Я прошу вас только назвать мне сумму, которую его высочество Валуа хочет получить в возмещение своих убытков.

Папа с улыбкой наблюдал, как его собеседник вертелся в кресле, словно его поджаривали на углях. Да и сам Бувилль не мог удержаться от улыбки, видя, что все его хитроумные уловки лопнули как мыльный пузырь. Итак, требуется назвать цифру! Он заговорил так же тихо, как папа, и прошептал:

— Сто тысяч ливров…

Иоанн XXII покачал головой:

— Вполне в духе графа Карла Валуа. Помнится, флорентийцам в свое время, для того чтобы обойтись без его помощи, пришлось дать больше. Правда, сиенцы добились от него согласия покинуть их город за несколько меньшую сумму. Позднее король Анжуйский вынужден был вы-

ложить ему приблизительно такую же сумму в знак благодарности за помощь, которой он у него не просил! Что ж, это такой же способ получать деньги, как и все прочие… А знаете, Бувилль, ваш Валуа великий мошенник! Ну ладно, сообщите ему добрую весть… Мы дадим ему эти сто тысяч ливров и наше папское благословение!

В общем, папа был рад отделаться такой ценой! А Бувилль не помнил себя от счастья, что нежданно-негаданно и к тому же столь успешно выполнил свою миссию. Торговаться с самим папой, словно с ломбардским купцом, и впрямь было для него мучительно! Но решение святого отца не было продиктовано щедростью, просто он прикинул цену, которую приходится платить за власть.

— А помните, мессир граф, те времена, — продолжал папа, — когда вы привезли мне сюда пять тысяч ливров от графа Валуа, для того чтобы на конклаве прошел французский кардинал? Согласитесь, что эти деньги были помещены под хороший процент!

Всякий раз Бувилль умилялся этим воспоминаниям. Он вновь увидел лужайку за городом, севернее Авиньона, луг Понте, густой туман и необычную беседу, которую они вели тогда, сидя

рядом на низенькой ограде.

— Как же, помню, святой отец, — сказал он. — Я ведь никогда не встречался с вами до того дня, и, когда издали увидел, как вы приближались ко мне, я тогда подумал, что меня обманули, что вы не кардинал, а молоденький клирик, которого какой-нибудь прелат переодел и послал вместо себя.

Этот комплимент вызвал улыбку на губах папы. Он тоже предался воспоминаниям.

— А что сталось с тем молодым итальянцем, — спросил он, — с тем сиенцем из банка, с этим юным Гуччо Бальони, который сопровождал вас тогда и которого вы потом прислали ко мне в Лион, где он так удачно служил мне во время конклава? Хотелось бы взглянуть на него. Это единственный человек, который оказал мне услугу и не явился потом требовать благодарности или теплого местечка!

— Не знаю, святой отец, не знаю. Он вернулся на свою родину, в Италию. Я тоже давно ничего о нем не слышал.

Бувилль смешался, и папа сразу почувствовал это.

— Если память мне не изменяет, у него была неприятная история с женитьбой или, вернее,

псевдоженитьбой на девушке из благородной семьи, которую он сделал матерью. А ее братья его преследовали. Так, кажется?

Да, святой отец помнил все слишком хорошо! Какая отменная память!

— Я, право, поражен, — продолжал папа, — что этот человек, которому мы с вами покровительствовали, занимающийся денежными операциями, не воспользовался столь благоприятными обстоятельствами, чтобы упрочить свое благосостояние. А появился ли на свет тот ребенок, которого он ждал? Жив ли он?

— Да, да, он родился, — поспешно ответил Бувилль. — Он живет где-то в деревне со своей матерью.

Он совсем запутался и от смущения лопотал что-то невразумительное.

— Мне говорили… кто же мне говорил… — продолжал папа, — что эта самая женщина была кормилицей младенца-короля, родившегося у мадам Клеменции Венгерской уже после смерти короля Людовика, во время регентства графа Пуатье. Так ли это?

— Да, да, святой отец, полагаю, что это была она.

По сетке мелких морщинок, покрывавших ли-

цо папы, пробежала легкая дрожь.

— То есть как это вы полагаете? Разве не вы были хранителем чрева мадам Клеменции? И разве не вы были при ней, когда случилось несчастье и она потеряла сына? Вы должны были хорошо знать кормилицу.

Бувилль побагровел. Ему следовало быть начеку и, когда папа произнес имя Гуччо Бальони, сразу сообразить, что тот вспомнил о сиенце не без задней мысли, к тому же папа искуснее шел к цели, нежели Бувилль, начавший беседу с Вальядолидского собора и испанских мавров, чтобы перейти затем к Крестовому походу! Очевидно, папа знает, что сталось с Гуччо, ибо сиенские Толомеи были в числе его банкиров.

Не спуская маленьких серых глаз с Бувилля, папа продолжал расспросы.

— Мадам Маго Артуа судили, и вы выступали на процессе, выступали в качестве свидетеля. Сколько правды было во всем этом деле?

— О святой отец, ровно столько, сколько вскрыло правосудие. Недоброжелательность, злобные сплетни, которые мадам Маго пожелала разоблачить и опровергнуть.

Трапеза подходила к концу, и стольники разносили кувшины и тазы с водой, чтобы гости

могли вымыть себе пальцы. Два благородных рыцаря приблизились и отодвинули от стола кресло папы.

— Мессир граф, — сказал папа, — я был очень счастлив вновь вас увидеть. Я стар и не знаю, представится ли мне еще раз такой радостный случай…

Встав из-за стола, Бувилль облегченно вздохнул. Приближалось время прощания, которое положит конец этому допросу.

— …поэтому перед вашим отъездом, — продолжал папа, — я хочу оказать вам величайшее благодеяние, какое я только могу оказать христианину. Я лично выслушаю вашу исповедь. Проводите меня в мою опочивальню.

Глава II
Грехи Бувилля замолит папа

— Грех плоти? Несомненно, поскольку вы мужчина… Грех чревоугодия? Достаточно взглянуть на вас — чересчур вы толсты… Грех гордыни? Конечно, ведь вы знатный сеньор… Однако само ваше положение обязывает вас быть особенно благочестивым, поэтому вы должны, идя к святому причастию, всякий раз предварительно

покаяться во всех своих грехах и получить отпущение.

Странная это была исповедь: глава Римской церкви сам задавал вопросы и сам же на них отвечал. Его глухой голос подчас заглушали пронзительные крики птиц: папа держал в своей опочивальне какаду на цепочке и порхавших в большой клетке попугайчиков, канареек и маленьких алых птичек, обитательниц дальних островов, которых зовут кардиналами.

Пол комнаты был выложен разноцветными плитками и покрыт испанскими коврами. Стены и кресла обтянуты зеленой материей; полог кровати и занавеси на окнах из зеленого льняного полотна. И на этом фоне, напоминавшем листву дерев, зелень лесов, словно диковинные цветы, мелькали яркие птицы[66]. В углу была умывальная с мраморной ванной. К спальне примыкала гардеробная, просторные стенные шкафы ее были заполнены белыми плащами, мантиями с капюшонами цвета граната и прочим церковным облачением; дальше помещался рабочий кабинет.

Войдя в опочивальню, толстяк Бувилль хотел

---

[66] Примечания: 66

Иоанн XXII, любивший экзотических животных, и в своем дворце завел зверинец, содержавший льва, двух страусов и верблюда.

было преклонить колена, но папа пригласил его сесть рядом с собой на зеленое кресло. Пожалуй, впервые к кающемуся отнеслись столь предупредительно. Это ошеломило, но в то же время и приободрило бывшего камергера короля Филиппа Красивого, который и впрямь опасался, что ему, важному сановнику, придется рассказывать на исповеди — и кому? папе! — обо всех житейских мелочах, о ничтожных дрязгах, дурных помыслах, скверных поступках, обо всем том, что скопилось, осело в глубине его души за долгие дни и годы. Но папа, казалось, считал все эти грехи пустяками или, по крайней мере, полагал, что отпускать их могут священнослужители помельче. Выходя из-за стола, Бувилль не заметил, что кардиналы Гослен Дюэз, дю Пуже и «белый кардинал» Жак Фурнье обменялись между собой многозначительными взглядами. Они-то хорошо знали этот лукавый ход папы Иоанна: он сразу же после пышной трапезы приглашал к себе в опочивальню кого-нибудь из важных собеседников, чтобы с глазу на глаз поговорить с ним. Благодаря таким исповедям он был в курсе многих государственных тайн. Кто мог устоять перед столь неожиданным предложением, одновременно лестным и пугающим? Удивление, религиозный

трепет, не говоря уже о процессе пищеварения, делали более податливой душу кающегося.

— Главное, — продолжал поучать папа, — чтобы человек добросовестно выполнял свой особый долг, который возложил на него Господь Бог в нашем мире, и всякие прегрешения против долга караются наисуровейшим образом. Вы, сын мой, были камергером у короля Филиппа и выполняли весьма ответственные поручения при трех последующих государях. Всегда ли вы были безупречны в выполнении вашего долга и возложенных на вас обязанностей?

— Думаю, отец, простите, я хотел сказать, святейший отец, что исполнял свои обязанности с усердием и изо всех сил старался преданно служить моим сюзеренам…

Вдруг он запнулся, поняв, что здесь неуместно заниматься самовосхвалением. Минуту спустя он вновь заговорил, но уже совсем иным тоном:

— Должен признаться, что не совсем удачно справлялся с некоторыми поручениями, которые мог бы довести до успешного конца… Дело в том, святейший отец, что я не всегда был достаточно проницательным и порой слишком поздно замечал совершенные мною ошибки.

— Недостаточная сообразительность — это

еще не грех; такое может случиться с каждым из нас, и к тому же это прямая противоположность злому умыслу. А не совершали ли вы, исполняя свои обязанности или в силу самих ваших обязанностей, серьезных прегрешений, таких, как, скажем, лжесвидетельство… человекоубийство…

Бувилль покачал головой справа налево.

Но маленькие серые глазки без бровей и ресниц, блестевшие на морщинистом лице, по-прежнему неотступно были устремлены на него.

— Вы уверены в этом? Сейчас, дражайший сын, вам представляется случай полностью очистить душу! Значит, никогда вы не лжесвидетельствовали? — спросил папа.

Бувиллю снова стало не по себе. Что означала эта настойчивость? Какаду хрипло крикнул с насеста, и Бувилль вздрогнул.

— По правде говоря, святейший отец, есть нечто, что тяготит мне душу, но я не знаю, грех ли это, и если грех, то как его определить. Я никого не убил сам, клянусь вам, но я не сумел помешать убийству. И вследствие этого мне пришлось лжесвидетельствовать, но я не мог поступить иначе.

— Так расскажите мне об этом, Бувилль, — проговорил папа.

На сей раз вовремя спохватился он:

— Доверьте мне тайну, которая так тяготит вас, дражайший сын!

— Безусловно, она тяготит меня, — промолвил Бувилль, — особенно после смерти моей бесценной супруги Маргариты, с которой я делил этот секрет. И я часто твержу себе, что если я умру, так никому и не доверив этой тайны…

Внезапно на глаза у него навернулись слезы.

— И как мне раньше не пришла в голову мысль, святейший отец, открыться вам?.. Не зря я вам говорил, что я тугодум… Случилось это вскоре после смерти короля Людовика Десятого, старшего сына моего повелителя Филиппа Красивого…

Бувилль взглянул на папу и почувствовал, что ему сразу полегчало. Наконец-то он сбросит с души тяжелейшее бремя, которое мучило его целых восемь лет. Поведает об этой, несомненно, самой страшной минуте своей жизни, оставившей после себя ежечасные угрызения совести. И конечно же, надо было поведать обо всем этом именно папе!

Теперь Бувилль говорил без запинок. Он рассказывал о том, как, будучи назначен хранителем чрева королевы Клеменции после кончины ее супруга Людовика Сварливого, он, Бувилль, боялся, как бы графиня Маго Артуа не совершила

преступления и против королевы, и против младенца, которого тогда носила Клеменция. Как раз в это время Филипп Пуатье, брат покойного короля, провозгласил себя регентом вопреки воле графа Валуа и герцога Бургундского.

При этих словах Иоанн XXII поднял на мгновение глаза к крашеным балкам потолка, и по его узкому личику пробежало мечтательное выражение. Ведь это он сообщил Филиппу Пуатье о смерти его брата, а сам узнал о ней от юного ломбардца по имени Бальони. Да! Граф Пуатье умело повел дела и с конклавом, и с регентством! Все решилось в то июньское утро 1316 года, в Лионе, в доме судьи Варе…

Итак, Бувилль опасался преступления со стороны графини Артуа, нового преступления, ибо уже и раньше ходили слухи, что это она отправила на тот свет Людовика Сварливого с помощью ядовитых трав. Впрочем, у Маго были все основания ненавидеть Людовика, так как незадолго до кончины он отобрал у нее графство. Да и после смерти короля у нее было не меньше причин желать победы графу Пуатье, которому она доводилась тещей. Ведь если бы граф Пуатье взошел на престол, он наверняка сохранил бы за тещей ее владения. Единственным препятствием к этому

был ребенок, которого носила под сердцем королева, который благополучно родился и оказался мальчиком.

— Несчастная королева Клеменция… — пробормотал папа.

Маго Артуа удалось добиться того, что ее сделали крестной матерью. И именно она должна была показать нового младенца короля баронам во время церемонии представления. Бувилль, так же как и его супруга, был уверен, что если грозная Маго намеревается совершить злодеяние, то она, не колеблясь, совершит его именно во время церемонии, ибо для нее это была единственная возможность взять ребенка на руки. Поэтому Бувилль с супругой решили спрятать на некоторое время королевского ребенка и вручить Маго вместо него сына кормилицы, которому было всего на несколько дней больше. Под кружевными пеленками никто не смог заметить подмены, да, впрочем, никто еще и не видел ребенка королевы Клеменции, в том числе и она сама, так как она лежала в родильной горячке и была при смерти.

— И действительно, — продолжал Бувилль, — графиня Маго мазнула ядом губы или носик ребенка, которого я ей передал, и он умер в корчах на глазах у всех баронов. Таким образом, я

обрек на смерть крохотное невинное создание. И преступление было совершено так ловко и быстро, я был в таком смятении, что не сообразил тотчас же крикнуть: «Это не настоящий!» А потом было слишком поздно. Как объяснить…

папа, слегка наклонившись и сложив руки на складках мантии, слушал рассказ Бувилля, не пропуская ни слова.

— Ну а другой ребенок, маленький король, что сталось с ним, Бувилль? Что вы с ним сделали?

— Он жив, святейший отец, жив. Мы с моей покойной супругой поручили его заботам той самой кормилицы. О! Это было не так-то легко. Ведь вы можете себе представить, какой лютой ненавистью возненавидела нас эта несчастная женщина; она вся извелась от горя. Мольбами и угрозами мы заставили ее поклясться на Евангелии, что она будет растить маленького короля как своего собственного сына и никогда никому, даже на исповеди, ничего не скажет.

— Ох, ох… — прошептал папа.

— Так вот, маленький король Иоанн, одним словом, настоящий король Франции, воспитывается сейчас в замке, находящемся в Иль-де-Франсе, не подозревая, кто он; впрочем, этого никто не знает, за исключением той женщины, которая

выдает себя за его мать… и меня.

— А эта женщина…

— Ее зовут Мари де Крессе, она жена юного ломбардца Гуччо Бальони.

Теперь папа понял все.

— А Бальони — он тоже ничего не знает?

— Ничего, я уверен в этом, святейший отец. Ибо для того, чтобы сдержать свою клятву, Мари де Крессе по нашему приказанию дала зарок никогда не видеться с ним. К тому же все произошло очень быстро, и молодой ломбардец тотчас же уехал в Италию. Он думает, что его сын жив. Иногда он справляется о нем через своего дядю, банкира Толомеи…

— Но почему же, Бувилль, почему, имея доказательства преступления, и доказательства, которые так легко было предъявить, вы не разоблачили графиню Маго?.. И подумать только, — добавил папа, — что в это самое время она прислала ко мне своего канцлера с просьбой поддержать ее против ее племянника Робера…

Папе внезапно пришла в голову мысль, что Робер Артуа, этот гигант, этот сорвиголова, этот смутьян, а возможно, тоже убийца — ибо, по слухам, он был замешан в убийстве Маргариты Бургундской в Шато-Гайаре, — этот знатный

барон Франции и отъявленный злодей, был, пожалуй, если разобраться, все же лучше, чем его жестокосердая тетушка, и что в борьбе с ней он, возможно, был не так уж не прав. Вся эта высшая знать воистину похожа на стаю лютых волков! И так во всех державах. Уж не для того ли, чтобы управлять этим стадом, умиротворять и направлять его, Бог вселил в него, хилого уроженца Кагора, неодолимое стремление к папской тиаре, которой он был ныне увенчан и которая порой оказывалась несколько для него тяжелой?

— Я молчал, святейший отец, — вновь заговорил Бувилль, — следуя главным образом совету моей усопшей супруги. Так как я упустил подходящий момент для того, чтобы вывести на чистую воду убийцу, моя покойная жена справедливо говорила, что, если правда откроется, Маго ополчится и на маленького короля, и на нас самих. Поэтому, если мы хотели спасти короля и одновременно самих себя, мы должны были поддерживать графиню в убеждении, что преступление удалось. И я отправил в аббатство Сен-Дени младенца той кормилицы, и его похоронили среди королей.

Папа размышлял.

— Значит, суд над Маго, который устроили в

следующем году, и обвинения против нее были обоснованны? — спросил он.

— Разумеется, святейший отец, разумеется! Его светлости Роберу удалось схватить с помощью своего кузена мессира Жана де Фьенна одну отравительницу и некромантку по имени Изабелла де Ферьенн, снабдившую придворную даму графини Маго ядом, которым графиня сначала убила короля Людовика, а затем младенца, представляя его баронам. Эту Изабеллу де Ферьенн вместе с ее сыном Жаном доставили в Париж, чтобы подкрепить обвинения против Маго. Представляете, как это было на руку его светлости Роберу! У матери и сына Ферьенн взяли показания, из коих со всей очевидностью явствовало, что они поставляли яд графине; еще раньше они добыли для нее приворотное зелье, благодаря которому, как хвалилась сама Маго, ей удалось примирить свою дочку Жанну с зятем — графом Пуатье…

— Магия, колдовство! Вам ничего не стоило отправить на костер графиню, — прошептал папа.

— В то время было уже поздно, святейший отец, было уже поздно. Ибо граф Пуатье стал королем и так рьяно защищал мадам Маго, что в глубине души я пришел к убеждению, что он был заодно с ней, по крайней мере в том, что касается второго

преступления.

Крохотное личико папы сморщилось еще больше под меховой шапочкой. Ему было тягостно слышать последние слова, так как он от души любил короля Филиппа V, которому был обязан своей тиарой и с которым всегда приходил к соглашению по всем вопросам государственного управления.

— Обоих их покарал Бог, — продолжал Бувилль. — В тот же год оба потеряли своих единственных наследников мужского пола. У графини умер единственный сын семнадцати лет. Молодой король Филипп тоже лишился сына, который прожил всего несколько месяцев, и у него уж не было больше сыновей… А выдвинутое против графини обвинение она сумела опровергнуть. Сослалась на незаконность парламентской процедуры, заявила, что обвинители недостойны ее судить; ссылалась на то, что, будучи пэром Франции, подсудна лишь палате баронов. Однако для того, твердила она, чтобы доказать свою невиновность, она умоляет своего зятя… — надо сказать, что она великолепно разыграла сцену лицемерия, да еще при публике!.. — умоляет зятя продолжать следствие и дать ей возможность посрамить своих врагов. Некромантку Ферьенн

и ее сына заслушали снова, но после вторичного допроса они предстали перед судом в довольно-таки жалком виде, все в крови, так что даже одежда прилипла у них к телу. Они полностью отреклись от своих прежних показаний, объявили выдвинутые ими ранее обвинения ложными и утверждали, что пошли на это, поддавшись на ласки, посулы, уговоры и насилие лица, имя которого, как было записано в протоколе суда, пока что следовало держать в тайне; все это было равнозначно прямому указанию на его светлость Робера Артуа. Затем король Филипп Длинный сам взялся за отправление правосудия и вызвал всех членов своей семьи и их ближайших родственников и всех родственников своего покойного брата: графа Валуа, графа д'Эврё, герцога Бургундского, его светлость Гоше — коннетабля, мессира Бомона — дворецкого и даже королеву Клеменцию, потребовав от них, чтобы они под присягой показали, *было* ли им известно или считают ли они, что король Людовик и его сын Иоанн умерли не естественной, а насильственной смертью. Но так как никто не мог привести никаких доказательств и так как заседание происходило в присутствии всего семейства, причем графиня Маго восседала рядом с королем, все

заявили — хотя многие и наперекор собственным убеждениям, — что обе кончины произошли по естественным причинам.

— Но ведь вы-то… ведь вам-то тоже пришлось предстать перед королем?

Толстяк Бувилль потупился.

— Святейший отец, я совершил лжесвидетельство, — проговорил он, — но я-то что мог сделать, когда весь двор, пэры, дяди короля, самые близкие ему люди и даже сама королева под присягой подтверждали невиновность мадам Маго? Меня самого обвинили бы во лжи и вымысле и отправили бы на монфоконскую виселицу.

Он сидел с таким несчастным, с таким убитым и грустным видом, что казалось, будто его крупное, мясистое лицо вдруг стало лицом того мальчугана, каким Бувилль был полвека назад. Папа почувствовал к нему жалость.

— Успокойтесь, Бувилль, — проговорил он, склонясь к нему и кладя ему руку на плечо. — И не упрекайте себя за то, что поступили плохо. Бог возложил на вас слишком тяжелую для вас задачу. Беру вашу тайну на себя. Будущее покажет, правильно ли вы поступили! Вы хотели спасти жизнь, которую вам доверили в силу вашего положения, и вы ее спасли. А сколько бы других

жизней вы поставили под угрозу, выдай вы эту тайну!

— О! Святейший отец, теперь я спокоен! — сказал бывший камергер. — Но что станется с малолетним королем, которого мы спрятали? Что с ним делать?

— Ждите, и пусть все идет по-прежнему. Я подумаю и дам вам знать. Идите с миром, Бувилль… Что же касается его высочества Валуа, то пусть берет свои сто тысяч ливров, но ни флорина больше. Скажите, чтобы он оставил меня в покое со своим Крестовым походом и договорился с Англией.

Бувилль опустился на одно колено, порывисто поднес руку папы к губам, потом поднялся и, пятясь, пошел к двери, так как решил, что аудиенция окончена.

Но папа жестом вновь позвал его:

— А отпущение грехов? Разве вы не хотите его получить?

Оставшись один, папа Иоанн мелкими скользящими шажками стал расхаживать по своему кабинету. В щели под дверьми врывался ветер с Роны и жалобно завывал в красивых покоях нового замка. В клетке щебетали попугайчики. Головни в жаровне, стоявшей в углу, подерну-

лись золой. Пожалуй, впервые со времени своего избрания Иоанн XXII сталкивался со столь сложной проблемой. Подлинным королем Франции оказался неизвестный ребенок, спрятанный от людей в затерянном замке. Только два человека, вернее, отныне уже три посвящены в эту тайну. Страх мешал двум первым заговорить. А что должен делать он сам, зная эту тайну, теперь, когда два сменившихся на французском троне короля, два короля, должным образом коронованные и помазанные на царство, оказались на самом деле узурпаторами? Да! Серьезное дело, почти такое же, как отлучение от церкви германского императора. На чью сторону встать? Открыть всю эту историю? Но это значило бы ввергнуть Францию, а вслед за ней и часть Европы в самый ужасный династический беспорядок и, кроме того, посеять семена войны!

И еще одно чувство побуждало его хранить молчание — чувство, связанное с памятью короля Филиппа Длинного. Иоанн XXII искренне любил этого юношу и помогал ему всем, чем мог. Более того, это был единственный монарх, которым он когда-либо восхищался и к которому питал чувство признательности. Очернить память покойного значило одновременно набросить тень

на самого себя: без Филиппа Длинного никогда бы ему не стать папой. И этот столь дорогой ему Филипп оказался преступником, во всяком случае сообщником преступницы. Но пристало ли ему, папе Иоанну, ему, Жаку Дюэзу, бросать в Филиппа камень, когда он сам путем всевозможных махинаций и плутней получил пурпурную мантию и тиару? И если бы для того, чтобы добиться избрания, ему пришлось совершить убийство…

«О Всевышний Господь, благодарю Тебя за то, что Ты избавил меня от искушения сего… Но так ли уж правильно было возложить на меня заботу о созданиях Твоих?.. А если кормилица проговорится, что тогда будет? Разве можно доверять женскому языку! Как был бы я счастлив, Боже, если бы Ты просветил меня! Я отпустил грехи Бувиллю, но мне теперь замаливать их».

Он преклонил колена на зеленую подушечку, лежавшую на скамейке для молитвы, и долго оставался в таком положении, упершись лбом в сложенные ладони.

Глава III

Дорога в Париж

Как звонко цокали подковы лошадей по французским дорогам! Какой радостной музыкой отдавался скрип гравия! А как легко дышалось этим солнечным утром! Казалось, будто даже воздух, напоенный чудесным ароматом, имел какой-то удивительно приятный вкус! Почки начали распускаться, и маленькие зеленые листочки, нежные и еще морщинистые, как бы лаская, касались лиц путешественников. Ярко-зеленая трава, покрывавшая дорожные откосы и луга Иль-де-Франса, была, конечно, не столь пышной и густой, как в Англии, но на королеву Изабеллу от этой зелени повеяло свободой и надеждой!

Грива белого иноходца колыхалась в такт рыси. На расстоянии нескольких туазов от скакуна следовали носилки, запряженные парой мулов. Но королева была слишком счастлива, слишком сильно сжигало ее нетерпение, чтобы сидеть в этой мерно покачивающейся клетке. Она предпочла сесть на своего иноходца, которого то и дело подгоняла хлыстом; с какой бы радостью она перепрыгнула через живую изгородь и пустила коня галопом по зеленым пастбищам!

По дороге их кортеж останавливался в Булони, где пятнадцать лет назад она венчалась в церкви Пресвятой Богородицы, затем в Монтрее, Аллевиле и Бове. Предыдущую ночь она провела в королевском замке в Мобюиссоне, близ Понтуаза, где в последний раз видела своего покойного отца Филиппа Красивого. Путешествие ее походило на паломничество в прошлое. Ей казалось, что она шаг за шагом проделывает обратный путь к дням своей юности, чтобы, зачеркнув пятнадцать потерянных лет, вступить на новую дорогу.

— Ваш брат Карл так тосковал по ней и так колебался в выборе новой супруги, что, несомненно, простил бы ее, — сказал Робер Артуа, ехавший рядом с королевой, — и она бы теперь была нашей королевой.

О ком это говорил Робер? Ах да, о Бланке Бургундской. На эти воспоминания навел его Мобюиссон, куда только что прибыла для встречи путешественницы кавалькада в составе Анри де Сюлли, Жана де Руа, графа Кентского, лорда Мортимера, самого Робера Артуа и целой толпы сеньоров. Как радостно было Изабелле вновь почувствовать, что с ней обращаются как с королевой!

— По-моему, Карл и впрямь втайне наслаждал-

ся своим положением рогоносца, — продолжал Робер. — К несчастью или, вернее, к счастью, милейшая Бланка за год до того, как Карл венчался на царство, забеременела в темнице от тюремного смотрителя! Вы ведь знаете, что в лоне дочек Маго горел такой огонь, что от него в пяти шагах могла воспламениться пакля.

Гигант скакал с левой, солнечной стороны, и тень от его исполинской фигуры, восседавшей на огромном першероне в яблоках, накрыла королеву. А королева, подгоняя своего иноходца, старалась вырваться на солнце. Робер говорил, говорил без умолку; окрыленный радостной встречей, он бесцеремонно распустил язык и вел разговор в обычной для него развязной манере; в то же время он с первых же шагов постарался восстановить узы родства и старой дружбы. Изабелла не видела его одиннадцать лет; она нашла, что он изменился меньше, чем можно было ожидать. Голос оставался все тем же, да и от разгоряченного ездой кузена исходил знакомый запах любителя дичины, который подхватывали и доносили до нее порывы ветра. Руки у него поросли до самых ногтей рыжей шерстью; во взгляде сверкала злоба, даже когда он старался смотреть на собеседника любезно, а толстое брю-

хо нависало над поясом, будто Робер проглотил колокол. Но в голосе и жестах ощущалась непритворная самоуверенность, столь свойственная его натуре; складки, идущие по обе стороны рта, глубоко врезались в жирные щеки.

— И моей тетушке Маго — этой отъявленной шлюхе — пришлось примириться с тем, что брак расторгли. О! Конечно, дело не обошлось без борьбы и без ложных показаний перед епископами. Но в конце концов она была посрамлена. На сей раз кузен Карл заупрямился. Из-за того случая с тюремным смотрителем и беременностью. А когда такой слабый человек вдруг заупрямится, его не разубедишь! На процессе при расторжении брака было задано не менее тысячи вопросов. Из архивов вытащили бумагу, пожалованную Климентом Пятым, по которой Карлу разрешалось, в обход общих правил, жениться на какой-нибудь своей родственнице без указания имени. Но кто в наших семьях женится иначе как на своих кузинах или племянницах? Тогда монсеньор Жан де Мариньи очень ловко сумел сыграть на духовном родстве. Была ли Маго крестной матерью

Карла[67]? Она, конечно, утверждала, что нет, она, мол, только присутствовала на крестинах в роли второй кумы. Но в суд были вызваны все бароны, камергеры, слуги, священники, певчие, горожане Крейя, где состоялись крестины, и все в один голос подтвердили, что она действительно держала ребенка, а потом передала его Карлу Валуа и что тут не может быть никакого сомнения, ибо она была самой высокопоставленной и знатной из всех находившихся в часовне дам. Ну как вам нравится эта бесстыжая лгунья!

Изабелла старалась вслушиваться в слова Робера, но на самом деле она вся отдавалась собственным мыслям, вспоминала о том необычайном прикосновении, которое только что так потрясло ее. Сколь чудесным, оказывается, мо-

---

[67] Примечания: 67

Вопрос и в самом деле стоил того, чтобы его задать, поскольку государи и принцы Средних веков часто имели по шесть и даже по восемь крестных отцов и матерей. Однако по каноническому праву таковыми признавались только те, кто действительно держал ребенка над купелью. Документы, касающиеся расторжения брака между Карлом IV и Бланкой Бургундской, которые хранятся в отделе рукописей Национальной библиотеки, особенно богаты сведениями о религиозных церемониях в королевских семействах. Присутствовавшая на них публика была многочисленной и очень смешанной: мелкий люд теснился как на дармовом зрелище, а совершавших обряд служителей культа толпа чуть не душила. Столпотворение и любопытство были такими же, как на свадьбах современных кинозвезд, и точно так же никакого благоговения не было и в помине.

жет быть нечаянное прикосновение к мужским кудрям!

И королева подняла глаза на Роджера Мортимера, который непринужденно и уверенно скакал с правой от нее стороны, как будто он был ее покровителем и стражем. Она залюбовалась его густыми локонами, выбившимися из-под черной шляпы. Разве можно было даже предположить, что эти волосы столь шелковисты на ощупь!

Произошло это случайно, в первую же минуту встречи. Изабелла была приятно удивлена, увидев приближающегося к ней Мортимера рядом с графом Кентским. Итак, мятежник, беглец и нищий — ибо Эдуард, разумеется, лишил Мортимера всех его титулов и всего его имущества, — здесь, во Франции, едет бок о бок с братом английского короля и, кажется, даже имеет некоторое преимущество по сравнению с ним. Такое же удивление мелькнуло во взглядах, которыми обменялась свита королевы.

А Мортимер, соскочив на землю, устремился к своей повелительнице, чтобы поцеловать край ее платья, но иноходец королевы дернулся, и губы Роджера коснулись колена Изабеллы. Она машинально положила руку на непокрытую голову своего вновь обретенного друга. И теперь,

скача по исчерченной тенью ветвей дороге, она все еще продолжала ощущать даже под бархатом перчатки это прикосновение к шелковистым волосам.

— Другим, более серьезным мотивом для расторжения брака послужил тот факт, что вступающие в брак в момент его заключения не достигли требуемого законом возраста и даже физически не были готовы к супружеским отношениям; обнаружилось, что ваш брат Карл, когда его женили, не мог ни здраво выбрать себе жену сообразно своему рангу, ни даже выразить свою волю — по той причине, что он был на то не способен, простоват и глуп. Inhabilis, simplex et imbecillus! В связи с этим брак был недействительным с первого дня. И все, начиная с вашего дяди Валуа и кончая последней камеристкой, в один голос твердили, что дело обстояло именно так и что даже сама покойная королева-мать считала его дурачком и прозвала гусенком! Простите, кузина, что я так говорю о вашем брате, но ведь, в конце концов, таков наш король. Он, правда, любезен и красив собой, но, как говорится, звезд с неба не хватает. Вы понимаете теперь, что за него поневоле правят другие, и вам не следует ждать от него многого.

Слева от Изабеллы без устали разглагольствовал Робер Артуа, распространявший вокруг себя запах хищника. Справа Изабелла чувствовала прикованный к ней настойчивый, смущавший ее взгляд Роджера Мортимера. Время от времени она устремляла свой взгляд к этим серо-стальным глазам, к этому правильному лицу с глубоким изгибом на подбородке, к стройному могучему торсу, красиво покачивавшемуся в седле. Она была удивлена тем, что забыла о белом шраме, пересекавшем его нижнюю губу.

— Вы по-прежнему столь же целомудренны, как и раньше, моя прекрасная кузина? — внезапно спросил Робер Артуа.

Королева Изабелла покраснела и украдкой взглянула на Роджера Мортимера, как будто уже сам этот вопрос делал ее виновной, и по непонятным причинам виновной именно перед ним.

— Меня к этому принуждали обстоятельства, — ответила она.

— А помните, кузина, нашу встречу в Лондоне?

Она покраснела еще сильнее. О чем он хотел напомнить ей и что подумает Мортимер? Мимолетная слабость в минуту прощания… даже без поцелуя, просто припавшая на грудь мужчины женщина, ищущая заступника… Значит, Робер

помнит об этом и теперь, спустя одиннадцать лет? Это польстило ей, но ничуть не взволновало. Неужели он счел порывом страсти ее минутное смятение? Может быть, и впрямь в тот день, но только в тот день, желание могло взять верх, и только при том условии, что она не была бы королевой, а он не торопился бы уезжать, чтобы открыть шашни бургундских принцесс…

— Словом, если вам придет блажь изменить привычке… — игриво продолжал Робер. — Думая о вас, я всегда испытывал такое чувство, будто остался перед вами в неоплатном долгу.

Внезапно он умолк, встретив взгляд Мортимера, взгляд человека, готового выхватить шпагу, если он услышит еще хоть слово. Королева заметила этот безмолвный поединок взглядов, но не подала виду и, внешне сохраняя спокойствие, погладила белую гриву иноходца. Дорогой Мортимер! Сколько в нем благородства и рыцарства! Как легко, сладко вдыхать воздух Франции и как прекрасна эта дорога, вся пятнистая от тени и солнца!

Робер Артуа насмешливо улыбнулся, но улыбка тут же исчезла в жирных складках его щек. Значит, о том, что он назвал своим долгом, и долгом, по его мнению, весьма деликатным, больше

нечего и думать. Лорд Мортимер любит королеву Изабеллу, королева Изабелла любит лорда Мортимера — это яснее ясного.

Как правило, посторонние замечают любовь раньше, чем сами влюбленные отдают себе в ней отчет. «Ну что ж! — подумал он. — Пусть милая кузина позабавится с этим рыцарем!»

Глава IV
Король Карл

Для того чтобы пересечь город от заставы до дворца Сите, требовалось около четверти часа. Слезы выступили у Изабеллы, когда она соскочила с седла во дворе того жилища, которое на ее глазах возвел отец и на которое уже легла патина времени. Когда она покидала этот дворец, чтобы стать королевой, на камне водосточных желобов еще не было этих черных потеков.

Наверху большой лестницы растворились двери, и у Изабеллы невольно промелькнула мысль о том, что сейчас она увидит властное, холодное, царственное лицо Филиппа Красивого. Сколько раз она смотрела отсюда на отца, стоявшего на верхней ступеньке и собиравшегося отправиться в город!

Молодой человек в коротком камзоле и ладно облегавших ноги штанах, появившийся наверху в сопровождении своих камергеров, ростом и чертами лица, пожалуй, был похож на покойного монарха, но каждое движение отца дышало силой и величием в отличие от его младшего отпрыска. То была всего лишь бледная копия, гипсовая маска, какую снимают с усопших. И тем не менее за этим человеком, лишенным живой души, незримо стояла тень Железного короля, ибо в нем воплощалось все французское королевство и к тому же он был ныне главой семьи. Изабелла три или четыре раза пыталась преклонить колено, но брат всякий раз удерживал ее со словами:

— Добро пожаловать, милая сестра, добро пожаловать.

Подняв Изабеллу чуть ли не силой и держа за руку, он провел ее по галерее в довольно просторный кабинет, свое любимое местопребывание, принялся расспрашивать о путешествии, о том, хороший ли прием оказал ей в Булони комендант порта.

Поинтересовался он также, сумеют ли камергеры проследить за разгрузкой багажа: не дай бог, слуги еще уронят сундуки.

— И платья помнутся, — пояснил он. — Во вре-

мя моей последней поездки в Лангедок сколько мне попортили одежды!

Может быть, лишь для того, чтобы скрыть волнение или неловкость, он в такую минуту занимается подобными пустяками?

Когда они уселись в кабинете, Карл Красивый спросил:

— Итак, как идут ваши дела, дорогая сестра?

— Неважно, брат мой, — ответила она.

— Какова цель вашего приезда?

На лице Изабеллы появилось грустно-удивленное выражение. Как, значит, ее брат не в курсе дела? Робер Артуа, который вошел во дворец вместе с начальниками эскорта и оглушительно звенел шпорами, громко топая по плитам пола, будто был у себя дома, бросил на Изабеллу взгляд, означавший: «Ну, что я вам говорил?»

— Брат мой, я приехала, дабы обсудить с вами договор, который надлежит заключить двум нашим королевствам, если они намереваются не причинять более вреда друг другу.

Карл Красивый на мгновение задумался, как бы размышляя над важным вопросом; на самом же деле он ни о чем не думал. Как и во время аудиенций, которые он давал Мортимеру, он ставил вопросы, но ответов не слушал.

— Договор… — проговорил он наконец. — Да, я готов принять присягу верности от вашего супруга Эдуарда. Вы обсудите этот вопрос с нашим дядей Валуа, которого я уполномочил на переговоры. Хорошо ли вы перенесли морское плавание? А знаете, я никогда не путешествовал по морю. По-моему, оно должно производить огромное впечатление.

Пришлось переждать, пока король изречет еще несколько столь же банальных истин, прежде чем представить ему епископа Нориджа, который должен был вести переговоры, и лорда Кромвеля, командовавшего английским эскортом. Карл любезно приветствовал каждого, но чувствовалось, что не запомнил ни того ни другого. Нельзя сказать, чтобы Карл IV был глупее, чем тысячи других его сверстников, ведь были же в его королевстве пахари, боронившие поля поперек, ткачи, ломавшие челноки ткацких станков, или торговцы смолой и сажей, грубо ошибавшиеся при расчетах; все горе заключалось в том, что он был королем, не имея для этого никаких данных.

— Я приехала, брат мой, еще и для того, чтобы заручиться вашей помощью, — продолжала Изабелла, — и отдать себя под вашу защиту, ибо меня лишили всех моих владений, а недавно отобрали

графство Корнуолл, которое было закреплено за мной в силу брачного договора.

— Изложите ваши претензии нашему дяде Карлу; он хороший советчик, и я заранее одобряю, сестра моя, все, что он решит ради вашего блага. А сейчас я проведу вас в ваши покои.

Карл IV покинул собравшихся, чтобы показать сестре отведенные ей по его распоряжению апартаменты: анфиладу из пяти комнат с особой лестницей.

— Лестница может понадобиться вашей прислуге, — счел нужным он пояснить.

Карл обратил внимание сестры также на то, что мебель обновили и что он лично приказал снести сюда кое-какие вещи, оставшиеся от родителей, и в частности ковчежец, который их мать, Жанна Наваррская, обычно держала около своей кровати и где хранился заключенный в крохотном ящичке в виде собора из позолоченного серебра зуб Людовика Святого… Узорчатые ковры, покрывавшие стены, тоже были новые, и Карл расхвалил их искусную выделку. Вообще он вел себя как рачительная хозяйка: пощупал ткань стеганого одеяла и посоветовал Изабелле не стесняясь требовать углей, сколько понадобится, для того чтобы хорошенько согреть постель.

Вряд ли можно было проявить большее внимание и большую любезность.

— О размещении вашей свиты позаботится мессир Мортимер вместе с моими камергерами. Я хочу, чтобы каждого устроили как можно лучше.

Он произнес имя Мортимера без всякого умысла, просто потому, что, когда речь заходила об английских делах, это имя само всплывало в его памяти. Поэтому ему казалось вполне естественным, что лорд Мортимер возьмет на себя заботу о свите английской королевы. Он совсем забыл о том, что король Эдуард требовал от него голову Мортимера.

Карл расхаживал по апартаментам, то поправляя складки на пологе, то осматривая запоры на ставнях. Внезапно он остановился, заложив руки за спину и слегка склонив голову, и сказал:

— Нам с вами не слишком повезло в браке, сестра моя. Я надеялся, что Господь Бог ниспошлет мне больше счастья с моей дорогой Марией Люксембургской, чем выпало на мою долю с Бланкой…

Он бросил быстрый взгляд на Изабеллу, и она поняла: брат все еще не забыл, что по ее вине беспутное поведение его первой супруги получило такую громкую огласку.

— …но смерть похитила у меня Марию вместе с наследником, которого она носила. А теперь меня женили на нашей кузине д'Эврё; вы ее скоро увидите: славная женщина и, по-моему, сильно любит меня. Но мы повенчались в июле прошлого года, сейчас уже март, а непохоже, чтобы она была беременна. Мне нужно побеседовать с вами о весьма деликатных вещах, о которых можно говорить только с родной сестрой… У вас плохой супруг, который недолюбливает женский пол, и все-таки вы родили от него четверых детей. А я, имея трех жен… Но, поверьте, я исполняю свой супружеский долг достаточно аккуратно и получаю удовольствие. Так в чем же дело, сестра моя? Скажите, верите ли вы или нет в то проклятие, которое, как говорят в народе, тяготеет над нашим родом и нашим домом?

Изабелла грустно смотрела на брата. Сейчас, когда он заговорил о своих сомнениях, которые, должно быть, неотступно терзали его, она невольно растрогалась и пожалела его. Но о своих горестях и бесплодии жены он говорил так же, как говорил бы об этом самый последний его вассал. Чего хочет этот несчастный король? Наследника трона или просто ребенка, чтобы скрасить семейный очаг?

И что было королевского в этой Жанне д'Эврё, которая вскоре пришла приветствовать Изабеллу? Мелкие и незначительные черты лица, покорное выражение; чувствовалось, что она смиренно исполняет свою роль третьей супруги, которую выбрали из числа самых близких родственников, ибо Франции нужна была королева, а европейским дворам, казалось, уже надоело поставлять жен французским монархам. Во всем ее облике сквозила печаль. Она всматривалась в мужа, как бы стараясь и страшась увидеть на его лице следы знакомой ей одержимости, которая, видимо, составляла единственную тему их ночных бесед.

Настоящего короля Изабелла нашла в лице Карла Валуа. Узнав о прибытии своей племянницы, он тотчас же примчался во дворец, крепко сжал ее в своих объятиях и расцеловал в обе щеки. Изабелла сразу почувствовала, что власть находилась в этих руках, и только в этих.

Ужин, на котором, кроме королевской четы, присутствовали графы Валуа и Артуа с супругами, граф Кентский, епископ Норидж и лорд Мортимер, длился недолго. Король Карл Красивый любил ложиться рано. Англичане удалились беседовать в апартаменты королевы Изабеллы.

Когда они покидали ее покои, Мортимер слегка отстал от прочих, и Изабелла задержала его — только на минуту, по ее словам: ей нужно было передать ему послание.

Глава V
Соединенные кровью

Они потеряли счет времени. Хрустальный графин с густым вином, настоянным на розмарине, розовых лепестках и гранате, наполовину опустел; в камине догорали поленья.

Они не слышали даже заунывных криков караульных, каждый час разрывавших ночную тьму. Они все не могли наговориться, особенно королева, которой впервые за много лет не нужно было бояться, что за драпировкой притаился соглядатай, который донесет королю о каждом сказанном ею слове. Да, пожалуй, и раньше она никому так свободно не открывала свою душу; за эти годы она вообще забыла, что такое свобода. И не помнила она также, чтобы хоть раз мужчина слушал ее с таким интересом, отвечал так разумно, так щедро одаривал ее своим вниманием. Впереди у них было еще много дней, много досуга, чтобы беседовать без помех, но оба все никак

не решались прервать разговор и расстаться до следующего дня. На них нашел стих откровения. Они переговорили обо всем: о положении в обоих королевствах, о мирном договоре, о письмах папы, об их общих врагах; Мортимер поведал о своем пребывании в тюрьме, о побеге, о жизни в изгнании, а королева — о своих муках и новых оскорблениях, нанесенных ей Диспенсерами.

Изабелла намеревалась оставаться во Франции до тех пор, пока Эдуард сам не приедет сюда, чтобы принести Карлу IV присягу верности; ей посоветовал так поступить Орлетон, с которым она тайком встретилась по пути из Лондона в Дувр.

— Вам не следует, мадам, возвращаться в Англию раньше, чем будут изгнаны Диспенсеры, — сказал Мортимер. — Вы не можете и не должны этого делать.

— Последнее время они терзали меня с вполне определенной целью: надеялись, что я не выдержу и совершу какое-нибудь безумство, взбунтуюсь, а они тут же обвинят меня в государственной измене и упрячут в отдаленный монастырь или замок, как и вашу супругу.

— Бедная моя Джейн, — проговорил Мортимер. — Сколько ей пришлось перенести из-за

меня страданий!

И он встал, чтобы подбросить в камин новое полено.

— Она была мне настоящей опорой, — продолжала Изабелла. — Именно от нее я узнала, что вы за человек. Часто я клала ее спать рядом, так как боялась, что меня убьют. И она все время говорила мне о вас, только о вас… Я знаю вас лучше, чем вы думаете, лорд Мортимер.

На мгновение оба умолкли, словно ожидая чего-то, как бы стесняясь друг друга. Мортимер склонился к очагу, свет которого освещал подбородок с глубоким изгибом, густые брови.

— Я убеждена, — вновь заговорила королева, — что, не будь войны в Аквитании, не будь письма от папы и этой моей поездки к брату, со мной случилась бы большая беда.

— Я знал, мадам, что иного средства не было. Поверьте, эта война против моей страны доставляла мне мало радости, и если я согласился принять в ней участие, командовать войском и выступить в роли предателя… Ибо стать мятежником, защищая свои права, — это одно, а перейти в армию противника — совсем другое…

До сих пор Аквитанская кампания лежала у него на душе тяжелым грузом, и он испытывал

потребность оправдаться.

— …то лишь потому, что, по глубочайшему моему убеждению, надеяться на ваше освобождение можно было только после поражения короля Эдуарда. И это я, мадам, замыслил вашу поездку во Францию и не покладая рук трудился над тем, чтобы она совершилась и вы оказались здесь.

Мортимер говорил дрожащим от волнения голосом. Изабелла сидела, полузакрыв глаза. Машинально она поправила одну из своих белокурых кос, которые, словно ручки греческой амфоры, обрамляли ее лицо.

— Что это за шрам у вас на губе? — спросила она. — Я раньше как-то не замечала его.

— Награда вашего супруга, мадам, метка, которую он оставил, дабы я запомнил его навсегда; а было это, когда меня, закованного в доспехи, свалили наземь его приверженцы в Шрусбери, где я познал горечь поражения. И тяжелее всего было не то, что я проиграл сражение, рисковал жизнью и был заточен в узилище, а то, что рухнула моя мечта прийти к вам как-нибудь вечером с головой Диспенсера в знак того, что битва, которую я дал ради вас, была как бы моей присягой на верность вам.

Все это не совсем соответствовало истине:

желание сохранить свои владения и власть руководило бароном Валлийской марки, начавшим военные действия, в не меньшей степени, чем желание услужить королеве. Но сейчас Мортимер был искренне убежден, что действовал исключительно ради нее. И Изабелла верила этому; она так жаждала верить в это! Так долго лелеяла надежду, что в один прекрасный день некий рыцарь с оружием в руках будет отстаивать ее права! И вот этот рыцарь здесь, перед нею, она видела его большую худую руку, которая сжимала меч на поле брани, видела шрам на лице, легкий, но неизгладимый шрам от раны, полученной ради нее. Он казался ей героем, сошедшим в черном своем одеянии прямо со страниц рыцарского романа.

— Вы помните, друг Мортимер…

Она опустила слово «лорд», и Мортимер почувствовал такую радость, словно он вышел победителем в битве при Шрусбери.

— …помните лэ о рыцаре Граэленте?

Он нахмурил густые брови. Граэлент?.. Это имя он уже слышал, но не помнил, о чем говорилось в лэ.

— Я прочла это стихотворение в книге Марии Французской, которую у меня отняли, как,

впрочем, и все остальное, — продолжала Изабелла. — Этот Граэлент был столь могучий, столь беззаветно преданный рыцарь и слава его была так велика, что царствовавшая в то время королева влюбилась в него, даже никогда его не видев. А когда он, по зову королевы, предстал перед нею, она обратилась к нему с такими словами: «Друг Граэлент, я никогда не любила своего супруга, но вас я люблю так, как только может любить женщина, и я ваша».

Изабелла дивилась собственной смелости и тому, что ей на память так кстати пришли слова, столь точно выражавшие ее чувства. Ей казалось, что собственный голос все еще продолжает звучать в ее ушах. Взволнованная, полная пламенной тревоги и смущения, ждала она ответа нового Граэлента.

«Уместно ли сейчас сказать ей, что я ее люблю?» — думал Роджер Мортимер, хотя понимал, что говорить ему следовало только о своей любви. Однако бывают такие положения, когда люди, свершающие на поле боя чудеса храбрости, теряются, как дети.

— Любили ли вы когда-нибудь короля Эдуарда? — спросил он в ответ.

И этот вопрос обескуражил обоих, словно они

упустили какой-то неповторимый случай. Неужели уж так необходимо говорить в такую минуту об Эдуарде? Королева слегка выпрямилась в своем кресле.

— Одно время мне казалось, что я его люблю, — проговорила она. — Я силилась принудить себя, я вступила в брак и, как большинство девиц, старалась уверить себя в чувстве к своему будущему супругу, но я быстро узнала цену человеку, с которым меня соединили! И сейчас я его ненавижу, ненавижу самой страшной ненавистью, которая угаснет лишь вместе со мной или с ним. Знаете ли вы, что в течение многих лет я думала, что я сама, мое тело может вызвать в мужчине лишь отвращение и что неприязнь Эдуарда ко мне порождена каким-то моим физическим пороком? И сейчас еще я иногда думаю так. И знаете, друг мой Мортимер, если уж признаваться вам до конца — впрочем, вашей супруге это хорошо известно! — то за пятнадцать лет Эдуард был в моей постели не более двадцати раз и только в дни, которые ему указывали одновременно его астролог и мой лекарь. Во время последних встреч с Эдуардом, когда была зачата наша меньшая дочь, он заставил меня терпеть присутствие Хью-младшего в моей кровати; он сначала ласкал

и целовал его и только потом смог выполнить свой супружеский долг, да еще говоря при этом, что я должна любить Хью, как его самого, ибо они так связаны, что составляют как бы одно целое. Вот тогда-то я пригрозила ему написать обо всем папе.

Мортимер побагровел от ярости. Его честь и его любовь были оскорблены в равной степени. Нет, поистине Эдуард недостоин трона. Придет ли наконец тот день, когда можно будет крикнуть всем его вассалам: «Знаете, кто ваш сюзерен, смотрите, перед кем вы преклоняли колени, кому присягали в верности! Отрекитесь от клятв своих!» И нужно же было случиться, чтобы в мире, где существуют сотни неверных жен, этому человеку досталась супруга столь добродетельная, что она вопреки всему не уронила его чести! Разве не заслужил он того, чтобы она отдалась первому попавшемуся, лишь бы покрыть его позором?.. Но была ли она так уж непогрешимо верна своему долгу? Неудивительно, если, живя в одиночестве и в тоске, она тайком полюбила другого.

— И вы ни разу не принадлежали другому мужчине? — спросил он глухим голосом ревнивца, тем голосом, который так мил женщине и так волнует ее в момент зарождения страсти и кото-

рый так надоедает и бесит в конце связи.

— Ни разу, — ответила она.

— И даже вашему кузену, графу Артуа, который сегодня утром всячески хотел показать, что влюблен в вас?

Она пожала плечами:

— Вы знаете моего кузена Робера: он неразборчив. Королева или нищенка — ему все равно. Как-то очень давно, в Вестминстере, когда я рассказала ему о своем одиночестве, он предложил утешить меня. Вот и все. Впрочем, разве вы не слышали, как он спросил: «Вы по-прежнему все так же целомудренны, кузина?» Нет, любезный Мортимер, сердце мое безнадежно пусто… и оно уже устало от этой пустоты.

— О, мадам! А я так долго не осмеливался сказать, что вы единственная женщина в мире, которая царит в моей душе! — воскликнул Мортимер.

— Правда, милый друг? И в самом деле это так долго?

— Думаю, мадам, что с первого дня, как я вас увидел. Но только в Виндзоре меня словно осенило, когда я заметил, как на глаза ваши навернулись слезы, ибо Эдуард обидел вас. Однако вы были так далеки, и не только потому, что вы

королева, — вас надежнее защищала не корона, а та холодность, с какой вы обычно держались. И потом, рядом с вами находилась леди Джейн; она беспрестанно говорила мне о вас и вместе с тем была препятствием, мешавшим мне приблизиться к вам. Признаюсь вам, что, находясь в заточении, я каждое утро и каждый вечер думал о вас, и первое, что я спросил после побега из Тауэра, было…

— Знаю, друг Роджер, знаю: епископ Орлетон сказал мне об этом. И как я радовалась тогда, что помогла вам бежать, отдав свои сбережения; радовалась не тому, что отдала золото, которое для меня ничто, радовалась тому, что пошла на риск, а риск был большой. После вашего побега мои мучители стали злобствовать еще сильнее…

В порыве благодарности Мортимер низко склонился перед королевой, почти встал на колени.

— А знаете, мадам, — сказал он серьезным тоном, — когда я ступил на землю Франции, я дал обет одеваться в черное до тех пор, пока не вернусь в Англию… и не прикасаться к женщинам, пока не освобожу вас и не увижу вновь.

Он несколько приукрасил данный себе обет и, желая подчеркнуть глубину своего чувства, объединил вместе королеву и королевство. Но в

глазах Изабеллы он все больше и больше походил на Граэлента, Парсифаля, Ланселота…

— И вы сдержали свой обет? — спросила она.

— Как вы могли сомневаться в этом?

Она ответила ему благодарной улыбкой, ласковым взглядом огромных голубых глаз, повлажневших от прилива чувств, и протянула ему руку, хрупкую руку, которая, как птичка, скользнула в ладонь знатного барона. Потом их пальцы пошевелились, сплелись, слились воедино…

— Сожмите мою руку, сожмите сильней, друг мой, — прошептала Изабелла. — Я тоже уже столько времени…

На мгновение она умолкла и затем проговорила:

— Как, по-вашему, имеем ли мы право? Я обещала быть верной моему супругу, каким бы плохим он ни был. А вы? Ведь у вас жена, которую нельзя ни в чем упрекнуть. Мы связали себя брачными узами перед Господом Богом. И потом, я всегда сурово осуждала прегрешения других….

Пыталась ли она этим признанием защититься от себя же самой или хотела, чтобы он взял грех на себя?

При этих словах он поднялся с кресла.

— И вы и я, моя королева, вступили в брак

против своей воли. Да, мы дали клятву, но не мы выбрали себе пару. Мы подчинились воле наших семей, а не велению сердец наших. А такие души, как наши, созданные друг для друга…

На мгновение он заколебался. Любовь, которая боится быть названной открыто, иной раз проявляет себя в самых странных поступках; желание идет к своей цели самым извилистым путем. Мортимер стоял перед Изабеллой, и они по-прежнему держали друг друга за руки.

— Хотите, моя королева, побрататься? — спросил он. — Согласны ли вы скрепить союз наших сердец кровью в знак того, что я навсегда стану вашей опорой, а вы — навсегда моей дамой?

Голос Мортимера дрогнул от внезапно охватившего его волнения, и трепет его передался королеве. Ибо то, что предлагал он, заключало в себе одновременно и колдовство, и страсть, и веру — некую смесь божественного и сатанинского, рыцарских обрядов и плотского наслаждения, слитых воедино. Речь шла о кровных узах, существовавших между соратниками и легендарными влюбленными, этот обычай тамплиеры принесли с Востока, из Крестовых походов; это были также и любовные узы, объединявшие несчастливую в браке жену с избранным ею возлюбленным,

причем сам обряд свершался иногда в присутствии мужа, при условии, что любовь останется целомудренной… или, по крайней мере, будет считаться таковой. Это была клятва плоти, более сильная, нежели клятва словесная; ее нельзя было нарушить, взять обратно или расторгнуть. Два человека, принесшие ее, тем самым считались связанными теснее, чем близнецы, вышедшие из одного чрева: то, чем владел каждый из них, становилось достоянием другого, они обязаны были защищать друг друга от всех бед и не имели права пережить один другого. «Они, видно, побратимы»[68] — так говорили шепотом о некоторых парах, трепеща от страха и зависти.

— И я смогу тогда просить вас о чем угодно? — едва слышно промолвила Изабелла.

---

[68] Примечания: 68

Братание посредством смешивания крови, практиковавшееся с глубочайшей древности, с эпохи так называемого первобытного строя, еще было в ходу в конце Средних веков. Оно существовало в исламе, наблюдалось и среди дворянства Аквитании, быть может, по традиции, оставленной от мавров. Его следы попадаются в некоторых показаниях процесса тамплиеров. Похоже, что этот обычай сохранился как средство против колдовства и в некоторых цыганских племенах. Братание могло скрепить заключение дружбы, компаньонаж или узы любви — не только духовной. Самые известные союзы такого рода, описанные в средневековой рыцарской литературе, были заключены Жираром Руссильонским и дочерью императора Византии (в присутствии их будущих супругов), рыцарем Говеном, графиней де Ди, знаменитым Персивалем.

Вместо ответа он прикрыл веками свои серые глаза.

— Я весь ваш, — добавил он, помолчав. — Вы можете потребовать от меня все, что угодно. Сами же вы можете одаривать меня тем, чем сочтете нужным. Любовь моя будет такой, какой вы пожелаете. Я могу нагой лежать рядом с вами, обнаженной, и не прикоснусь к вам, если вы мне запретите.

На самом же деле их желания были совсем иные, но они, следуя установленной традиции, как бы выполняли торжественный ритуал. Влюбленный обязывался доказать свою душевную твердость и глубину своего уважения. Он соглашался пройти через это галантное испытание, срок коего определяла дама; от нее зависело, будет ли оно длиться бесконечно, или от этого откажутся сразу. Рыцарь, перед тем как надеть доспехи, всю ночь молился и клялся защищать вдов и сирот, а нацепив шпоры и отправившись на войну, сразу же начинал грабить, насиловать и жечь, своим мечом превращая сотни женщин во вдов, а детей в сирот!

— Вы согласны, моя королева? — спросил он.

Изабелла в свою очередь ответила ему легким движением век. Ни он, ни она никогда не совер-

шали и даже не видели обряда побратимства и вынуждены были поэтому измышлять свою собственную церемонию.

— Из пальца, лба или сердца? — спросил Мортимер.

Можно было проколоть себе палец, по капле собрать кровь в чашу, смешать ее и выпить вместе. Можно было сделать надрез на лбу, там, где начинают расти волосы, и, прижавшись друг к другу головами, обменяться мыслями.

— Из сердца, — ответила Изабелла.

Он жаждал именно такого ответа.

Ночную тишину прорезал крик петуха, раздавшийся где-то совсем недалеко. Изабелла подумала, что занимающийся день будет первым днем весны. Роджер Мортимер расстегнул камзол, сбросил его на пол, сорвал с себя рубашку и предстал перед Изабеллой с обнаженной, выпуклой грудью.

Королева расшнуровала корсаж, легким движением плеч сбросила его, открыв изящные белые руки и грудь — два розовых плода, грудь, которую не изуродовало четырехкратное материнство; в жесте ее чувствовались гордость, решимость и вызов.

Мортимер вынул из-за пояса кинжал, Изабелла

вытащила длинную булавку с жемчужиной на конце, которой были заколоты ее косы, и они, эти ручки античной амфоры, мягко упали ей на плечи. Глядя прямо в глаза королеве, Мортимер решительным движением рассек себе кожу, и между русыми волосами, курчавившимися на груди, побежала тонкая алая струйка. Изабелла таким же решительным жестом уколола себя булавкой под левую грудь, и оттуда, словно сок из спелого плода, закапала кровь. Скорее от страха перед болью, нежели от самой боли у нее чуть дрогнули уголки губ. Затем они подошли ближе друг к другу. Приподнявшись на цыпочки, Изабелла прижалась грудью к могучему мужскому торсу так, что обе их раны слились в одну. Каждый остро ощущал близость чужого тела, к которому прикасался впервые, и теплоту крови, принадлежавшей отныне им обоим.

— Друг, — сказала она, — возьмите мое сердце, а я возьму ваше, ибо я живу только им.

— Я возьму его, дорогая, пусть оно бьется в груди вместо моего, — ответил он.

Они не могли оторваться друг от друга, затянув до бесконечности этот ни на что не похожий поцелуй, где вместо губ соприкасались раны. Их сердца бились в унисон, бились неистово, без-

удержно, и каждый удар сердца отдавался в груди другого. После трех лет целомудренной жизни Мортимера и пятнадцати лет, которые провела Изабелла в ожидании любви, комната поплыла перед их глазами.

— Обними меня крепче, друг, — прошептала она.

Ее уста приблизились к белому шраму, рассекавшему губу Мортимера, и рот с мелкими, как у зверька, зубами приоткрылся, словно готовясь укусить.

Английский бунтовщик, бежавший из Тауэра, могучий сеньор Валлийской марки, бывший наместник Ирландии, лорд Мортимер, барон Уигмор, ставший два часа назад любовником королевы Изабеллы, не помня себя от гордости и счастья, весь во власти грез, спустился по особой лестнице, предназначенной для прислуги.

Королеве не спалось. Может быть, позже ее и сморит усталость, но сейчас она была ослеплена, ошеломлена, как будто в ней продолжала бешено вращаться некая комета. Растерянно и благодарно смотрела она на измятую, опустевшую постель и упивалась внезапно открывшимся ей, неведомым ранее счастьем. Чтобы сдержать крик счастья, ей — кто бы поверил? — пришлось

впиться зубами в плечо мужчины. Раскрыв разрисованные ставни, она стояла у окна. Сквозь утреннюю дымку над Парижем подымалась волшебная заря. Неужели Изабелла прибыла сюда только вчера вечером? Да и существовала ли она до этой ночи? Неужели это был тот самый город, где протекло ее детство? На ее глазах рождался новый мир.

Под стенами дворца текли серые воды Сены, а на другом берегу возвышалась старая Нельская башня. Вдруг Изабелла вспомнила свою невестку Маргариту Бургундскую. Ее охватил ужас. «Что я наделала тогда! — подумала она. — Что я наделала!.. Если бы я только знала!»

Все влюбленные женщины с первого дня сотворения мира и женщины, живущие сейчас в любом уголке земли, казались ей сестрами, избранными созданиями. А покойная Маргарита, которая крикнула ей после суда в Мобюиссоне: «Я познала такое наслаждение, перед которым ничто все короны мира, и я ни о чем не жалею!» Сколько раз Изабелла вспоминала этот крик, не понимая его смысла. А в это утро, в утро новой весны, она наконец поняла его, познав силу мужской любви, радость отдавать себя всю и получать взамен все. «Сегодня я бы не выдала ее

ни за что на свете!» И то, что она раньше считала со своей стороны проявлением царственной справедливости, вызывало теперь у нее стыд и угрызения совести, словно это был единственный грех, который она совершила за всю свою жизнь.

Глава VI
Этот благодатный год, год 1325-й

Весна 1325 года стала для королевы Изабеллы порой очарования. Ее восхищало утреннее солнце, игравшее на крышах домов; в садах щебетало множество птиц; колокола всех церквей, всех монастырей и даже большой колокол собора Парижской Богоматери, казалось, отбивали часы счастья. Звездные ночи были полны благоухания сирени.

Каждый день приносил свою долю удовольствий: состязания на копьях, турниры, загородные прогулки, охота. Благополучием дышал даже столичный воздух, разжигая вкус к развлечениям. На публичные увеселения щедро отпускались средства, хотя бюджет казны за предыдущий год был сведен с дефицитом в тринадцать тысяч шестьсот ливров, причиной чему, по всеобщему мнению, была Аквитанская кампания. Для того

чтобы пополнить казну, епископов Руана, Лангра и Лизье обложили штрафом в размере, соответственно, двенадцати, пятнадцати и пятидесяти тысяч ливров за насилия, учиненные ими в отношении членов их капитулов и слуг короля; итак, эти излишне властолюбивые прелаты покрыли расходы на войну. А кроме того, ломбардцев еще раз принудили раскошелиться и заплатить за право заниматься своим ремеслом.

Так оплачивалась роскошь двора, и все жадно тянулись к развлечениям ради удовольствия покрасоваться перед другими. И все, начиная со знати, а за ней горожане и даже простой люд, стремясь скрасить жизнь, тратили чуть больше того, чем позволяли средства. Бывают порой такие годы, когда словно сама судьба улыбается, наступает передышка, отдых от тягот повседневной жизни… Продают и покупают вещи, которые принято называть излишней роскошью, как будто может быть излишним стремление наряжаться, обольщать, одерживать победы, предаваться любви, вкушать редкостные блюда — плод человеческой изобретательности, пользоваться всем тем, что Провидение и природа дали человеку, дабы мог он вволю насладиться своим исключительным положением во вселенной.

Многие, конечно, жаловались, но не на то, что они жили в нужде, а на то, что не могли удовлетворить всех своих желаний. Жаловались на то, что не столь богаты, как первые богачи, и не имеют столько, сколько имеют те, у кого есть буквально все. Погода стояла на редкость ясная, торговля процветала, как никогда. От Крестового похода отказались; не было больше разговоров об увеличении войска или о снижении курса ливра до аньеля. Малый совет занимался вопросом о сохранении рыбных богатств в реках, а на берегах Сены, усевшись рядком, грелись на майском солнце рыболовы с удочками.

Даже воздух в эту весну был напоен любовью. Уже давно не справляли столько свадеб, никогда еще не появлялось на свет столько внебрачных детей. Девушки были сметливы и податливы, юноши предприимчивы и хвастливы. Как ни старались чужестранцы, им все равно не удавалось объять всех чудес столицы Франции, отведать всех вин, подаваемых в харчевнях, а ночи были слишком коротки для того, чтобы испытать все удовольствия, которые предлагал Париж.

О, еще долго будут вспоминать эту весну. Разумеется, люди болели, оплакивали умерших, матери провожали на кладбище своих младенцев,

были парализованные, были обманутые мужья, поносившие легкость нравов, были ограбленные лавочники, обвинявшие стражу в том, что она плохо несет караул; люди слишком жадные или чересчур беззаботные разорялись, пожары лишали семьи очага; случались и преступления, но все это было, так сказать, неизбежными бедами в жизни, и повинны в них не были ни король, ни его Совет.

В действительности же это благоденствие было плодом счастливого и мимолетного стечения обстоятельств, и пользовались им все те, кому довелось жить в 1325 году, быть молодым или зрелым или просто-напросто обладать здоровьем. И было непростительной глупостью не оценить этого благодеяния и не возблагодарить Господа за то, что Он ниспослал его вам. Парижане еще полнее предавались бы наслаждениям этой весны 1325 года, если бы знали, как придется им прожить остаток дней своих! Вряд ли кто-нибудь поверил бы, даже дети, зачатые в эти чудесные месяцы в благоухавших лавандой постелях, не поверили бы этой сказке, если бы им ее рассказали. Тысяча триста двадцать пятый! Чудесный год, но как мало требовалось времени, чтобы о нем осталось лишь воспоминание как о «счастливом

времени».

Ну а королева Изабелла? Королева Англии словно воплощала в себе все женское очарование и все радости жизни. Ее провожали взглядом не только потому, что она была английской королевой, не только потому, что она была дочерью великого короля, о чьих финансовых эдиктах, кострах и наводящих ужас процессах уже забыли, но зато помнили об указах, принесших королевству мир и мощь, — ее провожали взглядом потому, что она была прекрасна и казалась преисполненной счастья.

В народе говорили, что ей больше подошла бы корона, чем ее брату Карлу Красавчику, весьма любезному государю, но слишком недалекому, и люди спрашивали себя: так ли уж хорош был закон, принятый Филиппом Длинным, лишивший женщин права престолонаследия? Ну и глупцы, должно быть, эти англичане, если они причиняют неприятности такой славной королеве!

В свои тридцать три года Изабелла была столь ослепительно хороша, что ни одна даже самая юная дева не могла соперничать с нею. Самых прославленных красавиц Франции затмевало одно присутствие Изабеллы. И все французские кокетки мечтали походить на нее: шили такие

же платья, подражали ее жестам, ее взглядам и улыбке, так же укладывали косы.

Влюбленную женщину легко угадать по походке даже со спины; плечи, бедра, поступь Изабеллы — все выражало счастье. Ее почти всегда сопровождал лорд Мортимер, который сразу же после прибытия королевы завоевал сердца парижан. Люди, которые еще в прошлом году считали его чересчур хмурым, надменным и слишком гордым для изгнанника, которые даже в его добродетели усматривали молчаливый упрек, те же самые люди вдруг обнаружили в Мортимере редкий характер, необыкновенное обаяние — словом, человека, достойного всяческого восхищения. Его черный наряд, украшенный лишь несколькими серебряными пряжками, перестал казаться зловещим — просто человек упорно носит траур по своей утраченной родине.

Хотя Мортимер и не занимал никаких должностей при дворе английской королевы, ибо это было бы слишком явным вызовом по отношению к королю Эдуарду, на самом деле именно он руководил переговорами. Епископ Норидж находился под его влиянием; Джон Кромвель при всяком удобном случае заявлял, что с бароном Уигмором обошлись несправедливо и что

со стороны английского короля было безумием оттолкнуть от себя столь выдающегося человека; граф Кентский окончательно проникся к Мортимеру дружескими чувствами и ничего не решал, не посоветовавшись с ним. Да и из самой Англии до Мортимера доходили вести, свидетельствующие о том, что его считают подлинным вождем партии, борющейся против Диспенсеров.

Все знали и считали вполне естественным, что лорд Мортимер после ужина остается у королевы, которая, по ее собственным словам, держала с ним совет. Каждую ночь, выходя из апартаментов Изабеллы, он будил Огла, бывшего брадобрея Тауэра, ставшего ныне его камердинером, который в ожидании хозяина дремал на сундуке. Они переступали прямо через слуг, спавших в коридорах на каменных плитах, но те настолько привыкли к их шагам, что даже не открывали глаз, чтобы взглянуть на ночных гостей.

Мортимер возвращался в свое жилище в Сен-Жермен-де-Пре, где его встречал светловолосый, розовощекий и предупредительный Элспей, которого он считал — о святая наивность влюбленных! — единственным человеком, посвященным в тайну его связи с королевой. На обратном пути он шагал как победитель, вдыхая свежий пред-

рассветный воздух.

Было решено, что королева вернется в Англию только тогда, когда сможет вернуться и он сам. Связь между ними, скрепленная клятвой, с каждым днем, с каждой ночью становилась все теснее и крепче, а маленький белый след на груди Изабеллы, к которому Мортимер, как бы совершая обряд, прикасался перед разлукой губами, был наглядным свидетельством того, что отныне они вверили друг другу свои судьбы.

Пусть женщина даже королева, любовник всегда будет ее повелителем; Изабелла Английская, способная одна, без поддержки, противостоять семейным неурядицам, изменам короля и ненависти двора, начинала трепетать, когда Мортимер клал руку ей на плечо, у нее падало сердце, когда он выходил из ее опочивальни, и она ставила свечи в церквях, дабы возблагодарить Бога за то, что Он послал ей такой чудесный грех. Если Мортимер отсутствовал хотя бы час, она мысленно усаживала его в самое удобное кресло и тихонько беседовала с ним. Каждое утро, прежде чем кликнуть своих придворных дам, она хоть на минуту занимала то место в кровати, которое покинул ее любовник. Одна матрона поведала ей кое-какие секреты, весьма полезные

для дам, искавших удовольствия вне брака. При дворе сплетничали о связи королевы с Мортимером, но никто не видел в том ничего худого, ибо то, что Изабелла была от любви на седьмом небе, казалось всем справедливым возмещением за все ее муки.

Предварительные переговоры затянулись, и только 31 мая между Изабеллой и ее братом — причем Эдуард согласился на это скрепя сердце — был наконец подписан договор, по которому Англия сохраняла свой Аквитанский домен, но без Ажене и Базаде, то есть областей, занятых французской армией в предыдущем году; кроме того, английский король должен был выплатить шестьдесят тысяч ливров… Тут Валуа наотрез отказался идти даже на малейшие уступки. Понадобилось посредничество папы, для того чтобы прийти к соглашению, которое, как непременное условие, предусматривало приезд Эдуарда во Францию, где он должен был принести присягу верности; однако это ничуть ему не улыбалось не только по соображениям престижа, но и по соображениям личной безопасности. В конце концов решили прибегнуть к уловке, которая, по-видимому, удовлетворяла всех. Было условлено, что для принесения присяги будет назначен определен-

ный день, но затем, в последнюю минуту, Эдуард скажется больным, что, впрочем, вряд ли будет ложью, ибо, как только речь заходила о его поездке во Францию, на него нападал странный недуг: он тревожился, бледнел, начинал задыхаться, прислушивался к учащенному биению сердца и часами лежал, тяжело дыша. Король передаст своему старшему сыну, юному принцу Эдуарду, титул и владения герцога Аквитанского и пошлет его вместо себя для принесения присяги.

Каждый считал, что выигрывает от этой комбинации. Эдуард избавлялся от необходимости совершить путешествие, при одной мысли о котором его охватывал страх, Диспенсеры могли не бояться утратить свое влияние на короля. Королева вновь соединялась со своим горячо любимым сыном, в разлуке с которым она, несмотря на свое увлечение, очень страдала. Мортимер понимал, как выгодно для его будущих планов присутствие наследного принца среди сторонников королевы.

А сторонников ее собиралось во Франции все больше и больше. Эдуард только дивился тому, что многим его баронам в конце весны вдруг понадобилось посетить свои французские владения, и он сильно обеспокоился, узнав, что ни

один из них не вернулся назад. Со своей стороны, Диспенсеры держали в Париже с десяток соглядатаев, доносивших Эдуарду о поведении графа Кентского, о близости Мальтраверса с Мортимером, о той оппозиции, что группировалась при французском дворе вокруг королевы. Официально переписка между двумя супругами велась в весьма учтивом тоне, и, объясняя в пространных посланиях причины затяжки переговоров, Изабелла называла Эдуарда «нежно любимый». Но Эдуард отдал приказ адмиралам и шерифам портов перехватывать, невзирая на лица, всех посланцев, всех гонцов с письмами королевы, епископа Нориджа или любого лица из их окружения. Этих посланцев должны были доставлять королю под надежной охраной. Но разве можно было перехватить всех ломбардцев, перевозивших заемные письма из одной страны в другую?

Однажды, когда Мортимер прогуливался в Париже по кварталу Тампль в сопровождении лишь Элспея и Огла, его едва не убило каменной глыбой, свалившейся со строившегося здания. Он спасся только потому, что глыба, падая, с грохотом ударилась о балку строительных лесов. Он счел это обычным уличным происшествием, но тремя днями позже, когда он выезжал от Робера Артуа,

перед самой мордой его лошади упала огромная лестница. Мортимер решил потолковать об этом с Толомеи, знавшим лучше, чем кто-либо другой, тайную жизнь Парижа. Сиенец вызвал одного из руководителей братства каменщиков Тампля, которые, несмотря на роспуск ордена, сохранили свои льготы. И покушения на Мортимера прекратились. Более того, теперь, едва завидев одетого в черное английского сеньора, каменщики, сняв шапки, почтительно приветствовали его с высоты лесов. Тем не менее Мортимер взял за правило выходить только с усиленным эскортом и, боясь отравы, заставлял проверять свое вино рогом нарвала. Нищих, живших на подачки Робера Артуа, просили следить за всем происходившим на улицах и прислушиваться к разговорам. Угроза, нависшая над Мортимером, только усилила любовь, которую питала к нему королева Изабелла.

Но вот внезапно в начале августа, незадолго до срока, намечаемого для принесения присяги англичанами, его высочество Валуа, так твердо забравший власть в свои руки, что его обычно называли вторым королем, в возрасте пятидесяти пяти лет был сражен нежданным недугом.

Уже в течение нескольких недель он находился в гневливом состоянии и раздражался по

любому пустяку; особенно же сильную ярость, перепугавшую всех его близких, вызвало неожиданное предложение короля Эдуарда поженить их самых младших детей — Людовика Валуа и Иоанну Английскую, которым было около семи лет. Возможно, Эдуард понял, правда с запозданием, что совершил оплошность, отказавшись два года назад женить своего старшего сына на дочке Валуа, а возможно, он рассчитывал таким путем втянуть своего будущего свата в игру и отторгнуть его от партии королевы. Во всяком случае, его высочество Карл принял это предложение самым удивительным образом: расценив шаг Эдуарда как вторичное оскорбление, он впал в такое неистовство, что перебил все, что попалось под руки, а это было не в его привычках. В лихорадочном возбуждении вершил он государственные дела: то его выводила из себя медлительность, с какой парламент принимал решения, то он затевал спор с Милем де Нуайе по поводу отчетов, представляемых счетной палатой, и тут же начинал жаловаться, что устал от всех своих обязанностей.

Однажды утром, когда он заседал в Совете и собирался подписать какую-то бумагу, гусиное перо вдруг выскользнуло у него из рук и, падая,

забрызгало чернилами голубой камзол. Он наклонился, словно намереваясь поднять упавшее перо, но не смог распрямиться — рука его с побелевшими, словно мраморными, пальцами безжизненно повисла вдоль тела. Его поразила внезапно воцарившаяся тишина; он так и не понял, что упал с кресла.

Когда его подняли, он был без сознания, неподвижные глаза закатились, словно он неотрывно глядел куда-то влево, рот перекосился. Лицо его побагровело, стало почти лиловым. Спешно послали за лекарем, который, явившись, отворил больному кровь. Так же как и его брата, Филиппа Красивого, одиннадцать лет назад, недуг поразил его мозг, расстроив таинственный механизм, управляющий волей. Решили, что он умирает; его перевезли домой, и многочисленные домочадцы, проживавшие у него в особняке, уже оплакивали потерю.

Однако после нескольких дней, в течение которых лишь слабое дыхание свидетельствовало, что он еще жив, состояние больного, казалось, начало улучшаться. К нему вернулась речь; правда, говорил он неуверенно и невнятно, запинаясь на некоторых словах. Куда девались его многословие и ораторский пыл! Правая нога и рука, выпустив-

шая гусиное перо, не повиновались ему.

Неподвижно сидя в кресле, задыхаясь под грудой одеял, в которые его почему-то кутали, бывший король Арагона, бывший император Константинопольский, граф Романьский, пэр Франции, неизменный кандидат на престол Священной Римской империи, покоритель Флоренции, победитель Аквитании, вдохновитель Крестовых походов вдруг осознал, что все почести, которых только может добиться человек, теряют смысл, когда одолевает немощь. Карл Валуа, с детства стремившийся к приобретению мирских благ, открыл внезапно в себе иные желания. Он потребовал, чтобы его перевезли в замок Перрей, вблизи Рамбулье, хотя раньше даже не заглядывал в это свое владение; теперь этот замок вдруг стал ему дорог, ибо в силу необъяснимой логики больных он решил, что именно там сможет найти исцеление.

Мысль о том, что его поразил тот же недуг, который свел в могилу старшего брата, неотступно преследовала этого человека, чей ум, утратив прежнюю живость, все же сохранял ясность. В своих былых деяниях искал он причину той кары, что ниспослал ему Всевышний. Лишившись сил, он стал набожным. Он думал о Страшном

суде. Однако гордецам ничего не стоит убедить себя в том, что их совесть чиста; так и Валуа не нашел в прошлом ни единого деяния, в каком мог бы упрекнуть себя. Во время всевозможных кампаний, отдавая приказы о грабежах и избиениях, облагая непосильной данью завоеванные или освобожденные провинции, он, по твердому своему убеждению, действовал правильно, в соответствии со своими правами военачальника и наместника короля. Одно лишь воспоминание вызывало у него угрызение совести, один лишь совершенный им поступок, по его мнению, стал причиной обрушившейся на него кары, одно имя терзало его, когда он мысленно прослеживал всю свою жизнь, — имя Мариньи. Ибо никогда и ни к кому не испытывал он ненависти, кроме как к Мариньи. В отношении всех прочих людей, с которыми он обошелся грубо, подверг наказанию, пыткам или отправил на тот свет, он действовал в убеждении, что трудится для общего блага, которое уже давно разучился отделять от своих личных честолюбивых устремлений. А вот Мариньи он ненавидел лютой ненавистью, как может только ненавидеть человек человека. Он сознательно лгал, выдвигая против Мариньи обвинения; он давал сам и заставил других давать

ложные показания против этого человека. Он не останавливался ни перед подлостью, ни перед низостью, лишь бы отправить бывшего первого министра, коадъютора и правителя королевства, человека, которому в то время было меньше лет, чем сейчас ему самому, на монфоконскую виселицу. Его толкнула на это лишь жажда мести, злоба при мысли о том, что кто-то другой более могуществен во Франции, чем он, Валуа.

И вот теперь, сидя во дворе своего замка Перрей, наблюдая за полетом птиц и глядя на то, как конюшие выводят прекрасных лошадей, на которых ему уже больше никогда не ездить верхом, Валуа почувствовал любовь — это слово поразило его самого, но более подходящего не существовало! — почувствовал любовь к Мариньи, полюбил память о нем. Как ему хотелось, чтоб его враг был еще жив, они бы тогда помирились, поговорили о том, что знали и пережили вместе, о всех тех делах, по которым они так яростно спорили друг с другом. Он сильнее тосковал по бывшему своему сопернику, чем по старшему брату Филиппу Красивому, по брату Людовику д'Эврё и даже по двум первым женам; порой, когда Карл думал, что он один, он вслух беседовал с покойным, и проходившие мимо слышали отрывки его разговора.

Каждый день он отправлял одного из своих камергеров с кошелем, набитым монетами, раздавать милостыню бедному люду какого-нибудь парижского квартала, и так приход за приходом, камергеры Валуа, опуская монету в чью-нибудь грязную ладонь, говорили по его приказанию нищим: «Молитесь, люди добрые, молитесь за его светлость Ангеррана де Мариньи и за его высочество Карла Валуа». Ему казалось, что, если имя его будут произносить вслед за именем его жертвы, вознесут о них обоих одну молитву, он заслужит милосердие небес. И жители Парижа дивились, что всемогущий, блистательный сеньор Валуа приказывал называть свое имя вслед за именем того, кого он не так давно объявил виновником всех бед королевства и велел вздернуть на виселице.

Власть в Совете перешла к Роберу Артуа, который из-за болезни своего тестя неожиданно выдвинулся на первый план. Гигант то и дело во весь опор скакал в Перрей в сопровождении Филиппа Валуа, для того чтобы испросить совета больного по тому или иному вопросу. Ибо все, и в первую очередь Артуа, вдруг убедились, что там, наверху, где решались государственные дела, внезапно образовалась пустота. Безусловно, его

высочество Валуа считали, и не без основания, путаником, зачастую решавшим государственные вопросы с налету и руководствовавшимся в делах скорее минутным настроением, нежели государственной мудростью, однако, потершись по всем дворам, странствуя из Парижа в Испанию и из Испании в Неаполь, защищая интересы Святого престола в Тоскане, участвуя во всех фландрских кампаниях, плетя интриги с целью захватить престол Священной империи и заседая в течение тридцати лет в Совете при четырех французских королях, Карл Валуа привык связывать интересы королевства с общеевропейскими делами. Это делалось как-то само собою, даже без участия его воли.

Робер Артуа, большой знаток старинных обычаев и судопроизводства, отнюдь не обладал столь широким кругозором. Вот почему о графе Валуа говорили, что он был «последним», хотя вряд ли могли объяснить, что именно подразумевалось под этим словом, — разве что он был последним представителем великой плеяды правителей, которой суждено было кончиться вместе с ним.

Король Карл Красивый, безразличный ко всему на свете, разъезжал между Орлеаном, Сен-Мексаном и Шатонеф-сюр-Луар, по-прежнему ожидая,

когда же наконец его третья супруга сообщит ему радостную весть о том, что ждет ребенка.

Королева Изабелла стала, таким образом, хозяйкой парижского дворца, где образовался как бы второй английский двор.

Срок принесения присяги был назначен на 30 августа. В последнюю неделю месяца Эдуард II отправился в путь, но, достигнув аббатства Сендаун вблизи Дувра, сделал вид, что занемог. Епископа Уинчестерского послали в Париж, дабы в случае необходимости он клятвенно засвидетельствовал (чего от него не потребовали), что король действительно заболел, и предложил заменить отца сыном, причем подразумевалось, что принц Эдуард, став герцогом Аквитанским и графом Понтье, привезет с собою обещанные шестьдесят тысяч ливров.

16 сентября юный принц прибыл, но вместе с ним прибыли епископ Оксфордский и, что было особенно знаменательно, Уолтер Степлдон, епископ Эксетерский, лорд-казначей, — один из самых деятельных и самых ярых сторонников партии Диспенсера, а также самый ловкий, самый хитроумный человек из всех приближенных короля Эдуарда, вызывавший всеобщую ненависть. Остановив на нем свой выбор, Эдуард

тем самым подчеркнул свое желание не менять проводившейся до сих пор политики, а также свое недоверие к тому, что замышлялось в Париже. Итак, епископу Эксетерскому была поручена более важная миссия, чем просто сопровождать наследного принца.

В тот же день и почти в ту самую минуту, когда королева Изабелла обнимала своего вновь обретенного сына, прошел слух, будто болезнь его высочества Валуа приняла худой оборот и с часу на час надо ждать, что Бог призовет его к себе. Тотчас же вся семья, высокопоставленные сановники, находившиеся в Париже бароны, посланцы английского короля — все поспешили в Перрей, за исключением безразличного ко всему Карла Красивого, наблюдавшего за перестройкой внутренних покоев Венсеннского замка, которой руководил зодчий Пэнфети.

А для народа Франции продолжался благодатный 1325 год.

Глава VII
Любой умирающий государь...

Тех, кто не видел Карла Валуа в последние недели, поражали происшедшие в нем переме-

ны. Все привыкли, что в торжественные дни он появлялся в короне, сверкавшей драгоценными камнями, либо в капюшоне из расшитого бархата с ниспадавшим на плечо огромным зубчатым гребнем, либо в домашней шапочке с золотым ободком. Впервые он предстал перед посторонними с непокрытой головой; его белокурые с сединой волосы словно полиняли, крутые локоны развились и, безжизненными прядями свисая вдоль лица, падали на подушки. Худоба этого еще недавно дородного, пышущего здоровьем мужчины производила страшное впечатление, но даже не это было самым страшным, а искривленная, застывшая половина лица, слегка перекошенный мокрый рот, уголки которого то и дело вытирал слуга, а главное, этот неподвижный, гаснущий взгляд. Расшитые золотом одеяла и усеянный лилиями голубой полог над изголовьем ложа лишь подчеркивали немощь умирающего.

Сам Карл Валуа, прежде чем принять всех этих посетителей, толпившихся в опочивальне, потребовал зеркало и с минуту изучал свое лицо, лицо человека, который всего два месяца назад повелевал народами и королями. Что теперь ему слава и власть, связанные с его именем? Куда делось честолюбие, которое так долго было его

основной движущей силой? И чего стоила теперь радость шествовать с гордо поднятой головой среди склоненных голов, если на днях в его голове все помутилось, все смешалось? Его рука — рука, к которой подобострастно бросались слуги, конюшие и вассалы, чтобы облобызать ее, теперь безжизненно лежала вдоль тела. Другая рука, которая еще повиновалась и которая через несколько минут должна была в последний раз послужить ему, чтобы подписать завещание — он как раз собирался диктовать его, — если, конечно, удастся вывести буквы левой рукой! — эта рука принадлежала ему не больше, чем резная печать, та, какой он скреплял указы, и печать эту аккуратно вынут из его пальцев, как только он испустит дух. Значит, ему уже ничего больше не принадлежало?

Правая его нога недвижима, словно ее уже нет. Временами в груди появлялось ощущение бездонной пустоты.

Человек — это некое единство мысли и плоти, воздействующее на других людей и преобразующее мир. И вдруг единство это нарушается, распадается — и что тогда человеку мир и все прочие люди? В эти минуты для его высочества Валуа титулы, земли, короны, королевства, госу-

дарственные дела и его собственная власть над живыми уже не значили ничего. Эмблемы его рода, состояние, даже собравшиеся вокруг него собственные отпрыски уже утратили всякую ценность в его потухших глазах. Лишь сентябрьский воздух и зеленая, кое-где тронутая желтизной листва деревьев, которые он видел сквозь распахнутые окна, еще что-то для него значили, а особенно воздух — воздух, который он вдыхал с трудом и который тут же поглощала без остатка бездна, открывшаяся в его груди. До тех пор пока он будет чувствовать, как воздух вливается в его грудь, до тех пор мир будет существовать и он сам будет средоточием этого мира, но средоточием неверным, тленным, подобным язычку пламени гаснущей свечи. Затем все исчезнет, вернее, все останется, но погрузится в бездонный мрак и ужасающую тишину, как храм, когда потухнет в нем последняя свеча.

Валуа вспоминал кончины великих представителей их рода. В его ушах вновь прозвучали слова Филиппа Красивого: «Вот она, тщета мира! Вот он, король Франции!» Вспомнил слова племянника, Филиппа Длинного: «Смотрите, вот ваш верховный суверен, самый несчастный человек во всем своем королевстве, ибо не найдется ни

одного среди вас, с которым я не поменялся бы своей участью!» Тогда он слушал эти слова, не понимая их смысла; так вот, оказывается, что испытывали государи их рода, сходя в могилу. Нет иных слов, чтобы выразить эти чувства, но те, кому еще суждено было жить, не могут их понять. Каждый умирающий — самый несчастный человек на свете.

А когда все погаснет, растворится, исчезнет, когда храм наполнится мраком? Что обнаружит этот самый несчастный человек по ту сторону? Обнаружит ли то, чему его учило Священное Писание? Но ведь само оно было бесконечным и мучительным блужданием в потемках. Предстанет ли он перед судилищем, каков будет лик его судьи? И какой мерой измерится все содеянное им при жизни? И как карать того, кого нет больше? Кара… Какая кара? Быть может, кара заключается в том, что у человека в тот миг, когда он пересекает границу вечного мрака, сохраняется ясность мысли?

Ангерран де Мариньи — Карл Валуа никак не мог не думать об Ангерране, — Мариньи тоже умирал с ясным рассудком, тем более ясным, что он был полон здоровья и силы и уходил из жизни не потому, что вдруг разладился таинственный

механизм живого существа, а потому, что этого захотели другие. Он горел не как жалкий огарок, он горел мощным, ярким пламенем, которое задули внезапно.

Те же маршалы, сановники и высшие должностные лица, которые сопровождали Мариньи до самой виселицы, теперь собрались тут, вокруг ложа Валуа, заполнили всю опочивальню и соседние с ней покои, и на их лицах читалось обычное выражение людей, которые присутствуют при кончине себе подобного, не представляя своего собственного конца и думая о будущем, откуда уже вычеркнут обреченный.

Ах! Все византийские короны, все германские троны, все скипетры и все золото отдал бы Валуа за один взгляд, только один, в котором не чувствовалось бы, что он уже вычеркнут из жизни! Печаль, сострадание, жалость, ужас и волнение, вызванное воспоминаниями, можно было прочесть в глазах тех, кто окружал ложе умирающего принца. Но все эти чувства лишний раз свидетельствовали о том, что он уже вычеркнут из числа живых.

Валуа смотрел на своего старшего сына Филиппа, на этого длинноносого здоровяка, стоявшего под балдахином у его ложа; завтра или после-

завтра, а быть может, и через минуту он станет единственным настоящим графом Валуа, живым Валуа. Он был грустен, этот верзила Филипп, как и подобало в таких обстоятельствах, и сжимал руку своей супруги Жанны Бургундской, Хромоножки, но старший в роде после кончины отца главным образом заботился о том, чтобы держаться с достоинством, и держался, всем видом как бы говоря присутствующим: «Видите, это умирает мой отец!» И из этого взгляда, из взгляда собственного своего отпрыска, которому он дал жизнь, Валуа тоже был вычеркнут.

А другие сыновья… Карл Алансонский, избегая встречаться с глазами умирающего, незаметно отворачивался, как только Валуа смотрел в его сторону, а маленький Людовик так перепугался, что прямо разболелся от страха, ведь он впервые присутствовал при кончине. А дочери… Три из них находились в спальне: графиня Геннегау, которая время от времени делала знак слуге, вытиравшему слюну с губ умирающего; младшая дочь, графиня де Блуа, и чуть поодаль — графиня Бомон, стоявшая рядом со своим гигантом-супругом Робером Артуа, королевой Изабеллой Английской и юным герцогом Аквитанским — у мальчугана были длинные ресницы и такой бла-

гонравный вид, будто он находился в церкви, и он-то, конечно, запомнит не своего двоюродного деда Валуа, а только эти печальные минуты.

И Валуа казалось, что именно в том углу замышляют какой-то заговор, творя будущее, из которого он тоже уже вычеркнут.

Поворачивая голову в другую сторону, Карл видел третью свою супругу, Маго де Шатийон-Сен-Поль, которая стояла выпрямившись, как женщина, опытная в таких делах, повидавшая немало кончин, уже побывавшая вдовой. Гоше де Шатийон, старый коннетабль, с морщинистыми черепашьими веками, как бы одерживал в свои семьдесят семь лет еще одну победу: он смотрел на человека, который был на двадцать с лишним лет моложе его и умирал первым.

Этьен де Морне и Жан де Шершемон, оба канцлеры Карла Валуа, побывавшие поочередно канцлерами Франции, Миль де Нуайе — легист и глава счетной палаты, Робер Бертран, рыцарь Зеленого Льва и новый маршал, исповедник брат Тома де Бурж, лекарь Жан де Торпо — все собрались здесь, чтобы оказать умирающему помощь, каждый на свой лад. Но можно ли помочь человеку умирать? Юг Бувилль вытирал слезы. О чем плачет он, этот толстяк Бувилль, как не о своей

ушедшей молодости, о своей старости и о своей уходящей жизни.

Да, конечно, любой умирающий государь несчастнее самого обездоленного своего раба. Ибо бедняку не приходится умирать на людях; жена и дети могут скрыть от него неизбежность смерти; там нет этой торжественной обстановки, которая означает, что кончина неминуема; от него не требуют, чтобы он in extremis[69] сам составил акт о собственной смерти, а ведь именно этого ждали все собравшиеся у ложа Валуа высокопоставленные особы. Ибо, написав завещание, человек как бы подтверждает, что конец его близок. Документ, предназначенный обеспечить чужое будущее… Секретарь ждал с чернильницей, закрепленной на краю дощечки для письма, пергаментом и перьями. Итак! Пора начинать… или, вернее, кончать. Трудность не в том, что для этого требуются умственные усилия, трудно заставить себя отречься от всего земного… Завещание начиналось как молитва:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа…

Это заговорил Карл Валуа. Все решили, что он молится.

---

[69] Примечания: 69
В последний момент *(лат.).*

— Пишите же, друг мой, — сказал он секретарю. — Вы же слышите, что я диктую!.. Я, Карл…

Он умолк, охваченный ужасом, ибо услышал, как собственные уста последний раз произнесли его имя… Ведь имя — это как бы символ жизни человеческого существа и его единства! Валуа хотелось закончить на этом: ничто больше не интересовало его. Но на него были устремлены взгляды всех этих людей. Надо действовать, действовать в последний раз ради других людей, от которых его уже отделяла бездонная пропасть.

— Я, Карл, сын короля Франции, граф Валуа, граф Алансонский, Шартрский, Анжуйский, объявляю всем, что, пребывая, несмотря на телесную немощь, в здравом рассудке…

Если иногда он и говорил с запинкой, спотыкаясь на некоторых, порой самых легких, словах, то ум его, издавна привыкший выражать волю словом, продолжал, по-видимому, работать безотказно. Но умирающему казалось, что он слушает себя как бы со стороны. Ему казалось, что он на середине реки, что говорит он так, чтобы его слышали на берегу, от которого его относит, и он трепетал при мысли о том, что с ним станется, когда его прибьет к другому берегу.

— …и испрашивая у Бога прощения, дабы не

покарал Он меня нежданно в день Страшного суда, я в твердом уме распоряжаюсь собой самим и имуществом своим и завещание мое и волю мою нижеследующим образом излагаю. Во-первых, душу мою отдаю я Господу нашему Иисусу Христу, и милосердной Богоматери, и всем святым…

По знаку графини Геннегау слуга вытер слюну, скопившуюся в уголке его рта. Разговоры смолкли; присутствующие стояли тихо, стараясь ненароком не зашуршать шелком одежды. Они были поражены тем, что этот неподвижный, высохший и изуродованный болезнью человек сохраняет не только ясность мысли, но даже изысканность формулировок.

Гоше де Шатийон прошептал, обращаясь к своим соседям:

— Сегодня он не умрет.

Один из лекарей, Жан де Торпо, недовольно поморщившись, отрицательно мотнул головой. Он считал, что Карлу Валуа не дожить до зари. Но Гоше уперся:

— Я-то видел, видел таких… Уж если я говорю, что в этом теле есть еще жизнь…

Графиня Геннегау, приложив палец к губам, попросила коннетабля замолчать; Гоше был глух и не мог соразмерить силу своего шепота.

Валуа продолжал:

— Я завещаю похоронить тело мое во францисканской церкви в Париже, между гробницами двух моих первых жен…

Взглядом он поискал третью, живую супругу, будущую вдову Маго де Шатийон. Три жены и вся жизнь остались позади… Сильнее всего он любил вторую жену — Екатерину… может быть, из-за ее призрачной короны Константинопольской. Она была красавицей и по достоинству носила свой легендарный титул! Валуа удивился, что в его жалком, наполовину недвижимом, готовом принять кончину теле затеплилось что-то неясное и неуловимое, похожее на трепет прежнего желания, порождающего жизнь. Итак, он будет покоиться рядом с ней, императрицей, а с другой стороны от него будет его первая супруга, дочь короля Неаполитанского, — обе уже давно превратившиеся в прах. Как странно, что память о желании еще теплится в человеке, а тела, вызывавшего это желание, уже не существует! А воскресение из мертвых… Но у него имелась третья супруга, та, на которую он сейчас смотрел и которая была тоже хорошей подругой. Надо оставить что-нибудь и ей.

— Item[70] я хочу, чтобы сердце мое было погребено в том городе и месте, которые подруга моя Маго де Сен-Поль изберет для своей гробницы, и чтобы внутренности мои покоились в аббатстве Шаали, в силу права делить тело мое, права, дарованного мне святейшим отцом нашим папой в булле…

На мгновение он запнулся, вспоминая дату, которая выскочила из памяти, затем добавил:

— …изданной ранее[71].

Как гордился он этим, даваемым лишь королям разрешением расчленять свой труп, как расчленяют святые мощи! Он требовал, чтоб к нему относились как к королю даже в могиле. Но теперь он думал о воскресении из мертвых — последнем прибежище тех, кто стоит на пороге смерти. Если то, чему учит религия, верно, то как произойдет его воскресение? Внутренности — в Шаали, сердце — там, где пожелает Маго де Сен-Поль, а тело — в парижской церкви… Неужто ему придется восстать перед Екатериной и Маргаритой с пустой грудью и животом, набитым

---

[70] Примечания: 70

Также *(лат.)*.

[71] Примечания: 71

Эту льготу предоставил ему Климент V в 1313 г. Карлу де Валуа тогда было лишь сорок три года.

соломой и зашитым конопляной нитью? Вероятно, все произойдет иначе, но человеческий разум не мог представить, как именно. Будет ли он в ту минуту ощущать на себе бремя чужих тел и взглядов, как сейчас на него, лежащего в кровати, давят бременем взгляды собравшихся? И какая великая приключится путаница, если восстанут вдруг разом все предки и потомки, убийцы и их жертвы, любовники и любовницы, если всплывут вдруг все предательства… А что, если перед ним предстанет Мариньи?

— Item оставляю аббатству Шаали шестьдесят турских ливров для того, чтобы была отмечена годовщина смерти моей…

Ему снова вытерли подбородок. Около четверти часа он перечислял все церкви, аббатства, богоугодные заведения, находящиеся в его ленных владениях, которым он оставлял кому сто, кому пятьдесят, кому сто двадцать ливров, а то и цветок лилии для украшения раки со святыми мощами. Только для него одного каждое вновь произнесенное название означало больше, чем просто заунывный перечень. То ему представлялась церковь, то город или местечко, господином которых ему еще суждено было пробыть несколько часов или дней, только у него они вызывали

милые ему воспоминания. Мысли присутствующих были далеко, как то бывает в церкви, когда служба чересчур затянется. Лишь Жанна Хроможка, измучившаяся от долгого стояния на своей короткой ноге, слушала со вниманием. Она прикидывала, она подсчитывала. При каждой новой цифре она поднимала на своего супруга Филиппа Валуа лицо, которое нельзя было назвать некрасивым, но которое теперь было обезображено жадностью и злобными мыслями. Ведь платить-то придется из их наследства! Филипп тоже помрачнел.

Стоящие около окна англичане вновь принялись перешептываться с заговорщическим видом. Лицо королевы выражало беспокойство, но постороннему наблюдателю могло показаться, что оно вызвано всем происходящим у смертного одра. На самом же деле королеве было не по себе по иной причине. И прежде всего потому, что среди присутствующих не было Мортимера, а без него она теряла уверенность, теряла ощущение живой жизни. К тому же она все время чувствовала на себе пристальный взгляд Степлдона, епископа Эксетерского, который, согласно полученному приказанию повсюду сопровождать юного герцога Аквитанского, явился даже в Пер-

рей. От этого человека, душой и телом преданного королю Эдуарду, можно было ждать только беды или, по крайней мере, крупных неприятностей. Изабелла потянула Робера Артуа за рукав, и он наклонился к ней.

— Будьте осторожны с Эксетером, — шепнула она, — вон с тем худым епископом, что грызет ноготь… Я боюсь, кузен. Последнее письмо, присланное мне Орлетоном, было вскрыто, печать сорвана, потом снова налеплена.

До них доносился голос Карла Валуа:

— Item завещаю спутнице моей, графине, рубин, подаренный мне дочерью моей де Блуа. Помимо этого, оставляю ей вышитое покрывало, принадлежавшее матери моей, королеве Марии…

Если во время перечисления даров церквям и монастырям мысли присутствующих витали далеко, то теперь, когда речь зашла о драгоценностях, все глаза заблестели. Графиня де Блуа подняла брови с выражением разочарования. Вместо того чтобы завещать подаренный ею рубин своей супруге, отец мог бы вернуть его ей, своей дочери.

— Item ковчежец, реликвию святого Эдуарда…

Услышав имя святого, юный принц Эдуард Английский вскинул свои длинные ресницы, ста-

раясь поймать взгляд матери, но нет, и ковчежец достался Маго де Шатийон. А Изабелла подумала, что дядя Карл мог бы оставить эту реликвию своему внучатому племяннику, находившемуся тут же в опочивальне.

— Item оставляю моему старшему сыну Филиппу рубин, все мое вооружение и сбрую, кроме кольчуги работы акрских мастеров и меча, с которым не расставался сеньор д'Аркур; их оставляю Карлу, второму моему сыну. Item дочери моей Жанне Бургундской, жене Филиппа, сына моего, оставляю самый лучший мой изумруд.

Щеки Хромоножки слегка порозовели, и она с признательностью склонила голову, что присутствующие восприняли как непристойную выходку. Можно было не сомневаться, что она заставит ювелира со всей тщательностью осмотреть все изумруды, чтобы выбрать самый красивый!

— Item завещаю второму моему сыну, Карлу, всех моих скакунов и выездных лошадей, мою золотую чашу, серебряный таз и молитвенник.

Карл Алансонский вдруг разрыдался, что было уж совсем глупо, словно он только сейчас понял, когда умирающий назвал его имя, что отец находится в предсмертной агонии и кончается в страшных муках.

— Item оставляю моему третьему сыну, Людовику, всю мою серебряную посуду…

Ребенок держался за юбку Маго де Шатийон, которая ласково гладила его по головке.

— Item я хочу и повелеваю, чтобы все оставшееся в моей часовне было продано, а деньги пошли на молебствия за упокой моей души… и чтобы вся моя одежда была роздана моим камердинерам…

За открытыми окнами послышался негромкий шум, и все присутствующие повернулись в ту сторону. Во дворе замка, устланном соломой, чтобы приглушить топот лошадиных копыт, появилось трое носилок. Из огромных носилок с деревянной позолоченной резьбой, откинув занавески, где были вышиты замки графства Артуа, вышли графиня Маго, грузная, гигантского роста женщина в вуали, наброшенной на седые волосы, и ее дочь, вдовствующая королева Жанна Бургундская, бывшая супруга Филиппа Длинного. Графиню сопровождали ее канцлер каноник Тьерри д'Ирсон и придворная дама Беатриса, племянница д'Ирсона. Маго прибыла из своего замка Конфлан, расположенного около Венсенна, откуда она редко выезжала в эти тяжелые для нее времена.

Вторые носилки, все белые, принадлежали ко-

ролеве Клеменции Венгерской, вдове Людовика Сварливого.

Из третьих носилок, скромных, с простыми занавесками из черной кожи, с трудом, грузно опираясь на слуг, вылез мессир Спинелло Толомеи, капитан ломбардских компаний Парижа.

В коридор замка вступили две бывшие королевы Франции, две молодые женщины-ровесницы — им было по тридцать два года, — сменившие одна другую на троне, обе в соответствии с обычаем одетые во все белое, похожие, как сестры-близнецы, обе светловолосые и прекрасные собою, особенно королева Клеменция. А позади них шагала грозная графиня Маго, на голову выше их обеих, и все знали, но не смели сказать вслух, что она убила мужа одной, дабы дать возможность царствовать другой. И наконец, подволакивая ногу и выставив вперед брюшко, с рассыпавшимися по воротнику седыми редкими прядями волос, плелся старик Толомеи, свидетель всех и всяческих интриг, на чье лицо годы наложили свою неумолимую печать. Поскольку старость все облагораживает, а деньги — единственное, что дает реальную власть на земле, поскольку его высочество Валуа не смог бы без помощи Толомеи в свое время вступить в брак с императрицей

Константинопольской, поскольку без Толомеи французский двор не смог бы послать Бувилля в Неаполь сватать королеву Клеменцию, а Робер Артуа — продолжать свою тяжбу и жениться на дочери графа Валуа, поскольку без Толомеи английская королева не находилась бы здесь вместе со своим сыном, старому ломбардцу, так много видевшему и так много дававшему взаймы, а главное, умевшему держать язык за зубами, оказывали внимание, достойное государя.

Кто прижался к стене, кто отошел в сторону, чтобы очистить проход для новоприбывших. Бувилля даже в дрожь бросило, когда Маго задела своими юбками его брюшко.

Изабелла и Робер Артуа обменялись удивленными взглядами. Что означал совместный приезд Толомеи и Маго? Уж не работает ли старый тосканский лис одновременно на их врага? Но Толомеи еле заметной улыбкой успокоил клиентов. В том, что они прибыли одновременно, следует видеть лишь случайную дорожную встречу.

Появление Маго вызвало замешательство среди присутствующих. Потолочные балки, казалось, ниже нависли над головами. Валуа замолк, видя, как его заклятая врагиня, эта великанша Маго, приближается к нему, а впереди нее идут

две белокурые вдовы, словно она гонит на пастбище двух овечек. Затем Валуа увидел Толомеи. Взмахнув перед лицом здоровой рукой, на которой сверкал огромный рубин, переходивший по наследству его старшему сыну, Валуа произнес:

— Мариньи, Мариньи…

Все решили, что он теряет рассудок. Но нет, Толомеи напомнил ему об их общем враге. Без помощи ломбардцев Валуа никогда бы не взял верх над коадъютором.

И тут все услышали, как великанша Маго произнесла:

— Бог простит вас, Карл, ибо ваше раскаяние чистосердечно.

— Вот негодяйка-то, — проговорил Робер Артуа, не понизив голоса, так что его услышали соседи, — она еще смеет говорить об угрызениях совести!

Не обращая внимания на графиню Артуа, Карл Валуа сделал ломбардцу знак приблизиться. Старый сиенец подошел к ложу, приподнял парализованную руку Валуа и облобызал ее, но тот не почувствовал этого поцелуя.

— Мы молимся о вашем исцелении, ваше высочество, — сказал Толомеи.

Исцеление! То было единственное слово утеше-

ния, услышанное Валуа, ибо для всех прочих его смерть была лишь пустой формальностью! Исцеление! Сказал ли это банкир из любезности, или он и в самом деле верит в это? Они посмотрели друг на друга, и в открытом глазу Толомеи, в этом мрачном и хитром взоре, умирающий прочел что-то похожее на участие. Наконец-то в чьих-то глазах он не был вычеркнут из жизни.

— Item, — продолжал Валуа, тыча указательным пальцем в сторону секретаря, — я хочу и требую, чтобы дети оплатили все мои долги.

О! Эти слова были лучшим даром для Толомеи, куда более весомым, чем все рубины и ковчежцы! И Филипп Валуа, и Карл Алансонский, и Жанна Хромоножка, и графиня де Блуа переглянулись с кислым видом. И надо же было этому ломбардцу появиться здесь!

— Item Оберу де Вийпьону, моему камергеру, двести турских ливров; столько же Жану де Шершемону, который был моим канцлером, до того как стал канцлером Франции; Пьеру де Монгийону, моему конюшему…

Вот и опять, уже на смертном ложе, проявил Валуа широту души, которая так дорого обходилась ему всю жизнь, он щедро одаривал всех, кто служил ему, и хотел до последнего своего дыхания

вести себя с ними как истинный принц. Двести — триста ливров не бог весть какие огромные суммы, но когда их раздают сорока — пятидесяти лицам, не считая того, что завещано церкви… Да ведь для этого не хватит всего полученного от папы золота, и без того изрядно истаявшего! Не хватит годового дохода со всех владений Валуа! Стало быть, Карл и за гробом намерен расточительствовать!

Маго приблизилась к группе английских сановников. Она приветствовала Изабеллу взглядом, в котором блеснула застарелая ненависть, улыбнулась принцу Эдуарду с таким видом, словно хотела укусить его, и наконец подняла глаза на Робера.

— Мой милый племянник, я знаю, какое это для тебя горе: он был тебе настоящим отцом… — проговорила она тихим голосом.

— Да и для вас тоже, любезная тетушка, это большой удар, — ответил Робер так же тихо. — Ведь он приблизительно ваших лет. Немного осталось и вам…

В опочивальню все время то входили люди, то выходили прочь. Изабелла вдруг заметила, что епископ Эксетерский исчез или, точнее, исчезает, ибо она увидела, как он ловким, уверенным

движением, движением священнослужителя, привыкшего пробираться сквозь толпу, проскользнул к двери и скрылся в сопровождении каноника Маго — д'Ирсона. Великанша тоже проводила их взглядом, и обе женщины одновременно отметили, с каким интересом наблюдает каждая из них за этой парой.

Изабеллу охватило беспокойство. Она ломала себе голову над тем, о чем могли говорить посланцы ее врагов — Степлдон и канцлер графини. И откуда знают они друг друга, ведь Степлдон прибыл лишь накануне? То, что английские соглядатаи были связаны с Маго, становилось совершенно очевидно. Да и как могло быть иначе? «У Маго есть все основания жаждать мести и желать мне зла, — думала Изабелла. — Ведь когда-то я выдала ее дочерей… О! Как бы мне хотелось, чтобы Роджер был здесь! Почему я не настояла на том, чтобы он приехал!»

А церковники сошлись вместе самым обычным образом. Каноник д'Ирсон просто попросил, чтобы ему показали посланца Эдуарда.

— Reverendissimus sanctissimusque Exeteris episcopus? — спросил д'Ирсон англичанина. — Ego canonicus et comitissae Artesiensis cancellarius

sum[72].

Каждому было приказано при первом же удобном случае установить связь. И этот случай представился. Сидя рядом в проеме окна, в глубине коридора, и перебирая четки, они беседовали по-латыни, и со стороны могло показаться, что они читают молитву по умирающему.

У каноника д'Ирсона имелась копия весьма любопытного письма некоего английского епископа, подписывающегося буквой «О.», адресованного королеве Изабелле; письмо это было похищено у одного итальянского торговца во время сна на постоялом дворе графства Артуа. Вот этот-то епископ «О.» советовал королеве ни в коем случае не возвращаться пока в Англию, а постараться привлечь к себе как можно больше сторонников во Франции, собрать тысячу рыцарей и высадиться с ними на английском побережье, дабы гнать Диспенсеров и скверного епископа Степлдона. Эту копию Тьерри д'Ирсон захватил с собой. Не желает ли монсеньор Степлдон получить ее? Бумага перекочевала из кармана сутаны каноника в руки епископа, и тот, бросив взгляд на письмо, сразу узнал яс-

---

[72] Примечания: 72

Вы преподобнейший и святейший епископ Эксетера? Я каноник и канцлер графини Артуа *(лат.).*

ный, изящный стиль Адама Орлетона. Если лорд Мортимер, гласило письмо, возьмет на себя командование этим походом, вся английская знать сразу же присоединится к нему.

Степлдон усердно грыз ноготь большого пальца.

— Ille baro de Mortuo Mari concubinus Isabellae reginae aperte est[73], — пояснил Тьерри д'Ирсон.

Быть может, епископу требуются доказательства? Д'Ирсон может представить их в любой момент. Достаточно расспросить прислугу, понаблюдать за входами и выходами дворца Сите или просто побеседовать с близкими ко двору людьми.

Степлдон спрятал копию письма за вырез сутаны, под нагрудный крест.

Присутствующие начинали расходиться. Его высочество Валуа назвал исполнителей своего завещания. Его большая печать с выгравированными лилиями и надписью по кругу «Caroli regis Franciae filti, comitis Valesi et Andegaviae»[74] оставила четкий оттиск на воске, скреплявшем

---

[73] Примечания: 73

Барон Мортимер открыто сожительствует здесь с королевой Изабеллой *(лат.).*

[74] Примечания: 74

«Карл, сын короля Франции, граф Валуа и Анжу» *(лат.).*

шнурки, свисавшие с пергамента.

— Монсеньор, разрешите представить вашей высочайшей и святейшей особе мою племянницу Беатрису, придворную даму графини Маго, — обратился Тьерри д'Ирсон к Степлдону, указывая на приближавшуюся к ним красавицу-брюнетку с томным взглядом и округлыми бедрами.

Беатриса д'Ирсон облобызала перстень епископа, затем дядя шепнул ей несколько слов, после чего она подошла к графине Маго и еле слышно проговорила:

— Все в порядке, мадам.

И Маго, которая по-прежнему стояла рядом с Изабеллой, протянула свою огромную руку и погладила по голове юного принца Эдуарда. Затем все отправились в Париж. Робер Артуа и канцлер — поскольку их призывали государственные дела. Толомеи — потому что его ждали новые сделки. Графиня Маго — потому что отмщение уже началось и ей нечего было здесь больше делать. Изабелла — потому что ей хотелось поскорее увидеть Мортимера. Вдовствующие королевы — потому что им не нашлось места для ночлега. Даже Филипп Валуа отправился в Париж для того, чтобы приступить к управлению обширным графством, владельцем которого он отныне стал.

У ложа умирающего остались лишь его третья супруга, старшая дочь, графиня Геннегау, младшие дети и ближайшие слуги. Ничуть не больше народу, чем собирается вокруг смертного ложа мелкого провинциального рыцаря, а ведь имя Валуа и дела его потрясали мир от побережья океана до берегов Константинополя!

И на следующий день, и еще через день его высочество Карл Валуа все еще продолжал дышать. Коннетабль Гоше оказался прав: в этом сраженном болезнью теле жизнь боролась со смертью.

Весь двор в эти дни перекочевал в Венсенн, чтобы посмотреть, как молодой принц Эдуард, герцог Аквитанский, будет приносить присягу своему дяде Карлу Красивому.

Тем временем в Париже кирпич, свалившийся со строительных лесов, едва не размозжил голову епископу Степлдону, а под мулом сопровождавшего епископа клирика рухнул мостик. Однажды утром, выходя из своего жилища к ранней мессе, епископ на узкой улице столкнулся носом к носу с бывшим помощником коменданта Тауэра Джерардом Элспеем и брадобреем Оглом. Оба они, казалось, беззаботно прогуливались. Но кто же выйдет в такой ранний час из дому слушать пение птиц? На углу молча стояла небольшая

группа мужчин, среди которых Степлдон узнал длинное лошадиное лицо барона Мальтраверса. Повозки зеленщиков загромоздили улицу, и епископ поспешно улизнул в дом. В тот же вечер, ни с кем не попрощавшись, он отправился в Булонь, намереваясь тайно отплыть в Англию.

Впрочем, помимо копии письма Орлетона, он увозил с собой вполне достаточно улик против королевы Изабеллы, Мортимера, графа Кентского и приближенных к ним сеньоров.

А в маленьком замке Иль-де-Франса, в одном лье от Рамбулье, покинутый всеми и погребенный, как в гроб, в собственное свое тело, все еще продолжал жить Карл Валуа. Для того, кого называли вторым королем Франции, не существовало больше ничего, кроме неровного дыхания, иногда прерываемого пугающими паузами. И еще долгие недели, до самого декабря, жадно вдыхал он воздух, питающий все живое.

Часть третья
ПОХИЩЕННЫЙ КОРОЛЬ
Глава I
Супруги-враги

Вот уже восемь месяцев королева Изабелла жила во Франции; здесь она познала свободу, обрела любовь. И забыла своего супруга, короля Эдуарда. Он жил в ее сознании, вернее, в самом дальнем, отмершем уголке ее сознания лишь как некое отвлеченное понятие, как дурное наследие, оставшееся от той, другой, уже не существовавшей более Изабеллы. Изабелла не могла бы теперь даже при желании оживить в памяти прежнее отвращение к запаху его тела и цвету глаз. Перед ее взором всплывал лишь смутный, расплывчатый образ — чересчур длинный подбородок под белокурой бородкой, до омерзения гибкая спина. Но если память об Эдуарде все больше стиралась, то ненависть к нему оставалась по-прежнему упорной.

Поспешное возвращение епископа Степлдона в Лондон подтвердило опасения Эдуарда, и он понял, что необходимо как можно скорее

вернуть жену домой. Но для этого нужно было действовать тонко, ибо, по словам Хью-старшего, чтобы вернуть волчицу в логово, следовало усыпить ее подозрения. Вот почему последние несколько недель письма Эдуарда походили на письма любящего мужа, страдающего в разлуке с женой. Диспенсеры тоже не остались в стороне, они слали королеве заверения в преданности и, присоединяясь к мольбам короля, умоляли доставить им радость своим скорым возвращением. Эдуард повелел также епископу Уинчестерскому использовать свое влияние на королеву.

Но 1 декабря все изменило. В этот день Эдуарда внезапно охватил безумный гнев, бешенство, недостойное короля, которое, однако, обычно давало ему иллюзорное ощущение собственного могущества. Епископ Уинчестерский привез ему ответ королевы: она отказывалась вернуться в Англию из страха перед Хью-младшим и поделилась этими опасениями со своим братом, королем Франции. Вот это-то и вывело Эдуарда из себя. Письма, которые он диктовал в Вестминстере пять часов подряд, глубоко поразили все европейские дворы.

Сначала он написал королеве. Всякие любезные слова вроде «душечка» были забыты.

Мадам, – писал Эдуард, – *неоднократно требовали мы, как до принесения присяги, так и после оной, чтобы вы, учитывая желание наше видеть вас с нами и неловкость столь долгого отсутствия вашего, немедля и ни на что не взирая, возвратились к нам.*

Перед принесением присяги вы ссылались на то, что переговоры требовали вашего присутствия, но, известив нас через почтенного отца, епископа Уинчестерского, о том, что не возвратитесь, ибо не доверяете Хью Диспенсеру и страшитесь его, вы весьма удивили нас, ибо всегда в моем присутствии рассыпались во взаимных похвалах, а после вашего отъезда вы в личных письмах, которые он нам показал, расточали ему заверения в искренней дружбе.

Нам доподлинно известно, и вы тоже знаете сие, мадам, что вышеупомянутый Хью всегда верой и правдой служил нам; знаете вы также, что никогда, с тех пор как вы стали моей подругой, с вами не поступали низко, разве лишь один только раз, случайно и по вашей же вине, как вы

это, вероятно, помните.

Мы будем сильно раздосадованы, если теперь, когда принесена присяга верности нашему дражайшему брату, королю Франции, с коим мы находимся в добрых дружественных отношениях, вы, наша посланница мира, явитесь, и к тому же без всякого к тому основания, причиной отчуждения между нами и французским королем.

В силу чего мы предписываем, требуем и приказываем, чтобы вы, отбросив все ссылки и ложные предлоги, немедля возвратились к нам.

Что же касается ваших расходов, то, когда вы выполните долг супруги перед ее господином и вернетесь, мы распорядимся таким образом, чтобы у вас ни в чем не было недостатка и чтобы ваша честь ни в чем не была ущемлена.

Мы желаем также и требуем, чтобы вы как можно скорее отправили к нам нашего дражайшего сына Эдуарда, ибо мы весьма сильно соскучились по нему и очень хотим побеседовать с ним.

Почтенный отец Уолтер, епископ Эксетерский, недавно известил нас, что кое-кто из наших врагов и изгнанников, находящихся при вас, выслеживал его и покушался на жизнь его и что, дабы избежать такой опасности, он, служа нам верой и правдой, поспешил вернуться к нам сюда. Мы извещаем вас об этом, дабы вы знали, что это была единственная причина, по которой упомянутый епископ внезапно покинул вас.

Написано в Вестминстере
декабря первого дня 1325 года.
Эдуард

Если начало послания дышало яростью, сменившейся затем ложью, то конец весьма искусно был приправлен ядом.

Другое, более краткое письмо было направлено юному герцогу Аквитанскому.

Дорогой сын наш, как бы молоды и неопытны вы ни были, помните то, что поручили и приказали мы вам, когда вы отправлялись в путь из Дувра. Помните также ваш ответ нам, которым мы остались очень довольны, ни в чем не

превышайте ваших полномочий и ни на йоту не отступайте от данного вам поручения.

И поскольку теперь присяга верности вами уже принесена, предстаньте перед нашим дражайшим братом и вашим дядей, королем Франции, распрощайтесь с ним и возвращайтесь к нам вместе с нашей дорогой супругой и вашей матерью королевой, если она соизволит отправиться в то же время.

А ежели она не пожелает возвратиться, не задерживайтесь более и поспешите с отъездом, ибо мы горим желанием видеть вас и говорить с вами; не слушайте никого, кто будет вас отговаривать от этого, будь то мать или кто другой.

Благословляем вас.

Частые повторы, а также сумбурный и раздражительный тон письма свидетельствовали о том, что писал его не канцлер и не секретарь, а сам король. При чтении письма, казалось, был даже слышен голос короля Эдуарда, диктующего послание. Карл IV Красивый тоже не был забыт. В адресованном ему письме Эдуард почти слово

в слово повторял то, о чем говорилось в письме к королеве:

Мы слышали от лиц, достойных доверия, что наша супруга, королева Англии, не решается вернуться к нам из-за того, что опасается за свою жизнь и не доверяет Хью Диспенсеру. Однако, возлюбленный брат наш, ей не следует сомневаться ни в нем, ни в каком-либо другом человеке в нашем королевстве, ибо, слава богу, ни Хью, ни кто другой из живущих на земле нашей не желают ей зла, а если бы мы обнаружили нечто подобное, мы покарали бы виновного так, чтобы и другим неповадно было; у нас для этого, благодарение Богу, достаточно власти.

Поэтому, дражайший и возлюбленный брат наш, мы особо обращаемся к вам с просьбой, ради нашей и вашей чести и чести нашей супруги, соблаговолить сделать все необходимое, дабы она как можно скорее вернулась к нам, ибо мы очень грустим без нее. Мы никогда не согласились бы на столь прискорбную для нас разлуку с нею, если бы не испытывали

глубокого доверия к вам и не были уверены в вашей доброй воле способствовать ее возвращению, когда мы того пожелаем.

Эдуард требовал также возвращения своего сына и писал о покушениях на жизнь епископа Эксетерского, в чем он обвинял «находящихся там врагов и изгнанников».

Да, гнев его в первый день декабря был так велик, что под сводами Вестминстера эхо еще долго повторяло его крики. По тому же поводу и в том же духе Эдуард написал послания архиепископам Реймса и Руана, Жану де Мариньи, епископу Бовезскому, епископам Лангра и Лаона, всем пэрам церкви, герцогам Бургундскому и Бретонскому, а также графам Валуа и Фландрскому, светским пэрам, аббату Сен-Дени, главному казначею Людовику Клермон-Бурбонскому, Роберу Артуа, главе счетной палаты Милю де Нуайе, коннетаблю Гоше де Шатийону.

То, что из всех пэров Франции одна лишь Маго не получила подобного письма, достаточно убедительно подтверждало ее связи с Эдуардом, а также и то, что она была прекрасно осведомлена об этом деле и не нуждалась в официальной переписке.

Робер, распечатав предназначенное ему послание, пришел в неописуемый восторг; давясь от смеха и хлопая себя по ляжкам, он тотчас же помчался к своей английской кузине. Забавная история, вот-то можно будет позабавиться! Итак, этот несчастный Эдуард слал гонцов во все концы королевства, чтобы известить всех о своих супружеских горестях, защитить своего любимчика и собственноручно подтвердить, что он не в силах заставить вернуться домой собственную супругу. Экие бедняги эти английские сеньоры, что за жалкий король достался им на долю! И в руки какого беспокойного безумца попал скипетр Вильгельма Завоевателя! Со времен ссоры Людовика VII с Элинор Аквитанской, пожалуй, не было такой занятной истории.

— Наставьте ему рога, кузина, — кричал Робер, — да такие, чтобы вашему Эдуарду пришлось сгибаться вдвое, прежде чем войти в дверь замка. Не правда ли, кузен Роджер, лучшего он не заслуживает?

И гигант игриво похлопывал Мортимера по плечу.

В порыве гнева Эдуард решил также принять крайние меры и отобрал имущество своего брата графа Кентского и лорда Кромвеля, возглавляв-

шего свиту Изабеллы. Более того, специальным указом он назначил себя «правителем и распорядителем» ленных владений своего сына, герцога Аквитанского, и от его имени потребовал возвращения потерянных земель. Таким образом он свел на нет и договор, заключенный его супругой, и присягу верности, принесенную его сыном.

— Воля его, воля его, — твердил Робер Артуа. — Что ж, придется еще раз отобрать у него герцогство, по крайней мере то, что от этого герцогства осталось, ибо теперь можно прямо сказать, что большая часть его видна лишь во время отлива. Раз двух кампаний недостаточно для того, чтобы научить это ничтожество помнить свой долг, мы предпримем третью. Тем более что арбалеты, предназначенные для Крестового похода, уже покрылись ржавчиной!

Для этого вовсе не обязательно было поднимать в поход королевское войско и посылать коннетабля, у которого от старости закостенели суставы; за глаза хватит двух маршалов во главе регулярного войска, чтобы задать где-нибудь около Бордо легкую взбучку гасконским сеньорам, которые, по малодушию или по глупости, остались верными английскому королю. Такие походы уже входили в привычку. И каждый раз

противник становился все малочисленнее.

Послание Эдуарда было последним, которое прочли Карлу Валуа, это был последний отзвук великих мирских дел, который еще дошел до него.

Его высочество Карл скончался в середине декабря, похороны его были такими же пышными, какой была его жизнь. За гробом шли все члены его семьи, и теперь, когда она была в сборе, стало видно, сколь могущественно и многочисленно это семейство. В траурном кортеже заняли свои места также французская королевская фамилия, все сановники, большинство пэров, две вдовствующие королевы, парламент, счетная палата, коннетабль, ученые мужи университета, парижские корпорации, вассалы из ленных владений, представители церквей и аббатств, перечисленных в завещании. Проводили гроб до францисканской церкви, где графу Карлу было уготовано место между гробницами двух его первых жен и куда опустили тело самого неугомонного человека своего времени, ставшее неестественно легким после долгой болезни и после работы бальзамировщиков.

Судьба не даровала ему всего трех лет жизни, тогда он мог бы стать королем Франции, ибо Кар-

лу IV, его племяннику, не имевшему наследника, не суждено было прожить больше!

Внутренности великого Карла Валуа были отправлены в аббатство Шаали, а его сердце, заключенное в урну, передали третьей супруге, у которой оно будет храниться до тех пор, пока она сама не сойдет в могилу.

Сразу же за похоронами ударили сильные холода, словно захороненные кости принца заморозили землю Франции. Старожилам было легко запомнить год его смерти — достаточно было сказать: «...было это во время сильных морозов».

Мороз сковал Сену; через маленькие ее притоки, такие как ручеек Гранж-Бательер, ходили пешком, колодцы замерзли, и воду из водоемов добывали не ведрами, а топорами. От холода в садах лопнула кора деревьев; некоторые вязы раскололись до самой сердцевины. Сильно пострадали парижские заставы, ибо от стужи потрескались даже камни. Птицы, которые никогда не залетают в города, — сойки, сороки — искали себе корм на мостовых Парижа. Торф для отопления продавался по двойной цене, в лавках нельзя было найти ни шкурки сурка, ни белки, ни даже простой овчины. Множество стариков и детей поумирали в своих жалких жилищах.

Путешественники отмораживали себе ноги даже в сапогах; гонцы вручали доставленные ими пакеты синими от холода пальцами. Судоходство по рекам приостановилось. Если посланные в Гиень воины по неосторожности снимали перчатки, то кожа с пальцев лоскутами прилипала к железному оружию; мальчишки развлекались тем, что заставляли деревенских юродивых прикладывать язык к лезвию топора. Но особенно запечатлелся в памяти этот год каким-то пугающим безмолвием, воцарившимся в стране, ибо сама жизнь, казалось, замерла.

При дворе из-за морозов и траура Новый год отпраздновали довольно скромно, хотя, как обычно, все преподносили друг другу омелу и обменивались, как полагалось, подарками. Казначейство собиралось свести бюджет минувшего года[75] с превышением доходов над расходами в размере семидесяти трех тысяч ливров, шестьдесят тысяч из которых принес Аквитанский договор. Робер Артуа добился, что король выделил ему из этой суммы восемь тысяч ливров. И это было в высшей степени справедливо, так как в течение полугода Робер правил страной за своего кузена. Он

[75] Примечания: 75

Напомним, что традиционный год начинался 1 января, тогда как административный — на Пасху.

ускорил поход в Гиень, где французская армия, не встретив английских войск, в короткий срок одержала победу. Местные сеньоры, которым лишний раз пришлось испытать на себе гнев парижского сюзерена, обращенный против своего лондонского вассала, начинали уже жалеть о том, что родились гасконцами. Неужели Господь Бог не мог удружить им и даровать земли в каком-нибудь другом герцогстве?

Эдуард, разоренный, погрязший в долгах и не находивший более заимодавцев, был не в состоянии снарядить войска для защиты своих ленных владений, однако он послал корабли за своей супругой. Королева написала епископу Уинчестерскому письмо с просьбой ознакомить с его содержанием все английское духовенство.

> *Ни вы, ни другие разумные люди не должны верить, что мы лишаем себя общества нашего господина без весьма важных и веских причин, и мы бы не решились на это, если бы жизни нашей не угрожала опасность со стороны Хью, который держит в своих руках нашего господина, правит королевством и ищет случая обесчестить нас, в чем мы глубо-*

ко убеждены, зная это по собственному опыту. До тех пор пока Хью будет держать нашего супруга в своей власти, мы не сможем вернуться в английское королевство, не подвергая нашу жизнь и жизнь нашего дражайшего сына смертельной опасности.

Письмо это совпало по времени с новым указом, который Эдуард направил в начале февраля шерифам прибрежных графств. Он оповещал их, что королева и ее сын, герцог Аквитанский, посланные во Францию ради заключения мира, попали под влияние предателя и бунтовщика Мортимера и вступили в союз с недругами короля и королевства и что любезный прием должен быть оказан королеве и герцогу Аквитанскому лишь в том случае, если они прибудут на кораблях, которые король послал во Францию, и прибудут с добрыми намерениями, но ежели они приплывут на иностранных судах и выкажут враждебные его воле намерения, то приказано было со всеми, кто сойдет с кораблей, обращаться как с мятежниками, пощадив лишь королеву и принца Эдуарда.

Желая выиграть время, Изабелла через своего

сына велела уведомить короля, что она больна и не в состоянии отправиться в путь по морю.

Но в марте король Эдуард узнал, что его супруга беспечно веселится в Париже, и его вновь охватил приступ эпистолярной горячки. Этот недуг, казалось, принял у него хроническую форму и нападал на английского государя каждые три месяца.

Молодому герцогу Аквитанскому Эдуард II писал следующее:

> *Под вымышленным предлогом супруга наша и ваша мать избегает нас из-за нашего дорогого и верного друга Хью Диспенсера, который всегда верой и правдой служил нам, но вы видите и каждый может видеть, что она открыто и явно, забыв о своем долге и положении нашей короны, приблизила к себе Мортимера, предавшего нас и ставшего нашим заклятым врагом, который был уличен, разоблачен и осужден перед лицом всего парламента. Она появляется в его сопровождении и во дворце, и вне его, забыв о нашей чести, о чести нашей короны и королевства. Более того, она посту-*

пает еще хуже, если хватает у нее духу заставлять вас появляться перед всеми в обществе все того же нашего врага, тем самым позоря и бесчестя вас и нарушая законы и обычаи английского королевства, которые я своей суверенной волею наказываю вам оберегать и соблюдать в дальнейшем.

Он послал также письмо королю Карлу IV:

Ежели бы ваша сестра любила нас и желала бы быть вместе с нами, как она заявила вам – и, с позволения сказать, солгала, – она не покинула бы нас под тем предлогом, что собирается-де восстановить мир и дружбу между нами и вами, во что я полностью поверил, отрядив ее к вам. На самом же деле, дражайший брат, мы достаточно убедились в том, что она нас нисколько не любит, а причина, которую она выдвигает, говоря о нашем дорогом родственнике Хью Диспенсере, – ложная. Мы полагаем, что она пришла в расстройство чувств, ежели она так открыто и не скрываясь держит в своем совете предавшего нас и ставшего нашим

смертельным врагом Мортимера и появляется в обществе этого смутьяна как во дворце, так и вне его. В силу всего этого вы, как мы полагаем, тоже должны желать, дражайший брат, чтобы она покаялась и вела себя так, как того требует честь всех тех, кто ей дорог. Соблаговолите сообщить нам, какие действия намереваетесь вы предпринять, руководствуясь волей Божией, разумом и добрыми помыслами и не обращая внимания на внезапные женские капризы и прочие страсти.

Послания такого же содержания были вновь разосланы во все концы света — пэрам, союзникам, прелатам и самому папе. Английские король и королева публично разоблачали любовные шашни друг друга, и это дело о двойном сожительстве, о двух парах, где было трое мужчин и только одна женщина, позабавило все европейские дворы.

Парижским любовникам не требовалось больше соблюдать осторожность. Изабелла и Мортимер не только не скрывали своих отношений, но, напротив, при всяком удобном случае

умышленно появлялись вместе. А то обстоятельство, что граф Кентский и прибывшая к нему супруга сопровождали незаконную чету, служило им своеобразной гарантией. С какой стати заботиться о чести короля Англии, раз его собственный брат не слишком-то о ней печется? Таким образом, письма Эдуарда как бы официально подтвердили эту связь, которую все приняли как свершившийся и не подлежащий изменению факт. И неверные жены укрепились в мысли, что королевы живут под особой милосердной звездой и что Изабелле повезло, раз супруг ее оказался таким негодяем.

Но денег не хватало. На имущество изгнанников был наложен секвестр, и они лишились всех источников дохода. Теперь маленький английский двор в Париже жил исключительно на займы ломбардцев.

В конце марта пришлось еще раз обратиться к старому Толомеи. Он прибыл к королеве Изабелле в сопровождении старшего Боккаччо, который захватил с собой счета компании Барди. Королева и Мортимер с большой учтивостью изложили ему свою просьбу. Не менее учтиво и подчеркивая глубокое свое сожаление, мессир Спинелло Толомеи отказал. Для этого у него имелись веские

аргументы; открыв толстую черную книгу, он показал счета. Мессир Элспей, лорд Кромвель, королева Изабелла на одной странице — Толомеи низко склонил голову, — граф Кентский и графиня — новый поклон, — лорд Мальтраверс, лорд Мортимер… И затем на четырех страницах подряд долг самого короля Эдуарда…

Роджер Мортимер запротестовал: счета короля Эдуарда их не касаются.

— Но, милорд, — возразил Толомеи, — для нас это все одно и то же — долги Англии! Я огорчен тем, что вынужден отказать вам, в высшей степени огорчен, что не в силах оправдать надежд такой прелестной дамы, как мадам королева, но ждать от меня того, чего у меня уже нет и чем располагаете теперь вы, было бы непомерным требованием. Ибо состояние, которое считается нашим, роздано, как вы видите, взаймы! Все мое имущество, милорд, — это ваши долги. Вы видите, мадам, — продолжал он, повернувшись к королеве, — что такое мы, бедные ломбардцы, живущие под вечной угрозой и обязанные каждому новому королю приносить в дар изрядную сумму денег по случаю его восшествия на престол… Сколько раз, увы, в течение последних двенадцати лет нам пришлось раскошеливать-

ся по поводу столь радостного события!.. И это нам, которых при каждом короле лишают прав, дарованных всем горожанам, ради того чтобы вынудить нас вновь купить их за изрядную сумму, бывает даже по два раза, если царствование долгое. А между тем, как вы видите, мы многое делаем для королевств! Англия обошлась нашим компаниям в сто семьдесят тысяч ливров — такова цена ее коронований, войн и внутренних раздоров, мадам! Я уже стар, мадам... Я бы уже давно отошел от дел, чтобы отдохнуть, если бы не приходилось постоянно гоняться за должниками и собирать с них долги, лишь бы удовлетворить требования других. Нас называют скупцами, скупердяями, когда мы требуем свои же деньги, но все забывают о том риске, на который мы идем, давая взаймы и тем самым позволяя земным владыкам вести свои дела! Священнослужители пекутся о маленьких людях, раздают милостыню нищим, строят больницы для неимущих; нам же приходится печься о нуждах великих мира сего.

Преклонные годы Толомеи позволяли ему говорить подобным образом, а голос звучал столь кротко, что на слова его трудно было обидеться! Продолжая говорить, он украдкой поглядывал прищуренным глазом на колье, сверкавшее на

груди королевы и записанное в его книгах в счет кредита, данного Мортимеру.

— Как началась наша торговля? Каким образом нам удается существовать? Об этом никто и не вспоминает, — продолжал он. — Наши итальянские банки возникли во время Крестовых походов в силу того, что сеньоры и путешественники не желали брать с собой золото, отправляясь в путь, ибо на дорогах шалили разбойники; не хотели они иметь при себе золото и на привалах, когда разбивали лагерь, где собирались не одни честные люди. К тому же иногда приходилось платить выкупы. И вот сеньоры, и в первую очередь английские, обращались к нам с просьбой, чтобы мы, рискуя всем, снабжали их золотом под залог их ленных владений. Но когда мы явились в эти владения с нашими долговыми обязательствами, полагая, что печати знатных баронов достаточно надежное обеспечение, нам ничего не заплатили. Тогда мы обратились к королям, которые в обмен на гарантии долговых обязательств их вассалов потребовали, чтобы мы им тоже давали взаймы; вот таким-то образом наши деньги погребены в королевской казне. Нет, мадам, к великому моему сожалению и досаде, на сей раз я не могу.

Граф Кентский, присутствовавший при разго-

воре, заметил:

— Пусть будет по-вашему, мессир Толомеи. Придется нам обратиться к другим компаниям.

Толомеи улыбнулся. О чем он думает, этот белокурый молодой человек, сидящий положив нога на ногу и небрежно поглаживающий голову своей борзой? Найти себе другого кредитора? Эту фразу Толомеи за долгие годы своей деятельности слышал тысячи раз. Нашел чем угрожать!

— Милорд, вы, конечно, понимаете, что все наши компании осведомляют друг друга о столь знатных должниках, какими являются члены королевской фамилии, и никакая другая компания не предоставит вам кредита, в котором я, к сожалению, вынужден вам отказать; мессир Боккаччо, который пришел со мною, ведет дела компании Барди. Спросите-ка его!.. Дело в том, мадам, — Толомеи все время обращался к королеве, — что все эти долговые обязательства вызывают у нас все большее беспокойство, ибо они ничем не гарантированы. При ваших отношениях с сиром королем Англии он, разумеется, не станет гарантировать ваши долги! Равно как и вы его долги, я полагаю, если, конечно, у вас нет намерения взять их на себя! О, будь это так, мы, пожалуй, еще нашли бы возможность оказать

вам поддержку.

Тут он плотнее прикрыл левый глаз, скрестив руки на брюшке, и стал ждать ответа.

Изабелла плохо разбиралась в финансовых вопросах. Она подняла глаза на Роджера Мортимера. Как нужно понимать последние слова банкира? Что означает это внезапное предложение после столь длинной вступительной речи?

— Объяснитесь яснее, мессир Толомеи, — сказала она.

— Мадам, — промолвил Толомеи, — в борьбе, которую вы ведете с вашим супругом, правда на вашей стороне. Всему христианскому миру известно, как дурно он обходился с вами, всем известны его позорные нравы, дурное управление подданными, судьбу коих он вверил своим презренным советникам. Вас же, мадам, напротив, любят, потому что вы умеете любезно обходиться с людьми, и, бьюсь об заклад, во Франции, да и повсюду, найдется немало превосходных рыцарей, готовых поднять за вас свой меч, дабы отвоевать вам то место, которое вы должны занимать в английском королевстве… даже если для этого потребуется сбросить с трона вашего супруга, короля Англии.

— Мессир Толомеи, — воскликнул граф Кент-

ский, — вы, я вижу, совсем не считаетесь с тем, что мой брат, сколь бы он ни был ненавидим, законно взошел на престол!

— Милорд, милорд, — ответил Толомеи, — подлинный король лишь тот, кто правит державой с согласия своих подданных. К тому же у вас есть другой король, которого можно хоть сейчас даровать английскому народу, — это молодой герцог Аквитанский. Он, кажется, показал себя достаточно мудрым для своих лет. Я, слава богу, насмотрелся на человеческие страсти и без труда узнаю те, от которых невозможно освободиться и которые губят самых могущественных владык. Королю Эдуарду не вырваться из-под влияния Диспенсеров, но зато Англия готова приветствовать суверена, которого ей дадут взамен ее нынешнего никуда не годного короля и окружающих его злодеев... Вы, мадам, конечно, возразите мне, что рыцари, которые пойдут бороться за ваше дело, дорого обойдутся, их надо обеспечить оружием, припасами и развлечениями. Но мы, ломбардцы, будучи не в состоянии оплачивать ваше изгнание, согласны содержать вашу армию, если лорд Мортимер, чья доблесть известна каждому, согласится ее возглавить... и если, разумеется, вы обещаете взять на себя долги сира

Эдуарда, с тем чтобы рассчитаться с нами в день вашей победы.

Вряд ли можно было сделать более ясное предложение. Ломбардские компании предлагали свои услуги в борьбе жены против мужа, сына против отца, любовника против законного супруга. Однако Мортимер был не так удивлен, как этого следовало ожидать, и спокойно ответил:

— Трудность, мессир Толомеи, состоит в том, как собрать это войско. Не в наших же покоях его держать! Где разместишь тысячу рыцарей, которых мы возьмем на свое содержание? В какой стране? Как бы хорошо ни относился король Франции к своей сестре, английской королеве, мы не можем решиться обратиться к нему с просьбой позволить нам собрать войско во Франции.

Старый сиенец и бывший узник Эдуарда отлично понимали друг друга.

— Разве молодой герцог Аквитанский, — сказал Толомеи, — не получил от своей матери королевы графство Понтье и разве не расположено оно против английских берегов, рядом с графством Артуа, где его светлость Робер, хотя он и не является его владельцем, насчитывает немало сторонников, чего вы не можете не знать, милорд, коль скоро вы получили там убежище после вашего побега?

— Понтье… — задумчиво повторила королева. — А что посоветуете вы, любезный Мортимер?

Сделка эта, пусть заключенная всего лишь на словах, была тем не менее твердым договором. Толомеи соглашался предоставить королеве и ее любовнику небольшой кредит на текущие расходы и на поездку в Понтье для подготовки экспедиции. Затем в мае он обязался дать им основные средства. Но почему в мае? Нельзя ли несколько приблизить эту дату?

Толомеи прикинул. В мае он вместе с компанией Барди рассчитывал получить крупный долг с папы, в связи с этим он попросит находящегося в Сиене Гуччо съездить в Авиньон, ибо папа через одного из служащих Барди дал понять Толомеи, что был бы рад вновь увидеть молодого человека. Надо пользоваться добрым расположением святого отца. А для Толомеи, возможно, это был последний случай увидеть своего племянника, которого ему так недоставало.

К тому же банкир при мысли о папе слегка развеселился. Подобно Карлу Валуа, когда шла речь о Крестовом походе, и Роберу Артуа, когда шла речь об Аквитании, он, думая об Англии, твердил про себя: «За все заплатит папа». Итак,

отправляющийся в Италию Боккаччо должен успеть побывать в Сиене, чтобы сиенец Гуччо, съездив в Авиньон и завершив там дела, успел вернуться в Париж…

— В мае, мадам, в мае… И да благословит вас Бог…

Так началась подготовка к войне, где столкнулись интересы двух любовных пар, к войне, изменившей судьбы государства.

Глава II
Возвращение в Нофль

Неужто и в самом деле Нофльское отделение банкирского дома было таким крохотным, а церковь, стоящая по ту сторону маленькой ярмарочной площади, — такой низенькой, неужто всегда была так узка дорога, ведущая в Крессе, Туари и Септей? Или все это просто казалось Гуччо потому, что сам он вырос, вырос, разумеется, не физически, ибо после двадцати лет человек уже не увеличивается в росте, а вырос внутренне, выросло его значение? Он привык к широким горизонтам и испытывал ныне такое чувство, будто он занимает в мире больше места, чем раньше.

Пролетело целых девять лет! При виде этого

фасада, этих деревьев, этой колоколенки он вдруг помолодел на девять лет! Или нет, скорее, состарился на эти пролетевшие годы.

Как и в былые времена, Гуччо невольно пригнулся, проходя через низкую дверь, разделявшую две комнаты первого этажа банка Толомеи, где производились все денежные операции и велась торговля. Его рука сама нащупала веревку, натянутую вдоль дубового столба, служившего опорой винтовой лестницы, и он поднялся в свою бывшую комнату. Здесь он любил, и ни до, ни после ему не довелось познать столь пламенной любви.

Тесная комнатка, прилепившаяся под самой крышей, дышала деревенским уютом и стариной. Как такое тесное жилище могло вместить столь огромную любовь? Через окно, вернее, через слуховое оконце был виден все тот же пейзаж, ничуть не изменившийся. Сейчас, в начале мая, деревья стояли в цвету, совсем как и в дни его отъезда, девять лет назад. Почему зрелище цветущих деревьев всегда так сильно волнует душу и почему нам кажется, будто лепестки, падающие с вишневых деревьев или устилающие, словно розоватый снег, землю под яблонями, почему нам кажется, будто осыпаются они с нашего сердца?

Между округлыми, как руки, ветвями виднелась крыша конюшни, той самой конюшни, откуда Гуччо бежал, когда в дом ломились братья де Кресс. Ох и натерпелся же он страху в ту ночь!

Он повернулся к оловянному зеркалу, стоявшему на старом месте, на дубовом сундуке. Обычно люди, вспоминая о своих слабостях, успокаиваются, любуясь на себя в зеркало: оттуда на них глядит волевое лицо, но они забывают, что это только их личное впечатление и что чужие глаза первым делом обнаружат на этом лице именно слабые стороны. Отполированный металл с серым отливом отражал лицо тридцатилетнего мужчины, черноволосого, с залегшей меж бровей складкой и темными глазами, которые Гуччо вполне одобрил, ибо глаза эти уже повидали немало стран, снежных вершин, волны двух морей, не раз зажигали желание в сердцах женщин и смело встречали взоры князей и королей.

…Гуччо Бальони, друг мой, что же ты не продолжил так славно начатую карьеру! Ты разъезжал из Сиены в Париж, из Парижа в Лондон, из Лондона в Неаполь, в Лион, Авиньон; ты отвозил послания королеве Изабелле, сокровища кардиналам, ты ездил просить руки королевы Клеменции! В течение двух долгих лет ты вращался

среди великих мира сего, защищал их интересы, был посвящен в их тайны. И было-то тебе всего двадцать лет! И все тебе удавалось! Стоит только посмотреть, каким тебя окружают вниманием здесь после девятилетнего отсутствия, — значит глубокую память оставил ты по себе и внушил всем дружеские чувства. Всем, начиная с самого папы. Стоило тебе явиться к нему за долгом, как он, сам папа, восседающий на престоле святого Петра и поглощенный множеством дел, проявил живой интерес к твоей судьбе, к твоему положению, он припомнил, что у тебя был ребенок, он даже выразил беспокойство, узнав, что тебя разлучили с этим ребенком, и пожертвовал несколько драгоценных своих минут, чтобы дать тебе кое-какие советы.

«Сына должен воспитывать отец», — сказал он тебе и выдал самую надежную охранную грамоту — грамоту папского посланца… А Бувилль! Бувилль, которому ты привез благословение папы Иоанна и который встретил тебя как долгожданного друга! При виде тебя он даже прослезился, дал тебе собственных оруженосцев и вручил запечатанное собственной печатью послание братьям Крессе, где просил разрешить тебе посмотреть на твоего сына!..

Таким образом, самые высокопоставленные люди уделяли внимание Гуччо, и притом, по его мнению, без всякой корысти, просто потому, что он умеет расположить к себе сердца и от природы наделен живым умом и неоценимым даром непринужденно держаться с сильными мира сего.

О! Почему он не проявил достаточной настойчивости! Он мог бы стать одним из великих ломбардцев, чье могущество равно могуществу государей, подобно Маччи деи Маччи, нынешнему хранителю французской королевской казны, или же подобно Фрескобальди в Англии, который без доклада входит к лорд-канцлеру казначейства.

Но может быть, уже поздно? Где-то в глубине души Гуччо считал себя выше своего дяди, способным сделать более блистательную карьеру. Ибо, если говорить серьезно, милейший дядя Спинелло занимался довольно мелкими делами. Главным капитаном компании ломбардцев в Париже он стал в основном благодаря своему старшинству и, пожалуй, еще потому, что собратья ему доверяли. Конечно, он обладал здравым смыслом и ловкостью, но отсутствие честолюбия и больших дарований не позволяло ему в

должной мере извлечь пользу из этих качеств. Сейчас, когда возраст иллюзий остался позади, Гуччо, как человек разумный, мог судить об этом беспристрастно. Да, он ошибся. И причиной всему была эта прискорбная история с ребенком, родившимся у Мари де Крессе. Да еще, признаться, охвативший его тогда страх, что братья Мари забьют его до смерти!

В течение долгих месяцев он только и думал что об этом злополучном происшествии. Горечь обманутой любви, уныние, стыд встретиться вновь с друзьями и покровителями после столь бесславной развязки, мечты о мести… Вот на что он тратил время. А теперь он собрался начать новую жизнь в Сиене, где о его печальных похождениях во Франции известно лишь то, что он сам рассказал. О, она не знала, эта неблагодарная Мари, не знала, какое блестящее будущее она погубила, отказавшись тогда бежать вместе с ним! Сколько раз в Италии он с болью думал об этом. Но теперь он отомстит…

А вдруг Мари скажет ему, что она по-прежнему его любит, что все время ждала его и что причиной их разлуки было лишь ужасное недоразумение? А что, если это случится? Гуччо знал, что тогда он не устоит, сразу же забудет все свои

обиды и увезет Мари де Кресс в Сиену, в их родовой замок на площади Толомеи и похвалится красавицей-женой перед своими согражданами. А ей покажет новый город, не такой, конечно, огромный, как Париж или Лондон, но ничуть не уступающий им в красоте, где недавно построили здание ратуши, которое великий Симон Мартини расписывал фресками, где возвышается черно-белый собор, который будет самым красивым собором во всей Тоскане, как только закончится отделка фасада. О! Какое это счастье — поделиться с любимой тем, что ты любишь сам! И зачем тратить зря время, мечтая перед оловянным зеркалом, а не помчаться сразу же в поместье Кресс и пожать плоды своего неожиданного появления?

Но он призадумался. Горечь, накопившуюся в течение девяти лет, нельзя забыть в одну минуту, так же как нельзя забыть и страх, который изгнал его из этого сада. Прежде всего ему нужен был сын. Конечно, было бы лучше послать туда сержанта с письмом графа Бувилля — так получилось бы куда солиднее. И потом… все так же ли прекрасна Мари после девяти лет разлуки? Будет ли он по-прежнему гордиться, ведя ее под руку?

Гуччо полагал, что уже достиг зрелости, того

возраста, когда мужчиной руководит разум. Но пусть меж бровей его залегла глубокая складка, он все равно остался тем человеком, в душе которого сочетаются коварство и наивность, спесивость и мечтательность. С годами наш характер почти не меняется, и в любом возрасте мы способны натворить ошибок. Волосы седеют быстрее, чем мы избавляемся от своих слабостей.

Мечтать об этом событии в течение девяти лет, ждать и в то же время бояться его, каждый день обращать слова молитвы к Богу, дабы это свершилось, и каждый день молить Святую Деву, чтобы та не позволила этому свершиться; с утра до вечера твердить фразы, которые необходимо сказать, если наступит долгожданный день, шептать ответы на придуманные самой вопросы; перебирать в уме сотни, тысячи возможностей, как событие это может произойти… Но вот оно произошло. И застало Мари врасплох.

И Мари так растерялась, когда в это утро служанка, некогда бывшая поверенной ее счастья и драмы, шепнула ей на ухо, что Гуччо Бальони вернулся, что его видели в Нофле, что он, как говорят, держится настоящим сеньором, что его сопровождают несколько королевских сержантов и что, наконец, он, должно быть, папский

посланец… Людская молва, как и обычно, гласила истину. Жители Нофля заметили упряжь из желтой кожи, расшитую ключами святого Петра, — подарок папы племяннику его банкира. На эту упряжь мальчишки, сбежавшиеся на площадь, глазели разинув рот, она-то и дала богатую пищу фантазии.

Запыхавшаяся, с блестящими от волнения глазами, с раскрасневшимися щеками, служанка стояла перед Мари де Крессе, а Мари не знала, что ей делать сейчас, что сделает она через минуту.

Наконец она промолвила:

— Платье!

Это слово вырвалось у нее невольно, само собой, и служанка поняла, о чем идет речь, — во-первых, потому, что у Мари было очень мало платьев, а во-вторых, потому, что Мари могла просить только то платье, которое в свое время сшили из красивого шелка, привезенного ей Гуччо в подарок. Это платье каждую неделю доставали из сундука, тщательно чистили, разглаживали, проветривали, иногда плакали, глядя на него, но никогда не надевали.

Гуччо мог появиться с минуты на минуту. Видела ли его служанка? Нет. Она сообщила лишь слухи, которые передавали из уст в уста… Быть

может, он уже едет сюда! Если бы у Мари был хоть один день, целый день, чтобы подготовиться к этой встрече! У нее было всего девять лет, но это все равно что иметь в своем распоряжении скоротечный миг!

Она не замечала ни того, что вода, которой она наспех обмыла грудь, живот, руки, была ледяная, ни того, что служанка стоит рядом, хотя Мари обычно стеснялась раздеваться при ней. Служанка было отвернулась, но потом украдкой взглянула на это прекрасное тело и со вздохом подумала о том, какая жалость, что оно так долго не знало мужчины, даже немного позавидовала упругости и красоте этого тела, похожего на прекрасный, озаренный солнечными лучами плод. А между тем груди отяжелели и слегка опустились, кожа на бедрах уже не была такой гладкой, как прежде, материнство оставило на животе несколько тонких полосок. Так, значит, тело благородных девушек тоже увядает, возможно, не столь быстро, как тело простых служанок, но все-таки увядает, и именно в том-то и заключается справедливость Бога, что он создает все живые существа похожими друг на друга!

Мари с трудом натянула платье. То ли сел шелк от долгого лежания, то ли располнела она сама?

Нет. Просто изменились формы ее тела: линии его стали другими, и округлости, казалось, чуть сместились. Да и сама она изменилась. Она хорошо знала, что светлый пушок над ее губами стал гуще, что по лицу от деревенского воздуха щедро рассыпаны веснушки. Волосы, эта копна золотистых волос, которые пришлось на скорую руку заплести в косы, потеряли былой блеск и шелковистость.

И вот наконец Мари облечена в свое праздничное платье, которое немного тесновато ей в проймах; из зеленых шелковых рукавов выглядывают покрасневшие от домашней работы руки, и руки эти, в которых она несла груз девяти лет загубленной жизни, вдруг оказались пустыми.

Что делала она все эти годы, которые кажутся ей сейчас одним мимолетным вздохом? Жила воспоминаниями. Несколько коротких месяцев любви и счастья, до срока сложенные в амбары памяти, стали ее насущным хлебом. На крупинки перемолола она каждую минуту этих месяцев жерновами памяти. Тысячу раз вызывала в мыслях образ молодого ломбардца, приехавшего, чтобы потребовать долг, и выгнавшего злого прево. Тысячу раз вспоминала его первый взгляд, проходила по местам их первой прогулки. Тысячу

раз повторяла она свой обет, данный в ночной тишине и полумраке часовни перед незнакомым монахом. Тысячу раз снова переживала тот страшный день, когда обнаружила свою беременность. Тысячу раз ее насильно вырывали из женского монастыря в предместье Сен-Марсель и отвозили в закрытых носилках с грудным младенцем в Венсенн, в королевский замок. Тысячу раз на ее глазах ее ребенка заворачивали в королевские пеленки и возвращали ей мертвым; при воспоминании об этом у нее и сейчас еще сердце, как кинжалом, пронзает боль. Она все еще ненавидит графиню Бувилль и желает ей мук адовых, хотя и грешно плохо думать о покойниках. Тысячу раз она клялась на Евангелии сохранить маленького короля Франции, не открывать ужасной тайны даже на исповеди и никогда не видеть больше Гуччо. И тысячу раз она спрашивала себя: «Почему это должно было случиться именно со мной?»

Она вопрошала в августовские дни бескрайнее, безмолвное голубое небо; вопрошала зимние ночи, которые проводила в одиночестве, дрожа от холода под грубыми простынями; вопрошала не сулящие надежд зори, сумерки, когда кончался день, не принеся отрады. Почему? Почему?

Она задавала этот вопрос, считая белье перед стиркой, приготовляя соус на кухне, засаливая в бочках мясо; она спрашивала у ручья, текущего под стенами замка, на берегах которого в дни церковных процессий резали по утрам камыш и ирисы.

Иногда она ненавидела Гуччо, ненавидела за то, что он существовал, за то, что он пронесся через ее жизнь, словно ураганный вихрь сквозь открытые двери дома, но тотчас же начинала упрекать себя за такие мысли, как за богохульство.

Она то считала себя великой грешницей, которую Всевышний обрек на вечное искупление содеянного ею греха, то мученицей, то святой, избранной Провидением для спасения французской короны, потомства Людовика Святого, спасения всего французского королевства, которое воплощал в себе этот доверенный ей ребенок… Именно так, незаметно для окружающих, можно лишиться рассудка.

Вести о единственном человеке, которого она любила, о ее супруге, которого никто не признавал ее супругом, она получала редко, да и то это были несколько слов, переданных приказчиком банка ее служанке. Гуччо был жив. Это все, что она знала. Какие муки испытывала

она, представляя себе или, вернее, будучи не в силах представить себе Гуччо живущим в чужой стране, в чужом городе, думая, что он, быть может, женился там заново. Ломбардцы не так уж строго придерживаются данного обета! И вот теперь Гуччо в четверти лье отсюда! Но действительно ли ради нее он вернулся? А может, просто для того, чтобы уладить какое-нибудь дело? Как было бы страшно узнать, что он так близко отсюда, но что приехал не ради нее. Но могла ли она упрекнуть его в этом, ведь девять лет назад она сама отказалась его увидеть, сама в жестоком письме запретила приближаться к ней и даже не могла открыть ему истинную причину своей жестокости! Внезапно она вскрикнула:

— Ребенок!

Ведь Гуччо захочет увидеть этого мальчика, которого он считает своим! Может быть, ради этого он и появился вновь в здешних краях?

Жанно был недалеко, на лугу, у Модры, по берегам которой росли желтые ирисы; речушка была такая мелкая, что можно было не опасаться, что мальчик утонет. Из окна она видела, как Жанно играет с младшим сыном конюха, двумя мальчишками каретника и с дочерью мельника, кругленькой, как пышка. Колени, лицо и даже

светлые волосы его были выпачканы в грязи. У этого мальчугана, которого все считали незаконнорожденным ребенком, плодом греха и соответственно относились к нему, был звонкий голос и крепкие розовые икры.

Но как не видят все они — братья Мари, крестьяне и жители Нофля, что волосы у Жанно отнюдь не золотистые, почти русые, как у матери, и уж совсем не темные, почти черные, как у отца, и что даже цвет лица у него совсем иной, чем у смуглого Гуччо? Как не замечают они, что мальчик — настоящий маленький Капетинг, что от них он унаследовал длинное лицо, бледно-голубые, широко расставленные глаза, подбородок, в котором уже чувствуется сила, соломенные волосы? Король Филипп Красивый был его дедом. Просто удивительно, что у людей на глазах шоры и они видят и вещи, и живых существ именно такими, какими создали в своем воображении.

Когда Мари попросила своих братьев отправить Жанно к монахам в соседний монастырь августинцев, чтобы он научился писать, они пожали плечами.

— Мы умеем немного читать, но проку от этого нет; мы не умеем писать, а если бы и умели, то все равно проку не было бы, — ответил старший. —

Почему ты считаешь, что Жанно должен знать больше, чем мы? Учиться — это дело клириков, а ты даже клирика из него не сможешь сделать, потому что он незаконнорожденный!

По поросшему ирисами лугу, недовольно хмурясь, шагал ребенок за пришедшей за ним служанкой. Размахивая палкой, он изображал рыцаря и уже собирался разрушить стены крепости, где злые люди держат в плену дочь мельника. Но как раз в эту минуту братья Мари, дяди Жанно, которые не подозревали, что они вовсе ему не дяди, вернулись домой с поля. Оба в пыли, пропахли лошадиным потом, под ногтями набилась грязь. Старший, Пьер, стал похож на покойного отца, над поясом уже выступает жирное брюшко, борода всклокочена, во рту не хватает двух клыков, да и остальные зубы давно испорчены. Он ждет войны, чтобы проявить себя, и каждый раз, когда в его присутствии говорят об Англии или Священной Римской империи, он кричит, что королю стоит лишь поднять свое войско, и тогда все увидят, на что способно рыцарство. Сам он, правда, не рыцарь, но мог бы стать рыцарем во время одной из кампаний. Он участвовал лишь в одном-единственном походе — в знаменитом «грязевом походе» Людовика Сварливого, а в Ак-

витанскую кампанию о нем даже не вспомнили. Некоторое время он жил надеждой на Крестовый поход, который, по слухам, готовил Карл Валуа, но потом его высочество Карл скончался. Ох, почему Всевышний не дал нам в короли этого барона!

Младший, Жан, остался почти таким же худым, да и лицом был побледнее, но за внешностью своей следил не больше брата. Он равнодушно отдавался монотонному течению жизни. Ни тот ни другой так и не женились. После смерти матери, мадам Элиабель, заботы по дому легли на плечи их сестры — таким образом, в семье был человек, который готовил им еду, следил за их грубым бельем и на которого при случае они могли накричать, а с женой пришлось бы вести себя сдержаннее. Даже если на штанах появлялась дырка, и тут можно было обвинить Мари — из-за позора, которым она покрыла их семью, братья не смогли найти себе достойных жен.

Так они и жили, ни богато, ни бедно, благодаря пенсии, которую граф Бувилль аккуратно высылал молодой женщине под тем предлогом, что она была когда-то королевской кормилицей, да еще благодаря подаркам, которые Толомеи продолжал присылать тому, кого считал своим внучатым племянником. Грех Мари, таким

образом, представлял известную выгоду для ее братьев.

В Монфор-л'Амори у Жана есть знакомая вдова, которую он время от времени навещает, — в такие дни он с вороватым видом старается принарядиться. Пьер предпочитает охотиться за подобной дичью на своих угодьях и без особых трат может чувствовать себя сеньором — в соседних деревушках уже бегает с десяток похожих на него ребятишек. Но то, что для юноши из благородной семьи дело самое обычное, для благородной девицы — прямое бесчестье; все это знают, и тут уж ничего не поделаешь.

Оба брата, Пьер и Жан, весьма поразились, увидев сестру в шелковом платье и Жанно, отбивающегося от умывавшей его служанки. Уж не праздник ли сегодня, о котором они забыли?

— Гуччо в Нофле, — сказала Мари и отступила назад, ибо от Пьера можно было ждать и пощечины.

Но нет, Пьер молчал; он смотрел на Мари. Жан тоже. Оба стояли, опустив руки, видно было, что они не в силах сразу переварить столь неожиданную весть. Гуччо вернулся! Новость действительно поразительная, и им требовалось время, чтобы осознать ее. Какие новые вопросы

возникнут для них в связи с этим? Они вынуждены были признать, что очень любили этого Гуччо, когда он был их товарищем по охотничьим забавам, когда привез им миланских соколов, любили до тех пор, пока не обнаружили, что этот малый буквально у них под носом затеял роман с их сестрицей. Потом они решили убить его, когда мадам Элиабель обнаружила грех, зреющий в чреве ее дочери. Потом, после посещения банкира Толомеи в его парижском доме, они сильно пожалели, что были столь жестоки, и поняли, хотя и слишком поздно, что брак с богатым ломбардцем был бы меньшим бесчестьем для их сестры, чем ее материнство без мужа.

Однако времени для раздумья у них не оставалось, ибо вооруженный сержант в ливрее графа Бувилля и в камзоле из голубого сукна, отороченном понизу кружевами, гарцуя на огромном гнедом коне, въехал во двор, куда тотчас же сбежались изумленные люди. Крестьяне поснимали шапки, из приоткрытых дверей высовывались головы ребятишек; женщины поспешно вытирали руки о передник.

Сержант передал мессиру Пьеру два письма — одно от Гуччо, другое от самого графа Бувилля. Пьер де Крессе принял высокомерную позу че-

ловека, которому вручают важное послание: он нахмурил брови, надул губы и твердым голосом приказал напоить и накормить гонца, как будто тому пришлось проскакать по меньшей мере пятнадцать лье. Затем он подошел к брату, чтобы вместе прочесть письмо. Но и двоим Крессе это оказалось не под силу, и они кликнули Мари, которая лучше разбиралась в грамоте.

И тут Мари охватила дрожь, неуемная, неудержимая.

— Мы сами ума не приложим, мессир. Нашу сестру начала бить дрожь, да такая, будто сатана собственной персоной внезапно появился перед ней. Она наотрез отказалась даже взглянуть на вас. А потом сразу как зарыдает!

Оба брата Крессе были очень смущены. Они велели почистить себе башмаки, а Жан вырядился в камзол, который обычно надевал лишь тогда, когда отправлялся к своей вдовушке в Монфор. Стоя в задней комнате Нофльского отделения банка перед мрачным Гуччо, который даже не предложил гостям сесть, они чувствовали себя до крайности неловко, и в душе их боролись противоречивые чувства.

Получив два часа назад письмо, они принялись размышлять, как бы сорвать куш побольше за

увоз их сестры и признание ее брака. Тысяча ливров наличными — вот на чем они остановились. Ломбардцу ничего не стоит раскошелиться. Но Мари своим странным поведением и упорным отказом видеть Гуччо разбила все их надежды.

— Мы пытались ее урезонить и действовали против нашего же блага, ведь ежели она покинет дом, нам придется туго, так как она ведет наше хозяйство. Но в конце концов, мы понимаем, что если после стольких лет вы вернулись за ней, то она, должно быть, и впрямь ваша законная жена, несмотря на то что бракосочетание происходило втайне. Да и времени утекло с тех пор немало…

Говорил бородач Пьер, и язык у него заплетался. Младший брат лишь кивал, подтверждая слова старшего.

— Мы откровенно признаем, — продолжал Пьер де Кресс, — что совершили ошибку, отказав вам в руке нашей сестры. Но такова была не столько наша воля, сколько воля нашей покойной матушки — царство ей небесное! — а она сильно заупрямилась. Дворянин обязан признавать свои ошибки: если Мари пошла против нашей воли, есть тут доля и нашей вины. Но пора уже забыть былые раздоры. Время берет верх над всеми нами. Но только теперь Мари сама

не хочет вас видеть, а ведь, клянусь Богом, она и не помышляет ни о каком другом мужчине, что угодно, только не это! Так что я сам ничего не понимаю. У нашей сестрицы голова не как у всех устроена, со странностями она, разве не правда, Жан?

Жан де Крессе одобрительно кивнул.

Для Гуччо наступила минута великого возмездия: перед ним стояли и каялись, еле ворочая от смущения языком, те самые молодчики, которые когда-то темной ночью явились с рогатинами, чтобы убить его, из-за них он вынужден был бежать из Франции. А теперь они хотят только одного — отдать ему свою сестру; еще немного, и они будут умолять его поторопиться в Крессе, настоять на своем и предъявить свои супружеские права.

Но, видно, плохо они знали Гуччо и его болезненное самолюбие. Два этих простака были для него ничто. Только Мари имела значение, а Мари отвергла его теперь, когда он находился совсем рядом, когда он приехал, готовый забыть все нанесенные ему оскорбления. Уж не созданы ли эти люди только для того, чтобы унижать его при каждой новой встрече?

— Его светлость Бувилль, видно, знал, что она

поступит именно так, — проговорил бородач, — потому что он пишет мне в письме: «Если мадам Мари, что весьма вероятно, откажется видеть сеньора Гуччо…» А сами-то вы не знаете, почему он так написал?

— Нет, не знаю, — ответил Гуччо, — но надо полагать, что она наговорила обо мне мессиру Бувиллю немало неприятных вещей, раз он так правильно все предугадал.

— Но ведь у нее никакого другого мужчины и в помине нет, — твердил бородач.

Гуччо чувствовал, как его охватывает ярость. Черные брови грозно сошлись к вертикальной складке, прорезавшей лоб. На сей раз он в полном праве не церемониться с Мари. На жестокость он ответит еще большей жестокостью.

— А мой сын? — спросил он.

— Он здесь. Мы его привезли.

В соседней комнате мальчик, который был внесен в списки королевской фамилии и которого вся Франция считала умершим девять лет назад, с любопытством смотрел, как приказчики подсчитывают выручку, и развлекался, разглаживая гусиное перо. Жан де Кressе открыл дверь.

— Жанно, иди сюда, — сказал он.

Гуччо внимательно прислушивался к тому,

что происходило в нем, стараясь вызвать в душе волнение. «Мой сын, я увижу своего сына», — думал он. На самом же деле он не чувствовал ровно ничего. А ведь он сотни раз представлял себе эту минуту. Но одного он не мог предвидеть — этого торопливого топота по-деревенски неуклюжих шагов, доносившихся из-за двери.

Ребенок вошел. На нем были коротенькие штанишки и нечто вроде блузы; непокорные светлые волосы ерошились над чистым лбом. Настоящий деревенский мальчишка.

Наступило неловкое молчание, и ребенок отлично понял, что трое этих мужчин чем-то сконфужены. Пьер подтолкнул его к Гуччо.

— Жанно, это…

Надо было что-то сказать, сказать Жанно, кем ему приходится Гуччо, и сказать надо было только правду.

— …это твой отец.

Гуччо, пусть это было нелепо, ждал бурной радости, объятий, слез. Маленький Жанно поднял на него голубые удивленные глаза.

— А мне сказали, что он умер, — произнес он.

Гуччо словно ударили; злобная ярость вскипела в нем.

— Нет же, нет, — поспешил вмешаться Жан де

Крессе. — Он был в отъезде и не мог писать нам. Не так ли, дорогой Гуччо?

«Сколько же лжи пришлось выслушать этому ребенку! — подумал Гуччо. — Терпение, терпение... Эти злодеи дошли до того, что сказали мальчику, будто его отец умер!» И так как нельзя было больше молчать, он проговорил:

— Какой он светловолосый!

— Да, он очень похож на дядю Пьера, брата нашего покойного отца, чье имя я ношу, — ответил бородач.

— Жанно, иди ко мне. Иди, — позвал Гуччо.

Ребенок повиновался, но его маленькая шершавая рука словно чужая лежала на ладони Гуччо, и когда тот поцеловал его, он вытер щеку.

— Мне хотелось бы, чтобы он побыл со мной несколько дней, — продолжал Гуччо, — я отвезу его к моему дяде Толомеи, которому не терпится взглянуть на внука.

При этих словах Гуччо машинально, совсем как Толомеи, прикрыл левый глаз.

Жанно смотрел на него, открыв рот. Сколько же у него, оказывается, дядьев! Все только и говорят о каких-то дядях.

— У меня в Париже есть один дядя — он присылает мне подарки, — проговорил он звонким

голосом.

— Как раз к этому дяде мы и поедем… Если твои дяди ничего не имеют против… Вы не возражаете? — спросил Гуччо.

— Конечно нет, — ответил Пьер де Кресс. — Его светлость Бувилль предупредил нас об этом в своем письме и наказал нам исполнить вашу просьбу.

Нет, решительно эти Кресс боялись даже пальцем пошевелить без разрешения Бувилля!

Бородач мечтал о подарках, которые банкир не преминет сделать своему внучатому племяннику. Очевидно, расщедрится и даст кошель золота, что будет весьма кстати, ибо в этом году на скотину напал мор. И кто знает? Банкир стар, возможно, он собирается включить мальчугана в свое завещание?

А Гуччо уже предвкушал месть. Но месть плохое лекарство от утраченной любви.

Первым делом мальчика прельстили конь Гуччо и сбруя с папскими крестами. Никогда еще ему не приходилось видеть такого красивого скакуна. Со смешанным чувством любопытства и восхищения разглядывал он также одеяние этого свалившегося с неба отца. Он любовался узкими панталонами — даже на коленях не было

складок, мягкими сапожками из темной кожи и дорожным костюмом — такой костюм он видел впервые: короткий, с маленьким капюшоном плащ из крапчатой материи цвета осенней листвы, застегивающийся спереди до самого горла на множество пуговиц, пришитых тесемками.

Правда, у сержанта графа Бувилля наряд был, пожалуй, еще более блестящий и бросающийся в глаза: голубая ткань переливалась под солнцем, отвороты на рукавах и низ камзола украшены фестонами, на груди вышит графский герб. Но ребенок сразу заметил, что Гуччо командовал сержантом, и поэтому проникся глубочайшим уважением к своему отцу, который говорит тоном хозяина с человеком в таком великолепном одеянии.

Они проехали уже около четырех лье. На постоялом дворе в Сен-Ном-ла-Бретеш, где они сделали привал, Гуччо привычным властным тоном потребовал яичницу с зеленью, жаренного на вертеле каплуна, сыр. И конечно, вина. Служанки бросились выполнять заказ, чем еще больше возвысили Гуччо в глазах Жанно.

— Почему вы говорите иначе, чем мы, мессир? — спросил он. — Вы даже произносите слова совсем не так, как мы.

Гуччо задело это замечание относительно его тосканского акцента, сделанное к тому же собственным сыном.

— Потому что я из Сиены, из Италии, там я родился, — ответил он с гордостью. — И ты тоже станешь сиенцем, свободным гражданином этого города, где мы всемогущи. И потом, зови меня не мессир, а padre[76].

— Padre, — покорно повторил малыш.

Гуччо, сержант и ребенок уселись за стол. В ожидании яичницы Гуччо начал учить Жанно итальянским словам, называя различные предметы повседневного обихода.

— Tavola, — говорил он, кладя ладонь на край стола. — Bottiglia, — продолжал он, поднимая бутылку, — vino.

Он испытывал стеснение перед ребенком и вел себя не совсем естественно: страх, что он не сумеет заставить мальчика себя полюбить, и страх, что сам он не сумеет его полюбить, буквально парализовал Гуччо. Напрасно он твердил про себя: «Это мой сын», он по-прежнему ничего не ощущал, кроме глубокой враждебности к людям, вырастившим Жанно.

---

[76] Примечания: 76
Отец *(ит.).*

Никогда еще Жанно не пил вина. В Крессе довольствовались сидром, а то и пивом, как крестьяне. Он отпил несколько глотков. Яичница и сыр были для него не в новость, но жареный каплун — это уж праздничное блюдо, да и вообще пир не в урочное время, где-то на дороге, ужасно ему нравился. Он не чувствовал страха, а все это приключение заставляло его забыть о матери. Ему сказали, что он увидит ее через несколько дней… Париж, Сиена — все эти названия мало что говорили его уму, и он даже не представлял себе, близко ли это или далеко от их Крессе. В следующую субботу он вернется на берег Модры и объявит дочери мельника и сыновьям каретника: «Я сиенец», и ему не нужно будет ничего объяснять, ибо товарищи его игр знают еще меньше, чем он, о Париже и о Сиене.

Проглотив последний кусок, вытерев кинжалы хлебным мякишем и засунув их за пояс, они снова сели на коней. Гуччо поднял ребенка и

посадил его впереди себя поперек седла[77]. От обильного обеда и особенно от вина, которое он попробовал впервые в жизни, малыша клонило ко сну. Через полчаса он уже заснул, не чувствуя конской рыси.

Нет ничего трогательнее вида спящего ребенка, особенно среди дня, когда взрослые бодрствуют. Гуччо поддерживал рукой это маленькое существо, уже достаточно тяжелое, но беспомощное, мерно покачивавшееся в ритм скачки.

Он машинально коснулся подбородком белокурых волос и еще крепче сжал руку, чтобы теснее прижать к груди эту круглую головенку, защитить этот глубокий сон. От маленького сонного тела исходил аромат детства. И внезапно Гуччо почувствовал себя отцом, он гордился тем, что он отец, и на глаза у него навернулись слезы.

— Жанно, мой Жанно, мой Джаннино, — прошептал он, касаясь губами теплых шелковистых волос.

---

[77] Примечания: 77

Обычай брать с собой в поездку ребенка в то время был весьма распространен, хотя и не совсем удобен. В самом деле, в конце XIII и в начале XIV в. дорожные седла если и снабжались очень высокой задней лукой в виде спинки, о которую опирался всадник, то на передней луке головки не имели и казались довольно плоскими. Высокой передней лукой располагало боевое седло, чтобы всадник, тяжеловооруженный и выдерживающий яростные удары, был словно вставлен в углубление между задней и передней луками.

Боясь разбудить ребенка и желая продлить счастье, он пустил коня шагом и сделал знак сержанту, чтобы тот последовал его примеру. Разве так уж важно, когда они приедут! Завтра Джаннино проснется в особняке на Ломбардской улице, который покажется ему дворцом: вокруг него будут суетиться служанки, они его вымоют, оденут, словно маленького синьора, и вот тогда-то начнется волшебная сказка.

Мари де Крессе, не торопясь, складывала свое так и не понадобившееся платье перед сердито молчавшей служанкой. Служанка тоже мечтала об иной жизни, надеясь уехать вместе со своей хозяйкой, и сейчас даже в ее молчании чувствовался упрек.

Мари перестала дрожать, слезы на глазах высохли: она приняла решение. Что ж, она подождет еще несколько дней, самое большее неделю. Сегодня утром ее охватил ужас. И виноваты в этом девять лет неотступных мыслей об одном и том же, вот почему на нее напал болезненный страх и она ответила нелепым, безумным отказом!

И все оттого, что она думала о клятве, которую ее заставила некогда дать госпожа Бувилль, эта скверная женщина… И потом, эти угрозы… «Если вы еще раз увидите того молодого ломбардца, это

будет стоить ему жизни…»

Но столько времени с тех пор прошло! Сменились два короля, и никто не проронил ни слова. И сама госпожа Бувилль тоже умерла. Да и не противоречит ли вообще эта ужасная клятва всем законам Божьим? Разве не грех запретить человеку рассказывать о своих душевных муках на исповеди? Даже монахини могут быть освобождены от своего обета. И потом, никто не имеет права разлучать супругов! Это уж совсем не по-христиански. К тому же граф Бувилль не епископ, да и не так опасен, как его покойная жена.

Обо всем этом Мари следовало бы подумать нынче утром и честно признать, что не может она жить без Гуччо, что ее место рядом с ним, особенно теперь, когда Гуччо приехал за ней, и ничто на свете — ни клятвы, данные девять лет назад, ни тайны, ни страх перед людьми, ни даже возможная кара самого Господа Бога не помешают ей последовать за ним.

Не станет она лгать Гуччо. Мужчина, который через девять лет все еще любит вас, который не взял себе новой жены и вернулся за вами, такой мужчина — человек прямой, честный, совсем как те рыцари, что преодолевают все препятствия. Такому человеку можно доверить любую тайну,

и он сумеет ее сохранить. И нельзя лгать такому человеку, нельзя, чтобы он думал, будто его сын жив, будто именно его он сжимает в объятиях, тогда как это все неправда.

Мари сумеет объяснить Гуччо, что их ребенка, их первенца — ибо она считала, что умерший ребенок только их первенец, — в силу рокового стечения обстоятельств пришлось отдать, подменить, чтобы спасти жизнь настоящему королю Франции. Она попросит Гуччо разделить ее клятву, и они вместе вырастят маленького Иоанна Посмертного, правившего всего пять первых дней своей жизни — до того дня, когда бароны явились посмотреть своего нового государя, чтобы вручить ему корону! И другие дети, которые у них будут, станут в один прекрасный день как бы братьями короля Франции. В самом деле, раз неисповедимая судьба может сотворить любое зло, почему же не может она сотворить добро?

Вот что Мари объяснит Гуччо через несколько дней, на следующей неделе, когда он привезет обратно Жанно, как условился с ее братьями. И к ним наконец придет долгожданное счастье, и если правда, что на земле за счастье нужно платить равной ему долей страдания, то оба они уже оплатили наперед все грядущие радости до

конца дней своих! Захочет ли Гуччо поселиться в Крессе? Конечно нет. В Париже? Пребывание там слишком опасно для маленького Жана, да к тому же не следует бросать столь дерзкий вызов графу Бувиллю! Они отправятся в Италию. Гуччо увезет Мари в страну, которую она знает лишь по прекрасным тканям да искусной работе ювелиров. До чего же любит она эту Италию, ведь оттуда явился человек, предназначенный ей самим Богом! Мари мысленно уже ехала рядом со своим вновь обретенным супругом. Через неделю, надо ждать всего лишь одну неделю…

Увы! В любви недостаточно испытывать одни и те же желания, надо еще их высказать в одну и ту же минуту!

Глава III
Королева Тампля

Для девятилетнего мальчугана, чей кругозор с того дня, как он начал помнить себя, был ограничен ручейком, навозными ямами да деревенскими крышами, открытие Парижа — подлинное волшебство. И особенно когда все это открывает родной отец, а отец этот гордится своим сыном, недаром велел слугам одеть его в

нарядное платье, завить ему волосы, мыть его и натирать ароматическими маслами, водил его по самым лучшим лавкам, пичкал сладостями, купил ему богато расшитые туфли и кошель, который носят на поясе, да еще наполнил его настоящими монетами! Для Жанно, или, вернее, Джаннино, наступили сказочные дни.

А в какие роскошные дома водил его отец! Под различными предлогами, а часто даже без всякого предлога Гуччо наносил визиты всем своим прежним знакомым только для того, чтобы с гордостью заявить: «Мой сын!» — и показать это чудо, эту ни с чем не сравнимую, единственную в мире прелесть — маленького мальчика, говорившего ему padre mio с заметным французским акцентом.

Если кто-нибудь удивлялся тому, что Джаннино блондин, Гуччо намекал на его мать, женщину благородного происхождения; говорил он об этом загадочным тоном, каким обычно сообщают нескромные вещи, и, подобно всем итальянцам, делал вид, будто не желает распространяться о своей победе. Таким образом все парижские ломбардцы — Перуцци, Бокканегра, Маччи, Альбицци, Фрескобальди, Скамоцци и сам синьор Боккаччо были в курсе дела.

Дядюшка Толомеи, у которого один глаз был открыт, а другой закрыт, у которого был огромный живот и который приволакивал ногу, не отставал в хвастовстве от племянника. О! Если бы Гуччо мог поселиться в Париже под его крышей с маленьким Джаннино, как счастливо протекли бы последние годы жизни старого ломбардца.

Но это была несбыточная мечта. Ребенка, как было обещано, следовало вернуть в его другую семью и только время от времени навещать его. Но почему не захотела узаконить брак эта глупая упрямица Мари де Крессе, почему не согласилась жить вместе со своим супругом, когда все прочие пришли к соглашению? Хотя Толомеи испытывал теперь ужас при одной мысли о поездках, он предложил отправиться в Нофль и сделать последнюю попытку к примирению.

— Нет, теперь уж я не желаю иметь с ней дело, дядя, — заявил Гуччо. — Не позволю ей больше издеваться надо мною! Да и что за удовольствие жить с женщиной, которая больше меня не любит?

— А ты в этом уверен?

Лишь одна вещь, одна-единственная, могла заставить самого Гуччо усомниться в этом. Дело в том, что на шее Джаннино он обнаружил ма-

ленькую ладанку, которую королева Клеменция подарила Гуччо, когда он находился в больнице для бедных в Марселе, и которую он в свою очередь подарил тяжелобольной Мари.

— Мама сняла ее со своей шеи и надела на меня, когда дяди уводили меня к вам, — пояснил мальчик.

Но разве можно основываться на столь слабом свидетельстве? Ведь жест этот мог быть просто проявлением набожности.

Да и граф Бувилль держался вполне определенного мнения.

— Если ты хочешь сохранить при себе этого ребенка, увези его в Сиену, и чем раньше, тем лучше, — посоветовал он Гуччо.

Разговор происходил в особняке бывшего первого камергера, вблизи Пре-о-Клерк. Бувилль прогуливался по саду, обнесенному высокой стеной. При виде Джаннино у него на глаза навернулись слезы. Он поцеловал сначала руку малыша, потом обе его щечки и, осмотрев с головы до ног, прошептал:

— Настоящий маленький принц, настоящий маленький принц!

При этом он утер слезу. Гуччо удивило волнение человека, занимавшего столь высокие посты, и

он был тронут этим проявлением чувств, так как счел его за выражение дружбы к нему самому.

— Да, настоящий маленький принц, вы правы, мессир, — отозвался Гуччо, не помня себя от счастья. — И право же, это удивительно, ведь подумайте, он никогда не знал ничего другого, кроме деревенской жизни, да и мать его, в конце концов, всего лишь крестьянка!

Бувилль покачал головой. Да, да, все это действительно было очень странно…

— Увези его, это будет самое благоразумное с твоей стороны. К тому же ты ведь получил высочайшее одобрение святейшего отца? Я прикажу дать тебе на сей раз двух сержантов, и они проводят тебя до самой границы королевства, чтобы ни с тобой, ни с… этим ребенком не приключилось никакой беды.

Ему, очевидно, было трудно выговорить «твоим сыном».

— До свидания, мой маленький принц, — сказал он, еще раз обнимая Джаннино. — Увижу ли я тебя когда-нибудь?

И он поспешно удалился, потому что на его большие глаза снова навернулись слезы. Право же, этот ребенок до боли похож на великого короля Филиппа, на короля Филиппа Красивого!

— Мы возвращаемся в Крессе? — спросил Джаннино утром 11 мая, увидев сундуки, приспособленные для вьючной перевозки, и заметив, что в доме идет суматоха, всегда сопутствующая отъезду.

Казалось, он не слишком стремился домой.

— Нет, сын мой, — ответил Гуччо, — сначала мы поедем в Сиену.

— А мама тоже поедет с нами?

— Нет, пока не поедет, она приедет потом.

Ребенок успокоился. И тут Гуччо подумал, что для Джаннино после девяти лет лжи об отце начались теперь годы лжи о матери. Но что делать? Быть может, когда-нибудь мальчику придется сказать, что мать его умерла…

Перед тем как пуститься в путь, Гуччо решил нанести еще один визит, который был если не самым важным, то самым чудесным, — ибо речь шла о королеве Клеменции Венгерской.

— А где она, эта Венгрия? — спросил ребенок.

— Очень далеко, по пути на Восток. Надо ехать много недель, чтобы до нее добраться. Очень мало людей побывало там.

— Почему же она живет в Париже, эта мадам Клеменция, если она королева Венгрии?

— Она никогда не была королевой Венгрии,

Джаннино; это ее отец был там королем, а она, она была королевой Франции.

— Так она, значит, жена короля Карла Красавчика?

Нет, жена короля — мадам д'Эврё, которую будут короновать как раз сегодня; сейчас они пойдут в королевский дворец и посмотрят на церемонию в Сент-Шапель, пусть последние впечатления Джаннино о Франции будут особенно прекрасными. И Гуччо, нетерпеливый Гуччо не испытывал ни скуки, ни утомления, вбивая в детскую головенку вещи, которые кажутся всем столь очевидными и которые на самом деле отнюдь не столь очевидны, если их не знать с младенчества. Так начинается наука познания мира.

Но кто же тогда эта королева Клеменция, которую они собирались навестить? И откуда Гуччо ее знает?

Расстояние от Ломбардской улицы до Тампля, если идти по улице Верери, невелико. По дороге Гуччо рассказал ребенку, как он ездил в Неаполь вместе с графом Бувиллем… «Это тот толстый синьор, помнишь, к которому мы ходили вчера и который тебя поцеловал…» А ездили они для того, чтобы просить руки этой принцессы для

короля Людовика X, который сейчас уже умер. Гуччо рассказал также, как он сопровождал мадам Клеменцию на корабле, который привез ее во Францию, и как он чуть было не погиб во время шторма, когда они плыли в Марсель.

— А эту ладанку, которую ты носишь на шее, она подарила мне в знак благодарности за то, что я спас ее от гибели.

Потом, когда у королевы Клеменции родился сын, мать Джаннино была избрана ему в кормилицы.

— Мама мне никогда ничего об этом не говорила, — воскликнул удивленно мальчик, — значит, и она тоже знает мадам Клеменцию?

Все это было слишком сложно. Джаннино хотелось узнать, не находится ли Неаполь в Венгрии. Да и на улице была сильная толчея; мальчик не успел закончить фразу, а крик водоноса заглушил ответ. Ребенку было не под силу осмыслить все, что ему рассказали. Двадцать или тридцать лет спустя он, может быть, скажет: «Мой отец говорил мне об этом как-то в Париже, когда мы шли по улице Тампль, но я был тогда слишком мал; отец уверял меня, что я был молочным братом короля Иоанна Посмертного».

Что такое молочный брат, Джаннино пони-

мал хорошо. В Крессе часто об этом говорили: молочных братьев в деревне не счесть. Но быть молочным братом короля — это совсем другое дело. Тут было над чем подумать. Ведь король — это взрослый и сильный человек с короной на голове… Он никак не мог вообразить, что у королей могут быть молочные братья и что вообще короли могут быть маленькими детьми, да еще умереть пяти дней от роду.

— Мама никогда ничего мне об этом не говорила, — повторил он.

И в душе его поднялась досада против матери, которая скрыла от него столько удивительных вещей.

— А почему место, куда мы идем, называется Тамплем?

— Из-за тамплиеров.

— А! Знаю, они плевали на крест, поклонялись кошачьей голове и отравили колодцы, чтобы завладеть всеми деньгами королевства.

Он слышал это от сыновей каретника, которые повторяли слова отца, а откуда все это взял каретник — неизвестно. Нелегко было в такой толчее и при такой спешке объяснить мальчику, что на самом деле все было куда сложнее. А ребенок никак не мог взять в толк, почему королева, к

которой они идут, живет у таких гадких людей.

— Их там больше нет, figlio mio[78]. Их вообще больше нет; это бывшее жилище Великого магистра.

— Мэтра Жака де Моле! Это он был магистром?

— Сделай рожки, сделай рожки из пальцев, мальчик мой, когда произносишь это имя!.. Так вот, когда тамплиеров уничтожили, сожгли или изгнали, король забрал себе Тампль, который был их замком.

— Какой король?

Бедный Джаннино окончательно запутался в королях!

— Филипп Красивый.

— А ты видел короля Филиппа Красивого?

Ребенок не раз слышал разговоры об этом грозном короле, которого теперь, после его кончины, глубоко почитали, но Филипп Красивый, как и многое другое, относился к царству теней, существовавших еще до рождения Джаннино. И Гуччо умилился.

«В самом деле, — подумал он, — ведь его тогда еще не было на свете; для него Филипп Красивый — это все равно что Людовик Святой!»

---

[78] Примечания: 78
Сын мой *(ит.).*

И так как им пришлось из-за скопления народа замедлить шаг, он ответил:

— Да, я видел его. Я даже чуть было не сбил его с ног на одной из этих улиц, а произошло это по вине двух моих борзых, которых я прогуливал на поводке в день приезда в Париж, двенадцать лет назад.

И время захлестнуло его, словно огромная волна, которая внезапно накрывает вас с головой, а затем рассыпается на мелкие брызги. Вокруг него вскипала пена минувших дней. Теперь он уже совсем взрослый человек, ему было что вспомнить и рассказать!

— И вот дом тамплиеров, — продолжал он, — стал собственностью короля Филиппа Красивого, а затем короля Людовика, а затем короля Филиппа Длинного, предшественника нынешнего короля. И король Филипп Длинный отдал Тампль королеве Клеменции в обмен на Венсеннский замок, который она унаследовала от своего супруга короля Людовика[79].

— Padre mio, я хочу вафлю.

Аппетитный запах вафель, доносившийся из лавки, приятно щекотал ноздри, и у мальчика

---

[79] Примечания: 79

Сделка была заключена в августе 1317 г. между Филиппом и Клеменцией.

сразу пропал всякий интерес ко всем этим королям, слишком быстро умиравшим и слишком часто менявшим свои замки. К тому же он отлично знал, что стоит начать просьбу со слов padre mio, и наверняка добьешься выполнения любого своего желания, однако на этот раз обычная уловка не помогла.

— Нет, на обратном пути, сейчас ты испачкаешься. Хорошенько запомни то, чему я тебя учил. Не заговаривай с королевой, а только отвечай, если она сама к тебе обратится; не забудь встать на колени и поцеловать ей руку.

— Как в церкви?

— Нет, не как в церкви. Давай я покажу тебе, или нет, лучше объясню, а то мне трудно лишний раз становиться на колени из-за больной ноги.

Прохожие с любопытством наблюдали, как невысокий смуглый чужеземец учил в подворотне светловолосого мальчугана становиться на колени.

— Затем ты быстро подымешься, но только смотри не толкни королеву!

Замок тамплиеров претерпел большие изменения по сравнению с теми временами, когда там была резиденция мессира де Моле; прежде всего его разбили на несколько частей. Королеве

Клеменции досталась большая квадратная башня с четырьмя караулками наверху, несколько второстепенных помещений, а также подсобные строения и конюшни, окружавшие с трех сторон просторный мощеный двор, позади которого находился сад. Остальная часть командорства, бывшего жилища рыцарей, оружейные мастерские, помещения для оруженосцев были обнесены высокой оградой и использовались для иных целей. Огромный двор, где могло собраться разом много сотен человек, казался сейчас пустынным и мертвым. Праздничные носилки с белыми занавесками, ожидавшие королеву Клеменцию, чтобы отвезти ее на церемонию коронования, напоминали корабль, прибитый бурей или случаем к давно забытой гавани. Хотя вокруг носилок толпилось несколько конюших и слуг, от замка веяло тишиной и запустением.

Гуччо и Джаннино проникли в башню Тампля через те самые ворота, через которые двенадцать лет назад Жака де Моле, приведенного сюда из темницы, проводили на место казни[80]. Залы

[80] Примечания: 80

467 лет спустя в эту же самую дверь башни Тампля предстояло выйти Людовику XVI, чтобы отправиться на эшафот. Нельзя не поразиться этому совпадению и роковой связи между Тамплем и династией Капетингов.

были отделаны заново, но, несмотря на ковры и красивые изделия из слоновой кости, серебра и золота, эти тяжелые своды, эти узкие окна, эти заглушающие все шумы стены и даже самые размеры этой рыцарской резиденции не подходили для жилища женщины тридцати двух лет. Все, казалось, было предназначено для людей грубых, носящих мечи поверх одежды, людей, которые в свое время добились полного господства христианства на территории бывшей Римской империи. Для молодой вдовы Тампль стал настоящей тюрьмой.

Мадам Клеменция не заставила себя долго ждать. Она появилась уже одетая для предстоящей церемонии, в белом платье, с коротенькой вуалью, доходившей до верхней части груди, с королевской мантией на плечах; на голове у нее была золотая корона. Настоящая королева, такая, каких изображают на церковных витражах. Джаннино решил, что королевы носят такие наряды каждый день. Красивая, белокурая, величественная, неприступная, с отсутствующим взглядом, Клеменция Венгерская улыбалась натянутой улыбкой — так королевы без власти и королевства вынуждены улыбаться лицезреющему их народу.

Эта уже умершая, но еще не погребенная женщина коротала свои непомерно длинные дни за бесполезными занятиями; она коллекционировала ювелирные изделия, и это было последнее, чем она интересовалась в этом мире или делала вид, что интересуется.

У Гуччо, ожидавшего, что королева проявит больше волнения, встреча вызвала разочарование, мальчик же был в восторге, ибо воочию увидел сошедшую с неба святую в мантии, усеянной звездами.

Клеменция Венгерская любезным тоном задавала вопросы, что обычно помогает государям поддерживать беседу, когда им нечего сказать. Все попытки Гуччо направить разговор на общие воспоминания о Неаполе и буре оказались тщетными: королева явно избегала этой темы. Для нее и впрямь любое воспоминание было тягостным, и она гнала их от себя. А когда Гуччо, стараясь похвастаться Джаннино, заметил, что он был «молочным братом вашего сына, мадам», красивое лицо королевы приняло почти суровое выражение. Королевы не плачут при посторонних. Однако показывать ей живого, белокурого, пышущего здоровьем ребенка тех же лет, каких мог быть и ее сын, ребенка, которого вскормила

та же грудь, что и ее сына, было чересчур жестоко, пусть даже эта жестокость и была непредумышленной.

Голос горя заглушил голос крови. Да и день, видимо, для визита был выбран неудачно, ибо Клеменция собиралась присутствовать на коронации третьей после нее королевы Франции. Она заставила себя любезно спросить:

— Чем будет заниматься этот прелестный ребенок, когда вырастет?

— Будет управлять банком, мадам, по крайней мере, я надеюсь, что он изберет то же занятие, что его отец и все его предки.

Все его предки! Перед королевой Клеменцией стоял ее собственный сын, но она не видела его, и ей не суждено было никогда узнать об этом.

Она решила, что Гуччо пришел, чтобы потребовать уплаты какого-нибудь долга или оплаты счета за какую-нибудь золотую чашу или драгоценность, которые ей поставил его дядя. Она давно привыкла к требованиям поставщиков. И была поражена, поняв, что этот молодой человек явился лишь для того, чтобы увидеть ее. Так, значит, существуют еще люди, которые приходят к ней, ничего не требуя взамен — ни уплаты долга, ни услуги!

Гуччо велел сыну показать ее величеству королеве ладанку, которую тот носил на шее. Королева совсем о ней забыла, и Гуччо пришлось напомнить о больнице для бедных в Марселе, где она преподнесла ему этот подарок. «Этот юноша любил меня!» — подумалось ей.

Обманчивое утешение женщин, которым судьба отвела для любви слишком малый срок и которые живут воспоминаниями о тех чувствах, которые они когда-то внушали, пусть чувства эти были столь слабы, что их не осознавали даже те, кто их испытывал!

Она наклонилась, чтобы поцеловать ребенка. Но Джаннино живо встал на колени и поцеловал ей руку.

Почти машинально Клеменция оглянулась, ища какой-нибудь подарок, и, заметив позолоченную серебряную коробочку, протянула ее ребенку со словами:

— Ты, конечно, любишь драже? Возьми эту конфетницу, и да хранит тебя Бог!

Пора было отправляться на церемонию. Клеменция села в носилки, приказала задернуть белые занавески, и тут ее пронзило мучительное ощущение бесполезности своего существования: все ее никому не нужное прекрасное тело сковала

боль — грудь, ноги, живот; наконец она смогла дать волю слезам.

Многочисленная толпа двигалась по улице Тампль в одном направлении, в сторону Сены, к Сите, для того чтобы краешком глаза взглянуть на церемонию коронования, хотя каждый знал, что увидит только затылок впереди стоящего.

Взяв Джаннино за руку, Гуччо поспешил за белыми носилками, словно он входил в свиту королевы. Таким образом им удалось перейти через мост Менял, проникнуть во дворцовый двор; здесь они и остановились, чтобы посмотреть на знатных вельмож, которые в праздничном одеянии входили в Сент-Шапель. Гуччо узнал большинство из них и называл ребенку их имена: графиня Маго Артуа, которая с короной на голове казалась особенно огромной, и граф Робер, ее племянник, еще выше тетки, его высочество Филипп Валуа, ставший пэром Франции, и его супруга, ковылявшая рядом с ним, затем мадам Жанна Бургундская, еще одна вдовствующая королева. Но что это за молодая чета — ему лет восемнадцать, а ей лет пятнадцать — следовала вслед за нею? Гуччо спросил у стоящих рядом людей. Ему ответили, что это мадам Жанна Наваррская и ее супруг Филипп д'Эврё. Вот как! Пора привыкнуть

к неожиданностям, которые преподносит вам жизнь. Дочери Маргариты Бургундской уже исполнилось пятнадцать лет, и она вышла замуж после всех династических драм, разыгравшихся в связи с ее якобы незаконным происхождением.

Давка была столь сильной, что Гуччо пришлось посадить Джаннино себе на плечи; ну и тяжел же оказался этот дьяволенок!

Ага! Вот приближается королева Изабелла Английская, прибывшая для этого случая из Понтье. Гуччо даже удивился, как мало она изменилась со дня их встречи в Вестминстере, встречи, которая продолжалась ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы вручить ей послание графа Робера. Однако, казалось, она была тогда чуть выше… Рядом шел ее сын, принц Эдуард Аквитанский. Лица присутствующих вытягивались от удивления, ибо шлейф мантии юного герцога нес лорд Мортимер, словно он был первым камергером или опекуном принца. Да, дерзость неслыханная! Только мадам Изабелла могла бросить такой вызов пэрам, епископам, всем тем, кто получил письма от ее обманутого супруга. У лорда Мортимера был победоносный вид, правда не такой, как у короля Карла Красивого, которого впервые видели столь сияющим,

но объяснялось это тем, что, как шептались в толпе, королева Франции была на втором месяце беременности. Давно пора! И ее столь долго откладывавшееся официальное коронование свершалось теперь как бы в знак благодарности.

Джаннино внезапно склонился к уху Гуччо.

— Padre mio, — сказал он, — толстый синьор, который поцеловал меня вчера, тот, с которым мы гуляли по его саду, он здесь, он на меня смотрит!

О! Какое волнение испытывал славный Бувилль, стиснутый со всех сторон сановниками, чего только не передумал он, глядя на настоящего короля Франции, которого все считали погребенным в Сен-Дени и который на самом деле был здесь, в толпе, и восседал на плечах ломбардского купца, пока короновали супругу его второго преемника!

В тот же день, после полудня, по дижонской дороге, наиболее приятной и безопасной из тех, что вели в Италию, скакали два сержанта все того же графа Бувилля, сопровождавшие сиенца и белокурого ребенка. Гуччо Бальони считал, что увозит собственного сына; в действительности же он похитил настоящего и законного короля. И тайну эту знали лишь всемогущий старец, проводивший свои дни в одном из покоев Авиньонского

дворца, наполненном щебетом птиц, бывший камергер, прогуливавшийся по своему саду в Пре-о-Клерк, и молодая, навсегда потерявшая покой и надежду женщина, оставшаяся среди лугов Иль-де-Франса. А вдовствующая королева, обитавшая в Тампле, продолжала заказывать мессы по своему умершему ребенку.

Глава IV
Совет в Шаали

Живительная гроза очистила июньское небо. В Шаали, в королевских покоях аббатства цистерианцев, основанного Капетингами[81], куда несколько месяцев назад перевезли внутренности Карла Валуа, коптя, догорали свечи, и

---

[81] Примечания: 81

Шаали в Эрменонвильском лесу — один из самых первых готических монументов Иль-де-Франса. На месте этой древней обители, подчинявшейся монахам Везле, король Людовик Толстый основал за год до своей смерти, в 1136 г., большой монастырь, от которого после шквала Революции осталось лишь несколько внушительных руин. В нем часто бывал Людовик Святой. Карл IV тоже ненадолго останавливался там в мае и июне 1322 г., а тот, о ком здесь идет речь, — в июне 1326 г. Филипп VI побывал там в начале марта 1329 г., позже — Карл V. В эпоху Возрождения, когда аббатом-коммендатарием монастыря был Ипполит д'Эсте, кардинал Феррарский, там два месяца провел Тассо.

Столь частое посещение королей аббатств и монастырей, как во Франции, так и в Англии, следует приписать скорее не набожности государей, а тому факту, что в Средние века монахи обладали своего рода монополией на гостиничное дело. Не было хоть сколько-нибудь

значительной обители, которая не располагала бы собственной «гостиницей», причем гораздо более комфортабельной, чем большинство окрестных замков. Так что отправлявшиеся в поездки государи останавливались там вместе со своим походным двором точно так же, как в наши дни снимают для себя и своей свиты целый этаж в столичном палас-отеле, санатории или водолечебнице.

запах воска смешивался с ароматами напоенной дождем земли и благовонием ладана, которым пропитаны все уголки церквей и аббатств. Вспугнутая грозой мошкара устремилась в покои через узкие окна и плясала вокруг пламени свечей.

Грустный выдался вечер. Задумчивые, угрюмые, скучающие люди, сводчатый зал, голые каменные стены, завешанные старыми драпировками с вытканными на них лилиями — такие ковры во множестве изготовлялись для королевских резиденций. С десяток людей собралось вокруг короля Карла IV: граф Робер Артуа, граф Филипп Валуа, епископ Бовезский Жан де Мариньи, пэр королевства, канцлер Жан де Шершемон, хромой граф Людовик Бурбонский, первый камергер, коннетабль Гоше де Шатийон. Год назад коннетабль потерял своего старшего сына, и эта утрата, по всеобщему мнению, разом состарила его. Теперь ему нетрудно было дать его семьдесят шесть лет; слышал он все хуже и хуже и обвинял в этом жерла, из которых палили у него прямо под ухом при осаде Ла-Реоля.

В этот вечер предполагалось обсудить дело, касающееся всей королевской семьи, поэтому на Совет допустили и женщин. Присутствовали три Жанны — первые дамы королевства: мадам

Жанна д'Эврё, царствующая королева, мадам Жанна Валуа, супруга Робера, которую величали графиней Бомон в соответствии с официальным титулом ее супруга, хотя его самого по привычке продолжали называть Артуа, и, наконец, Жанна Бургундская, злая, скупая и тоже хромая, как и ее кузен Бурбон, внучка Людовика Святого, супруга Филиппа Валуа.

Была здесь и Маго, Маго с седыми волосами, вся в черном и фиолетовом, с огромной грудью, широкоплечая, широкозадая, с жирными руками, не женщина, а настоящая глыба. С годами человек обычно как-то ссыхается, становится меньше, но Маго была исключением из этого правила. За последние месяцы она сильно сдала, и эта великанша, ставшая старухой, производила еще более грозное впечатление, чем в молодости. Впервые за долгое время графиня Артуа вновь появилась при дворе без короны, которую она надевала для официальных церемоний, где обязывал ее присутствовать ранг пэра королевства; впервые со дня смерти ее зятя Филиппа Длинного Маго увидели в Совете.

Она прибыла в Шаали в траурном одеянии, похожая на живой движущийся катафалк или на разубранную церковь для службы в Страстную

неделю. За несколько дней до этого скончалась ее дочь Бланка в аббатстве Мобюиссон — ее в конце концов перевели из Шато-Гайара в менее суровое место заключения, около Кутанса. Маго добилась этого в обмен на согласие расторгнуть брак. Но Бланка недолго пользовалась данной ей поблажкой. Она умерла через несколько месяцев после своего пострижения в монахини, изнуренная долгими годами тюремного заключения, страшными зимними ночами в Анделизской крепости, умерла в тридцать лет от истощения, кашля и горя, почти потерявшая разум под монашеским своим покрывалом. И все это за один год любви, если вообще можно назвать любовью ее связь с Готье д'Онэ, и все это за то, что в восемнадцать лет, когда человек еще не отдает себе полностью отчета в своих поступках, она позволила увлечь себя своей кузине Маргарите Бургундской, чтобы не отстать от нее, чтобы тоже позабавиться.

Та, которая могла быть королевой Франции, единственная женщина, которую Карл Красивый любил по-настоящему, угасла именно тогда, когда ее ждало относительное спокойствие. А король Карл Красивый, в чьем сердце эта кончина всколыхнула тяжелые воспоминания, грустно сидел рядом с третьей своей супругой, отлично

понимавшей, о чем думает муж, но притворявшейся, будто ничего не замечает.

Маго сумела воспользоваться даже своим горем. Она, в качестве исстрадавшейся матери, самочинно, без предупреждения, как бы движимая лишь душевным порывом, явилась к Карлу выразить свое соболезнование несчастному бывшему супругу Бланки; они упали друг другу в объятия, и Маго облобызала бывшего зятя, истыкав его щеки самыми настоящими усами, выросшими с возрастом над ее верхней губой; Карл, словно ребенок, уткнулся лбом в необъятную тещину грудь и уронил несколько слезинок на драпировку похоронных дрог, которую напоминало одеяние великанши. Так меняются отношения между людьми, когда смерть проходит среди них и изничтожает причину неприязни.

Она хорошо знала, мадам Маго, что она делает, явившись в Шаали, и ее племянник Робер с трудом скрывал досаду. Он улыбался ей, она улыбалась ему, они называли друг друга «милейшая тетушка», «милейший племянник» — словом, выказывали «родственную привязанность», к которой их обязывал договор 1318 года. Но они люто ненавидели друг друга. С какой охотой убили бы они один другого, если бы не посторонние

свидетели. В действительности же Маго явилась — конечно, она этого не говорила, но Робер догадался — в связи с одним полученным ею письмом. Впрочем, все присутствовавшие получили такие же письма, лишь слегка отличавшиеся одно от другого: Филипп Валуа, Жан де Мариньи, коннетабль и король… в первую очередь король.

Звезды высыпали на ясном ночном небе, около дюжины самых влиятельных людей королевства сидели кружком под этими сводами, между столбами резного капителя, и их было мало, очень мало. Даже сами они чувствовали, сколь призрачно их могущество.

Слабохарактерный и ограниченный король не имел ни настоящей семьи, ни преданных слуг. Кто, в сущности, все эти принцы и сановники, собравшиеся в этот вечер вокруг него? Либо дальние родственники, либо советники, унаследованные им от отца или дяди. Никого, кто был бы действительно его человеком, его созданием, кто был бы прочно с ним связан. У его отца в Совете заседали три сына и два брата, и даже в дни ссор, даже когда ныне покойный Карл Валуа поднимал бучу, это были все же семейные бучи. У Людовика Сварливого было два брата и два дяди; у Филиппа Длинного были все те же дяди,

и каждый по-своему поддерживал его, был еще брат, Карл, то есть он сам. А у него, пережившего всех родных, не осталось почти никого. Его Совет наводил на мысль о неотвратимом конце династии. Единственная надежда на продолжение прямой ветви Капетингов покоилась во чреве этой молчаливой женщины, ни хорошенькой, ни уродливой; она сидела, скрестив руки, около Карла и знала, что стала королевой лишь потому, что лучшей найти не удалось.

Письмо, пресловутое письмо, ставшее предметом обсуждения, было написано в Вестминстере и датировано девятнадцатым июня; канцлер держал его в руках: на пергаменте виднелись куски зеленого воска — следы сломанной печати.

— Столь сильный гнев короля Эдуарда вызван, надо полагать, тем, что лорд Мортимер держал край мантии герцога Аквитанского во время коронования ее величества королевы. То, что заклятый враг короля находился рядом с его сыном, выполняя столь почетную миссию, сир Эдуард принял как личное оскорбление.

Это заговорил монсеньор Жан де Мариньи; он произнес эти слова сладким, ровным и мелодичным голосом, изредка сопровождая свою речь легким движением красивых пальцев, на кото-

рых сверкал епископский перстень с аметистом. Его одеяние, состоявшее из трех надетых одна на другую сутан, было сшито из легкой ткани, как это и положено по сезону; более короткая верхняя сутана ниспадала изящными складками. От ткани исходил сладостный запах ароматических масел, которыми монсеньор Мариньи любил умащиваться после умывания и ванны; редко какой другой епископ распространял вокруг себя такое благоухание. Лицо его было безупречно правильным: прямой нос, ровно очерченные брови сходились к переносице. Если бы скульптор изваял лик монсеньора Мариньи, не отступая от натуры, получился бы прекрасный надгробный памятник для собственной могилы епископа, но, конечно, не сейчас, ибо монсеньор де Мариньи был еще молод. Он весьма искусно сумел воспользоваться положением своего брата, когда тот был коадъютором Железного короля, и сумел в нужный момент предать этого брата; его не касались превратности, неизбежные при столь частой смене королей, и, переходя из собора в собор, он в сорок лет стал церковным пэром в Королевском совете.

— Шершемон, — обратился король Карл к своему канцлеру, — перечитайте мне то место в

письме, где брат наш Эдуард жалуется на мессира Мортимера.

Жан де Шершемон развернул пергамент, приблизил его к свече, пробежал письмо глазами, бормоча что-то про себя, и, найдя нужные строки, прочел вслух:

— «…Связь супруги нашей и сына нашего с изменником и нашим заклятым врагом стала всем известной с тех пор, как вышеназванный изменник Мортимер во время торжественного коронования в Париже на Троицын день нашей дражайшей сестры, вашей подруги, королевы Франции, нес шлейф сына нашего, на великий наш срам и поношение».

Епископ Мариньи наклонился к коннетаблю Гоше и шепнул:

— Как скверно составлено письмо, а его латынь совсем никуда.

Коннетабль плохо расслышал шепот и ограничился ворчливым замечанием:

— Выродок, мужеложец!

— Шершемон, — продолжал король, — по какому праву можем мы отказать нашему брату английскому королю, предписывающему нам прекратить пребывание у нас его супруги?

То обстоятельство, что Карл Красивый обра-

тился непосредственно к своему канцлеру, а не повернулся, как бывало обычно, в сторону Робера Артуа, своего первого советника и дяди по жене, свидетельствовало о том, что впервые у него созрело какое-то самостоятельное решение.

Не совсем ясно представляя себе желания короля и боясь, с другой стороны, навлечь на себя гнев всемогущего Робера Артуа, Жан де Шершемон, прежде чем ответить, погрузился в чтение письма, словно для того, чтобы высказать свое мнение, ему нужно было еще раз продумать последние его строки.

— «...Вот почему, дражайший брат, — прочел вслух канцлер, — мы вновь просим вас столь горячо и чистосердечно, как только можем, чтобы дело это в соответствии с нашим державным желанием свершилось и чтобы вы вняли нашей просьбе и благосклонно и в скором времени удовлетворили ее к пользе и чести всех нас и дабы бесчестью нашему был конец положен...»

Жан Мариньи покачал головой и тяжело вздохнул. Он буквально страдал от этого тяжелого и неуклюжего стиля! Но в конце концов, как бы плохо ни было написано письмо, смысл его был вполне ясен.

Графиня Маго Артуа молчала; она поосте-

реглась торжествовать до времени, и ее серые глаза поблескивали в свете свечей. Навет, сделанный ею прошлой осенью, и ее козни с епископом Эксетерским дали уже сейчас, в начале лета, плоды, теперь остается собрать их.

— Разумеется, сир, — решился наконец канцлер, так как никто не пришел ему на помощь и не заговорил первым, — разумеется, сир, согласно законам церкви и всех королевств, нам надлежит в известной мере удовлетворить просьбу короля Эдуарда. Он требует свою супругу…

Жан де Шершемон, как полагалось по занимаемому им положению, был священнослужителем и поэтому, окончив речь, повернулся к епископу Мариньи, взглядом прося у него поддержки.

— Наш святейший отец папа через епископа Тибо де Шатийона передал нам послание в том же духе, — сказал Карл Красивый.

Дело в том, что Эдуард счел уместным обратиться даже к папе Иоанну XXII и послал ему в копиях всю переписку, свидетельствовавшую о его семейных неурядицах. А что мог сделать папа Иоанн, как не подтвердить, что жена должна жить при своем супруге?

— Итак, сестре моей следует отбыть в страну, ставшую благодаря браку с английским королем

ее родиной, — добавил Карл Красивый.

Эти слова он произнес ни на кого не глядя, уставившись на свои вышитые туфли. Канделябр, возвышавшийся перед его креслом, освещал его лицо, и на лице этом внезапно появилось выражение упрямства, совсем как у его покойного брата Людовика Сварливого.

— Сир Карл, — заявил Робер Артуа, — принуждать мадам Изабеллу вернуться в Англию — значит выдать ее, связанную по рукам и ногам, Диспенсерам! Разве не потому приехала она искать у вас защиты, что опасалась за свою жизнь? Что же станется с ней теперь!

— Конечно, сир, кузен мой, вы не можете... — начал было верзила Филипп Валуа, неизменно поддерживавший мнения Робера.

Но супруга Филиппа, Жанна Бургундская, дернула его за рукав, и он сразу замолк; если бы не темнота, присутствующие заметили бы, как густо он покраснел.

От Робера Артуа не ускользнул и этот жест, и внезапная немота Филиппа, и взгляд, которым обменялись Маго и молодая графиня Валуа. Если бы он только мог, с каким удовольствием свернул бы он шею этой Хромоножке!

— Быть может, моя сестра несколько преуве-

личила опасность, — ответил король. — Эти Диспенсеры не производят впечатления отъявленных злодеев, какими она их изображает. Я получил от них несколько весьма любезных писем, из коих следует, что они дорожат дружбой со мною.

— Вы получили, кроме того, подарки, прекрасные ювелирные изделия! — вскричал Робер, поднявшись, и пламя свечей заколебалось, по лицам присутствующих пробежали тени. — Сир Карл, любимый мой кузен, неужели три каких-то соусника из позолоченного серебра для пополнения вашего сервиза заставили вас изменить мнение об этих людях, которые пошли на вас войной и которые ведут себя с вашим зятем, как козел с козлицей? Ведь мы тоже получили от них подарки, не так ли, монсеньор Мариньи, и вы, Шершемон, и ты, Филипп? Парижский меняла, имя которого я могу назвать, некий мэтр Арнольд, получил в прошлом месяце пять бочек серебра на сумму пять тысяч фунтов стерлингов одновременно с приказом употребить их с толком, дабы граф Глостер мог приобрести друзей в Совете французского короля. Эти подарки дешево обошлись Диспенсерам, ибо они преспокойно оплачивают их за счет доходов от графства Кор-

нуолл, отобранного у вашей же сестры. Вот, сир, что вам следует знать и помнить. Да и как вы можете верить людям, которые рядятся в женское платье, чтобы потакать порочной страсти своего господина? Не забывайте, каким путем люди эти достигли могущества и каким местом обязаны ему…

Робер, как обычно, не устоял перед искушением сказать непристойность, и он повторил:

— Да, да, именно каким местом!

Но его смех не встретил поддержки ни у кого, кроме коннетабля. В былые времена коннетабль не любил Робера Артуа и достаточно ясно показал это, помогая Филиппу Длинному, тогда еще регенту, расправиться с гигантом и засадить его в темницу. Но с некоторых пор старик Гоше обнаружил в Робере кое-какие достоинства, главным образом благодаря его голосу, ибо только его речь коннетабль разбирал, не напрягая слуха.

В этот вечер выяснилось, что у королевы Изабеллы сторонников было мало. Канцлер оставался безучастным или, вернее, заботился лишь о том, чтобы сохранить свой пост, зависящий от милости короля, и готов был примкнуть к сильной стороне. Безучастной была и королева Жанна, которая вообще не утруждала себя раз-

мышлениями; главная ее забота состояла в том, чтобы избегать волнений, вредных в ее положении. Племянница Робера Артуа, она в какой-то мере испытывала на себе его влияние, уж очень он был самоуверен и огромен; вместе с тем Жанна стремилась показать, что она-де добрая жена и готова ради принципа осудить супружескую чету, ставшую предметом громкого скандала.

Коннетабль был скорее на стороне Изабеллы. Прежде всего потому, что ненавидел Эдуарда Английского за его нравы, за плохое управление королевством и отказ принести присягу верности. Он вообще терпеть не мог все, что связано с Англией, хотя вынужден был признать, что Роджер Мортимер оказал немалые услуги французской короне и подло бросать его теперь на произвол судьбы. Он, старик Гоше, ничуть не постеснялся сказать обо всем этом вслух, а также добавил, что поведение Изабеллы не нуждается в оправданиях!

— Она женщина, черт возьми, а супруг ее не мужчина! Значит, он первый и виноват во всем!

Слегка повысив голос, монсеньор Мариньи ответил коннетаблю, что королеву Изабеллу можно было бы простить и что он со своей стороны готов отпустить ей грехи, но ошибка, большая

ошибка мадам Изабеллы заключается в том, что она выставляет свой грех напоказ, а королева не должна подавать пример прелюбодеяния.

— Вот это правильно, вот это справедливо, — подтвердил Гоше. — Ни к чему было им разгуливать под ручку на всех церемониях и делить ложе, что, судя по слухам, они делают.

В этом вопросе он был согласен с епископом. Итак, коннетабль и прелат были на стороне королевы Изабеллы, но с весьма существенными оговорками. И к тому же, высказав свое суждение, коннетабль замолчал. Мысли его были заняты коллежем романского языка, который он создал при своем замке в Шатийон-сюр-Сен и где он находился бы сейчас, не будь этого Совета. Но ничего, он отправится к вечерней мессе и утешится, слушая пение монахов — своеобразное удовольствие для почти глухого человека, но, как ни странно, Гоше слышал лучше при шуме. К тому же этот вояка любил искусство — такое тоже случается.

Графиню Бомон, красивую молодую женщину с улыбающимся ртом и никогда не улыбающимися глазами, все это весьма забавляло. Каким образом этот гигант, которого ей дали в мужья и для которого жизнь была театральным действом,

выкрутится из положения, в какое он попал? Он выиграет, она знала, что выиграет: Робер всегда выигрывал. И она поможет ему выиграть, если это в ее силах, но она отнюдь не собиралась высказывать свое мнение на людях.

Ее сводный брат Филипп Валуа был полностью на стороне английской королевы, но он предаст ее, ибо его супруга, ненавидящая Изабеллу, перед началом Совета преподала ему нужный урок, а нынче ночью, после криков и ругани, откажет ему в ложе, если он посмеет поступить против ее воли. И длинноногий верзила смущался, мямлил, что-то лопотал. Людовик Бурбон не мог похвастать отвагой. Его уже не посылали на войну, ибо он неизменно обращался в бегство. С королевой Изабеллой его не связывали никакие чувства.

Король был человек слабохарактерный, но мог и заупрямиться; в течение нескольких месяцев он отказывался назначить Карла Валуа королевским наместником в Аквитании. Он испытывал глухую неприязнь к сестре, нелепые письма Эдуарда, где английский король без конца твердил одно и то же, в конце концов оказали на него воздействие, но главное — скончалась Бланка, и он вновь вспомнил, как Изабелла беспощадно обошлась с ней двенадцать лет назад. Не будь

Изабеллы, он так никогда бы ничего и не узнал; и не будь Изабеллы, он, если бы даже и узнал, простил бы Бланку, лишь бы она осталась с ним. Разве это не лучше, чем все те ужасы, бесчестье и муки, которые свели ее в могилу? Слабые духом мужчины обычно терпят измену, пока о ней не знают другие.

Клан врагов Изабеллы состоял всего из двух людей — Жанны Хромоножки и Маго Артуа, зато их крепко связывала общая ненависть.

И вот Робер Артуа, самый могущественный во Франции после короля человек, даже в иных отношениях играющий более важную роль, чем Карл, человек, мнение которого всегда брало верх и который решал все вопросы управления, отдавая приказы наместникам, бальи и сенешалям, на сей раз вдруг оказался в одиночестве, защищая дело своей кузины.

Такова сплошь и рядом судьба влиятельных при дворе людей, где все подчинено непостижимой и переменчивой сумме душевных состояний окружающих их лиц, чувства коих незаметно изменяются в зависимости от хода событий и вовлекаемых в игру интересов. И милость уже носит в себе зародыши немилости. Самому Роберу еще не грозила немилость, но над Изабеллой уже

нависла подлинная угроза. У Изабеллы, которую в течение нескольких месяцев жалели, защищали, восхваляли, оправдывали, приветствуя ее любовь как некий прекрасный реванш, у Изабеллы вдруг остался в Королевском совете лишь один-единственный сторонник, отстаивающий ее дальнейшее пребывание в Париже. А между тем заставить Изабеллу вернуться в Англию значило просто положить ее голову на плаху Тауэра, и все это хорошо знали. Но ее вдруг разлюбили: слишком уж она торжествовала. Никто не хотел больше компрометировать себя ради нее, никто, кроме Робера, да и он лишь потому, что защита Изабеллы была для него, в сущности, той же борьбой против Маго.

Но вот и она наконец расправила крылья и бросилась в атаку, которую готовила уже давно.

— Сир, дорогой мой сын, я знаю, как вы любите вашу сестру и с каким уважением относитесь к ней, — начала она, — но надо прямо признать, что Изабелла дурная женщина, из-за которой мы все страдали и страдаем. Взгляните, какой пример она подает вашему двору, с тех пор как находится здесь, и подумайте, ведь это та самая женщина, которая в свое время оболгала моих дочерей и сестру присутствующей здесь Жан-

ны Бургундской. Разве я была не права, когда говорила вашему отцу — упокой, Господи, его душу! — что он позволил своей дочери ввести себя в заблуждение? Она порочила нас всех без всякой на то причины, приписывая другим дурные мысли, которые таились в ее душе, что она достаточно ясно доказала нам теперь. Бланка, чистая, любившая вас, как вы это знаете, до последнего дыхания, Бланка скончалась на этой неделе! Она была невинна, мои дочери были невинны!

Толстый палец Маго, твердый, как палка, указательный палец, уставился в потолок, как бы призывая в свидетели небеса. И, желая доставить удовольствие своей теперешней союзнице, она добавила, повернувшись к Жанне Хромоножке:

— Твоя сестра, несомненно, была невинна, бедная моя Жанна, и все мы настрадались из-за наветов Изабеллы, а в моей материнской груди до сих пор не зажила кровоточащая рана.

Еще немного, и все присутствующие пролили бы слезу умиления, но Робер прервал графиню:

— Ваша Бланка невинна? Хочется верить в это, тетушка, но не от святого же духа она забеременела в темнице?

Лицо короля Карла Красивого исказилось нервной гримасой. Право же, кузен Робер зря

напомнил об этом.

— Мою дочурку толкнуло на это отчаяние, — вскричала Маго. — Что было терять ей, моей голубке, опороченной клеветниками, заточенной в крепость и наполовину потерявшей рассудок? Хотелось бы мне знать, кто устоял бы в подобных условиях.

— Я тоже сидел в тюрьме, тетушка, куда ваш зять Филипп засадил меня ради вашего удовольствия. Но я не обрюхатил ни одной из дочек тюремщика и с горя не склонял к сожительству самого тюремщика, что порою, говорят, случается в нашем семействе.

Тут коннетабль вновь проявил интерес к спору.

— Я вижу, дорогой мой племянник, что вам по душе чернить память усопшей, но откуда вы знаете, что мою Бланку не взяли силой? Если ее кузину могли задушить в той же темнице, — бросила Маго, глядя Роберу прямо в глаза, — то почему же Бланку не могли изнасиловать? Нет, сир, сын мой, — продолжала она, обращаясь снова к королю, — коль скоро вы призвали меня на ваш Совет…

— Никто вас не звал, — ответил Робер, — вы прибыли сюда самочинно.

Но не так-то легко было заставить замолчать старую великаншу.

— …то я вам дам совет, дам от всего моего материнского сердца, которое всегда и вопреки всему было преисполнено любви к вам. Так вот, сир Карл: изгоните из Франции вашу сестру, ибо каждый ее приезд в Париж навлекает беду на французскую корону. В тот год, когда вас и ваших братьев посвящали в рыцари — мой племянник Робер тоже, наверно, помнит это, — в Мобюиссоне вспыхнул пожар, и мы едва не сгорели живьем! В следующем году она затеяла скандал, покрывший нас позором, а будь она хорошей дочерью королю и хорошей сестрой своим братьям, ей следовало бы промолчать, даже если в той истории была частица правды, а не разносить ее по всему свету с помощью приспешника, чье имя мне известно. А вспомните-ка, что произошло во времена правления вашего брата Филиппа, когда она прибыла в Амьен, чтобы договориться о принесении Эдуардом присяги верности? Ведь как раз тогда пастухи опустошили королевство! С тех пор как она снова явилась сюда, я живу в постоянном страхе! Я боюсь за ребенка, которого вы ждете и который, как мы надеемся, будет мальчиком, ибо вы должны дать Франции короля; заклинаю вас

поэтому, сир, сын мой: пусть эта носительница зла держится подальше от чрева вашей супруги!

О! Она знала, куда направить стрелу своего арбалета. Но Робер уже нанес ответный удар:

— А где была Изабелла, когда скончался наш кузен Людовик Сварливый, милейшая тетушка? Насколько мне помнится, отнюдь не во Франции. А где она была, когда сын его, младенец Иоанн Посмертный, внезапно скончался у вас на руках, милейшая тетушка? Ведь Изабеллы, если мне не изменяет память, не было тогда ни в опочивальне Людовика, ни среди присутствовавших на церемонии баронов?! Хотя, возможно, вы считаете, что две эти смерти не входят в число бед французской короны.

Негодяйка напала на еще большего, чем она сама, негодяя. Еще несколько слов, и они открыто обвинили бы друг друга в убийствах.

Коннетабль знал эту королевскую семью уже больше полувека. Прищурив свои морщинистые, как у черепахи, веки, он проговорил:

— Не будем отвлекаться в сторону, вернемся, мессиры, к вопросу, требующему нашего решения.

И что-то в его голосе напомнило заседания Совета Железного короля. Карл Красивый провел

ладонью по своему гладкому лбу и сказал:

— А что, если мы заставим мессира Мортимера покинуть королевство и тем удовлетворим Эдуарда?

Тут заговорила Жанна Хромоножка. У нее был чистый, негромкий голос, но после рева двух быков из Артуа ее охотно слушали.

— Мы только зря потеряем время и силы, — заявила она. — Неужели вы думаете, что наша кузина расстанется с человеком, ставшим теперь ее владыкой? Она предалась ему душой и телом, им она только и дышит. Она или запретит ему уезжать, или уедет вместе с ним.

Жанна Хромоножка ненавидела английскую королеву не только в память своей сестры Маргариты, но и за то, что Изабелла показала во Франции пример самой прекрасной любви. Однако Жанне Бургундской не на что было сетовать, верзила Филипп любил ее от всей души, и любил как положено, несмотря на то что одна нога у нее была короче другой. Но внучке Людовика Святого хотелось, чтобы во всем мире любили только ее одну. И она ненавидела чужую любовь.

— Надо принять решение, — повторил коннетабль.

Он сказал это потому, что время было уже позд-

нее, и потому, что на этом Совете слишком много болтали женщины.

Король Карл кивком головы одобрил его слова и объявил:

— Завтра утром моя сестра будет отправлена в Булонский порт, где ее посадят на корабль и в сопровождении свиты отвезут к законному ее супругу. Такова моя воля.

При словах «такова моя воля» присутствующие переглянулись, ибо с уст Карла Слабого редко срывались эти слова.

— Шершемон, — добавил он, — подготовьте все нужные бумаги для свиты, которые я скреплю малой печатью.

Тут уж нечего было добавить. Карл Красивый заупрямился, он был королем и иногда вспоминал об этом; любопытно, что происходило это обычно, когда мысли его обращались к той первой женщине, которую он познал, которая так дурно с ним обошлась и которую он так сильно любил.

Только графиня Маго позволила себе заметить:

— Вы поступили мудро, сир, сын мой.

После этого все разошлись, даже не пожелав друг другу спокойной ночи, ибо каждый сознавал, что причастен к недоброму делу. Отодвинув

кресла и встав, все молча поклонились королю и королеве, которые покинули зал первыми.

Графиня Бомон была разочарована. А она-то думала, что ее супруг Робер восторжествует! Она взглянула на него; он подал ей знак пройти в их спальню. Ему нужно было еще побеседовать с монсеньором де Мариньи.

Коннетабль, приволакивая ногу, Жанна Бургундская, ковыляя, Людовик Клермонский, прихрамывая, — ну и косолапое потомство оказалось у Людовика Святого! — покинули зал. Верзила Филипп с видом охотничьей собаки, упустившей дичь, последовал за женой.

Робер что-то шепнул на ухо епископу Бовезскому, который, слушая его, тихо потирал свои красивые руки.

Несколько минут спустя Робер, пройдя через монастырь, отправился в отведенные ему покои. Между двумя колоннами он заметил чью-то тень. То была тень любующейся ночью женщины.

— Приятных сновидений, мессир Артуа.

Этот певучий и в то же время насмешливый голос принадлежал придворной даме графини Маго, Беатрисе д'Ирсон, которая, казалось, мечтала здесь или кого-то ждала, но кого? Конечно, Робера — он это хорошо знал. Она поднялась, по-

тянулась, ее силуэт четко вырисовывался на фоне сводчатого окна. Затем, покачивая бедрами, она сделала шаг, другой, подол ее платья скользнул по каменному полу.

— Что вы делаете здесь, прелестная шлюха? — спросил Робер.

Она ответила не сразу. Повернувшись в сторону звездного неба, она проговорила:

— В такую чудесную ночь не хочется ложиться в постель одной. В это прекрасное время года плохо спится…

Робер Артуа приблизился к ней почти вплотную, вопрошающе взглянул в ее миндалевидные глаза, призывно блеснувшие в полумраке, положил свою огромную руку на ее талию… и вдруг, отдернув ладонь, встряхнул пальцами, словно ожегшись.

— А ну-ка, прекрасная Беатриса, — вскричал он со смехом, — живее бегите и окунитесь в холодный пруд, иначе вы загоритесь!

От этого грубого жеста и дерзких слов Беатриса вздрогнула. Уже давно она ждала случая покорить гиганта; нынче, думала она, его светлость Робер попадет в лапы графини Маго, а она, Беатриса, сможет наконец насытить свою страсть. Но нет, и в этот вечер ничего еще не произойдет.

У Робера были более важные дела. Он добрался до своих покоев, вошел в опочивальню своей супруги графини Бомон, и графиня приподнялась на кровати. Она была совершенно нагая — так она спала в летние месяцы. Той же самой рукой, которая только что лежала на талии Беатрисы, Робер машинально погладил грудь жены, принадлежавшей ему по закону, что означало всего лишь «спокойной ночи». Графиня Бомон не обратила внимания на эту ласку, ибо она забавлялась: ее всегда забавляло поведение великана-супруга, она старалась в такие минуты догадаться, чем заняты его мысли. Робер Артуа упал в кресло, вытянув свои громадные ножищи, время от времени с сердитым стуком опуская их на пол.

— Вы не собираетесь спать, Робер?

— Нет, душенька, нет. Я даже покину вас и немедля отправлюсь в Париж, как только эти монахи прекратят свое пение.

Графиня улыбнулась:

— Друг мой, а не думаете ли вы, что моя сестра графиня Геннегау могла бы приютить Изабеллу у себя ненадолго, чтобы дать ей время стянуть свои силы?

— Я как раз над этим и думаю, моя прекрасная графиня, как раз над этим.

Мадам Бомон успокоилась: итак, ее супруг выиграет.

Вскочить этой ночью в седло вынудило Робера Артуа не так желание услужить Изабелле, сколько ненависть к Маго. Негодяйка вздумала перечить ему, губить тех, кому он покровительствует, надеялась вернуть себе влияние на короля. Ну что ж, посмотрим, за кем останется последнее слово.

Он отправился будить своего верного Лорме.

— Оседлай-ка трех лошадей. Да поторопи моего оруженосца и сержанта…

— А я? — спросил Лорме.

— Нет, ты не поедешь, ты будешь спать.

Это была немалая любезность со стороны Робера. Годы начинали сказываться на старом товарище графских злодеяний, которому приходилось выступать и в роли телохранителя, и в роли душителя, и в роли кормилицы. У Лорме появилась одышка, и он плохо переносил утренние туманы. Он выругался. Раз могут обойтись без него, так зачем же его будить! Но он ворчал бы еще сильнее, если бы ему пришлось ехать.

Кони были оседланы; оруженосец зевал, сержант спешно застегивал доспехи.

— По коням, — скомандовал Робер, — прогулка

нам предстоит не из легких.

Опираясь на заднюю луку седла и придерживая коня, он выехал из аббатства, минуя ферму и мастерские. Но, достигнув песчаного моря, лежавшего среди белоствольных берез и казавшегося во мраке сказочно светлым, чуть ли не перламутровым пятном — прекрасный уголок для пляски фей, — он пришпорил лошадь. Дамартен, Митри, Оне, Сент-Уан — четырехчасовая скачка галопом, изредка переходившая на рысь, чтобы дать отдышаться лошадям, и с одной-единственной остановкой в ночном трактире, куда заглядывали по дороге на рынок огородники пропустить стаканчик вина.

Еще не занялся день, когда они прибыли во дворец Сите. Стража беспрепятственно пропустила первого советника короля. Перешагивая прямо через спящих в коридорах слуг, Робер поднялся в покои королевы, миновал спальню придворных дам, которые, словно перепуганные куры, закудахтали: «Мадам, мадам!» — не обратив на них никакого внимания, и прошел дальше.

Роджер Мортимер лежал в кровати королевы. В углу комнаты горел ночник.

«Так, значит, ради того, чтобы они могли спать в объятиях друг друга, я скакал ночь напролет,

отбив себе весь зад!» — подумал Робер.

После первых минут замешательства зажгли свечи; где уж было конфузиться, раз дело оказалось столь срочным.

Робер вкратце рассказал любовникам о решении Совета в Шаали и о том, что замышлялось против них. Внимательно слушая и задавая вопросы, Мортимер одевался на глазах у Робера Артуа без всякого стеснения, как то водится среди воинов. Присутствие любовницы, казалось, ничуть его не смущало; они и впрямь вели себя как супруги.

— Немедленно уезжайте, друзья мои, вот мой совет, — сказал Робер. — И отправляйтесь на земли Священной империи, чтобы найти там убежище. Вы оба и юный Эдуард. Можете прихватить еще Кромвеля, Элспея и Мальтраверса — в общем, свита не должна быть большой, иначе это вас задержит. Поедете в Геннегау, куда я отправлю гонца, который прибудет раньше вас. Добряк граф Вильгельм и его брат Иоанн — знатные сеньоры и чудесные люди; враги трепещут перед ними, а друзья их обожают; оба они обладают здравым смыслом и кристально честны. Моя супруга графиня в свою очередь попросит свою сестру поддержать вас. Это лучшее убежище, ка-

кое вы можете сейчас найти. Ваш друг граф Кент, которого я тоже предупрежу, присоединится к вам, но сначала заглянет в Понтье и приведет с собой верных вам рыцарей. А затем да благословит вас Бог!.. Я позабочусь о том, чтобы Толомеи продолжал снабжать вас деньгами, да, впрочем, он и не может поступить иначе. Собирайте войско, делайте все, что можно, идите в бой. О! Если бы французское королевство было поменьше и если бы я не боялся развязать руки моей негодяйке-тетушке, я бы с удовольствием отправился с вами.

— Отвернитесь, кузен, я сейчас оденусь, — проговорила Изабелла.

— Как же, кузина, значит, мне не положено награды? Этот плут Роджер забрал все себе? — проговорил Робер, отворачиваясь. — Видать, он не скучает, пройдоха.

На сей раз его вольные речи никого не задели; напротив, в его умении шутить в трагическую минуту было что-то успокаивающее. Этот человек, слывший отъявленным злодеем, был способен на добрые душевные порывы, а несдержанностью речей он порой из чувства какой-то внутренней стыдливости прикрывал свои истинные переживания.

— Я обязана вам жизнью, Робер, — сказала

Изабелла.

— Долг платежом красен, кузина! Неизвестно, что будет завтра, — кинул Робер через плечо.

Он заметил на столе вазу с фруктами, приготовленную на ночь для любовников; взяв персик, он с жадностью надкусил его, и на подбородок брызнул золотистый сок.

В коридорах началась суета, оруженосцы бросились в конюшни; к английским сеньорам, жившим в городе, отрядили гонцов, женщины в спешке запаковывали легкие кофры, побросав в них самое необходимое; невероятная суматоха царила в этом крыле дворца.

— Не ездите через Санлис, — говорил Робер, расправляясь с десятым персиком, — наш добрый сир Карл слишком близко оттуда и наверняка пошлет за вами погоню. Поезжайте через Бове и Амьен.

Прощание было коротким; первые отблески зари еще только позолотили шпили Сент-Шапель, а во дворе уже был готов эскорт. Изабелла подошла к окну; на миг ее охватило волнение при виде этого сада, этой речки, этой неубранной постели, где она познала счастливейшие часы своей жизни. Одиннадцать месяцев прошло с того первого утра, когда она, тоже стоя у окна, вдыхала

чудесный аромат, которым одаривает весна тех, кто любит. Рука Роджера Мортимера легла ей на плечо, королева прильнула к ней губами…

Вскоре лошадиные подковы зацокали по улицам Сите, затем по мосту Менял, и стук их затих на дороге, ведущей на север.

Его светлость Робер Артуа отправился в свой особняк. Когда королю доложат о бегстве его сестры, они будут уже вне досягаемости, а Маго во избежание удара придется очистить желудок и вызвать лекаря, чтобы он пустил ей кровь… «Ах ты, негодяйка!..» Теперь Робер мог спокойно спать, спать мертвым сном до тех пор, пока не пробьет полдень.

Часть четвертая
ЛЮТЫЙ ПОХОД
Глава I
Харидж

Над корабельными мачтами с пронзительным криком кружились чайки, подстерегая, когда вышвырнут за борт кухонные отбросы. Флотилия приближалась к порту Харидж, с палубы уже была видна бухта, куда впадают одновременно Оруэл и Стор, деревянная пристань и ряды низеньких домишек.

Первыми причалили к берегу два легких судна, откуда высадился отряд лучников, которым поручили следить за окрестностями, однако на берегу вооруженных людей не было видно. На пристани, где толпились любопытные — не каждый день приплывает сразу столько судов с надутыми морским ветром парусами, — вначале произошло замешательство; увидев высаживавшихся лучников, зеваки бросились врассыпную, но, успокоившись, вскоре вновь запрудили всю пристань.

К берегу приставал корабль королевы с разве-

вающимся длинным вымпелом, на котором были вышиты традиционные французские лилии и английские львы. За ним следовали восемнадцать голландских судов. По команде опытных мореходов экипаж судна спустил паруса, корабль вдруг ощетинился длинными веслами, словно птица, внезапно расправившая крылья.

На палубе корабля стояла королева Англии со своим сыном принцем Эдуардом, графом Кентским, лордом Мортимером, мессиром Иоанном Геннегау и другими английскими и голландскими сеньорами. Она наблюдала за маневрами моряков и вглядывалась в берега своего королевства, приближавшиеся с каждой минутой.

Впервые со времени своего побега Роджер Мортимер не надел черного одеяния. На нем была не стальная кираса с закрытым шлемом, а лишь малое воинское облачение — шлем без забрала с прикрепленной к нему стальной пелериной и кольчуга, защищавшая грудь, поверх которой был надет роскошный камзол из красной и голубой парчи, украшенный традиционными эмблемами его рода.

Точно так же была одета и королева. Стальной шлем обрамлял ее тонкое, бледное личико; под ниспадавшей до земли длинной юбкой были, как

и у мужчин, надеты стальные наколенники.

Даже на юном принце Эдуарде были воинские доспехи. За последнее время он сильно вырос и возмужал. Он не отрываясь смотрел на чаек и думал: неужели это те же прожорливые, крикливые птицы, которые провожали флотилию в устье Мааса?

Чайки напоминали ему Голландию. Впрочем, все — и свинцовое море, и серое небо, кое-где расцвеченное узкой полоской розовых облаков, и набережная с маленькими кирпичными домиками, к которой они сейчас причалят, и лагуны, и зеленые холмы, тянувшиеся за Хариджем, — все словно старалось напомнить ему далекую Голландию, вызвать ее в его памяти. И если ему выпадет случай увидеть песчаную и каменистую пустыню, опаленную жгучим солнцем, унесется ли он мыслями в края Брабанта, Остревента и Геннегау, которые он только что покинул? Его высочество Эдуард, герцог Аквитанский и наследник английского престола, в свои пятнадцать без малого лет страстно полюбил Голландию.

И вот как это произошло, вот какие знаменательные события навсегда запечатлелись в памяти юного принца Эдуарда.

Однажды на рассвете их разбудил громовой

голос его светлости Артуа, они тайком покинули Париж, стремясь как можно быстрее добраться до земель Священной империи. Провели ночь в замке мессира Эсташ д'Оберсикура, который вместе с супругой оказал английским изгнанникам радушный прием; разместив на ночлег своих неожиданных гостей, сам он вскочил на коня и отправился в Валансьен к графу Вильгельму, жена которого доводилась кузиной королеве Изабелле. На следующее утро в замок прибыл младший брат графа мессир Иоанн Геннегау.

Любопытный он был человек; по виду этого и не скажешь, самая обычная внешность — плотный, лицо круглое, глаза круглые, а над коротко подстриженными светлыми усами небольшой нос, тоже круглый, но зато манерами и поведением он выделялся среди всех остальных сеньоров. Даже не сняв дорожных сапог, он подошел к королеве, преклонил перед ней одно колено и, положив руку на сердце, воскликнул:

— Мадам, вы видите перед собой рыцаря, готового умереть за вас, даже если весь мир от вас отречется. Я употреблю всю мою власть и вместе с вашими друзьями буду сопровождать вас и его высочество вашего сына через море к берегам вашего королевства. И все, кого я попрошу,

вручат вам свою жизнь. И если на то будет воля Всевышнего, мы соберем большое войско.

В порыве благодарности за столь неожиданную помощь королева хотела было тоже опуститься на колени, но мессир Иоанн Геннегау не допустил; удерживая ее за талию и дыша ей прямо в лицо, он добавил:

— Бог не потерпит, мадам, чтобы королева Англии стояла на коленях перед кем бы то ни было. Вы и ваш сын, мадам, можете быть спокойны, ибо я сдержу свое обещание.

У лорда Мортимера невольно вытянулось лицо — по его мнению, мессир Иоанн Геннегау слишком поспешно предлагал свою шпагу дамам. Видно, этот рыцарь и впрямь считал себя Ланселотом, так как тут же заявил, что не позволит себе провести ночь под одним кровом с королевой из боязни скомпрометировать ее, как будто вместе с ней не было шестерых знатных сеньоров. Так этот юродивый и отправился ночевать в соседнее аббатство, с тем чтобы утром, сразу же после мессы и завтрака, явиться к королеве и проводить ее в Валансьен.

Ах, какими чудесными людьми оказались граф Вильгельм, его супруга и четыре их дочки, обитавшие в белом замке! Граф и графиня жили в

браке на редкость счастливо. Это было видно по их лицам, это чувствовалось по их речам. Юный принц Эдуард, с детства немало настрадавшийся от безобразных сцен между родителями, с восхищением и даже с некоторой завистью смотрел на эту дружную и приветливую супружескую чету. А как должны радоваться юные принцессы Геннегау, что им посчастливилось родиться в такой семье!

Добрый граф Геннегау также предложил свою помощь королеве, правда в менее выспренних выражениях, чем его брат, и приняв кое-какие меры предосторожности, чтобы не навлечь на себя гнев короля Франции или папы.

А мессир Иоанн Геннегау усердствовал вовсю. Он разослал послания всем своим рыцарям, прося их присоединиться к нему ради дружбы и рыцарской чести, ибо он дал клятву помочь королеве. Он до того взбудоражил весь Брабант, Геннегау, Зеландию и Голландию, что добряк граф Вильгельм перепугался. Мессир Иоанн Геннегау готов был поднять все графское войско, все его рыцарство. Граф призывал брата к благоразумию, но тот не желал ничего слушать.

— Мессир, брат мой, — твердил он, — по воле Всевышнего каждый из нас умирает лишь

один раз, и я обещал этой очаровательной даме сопровождать ее до самого королевства. Так я и поступлю, даже если мне придется умереть, ибо каждый рыцарь по первой просьбе должен сделать все, что в его силах, дабы помочь дамам и девицам, находящимся в изгнании или в затруднительном положении.

Вильгельм Добрый прежде всего опасался за свою казну, так как всем этим рыцарям, которых заставили до блеска начистить свои доспехи, приходилось платить, но вскоре он успокоился, ибо у Мортимера оказалось достаточно денег, очевидно полученных от ломбардских банкиров, чтобы содержать войско в тысячу пик.

Итак, королева со свитой провела в Валансьене три приятных месяца, а Иоанн Геннегау тем временем возвещал каждый день о присоединении к ним все новых и новых знатных рыцарей — то сира Мишеля де Линя или сира де Сарра, то рыцаря Ульфара де Гистеля, или Парсифаля де Семери, или Санса де Буссуа.

Королева со свитой и все Геннегау, словно одна семья, совершили паломничество в Себургскую церковь, где покоились мощи святого Дрюона, весьма почитаемые с тех пор, как там получил исцеление дед графа Вильгельма, Иоанн

Авенский, страдавший болезнью почек. В присутствии своего двора и местных жителей граф Иоанн Авенский и Геннегау, преклонив колено у раки, стал громко молиться, смиренно уповая на помощь святого. Лишь только он закончил свою молитву, как святой исторг из тела его три камня величиной с орех. И тотчас же болезнь его прошла и больше не возвратилась…

Из четырех дочек графа Вильгельма принцу Эдуарду сразу же приглянулась вторая — Филиппа. Была она рыженькая, пухленькая, с широким лицом, усеянным веснушками, с кругленьким животиком — настоящая маленькая славная Валуа, только окрашенная на брабантский манер. Случаю было угодно, чтобы молодые люди великолепно подходили друг другу по возрасту. Все были удивлены, когда заметили, что Эдуард, обычно замкнутый и молчаливый, все время искал общества толстушки Филиппы и говорил, говорил часами. Тяга Эдуарда ни от кого не ускользнула, молчаливые люди не могут притворяться, когда у них развязывается язык.

Тогда королева Изабелла и граф Геннегау решили поженить своих детей, коль скоро они питали друг к другу такое влечение. Скрепляя этот союз, королева понимала, что это единственная ее воз-

можность вновь получить английский престол, а граф Геннегау, поскольку его дочь стала невестой принца и в один прекрасный день должна была стать королевой Англии, посчитал благоразумным предоставить в распоряжение королевы Изабеллы своих рыцарей.

Несмотря на категорический приказ короля Эдуарда II, запрещавший сыну жениться[82] или дать себя женить без его, отцовского, согласия, у папы уже запросили разрешение на этот брак. Казалось, принцу Эдуарду на роду была написана женитьба на одной из Валуа. Три года назад его отец отказал его высочеству Карлу, задумавшему выдать замуж за наследника английского престола свою младшую дочь, что оказалось весьма на руку юному принцу, так как теперь он мог жениться на внучке того же Карла Валуа, которая ему очень нравилась.

И с этого дня готовящийся поход обрел для принца Эдуарда совсем новый смысл. Если высадка пройдет удачно, если дяде, графу Кентскому и лорду Мортимеру с помощью кузена Генне-

[82] Примечания: 82

В письме от 19 июня 1326 г.: «А также, милый сын, мы вас обязуем, чтобы вы не женились нигде без нашего соизволения и повеления, пока не вернетесь к нам… И не верьте никакому совету, перечащему воле вашего отца, как тому учит вас мудрый царь Соломон…»

гау удастся изгнать из страны этих противных Диспенсеров и вместо них стать советниками короля, то король будет вынужден согласиться на этот брак.

Впрочем, теперь уже все без стеснения говорили при подростке о нравах его отца, и, узнав об этом, он ужаснулся, испытывая непреодолимое отвращение. Как мог король, рыцарь, мужчина вести себя подобным образом с одним из своих подданных? Принц решил, что, когда придет его время править, он ни за что не потерпит подобных мерзостей среди своих баронов, они с Филиппой покажут всем пример прекрасной и чистой любви мужчины и женщины, короля и королевы. Эта кругленькая, рыженькая, уже вполне сложившаяся девочка казалась ему самым очаровательным созданием на свете и приобрела над ним неограниченную власть.

Итак, принц Эдуард собирался теперь отвоевать свое право на любовь, и именно это несколько сгладило для него неблаговидный характер похода, предпринятый против собственного отца.

Так прошло три месяца, без сомнения самые счастливые в жизни принца Эдуарда.

Сбор геннегауцев — так назывались рыцари Геннегау — происходил в Дордрехте на Маасе

— в красивом городке, причудливо изрезанном каналами и водоемами, где на каждую улицу приходилось по каналу, так что корабли со всех морей, а также плоскодонные и беспарусные суда могли подойти по ним чуть ли не к самой церковной паперти. В этом богатом торговом городе, где сеньоры расхаживали по набережным между тюками шерсти и ящиками с пряностями, где над рынками стоял запах свежей и соленой рыбы, а моряки и грузчики прямо на улице уписывали прекрасную, только что зажаренную белую камбалу, которую продавали тут же на лотках, раскинувшихся у большого кирпичного собора, простой люд, выходивший после мессы, разинув рты, глазел на воинов, словно чудом появившихся около их жилищ. Такого здесь еще не видели. А над крышами домов торчали мачты покачивающихся на волнах кораблей.

Но сколько труда, времени и крику понадобилось для того, чтобы погрузить на эти суда, округлые, как деревянные башмаки, в которых щеголяла вся Голландия, конницу с полным снаряжением, ящики с оружием, сундуки с кирасами, съестные припасы, походные кухни, горны, целую кузницу на сотню человек с наковальнями, мехами, молотами. Требовалось погрузить

еще крупных мохноногих фландрских коней, которые в лучах солнца казались медно-красными, с более светлыми, словно вылинявшими, гривами и с широченными шелковистыми крупами — такой конь незаменим для рыцаря, так как легко несет на себе, кроме собственного стального панциря и седла с высокой лукой, еще и седока в полном вооружении, другими словами, способен скакать галопом с грузом в четыреста фунтов.

Таких лошадей было около тысячи, так как Иоанн Геннегау сдержал свое слово и собрал тысячу рыцарей, которых сопровождали оруженосцы, слуги, обозные — всего на жалованье, согласно записям Джерарда Элспея, состояло две тысячи семьсот пятьдесят семь человек.

На палубе каждого судна были возведены особые помещения для высокородных сеньоров.

Флотилия снялась с якоря утром 22 сентября, дабы воспользоваться равноденствием, и целый день шла по Маасу, с тем чтобы ночью бросить якорь у голландских дамб. Крикливые чайки кружились над палубой. На следующий день корабли вышли в открытое море. Погода, судя по всему, обещала быть отличной, но к вечеру поднялся встречный ветер, и суда с трудом преодолевали его. Море разыгралось, и путешественники му-

чились от морской болезни и страха. Рыцарей тошнило, но лишь у немногих хватало сил перегнуться через борт, чтобы не запачкать палубу. Даже судовой экипаж тяжело переносил бурю, а из трюмов, где находились лошади, поднималась ужасная вонь. Ночью буря кажется еще страшнее, чем днем. Священники читали вслух молитвы.

Мессир Иоанн Геннегау являл собой чудо мужества. Он трогательно опекал королеву Изабеллу, даже излишне опекал, ибо в иных обстоятельствах чрезмерное ухаживание мужчины стеснительно для дам. Королева вздохнула свободнее, когда мессир Иоанн Геннегау в свою очередь пал жертвой морской болезни.

Один только лорд Мортимер, казалось, не замечал бури; ревнивцы не подвержены морской болезни, по крайней мере так говорят в народе. А на Джона Мальтраверса, наоборот, было жалко смотреть: лицо у него к утру еще больше вытянулось и пожелтело, волосы печально свисали вдоль щек, на кольчуге засохли подозрительные пятна. Широко раскинув ноги, он сидел на палубе около бухты пенькового каната и, казалось, с минуты на минуту ожидал своей смерти.

Наконец святой Георгий сжалился над плавающими, море успокоилось, и все смогли привести

себя в порядок. Вскоре дозорные на мачтах заметили английский берег, но в нескольких милях южнее того места, где предполагалось. Мореходы направили суда в Хариджский порт, где сейчас и происходила высадка и где королевский корабль с поднятыми веслами уже терся бортами о деревянный причал.

Юный принц Эдуард Аквитанский мечтательно наблюдал сквозь длинные светлые ресницы за тем, что происходит вокруг, ибо все, что попадало в поле его зрения, все, что было круглым, рыжим или розовым — будь то облака, гонимые сентябрьским ветром, надутые паруса судов, рыжие крупы фландрских коней, щеки мессира Иоанна Геннегау, — все напоминало ему любимую Голландию.

Ступив на пристань Хариджа, Роджер Мортимер вдруг особенно остро ощутил свое родство с далеким предком, который двести шестьдесят лет назад высадился на английском берегу вместе с Вильгельмом Завоевателем. Это видно было по выражению его лица, тону его голоса, по манере распоряжаться всем и вся.

Он делил с Иоанном Геннегау командование походом, что было справедливо, ибо на стороне Мортимера не было ничего, кроме правого дела,

нескольких английских сеньоров да денег ломбардцев, а Иоанн Геннегау выставил две тысячи семьсот пятьдесят семь готовых к бою воинов. Тем не менее Мортимер считал, что Иоанн Геннегау отвечает лишь за состояние войска, в то время как сам он, Мортимер, полностью берет на себя руководство боевыми операциями. Что касается графа Кентского, то он, видимо, не слишком стремился к первым ролям; если вопреки полученным сведениям часть дворянства все же осталась верна Эдуарду, то королевским войском будет командовать маршал Англии граф Норфолк, другими словами, родной брат графа Кента. Одно дело — восстать против сводного брата, который к тому же негодный король и на двадцать лет старше, другое — обнажить шпагу против родного, любимого брата, который старше тебя всего на один год.

Мортимер послал за лорд-мэром Хариджа, желая получить нужные ему сведения. Где находятся королевские войска? Есть ли поблизости замок, где могла бы укрыться королева на время разгрузки судов и высадки войск?

— Мы здесь для того, — заявил Мортимер лорд-мэру, — чтобы помочь королю избавиться от плохих советчиков, которые губят его королев-

ство, и помочь королеве занять подобающее ей место в этом королевстве. Нет у нас иных намерений, кроме тех, что вызваны волей баронов и всего народа Англии.

Сказано это было коротко и ясно, и Роджер Мортимер будет повторять все ту же фразу на каждом привале, дабы люди не удивлялись прибытию чужеземной армии.

Лорд-мэр, почтенный старец с развевающимися седыми кудрями, дрожал в своем одеянии не так от холода, как боясь ответственности, и, казалось, вообще не был ни о чем осведомлен.

Король, король?.. Говорят, он в Лондоне, а может статься, в Портсмуте… Во всяком случае, предполагалось собрать в Портсмуте большую флотилию, ибо месяц назад был издан приказ, согласно которому все корабли должны идти туда, дабы воспрепятствовать французскому вторжению, — этим и объясняется столь незначительное количество судов в гавани…

Лорд Мортимер горделиво выпрямился и свысока поглядел на мессира Иоанна Геннегау. Это он с помощью лазутчиков распространил слух о своем намерении высадиться на южном берегу, и его хитрость вполне удалась, но Иоанн Геннегау в свою очередь тоже мог гордиться: ведь это его

голландским мореходам, несмотря на бурю, удалось привести корабли в назначенный пункт.

Графство совсем не охранялось; у лорд-мэра не было сведений о каком-либо передвижении войск в округе. Он получил лишь приказание вести обычное наблюдение. Где можно встать лагерем? Лорд-мэр посоветовал избрать аббатство Уолтон: оно окружено водой и находится милях в трех к югу от порта. В душе же он желал только одного — свалить все заботы на монахов.

Нужно было также выделить эскорт для охраны королевы.

— Командовать буду я, — воскликнул Иоанн Геннегау.

— А высадка ваших геннегауцев, мессир? — возразил Мортимер. — Кто будет наблюдать за ней? Сколько времени она займет?

— Три полных дня, раньше к походу их не подготовить. Но я поручу наблюдать за ними своему главному конюшему Филиппу де Шасто.

Больше всего Мортимер беспокоился о своих тайных посланцах, которых он направил из Голландии к епископу Орлетону и графу Ланкастерскому. Удалось ли им связаться с этими лицами и вовремя предупредить их? Где сейчас находились Орлетон и Ланкастер? Конечно, это

можно узнать через монахов — послать гонцов, которые от монастыря к монастырю доберутся до двух вождей мятежа на территории Англии.

Властный, внешне спокойный, лорд Мортимер расхаживал по главной улице Хариджа, застроенной низенькими домишками. То он нетерпеливо оборачивался, наблюдая, как собирается эскорт, то спускался в порт, чтобы поторопить с выгрузкой лошадей, то возвращался в таверну «Трех кубков», где королева и принц Эдуард ожидали лошадей. Улице, которую он нетерпеливо мерил шагами, суждено было стать отныне и на много веков тем местом, где творилась живая история Англии[83].

Наконец эскорт был готов; рыцари прибывали и, выстраиваясь по четверо в ряд, заняли Хай-стрит во всю ширину. Оруженосцы бежали рядом с лошадьми, закрепляя застежки на попоне; пики

---

[83] Примечания: 83

Харидж получил свой статус главного селения коммуны грамотой, пожалованной в 1318 г. Эдуардом II. Этому порту предстояло вскоре стать центром торговли с Голландией и местом отплытия королей на континент во время Столетней войны. Четырнадцать лет спустя Эдуард III, прибыв туда вместе со своей матерью, как мы рассказываем, отправится на битву при Эклюзе, первую в долгом ряду поражений, нанесенных Англией французским флотам. В XVI в. там встретились сэр Френсис Дрейк и исследователь сэр Мартин Фробишер, после того как первый уничтожил Армаду Филиппа V. Из Хариджа также отплыли в Америку знаменитые пассажиры «Мэйфлауэра», которым командовал капитан Кристофер Джонс. Бывал здесь и сам Нельсон.

проплывали мимо узких окошек, шпаги позвякивали о стальные наколенники.

Королеве помогли сесть на коня, и кавалькада тронулась в путь через холмистые поля, по редколесью, по ландам, которые заливает море в часы прилива, мимо одиноких домишек с соломенными крышами. За низенькими изгородями, вокруг луж с соленой водой, паслись тонкорунные овцы. Печальный это был край, морской туман клубился далеко на противоположном берегу устья реки. Но граф Кентский, Кромвель, Элспей, небольшая горстка англичан и даже Мальтраверс, несмотря на последствия морской болезни, взирали на этот пейзаж и друг на друга со слезами на глазах. Ведь эта земля была их Англией!

И вдруг из-за самой обыкновенной крестьянской лошади, которая, просунув морду в дверь конюшни, заржала, почуяв проезжавшую мимо кавалькаду, лорда Мортимера охватило глубокое волнение, ибо он вновь обрел родину. Эта долгожданная радость, которую он не успел почувствовать раньше, занятый неотложными делами и важными мыслями, проснулась в его сердце среди полей, в маленькой деревушке, только потому, что английская лошадь призывно заржала, учуяв фландрских коней.

Целых три года вдали от родины, три года изгнания, ожиданий и надежд! Мортимеру вспомнилась ночь, когда он бежал из Тауэра и, до нитки промокший, переправлялся через Темзу, где на другом берегу его ждала лошадь. И вот теперь он возвращается, на его груди вышит родовой герб, он ведет за собой тысячу рыцарей, готовых вступить в бой на его стороне. Он возвращается любовником королевы, о которой так страстно мечтал в тюрьме. Иной раз жизнь бывает похожа на прекрасный сон, и только когда он сбывается, человек может считать себя по-настоящему счастливым.

В порыве признательности он обратил свой взор к королеве Изабелле, к ее прекрасному профилю, обрамленному стальным шлемом, к ее сверкавшим, как сапфир, глазам. И тут он увидел, что Иоанн Геннегау, скакавший рядом с королевой, не отрывает от нее взора. Радость Мортимера разом померкла. Ему вдруг почудилось, что он когда-то уже испытал нечто подобное, уже пережил точно такой же миг, и его охватило смятение, ибо и впрямь неприятное и тревожное чувство овладевает человеком, когда, впервые проезжая по незнакомой дороге, он вдруг ощущает, что уже был здесь когда-то, видел ее и все вокруг. И

Мортимер вспомнил дорогу на Париж, тот день, когда отправился встречать Изабеллу, вспомнил Робера Артуа, который ехал рядом с королевой, как ехал сейчас Иоанн Геннегау. Да, именно потому, что тогда в душе его шевельнулось неприятное чувство, он и принял незнакомое за уже виденное.

Он услышал, как королева произнесла:

— Мессир Иоанн, я обязана вам всем. И прежде всего тем, что я здесь.

Изабелла тоже не могла справиться с волнением сейчас, когда конь нес ее по английской земле. Мортимер нахмурился, помрачнел и весь остаток пути держался надменно и замкнуто; с тем же выражением лица въехал он в ворота монастыря Уолтон, где путники устроились на ночлег, кто в покоях аббата, кто в харчевне, а большая часть войска — в сараях. Эта перемена не ускользнула от глаз королевы Изабеллы, и, оставшись вечером наедине со своим возлюбленным, она спросила:

— Мой милый Мортимер, что с вами случилось сегодня к концу дня?

— Я надеялся, мадам, что я верно служил своей королеве и своей подруге.

— А кто вам сказал, сир, что это не так?

— Я думал, мадам, что именно мне вы обязаны

своим возвращением в свое королевство.

— Но кто же считает, что я не обязана этим вам?

— Вы сами, мадам, вы при мне сказали это мессиру Геннегау, поблагодарив его за все благодеяния.

— О Мортимер, нежный мой друг, — воскликнула королева, — стоит ли так огорчаться по поводу любого сказанного мною слова! Какая беда оттого, что я поблагодарила человека, которому я действительно многим обязана!

— Я огорчаюсь от того, что есть на самом деле, — возразил Мортимер. — Подозрительность мою вызывают не только слова, но и взгляды, которые, надеюсь, если говорить откровенно, должны принадлежать только мне. Вы кокетка, мадам, а это для меня большая неожиданность. Вы кокетничаете!

Королева очень устала. Трехдневный переезд по бурному морю, волнения, связанные с рискованной высадкой, и, наконец, четыре мили, проделанные верхом на лошадях, были для нее слишком тяжелым испытанием. Много ли найдется женщин, что смогли бы вынести столько, ни на что не жалуясь и не причиняя никому хлопот? Она ждала, что ее похвалят за мужество,

а не станут донимать ревнивыми упреками.

— Какое кокетство, друг мой, о чем вы говорите? — нетерпеливо сказала она. — Целомудренная дружба, которую питает ко мне Иоанн Геннегау, пожалуй, несколько смешна, но идет она от доброго сердца. Не забудьте также, что благодаря этой дружбе у нас есть войска. Придется вам смириться: не поощряя его, я все же должна ответить на его дружбу. Посчитайте-ка, сколько в нашем войске англичан и сколько геннегауцев. Ради вас я улыбаюсь этому человеку, который имел несчастье вас рассердить.

— Дурные поступки всегда пытаются оправдать благовидными причинами. Допускаю, что мессир Геннегау служит вам из беззаветной любви, однако это не мешает ему брать золото, которое ему за это платят. Поэтому у вас вовсе нет нужды дарить ему столь нежные улыбки. Я оскорблен за вас, вы упали в моих глазах с того высокого пьедестала чистоты, на который я вас возвел.

— А вы не были оскорблены, друг мой Мортимер, когда я сошла с этого пьедестала, чтобы очутиться в ваших объятиях?

Это была их первая ссора. Нужно же было случиться, чтобы разразилась она именно в тот долгожданный день, ради которого они неусыпно

трудились в течение долгих месяцев!

— Друг мой, — добавила королева уже более мягким тоном, — а не происходит ли ваш гнев оттого, что теперь я буду гораздо ближе к моему супругу и встречаться нам будет не так легко, как прежде?

Густые брови Мортимера сошлись к переносью.

— Я и в самом деле думаю, мадам, что теперь, когда вы прибыли в свое королевство, вам следует спать одной.

— Совершенно справедливо, милый друг, именно об этом я и хотела вас просить, — ответила Изабелла.

Он вышел из комнаты. Так он и не увидит слез своей любимой. Где они, блаженные ночи Франции? В коридоре аббатских покоев Мортимер очутился лицом к лицу с юным принцем Эдуардом. Восковая свеча, которую юноша держал в руках, освещала его тонкое бледное лицо. Уж не выслеживал ли он их?

— Вы еще не спите, милорд? — спросил Мортимер.

— Нет, я искал вас, милорд. Не можете ли вы прислать мне вашего секретаря? Я хотел бы сегодня вечером в честь моего прибытия в коро-

левство послать письмо мадам Филиппе…

Глава II
В предрассветный час

Доброму и могущественному сеньору Вильгельму графу Геннегау, Голландскому и Зеландскому.

Привет вам, мой дорогой и горячо любимый брат, да хранит вас Господь Бог!

Итак, пока мы перестраивали свои войска около морского порта Харидж, а королева находилась в аббатстве Уолтон, до нас дошла добрая весть о том, что его высочество Генри Ланкастерский, двоюродный брат короля Эдуарда, которого все называют здесь лордом Кривая Шея из-за того, что у него голова набок, спешит к нам навстречу с целой армией баронов, рыцарей и прочих людей, набранных в его владениях, а также с лордами-епископами Херефордом, Нориджем и Линкольном, дабы послужить королеве, госпоже моей Изабелле, а его высочество Норфолк, маршал Англии, и его доблестные войска объявили, что намерены последовать их примеру.

Наши войска и войска лордов Ланкастерского и Норфолкского соединились на площади, называемой Бери Сент-Эдмунд, где как раз в этот день

происходила ярмарка, да такая огромная, что торговцы заняли даже соседние улицы.

Встреча была столь радостной, что ее даже описать трудно. Рыцари соскакивали с ратных своих коней и, узнав друг друга, лобызались; граф Кентский и граф Норфолкский обнялись со слезами на глазах, как и положено горячо любящим, долго находившимся в разлуке братьям, лорд Мортимер прижал к груди епископа Херефордского, а его высочество Генри Кривая Шея облобызал принца Эдуарда. А затем все они бросились к королевскому коню, чтобы приветствовать королеву, и подносили к губам край ее одежды. Стоило приехать в Англию уже для того только, чтобы увидеть такое; столько любви и радости было вокруг моей дамы Изабеллы, что я понял: труды мои не пропали втуне. Тем более что и весь люд, бросив свои лотки с курами и овощами, присоединился к общему ликованию, да и из окрестных деревень не переставал прибывать народ.

Королева любезно представила меня английским сеньорам, осыпав притом похвалами, а за спиной моей в эту самую минуту торчала тысяча голландских пик. И очень я был горд, возлюбленный брат мой, что рыцари наши проявили столько благородства перед лицом заморских

сеньоров.

Королева не преминула также объявить всем родственникам и сторонникам своим, что возвращением в Англию со столь многочисленными друзьями она была обязана Мортимеру, очень высоко оценила услуги, оказанные ей вышеупомянутым лордом, и повелела во всем следовать его советам. Впрочем, моя дама Изабелла никогда сама не примет решения, предварительно не посовещавшись с ним. Она его любит и того не скрывает, но чистой любовью, что бы ни болтали по этому поводу люди злоязычные, ибо, будь то иначе, королева сделала бы все, дабы рассеять подозрения, и я знаю также, что не смогла бы она смотреть на меня столь ясным взором, если бы душа ее не была ясной. В Уолтоне я опасался, что дружба их по неизвестным мне причинам чуть поостыла, но потом я уверился, что все это пустое и они по-прежнему неразлучны, чему радуется душа моя, ибо вполне натурально любить мою даму Изабеллу за все ее прекрасные и достохвальные качества, и хотел бы я, чтобы все ее любили такой же любовью, как я люблю.

Сеньоры-епископы привезли с собой изрядную сумму денег и обещали собрать еще в своих епархиях, что окончательно успокоило мои опасения

за наших геннегауцев, ибо я полагал, что им не заплатят, да и помощь ломбардцев лорду Мортимеру быстро иссякнет. Все, что я описываю, произошло 28-го дня сентября сего месяца.

После чего мы тронулись в путь и прошли с триумфом через город Нью-Маркет с его многочисленными постоялыми дворами и строениями, через благородный град Кембридж, где все говорят по-латыни и где в одном колледже больше ученых, чем во всем нашем графстве Геннегау. Прием, какой оказывают нам повсюду простой люд и сеньоры, убедительно свидетельствует о том, что короля здесь не любят, что скверные его советники вызывают ненависть и презрение к самому государю. Посему войска наши встречают возгласами: «Освобождение!»

Наши голландцы не голодают, как говорит мессир Генри Кривая Шея, который, как вы сами можете убедиться, вполне изящно выражается по-французски, и, услышав его остроту, я хохотал добрых полчаса, да и сейчас еще смеюсь, как только вспомню об этом! Английские девицы весьма благосклонны к нашим рыцарям, что само по себе достаточно важно для поддержания воинского духа. Что касается меня, то я не могу предаваться забавам, боюсь подать плохой

пример и потерять уважение, столь необходимое военачальнику, дабы напомнить в нужную минуту своим солдатам об их долге, и, кроме того, я дал обет моей королеве Изабелле, и буде я его нарушу, нас может постигнуть несчастье. Так что по ночам меня иной раз одолевает плотское искушение, но коль скоро переезды утомительны, бессонницей я не страдаю. Думаю, вернувшись из сего похода, вступить в брак.

Что касается брака вашей дочери, то должен сообщить вам, мой дражайший брат, а также дражайшая моя сестрица графиня, что его высочество юный принц Эдуард неизменен в своих намерениях по отношению к вашей дочери Филиппе; дня не проходит, чтобы он не справлялся у меня о ней, все сердечные его помыслы обращены только к ней одной; таким образом, их помолвка была делом весьма добрым и небезвыгодным, а дочь ваша, я в том уверен, будет счастлива в браке. Я очень привязался к молодому принцу Эдуарду, который, по всей видимости, восхищается мною, хотя и неразговорчив; чаще всего он молчит, подобно деду своему, могущественному королю Филиппу Красивому, как можно судить по рассказам людей, лично знавших этого государя. Возможно, в один прекрасный день и он станет

столь же великим властелином, как король Филипп Красивый, и случится это, если верить тому, что говорится на Совете английских баронов, раньше того часа, который предназначен ему Богом для восшествия на престол.

Ибо во время последних событий король Эдуард показал себя как ничтожная личность. Он был в Вестминстере, когда мы высадились, и тотчас же укрылся в Тауэр, опасаясь за свою жизнь. А всем шерифам, которые управляют английскими графствами, он велел громогласно зачитать во всех общественных местах, на ярмарках и рынках следующий ордонанс, который я здесь привожу:

«Принимая во внимание, что Роджер Мортимер и прочие предатели и враги короля и королевства, применив насилие, высадились во главе чужеземных войск, которые хотят низвергнуть королевскую власть, король приказывает всем своим подданным бороться против врагов любыми средствами и уничтожать их. Жизнь следует сохранить лишь королеве, ее сыну и графу Кентскому. Все, кто поднимет оружие против захватчиков, получат немалое вознаграждение, а тому, кто принесет королю труп Мортимера или хотя бы его голову, обещана награда в тысячу фунтов стерлингов».

Приказам короля никто не подчинился, зато послужили они к вящей славе мессира Мортимера, ибо все увидели, сколь дорого оценивается его голова, и убедились, что Эдуард считает его вождем над всеми нами, хотя на деле таковым он еще не был. Королева немедля нанесла ответный удар, посулив тому, кто принесет ей голову Хью Диспенсера-младшего, две тысячи фунтов стерлингов, оценив в такую сумму зло, причиненное этим сеньором, лишившим ее любви короля.

Лондонцы остались равнодушны и не собираются спасать своего монарха, который продолжает упорствовать в своих заблуждениях. Мудрость требовала бы прогнать Диспенсера, но король Эдуард упрямо продолжает держать его при себе, говоря притом, что он уже достаточно научен горьким опытом и что уже видел подобное, намекая на рыцаря Гавестона, коего он согласился удалить от себя, что отнюдь не помешало впоследствии убить сего рыцаря и навязать ему, королю, хартию и Совет распорядителей, от какового ему удалось отделаться лишь с большим трудом. Диспенсер укрепляет его в этом мнении, и они оба, по слухам, пролили немало слез в объятиях друг у друга, и Диспенсер якобы кричал даже, что скорее предпочтет умереть на

груди своего короля, чем жить с ним в разлуке. И говорил он это не без основания, ибо королевская грудь — единственный его оплот.

В силу этого они остались в одиночестве, все отвернулись от них, и они продолжают предаваться омерзительной своей страсти, при них теперь только Диспенсер-старший, граф Арундел, родственник Диспенсеров, граф Уорен, зять Арундела, да канцлер Бальдок, которому ничего другого и не осталось, как быть верным слугою королю, ибо всеобщая ненависть к Бальдоку так велика, что, где бы он ни появился, его разорвут на части.

Король уже не чувствует себя в безопасности в Тауэре и бежал с немногочисленной свитой в Уэльс, где решил собрать армию, предав гласности 30 сентября данную ему нашим святым отцом папой буллу, отлучающую от церкви всех врагов короля и престола. Но пусть вас, дражайший мой брат, не беспокоит эта весть, ежели она до вас дойдет, ибо булла эта к нам касательства не имеет, — король Эдуард выпросил ее у папы против шотландцев, и никого не обмануло нечестное ее использование; каждого из нас повсюду, как и раньше, допускают к причастию, и первые — сами епископы.

Покинув столь плачевно Лондон, король поручил управление государством архиепископу Рейнолдсу, епископу Джону Стретфордскому и Степлдону, епископу Эксетерскому и королевскому казначею. Однако, видя наше поспешное продвижение, епископ Стретфордский прибыл с повинной к королеве Изабелле, а архиепископ Рейнолдс послал из Кента, где он укрылся, просьбу о прощении. Итак, в Лондоне оставался один лишь епископ Степлдон, полагавший, что среди своих соучастников-воров найдет себе предостаточно защитников. Но против него росло негодование горожан, и когда он наконец решился бежать, то за ним в погоню бросилась толпа, схватила его в предместье Чипсайд и растерзала. Тело его было изуродовано до неузнаваемости.

Произошло это в пятнадцатый день октября, в то время, когда королева находилась в Уоллингфорде, небольшом городке, окруженном земляными укреплениями, где мы освободили мессира Томаса Беркли, зятя Мортимера. Когда до королевы дошла весть об участи Степлдона, она сказала, что не стоит-де оплакивать смерть столь мерзкого человека, причинившего ей премного зла, а мессир Мортимер заявил, что так будет с каждым, кто искал их погибели.

А за два дня до того в городе Оксфорде, где ученых еще побольше, нежели в Кембридже, на кафедру поднялся мессир Орлетон, епископ Херефордский, и перед дамой моего сердца королевой Изабеллой, герцогом Аквитанским, графом Кентским и прочими сеньорами произнес проповедь на тему Caput meum doleo[84]; слова сии взяты из Священного Писания, из Книги Царств, дабы уразумел всяк, что тело английского королевства гниет с головы и с нее нужно начинать исцеление.

Проповедь эта произвела глубокое впечатление на всех собравшихся, перед коими были обнажены все язвы и беды королевства. И хотя за целый час мессир Орлетон в проповеди своей ни разу не помянул короля, каждый в мыслях своих счел его виновником всех бед, и под конец епископ воскликнул, что кара Господня и меч людской должны обрушиться на спесивых нарушителей мира и развратителей королей. Вышеупомянутый монсеньор Херефорда человек весьма умный, и я нередко удостаиваюсь чести беседовать с ним, и хотя кажется мне во время таких бесед, будто он куда-то спешит, все же всякий раз мне удается

---

[84] Примечания: 84
Болит моя голова *(лат.)*.

услышать мудрые его изречения. Так, сказал он мне вчера: «Каждому события века даруют свой светлый час. То его высочеству Кентскому, то его высочеству Ланкастерскому, одному раньше, другому позже, выпадает честь быть участником и героем событий. Так вершится история мира сего. И возможно, мессир Геннегау, наступил и ваш светлый час».

На следующий день после его проповеди, разбередившей тайные раны каждого, королева бросила в Уоллингфорде клич против Диспенсеров, обвинив их в том, что они ограбили церковь и корону, несправедливо предали казни верных подданных, обездолили, бросили в узилища и изгнали множество знатных сеньоров королевства, притесняли вдов и сирот, грабили народ незаконными поборами.

В это же время стало известно, что король, который вначале бежал в город Глостер, принадлежащий Диспенсеру-младшему, перебрался в Уэстбери, и там его свита разделилась. Диспенсер-старший засел в своем городе, в замке Бристоль, дабы помешать нашему успешному продвижению, а графы Арундел и Уорен отправились в свои владения в Шропшире; сделано это было для того, чтобы преградить путь нашим

войскам на Валлийскую марку и с севера, и с юга, а король с Диспенсером-младшим и канцлером Бальдоком тем временем отправились в Уэльс набирать там войско. По правде говоря, ничего не известно, что с ними там сталось. Ходят слухи, что король якобы отплыл в Ирландию.

В то время как несколько английских отрядов под командованием графа Чарлтона направились к Шропширу, чтобы дать бой графу Арунделу, мы вчера, 24 октября, другими словами, ровно через месяц после того, как покинули Дордрехт, под восторженные клики толпы вошли в Глостер. Нынче направляемся на Бристоль, где укрылся Диспенсер-старший. Я взял на себя командование штурмом этой крепости, — наконец-то представится мне случай сразиться за даму моего сердца Изабеллу и показать ей свою отвагу, что до сего дня я сделать не мог, ибо мы встречали на своем пути слишком малочисленных врагов. Прежде чем отправиться в бой, я облобызаю знамя Геннегау, которое развевается на моей пике.

Перед отъездом я сообщил вам, дражайший и горячо любимый брат, мою последнюю волю, я не вижу необходимости что-либо менять в завещании. Ежели мне суждено умереть, знайте, что умер я без горя и сожаления, как и подобает рыца-

рю, благородно защищающему дам и несчастных ради вашей чести и чести госпожи моей, дорогой сестры, вашей супруги, моих племянниц — ваших любимых дочерей, да хранит вас всех Господь.

Иоанн Глостер, 25 октября 1326 года

Мессиру Иоанну Геннегау не удалось на другой день доказать делом свою отвагу, и столь прекрасный порыв его души остался втуне.

Когда наутро он во главе своего грозного воинства появился у стен Бристоля, город уже принял решение сдаться на милость победителя, и его можно было взять голыми руками. Нотабли поспешили выслать парламентеров, которых интересовало лишь одно: где желает разместиться рыцарство; нотабли клялись в верности Изабелле, предлагая тут же выдать своего сеньора Хью Диспенсера-старшего, ибо, по их словам, только он виноват, что они раньше не выразили своих добрых чувств королеве.

Ворота города тотчас же распахнулись, рыцари расположились в самых лучших домах Бристоля. Диспенсера-старшего схватили в его же замке и держали под охраной четырех рыцарей, а в его апартаментах расположились королева, наследный принц и самые знатные бароны. Тут Изабелла встретилась со своими тремя детьми,

которых Эдуард накануне своего бегства поручил Диспенсеру. Она умилялась, видя, как выросли они за эти полтора года, не могла на них насмотреться и осыпала их поцелуями. Вдруг она взглянула на Мортимера, как бы почувствовав угрызения совести за этот приступ радости, и прошептала:

— О, как бы я хотела, друг мой, чтобы они были рождены от вас.

По предложению графа Ланкастерского при королеве был немедленно собран Совет[85], на котором присутствовали епископы Херефорда, Нориджа, Линкольна, Эли и Уинчестера, архиепископ Дублина, графы Норфолкский и Кентский, Роджер Мортимер Уигморский, сир Томас Вейк, сир Уильям Ла Зуш д'Эшли, Роберт де Монтальт, Роберт Мерл, Роберт Уотевиль и сир Анри де Бомон.

Следуя букве закона, Совет решил провозгласить юного принца Эдуарда хранителем и носителем власти в королевстве на время отсутствия

---

[85] Примечания: 85

Иоганн Геннегау, будучи иностранцем, не участвовал в этом Совете; но интересно отметить присутствие Анри де Бомона, внука Жана де Бриенна, короля Иерусалимского и императора Константинопольского, который был исключен Эдуардом II из английского парламента под предлогом его иностранного происхождения и который из-за этого примкнул к партии Мортимера.

государя, коль скоро король Эдуард II находится за пределами королевства — будь то Уэльс или Ирландия. Тотчас же были распределены главные государственные посты, и Адам Орлетон, глава и вдохновитель мятежа, сосредоточил в своих руках наиболее важные из них, в том числе и пост лорда — хранителя казначейства.

И в самом деле, давно пора было перестроить управление государством. Удивления достойно было уже то, что в течение целого месяца в стране, лишенной короля и министров, в стране, через которую двигалась походом королева с баронами, продолжали работать таможни, сборщики податей собирали налоги, часовые на вышках по-прежнему несли службу — словом, обычная жизнь государства шла своим чередом, как будто ничего и не произошло.

Хранителю королевства, временному носителю государственной власти было без месяца пятнадцать лет. Издаваемые им ордонансы он должен был скреплять своей личной печатью, ибо королевские печати увезли король и канцлер Бальдок. Юный принц начал свое правление в тот же день, председательствуя на суде над Хью Диспенсером-старшим.

В качестве обвинителя выступал сир Томас

Вейк, немолодой и суровый рыцарь — маршал королевского войска[86]. Он объявил Диспенсера, графа Уинчестерского, виновным в казни Томаса Ланкастерского, а также в смерти заключенного в Тауэре Роджера Мортимера-старшего, ибо старый лорд Чирк так и не увидел триумфального возвращения племянника — за несколько недель до этого он умер в своем узилище. Диспенсер-старший обвинялся также в том, что по его наущению были брошены в темницы, изгнаны или казнены многие другие сеньоры, расхищено имущество королевы и графа Кентского, что его дурные советы пагубно отражались на делах королевства, что по его вине была проиграна битва с шотландцами, равно как и Аквитанская война. Точно такие же обвинения предполагалось в дальнейшем выдвинуть против всех советников короля Эдуарда.

Согбенный годами, морщинистый Хью-старший, разыгрывавший столько лет комедию трусливого преклонения перед королем, на сей

---

[86] Примечания: 86

Не надо путать должность маршала Англии, которую занимал граф Норфолкский, и должность маршала войска. Маршал Англии был равнозначен коннетаблю Франции (мы бы назвали его сегодня генералиссимусом). Маршалы войска (во французской армии их было два, в английской только один) примерно соответствовали нашим современным начальникам генерального штаба.

раз проявил всю твердость духа, на какую был способен, и отвечал на вопросы судей хоть и слабым голосом, но уверенно. Терять ему было нечего, и он защищался пункт за пунктом.

Проиграны войны? Проиграны только из-за трусости баронов. Казни и заточения в тюрьмы? Но ведь меры эти применялись лишь к предателям и людям, восставшим против королевской власти, а без уважения к ней рушатся державы. Поместья и добро отнимались лишь затем, чтобы лишить врагов короны источника средств и не дать им возможности собрать войско. Его упрекают в грабежах, хищениях казны, но как тогда отнестись к тому, что двадцать три принадлежавших ему или его сыну замка были сожжены и разграблены присутствующими здесь Мортимером, Ланкастером, Мальтраверсом и Беркли в 1321 году, еще до того, как они были разбиты в битвах под Шрусбери и под Боробриджем. Таким образом, он всего-навсего восполнил те убытки, которые ему были нанесены и которые он оценивает в сорок тысяч фунтов, не считая всякого рода насилий и расправ над его людьми.

Закончил он обращением к королеве:

— О мадам, Бог вам судья. И если нет правосудия на нашей земле, то свершится оно в мире ином!

Юный принц Эдуард внимательно слушал, глядя на подсудимого из-под длинных ресниц. Суд вынес решение протащить Хью Диспенсера-старшего по улицам, обезглавить и повесить; выслушав приговор, он с презрением заявил:

— Я вижу, милорды, что для вас обезглавить и повесить — это разные вещи, а для меня одна, то есть смерть.

Поведение старика, удивившее всех, кто видел его в иных обстоятельствах, внезапно открыло тайну его влияния на короля. Этот раболепствующий куртизан не был трусом, этот презираемый всеми министр не был глупцом.

Принц Эдуард одобрил приговор, но этот юноша уже много думал, наблюдал и потихоньку начал составлять себе мнение о том, как следует держаться людям, облеченным властью. Выслушать прежде, чем сказать свое слово, выяснить все прежде, чем судить, понять прежде, чем решить, и всегда помнить, что в любом человеке заложено как хорошее, так и дурное начало. Вот она, основа мудрости государя.

Редко кому, не достигнув еще пятнадцати лет, приходилось приговаривать к смерти себе подобных. Первый же день власти явился для Эдуарда Аквитанского серьезным испытанием.

Старого Диспенсера привязали за ноги к конской упряжке и протащили по улицам Бристоля. Затем, с порванными сухожилиями, поломанными костями, его доставили на площадь у замка и поставили на колени перед плахой. Седые волосы откинули на лоб, чтобы оголить затылок, и палач в красной рубахе, подняв широкий меч, одним взмахом отсек ему голову. Потом окровавленное тело, из которого еще продолжала сочиться кровь, подвесили за подмышки на виселицу. Сморщенную и окровавленную голову посадили рядом на пику.

И рыцари, которые клялись святым Георгием защищать дам, девиц и обездоленных сирот, веселились от всего сердца, любуясь зрелищем казни старика, громко смеялись и обменивались игривыми замечаниями.

Глава III
Херефорд

В День всех святых новый королевский двор расположился в Херефорде.

Если у каждого в жизни бывает свой светлый час, как говорил Адам Орлетон, епископ Херефорда, то теперь наступил его час. После стольких

превратностей судьбы, после того, как он способствовал побегу одного из самых знатных сеньоров королевства, был судим парламентом и оправдан своими сторонниками, церковными пэрами, после того, как он призывал к мятежу и был его вдохновителем, он возвратился наконец с триумфом в это епископство, куда был назначен в 1317 году вопреки воле короля Эдуарда и где вел себя как могущественный владыка.

С какой радостью этот низенький, внешне ничем не примечательный, но смелый духом и телом человек в сутане, с митрой на голове и с посохом в руках проходил по улицам родного города, для блага которого потрудился вдосталь!

Как только королевский эскорт разместился в замке, расположенном в центре города у излучины реки Уай, Орлетон пожелал показать королеве возведенные его стараниями постройки, и в первую очередь высокую квадратную башню в два этажа с огромными стрельчатыми окнами. Каждый угол башни оканчивался тремя колоколенками — две поменьше по краям и одна посередине, и таким образом над собором из его центра выходили, устремляясь в небо, двенадцать шпилей. Ноябрьский свет играл на розовых кирпичах, еще не потерявших первоначального

цвета из-за вечной сырости. Вокруг замка раскинулась большая темно-зеленая, аккуратно подстриженная лужайка.

— Не правда ли, мадам, это самая красивая башня во всем вашем королевстве, — говорил Адам Орлетон с наивной гордостью зодчего, стоя перед величественным и в то же время каким-то удивительно легким сооружением со строгими линиями, предметом его восхищения. — Стоило жить хотя бы ради того, чтобы построить такой собор.

Орлетон не принадлежал к родовитой знати, дворянский титул он получил лишь благодаря своей учености — он окончил Оксфорд. Он не забывал этого и хотел быть достойным того высокого положения, которого он, честолюбец, достиг не путем интриг, а силою ума и знаний. Он знал, что намного превосходит всех, кто его окружал.

Он перестроил библиотеку собора и книгохранилище, в котором огромные, поставленные обрезом вперед тома были прикованы к полкам крепкими цепями, чтобы их, чего доброго, не унесли. Здесь было собрано около тысячи манускриптов с чудесными яркими миниатюрами; здесь было собрано все, что создала в течение пяти веков человеческая мысль в области фило-

софии, религии и ремесел, от первого перевода Евангелия на саксонский язык, начальные страницы которого были еще украшены руническими письменами, и кончая новейшими латинскими словарями; здесь были и «Небесная иерархия», и писания святого Иеронима, и труды святого Иоанна Златоуста и двенадцати младших пророков.

Королева восхищалась еще строящейся капитульной залой и знаменитой картой мира, нарисованной Ричардом Белло, которую он создал не иначе как по вдохновению свыше, ибо она, как говорили, обладала чудодейственной силой[87].

Таким образом, Херефорд почти на целый месяц стал импровизированной столицей Англии. Мортимер был не менее счастлив, чем Орлетон,

---

[87] Примечания: 87

Карта Ричарда Белло, хранящаяся в кафедральном соборе Херефорда, на несколько лет предшествует назначению Адама Орлетона в эту епархию. Однако именно при Орлетоне открылись ее чудесные свойства.

Это один из самых любопытных документов, свидетельствующих о средневековой концепции вселенной, и крайне любопытный графический синтез познаний того времени. Карта начерчена на тонком пергаменте довольно больших размеров; земля вписана в круг, центром которого является Иерусалим; Азия вверху, Африка внизу; отмечено местоположение земного рая, а также реки Ганг. Вселенная организована вокруг Средиземноморского бассейна и сопровождена всякого рода рисунками и надписями о фауне, этнологии и истории, согласно умозаключениям, извлеченным из Библии, натуралиста Плиния, Отцов церкви, языческих философов, средневековых бестиариев и рыцарских романов. Карта обрамлена следующей круговой

надписью: «Круглую землю начал измерять Юлий Цезарь». Этот документ и впрямь не лишен некоторого волшебства, по крайней мере в части вдохновения.

Библиотека Херефордского кафедрального собора — самое значительное из известных нам книгохранилищ с цепями (которые существуют и поныне), поскольку насчитывает 1140 томов.

Странно и несправедливо, что имя Адама Орлетона так мало упоминается в трудах о Херефорде, хотя именно этот прелат велел построить главный монумент города, то есть большую и красивую соборную башню, которая и была воздвигнута за время его епископства.

ибо он вернулся в свой замок Уигмор, в нескольких милях отсюда, и находился, так сказать, в своих владениях.

А тем временем поиски короля продолжались.

Некий Рис эп Оуэлл, уэльский рыцарь, сообщил, что Эдуард II укрылся в одном аббатстве на границе с графством Глеморган, куда бурей было выброшено судно, на котором он надеялся достичь Ирландии.

И тут же, преклонив колено перед Изабеллой, Иоанн Геннегау предложил захватить коварного супруга мадам Изабеллы в его уэльском логове. С большим трудом его удалось убедить, что него-же-де чужеземцу брать короля в плен и что член королевской семьи более пригоден для столь прискорбного акта. Выбор пал на Генри Кривая Шея, который без особой радости сел на коня и отправился в сопровождении графа де ла Зуш и Рис эп Оуэлла отвоевывать западное побережье.

Почти в то же время из Шропшира прибыл граф Чарлтон, пленивший там графа Арундела, которого он и доставил закованным в цепи. Так Роджер Мортимер был вознагражден сторицей, ибо Эдмунду Фицалану, графу Аруделскому, король в свое время даровал большую часть отобранных у мятежного барона владений и

присвоил ему титул верховного судьи Уэльса, принадлежавший ранее старому Мортимеру Чирку.

Роджер Мортимер целых четверть часа молча глядел на стоявшего перед ним врага, осматривая его с головы до ног, и не удостоил его ни единым словом; он не мог отказать себе в удовольствии спокойно созерцать живого врага, которому скоро суждено было стать мертвым врагом.

Суд над Арунделом как над врагом державы был недолгим. Ему предъявили те же обвинения, что и Диспенсеру-старшему. Казнь его была радостно встречена жителями Херефорда и расположившимся здесь войском.

Все заметили, что во время казни королева и Роджер Мортимер держались за руки.

За три дня до этого юному принцу Эдуарду исполнилось пятнадцать лет.

Наконец 20 ноября была получена долгожданная весть. Граф Ланкастерский захватил короля Эдуарда в цистерцианском аббатстве Нис в долине Тау.

Король со своим фаворитом и канцлером жили там несколько недель, облачившись в монашеское одеяние. В ожидании лучших времен Эдуард работал в кузнице аббатства, желая отвлечься от

тяжких мыслей.

Спустив монашескую рясу до пояса, с обнаженным торсом, король трудился в кузнице; его грудь и бороду озарял огонь горна, вокруг разлетались снопы искр; канцлер качал мехи, а Хью-младший со скорбной миной подавал королю инструмент. Но тут в дверях появился Генри Кривая Шея, шлем, как обычно, почти упирался в его косое плечо, и он сказал королю:

— Сир, кузен мой, пришла пора расплачиваться за свои прегрешения.

Король выронил из рук молот, кусок раскаленного металла, который он ковал, алел на наковальне. Владыка Англии, дрожа всем своим крупным бледным телом, спросил:

— Кузен, кузен, что со мной сделают?

— Это зависит от лордов вашего королевства, — ответил Кривая Шея.

Теперь Эдуард, по-прежнему с фаворитом и канцлером, ждал решения своей участи в маленьком укрепленном замке Монмута в нескольких лье от Херефорда, куда его привез Ланкастер.

Услышав эту новость, Адам Орлетон в сопровождении своего архидиакона Томаса Чендоса и первого камергера Уильяма Блаунта тотчас же отправился в Монмут, дабы потребовать королев-

ские печати, все еще хранившиеся у Бальдока.

Когда Орлетон объявил королю Эдуарду о цели своего приезда, тот сорвал с пояса Бальдока кожаный мешочек с печатями, накрутил завязки мешка себе на запястье, как будто хотел сделать из него кистень, и воскликнул:

— Мессир предатель, негодный епископ, если вы хотите получить мою печать, возьмите ее у меня силой, и пусть все видят, что служитель церкви поднял руку на короля!

Поистине сама судьба предназначила монсеньора Адама Орлетона для свершения великих дел. Редко кому выпадает на долю отбирать у короля атрибут его власти. Стоя перед этим разъяренным человеком атлетического сложения, Орлетон, обделенный физической силой, узкоплечий, со слабыми руками, не имевший при себе иного оружия, кроме тонкой трости с наконечником из слоновой кости, ответил:

— Передача печати должна быть произведена по вашей воле, сир Эдуард, и при свидетелях. Неужели вы вынудите вашего сына, который в настоящее время является носителем королевской власти, заказать свою собственную королевскую печать раньше, чем он собирался это сделать? Однако в качестве меры принужде-

ния я могу приказать схватить лорд-канцлера и лорда Диспенсера, тем более что у меня есть приказ доставить их к королеве.

При этих словах король забыл о печати; все его помыслы обратились к горячо любимому фавориту. Он отвязал кожаный мешочек и бросил его, как ненужный предмет, к ногам камергера Уильяма Блаунта. Протянув руки к Хью, он воскликнул:

— О нет! Его вы у меня не отнимете!

Хью-младший, сразу осунувшийся, дрожащий, бросился королю на грудь. Он стучал зубами, жалобно стонал, чуть не лишился сознания:

— Ты видишь, этого хочет твоя супруга! Это она, Французская волчица, виной всему! Ах, Эдуард, Эдуард, зачем ты на ней женился?

Генри Кривая Шея, Орлетон, архидиакон Чендос и Уильям Блаунт смотрели на этих двух обнимающихся мужчин, и, хотя им была непонятна эта страсть, они невольно признавали за ней какое-то мерзкое величие.

Наконец Кривая Шея подошел к Диспенсеру и, взяв его за руку, проговорил:

— Ну, пора расставаться.

И увлек его за собой.

— Прощай, Хью, прощай! — кричал Эдуард. — Я

больше никогда тебя не увижу, бесценная жизнь моя, душа моя! У меня отняли все, все!

Слезы катились по его светлой бороде.

Хью Диспенсер был передан рыцарям эскорта, которые первым делом надели на него крестьянский плащ из грубой шерсти, и на нем смеха ради начертили гербы и эмблемы графств, которые он выманил у короля. Потом усадили его, связав за спиной руки, на самую низенькую, самую тощую, самую норовистую лошаденку, какую только смогли отыскать в деревне. Ноги у Хью были слишком длинные, и ему приходилось то и дело подгибать их, чтобы они не волочились по грязи. В таком виде его везли по городам и селениям всего Монмутшира и Херефордшира, делая остановки на площадях, чтобы народ мог над ним вдоволь потешиться. Перед пленником трубили трубы, и глашатай возвещал:

— Полюбуйтесь-ка, люди добрые, полюбуйтесь-ка на графа Глостера, лорда-камергера, полюбуйтесь на этого негодяя, который принес столько вреда королевству!

С канцлером Робертом Бальдоком обращались более учтиво из уважения к его сану. Его препроводили в Лондонское епископство, где он был заключен в темницу, ибо звание архидиакона

ограждало его от смертной казни.

Вся ненависть, таким образом, обратилась против Хью Диспенсера, которого по-прежнему величали младшим, хотя ему уже было тридцать шесть лет, а его отец отошел в лучший мир. В Херефорде над ним был учинен суд, и судьи, не мешкая, вынесли приговор, встреченный всеобщим одобрением. Именно потому, что его считали главным виновником всех ошибок и бедствий, выпавших на долю Англии за последние годы, ему готовили утонченную казнь.

24 ноября на площади перед замком воздвигли помосты для публики, выше установили эшафот, чтобы многочисленные зрители ничего не упустили из этого захватывающего зрелища. В первом ряду самого высокого помоста между Роджером Мортимером и принцем Эдуардом восседала королева Изабелла. Моросил мелкий дождик.

Зазвучали трубы и рожки. Подручные палачей привели и раздели донага Хью-младшего. Когда его длинное белое тело с округлыми бедрами и чуть впалой грудью было выставлено напоказ — рядом стояли палачи в красных рубахах, а внизу торчал целый лес пик лучников, окружавших эшафот, — в толпе раздался злорадный хохот.

Королева Изабелла склонилась к Мортимеру и прошептала:

— Как жаль, что здесь нет Эдуарда.

С горящими глазами, полуоткрыв мелкие зубы хищницы и впившись ногтями в ладонь любовника, она наслаждалась каждым мгновением мести, каждой подробностью казни.

А принц Эдуард думал: «Неужели это тот, кого так любил мой отец?» Он уже присутствовал при двух казнях и знал, что сумеет выдержать до конца и эту сцену без приступа тошноты.

Вновь заиграли рожки. Хью положили на эшафот, привязали руки и ноги к лежащему кресту святого Андрея. Палач, не торопясь, вострил на точиле нож, похожий на нож мясника, потом попробовал мизинцем его лезвие. Толпа затаила дыхание. Тут подручный палача приблизился к Хью и ухватил щипцами его мужскую плоть. По толпе прошла волна истерического возбуждения, от топота ног сотрясались помосты. И несмотря на этот страшный грохот, все услышали пронзительный, душераздирающий вопль Хью, единственный его вопль, который сразу смолк, а из раны начала хлестать фонтаном кровь. Уже бесчувственное тело было оскоплено. Отсеченные части были брошены в печь, прямо

на раскаленные угли, которые раздувал один из подручных. Вокруг пополз отвратительный запах горелого мяса. Глашатай, стоявший перед трубачами, возвестил, что с Диспенсером поступили так потому, что «он был мужеложец, совратил короля на путь мужеложства и изгнал королеву с супружеского ее ложа».

Затем палач, выбрав нож покрепче и пошире, рассек ему грудь поперек, а живот вдоль, словно резал свинью, нащупал щипцами еще бившееся сердце, вырвал его из груди и тоже бросил в огонь. Снова затрубили трубачи, и снова глашатай заявил, что «Диспенсер был изменником со лживым сердцем и своими предательскими советами нанес вред державе».

Палач вынул внутренности Диспенсера, блестевшие, словно перламутр, и, потрясая ими, показал толпе, ибо «Диспенсер кормился добром не только знатных, но и бедных людей». И внутренности также превратились в густой серый дым, смешавшийся с ноябрьским холодным дождем.

После этого отсекли голову, но не ударом меча, а ножом, так как голова свисала между перекладинами креста; и тут глашатай объявил, что было это сделано потому, что «Диспенсер обезглавил

знатнейших сеньоров Англии, и потому, что из головы его исходили дурные советы». Голову Хью не сожгли, палач отложил ее в сторону, дабы отправить потом в Лондон, где ее намеревались выставить на всеобщее обозрение при въезде на мост.

Наконец то, что оставалось от этого длинного белого тела, было разрублено на четыре части. Эти куски решено было отправить в самые крупные после столицы города королевства. Толпа расходилась, утомленная и пресыщенная. На сей раз, казалось, был достигнут предел жестокости.

Мортимер заметил, что после каждой казни на их отмеченном потоками крови пути королева предавалась любви с еще большей страстью. Однако в ночь, последовавшую за смертью Хью Диспенсера, пылкость королевы и ее горячая признательность своему любовнику насторожили Мортимера. Вероятно, королева некогда любила Эдуарда, раз она так ненавидела того, кто отнял его у нее. В подозрительной, ревнивой душе Мортимера созрел план, и он дал слово выполнить его в положенные сроки, пусть для этого потребуется хоть год.

На следующий день Генри Кривая Шея, которому было поручено охранять короля, получил

приказ перевезти его в замок Кенилворт и держать там в заключении. Так королева и не увидела Эдуарда.

Глава IV
Vox Populi

[88]

— Кого хотите вы иметь королем?

Эти роковые слова, от которых зависело будущее целой нации, произнес монсеньор Адам Орлетон 12 января 1327 года в огромной зале Вестминстера, и слова эти глухим рокотом прокатились под старинными сводами.

— Кого хотите вы иметь королем?

Вот уже шесть дней заседает английский парламент, собирается, вновь расходится, и Адам Орлетон, исполняющий обязанности канцлера, руководит дебатами.

На прошлой неделе во время первого заседания королю предписали предстать перед парламентом. Адам Орлетон и Джон Стретфорд, епископ Уинчестерский, отправились в Кенилворт, чтобы сообщить Эдуарду II это решение. Но король Эду-

---

[88] Примечания: 88
Глас народа *(лат.).*

ард ответил отказом.

Отказался прийти и дать отчет в своих действиях перед лордами, епископами, посланцами городов и графств. Орлетон передал парламенту этот ответ, рожденный страхом или презрением. Однако Орлетон был глубоко убежден и заявил об этом парламенту, что принудить королеву примириться со своим супругом означало бы обречь ее на верную смерть.

Таким образом, на обсуждение был поставлен вопрос чрезвычайной важности; монсеньор Орлетон, закончив свою речь, посоветовал парламенту разойтись до утра, чтобы каждый в ночной тиши мог сделать выбор, продиктованный совестью. Завтра парламент объявит, желает ли он, чтобы Эдуард II Плантагенет сохранил корону или передал ее своему старшему сыну Эдуарду, герцогу Аквитанскому.

Нет, этой ночью в Лондоне трудно было размышлять в тишине, вопрошая свою совесть. В особняках сеньоров, в аббатствах, в домах богатых купцов, в тавернах до самой зари шли яростные споры. Меж тем все эти бароны, епископы, рыцари, сквайры и представители городов, выбранные шерифами, были членами парламента лишь по назначению короля, и им в принципе

отводилась роль советников. Но ныне суверен не имел ни власти, ни силы — он был всего лишь беглецом, схваченным за пределами государства, и не король созвал парламент, а парламент вызвал к себе короля, хотя король и отказался предстать перед ним. Верховная власть в эту ночь, только на одну эту ночь, находилась в руках людей, собравшихся из различных уголков страны, разнящихся происхождением и имущественным положением.

«Кого хотите вы иметь королем?»

И впрямь, этим вопросом задавались все, даже те, кто желал быстрого конца Эдуарду II, кто кричал при каждом скандале, при каждом новом налоге или проигранной войне:

— Чтоб он сдох, освободи нас от него, Господи!

Но Господу незачем было вмешиваться, все зависело теперь только от них самих, и они вдруг осознали всю важность своего решения. Достаточно им слить воедино свои голоса, и пожелания их и проклятия сбудутся. Разве могла бы королева при поддержке одних геннегауцев захватить все королевство, как то произошло, если бы бароны и народ ответили на призыв короля Эдуарда?

Однако низложить короля и лишить его навсегда власти — акт чрезвычайной важности.

Многих членов парламента охватил страх, ибо помазание на царство, что ни говори, обряд священный, да и власть короля — от Бога. К тому же юный принц, которого прочат в короли, еще слишком молод! Что о нем известно, кроме того, что он целиком находится под влиянием своей матери, а та в свою очередь лишь орудие в руках лорда Мортимера? Но Мортимер, барон Уигморский, бывший наместник и покоритель Ирландии, если и вызывал уважение и даже восхищение, если его побег, изгнание, возвращение и даже его любовь сделали из него легендарного героя, если в глазах людей он и был освободителем, то все же многие, и не без основания, побаивались его непреклонного нрава, не склонного к милосердию; его уже и сейчас упрекали в чрезмерной жестокости, проявленной в последние недели, хотя он удовлетворял желания толпы. А тех, кто знал его ближе, настораживало его честолюбие. Уж не замышляет ли Мортимер сам стать королем? Любовник королевы, он и так чересчур близок к трону. Именно поэтому многие колебались низлагать Эдуарда II, ибо в таком случае Мортимер забрал бы в свои руки всю полноту власти, — вот о чем шли споры в эту ночь вокруг масляных светильников и свечей, за

оловянными кружками с пивом, и люди ложились в постель, сраженные усталостью, так и не приняв решения.

В эту ночь английский народ был сувереном, но, смущенный этим обстоятельством, не знал, кому вручить власть.

История внезапно сделала шаг вперед. Шли споры, и они свидетельствовали о том, что родились новые принципы. Народ не забывает таких прецедентов, так же как не забудет парламент о той власти, которой он располагал в эти дни: нация не забывает, что однажды в лице парламента она сама была хозяином своей судьбы. Вот почему, когда на следующий день монсеньор Орлетон, взяв за руку юного принца Эдуарда, представил его членам парламента, вновь собравшимся в Вестминстере, в зале началась и долго не смолкала овация.

— Хотим его, хотим его!

Четыре епископа, в том числе Лондонский и Йоркский, выразили протест и принялись доказывать юридическое значение присяги в верности и непреложный характер помазания на царство. Но архиепископ Рейнолдс, которому Эдуард II перед своим побегом поручил управление королевством, желая доказать, что он чистосер-

дечно встал на сторону королевы, воскликнул:

— Vox populi, vox dei![89]

В течение четверти часа он, словно с амвона, произносил проповедь на эту тему.

Джон Стретфорд, епископ Уинчестерский, заранее составил, а теперь прочел собранию шесть пунктов, в которых излагались причины низложения Эдуарда II Плантагенета.

Primo[90] — король не способен править страной; в течение всего своего царствования он находился под влиянием дурных советчиков.

Secundo[91] — он посвящал все свое время трудам и занятиям, недостойным короля, и пренебрегал делами королевства.

Tertio[92] — он потерял Шотландию, Ирландию и половину Гиени.

Quarto[93] — он нанес непоправимый ущерб церкви, заключив в тюрьму многих ее служи-

---

[89] Примечания: 89
Глас народа — глас Божий! *(лат.)*

[90] Примечания: 90
Первое *(лат.)*.

[91] Примечания: 91
Второе *(лат.)*.

[92] Примечания: 92
Третье *(лат.)*.

[93] Примечания: 93
Четвертое *(лат.)*.

телей.

Quinto[94] — он бросил в тюрьму, сослал, лишил имущества, приговорил к позорной смерти многих из своих знатных вассалов.

Sexto[95] — он разорил королевство, он неисправим и не способен исправиться.

Тем временем взволнованные лондонские горожане, мнения которых разделились — ведь это их епископ высказался против низложения, — собрались в ратуше. Управлять ими было сложнее, чем представителями графств. Не выступят ли они против воли парламента? Роджер Мортимер, не имеющий никаких официальных должностей, но на деле всесильный, поспешил в ратушу, поблагодарил лондонцев за их поддержку и гарантировал им сохранение традиционных свобод города. От чьего имени давал он эти гарантии? От имени юноши, которого только что единодушно избрали, но который еще не стал королем. Однако авторитет Мортимера, его властная осанка производили впечатление на лондонских горожан. Его уже называли лордом-покровителем. Покровителем кого? Принца, королевы, королев-

---

[94] Примечания: 94
Пятое *(лат.)*.

[95] Примечания: 95
Шестое *(лат.)*.

ства? Он лорд-покровитель — вот и все, человек, выдвинутый самой Историей, в руки которого каждый передает часть своей власти, свое право вершить правосудие.

И тут произошло нечто вовсе непредвиденное. Принц Эдуард Аквитанский, которого уже с некоторого времени считали королем, бледный юноша с длинными ресницами, молча следивший за всеми происходящими событиями, хотя считалось, что он мечтает лишь о мадам Филиппе Геннегау, вдруг заявил матери, лорду-покровителю, монсеньору Орлетону, лордам-епископам, всем своим приближенным, что он никогда не примет корону без согласия отца, без официального письменного заявления короля об отречении.

Изумление застыло на лицах. Все руки бессильно опустились. Как? Неужели столько усилий потрачено зря? Кое-кто даже заподозрил королеву. Уж не она ли тайно повлияла на сына, внезапно изменив своим чувствам, как то нередко случается с женщинами? Уж не произошло ли нынче ночью, когда каждый должен был прислушаться к голосу своей совести и принять решение, ссоры между нею и лордом-покровителем? Но нет, этот пятнадцатилетний мальчик

сам, без чужой подсказки осознал все значение законной власти. Он не желал быть узурпатором, не желал получить скипетр по воле парламента, который потом сможет отобрать у него этот скипетр, так же как и дал. Он потребовал согласия своего предшественника. И вовсе не потому, что питал нежные чувства к своему отцу, нет, он строго его судил. Но он судил той же мерой и всех.

В течение долгих лет слишком много дурного происходило на его глазах, и слишком рано научился юноша судить поступки людей. Он знает, что один человек не может быть только заядлым преступником, а другой — самим воплощением невинности. Конечно, отец заставил страдать мать, обесчестил, обобрал ее, но какой пример подает теперь его мать и этот Мортимер? Неужели мадам Филиппа поступит так же, если ему случится совершить ошибку? А разве все эти бароны и епископы, которые ополчились ныне против короля Эдуарда, разве не правили они страной вместе с королем? Норфолк, Кент, его молодые дядья, получали и принимали высокие назначения, епископы Уинчестерский и Линкольнский вели от имени короля Эдуарда II переговоры. Не могли же повсюду поспеть Диспенсеры, и если даже они командовали, то не сами ведь выпол-

няли свои приказы. У кого хватило мужества не повиноваться этим приказам? Только у кузена Ланкастера Кривая Шея да у лорда Мортимера, который заплатил за неповиновение долгим тюремным заключением. Но таких всего двое, а сколько верных слуг, переметнувшихся в мгновение ока, которые жадно ловят случай, чтобы обелить себя!

Всякий другой принц на его месте и в его возрасте был бы опьянен при виде одной из самых блестящих корон мира, которую протягивало ему столько рук. Но этот поднял свои длинные ресницы, внимательно осмотрелся вокруг и, слегка покраснев от собственной смелости, упорно отстаивал свое решение. Тогда монсеньор Орлетон, призвав к себе епископов Уинчестера и Линкольна, а также канцлера Уильяма Блаунта, приказал им взять из сокровищницы Тауэра хранящиеся там корону и скипетр и упаковать их в ларец, затем, захватив свое парадное одеяние и привязав ларец к седлу мула, вновь отправился в Кенилворт, чтобы добиться отречения короля.

Глава V

Кенилворт

За крепостной стеной, опоясывающей подножие широкого холма, находились огороженные в свою очередь сады, лужайки, хлевы, конюшни, кузницы, гумна, пекарни, мельницы, водоемы, жилища слуг и помещения для солдат — целое поселение ничуть не меньше деревни, раскинувшейся невдалеке, где маленькие домишки с черепичными крышами тесно жались друг к другу. Казалось, в этих деревенских лачугах ютятся совсем иные люди, иной породы, чем те, что жили внутри мрачной крепости, красные стены которой гордо вздымались навстречу серому зимнему небу.

Кенилворт был построен из камня цвета запекшейся крови. Он принадлежал к числу тех легендарных замков, возведенных сразу же после завоевания, когда горстке нормандцев, соратников Вильгельма Завоевателя, надо было держать в почтительном страхе перед этими огромными укрепленными замками, разбросанными по холмам, целый народ.

Центральная башня Кенилворта — keep, как называли ее англичане, или донжон, как называли ее французы за неимением более подходящего

слова, ибо во Франции не существовало или уже не существовало более подобного рода сооружений, — была квадратной формы и головокружительной высоты, напоминая путникам, прибывшим с Востока, пилоны египетских храмов.

Размеры этой гигантской башни были таковы, что в толще ее стен были устроены просторные помещения. Но войти в эту башню можно было только по узенькой лестнице, где с трудом разошлись бы два человека, красные ступени этой лестницы вели на второй этаж, к двери с опускающейся решеткой. Внутри башни, под открытым небом, находился сад, вернее, поросшая травою квадратная лужайка шестидесяти футов в длину[96].

Трудно было создать лучшее сооружение, способное выдержать длительную осаду. Если бы противнику удалось проникнуть за первые

---

[96] Примечания: 96

Эти нормандские замки, построенные в начале XI столетия (такой тип постройки просуществует до начала XVI в. — сначала с квадратными keeps, потом, начиная с XII в., с круглыми, или, как их еще называют, «в виде ракушки»), на самом деле устояли перед всем — и перед временем, и перед оружием. Их сдача происходила чаще всего по обстоятельствам политическим, а не военным; они бы и сейчас еще все стояли, если бы Кромвель не велел срыть их или сровнять с землей (за исключением трех-четырех). Кенилворт находится в двенадцати милях к северу от Стратфорда-на-Эйвоне.

крепостные стены, защитники Кенилворта могли укрыться в самом замке, окруженном рвом; если бы противник сумел захватить и вторую крепостную стену, можно было бы отдать ему апартаменты, где жили в мирное время, большую залу, кухни, спальни баронов, часовню, а самим укрепиться в толстых стенах угловой башни, где на зеленой лужайке имелись колодцы.

Здесь в заточении жил король. Он хорошо знал Кенилворт, некогда принадлежавший Томасу Ланкастерскому и служивший местом сбора для мятежных баронов. Когда Томас был обезглавлен, Эдуард забрал замок себе. И жил в нем всю зиму 1323 года, а в следующем году пожаловал его Генри Кривая Шея вместе с другими владениями Ланкастера.

Генрих III, дед Эдуарда, некогда осадил Кенилворт и держал его в осаде полгода, чтобы отобрать крепость у сына своего шурина Симона де Монфора, и сдаться того принудило не вражеское воинство, а голод, чума и угроза отлучения от церкви.

В начале царствования Эдуарда I смотрителем Кенилворта от имени первого графа Ланкастера был недавно скончавшийся в тюрьме Роджер Мортимер, лорд Чирк, здесь устраивал он свои

знаменитые турниры. Одна из башен внешней стены замка по настоянию Эдуарда I носила имя Мортимера. Словно насмешка и вызов представала она теперь ежедневно и ежечасно перед взором короля Эдуарда II.

О многом напоминали окрестности замка королю Эдуарду II. В четырех милях к югу, в замке Уорик, белая башня которого была видна с вершины красной башни Кенилворта, бароны казнили его первого фаворита Гавестона. Возможно, именно близость этого замка изменила ход мыслей Эдуарда. Казалось, он совсем забыл Хью Диспенсера и всецело предался думам о Пирсе Гавестоне, он без конца рассказывал о нем своему стражу Генри Ланкастерскому. Никогда до этого Эдуарду и его кузену Кривой Шее не приходилось жить так долго бок о бок, да еще в столь полном одиночестве. Никогда Эдуард не был так откровенен со старшим своим родичем. Порой на него находили минуты настоящего просветления, и его беспощадное осуждение самого себя ставило в тупик и умиляло Ланкастера. Ланкастер начинал понимать то, что казалось непостижимым всему английскому народу.

По словам Эдуарда, во всем был повинен Гавестон; во всяком случае, под его влиянием

совершил он свои первые ошибки, которые завели его на пагубный путь.

— Он так горячо меня любил! — говорил король-узник. — А я был тогда так молод, что готов был всему верить, готов был полностью довериться столь прекрасной любви.

Даже теперь он не мог скрыть свою нежность, вспоминая чары гасконского рыцаря, вышедшего из низов, которого бароны величали Ночным Мотыльком и которого вопреки воле знатных сеньоров королевства Эдуард пожаловал в графы Корнуолла.

— Ему так хотелось получить титул! — восклицал Эдуард.

А какой чудесной дерзостью отличался этот Пирс и как восторгался им Эдуард! Сам король не мог себе позволить столь высокомерно обращаться со своими знатными баронами, как его фаворит.

— Помнишь, Кривая Шея, как он назвал графа Глостера ублюдком? А как он крикнул графу Уорику: «Убирайся в свою конуру, грязный пес!»

— И как он оскорбил моего брата, назвав его рогоносцем! Томас не простил ему этого, ибо то была правда.

Этот бесстрашный Пирс крал драгоценности у

королевы и сыпал оскорбления направо и налево целыми пригоршнями, как другие сыплют милостыню, лишь потому, что был уверен в любви своего короля. Воистину таких наглецов свет не видывал. К тому же он был неистощимый выдумщик: ради развлечения, например, заставлял своих пажей раздеваться догола, и после этого их в драгоценных перстнях и с накрашенными губами выводили в лес, давали каждому по густой ветке, которую полагалось держать на животе, и устраивали на них галантную охоту. Этот весельчак был еще и силачом. Затевал в лондонских трущобах драки с портовыми грузчиками. О, какую веселую молодость провел благодаря ему король!

— Я надеялся обрести это все в Хью, но боюсь, что я вознес его так высоко не из-за подлинных его заслуг, а только игрою воображения. Видишь ли, Кривая Шея, Хью отличался от Пирса тем, что он происходил из семьи знатных сеньоров, и он не мог забыть этого. Если бы я никогда не встретил Пирса, я, без сомнения, был бы совсем иным государем.

В бесконечные зимние вечера, в перерыве между двумя партиями в шахматы, Генри Кривая Шея, встряхивая падавшими на правое плечо во-

лосами, выслушивал признания короля, который вместе с утратой своего могущества и пленением внезапно состарился: его атлетическое тело стало дряблым, лицо опухло, под глазами набрякли мешки. Но даже сейчас неузнаваемо изменившийся Эдуард сохранял еще былое очарование. Ему нужно было, чтобы его любили, — в этом была беда всей его жизни. Какая жалость, что он так неудачно поместил свою любовь, искал поддержки и утешения у таких гнусных людей!

Кривая Шея советовал королю предстать перед парламентом. Но все его уговоры оказались тщетными. Этот слабохарактерный владыка проявлял свою силу воли лишь в отказах.

— Я знаю, Генри, что трон я потерял, но я никогда не отрекусь, — говорил он.

Возложенные на бархатную подушку корона и скипетр Англии медленно, ступенька за ступенькой, поднимались по узкой лестнице угловой башни Кенилворта. Позади в полумраке покачивались митры и поблескивали драгоценные камни на епископских посохах. Подобрав до щиколоток свои длинные, расшитые золотом мантии, трое епископов взбирались в верхние покои башни.

В глубине большой залы, между колоннами,

поддерживающими стрельчатые своды, в единственном кресле, игравшем сейчас роль трона, обхватив голову руками, устало поникнув всем телом, сидел король. Все кругом было необъятных размеров. Сквозь узкие окна просачивался бледный январский свет, и казалось, что в зале сгущаются сумерки.

Граф Ланкастер со склоненной набок головой стоял рядом со своим кузеном в окружении трех слуг, которые даже не принадлежали к королевской дворне. Красные стены, красные колонны, красные своды создавали зловещую декорацию для сцены, которой должно было окончиться царствование английского короля.

Когда Эдуард увидел, как через двустворчатую дверь внесли корону и скипетр, которые ему точно так же преподнесли двадцать лет назад под сводами Вестминстерского замка, он выпрямился в кресле и подбородок его слегка задрожал. Он поднял глаза на кузена Ланкастера, как бы ища у него поддержки, но Кривая Шея отвел взгляд, столь невыносима была эта немая мольба.

Затем к королю подошел Орлетон, тот самый Орлетон, появление которого в последние недели неизменно означало для Эдуарда потерю еще одной частицы его власти. Король взглянул на

епископов, на первого камергера и спросил:

— Что вы желаете мне сказать, милорды?

Но голос не повиновался ему, а бескровные губы едва шевелились под светлыми усами. Епископ Уинчестерский прочитал послание, в котором парламент требовал от своего суверена подписать отречение от престола, а также отказ от ленной присяги, которая была дана ему вассалами, признать королем Эдуарда III и вручить посланцам традиционные атрибуты королевской власти.

Когда епископ Уинчестерский кончил читать, Эдуард долгое время хранил молчание. Казалось, все его внимание было приковано к короне. Он страдал, страдал физически, невыносимая боль исказила его лицо, и трудно было предположить, что человек в таком состоянии способен размышлять. Однако он проговорил:

— Корона в ваших руках, милорды, а я в вашей власти. Делайте все, что угодно, но согласия моего вы не получите.

Тогда вперед выступил Адам Орлетон и заявил:

— Сир Эдуард, народ Англии не хочет, чтобы вы были его королем, и парламент прислал нас, дабы сказать вам об этом. Парламент согласен,

чтобы королем стал ваш старший сын, герцог Аквитанский, которого я представил собранию, но ваш сын хочет принять корону лишь с вашего на то согласия. Если вы будете упорствовать в своем отказе, народ будет свободен сделать новый выбор и может избрать правителем того из знатных людей королевства, который ему больше по душе, — королем в таком случае может стать и не член вашей семьи. Вы внесли много смуты в жизнь государства; после стольких актов, вредивших ему, это единственный, которым вы можете вернуть мир и покой.

И вновь взгляд Эдуарда обратился к Ланкастеру. Несмотря на одолевавшую его тревогу, он прекрасно понял предостережение, заключавшееся в словах епископа. Если согласия на отречение не будет получено, парламент, вынужденный найти короля, возведет на трон главу мятежников Роджера Мортимера, который уже и так владеет сердцем королевы. От волнения лицо короля побелело, как воск, подбородок продолжал дрожать, ноздри нервно раздувались.

— Монсеньор Орлетон прав, — подтвердил Кривая Шея, — вы обязаны отречься, кузен, дабы в Англии воцарился мир и Плантагенеты продолжали править ею.

Тогда Эдуард, не в состоянии произнести ни слова, жестом попросил поднести к нему корону и склонил голову, словно хотел, чтобы ему в последний раз надели ее.

Епископы взглядом спрашивали друг у друга совета, не зная, как поступить, какие жесты полагалось делать в этой непредвиденной церемонии, не имевшей прецедента в истории королевских ритуалов. Но король, все ниже клонившийся, уронил голову себе на колени.

— Он отходит! — воскликнул вдруг архидиакон Чендос, державший бархатную подушку с символами королевской власти.

Кривая Шея и Орлетон бросились к королю и подхватили потерявшего сознание Эдуарда в тот момент, когда он уже почти коснулся лбом каменных плит.

Его вновь усадили в кресло, стали трепать по щекам, дали понюхать уксуса. Наконец король глубоко вздохнул, открыл глаза, осмотрелся и внезапно разразился рыданиями. Словно таинственная сила, которую дает королям священный обряд помазания и коронования, та сила, что призвана помогать им в роковые минуты, покинула его. Казалось, душу Эдуарда расколдовали и он превратился в простого смертного.

Сквозь слезы он проговорил:

— Я знаю, милорды, знаю, я сам виноват в том, что я так низко пал, поэтому я должен смириться с моей тяжелой участью. Но меня не может не огорчать ненависть моего народа, ибо я всегда любил его. Я оскорблял вас, никогда я не сеял добро. Вы очень добры, милорды, что храните верность моему старшему сыну, что не перестали его любить и хотите, чтобы он стал королем. Итак, я удовлетворяю ваше желание. Заявляю перед всеми здесь присутствующими, что отказываюсь от всех своих прав на королевство. Освобождаю всех моих вассалов от присяги, которую они мне принесли, и прошу у них прощения. Приблизьтесь ко мне…

И вновь он сделал жест, чтобы ему поднесли корону и скипетр. Он схватил скипетр, и рука его бессильно повисла, будто уже забыла его вес. Передавая скипетр епископу Уинчестерскому, Эдуард сказал:

— Простите, милорды, простите мне за все оскорбления, которые я вам нанес.

Он протянул свои длинные белые руки к бархатной подушке и, приподняв корону, облобызал ее, как святыню. Протягивая ее затем Орлетону, он сказал:

— Возьмите ее, милорд, и возложите на голову моего сына. И простите мне все зло и все несправедливости, которые я вам причинил. Пусть простит меня мой народ, ибо меня самого постигло бедствие. Молитесь за меня, милорды, я теперь уже ничто.

Присутствующих поразило благородство его слов. В Эдуарде вновь проснулся король в ту самую минуту, когда он перестал им быть.

И тогда первый камергер сир Уильям Блаунт, выйдя из-за колонны на середину зала, встал между Эдуардом II и епископами и сломал о колено резной жезл — символ занимаемой им должности, как сделал бы он, если бы царствование кончилось и тело короля покоилось в могиле.

Глава VI
Война с котлами

«В силу того что сир Эдуард, бывший король Англии, по собственной воле, по совету и с согласия прелатов, графов, баронов и прочих знатных людей и всего королевства отрекся от престола и дал согласие, чтобы правление названным королевством перешло к сиру Эдуарду, старшему его сыну и наследнику, дабы тот правил государ-

ством и был коронован — почему все знатные сеньоры принесли присягу верности новому королю, — мы провозглашаем и объявляем мир нашему новому государю, его величеству Эдуарду-сыну, и от имени его всем приказываем, чтобы никто не нарушал мир нашего государя, ибо он готов защищать право каждого и всякого в королевстве, будь то простолюдин или знатный человек. И если кто бы то ни было потребует что бы то ни было у другого, то он должен сделать это согласно закону, без применения силы или какого-либо иного принуждения».

Это обращение было зачитано 24 января 1327 года перед парламентом Англии, и тотчас же был назначен Регентский совет, который возглавила королева и который состоял из двенадцати членов, в том числе в Совет вошли графы Кент, Норфолк, Ланкастер, маршал сир Томас Вейк и самый влиятельный из всех — Роджер Мортимер, барон Уигморский.

В воскресенье 1 февраля в Вестминстере состоялось коронование Эдуарда III. Накануне Генри Кривая Шея произвел в рыцари молодого короля, а также трех старших сыновей Роджера Мортимера.

На этой церемонии присутствовала леди

Джейн Мортимер, вновь обретшая свободу и все свое имущество, но потерявшая любовь супруга. Она не осмеливалась поднять на королеву глаза, королева не осмеливалась смотреть на нее. Леди Джейн жестоко страдала от предательства двух существ, которым она преданно служила и которых любила больше всего на свете. Разве пятнадцатилетняя служба королеве Изабелле, преданность, близость, пятнадцать лет совместных тревог и волнений должны были быть оплачены такой ценой? Неужели длившийся двадцать три года брачный союз с Мортимером, которому она родила одиннадцать детей, должен был кончиться так плачевно? В том великом потрясении, которое изменило судьбу королевства и наделило высокой властью ее супруга, леди Джейн, верная и чистая душа, оказалась в лагере побежденных. И она простила, она с достоинством отошла в сторону именно потому, что речь шла о двух существах, которыми она восхищалась больше всего на свете; она понимала, что они неизбежно полюбят друг друга, если судьбе будет угодно свести их вместе.

После церемонии толпу впустили в Лондонское епископство, где ей был отдан на расправу бывший канцлер Роберт Бальдок. А через неделю

мессир Иоанн Геннегау получил ренту в тысячу фунтов стерлингов в счет доходов с пошлин на шерсть и кожи в Лондонском порту.

Мессир Иоанн Геннегау охотно погостил бы еще при английском дворе. Но он дал обещание присутствовать на большом турнире в Конде-на-Шельде, куда должны были съехаться десятки принцев, в том числе и сам король Богемский. Там предстояли состязания, скачки, встречи с прекрасными дамами, которые пересекали всю Европу, лишь бы посмотреть на поединки прославленных рыцарей; там будут танцевать, соблазнять, развлекаться на празднествах и разыгрывать театральные представления. Не мог же в самом деле мессир Иоанн Геннегау пропустить такой случай покрасоваться с перьями на шлеме среди ристалища и сабель! Он дал согласие привезти с собой десятка полтора английских рыцарей, пожелавших принять участие в турнире.

В марте был наконец подписан мирный договор с Францией, уладивший аквитанский вопрос с огромным ущербом для Англии. Но мог ли Мортимер заставить Эдуарда III отказаться от условий договора, о которых сам вел переговоры и которые были силой навязаны Эдуарду II? Таково было наследие скверного правления, и за него

приходилось теперь расплачиваться. Да к тому же Мортимера мало интересовала Гиень, где у него не было владений, и все свое внимание он обратил, как и до своего заточения в Тауэре, на Уэльс и Валлийскую марку.

Посланцы, прибывшие в Париж подписывать договор, застали короля Карла IV в весьма печальном и удрученном состоянии духа, ибо он надеялся на рождение сына, но в ноябре Жанна д'Эврё родила ему дочь, да и та скончалась, не прожив двух месяцев.

В английском королевстве уже начал было воцаряться порядок, когда вдруг старый король Шотландии Роберт Брюс — тот самый, что доставил столько неприятностей Эдуарду II, — несмотря на преклонный возраст и мучившую его проказу, внезапно, за двенадцать дней до Пасхи, заявил юному Эдуарду III, что собирается напасть на его страну.

Первой мыслью Роджера Мортимера было изменить место пребывания бывшего короля Эдуарда II. Этого требовала осторожность. И в самом деле Генри Ланкастеру надлежало со своим войском быть в армии, да и кроме того, по сведениям, поступавшим из Кенилворта, он слишком мягко обращался с узником, ослабил

охрану и позволял бывшему королю поддерживать связь с внешним миром. А между тем еще не все сторонники Диспенсеров были казнены — взять хотя бы графа Уорена, которому удалось бежать и которому посчастливилось больше, чем его зятю графу Арунделу. Некоторые из их сторонников укрылись в своих замках или нашли убежище у своих друзей, пережидая грозу, кое-кто бежал за пределы королевства. Возможно даже, старый шотландский король бросил вызов по их наущению.

С другой стороны, охватившее страну после освобождения великое народное ликование довольно быстро пошло на спад. После шести месяцев правления Роджера Мортимера его любили уже много меньше, не так заискивали перед ним, ибо по-прежнему существовали налоги и по-прежнему людей, не плативших их, бросали в тюрьмы. Сановники и лорды упрекали Мортимера в чрезмерной резкости, усиливающейся изо дня в день, и в честолюбии, которого он теперь уже не скрывал. Он вновь завладел всем своим состоянием, которое было отобрано у него графом Арунделом, да еще добавил к нему графство Глеморган и большую часть земель Хью-младшего. Три его зятя (у Мортимера были три

замужние дочери) — лорд Беркли, граф Чарлтон, граф Уорик — также расширяли свои земельные владения. Взяв на себя обязанность верховного судьи Уэльса, некогда исполнявшуюся его дядей лордом Чирком, и присоединив к своим также и его земли, Мортимер замышлял создать графство из марки, расположенное на западе королевства, графство это на самом деле представляло бы огромное и почти независимое княжество.

Кроме того, Мортимер уже успел поссориться с Адамом Орлетоном. Орлетон, посланный в Авиньон для того, чтобы ускорить получение разрешения на брак юного короля, испросил у папы пустовавшее в то время место епископа Вустерского. Мортимер оскорбился тем, что он действовал без его согласия, и воспротивился планам Орлетона. Точно так же когда-то повел себя Эдуард II в отношении того же Орлетона, мстя за осаду Херефорда.

Уменьшалась также популярность королевы.

И вот вновь начиналась война, еще одна война с Шотландией! Следовательно, ничего не изменилось. Слишком много возлагалось надежд, чтобы не испытать теперь разочарования. Достаточно любого волнения в армии или заговора с целью освобождения Эдуарда II, чтобы шотландцы объ-

единились с бывшей партией Диспенсеров, — под рукой у них будет король, готовый взойти на трон и отдать им северные районы страны в обмен на свою свободу и вновь обретенную власть[97].

В ночь с 3 на 4 апреля низложенного короля разбудили и приказали быстро одеваться. Перед Эдуардом стоял высокий рыцарь, нескладный, с длинными желтыми зубами и темными прядями волос, падавшими ему на уши, — словом, весьма похожий на собственного коня.

— Куда ты меня везешь, Мальтраверс? — с ужасом спросил Эдуард, узнав в рыцаре того самого барона, которого некогда разорил и изгнал из королевства и от которого сейчас веяло убийством.

— Я везу тебя, Плантагенет, в более безопасное место, а для полной безопасности ты не должен знать, куда ты едешь, дабы твоя голова не выдала эту тайну твоим устам.

Мальтраверсу было приказано объезжать города стороной и не слишком мешкать в пути. 5 апреля, после утомительного путешествия,

---

[97] Примечания: 97

Летописцы, а вслед за ними и многие историки, которые видят в передвижениях, навязанных Эдуарду II в конце его жизни, лишь выражение беспричинной жестокости, похоже, не заметили связи между этими передвижениями и шотландской войной. В тот самый день, когда приходит вызов от Роберта Брюса, Эдуарду дается приказ покинуть Кенилворт; когда война заканчивается, он снова меняет резиденцию.

проделанного рысью, а иногда и галопом, всего с одной короткой остановкой в аббатстве вблизи Глостера, король переступил порог замка Беркли и был передан под стражу одному из зятьев Мортимера.

Английское войско, которое, как предполагалось вначале, должно было быть созвано на Вознесение в Ньюкастле, собралось на Троицу в Йорке. Туда же перебрались и правители королевства, там же заседал парламент; все происходило как при низложенном короле, когда на страну нападала Шотландия.

Вскоре прибыл и мессир Иоанн Геннегау со своими геннегауцами, которых не замедлили позвать на помощь. И вновь на своих крупных рыжих конях явились еще не остывшие после жарких турниров в Конде-на-Шельде сиры де Линь, д'Энгьен, де Монс и де Сарр, а также Вильгельм де Байель, Парсифаль де Семери, Сане де Буссуа и Ульфар де Гистель, которые сумели прославить знамена Геннегау в турнирных поединках, мессир Тьери де Валькур, Рас де Грез, Иоанн Пиластр и три брата Харлебеке под брабантскими знаменами. Вместе с ними прибыли и сеньоры Фландрии, Камбре и Артуа и с ними сын маркиза де Жюлье.

Иоанн Геннегау бросил клич в Конде, и все они явились по его зову. От войны к турнирам, от турниров к войне — боже, как же они развлекались!

В честь возвращения геннегауцев в Йорке были устроены большие празднества. Им отвели лучшие жилища, для их увеселения затевали праздники и пиршества, где столы ломились от яств и дичи. Гасконские и рейнские вина лились рекой.

Прием, оказанный чужеземцам, рассердил английских лучников, которых насчитывалось добрых шесть тысяч, — среди них было много старых воинов казненного графа Арундела.

Однажды вечером, как то часто бывает среди стоящих бивуаком войск, во время игры в кости между английскими лучниками и оруженосцем одного брабантского рыцаря завязалась драка. Англичане, только и ждавшие случая, кликнули на помощь своих товарищей — все лучники поднялись, чтобы проучить грубиянов с континента. Геннегауцы отступили на свои квартиры и укрепились там. Привлеченные шумом рыцари, прервав пиршество, высыпали на улицы, где на них тотчас же напали английские лучники. Они тоже попытались укрыться в своих жилищах, но не могли туда проникнуть, ибо там

забаррикадировались их собственные люди. И вот цвет фландрской знати оказался безоружным и беззащитным. Но то были бравые вояки. Мессиры Парсифаль де Семери, Фастр де Рю и Сане де Буссуа притащили тяжелые дубовые оглобли из мастерской каретника и, прислонясь к стене, втроем прикончили с добрых полсотни лучников епископа Линкольна. Эта пустячная стычка между союзниками обошлась обеим сторонам в три с лишним сотни убитых.

Шесть тысяч лучников даже думать забыли о войне с Шотландией и мечтали только о том, как бы перебить геннегауцев. Взбешенный и оскорбленный мессир Иоанн Геннегау хотел было вернуться к себе на родину, хотя он мог это сделать лишь при условии, если снимут осаду домов, где засели его воины. Но в конце концов после того, как нескольких человек вздернули на виселице, все успокоились. Английские дамы, сопровождавшие своих мужей в поход, щедро дарили улыбки рыцарям Геннегау и, смахивая набегавшие на глаза слезы, осыпали их просьбами остаться. Геннегауцев разместили в полумиле от прочей армии, и в течение целого месяца они поглядывали на английских лучников, как собака на кошку.

Наконец решено было выступить в поход. Юный король Эдуард III, совершая свой первый военный поход, шел во главе восьми тысяч закованных в латы всадников и тридцати тысяч пехотинцев.

К несчастью, шотландцев обнаружить не удалось. Эти суровые воины передвигались без повозок и обозов. Их подвижные войска имели при себе легкую поклажу — плоский камень, притороченный к седлу, да небольшой мешочек с мукой; они умели прекрасно довольствоваться такими скудными запасами в течение нескольких дней; муку они разводили водой из ручья и пекли из нее на раскаленном камне лепешки. Шотландцы посмеивались над громоздкой английской армией, они нападали на нее, завязывали короткие схватки и тотчас же отходили, переправляясь в самых неожиданных местах через реки, заманивали противника в болота, в непроходимые леса, в ущелья с отвесными скалами. Англичане вслепую бродили между рекой Тайн и горами Чевиот.

Как-то в лесу, по которому продвигались англичане, послышался шум. Был дан сигнал тревоги. Все устремились вперед с опущенными забралами, выставив щит, с копьем в руках, не дожидаясь

ни отца, ни брата, ни товарища, и, к великому своему стыду, натолкнулись на обезумевшее от страха стадо оленей, которое бросилось наутек, заслышав бряцание оружия.

Все труднее становилось с продовольствием. Провизию можно было найти лишь у немногих торговцев, да и те драли втридорога. Лошадям не хватало овса и сена. А тут еще как на грех начались дожди и лили без перерыва целую неделю; седла прели под всадниками, лошади теряли в грязи подковы, армия пала духом. По вечерам рыцари рубили саблями ветви и строили из них шалаши. А шотландцы по-прежнему были неуловимы!

Маршал войска сэр Томас Вейк был в отчаянии. Граф Кентский почти с сожалением вспоминал Ла-Реоль: там, по крайней мере, хоть не было дождей. У Генри Кривая Шея начались ревматические боли в затылке. Мортимер злился и без конца разъезжал между армией и Йоркширом, где находились королева и высшие сановники. Войска охватывало отчаяние, порождавшее ссоры, поговаривали даже о предательстве.

Однажды, когда командиры отрядов громко обсуждали, чего не было сделано и что следовало бы сделать, юный король Эдуард III собрал несколь-

ко оруженосцев своего возраста и пообещал звание рыцаря и землю с доходами в сто фунтов тому, кто обнаружит местонахождение шотландской армии. Около двадцати юношей в возрасте четырнадцати — восемнадцати лет рассыпались во все стороны. Первым вернулся оруженосец по имени Томас Роксби. Падая от усталости и задыхаясь от волнения, он воскликнул:

— Ваше величество, шотландцы на горе, всего в четырех милях отсюда, они стоят там уже целую неделю. Вы не знали, где находятся они, а они потеряли ваш след.

Эдуард тотчас же приказал протрубить сбор и повел армию в край, называемый белыми ландами. Был дан приказ атаковать шотландцев. Выслушав этот приказ, знаменитые участники турниров не могли опомниться от изумления. Но шум, производимый закованными в железо людьми, продвигавшимися в горах, разносился очень далеко и дошел до слуха воинов Роберта Брюса. Английские лучники и рыцари Геннегау взобрались на гряду холмов и уже приготовились спуститься, как вдруг заметили всю шотландскую спешившуюся армию, построившуюся к бою, с натянутыми тетивами. Обе армии смотрели друг на друга издали, боясь идти на сближение, ибо

место для конного боя было очень неудачным; так простояли они друг против друга целых двадцать два дня!

Поскольку шотландцы, видимо, не собирались менять выгодную для них позицию, а рыцари не хотели давать бой там, где трудно было развернуться, то противники оставались каждый на своей стороне холма, ожидая, кто первым оставит позицию. Дело ограничивалось мелкими стычками пехоты, происходившими главным образом ночью.

Самый выдающийся подвиг в этой странной войне между восьмидесятилетним прокаженным старцем и пятнадцатилетним королем совершил шотландец Джек Дуглас, который с двумя сотнями всадников своего отряда лунной ночью ворвался в лагерь англичан и с криками «Дуглас! Дуглас!» перевернул все вверх дном, перерезал даже три веревки, поддерживавшие палатку короля, и скрылся. С этой ночи английские рыцари ложились спать только в доспехах. Наконец как-то на заре были взяты в плен двое якобы заплутавшихся шотландских воинов, двое дозорных, которым, по-видимому, не терпелось попасть в плен. Когда их привели к королю, они заявили:

— Сир, что вы здесь ищете? Наши шотландцы давно ушли в горы, а сир Роберт, наш король, приказал нам сообщить вам об этом, а также и то, что он больше не нападет на вас в нынешнем году, если вы не будете его преследовать.

Англичане снялись с места и осторожно, опасаясь засады, стали продвигаться вперед. Вскоре они очутились перед четырьмястами кипящими, подвешенными на прутьях котлами, в которых варилось мясо. Эти котлы были оставлены шотландцами, чтобы не загружать себя при отступлении и не производить лишнего шума. Кроме того, была обнаружена огромная куча старой кожаной обуви, отороченной мехом. Это шотландцы, прежде чем отправиться в путь, сменили обувь. Из живых существ в лагере находилось лишь пятеро привязанных к кольям пленных англичан, совершенно голых и с перебитыми палкой ногами.

Было бы безумием преследовать шотландцев в этой труднопроходимой горной стране, где население враждебно относилось к англичанам, а утомленной армии пришлось бы вести войну в непривычных для нее условиях. Кампанию объявили оконченной, армия вернулась в Йорк, где и была распущена.

Мессир Иоанн Геннегау подсчитал число убитых и искалеченных лошадей и представил счет на четырнадцать тысяч фунтов. У молодого короля Эдуарда в казне не нашлось такой суммы, а приходилось еще платить своим собственным войскам. Тогда мессир Иоанн Геннегау сделал, как обычно, великодушный жест и объявил себя гарантом перед своими рыцарями за всю сумму, которую им был должен его будущий племянник.

В конце лета Роджер Мортимер, лично не заинтересованный в сохранении северной части королевства, на скорую руку заключил мирный договор. Эдуард III вынужден был отказаться от сюзеренитета над Шотландией и признать Роберта Брюса королем этой страны, на что никогда бы не согласился Эдуард II; кроме того, Дэвид Брюс, сын Роберта Брюса, женился на Иоанне Английской, второй дочери королевы Изабеллы.

Стоило ли ради всего этого низлагать прежнего короля, жившего теперь изгнанником в Беркли?

Глава VII

Соломенная корона

Багровая заря разлилась по небосводу за холмами Каствуда.

— Скоро взойдет солнце, сэр Джон, — сказал Томас Гурней, один из двух всадников, ехавших во главе эскорта.

— Да, солнце-то взойдет скоро, мой друг, а мы еще не доехали до места назначения, — ответил Джон Мальтраверс, скакавший с ним рядом.

— Когда рассветет, люди, чего доброго, узнают того, кого мы везем, — вновь проговорил первый.

— Все может быть, но нужно во что бы то ни стало этого избежать.

Они нарочно повысили голос, чтобы их услышал следовавший за ними пленник.

Накануне в Беркли прибыл Томас Гурней, пересекший половину Англии, и привез из Йорка новое распоряжение Роджера Мортимера относительно охраны низложенного короля. Гурней не отличался красотой. Нос у него был вздернутый и мясистый, зубы выступали вперед, а кожа походила на свиную — ярко-розовая, вся в пятнах и в рыжеватой щетине; из-под железной каски, словно пакля, торчали пучки густых волос. В помощь

ему Мортимер отрядил Огла, бывшего брадобрея Тауэра, которому был дан приказ приглядывать за Гурнеем.

С наступлением ночи, в тот час, когда крестьяне уже заканчивали ужин и ложились спать, небольшой вооруженный отряд покинул Беркли и направился на юг через безлюдные поля и замершие деревни. Мальтраверс и Гурней ехали впереди. Короля окружала дюжина солдат, которыми командовал младший офицер, звавшийся Тауэрли, огромный узколобый детина, умственные способности которого были столь же ограниченны, сколь велика была физическая сила. Но он был послушен и словно рожден для таких дел, при исполнении которых не следует задавать лишних вопросов. Колонну замыкали Огл и монах Гийом, также не самый сообразительный из всей братии, но он мог пригодиться на случай соборования.

Всю ночь бывший король напрасно пытался догадаться, куда его везут. Вот уже взошла заря.

— А что нужно сделать, чтобы человек стал неузнаваемым? — рассуждал Мальтраверс.

— Изменить его лицо, сэр Джон; думаю, другого способа нет, — ответил Гурней.

— Нужно бы выпачкать его дегтем или сажей.

— Но тогда крестьяне подумают, что мы везем мавра.

— Да и дегтя-то у нас как на грех нету.

— Тогда его можно побрить, — сказал Томас Гурней, озорно подмигнув.

— Прекрасная мысль, мой друг! Тем более что у нас есть брадобрей. Сами небеса пришли нам на помощь. Огл, Огл, приблизься-ка сюда! Захватил ты таз и бритвы?

— Да, сэр, они со мной, и я готов вам служить, — ответил Огл, подъезжая к рыцарям.

— Тогда сделаем привал. Вон у того небольшого ручейка.

Весь этот спектакль они условились разыграть еще накануне. Небольшой отряд остановился. Гурней и Огл спешились. Гурней был широкоплечий, с короткими кривыми ногами. Огл расстелил на траве кусок холста, разложил на нем свой инструмент и принялся не спеша точить бритву, не спуская глаз с бывшего короля.

— Чего вы хотите от меня? Что вы собираетесь со мной делать? — тревожно спросил Эдуард II.

— Мы хотим, чтобы ты сошел со своего коня, благородный сэр, дабы мы могли изменить твое лицо. А вот и подходящий для тебя трон, — сказал Томас Гурней, указывая на взрытый кротом

бугорок, который он приплюснул каблуком сапога. — А ну, садись!

Эдуард повиновался. Но так как он замешкался, Гурней толкнул его, да так сильно, что король упал навзничь. Солдаты покатились с хохоту.

— А ну, становись в круг, — скомандовал Гурней.

Солдаты встали полукругом, а великан Тауэрли поместился сзади короля, чтобы в случае надобности надавить ему на плечи.

Вода, которую зачерпнул Огл из ручья, оказалась ледяной.

— Смочи-ка ему как следует физиономию, — посоветовал Гурней.

Брадобрей одним махом выплеснул в лицо короля целый тазик воды. Потом размашистыми, грубыми движениями начал водить бритвой по его щекам. Светлые пучки волос падали на траву.

Мальтраверс остался сидеть на коне. Опершись руками о луку седла, со свисающими на уши космами волос, он с явным наслаждением наблюдал за происходящим.

После двух взмахов бритвы Эдуард воскликнул:

— Мне больно! Не могли бы вы по крайней мере

смочить мне лицо теплой водой?

— Теплой водой? — отозвался Гурней. — Полюбуйтесь-ка на этого неженку!

И Огл, приблизив к королю свое круглое белесое лицо, в упор бросил ему:

— А разве лорду Мортимеру, когда он сидел в Тауэре, подогревали воду для бритья?

И он вновь принялся брить короля широкими взмахами бритвы. Кровь струилась по щекам. От боли Эдуард заплакал.

— Посмотрите-ка на этого ловкача, — воскликнул Мальтраверс, — нашел все-таки способ получить теплую воду для бритья.

— Сбрить и волосы, сэр Томас? — спросил Огл.

— Конечно, конечно, брей и волосы, — ответил Гурней. И из-под бритвы начали падать пряди волос.

Спустя десять минут Огл протянул своему клиенту оловянное зеркальце, и бывший государь Англии с ужасом увидел свое настоящее лицо, детское и старческое одновременно, голый, узкий и вытянутый череп, длинный безвольный подбородок; Эдуард чувствовал себя смешным, словно стриженая собачонка.

— Я не узнаю себя, — проговорил он.

Стоявшие вокруг солдаты расхохотались.

— Вот так здорово! — бросил Мальтраверс, не слезая с коня. — Если ты сам себя не узнаёшь, то те, кто захочет тебя отыскать, и подавно тебя не узнают. Вот тебе наказание за попытку совершить побег.

Именно поэтому-то короля и перевозили на новое место. Несколько уэльских сеньоров под предводительством некоего Риса эп Грефида устроили заговор, чтобы освободить низложенного короля. Мортимера вовремя предупредили. Эдуард, воспользовавшись попустительством Томаса Беркли, бежал из своей тюрьмы. Мальтраверс тотчас же пустился за ним в погоню и догнал его в лесу, когда король бежал к реке, как загнанный олень. Бывший король пытался достичь устья Северна в надежде найти там лодку. Сейчас Мальтраверс наслаждался местью, но вскоре ему стало жарко.

— Вставай, король, пора в путь, — сказал он.

— А где мы остановимся? — спросил Эдуард.

— Там, где будем уверены, что ты не встретишь своих друзей. И где ты сможешь спокойно спать. Положись на нас, мы будем надежно охранять твой покой.

Путешествие длилось целую неделю. Ночью они ехали, а днем отдыхали то в замке, где им

заведомо не грозила опасность, то в открытом поле — в каком-нибудь заброшенном сарае. На рассвете пятого дня Эдуард увидел на горизонте очертания огромной серой крепости, возвышавшейся на холме. Порывы ветра доносили свежий, влажный, слегка солоноватый морской воздух.

— Это же Корф! — воскликнул Эдуард. — Значит, вы везете меня сюда?

— Конечно, Корф, — ответил Томас Гурней. — Видно, ты хорошо знаешь замки своего королевства.

Громкий крик ужаса вырвался из груди Эдуарда. Когда-то астролог дал ему совет не останавливаться в этом замке, ибо пребывание там может оказаться для короля роковым. Когда Эдуард наведывался в Дорсетт и Девоншир, он несколько раз подъезжал к Корфу, но упорно отказывался даже заглядывать в эту крепость.

Замок Корф был построен раньше Кенилворта, был больше его и производил еще более зловещее впечатление. Его гигантская башня возвышалась над всеми окрестностями, над всем полуостровом Пербек. Некоторые из его укреплений были построены еще до нормандского нашествия. Он часто служил темницей — так, например, Иоанн Безземельный сто двадцать лет назад приказал

уморить там с голоду двадцать два французских рыцаря. Казалось, Корф был построен именно для того, чтобы там совершались преступления. Зловещую славу этот замок приобрел еще к тысячному году, когда в его стенах был убит пятнадцатилетний мальчик, король Эдуард, прозванный Мучеником, тоже Эдуард II, но из саксонской династии.

Легенда об этом убийстве еще жила в округе. Эдуарда Саксонского, сына короля Эдгара, от которого он наследовал престол, возненавидела его мачеха королева Эльфрида, вторая супруга его отца. Однажды, когда он, возвратившись верхом с охоты, мучимый сильной жаждой, поднес ко рту рог с вином, королева Эльфрида вонзила ему в спину кинжал. Взвыв от боли, юный король пришпорил своего коня и поскакал к лесу. Там, истекая кровью, он упал с седла, но нога его застряла в стремени, и напуганная лошадь долго волочила безжизненное тело, а его голова билась о деревья.

Крестьяне нашли в лесу тело по кровавым следам, оставшимся на траве. Они тайно похоронили его. На могиле стали происходить чудеса.

Позже Эдуард был причислен к лику святых.

То же имя, Эдуард, тоже Второй, правда дина-

стия другая. Это сходство, еще более жуткое из-за предсказания астролога, приводило короля в трепет. Неужели Корф станет свидетелем смерти еще одного Эдуарда II?

— Ради торжественного твоего прибытия в сию прекрасную цитадель тебе требуется корона, мой благородный сэр, — сказал Мальтраверс. — А ну-ка, Тауэрли, собери немного сена.

Из охапки сена, которую приволок великан, Мальтраверс смастерил корону и водрузил ее на бритый череп короля. Сухие травинки больно вонзились ему в кожу.

— А теперь вперед, и не взыщи, что не припасли труб!

Глубокий ров, крепостная стена между двумя круглыми толстыми башнями, подъемный мост, зеленый склон холма, снова ров, опять решетчатые ворота и затем еще зеленый холм, а если обернуться, то увидишь маленькие деревенские домики с крышами из тесно сложенных наподобие черепицы серых камней. Удивительно, как такие маленькие домики выдерживают столь тяжелую кровлю!

— Ну, иди! — крикнул Мальтраверс и ударил Эдуарда кулаком в спину.

Корона из сена покачнулась. Лошади двигались

теперь по узким кривым проходам наподобие коридоров, вымощенным морской галькой, между огромными, наводящими ужас стенами, на которых, словно черные кружева, окаймлявшие серый камень, сидели в ряд вороны и смотрели с пятидесятифутовой высоты на проезжавшую кавалькаду.

Король Эдуард II был уверен, что его сейчас убьют. Ведь есть много способов умертвить человека.

Однако Томас Гурней и Джон Мальтраверс не получили приказа убить короля, им только было дано повеление поскорее свести его в могилу. Они выбрали медленную смерть. Дважды в день бывшему королю Англии подавали отвратительную ржаную похлебку, а стражники его объедались различными яствами. Но он переносил все — и эту мерзкую пищу, и насмешки, и побои, на которые не скупились его стражи. И как ни странно, был силен телом и даже духом. Другие бы на его месте давно потеряли рассудок, он же лишь стонал. Но даже стоны эти свидетельствовали о здравом рассудке.

— Неужели мои прегрешения столь велики, что я не заслуживаю ни жалости, ни снисхождения? Неужели вы лишились христианского

милосердия и доброты? — говорил он своим палачам. — Пусть я уже не государь, но я еще пока супруг и отец. Разве я могу внушать страх моей жене и моим детям? Неужели им мало того, что они отобрали у меня все, что я имел?

— Зачем же ты жалуешься на свою супругу, сир король? Разве ее величество королева не посылала тебе прекрасной одежды и нежных писем, которые мы тебе читали?

— Мошенники, мошенники, — твердил Эдуард, — вы мне только показали эту одежду, но не дали ее; по вашей милости я гнию в этих мерзких лохмотьях. А письма, неужели вы думаете, что я не понимаю, почему эта злая женщина шлет их мне? Ей нужны доказательства, что она, мол, сочувствует мне. Это она, она со злодеем Мортимером приказывает вам мучить меня! Не будь ее и этого предателя, мои дети пришли бы обнять меня, я в этом уверен!

— Королева, твоя супруга, и твои дети, — отвечал Мальтраверс, — чересчур боятся твоего жестокого нрава. Слишком они натерпелись из-за твоих злодеяний и злобы, так что вряд ли они горят желанием увидеться с тобой.

— Радуйтесь, негодяи, радуйтесь, — говорил король. — Придет время, и вы поплатитесь за все

муки, которые я перенес по вашей вине.

И он начинал плакать, уткнув в ладони бритый подбородок. Он плакал, но не умирал.

Гурней и Мальтраверс ужасно скучали в Корфе, ибо все удовольствия и развлечения уже давно иссякли, даже удовольствие мучить короля потеряло прежнюю остроту. Кроме того, Мальтраверс оставил в Беркли свою супругу Еву у своего шурина, да и в округе уже начали ходить слухи о том, что в замке содержится низложенный король. Тогда, после обмена посланиями с Мортимером, было решено переправить Эдуарда в Беркли.

Когда в сопровождении того же эскорта король Эдуард, лишь чуть похудевший и чуть больше сгорбившийся, вновь прошел под теми же опускающимися огромными решетками, по подъемным мостам, миновал два ряда крепостных стен, он, вопреки всей тяжести своего положения, почувствовал огромное облегчение, освободился от вечных страхов. Астролог обманул его.

Глава VIII
Bonum Est

Королева Изабелла была уже в постели, две золотистые косы лежали у нее на груди. Роджер

Мортимер, пользуясь своей привилегией, вошел в ее опочивальню без доклада. По выражению его лица королева сразу догадалась, о чем он сейчас будет говорить, вернее, о чем заговорит вновь.

— Я получил известия из Беркли, — сказал он нарочито спокойным и равнодушным тоном.

Изабелла не ответила.

За полуоткрытым окном дышала свежая сентябрьская ночь. Мортимер подошел к окну, широко распахнул его и некоторое время глядел на раскинувшийся внизу город Линкольн с еще не погашенными кое-где огнями, с тесным строем домов. Линкольн был четвертым городом королевства после Лондона, Уинчестера и Йорка. Сюда десять месяцев назад прислали одну из частей тела Хью Диспенсера-младшего. Переехавший из Йоркшира королевский двор находился здесь уже целую неделю.

Изабелла смотрела на широкие плечи и вьющиеся волосы Мортимера, вырисовывавшегося в рамке окна на фоне ночного неба. В эту минуту она его не любила.

— Ваш супруг, по-видимому, упрямо цепляется за жизнь, — заговорил Мортимер, повернувшись к ней, — а жизнь его ставит под угрозу спокойствие всего королевства. В уэльских замках зреет

заговор, имеющий целью его освободить. Доминиканцы осмеливаются возносить за него молитвы даже в самом Лондоне, где, как вам известно, в июле были волнения, которые могут повториться вновь. Согласен с вами, сам Эдуард не опасен, но он прекрасный повод для происков наших врагов. Прошу вас, соблаговолите наконец отдать приказ, который я вам посоветовал отдать и без которого ни вы, ни ваш сын не будете знать покоя.

Изабелла устало вздохнула. Почему он сам не хочет отдать этот приказ? Почему не берет на себя это решение, он, который делает погоду в королевстве?

— Любезный Мортимер, — спокойно сказала она, — я уже ответила вам, что вы никогда не добьетесь от меня этого приказа.

Роджер Мортимер закрыл окно, он боялся вспылить.

— Но почему же, — наконец проговорил он, — после стольких испытаний и стольких опасностей вы стали теперь врагом собственной безопасности?

Она отрицательно покачала головой:

— Не могу. Я предпочту подвергнуться любой опасности, нежели прибегнуть к такому средству.

Прошу тебя, Роджер, пусть наши руки не будут обагрены его кровью.

Мортимер усмехнулся.

— И откуда это у тебя вдруг такое уважение к крови твоих врагов? — сказал он. — Ты не отвращала глаз, когда на городских площадях лилась кровь графа Арундела, кровь Диспенсеров, Бальдока. Иногда ночью мне даже казалось, что зрелище крови тебе по душе. Разве на руках у этого дражайшего сира не больше крови, чем на наших руках не только теперь, но и впредь? Разве он не пролил бы с удовольствием мою или твою кровь, если бы только имел возможность? Тот, кто боится крови, не должен быть ни королем, ни королевой, Изабелла, таким людям лучше уйти в монастырь, надеть монашеское одеяние и отказаться от любви и власти.

Их взгляды на мгновение встретились. Серые глаза под густыми бровями блестели при свете свечей злым огоньком, белый рубец на губе придавал лицу жестокое выражение. Изабелла первая отвела взор.

— Вспомни, Мортимер, когда-то он пощадил тебя, — сказала она. — Теперь он, наверное, думает, что, не уступи он просьбам баронов, епископов и моим тоже, он казнил бы тебя, как Томаса Лан-

кастера…

— Я прекрасно помню об этом и именно потому не хочу когда-нибудь испытывать сожаления, подобные тем, которые испытывает он сейчас. По моему мнению, твое упрямое сочувствие по меньшей мере странно.

Он замолк.

— Значит, ты все еще любишь его? — добавил он. — Я не вижу иной причины.

Изабелла пожала плечами.

— Так вот что движет тобою! — проговорила она. — Ты хочешь получить еще одно доказательство моей любви к тебе. Неужели в тебе никогда не утихнет ярость ревнивца? Разве я не доказала не только перед всем королевством Франции и перед королевством Англии, но даже перед собственным сыном, что нет у меня в сердце иной любви, кроме любви к тебе? Что же еще я должна сделать?

— Только то, о чем я тебя прошу, и ничего больше. Но я вижу, ты не можешь решиться. Вижу, что клятва, которую мы дали друг другу и которая должна была связать нас навеки и внушать нам единые желания, была для тебя лишь притворством. Я вижу, что волею судеб я вверил себя слабому созданию.

Он ревнивец, просто ревнивец! Всемогущий регент, назначающий на все посты, наставник юного короля, живущий с королевой как с законной супругой, не стесняясь баронов, Мортимер по-прежнему ревновал Изабеллу. «А может, он не так уж не прав?» — подумалось вдруг ей. Ибо ревность заставляет человека, на которого она обращена, выискивать в себе то, что могло ее породить, и в этом-то ее опасность. И тогда всплывают в памяти иные, мимолетные чувства, коим раньше не придавалось значения. Странное дело! Изабелла была уверена, что ненавидит Эдуарда, как только может ненавидеть женщина; она думала о нем с презрением, отвращением и злобой. И все же… И все же воспоминания об обручальных кольцах, короновании, материнстве, воспоминания, которые она хранила не так о нем, как о самой себе, воспоминания о надуманной любви к нему — все это удерживало ее. Не могла теперь она решиться отдать приказ о смерти отца детей, которых она родила… «И они еще называют меня Французской волчицей!» Никогда святой не бывает полностью святым, а жестокосердый полностью жестокосердым, как думают люди; никто не в состоянии проследить минута за минутой порывы чужой души.

К тому же Эдуард, даже низложенный, оставался королем. Пусть его лишили всего, обобрали, заключили в темницу, все равно он оставался особой королевского ранга. А Изабелла была королевой, воспитанной в духе уважения к королевскому званию. В детстве перед глазами ее был пример подлинного королевского величия, воплощенного в человеке, который считал, что происхождение и помазание на царство возвысили его над всеми людьми, и который не скрывал этого. Посягнуть на жизнь подданного, будь он даже самого знатного рода, лишь преступление. Но лишить жизни особу короля — это уже прямое святотатство, как бы отрицание неприкосновенности, которой должны пользоваться государи.

— Тебе этого не понять, Мортимер, ибо ты не король и в жилах твоих не течет королевская кровь.

Она спохватилась, но слишком поздно, что думает вслух!

Барону Валлийской марки, потомку соратника Вильгельма Завоевателя, наместнику Уэльса, был нанесен жестокий удар. Он отпрянул на два шага и отвесил королеве поклон.

— Мне кажется, ваше величество, что не король вернул вас на престол, но ждать, чтобы вы

признали это, видимо, значит попусту терять время. Не будучи ни королем, ни сыном короля, я, несмотря на все свои заслуги, немногого стою в ваших глазах. Ну что ж, пусть ваши враги освободят вашего супруга-венценосца, можете даже сделать это своими собственными руками! Ваш могущественный брат, король Франции, не замедлит вновь взять вас под защиту, как он уже сделал однажды, когда вам пришлось бежать в Геннегау и когда я поддерживал вас в седле. Мортимер не король, и жизнь его поэтому не защищена от превратностей судьбы. Что ж, мадам, пока еще не поздно, пойду искать себе убежище в другом месте, за пределами королевства, королева коего так мало меня любит, что мне здесь нечего больше делать!

С этими словами он направился к дверям. Мортимер умел владеть собой даже в приступе ярости; он не хлопнул дубовой дверью, а не спеша прикрыл ее, и в коридоре затихли его шаги.

Слишком хорошо знала Изабелла своего гордеца Мортимера и не верила в его возвращение. Она вскочила с постели, выбежала в одной рубашке в коридор, а догнав Мортимера, схватила его за край плаща и повисла у него на руке.

— Не уходи, останься, милый Мортимер, молю

тебя! — воскликнула она, не боясь, что их могут услышать. — Я женщина, мне нужны твои советы и твоя поддержка! Останься, останься, бога ради, и действуй так, как сочтешь нужным.

Обливаясь слезами, она прижималась к этой груди, к этому сердцу, без которого не могла жить!

— Я хочу того, чего хочешь ты, — добавила она.

На шум выскочили слуги, но тотчас же исчезли, испуганные тем, что стали свидетелями ссоры между любовниками.

— Ты действительно хочешь того, чего хочу я?.. — спросил Мортимер, сжав лицо королевы в ладонях. — Хорошо! Эй, стража! Немедленно разыщите мне монсеньора Орлетона.

В течение нескольких месяцев между Мортимером и Орлетоном были довольно натянутые отношения из-за глупой ссоры: папа обещал епископство Вустерское Орлетону, а Мортимер дал слово добиться согласия короля на передачу этого епископства другому лицу. Знай Мортимер, что его друг мечтает об этом епископстве, никаких трудностей, разумеется, не возникло бы. Но Орлетон действовал втайне, а Мортимер уже дал клятву и не хотел от нее отказываться. Он перенес дело в парламент, когда тот находился еще в Йор-

ке, и добился конфискации доходов епископства Вустера. Орлетон, который уже не был епископом Херефордским и не стал епископом Вустерским, счел это чересчур большой неблагодарностью со стороны человека, которому он помог бежать из Тауэра. Вопрос все еще не был решен, и Орлетон по-прежнему следовал за двором.

«Когда-нибудь я еще понадоблюсь Мортимеру, — думал Орлетон, — и тогда я выберу себе любую епархию, какую только захочу!»

И вот этот день, вернее, ночь настала. Орлетон понял это, переступив порог королевской опочивальни. Королева Изабелла вновь легла в постель, а Мортимер большими шагами ходил взад и вперед по комнате. На глазах у королевы еще не просохли слезы. Если прелата не стеснялись до такой степени, значит в нем действительно нуждаются!

— Ее величество королева, — начал Мортимер, — вполне справедливо считает, имея в виду известные вам происки, что жизнь ее супруга представляет угрозу для королевства, и она озабочена тем, что Всевышний не спешит призвать его к себе.

Адам Орлетон взглянул на Изабеллу, Изабелла взглянула на Мортимера, затем перевела взор на

епископа и еле заметно утвердительно кивнула. По лицу Орлетона скользнула улыбка, но выражала она не жестокость и насмешку, а скрытую грусть.

— Перед ее величеством королевой, — проговорил он, — стоит ныне трудная задача, нередко возникающая перед теми, кто несет бремя государственной власти: следует ли принести в жертву одну жизнь ради того, чтобы устранить угрозу, нависшую над многими?

Мортимер повернулся к Изабелле и сказал:

— Вы слышите?

Он был весьма доволен той поддержкой, какую ему оказывал епископ, и сожалел только, что сам не додумался до столь веского аргумента.

— Речь идет о безопасности народов, — вновь заговорил Орлетон, — и именно мы, священнослужители, призваны истолковывать волю Всевышнего. Конечно, Евангелие запрещает нам ускорять чью-либо кончину. Но законы Божьи не распространяются на королей, когда они приговаривают к смерти своих подданных… Я не раз думал, милорд, что страже, которую вы приставили к низложенному королю, следовало бы избавить вас от необходимости ставить и решать такие вопросы.

— По-моему, они уже сделали все, что могли, — ответил Мортимер. — Вряд ли они рискнут пойти дальше, не получив письменного распоряжения.

Орлетон покачал головой, но ничего не ответил.

— Письменный же приказ, — продолжал Мортимер, — может попасть не в те руки, которым он предназначен. Более того, он может послужить оружием в руках тех, кто его выполнит, против того, кто его дал. Вы меня понимаете?

Орлетон снова улыбнулся. Неужели они считают его таким простаком?

— Иными словами, милорд, — сказал он, — вы хотите послать приказ, не посылая его.

— Вернее, я хочу послать такой приказ, который был бы понятен лишь тому, кто его должен понять, и был бы темен для тех, кому он не предназначен. Именно об этом я и хотел посоветоваться с вами, человеком весьма опытным, если, конечно, вы согласитесь мне помочь.

— И вы просите об этом, милорд, бедного епископа, не имеющего даже пристанища, где он мог бы приклонить свою голову?

Тут улыбнулся Мортимер:

— Ну, ну, милорд Орлетон, не будем вспоминать старое. Вы сами знаете, что рассердили меня.

Почему вы прямо не сказали мне, чего хотите! Но если вы так настаиваете, я складываю оружие. Отныне Вустер ваш, тому порукой мое слово. Вы отлично знаете, что всегда останетесь моим другом.

Епископ кивнул. Да, он знал это, он тоже питал к Мортимеру дружеские чувства, и их размолвка ничего не изменила. Достаточно было им очутиться рядом, чтобы оба поняли это. Слишком много общих воспоминаний связывало их, слишком много потрудились они вместе, неизменно восхищаясь друг другом. Даже нынче вечером, в эту трудную минуту, когда Мортимер вырвал наконец у королевы долгожданное согласие, он позвал к себе именно его, епископа Орлетона, низенького человека с узкими плечами, утиной походкой, слабым зрением, испорченным долгой работой над оксфордскими манускриптами. Они были такими близкими друзьями, что за беседой совсем забыли о королеве, которая смотрела на них огромными голубыми глазами и чувствовала себя неловко в их обществе.

— Все помнят вашу прекрасную проповедь Caput meum doleo, позволившую низложить скверного государя, — сказал Мортимер. — Не кто иной, как вы, добились отречения Эдуарда.

Наконец-то пришло долгожданное признание его заслуг! Орлетон, потупив взор, слушал эти похвалы.

— Итак, вы хотите, чтобы я довел дело до конца? — спросил он.

В опочивальне стоял стол с перьями и пергаментом. Орлетон попросил нож, потому что он мог писать только теми перьями, которые чинил сам. Трудясь над пером, он собирался с мыслями. Мортимер не прерывал его раздумий.

— Приказ не должен быть длинным, — нарушил молчание Орлетон.

Он смотрел куда-то вдаль с довольным видом. Казалось, он забыл, что речь идет о смерти человека; он испытывал чувство гордости, удовлетворение ученого, только что решившего трудный стилистический вопрос. Низко склонившись над столом, он написал всего лишь одну фразу четким, аккуратным почерком, посыпал песком написанное и, протянув листок Мортимеру, сказал:

— Я согласен далее скрепить это письмо своей собственной печатью, если вы или ее величество королева считаете, что не должны сами этого делать.

Он и впрямь был весьма доволен собой.

Мортимер подошел к свече. Письмо было написано по-латыни. Он медленно прочитал вслух:

— Eduardum occidere nolite timere bonum est. — Затем, взглянув на епископа, сказал: — Eduardum occidere — это я хорошо понимаю, nolite значит «не делайте», timere значит «опасаться», bonum est — «хорошо».

Орлетон улыбнулся.

— Как надо понимать: «Эдуарда не убивайте, бойтесь недоброго дела», — спросил Мортимер, — или же: «Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело»? Где же запятая?

— Ее нет, — ответил Орлетон. — Если Господь пожелает, тот, кто получит письмо, поймет его смысл. Но разве можно кого-нибудь упрекнуть за такое письмо?

Мортимер озадаченно поглядел на него.

— Я не знаю, — проговорил он, — умеют ли Мальтраверс и Гурней читать по-латыни.

— Брат Гийом, которого по вашей просьбе я послал с ними, понимает латынь. К тому же гонец может передать изустно, и только изустно, что любые предпринимаемые согласно этому приказу действия должны совершаться так, чтобы не оставить следов.

— И вы действительно готовы скрепить это

послание своей печатью? — спросил Мортимер.

— Конечно, — отозвался Орлетон.

Поистине он был добрым другом. Мортимер проводил его до самого низа лестницы, потом вновь поднялся в опочивальню королевы.

— Милый Мортимер, — сказала Изабелла, — не оставляйте меня одну нынче ночью.

Сентябрьская ночь вовсе не была такой уж холодной, чтобы королева боялась замерзнуть.

Глава IX
Раскаленное железо

Беркли по сравнению с огромными крепостями Кенилворта или Корфа просто небольшой замок[98]. Сложен он из красного камня и благодаря своим размерам вполне приспособлен для жилья. Прямо к замку примыкает кладбище, в центре которого стоит церковь. Надгробные плиты успели уже покрыться зеленым мхом, тонким, словно шелковые нити.

---

[98] Примечания: 98

Замок Беркли избежал вместе с тремя другими нормандскими крепостями полного разрушения по приказу Кромвеля. Он постоянно был обитаем, и сегодня это, без сомнения, самое старое жилище Англии. Нынешние владельцы — все те же Беркли, потомки Томаса Беркли и Маргариты Мортимер.

Томас Беркли, довольно славный молодой человек, вовсе не питал злых умыслов против себе подобных. Однако у него не было причин особенно благоволить к бывшему королю Эдуарду II, который продержал его в течение четырех лет в Веллингфордской тюрьме вместе с его отцом, Морисом Беркли, скончавшимся в заключении. И напротив, он был привязан к своему могущественному тестю Роджеру Мортимеру, на старшей дочери которого женился в 1320 году, — он примкнул к Мортимеру во время мятежа и был освобожден им в минувшем году. Томас получал сто шиллингов в день за охрану и содержание низложенного короля, а это были немалые деньги. Его жена Маргарита Мортимер и его сестра Ева, супруга Мальтраверса, были тоже совсем неплохие женщины.

Эдуард II легче бы переносил свое заточение, если бы ему приходилось иметь дело только с семьей Беркли, но, к несчастью, при нем было трое мучителей — Мальтраверс, Гурней и цирюльник Огл. Они не давали бывшему королю ни отдыха, ни срока, изощрялись в жестокостях и даже состязались между собой, придумывая различные пытки.

Мальтраверсу пришла мысль поместить Эду-

арда в круглом помещении, расположенном в башне, всего нескольких футов в диаметре, середину которого занимал колодец — каменный мешок. Достаточно было одного неосторожного движения, чтобы свалиться в эту глубокую яму. Поэтому Эдуарду приходилось быть все время начеку. Сильный сорокачетырехлетний мужчина выглядел теперь шестидесятилетним старцем; брошенный в темницу, он целые дни лежал на охапке соломы, прижавшись к стене спиной. Стоило ему на короткое время забыться тревожным сном, как он тут же просыпался, весь в холодном поту от страха, что приблизился к колодцу.

К этой пытке страхом Гурней добавил еще одну пытку — вонью. По его приказу в округе собирали особенно зловонную падаль — трупы барсуков, попавших в капканы, лисиц, хорьков, а также дохлых птиц — и бросали в каменный мешок, для того чтобы эта тухлятина окончательно отравила воздух, которого и без того едва хватало пленнику.

— Вот подходящая дичь для нашего дурачка! — радовались палачи каждое утро, когда им приносили новую порцию дохлятины.

Сами они не обладали тонким нюхом и все вместе или по очереди торчали в маленькой ком-

натке наверху башни, сообщавшейся с чуланом, где медленно угасал король. Время от времени зловоние доходило и до них, но лишь вызывало грубые шутки.

— Ну и запашок от этого юродивого! — восклицали они, бросая игральные кости и попивая из кружек пиво.

В тот день, когда пришло письмо от Адама Орлетона, они долго совещались между собой. Брат Гийом перевел послание; у него не было сомнений относительно истинного смысла письма, однако от него не ускользнула содержавшаяся в нем двусмыслица, и он сообщил о ней своим дружкам. Тройка злодеев добрых четверть часа хлопала себя по ляжкам, повторяя на все лады: «Bonum est… Bonum est» — и покатываясь со смеху.

Туповатый гонец, доставший послание, точно передал устный приказ: «Никаких следов».

Именно этот вопрос они и обсуждали.

— Ей-богу, все эти придворные, епископы и прочие лорды сами не знают, чего требуют! — твердил Мальтраверс. — Приказывают убить, но пусть, мол, никто этого не заметит.

Как поступить? Если прибегнуть к отраве, почернеет труп; кроме того, за ядом придется

обращаться к людям, которые, чего доброго, проговорятся… Удушить? На шее останется след от петли, а лицо посинеет.

И тут бывшего брадобрея Тауэра осенила блестящая мысль. Томас Гурней внес в предложенный Оглом план кое-какие поправки, а долговязый Мальтраверс с хохотом смаковал подробности, обнажая свои лошадиные зубы и десны.

— Пускай примет кару так, как грешил! — воскликнул он.

Мысль эта казалась ему поистине блестящей.

— Но нам требуется четвертый, — сказал Гурней. — Пускай нам поможет твой шурин Томас.

— Да разве ты не знаешь Томаса? — ответил Мальтраверс. — Он, конечно, получает свои пять фунтов в день, но сердце у него чересчур чувствительное. Какой из него помощник, он в любую минуту может в обморок упасть.

— Думаю, что дылда Тауэрли охотно нам поможет, стоит ему посулить приличную сумму, — вмешался Огл. — К тому же он так глуп, что, даже если проговорится, все равно никто ему не поверит.

Решили дождаться вечера. Гурней заказал на кухне хороший обед для пленника — пышный пирог, зажаренную на вертеле мелкую дичь, бычий

хвост в соусе. Эдуард не обедал так роскошно со времен Кенилворта, где он проводил вечера в обществе своего кузена Генри Кривая Шея. Вначале он удивился и даже встревожился при виде столь необычного угощения, но затем приободрился. Вместо того чтобы поставить миску прямо на соломенную подстилку, как это делалось до сих пор, его усадили в маленькой смежной комнате на скамеечку, что показалось ему чуть ли не сказочным комфортом, и он наслаждался яствами, вкус которых уже успел забыть. Ему даже подали вина, хороший кларет, привезенный по приказу Томаса Беркли из Аквитании. Трое стражников присутствовали при этом пиршестве, то и дело подмигивая друг другу.

— У него не хватит времени, чтобы переварить все это, — шепнул Мальтраверс Гурнею.

Верзила Тауэрли стоял в дверях, почти загораживая собой весь проем.

— Теперь, надеюсь, ты чувствуешь себя гораздо лучше, не так ли, милорд? — осведомился Гурней, когда бывший король кончил трапезу. — Сейчас тебя проводят в хорошую комнату, где тебя ждет пуховая постель.

Бритоголовый узник удивленно взглянул на своих стражей, и длинный подбородок его за-

дрожал.

— Вы получили новые распоряжения? — спросил он.

В голосе его слышались нотки боязливой покорности.

— О да, конечно, получили новый приказ, и теперь с тобой будут хорошо обращаться, милорд! — ответил Мальтраверс. — Мы приказали даже разжечь огонь в той комнате, где ты будешь спать, так как ночи становятся прохладными, не правда ли, Гурней? Что ни говори, а уже конец сентября.

Король спустился по узкой лестнице, его провели через поросший травою двор башни, затем велели подняться на противоположную стену. Его тюремщики не солгали: ему приготовили одну из внутренних комнат, правда не такую роскошную, как во дворце, но все же довольно приличную, чистую, выбеленную известью. Здесь стояла кровать с огромной периной и жаровня, полная раскаленных углей. В комнате было почти жарко.

Мысли короля смешались, от вина слегка кружилась голова. «Значит, достаточно хорошо поесть, чтобы вновь почувствовать радость жизни?» Но каковы эти новые распоряжения?

Что произошло, если ему вдруг снова оказывают такое внимание? Может быть, в королевстве началось восстание или Мортимер впал в немилость… Ах, если бы это было так! Или, быть может, просто молодой король заинтересовался участью отца и отдал приказ, чтобы с ним обращались более человечно… Но если бы даже произошло восстание и за короля встал бы весь народ, Эдуард никогда бы не согласился вновь взойти на престол, никогда, ибо он поклялся в этом перед Господом Богом. Если он вновь станет королем, он вновь совершит все те же ошибки; нет, он не создан для того, чтобы править державой. Тихая обитель, где можно прогуливаться по чудесному саду, где вкусно кормят, где и помолиться можно, — вот и все, о чем он сейчас мечтал. Он отпустит бороду и волосы, разве что оставит тонзуру, еженедельное бритье, особенно когда тебя бреют тупым лезвием, мучительно. Как черств и неблагодарен человек, раз он не воздает хвалу Создателю за самые простые вещи, которые делают жизнь приятной: за пищу по вкусу, за теплую комнату… В жаровне еще тлели угли…

— А ну-ка, милорд, ложись! Сейчас сам убедишься, что у тебя мягкая постель, — сказал Гурней.

И в самом деле, перина оказалась на редкость мягкой. Какое счастье снова спать в настоящей постели! Но почему его стражи не уходят? Мальтраверс сидел на скамеечке, свесив между колен руки, и длинные волосы, как обычно, падали ему на уши. Он не отрываясь смотрел на короля. Гурней раздувал огонь. Огл держал в руке бычий рог и маленькую пилу.

— Спи, сир Эдуард, не обращай на нас внимания, нам нужно еще кое-что сделать, — уговаривал Гурней.

— Что ты делаешь, Огл? — спросил король. — Вырезаешь рог для питья?

— Нет, милорд, не для питья. Просто вырезаю рог.

Затем, отчеркнув ногтем отметку на роге, брадобрей сказал:

— Думаю, что такой длины достаточно. А как по-вашему?

Рыжий детина с настоящим свиным рылом вместо лица посмотрел через плечо и сказал:

— Думаю, достаточно. Bonum est.

И начал вновь раздувать огонь.

Пила с визгом пилила бычий рог. Закончив работу, брадобрей протянул отпиленный кусок Гурнею, который взял его, тщательно осмотрел

и воткнул в него раскаленный прут. Едкий запах распространился по всей комнате. Прут насквозь прожег рог. Гурней вновь положил прут на огонь. Как тут уснешь, когда вокруг идет такая работа? Может, они увели Эдуарда из каменного мешка, наполненного падалью, лишь для того, чтобы окуривать дымом горелого рога? Вдруг Мальтраверс, по-прежнему сидевший на скамейке и не сводивший взгляда с Эдуарда, спросил:

— Скажи-ка, у твоего любимого Диспенсера было такое же солидное украшение?

Двое других прыснули со смеху. При упоминании этого имени у Эдуарда вдруг мелькнула страшная догадка, и он понял, что эти люди сейчас казнят его, казнят без промедления. Неужели они готовят точно такую же ужасную пытку, какой подвергли Хью-младшего?

— Нет, вы этого не сделаете! Неужели вы меня убьете? — закричал он, вскочив с постели.

— Нет, что ты, сир Эдуард, зачем нам тебя убивать? — сказал Гурней, даже не оборачиваясь. — Откуда ты это взял? У нас есть приказ… Bonum est… Bonum est!

— А ну, ложись, — скомандовал Мальтраверс.

Но Эдуард боялся лечь. С выбритого, осунувшегося лица смотрели испуганные глаза затравлен-

ного животного, перебегавшие с рыжего затылка Томаса Гурнея на длинную физиономию Мальтраверса, на румяные щеки брадобрея. Гурней вытащил из жаровни железный прут и стал рассматривать его раскаленный конец.

— Тауэрли! — позвал он. — Стол!

Великан, ожидавший в соседней комнате, вошел, неся тяжелый стол. Мальтраверс сам затворил за ним дверь и повернул ключ. К чему им этот стол, вернее, толстая дубовая столешница, которую обычно устанавливают на козлы? Ведь здесь нет никаких козел. И хотя в комнате происходили непонятные вещи, этот стол в руках великана, державшего его чуть ли не кончиками пальцев, был самым удивительным, самым страшным предметом. Разве можно убить столом? Это была последняя ясная мысль короля.

— Ну, — сказал Гурней, сделав знак Оглу.

Они подошли к кровати с двух сторон. Бросившись на Эдуарда, перевернули его на живот.

— А! Негодяи! Мерзавцы! — кричал он. — Нет, вы меня не убьете!

Он отталкивал их, отбивался изо всех сил. На помощь им пришел Мальтраверс, но и втроем они не могли справиться с Эдуардом. Тогда к ним подошел великан Тауэрли.

— Нет, Тауэрли, стол! — крикнул Гурней.

Тауэрли вспомнил, что ему приказывали. Он приподнял огромную доску и опустил ее на плечи короля. Гурней снял одежду с пленника, стащил с него полуистлевшее нижнее белье. Зрелище было смешное и жалкое, но у палачей уже не было сил смеяться.

Король, почти лишившийся сознания от удара, задыхался под тяжестью доски, уткнувшись лицом в перину. Он вопил, отбивался. Сколько еще у него оставалось сил!

— Тауэрли, держи его за щиколотки! Да не так, а пошире! — приказал Гурней.

Королю удалось высунуть свою бритую голову из-под доски, и он повернул лицо в сторону, чтобы вдохнуть хоть глоток воздуха. Но Мальтраверс надавил ему на затылок обеими руками. Гурней схватил прут и приказал:

— Огл! А теперь воткни ему рог.

Король Эдуард сделал отчаянную попытку вырваться, когда раскаленное железо пронзило ему внутренности; вопль, исторгнутый из его груди, был слышен за стенами башни, он пронесся над кладбищенскими плитами и разбудил жителей города. И те, кто услышал этот долгий жуткий крик, сразу же поняли, что короля казнили.

Наутро жители Беркли пришли в замок, чтобы справиться о короле. Им ответили, что действительно нынче ночью король, издав страшный крик, внезапно скончался.

— Идите взгляните на него, взгляните, — говорили Мальтраверс и Гурней нотаблям и духовенству. — Его как раз обмывают. Входите, входите все.

И жители города воочию могли убедиться, что нет ни следов ударов, ни кровавых ран на этом теле, которое только что начали обмывать и с умыслом переворачивали перед посетителями. Лишь страшная гримаса исказила лицо покойного.

Томас Гурней и Джон Мальтраверс переглядывались: и впрямь блестящая мысль — пропустить раскаленный прут сквозь бычий рог. Смерть не оставила следов, и в эту столь изобретательную на убийства эпоху они открыли новый безупречный способ умерщвления.

Их беспокоило лишь то, что Томас Беркли уехал еще до зари в соседний замок, где, по его словам, у него были срочные дела. А Тауэрли, этот верзила с низким лбом, вдруг слег в постель и не переставая плакал уже несколько часов подряд.

Днем Гурней отправился верхом в Нотингем,

где в это время находилась королева, дабы сообщить ей о кончине супруга.

Томас Беркли отсутствовал целую неделю и утверждал, что его не было в замке в день смерти короля. Он был неприятно удивлен, узнав, что труп все еще не вынесли прочь. Ни один из окрестных монастырей не захотел брать на себя заботы, связанные с похоронами. Пришлось Беркли держать гроб целый месяц, в течение которого он аккуратно продолжал получать свои сто шиллингов в день.

Все королевство узнало теперь о смерти бывшего суверена. Странные, но близкие к истине рассказы ходили об этой кончине, и люди шептались, что убийство это не принесет счастья ни тем, кто его совершил, ни тем, кто отдал такой приказ.

Наконец за телом прибыл аббат от епископа Глостерского, который согласился принять его в свой собор. Останки короля Эдуарда II, покрытые черным покрывалом, взгромоздили на повозку. Ее сопровождали Томас Беркли с семьей и окрестные жители. Всякий раз, когда похоронная процессия останавливалась — а остановки делали через каждую милю, — крестьяне сажали маленький дубок.

Прошло шестьсот лет, но некоторые из этих дубов стоят и поныне, бросая мрачную тень на дорогу, ведущую из Беркли в Глостер.

«Проклятые короли»: Историко-биографическая справка

Государи представлены в этом списке под именем своего правления; остальные действующие лица — под своей фамилией или по названию своих главных владений. Здесь отсутствуют лишь некоторые эпизодические персонажи, о которых в исторических документах сохранились лишь краткие упоминания, касающиеся их поступков, благодаря которым они и появились в нашем повествовании.

Авен, Филиппа де, королева Англии (24 июня 1310 или 1315 — 15 августа 1369). Дочь Вильгельма Геннегау, графа Голландского и Зеландского, и Жанны Валуа. Повенчана 30 января 1328 г. с Эдуардом III, будущим королем Англии, от которого родила тринадцать детей. Выступала советницей короля и регентом в его отсутствие в 1346 г., была очень популярна в народе. Соперничество многочисленных потомков детей Эдуарда III и королевы Филиппы в XV в. привело к войне Алой и Белой розы.

Алансонский, Карл II Валуа, граф (1294 — 26 ав-

густа 1346). Второй сын Карла Валуа и Маргариты Анжу-Сицилийской, брат Филиппа VI Валуа. Участник Столетней войны, убит в битве при Креси.

Альберти ди Прато, Никколо (1250 — 1 апреля 1321). Член ордена доминиканцев. Епископ Сполето, потом Остии (1303). Возведен в сан кардинала папой Бенедиктом XI в декабре 1303 г. Папский легат при Бонифации VIII во Флоренции, Ломбардии, Неаполе. Добивался примирения Филиппа IV Французского и Эдуарда I Английского. Участник конклава 1314–1316 гг. Умер в Авиньоне.

Андроник II Палеолог (25 марта 1259 — 13 февраля 1332). Император Константинопольский. Коронован в 1282 г. Свергнут с престола своим внуком Андроником III в 1328 г.

Анжу-Сицилийская, Маргарита, графиня де Валуа (1273 — 31 декабря 1299). Дочь Карла II Анжуйского Хромого и Марии Венгерской, сестра Людовика Святого Анжуйского. Первая супруга Карла де Валуа. Мать Филиппа VI Валуа, короля Франции.

Анжуйский, Людовик Святой (9 февраля 1274 — 19 августа 1297). Второй сын Карла II Анжуйского Хромого и Марии Венгерской. Отказался от

неаполитанского престола и постригся в монахи. Епископ Тулузский. Канонизирован при папе Иоанне XXII в 1317 г.

Аньер, Жан д'. Адвокат парижского парламента. Зачитал обвинение Ангеррану де Мариньи.

Аркур, Жан V д' (1320 — 5 апреля 1356), второй граф д'Аркур (1346). Вместе с дядей Жоффруа д'Аркуром участвовал в заговоре против короля Франции Иоанна II Доброго. Вместе с другими заговорщиками присутствовал в апреле 1356 г. на банкете в Руане, организованном королем Наварры Карлом II Злым для встречи с дофином Шарлем (будущим королем Франции Карлом V Мудрым). Во время встречи был арестован солдатами короля Иоанна II и казнен по обвинению в измене.

Аркур Жоффруа (Годфруа) д' (ум. ноябрь 1356). Французский военачальник. Сын Жана III Хромого, барона д'Аркура и виконта де Сен-Совер. Младший брат Жана IV д'Аркура. Вместе с племянником Жаном V д'Аркуром участвовал в заговоре против короля Франции Иоанна II Доброго и был арестован на встрече с другими заговорщиками в апреле 1356 г. в Руане. В отместку за гибель племянника воевал против Франции на стороне короля Эдуарда. Сражался на стороне англичан

при Пуатье. Погиб в битве за город Кутанс.

Аркур, Луи I д' (ум. 26 мая 1388). Французский военачальник. Сын Жана IV д'Аркура. Виконт де Шательро (1356). С 1370 г. сражался на стороне англичан против короля Франции Карла V Мудрого.

Артевелде, Яков ван (ок. 1285 — 24 июля 1345). Торговец суконным товаром. В 1337 году поднял восстание против графа Фландрии Людовика I Неверского, после чего стал правителем Гента. Был отлучен от церкви. Убит толпой по подозрению в растратах и намерении признать графом Фландрии Черного принца, сына Эдуарда III.

Артуа, Иоанн (Жан) Безземельный (29 августа 1321 — 6 апреля 1387), сеньор де Сен-Валери, граф д'Э (1350). Сын Робера III Артуа и Жанны, дочери Карла де Валуа. После бегства отца был заточен в тюрьму королем Франции Филиппом VI Валуа вместе с другими детьми. В 1350 г. освобожден наследником Филиппа, Иоанном II Добрым. После казни коннетабля Рауля де Бриенна, графа д'Э, Жан в том же году был посвящен в рыцари и получил графство Э. В 1356 г. в Руане помогал королю Иоанну II арестовывать Карла Злого и его сторонников, обвиненных в заговоре против короля. Участвовал в завоевании Эврё, взял Бре-

тейль. Сражался рядом с королем в битве при Пуатье, где попал в плен. После освобождения возглавил один из отрядов.

Артуа, Маго (Матильда), графиня Бургундская, затем графиня Артуа (1268/1270 — 27 ноября 1329). Дочь Робера II Артуа. Супруга (1291) пфальцграфа Бургундского Оттона IV. В 1309 г. королевским эдиктом была возведена в звание пэра Франции. Мать Жанны Бургундской (супруги Филиппа Пуатье, впоследствии Филиппа V) и Бланки Бургундской (супруги Карла де ла Марша, будущего Карла IV Красивого).

Артуа, Робер III (1287–1342). Сын Филиппа Артуа и внук Робера II Артуа. Граф Бомон-ле-Роже, сеньор Конша (с 1309). Женился на Жанне Валуа, дочери Карла Валуа и Екатерины де Куртене (1318). Пэр Франции (1329–1332). Изгнан за пределы королевства (1332), находился при дворе короля Англии Эдуарда III. Смертельно ранен при осаде Ванна. Погребен в соборе Св. Павла в Лондоне.

Арундел, Эдмунд Фицалан, граф (1 мая 1285 — 17 ноября 1326). Сын Ричарда I Фицалана, первого графа Арундела. Соратник Эдуарда I. Выступал против фаворита Эдуарда II Пирса Гавестона, затем поддерживал Эдуарда II. Верховный судья

Уэльса (1323–1326). Казнен в Херефорде после низложения Эдуарда II королевой Изабеллой Французской и Роджером Мортимером.

Аршамбо V Старый (ок. 1340–1399), граф Перигора (1361). Сын Роже-Бернара де Перигора и Элеоноры де Вандом. Племянник кардинала Эли де Талейран-Перигора.

Бальони, Гуччо (ок. 1295–1340). Сиенский банкир, член семейства Толомеи. В 1315 г. управлял отделением банка в Нофль-ле-Вье. Вступил в тайный брак с Мари де Кressе, от которой имел сына Джаннино (1316), крещенного вместо Иоанна I Посмертного. Скончался в Кампанье.

Бар, Эдуар, граф де (ок. 1295 — 11 ноября 1336). Сын Анри III, графа де Бара. Женился в 1310 г. на Марии Бургундской, сестре Маргариты, породнившись с Людовиком X, Эдом IV Бургундским и Филиппом де Валуа.

Барбетт, Этьен (ок. 1250 — 19 декабря 1321). Парижский буржуа, принадлежавший к одной из самых старинных и почтенных семей города. Парижский вуайе (1275), эшевен (1296), купеческий старшина (1296 и 1314), глава Парижского монетного двора и казначей короля. Его жилище, «Барбеттов садик», было разграблено во время волнений 1306 г.

Беатриса Венгерская (1290–1343 или 1354). Дочь Карла Мартелла Анжуйского. Сестра Шаробера (Карла Роберта), короля Венгрии, и Клеменции Венгерской, королевы Франции. Супруга дофина Вьеннского, Жана II де ла Тур дю Пена, и мать Гийома VIII и Умберта II, последнего дофина Вьеннского.

Бек-Креспен, Мишель дю (ум. 30 августа 1318). Десятинник Сен-Кантена в Вермандуа. Возведен в сан кардинала Климентом V (1312). Участник конклава 1314–1316 гг.

Бенедикт XII, папа римский (Жак Фурнье, ок. 1285 — 25 апреля 1342). Цистерцианец. Аббат Фонфруада (1311–1317). Епископ Памье (1317), потом Мирпуа (1326). Рукоположен в кардиналы в декабре 1327 г. Иоанном XXII, после кончины которого избран папой в 1334 г.; третий папа авиньонского пленения.

Бергерш, Генри (1292 — 4 декабря 1340). Епископ Линкольнский (1320). Вместе с Орлетоном присутствовал при отречении короля Эдуарда II (1327). Добился мира с Шотландией (1328). Сменил Орлетона на посту казначея (март 1328). В качестве канцлера сопровождал Эдуарда III в Амьен для принесения вассальной присяги верности (1328). Вновь назначен казначеем (1334–1337).

Ездил во Францию со множеством дипломатических поручений.

Беркли, Томас, барон (1293/1296 — 27 октября 1361). Старший сын Мориса, второго барона Беркли, и его первой жены Евы ла Зуш. Первым браком женился на Маргарите, дочери Роджера Мортимера и леди Джоан Мортимер (Жанны де Жуанвилль). Участник двух шотландских кампаний. Страж короля Эдуарда II в замке Беркли (1327); был судим и оправдан за то, что во время его отлучки из замка Эдуард II умер при неясных обстоятельствах. Маршал английской армии (1340).

Берсюме, Робер. Капитан крепости Шато-Гайар и первый тюремщик Маргариты и Бланки Бургундских. После 1316 г. был заменен Жаном де Круази, потом Андре Тиаром.

Бертран де Коломбье, Пьер (25 марта 1299 — 13 июля 1361). Французский кардинал и дипломат, племянник и тезка кардинала Пьера Бертрана из Анноне. Адвокат в парламенте Парижа, интендант совета графа Невера и советник-клерк парламента.

Бертран, Робер де (1273 — 3 августа 1348). Барон де Брикбек, виконт де Роншвилль. Служил Филиппу V Длинному, Карлу IV Красивому и

Филиппу VI Валуа. Маршал Франции (1325–1344). Королевский наместник в Гиени, Сентонже, Нормандии и Фландрии. Был женат на Мари де Сюлли, дочери Анри, главного виночерпия Франции. Скончался от чумы.

Берюйер, Филипп, монсеньор Буржский (ум. 1261), епископ Орлеанский и архиепископ Буржа. Канонизирован папой Климентом IV в 1267 г.

Бирель, Жан (ум. 1361). Генеральный магистр ордена картезианцев (1346–1361). Был почти единогласно избран папой на конклаве 1352 г., но по результатам повторного голосования папой стал Этьен Обер (Иннокентий VI).

Бланка Наваррская (1331 — 5 октября 1398), вторая жена короля Франции Филиппа VI Валуа. Дочь короля Наварры Филиппа III и Жанны II Наваррской, сестра Карла Наваррского.

Бразертон, Томас, первый граф Норфолкский (1 июня 1300 — 4 августа 1338). Пятый сын Эдуарда I, короля Англии, его первый сын от второго брака с Маргаритой Французской, дочерью Филиппа III Смелого. Единокровный брат Эдуарда II и родной брат Эдмунда Кента. Граф-маршал Англии (1316), хранитель Англии в период, когда Эдуард II воевал в Шотландии. Сторонник Изабеллы Французской и Роджера Мортимера,

женил своего сына на одной из его дочерей, впоследствии один из советников Эдуарда III.

Боккаччо ди Келлино (1297–1348). Флорентийский банкир, представитель компании Барди. Имел от любовницы-француженки внебрачного сына (1313), который стал знаменитым писателем и поэтом Джованни Боккаччо, автором «Декамерона».

Болдок, Роберт (ум. 28 мая 1327). Архидиакон Мидлсекский (1314), лорд — хранитель печати (1320–1323) и лорд-канцлер (1323), преданный сторонник Эдуарда II и Диспенсеров. После неудачного побега в Ирландию с королем был доставлен в резиденцию епископа Херефордского ждать церковного суда; в резиденцию ворвалась разъяренная толпа, жестоко его избила и бросила в Ньюгейтскую тюрьму в Лондоне, где он был убит.

Бомон, Жан IV де, сеньор де Клиши и де Курсель-ла-Гаренн (ум. июль 1318). В 1315 г. сменил Миля де Нуайе на посту маршала Франции и стал губернатором Артуа, где командовал войсками, подавлявшими мятежи баронов.

Бонифаций VIII, Бенедетто Каэтани, папа римский (ок. 1215 — 11 октября 1303). Сначала каноник Тоди, адвокат консистории и апостоли-

ческий нотариус. Кардинал с 1281 г. Был избран папой 24 декабря 1294 г., после отречения Целестина V. Согласно легенде, Шарра Колонна, вместе с Гийомом Ногаре по поручению Филиппа IV Красивого явившийся в Ананьи, чтобы доставить Бонифация VIII к королю, дал папе пощечину. Бонифаций VIII умер в Риме месяцем позже. Данте Алигьери поместил его в восьмой круг Ада как симониста, наряду с его преемником на папском престоле Климентом V.

Бонна Люксембургская (20 мая 1315 — 11 сентября 1349), герцогиня Нормандии, графиня Анжу и Мэна (1332–1349), дочь Иоанна I Люксембургского, супруга короля Франции Иоанна II Доброго и мать короля Франции Карла V.

Бошан, Томас де, одиннадцатый граф Уорик (14 февраля 1313 — 13 ноября 1369). Английский военачальник, граф-маршал Англии (1343). Участник битвы при Креси (1346) — фактический командующий правым флангом при номинальном командующем Эдуарде Черном принце. Участник битвы при Пуатье и командующий английским авангардом совместно с Уильямом Монтегю, графом Солсбери. Один из основателей ордена Подвязки (1348).

Брак, Никола (1320 — август 1388). Казначей

королей Франции Иоанна II Доброго и Карла V, был взят в плен в битве при Пуатье, но довольно быстро освобожден.

Бретонский, Жан III Добрый, герцог (1286–1341). Сын Артура II, герцога Бретонского, которому он наследовал в 1312 г., и Марии Лиможской. Был женат трижды, но потомства не оставил.

Бриансон, Жоффруа де. Советник Филиппа IV Красивого и один из его казначеев. Был заключен в тюрьму одновременно с Мариньи при Людовике X, но Филипп V вернул ему должности и имущество.

Бриенн, Готье VI де, титулярный герцог Афинский (1302 — 19 сентября 1356). Сын Готье V, графа де Бриенна, и Жанны де Шатийон. В 1342 г. стал подеста Флоренции от имени неаполитанского короля Роберта Анжуйского; в 1343 г. изгнан из города после восстания. Всю жизнь безуспешно добивался унаследованного Афинского герцогства. Был назначен на должность коннетабля Франции (1356). Погиб в битве при Пуатье, командуя французскими войсками.

Бриенн, Рауль де (ум. 19 января 1344). Граф д'Э и Гина. Коннетабль Франции (1329). Наместник короля в Лангедоке (1329). Убит на турнире. Его сын наследовал звание коннетабля.

Бриенн, Рауль II де, граф д'Э (1315 — 19 ноября 1350). Французский военачальник. В 1333 г. пытался выдать свою сестру Жанну за Эдуарда Черного принца. После смерти отца в 1344 г. назначен королем Филиппом VI Валуа коннетаблем Франции. В 1346 г. на три года попал в английский плен при осаде Кана. По возвращении во Францию в 1349 г. был арестован, обвинен в оскорблении короля и казнен.

Бувилль, Юг III, граф де (1275–1331). Сын Юга II де Бувилля и Мари де Шамбли. Камергер короля Филиппа IV Красивого. Женился (1293) на Маргарите де Барр, от которой имел сына Шарля, будущего камергера Карла V и управителя Дофине.

Булонский, Ги (1313 — 25 ноября 1373). Государственный деятель и кардинал. Участвовал в папских конклавах (1352, 1362 и 1370) и был субдеканом Священной коллегии кардиналов. Папский легат в Венгрии, Англии, Франции, Испании и Италии. Пытался положить конец Столетней войне.

Бурбонский, Людовик I Хромой, сир, впоследствии герцог (1279 — 22 января 1341). Французский военачальник, участник кампаний во Фландрии и Столетней войны. Старший сын Робера Французского, графа Клермонского, и Беатрисы

Бургундской, дочери Жана, сира Бургундского. Внук Людовика Святого. Великий камергер Франции с 1312 г. Герцог с 1327 г. и пэр с 1328 г.

Бургундская, Агнесса Французская, герцогиня (1260/1265 — 19 декабря 1325/1327). Младшая дочь Людовика IX Святого, имевшего одиннадцать детей. В 1273 г. обвенчана с Робером II Бургундским. Мать Юга V и Эда IV, герцогов Бургундских, Маргариты (супруги Людовика X Сварливого) и Жанны по прозвищу Хромоножка, супруги Филиппа VI Валуа. Регент Бургундии при сыне Юге (1306–1311).

Бургундская, Бланка (1296 — 29 апреля 1326). Младшая дочь Оттона IV, пфальцграфа Бургундии, и Маго Артуа. Обвенчана в 1308 г. с Карлом Французским, третьим сыном Филиппа IV Красивого. Уличенная в распутстве (1314), одновременно с Маргаритой Бургундской была заточена в Шато-Гайаре, затем в замке Гурне под Кутансом. После расторжения брака с Карлом (1322) постриглась в монахини Мобюиссонского аббатства.

Бургундская, Жанна III Французская, герцогиня (1/2 мая 1308 — 10/15 августа 1347). Старшая дочь Филиппа V и Жанны Бургундской. В июле 1316 г. обручилась с Эдом IV, герцогом Бургундским; брак был заключен в июне 1318 г. Унаследовала

от матери графство Артуа и пфальцграфство Бургундское.

Бургундский, Эд IV, герцог (1294/1295 — 3 апреля 1349/1350). Сын Робера II Капетинга и Агнессы Французской, внук Людовика IX Святого. Титулярный король Фессалоник (1315), пфальцграф Бургундии и граф Артуа (1330–1347). Брат Маргариты, супруги Людовика X Сварливого; Жанны, супруги Филиппа Валуа, будущего Филиппа VI Валуа; Марии, супруги графа де Бара; и Бланки, супруги графа Эдуарда Савойского. Вступил в брак 18 июня 1318 г. с Жанной III Французской, старшей дочерью Филиппа V Длинного.

Бурдене, Мишель де. Легист и советник Филиппа IV Красивого. Подвергся тюремному заключению и конфискации при Людовике X, но при Филиппе V вернул себе и имущество, и должности.

Валуа, Жанна, графиня Геннегау (1295–1352). Вторая дочь Карла Валуа и его первой супруги — Маргариты Анжу-Сицилийской. Сестра короля Франции Филиппа VI Валуа. В 1305 г. повенчана с Вильгельмом, графом Геннегау, Голландии и Зеландии. Мать Филиппы, королевы Англии.

Валуа, Жанна, графиня де Бомон (1304 — 9 июля 1363). Дочь Карла Валуа и его второй супруги

Екатерины де Куртене. Единокровная сестра Филиппа VI Валуа, короля Франции. Супруга Робера Артуа, графа Бомон-ле-Роже (1318). По приказу Филиппа VI заточена вместе со своими тремя сыновьями в Шато-Гайаре после изгнания Робера, впоследствии снова вошла в милость.

Валуа, Карл де, граф (12 марта 1270 — 16 декабря 1325). Сын Филиппа III Смелого и его первой супруги Изабеллы Арагонской, брат Филиппа IV Красивого. Посвящен в рыцари в четырнадцатилетнем возрасте. В том же году через папского легата был пожалован королевством Арагонским, но престол ему занять не удалось, и он отрекся от титула короля Арагонского в 1295 г. Удельный граф Анжу, Мэна и Перша (март 1290) по своей первой супруге Маргарите Анжу-Сицилийской. Титулярный император Константинопольский по второй своей супруге (январь 1301) Екатерине де Куртене. С помощью папы Бонифация VIII стал графом Романьи. Был женат третьим браком (1308) на Маго де Шатийон-Сен-Поль. От всех трех браков нажил множество детей; старший его сын Филипп VI стал первым королем Франции из династии Валуа. Воевал в Италии за папское графство в 1301 г., командовал двумя военными экспедициями в Аквитанию (1297 и 1324) и был

кандидатом на престол императора Священной Римской империи. Скончался в Ножан-ле-Руа и погребен в церкви Св. Иакова в Париже.

Валуа, Филипп де (Филипп Орлеанский) (1 июля 1336 — 1 сентября 1375). Первый герцог Орлеанский (1344). Четвертый сын короля Франции Филиппа VI Валуа и Жанны Бургундской. Младший брат французского короля Иоанна II Доброго. Участник битвы при Пуатье. Женат на Бланке Французской, младшей дочери короля Франции Карла IV Красивого и Жанны д'Эврё.

Ватрике Брассеньекс из Кувена. Родом из городка Кувена в Геннегау, неподалеку от Намюра. Менестрель, связанный с вельможами семейства Валуа, получивший подлинную известность за свои лэ, сочиненные в 1319–1329 гг. Его творения сохранились в изящных манускриптах, разукрашенных миниатюрами, выполненными под его наблюдением для тогдашних принцесс.

Виа, Арно де (ум. 24 ноября 1335). Епископ Авиньонский (1317). Возведен в сан кардинала Иоанном XXII в июне 1317 г. Участник конклава 1334 г.

Вильгельм Добрый, граф Эно (Геннегау) Авенский (ок. 1286 — 7 июня 1337). Граф Голландский и Зеландский. Сын Иоганна II Авенского, графа Ген-

негау, и Филиппы Люксембургской. Наследовал отцу в 1304 г. Вступил в брак в 1305 г. с Жанной Валуа, дочерью Карла Валуа и Маргариты Анжу-Сицилийской. Отец Филиппы (жены Эдуарда III и королевы Англии) и сына Вильгельма II, наследовавшего отцу.

Ворен, Робер д', сеньор де Сен-Венан (ум. 1360). Маршал Франции (1344). В том же году вместе с Шарлем I де Монморанси возглавил армию, посланную герцогом Нормандским (будущим Иоанном II Добрым) в Бретань. В 1346 г. назначен командующим королевской армией в Гиени. С 1355 г. служил в Пикардии.

Гавестон, Пирс де (или Пьер Габастон, ок. 1284 — 19 июня 1312). Беарнский рыцарь, друг детства и фаворит английского короля Эдуарда II, который при своем восшествии на престол сделал Гавестона бароном Корнуоллским. Женился на Маргарет де Клэр, дочери графа Глостера и племяннице короля. Регент королевства в отсутствие Эдуарда II в стране, лорд-лейтенант Ирландии (1308). Отлучен от церкви в 1312 г. Убит баронской коалицией. В 1315 г. Эдуард II приказал перенести его останки из Оксфорда в Кингз-Лэнгли (Хартфордшир).

Галар, Пьер де (ум. ок. 1336). Главный командир

арбалетчиков Франции с 1310 г. Участник кампании во Фландрии и войны с Англией. Наместник Фландрии. Вассал Филиппа IV Красивого. Перед Столетней войной был вынужден выступить на стороне Англии, отчего его земли, принадлежавшие Англии, были конфискованы французской короной.

Геннегау, Жан, сеньор де Бомон (ок. 1288 — 11 марта 1356). Брат Вильгельма I де Эно (Геннегау), отца английской королевы Филиппы, супруги Эдуарда III. Участвовал во многих походах в Англии и во Фландрии.

Гиг VIII, дофин Вьеннский, Гиг V де ла Тур дю Пэн (1309 — 28 июля 1333). Сын Жана II де ла Тур дю Пена, дофина Вьеннского, и Беатрисы Венгерской. Племянник королевы Клеменции. В июне 1316 г. обручился с Изабеллой Французской, третьей дочерью Филиппа V; брак был заключен в мае 1323 г. Умер, не оставив наследника; ему наследовал его брат Умберт II де ла Тур дю Пен.

Го, Бертран де. Виконт де Ломань и д'Овийар, маркиз Анконский. Племянник и однофамилец папы Климента V. Неоднократно вмешивался в конклав 1314–1316 гг.

Гурней (Герни), Томас (ум. 1333). Один из стражей Эдуарда II в замке Беркли. Был объявлен

ответственным за смерть короля, арестован в Неаполе и убит на пути обратно в Англию.

Дампьер, Луи I де (1272/1279–1322). Сын Робера Бетюнского, графа Фландрского, и Иоланды Бургундской. Граф де Невер (1280). Граф де Ретель через свой брак с Жанной де Ретель (1290).

Дивион, Жанна де (1293 — 6 октября 1331 г.). Дочь дворянина из Бетюна, любовница Тьерри д'Ирсона, который оставил ей 3000 ливров. Была обвинена в подлоге — составлении фиктивных документов для тяжбы из-за графства Артуа, а также в колдовстве и сожжена заживо.

Диспенсер, Хью, Младший (1287/1289 — 24 ноября 1326). Сын Хью Диспенсера Старшего, камергер и фаворит Эдуарда II с 1312 г. Женился на Элинор де Клэр (1306). Его злоупотребления властью привели к мятежу баронов в 1326 г. Повешен в Херефорде.

Диспенсер, Хью, Старший (1 марта 1261 — 27 октября 1326). Сын Хью Диспенсера, юстициария Англии. Барон, член парламента (1295). Доверенное лицо короля Англии Эдуарда I, главный советник Эдуарда II с 1312 г. Граф Винчестерский (1322). Во время мятежа баронов и королевы Изабеллы против короля в 1326 г. был отстранен от власти и повешен в Бристоле.

Диспенсер, Элинор, леди (3 октября 1292 — 30 июня 1337), урожденная Клэр. Дочь графа Глостера и племянница Эдуарда II, супруга Хью Диспенсера Младшего, от которого родила минимум девять детей.

Дуглас, Уильям (ок. 1323 — 1 мая 1384). Второй сын сэра Арчибальда Дугласа и Беатрисы Линдсей, племянник Джеймса Дугласа, «Черного Дугласа», друга и соратника шотландского короля Роберта Брюса. Крупный военачальник периода второй войны за независимость Шотландии. При поддержке французов совершал набеги на Англию. Во время англо-шотландского перемирия воевал во Франции, сражался в битве при Пуатье на стороне французов, где командовал шотландским полком и был ранен. В 1357 г. участвовал в переговорах с англичанами об освобождении короля Шотландии Давида II Брюса и некоторое время пробыл заложником. Был юстициарием Шотландии и стражем границ.

Дюбуа, Гийом. Легист и казначей Филиппа IV Красивого. Был заключен в тюрьму при Людовике X, но восстановлен в должностях и вернул свое имущество при Филиппе V.

Дюрфор, Гийом де (ум. 24 ноября 1330). Епископ Лангрский (1306–1319), потом Руанский (1319–

1330).

Дюэз, Гослен (ум. 1348). Племянник папы Иоанна XXII, возведен в сан кардинала в декабре 1316 г. Епископ Альбанский, потом Великий пенитенциарий.

Жак I де Бурбон (1313–1362). Младший сын Людовика I Бурбонского Хромого и Марии д'Авен, французский военачальник времен Столетней войны. Участник битвы при Креси и при Пуатье. Управляющий графством Понтье (1351–1356). Коннетабль Франции (1354–1356).

Жан II, де ла Тур дю Пен, дофин Вьеннский (ок. 1280 — 4 или 5 марта 1319). Сын Умберта I де ла Тур дю Пена, дофина Вьеннского, которому наследовал в 1307 г. Женился на Беатрисе Венгерской. От их брака родились два сына, Гиг VIII и Умберт II, последний дофин Вьеннский, продавший свои земли и титул королю Франции Филиппу VI Валуа.

Жанна Бургундская, графиня Пуатье, впоследствии королева Франции (ок. 1288 — 21 января 1330). Старшая дочь Оттона IV, пфальцграфа Бургундского, и Маго Артуа. Сестра Бланки, супруги Карла Французского, будущего короля Карла IV Красивого. В 1307 г. повенчана с Филиппом Пуатье, будущим Филиппом V. Причастная к лю-

бовным похождениям своей сестры и невестки (1314), была заключена в Дурдане, освобождена в конце 1314 г. Мать минимум пяти детей: Жанны, Маргариты, Изабеллы, Бланки (первая вышла за графа Бургундского, вторая — за графа Фландрского, третья — за дофина Вьеннского, четвертая постриглась в монахини) и сына Филиппа, который не прожил и года.

Жанна Бургундская, прозванная Хромоножкой, графиня Валуа, королева Франции (1296 — 12 декабря 1348). Дочь Робера II, герцога Бургундского, и Агнессы Французской. Сестра Эда IV, герцога Бургундского, и Маргариты, супруги Людовика X Сварливого. Повенчана в 1313 г. с Филиппом Валуа, будущим Филиппом VI Валуа. Мать Иоанна II Доброго, короля Франции. Скончалась от чумы.

Жанна д'Эврё, королева Франции (1310 — 4 марта 1371). Дочь Людовика Французского, графа д'Эврё, и Маргариты Артуа. Сестра Филиппа, графа д'Эврё, впоследствии короля Наваррского. Третья супруга Карла IV Красивого (1325), от которого родила трех дочерей: Жанну, Марию и Бланку, появившуюся на свет 1 апреля 1328 г., уже после смерти отца.

Жанна Французская, королева Наваррская (28 января 1312 — 6 октября 1349). Дочь Людовика

Наваррского, будущего Людовика X Сварливого, и Маргариты Бургундской. Как полагают, незаконнорожденная. Отстраненная от престола Франции, унаследовала Наварру. Вышла замуж за Филиппа, графа д'Эврё (1318). Мать Карла Злого, короля Наваррского, и Бланки, второй супруги Филиппа VI Валуа, короля Франции. Умерла от чумы.

Жанна Шампанская, королева Франции и Наварры (14 января 1273 — 2 апреля 1305). Единственная дочь и наследница Генриха I Наваррского, графа Шампанского и Брисского (ум. в 1274) и Бланки Артуа. В 1284 г. вышла замуж за будущего Филиппа IV Красивого. Мать королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного, Карла IV Красивого и королевы Англии Изабеллы.

Жуанвиль, Ансо или Ансель (1265–1343). Старший сын Жана де Жуанвиля. Наследственный сенешаль Шампани. Член Большого совета Филиппа V и маршал Франции.

Жуанвиль, Жан, сир де (1224/1225 — 24 декабря 1317). Наследственный сенешаль Шампани. Сопровождал Людовика IX в Седьмом крестовом походе и разделил с ним плен. В восьмидесятилетнем возрасте написал «Историю Людовика Святого», благодаря чему числится среди круп-

нейших летописцев.

Изабелла Французская, королева Англии (ок. 1295 — 22 августа 1358). Дочь Филиппа IV Красивого и Жанны Наваррской. Сестра королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого. Супруга Эдуарда II, короля Англии (1308). Вместе с Роджером Мортимером возглавила мятеж английских баронов (1326), в результате которого Эдуард II был лишен престола. Прозвана Французской волчицей, с 1326 по 1328 г. правила Англией от имени своего сына Эдуарда III. Была удалена от двора в 1330 г. Скончалась в Хартфордском замке.

Изабелла Французская (ок. 1312–1348). Младшая дочь Филиппа V и Жанны Бургундской, племянница Бланки Бургундской. Была обручена в 1316 г. с Гигом, дофином Вьеннским, будущим Гигом VIII; бракосочетание состоялось 17 мая 1323 г. Овдовев в 1333 г., спустя два года вышла замуж за Жана III де Фоконье и вновь овдовела в 1345 г. Умерла от чумы.

Иннокентий VI, папа римский (Этьен Обер, 1282 или 1295 — 12 сентября 1362). Стал папой в 1352 г. Способствовал заключению мира в Бретиньи между Францией и Англией (1360). Старался навести порядок в папских финансах после растрат

во время понтификата Климента VI, но особого успеха не добился. Пятый папа периода Авиньонского пленения.

Иоанн II Добрый, король Франции (26 апреля 1319 — 8 апреля 1364), герцог Нормандский. Сын Филиппа VI Валуа и Жанны Бургундской, прозванной Хромоножкой. С 1350 г. король Франции. Женат на Бонне Люксембургской, дочери короля Богемии (1332). Овдовев в 1349 г., собирался вступить в брак с Бланкой Наваррской, но женился на Жанне Овернской и Булонской, поскольку на Бланке Наваррской женился его также овдовевший отец. Среди многочисленных детей Иоанна II от первого брака — будущий король Карл V. Подавил заговор Карла Злого. Участвовал в битве при Пуатье, где был пленен англичанами. После заключения мира в Бретиньи вернулся из плена, оставив в Англии заложником своего сына Людовика Анжуйского. После побега Людовика добровольно вернулся в Англию и вскоре скончался в Лондоне; похоронен в аббатстве Сен-Дени.

Иоанн XXII (Жак Дюэз), папа римский (1244 — 4 декабря 1334). Сын горожанина-ремесленника из Кагора. Учился в Кагоре, затем в Монпелье и Париже. Архиепископ церкви Сент-Андре в

Кагоре. Каноник церкви Сен-Фрон в Перигё и Альби. Архиепископ Сарлатский. В 1289 г. отправился в Неаполь, где в скором времени стал приближенным короля Карла II Анжуйского Хромого, который сделал его секретарем тайного совета, потом своим канцлером. Епископ Фрежюсский (1300), затем Авиньонский (1310). Аудитор Вьеннского церковного собора (1311). Кардинал-епископ Порто (1312). Избран папой в августе 1316 г., возведен в папский сан в Лионе спустя месяц. Одержимо преследовал колдунов. Второй папа периода авиньонского пленения.

Иоганн Люксембургский (Ян Слепой, 10 августа 1296 — 26 августа 1346). Граф Люксембургский (1310), король Чехии (1310), титулярный король Польши (1310). Сын Генриха VII, императора Священной Римской империи, и Маргариты Брабантской. Брат Марии Люксембургской, второй супруги (1322) Карла IV Красивого, и Беатрисы Люксембургской, второй жены короля Венгрии Карла Роберта. Вступил в брак (1310) с Елизаветой Богемской (Элишкой Пршемысловной), имел от нее дочь Бонну, которая в 1332 г. стала женой Иоанна, герцога Нормандского, будущего короля Франции Иоанна II Доброго. Убит при Креси.

Ирсон или Иресон, Беатриса д’ (ум. 1331/1332) и

Маго д'. Племянницы братьев д'Ирсон. Придворные дамы графини Маго Артуа.

Ирсон или Иресон, Пьер и Дени Ларшье д'. Братья Тьерри д'Ирсона; один — казначей графини Маго Артуа, другой — бальи Арраса.

Ирсон или Иресон, Тьерри Ларшье д' (1270 — 17 ноября 1328). Сначала один из писцов Робера II Артуа, сопровождал Ногаре в Ананьи и выполнял многочисленные поручения Филиппа IV Красивого. Каноник Аррасский (1299). Канцлер Маго Артуа (1303). Епископ Аррасский (с апреля 1328).

Кальво, Франческо. Итальянский дворянин, секретарь папы римского Иннокентия VI.

Капоччи, Никколо (ум. 1368). Епископ Утрехтский (1341), епископ Уржельский (1348–1351). Итальянский кардинал, папский легат во Франции, безуспешно пытался заключить мир с англичанами во второй половине 1350-х.

Карл II Злой (10 октября 1332 — 1 января 1387), король Наварры (с 1349), граф д'Эврё (1349–1378). Сын Филиппа д'Эврё и Жанны Наваррской, дочери короля Людовика X Сварливого. Участник Столетней войны между Францией и Англией. То и дело устраивал заговоры против Иоанна II Доброго, затем против дофина, будущего короля Карла V Мудрого с целью расширить свои терри-

тории или просто стать королем Франции, для чего имелись некоторые генеалогические основания; плел интриги, во время активной фазы англо-французского конфликта заключая союзы с обеими сторонами. В итоге потерял обширные территории во Франции и практически лишился Наварры, подчиненной Энрике II, королем Кастилии и Леона.

Карл IV Люксембургский (1316 — 29 ноября 1378), король Германии, король Чехии (1346), император Священной Римской империи (1355). Сын короля Чехии Иоанна Слепого и чешской принцессы Элишки Пржемысловны, брат Бонны Люксембургской, супруги Иоанна II Доброго. Самый успешный монарх средневековой Чехии.

Карл IV Красивый, король Франции (18 июня 1294 — 1 февраля 1328), граф де ла Марш. Третий сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наваррской. Удельный граф Марша (1315). После смерти своего брата Филиппа V вступил на престол под именем Карла IV (1322). Был женат трижды: первым браком на Бланке Бургундской (1307), вторым — на Марии Люксембургской (1322) и третьим — на Жанне д'Эврё (1325). Правил, полагаясь на советы сначала своего дяди Карла Валуа, затем на Робера Артуа. Скончался в Венсенне, не оставив наслед-

ников мужского пола, был последним государем по прямой линии от Капетингов.

Карл де ла Серда (1327 — 8 января 1354), сеньор де Люнель, граф Ангулемский, с 1350 г. наместник Пикардии и Артуа, коннетабль Франции при короле Иоанне II Добром, королевский фаворит. Крупно поссорился с Карлом II Злым и его братом Филиппом Наваррским и был убит отрядом последнего.

Карл Мартелл Анжуйский (8 сентября 1271 — 12 августа 1295), принц Салерно, титулярный король Венгрии (с 1291). Старший сын Карла II Анжуйского Хромого и Марии Венгерской. Племянник Ласло IV, короля Венгрии, и претендент на престол. Отец Клеменции Венгерской, второй супруги Людовика X Сварливого, короля Франции, и Карла I Роберта (Шаробера), короля Венгрии и Хорватии. Умер от чумы в Неаполе. Фигурирует в «Божественной комедии» Данте Алигьери — автор встречает его в третьей сфере Рая.

Карл Роберт (Шаробер или Кароберто; 1288 — 16 июля 1342), король Венгрии (с 1310). Сын Карла Мартелла и Клеменции Габсбургской, брат Клеменции Венгерской. Претендент на венгерский престол по смерти своего отца (1296), претендент

на Неаполитанское королевство; был признан королем Венгрии и Хорватии только в августе 1310 г. и правил вполне успешно, проводя политические и экономические реформы. Женился вторым браком на Беатрисе Люксембургской, сестре королевы Франции Марии, второй жены Карла IV Красивого.

Каэтани, Франческо (ум. март 1317). Племянник Бонифация VIII, возведен им в сан кардинала (1295). Был замешан в попытке наведения порчи на короля Франции (1316). Умер в Авиньоне.

Кент, Эдмунд Вудсток, граф (5 августа 1301 — 19 марта 1330). Шестой сын Эдуарда I, короля Англии, и его второй супруги, Маргариты Французской, сестры Филиппа Красивого. Единокровный брат короля Англии Эдуарда II. В 1321 г. был комендантом Дуврского замка, смотрителем Пяти портов и получил титул графа Кентского. В 1324 г. — наместник Эдуарда II в Аквитании. Поддержал заговор Изабеллы Французской и Роджера Мортимера против Эдуарда II, затем, в результате ложного слуха, пущенного Мортимером, составил заговор против него и Изабеллы Французской, разоблачен и казнен в Лондоне.

Киерес, представитель восставших дворян Артуа при короле Людовике X Сварливом.

Клеменция Венгерская, королева Франции (1293 — 12 октября 1328). Дочь Карла Мартелла Анжуйского, титулярного короля Венгерского, и Клеменции Габсбургской. Племянница Карла Валуа по его первой жене Маргарите Анжу-Сицилийской. Сестра Карла Роберта (Шаробера), короля Венгрии, и Беатрисы, жены дофина Вьеннского Жана II де ла Тур дю Пена. Сочеталась браком с Людовиком X Сварливым, королем Франции и Наварры (13 августа 1315), и вместе с ним была коронована в Реймсе. Овдовела в июне 1316 г., а в ноябре того же года родила сына Иоанна I Посмертным, прожившего всего пять дней. Скончалась в Тампле.

Клермон, Жан де (ум. 19 сентября 1356), маршал Франции. Сын Рауля де Клермон-Неля, сеньор де Шантильи и де Вильмомбль, виконт д'Онэ. Сражался в битве при Пуатье, где командовал передовым отрядом в 300 рыцарей и был убит в бою.

Клермон, Робер, граф де (1256 — 7 февраля 1317). Шестой и последний сын Людовика Святого и Маргариты Прованской. Женился в 1279 г. на Беатрисе Бургундской, единственной дочери Жана де Бурбона. При жизни заметной роли в политике не сыграл, однако стал основателем династии

Бурбонов, чей потомок Анри де Бурбон, король Наварры, под именем Генриха IV вступил на французский престол в 1589 г., когда пресеклась династия Валуа.

Климент V, папа римский (Бертран де Го, 1260 — 20 апреля 1314). Родился в Вилландро (Жиронда). Архиепископ Бордоский. Избран папой (1305) после Бенедикта XI, тиару получил в Лионе. Последовательный союзник Филиппа IV Красивого, который способствовал его избранию. Активно поддерживал разгром ордена тамплиеров. Первый из авиньонских пап. Данте Алигьери поместил его в восьмой круг Ада как симониста, наряду с его предшественником на папском престоле Бонифацием VIII.

Климент VI (Пьер Роже де Бофор-Тюренн, 1291 — 6 декабря 1352), папа римский (1342). Аббат бенедиктинского аббатства Святой Троицы в Фекане (1326–1328). Епископ Арраса (1328–1329). Архиепископ Санса (1329–1330). Архиепископ Руана и примас Нормандии (1330–1338). Канцлер Франции (1335). Кардинал-священник церкви Санти-Нерео-эд-Акиллео (1338). Избран папой 7 мая 1342 г. Во время своего понтификата, на который пришлась первая эпидемия чумы, активно пристраивал свою родню на высокие должно-

сти и щедро тратился на роскошь, в результате чего его преемник Иннокентий VI остался ни с чем. Четвертый папа периода Авиньонского пленения.

Колонна, Пьетро (ок. 1260 — 14 августа 1326). Представитель знаменитого римского рода Колонна, племянник кардинала Якопо Колонна. Возведен в сан кардинала папой Николаем IV в 1288 г. Отлучен Бонифацием VIII в 1297 г., восстановлен в сане кардинала в 1306 г. Умер в Авиньоне.

Колонна, Шарра (1270–1329). Брат кардинала Якопо Колонна. Военачальник, один из вождей партии гибеллинов. Враг папы Бонифация VIII; согласно легенде, дал ему пощечину во время «покушения» в Ананьи.

Колонна, Якопо (1250 — 14 августа 1318). Возведен в сан кардинала папой Николаем III (1278). Главный советник римского двора при папе Николае IV. Противник Бонифация VIII; отлучен Бонифацием VIII в 1297 г. и восстановлен в сане кардинала в 1305 г.

Комон — член лиги артуазцев, восставших против графини Маго Артуа.

Конфлан, Юг де. Маршал Шампани, назначенный Людовиком X Сварливым в 1316 г. правите-

лем Артуа.

Корбей, Жан де (ум. ноябрь 1318). Сеньор де Гре и де Жальмен. Родственник Ангеррана де Мариньи. Маршал Франции с 1308 г., служил главным образом во Фландрии, где представлял интересы французской короны.

Корнийо. Сержант графини Маго Артуа, арестованный вместе с Дени д'Ирсоном союзниками Артуа 27 сентября 1315 г. и казненный в тот же день.

Крессе, Жан де и Пьер де, братья Мари де Крессе. Оба были посвящены в рыцари королем Филиппом VI Валуа во время битвы при Креси (1346).

Крессе, Мари де (1298–1345). Дочь дамы Элиабель и сира Жана де Крессе, рыцаря. Тайно обвенчалась с Гуччо Бальони и в 1316 г. родила сына; была кормилицей Иоанна I Посмертного, которого при крещении подменили ребенком Мари. Похоронена в монастыре августинцев, неподалеку от Крессе.

Крессе, Элиабель де, дама. Владелица замка Крессе близ Нофль-ле-Вье в Монфор-л'Амори. Вдова сира Жана де Крессе, рыцаря. Мать Жана, Пьера и Мари де Крессе.

Куртене, Екатерина де, графиня Валуа (25 ноября 1274 — 11 октября 1307), титулярная импера-

трица Латинской империи, вторая супруга Карла Валуа, брата Филиппа IV Красивого. Внучка и наследница Бодуэна (Балдуина) II де Куртене Порфироносного, последнего латинского императора Константинопольского (1261). По ее смерти титул перешел к ее старшей дочери, Екатерине Валуа, супруге Филиппа Тарентского.

Куртене, Робер де (1251 — 3 марта 1324), представитель Капетингского дома Куртене. Архиепископ Реймсский (1299–1324) и как таковой короновал троих своих родственников: Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого.

Ла Мадлен, Гийом де. Прево Парижа (март 1316 — август 1316).

Ла Форе, Пьер де (1305 — 7 июня 1361). Доктор гражданского и церковного права. Канцлер герцога Нормандии (1347), канцлер Франции (1349). Епископ Турне (1349–1350), епископ Парижа (1350–1352), архиепископ Руана (1352–1356), кардинал-священник церкви Святых апостолов. Советник будущего Карла V в 1356 г. С 1359 г. вновь канцлер Франции, добивался окончания войны. Умер от чумы.

Ланкастер, Генри, граф Лестер по прозванию Кривая Шея (1281 — 22 сентября 1345). Сын Эд-

мунда, графа Ланкастерского, и Бланки Артуа, королевы Наварры; внук Генриха III, короля Англии. Участвовал в мятеже против Эдуарда II. Посвящен в рыцари Эдуардом III в день его коронации и поставлен во главе Регентского совета. Позднее возглавил мятеж против Роджера Мортимера.

Ланкастер, Генри Гросмонт, граф Дерби и Линкольн, герцог (1310 — 23 марта 1361). Член английской королевской семьи в XIV в., сын Генри Ланкастера по прозванию Кривая Шея и Мод Чауорт; выдающийся дипломат, политик и воин, один из самых доверенных полководцев Эдуарда III на первых этапах Столетней войны. Один из основателей и второй кавалер ордена Подвязки (1348). Автор трактата «Книга божественных лекарств».

Латиль, Пьер де (ум. 15 марта 1328). Французский легист, епископ Шалонский (1313), хранитель королевской печати по смерти Гийома де Ногаре. Заключен в тюрьму Людовиком X Сварливым (1315). После освобождения Филиппом V Длинным (1317) вернулся в Шалонскую епархию.

Ле Конвер, Филипп. Каноник собора Парижской Богоматери. Член Совета Филиппа V Длинного в продолжение всего его царствования.

Ле Локетье, Никола. Легист и советник Филиппа IV Красивого. Заключен в тюрьму Людовиком X Сварливым, восстановлен в должностях и владении имуществом при Филиппе V Длинном.

Ле Ру, Реймон (ум. ноябрь 1325). Племянник папы Иоанна XXII. Возведен им в сан кардинала в декабре 1325 г.

Лик, барон де. Член артуазской лиги, владел баронией в графстве Гин, в Пикардии.

Лонгви, Жан де. Родственник Великого магистра Жака де Моле. Член феодальной лиги Бургундии, учрежденной в 1314 г.

Лонжи, Гийом де Пергам де (ум. апрель 1319). Канцлер короля Карла II Сицилийского. Возведен в сан кардинала папой Целестином V 18 сентября 1294 г. Умер в Авиньоне.

Лоос, член артуазской лиги, был родом из Льежской области.

Лоррис, Робер де (ум. 1380). Французский рыцарь, камергер короля Иоанна II Доброго, свойственник Этьена Марселя; удалился от дел после смерти Иоанна II в Лондоне.

Людовик I Анжуйский (23 июля 1339 — 20 сентября 1384), второй сын короля Иоанна II Доброго и Бонны Люксембургской. Стал причиной возвращения Иоанна II в Лондон, бежав из плена и

тем нарушив второй «Договор заложников». При Карле V Мудром был наместником Лангедока. Безуспешно пытался единолично присвоить себе регентство при Карле VI. Был усыновлен королевой Неаполя Джованной I при условии оказания ей помощи в войне с папой Урбаном VI; помощи оказать не успел, но до конца дней тщетно добивался неаполитанского престола и передал своим наследникам претензии на владение Неаполем.

Людовик X Сварливый, король Франции и Наварры (4 октября 1289 — 5 июня 1316). Сын Филиппа IV Красивого и Жанны Шампанской и Наваррской. Брат королей Филиппа V и Карла IV, а также Изабеллы, королевы Англии. Король Наварры (1307). Король Франции (1314). Вступил в брак с Маргаритой Бургундской (1305), от которой в 1312 г. родилась дочь Жанна. После скандального разоблачения тайн Нельской башни и смерти Маргариты женился (август 1315) на Клеменции Венгерской. Короновался в Реймсе (август 1315). Умер в Венсенне. Его сын Иоанн I Посмертный родился пять месяцев спустя после кончины Людовика (ноябрь 1316).

Мальтраверс, Джон, барон (1290–1364). Один из стражей короля Эдуарда II в Беркли (1327). Сенешаль (1329). Королевский мажордом (1330).

После падения Роджера Мортимера был осужден на смертную казнь как главный виновник смерти Эдуарда II, но успел скрыться на континенте. Вернулся по королевскому приказу в Англию в 1345 г. и был прощен в 1353 г.

Мандагу, Гийом де (ум. 3 ноября 1321). Епископ Эмбренский (1295), потом Экский (1311). С декабря 1312 г. кардинал-епископ Палестринский (возведен в сан Климентом V).

Маргарита Бургундская, королева Наварры (1290–1315). Дочь Робера II, герцога Бургундского и Агнессы Французской. Выдана (1305) за Людовика, короля Наварры, старшего сына Филиппа IV Красивого, будущего Людовика X, от которого родила дочь Жанну. Уличенная в измене (дело Нельской башни), в 1314 г. заключена в Шато-Гайаре, где и была убита.

Мариньи, Ангерран ле Портье де (1260 — 30 апреля 1315). Родился в Лион-ле-Форе. Женился первым браком на Жанне де Сен-Мартен, вторым — на Алис де Монс. Был сначала оруженосцем графа де Бувилля, потом оказался при дворе королевы Жанны, супруги Филиппа IV Красивого, затем становился последовательно комендантом замка Иссудан (1298), шамбелланом (1304), был возведен во дворянство и стал графом де Лонгви-

лем, интендантом финансов и зданий, капитаном Лувра, коадъютором-распорядителем и ректором королевства в последние годы правления Филиппа IV Красивого, после смерти которого был обвинен в злоупотреблениях, осужден и повешен на Монфоконе. Реабилитирован в 1317 г. Филиппом V Длинным и погребен в церкви Шартрё, перенесен в построенную им коллегиальную церковь Экуи.

Мариньи, Жан (ум. 27 декабря 1351). Самый младший из братьев Мариньи. Участвовал в суде, который приговорил к смерти его брата Ангеррана. Каноник собора Парижской Богоматери, затем епископ Бовезский (1312). Канцлер (1329). Наместник короля в Гаскони (1342). Архиепископ Руанский (1347).

Мариньи, Луи де, сеньор де Менвиль и де Буароже. Старший сын Ангеррана де Мариньи. Женился в 1309 г. на Роберте де Бомец.

Мариньи, Филипп де (1260–1316). Младший брат Ангеррана Мариньи. Секретарь короля (1301). Архиепископ Санский (1309). Участвовал в суде, который приговорил к смерти его брата Ангеррана.

Мария Венгерская, королева Неаполя (ок. 1257 — 25 марта 1323). Дочь Иштвана V, короля Вен-

грии, и его жены, половецкой княжны Елизаветы Куманской. Сестра и наследница Ласло IV Куна, короля Венгрии. Вышла замуж за Карла II Анжуйского Хромого, короля Неаполя и Сицилии.

Мария Люксембургская, королева Франции (1304 — март 1324). Дочь Генриха VII, германского императора, графа Люксембургского, и Маргариты Брабантской. Сестра Иоанна Слепого, короля Богемии. Вторая супруга Карла IV Красивого (1322). Коронована в мае 1323 г. Умерла преждевременными родами, произошедшими в результате несчастного случая с каретой.

Марсель, Этьен (1316 — 31 июля 1358). Французский государственный деятель, купеческий прево Парижа (1354), один из создателей Великого мартовского ордонанса, добивавшийся ограничения королевской власти в пользу Генеральных штатов, а затем лидер Парижского восстания 1356–1358 гг., произошедшего, когда дофин, будущий Карл V Мудрый, отказался соблюдать условия ордонанса. Был убит, перед тем как сдать, по всей видимости, Карлу Злому Париж, откуда бежал дофин.

Мауни, Вильгельм (ум. 1372). Родом из Геннегау, прибыл в Англию в свите Филиппы, будущей супруги Эдуарда III. Рыцарь (1331). Полководец,

участник всех военных походов Эдуарда III. Женился на Маргарите, дочери Томаса Бразертона, графа Норфолкского, дяди Эдуарда III.

Мелло, Гийом де (ум. ок. 1328). Сеньор д'Эпуасс и де Живри. Советник герцога Бургундского.

Мелтон, Уильям (ум. 5 апреля 1340). Был близок к Эдуарду II с детских лет и до конца оставался его сторонником. Королевский писец, затем хранитель личной королевской печати (1307). Королевский секретарь (1310). Архиепископ Йоркский (1316); в период архиепископства активно противодействовал набегам шотландцев. Казначей Английского королевства (1325–1327). Вновь назначается казначеем королевства в 1330–1331 гг. и хранителем большой королевской печати в 1333–1334 гг.

Меркёр, Беро де. Сеньор дю Жеводан. Посол Филиппа IV Красивого к папе Бенедикту XI в 1304 г. Поссорился с королем, который приказал провести расследование на его землях (1309). Вернулся в Королевский совет после восшествия на престол Людовика X Сварливого (1314) и был отстранен Филиппом V Длинным в 1318 г.

Моле, Жак де (1244/1249 — 18 марта 1314). Родился в Моле (Верхняя Сона). Вступил в орден тамплиеров в Боне (1265), отправился в Святую

землю. Избран Великим магистром ордена (1295). Арестован в октябре 1307 г.; осужден и сожжен на костре.

Монтегю, или Монтекют, Уильям (1301 — 30 января 1344). Старший сын Уильяма, второго барона Монтекюта, наследовавший отцу в 1319 г. Посвящен в рыцари в 1325 г. Губернатор островов Ла-Манш и комендант Тура (1333), первый граф Солсбери (1337). Маршал Англии (1338). Первый король независимого королевства Мэн (1343) — титул, полученный в награду за участие в Шотландских войнах. Был близок к королю Эдуарду III и выступал одной из ключевых фигур в заговоре против Роджера Мортимера. Скончался от ран, полученных на турнире в Виндзоре.

Морбек, Дени де. Рыцарь из Сент-Омера; за убийство, совершенное в молодости, был изгнан из Франции и лишен всех земель. С 1351 г. воевал за Эдуарда III, короля Англии, против французов. Участник битвы при Пуатье (1356); взял в плен короля Франции Иоанна II Доброго.

Морне, Этьен де (ум. август 1332). Советник Филиппа IV Красивого, Людовика X Сварливого, Карла IV Красивого и Филиппа VI Валуа. Племянник Пьера де Морне, епископа Орлеанского и Оксерского. Канцлер Карла Валуа, потом канцлер

Франции с января 1315 г. Отстраненный от управления Филиппом V Длинным, стал при Карле IV членом счетной палаты и парламента.

Мортимер, леди Джоан (Жанна де Жуанвилль, 2 февраля 1286 — 19 октября 1356). Дочь Пьера де Жуанвилля и Жанны Лузиньянской, внучка и наследница Жоффрея де Жуанвилля; внучатая племянница Жана де Жуанвилля, автора «Истории Людовика Святого». Вышла замуж за сэра Роджера Мортимера, барона Вигморского (1305).

Мортимер, Роджер, барон Чирк (ок. 1260 — 3 августа 1326). Дядя Роджера Мортимера, третьего барона Вигморского. Участник завоевания Уэльса при Эдуарде I; Верховный судья Уэльса (1307–1321) и фактический наместник короля. Участвовал в заговоре против Эдуарда II и Диспенсеров, впоследствии сдался, был взят в плен при Шрусбери (1322) и заключен в Тауэре вместе с племянником, где и умер.

Мортимер, Роджер, третий барон Вигморский, первый граф Марч (25 апреля 1287 — 29 ноября 1330). Старший сын Эдмунда Мортимера и Маргариты Фиенской. Наместник короля Эдуарда II и Великий судья Ирландии (1316–1321). Возглавил мятеж баронов, низвергнувших Эдуарда II. Фактически правил Англией как лорд-протектор

вместе с королевой Изабеллой до совершеннолетия Эдуарда III. Первый граф Уэльской марки (1328). Арестованный по приказу Эдуарда III и осужденный парламентом, был повешен на Тайбернской виселице в Лондоне.

Недоншель, Жиль де (ок. 1282 — ок. 1336). Сын Ги де Недоншеля и Аликс де Креки. Член артуазской лиги. Стал советником короля и главным шамбелланом герцога Бурбонского.

Ногаре, Гийом де (1260 — март 1313). Родился в Сен-Феликс-Лораге. Ученик Пьера Флота и Жиля Эйслена. Преподавал право в Монпелье (1287). Королевский судья в сенешальстве Вокэр (1295). Рыцарь (1299). Приобрел известность благодаря участию в споре между французской короной и Святым престолом. Руководил в Ананьи действиями против Бонифация VIII. Будучи хранителем печати (с сентября 1307 г. до своей смерти), дал ход процессу тамплиеров.

Нуайе, Миль де, сеньор Вандевра (ок. 1271 — 21 сентября 1350). Маршал Франции (1303–1315). Советник при Филиппе V Длинном, Карле IV Красивом и Филиппе VI Валуа, сыграл весьма значительную роль во все три царствования. Великий кравчий Франции (1336).

Нувель, Арно (ум. 14 августа 1317). Аббат ци-

стерцианского аббатства в Фонфруаде (Од). Дядя папы Бенедикта XII. Возведен в сан кардинала Климентом V в 1310 г. Папский легат в Англии. Участник конклава 1314–1316 гг.

Ого, Брюне д’ (ум. 16 сентября 1356). Французский рыцарь, убит в битве при Пуатье.

Одеризи, Роберто. Возможно, имеется в виду Роберто ди Одеризио (1320/1335–1382), неаполитанский художник, испытавший влияние Джотто, когда тот был в Неаполе (1328–1333), а также Симоне Мартини. Глава неаполитанской школы второй половины XIV в. Самое значительное произведение Одеризи — фрески церкви Санта-Мария-Инкороната в Неаполе. Стоит отметить, однако, что к моменту описываемых в романе «Узница Шато-Гайара» событий он, в зависимости от даты рождения, либо был совсем ребенком, либо еще не родился. — *Примеч. ред.*

Одрегем, Арнуль, д’ (1305 или 1306 — декабрь 1370). Французский военачальник. В 1332–1342 гг. участвовал в Шотландских войнах на стороне короля Шотландии Давида II. Маршал Франции (1351–1368). В 1356 г. арестовал Карла II Злого на банкете в Руане. Сражался в битве при Пуатье (1356), был взят в плен англичанами. Участвовал в переговорах о заключении мира в Бретиньи.

После возвращения из Англии назначен в 1361 г. капитаном Лангедока, где сражался против отрядов бригандов. В 1365 г. участвовал в испанской кампании Бертрана дю Геклена, был взят в плен Эдуардом Черным принцем, затем отпущен.

Ок (или *Ош*), Арно д' (ок. 1260/1270–1320). Епископ Пуатье (1306). При Клименте V кардинал-епископ Альбано (1312), папский легат в Париже (1314), камергер папы до 1319 г. Умер в Авиньоне.

Оксуа, Жан д'. Епископ Труазский, потом Оксерский (1353–1359).

Онэ, Готье д' (ок. 1288/1291 — 19 апреля 1314). Старший сын Готье д'Онэ, сеньора Муси-ле-Нёфа, Мениля и Гран-Мулена. Башелье графа де Пуатье, второго сына Филиппа IV Красивого. Уличенный в любовной связи с Бланкой Бургундской (дело Нельской башни), казнен в Понтуазе. Был женат на Агнессе де Монморанси.

Онэ, Филипп д' (ок. 1290/1293 — 19 апреля 1314). Младший брат Готье д'Онэ. Любовник Маргариты Бургундской, супруги Людовика X Сварливого. Казнен в Понтуазе вместе со своим братом.

Орлетон, Адам (ум. 1345). Епископ Херефордский (1317), затем Вустерский (1328) и Уинчестерский (1334). Посылался с многочисленными миссиями к французскому королевскому двору

и в Авиньон к папскому двору. Фаворит папы Иоанна XXII, от которого и получил епископство в Херефорде вопреки возражениям английского короля. Один из вдохновителей заговора против Эдуарда II. Казначей Англии (1327–1328).

Орсини, Наполеоне (1260/1263 — 24 марта 1342). Римский кардинал, возведен в сан папой Николаем IV в 1288 г. Союзник рода Колонна, выступал против папы Бонифация VIII на посмертном суде над ним. Участник конклава 1314–1316 гг.

Парей, Ален де. Капитан лучников при Филиппе IV Красивом.

Педро I Жестокий, затем Педро I Справедливый (30 августа 1334 — 23 марта 1369), король Кастилии и Леона (1350). Сын Альфонсо XI Кастильского и Марии Португальской. Был отлучен от церкви папой Урбаном V за гонения на священников. Заточил, а затем приказал убить свою жену Бланку Бургундскую, сестру французского короля Иоанна II Доброго, и поэтому в Столетней войне выступал на стороне Англии. Воевал с арагонским королем Педро IV Церемонным (Война двух Педро 1356–1375 гг.). После изгнания из Кастилии обратился за помощью к Эдуарду Черному принцу; кампания в итоге не увенчалась успехом, и Педро I был убит Энрике Трастамарским, кото-

рый и сел на кастильский трон.

Педро IV Церемонный (5 октября 1319 — 5 января 1387), король Арагона, также король Валенсии Педро II, король Сардинии и Корсики, граф Барселоны, с 1381 г. герцог Афинский. Король Мальорки (1344). Вел войны на Сицилии, на Сардинии, в Южной Италии, в Греции и на Балеарских островах, все правление боролся с центробежными силами в Арагоне.

Пейро, Юг де (ум. после 1314). Тамплиер, командор и главный досмотрщик ордена. Арестован 13 октября 1307 г., в марте 1314 г. приговорен к пожизненному заключению, скончался в тюрьме.

Пелагрю, Арно де (ум. август 1331). Архидиакон Шартрский. Возведен в сан кардинала племянником, папой Климентом V, 15 декабря 1305 г. Папский легат в Италии (1309–1310). Предводитель папской армии в вооруженном конфликте с Венецией за Феррару. Участник переговоров с Гийомом де Ногаре по вопросу разгона ордена тамплиеров. Участник конклава 1314–1316 гг.

Перрерс, Элис (ок. 1348–1400/1401). Фаворитка уже немолодого короля Англии Эдуарда III (ок. 1366 г.), родила от него троих детей. Была очень влиятельна при дворе. В 1375 г. втайне от короля заключила брак с сэром Уильямом де

Виндзором, бароном Виндзорским, наместником короля в Ирландии. Была изгнана в 1376 г., но вскоре вернулась ко двору. Покровительствовала Джеффри Чосеру, считается прототипом батской ткачихи из «Кентерберийских рассказов».

Петрарка, Франческо (20 июля 1304 — 18/19 июля 1374). Итальянский поэт и ученый, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, один из первых представителей ренессансного гуманизма, сильно повлиял на жанр лирической поэзии.

Плуабуш, Жан. Прево Парижа с 1309 г. по март 1316 г.

Пре, Жан дю. Бывший тамплиер. Стал слугой в Валансе (1316). Вместе с бывшим тамплиером Эвраром был втянут кардиналом Каэтани в попытку навести порчу на короля Людовика X.

Прель (или Прейер), Рауль I де (ок. 1270 — ок. 1329). Сеньор де Лизи. Легист, секретарь Филиппа IV Красивого; брошен в тюрьму после смерти короля, но помилован в конце царствования Людовика X Сварливого. Надзирал за конклавом в 1316 г. Возведен в дворянское достоинство Филиппом V Длинным, состоял в рыцарской свите этого короля и заседал в его Совете. Основал Прельский коллеж.

Пуже, или Пуйе, Бертран дю (1280 — 3/4 февраля 1352). Возможно, племянник папы Иоанна XXII, возведен им в сан кардинала в декабре 1316 г. Папский легат в Ферраре (1317) и северной Италии (1319–1334). Воевал за восстановление папского контроля в Болонье, Ломбардии и Эмилии-Романье. Губернатор Болоньи (1327–1334), епископ Остии и Веллетри (1327). Участник конклавов 1334 и 1342 гг.

Рейнолдс, Уолтер (ум. 16 ноября 1327). Епископ Вустерский (1307), архиепископ Кентерберийский (1313–1327). Лорд-казначей (1307–1310), хранитель печати (1310–1314), лорд-канцлер. Один из главных советников Эдуарда II. В 1326 г. принял сторону Изабеллы. Был крестным отцом короля Эдуарда III, короновал его и входил при нем в регентский совет.

Рибмон, Эсташ де (ум. 19 сентября 1356). Пикардийский дворянин, участник Столетней войны, в битве при Кале попал в плен, но впоследствии был освобожден без выкупа за храбрость. Убит в битве при Пуатье (1356).

Ричард I Львиное Сердце (8 сентября 1157 — 6 апреля 1199), английский король (1189–1199) из династии Плантагенетов, герцог Нормандский, Аквитанский и Гасконский, граф Пуатье, Анжуй-

ский, Мэнский и Нантский, правитель Кипра. Сын короля Англии Генриха II и герцогини Элинор Аквитанской. Великий полководец, один из самых известных крестоносцев, в Англии считался очень праведным, большую часть правления провел в крестовых походах и войнах за пределами Англии.

Роберт Мудрый, король Неаполитанский (1277 — 16 января 1343). Третий сын Карла II Анжуйского Хромого и Марии Венгерской. Младший брат Карла Мартелла. Герцог Калабрийский (1296), князь Салернский (1304), великий викарий королевства Сицилийского (1296). Наследник королевства Неаполитанского (1297) и король (1309). Коронован в Авиньоне папой Климентом V. Вождь партии гвельфов. Просвещенный государь, поэт и астролог, высоко ценимый Петраркой и Боккаччо. Женился первым браком на Иоланде (Иоланте) Арагонской, умершей в 1302 г.; потом на Санче, дочери короля Майорки (1304).

Савойский, Амадей V Великий, граф (ок. 1253 — 16 октября 1323). Второй сын Тома (Фомы) II Савойского, графа де Морьена и его второй супруги Беатрисы Фьески. Наследовал в 1283 г. своему дяде Филиппу, архиепископу Лиона. Женился первым браком на Сибилле де Боже (1255–1294),

вторым — на Марии Брабантской (1280–1340). В 1307 г. его сын Эдуард женился на Бланке Бургундской, сестре Эда IV и Маргариты Бургундской (жены Людовика X Сварливого).

Савойский, Петр (ум. ноябрь 1332). Архиепископ Лионский (1308). Племянник Амадея V Савойского. Сопротивлялся присоединению Лиона к Франции; город был осажден будущим Людовиком X Сварливым и Карлом Валуа по приказу Филиппа IV Красивого, и после вмешательства Амадея Савойского в 1312 г. Лион вошел в состав Франции. Суверенитет города так и не был восстановлен; при Филиппе V Длинном в 1320 г. было подписано соглашение о возвращении управления Лиона архиепископу, однако город остался в подчинении Франции.

Сигроув, Стивен (ум. 1325). Констебль лондонского Тауэра. После бегства Роджера Мортимера был заключен в тюрьму, освобожден в июне 1324 г.

Стефанески, Якопо Каэтани дельи (ок. 1270 — 23 июня 1343). Возведен в сан кардинала Бонифацием VIII 17 декабря 1295 г. Заказал Джотто мозаику «Навичелла» на сюжет чуда на Генисаретском озере (1310) в атриуме церкви Святого Петра, где был каноником. Автор жизнеописания

папы Целестина V, написанной гекзаметром.

Стэплдон, Уолтер де (1 февраля 1261 — 14 октября 1326). Профессор канонического права в Оксфорде. Епископ Эксетерский (1308–1326). Лорд-казначей Англии (1320 и 1322). Основатель оксфордского Эксетер-колледжа (1314). Сторонник Эдуарда II и Диспенсеров; после вторжения в Англию Изабеллы Французской и Роджера Мортимера и побега Эдуарда II из Лондона стал хранителем города и был убит восставшими горожанами.

Суастр. Член артуазской феодальной лиги, восставшей против графини Маго.

Сэссе, Бернар де (ок. 1232–1314). Аббат из Сент-Антонин де Памье. Бонифаций VIII создал для него епископство Памьерское (1295). Во время конфликта с Филиппом IV Красивым был арестован по обвинению в измене и ереси и препровожден в Санлис (октябрь 1301). Суд над ним вызвал разрыв между Филиппом IV и папой Бонифацием VIII.

Сюлли, Анри де (1282–1336). Сын Анри III сира де Сюлли и Маргариты де Бомец. Супруг Жанны де Вандом. Великий кравчий Франции с 1317 г. и главный казначей при Филиппе V Длинном.

Талейран-Перигё, Эли де (1301 — 17 января 1364).

Французский куриальный кардинал. Епископ Лиможа (1324–1328). Епископ Осера (1328–1331). Декан Священной коллегии кардиналов (1361–1364). Кардинал-пресвитер церкви Сан-Пьетро ин Винколи (1331–1348). Кардинал-епископ Альбано (1348). Участник переговоров с принцем Уэльским Эдуардом и французским королем Иоанном II Добрым с целью предотвратить битву при Пуатье; а позднее — переговоров об освобождении Иоанна II Доброго из английского плена. Участник конклавов 1334, 1342, 1352 и 1362 гг., влиятельнейшая фигура при папском дворе в Авиньоне. Друг и корреспондент Франческо Петрарки.

Танкарвиль, Жан II де Мелён, граф (ок. 1325–1382). Влиятельный французский политик и военачальник при Иоанне II Добром и Карле V. Был взят в плен англичанами при Пуатье вместе с Иоанном II (1356). Способствовал заключению мира в Бретиньи. В 1363 г. вместе с королем добровольно вернулся в английский плен, затем возвратился во Францию. Губернатор Лангедока, Шампани и Бургундии при Карле V.

Толомеи, Спинелло. Глава сиенской банкирской компании во Франции, основанной в XII в. Толомео Толомеи и быстро разбогатевшей бла-

годаря торговле на мировых рынках и контролю над серебряными рудниками в Тоскане. До наших дней в Сиене сохранилось палаццо Толомеи.

Три, Матье де (ум. 26 ноября 1344). Сеньор де Фонтене и де Пленвиль-ан-Вексен. Главный хлебодар (1298), потом камергер Людовика Сварливого. С 1314 г. главный камергер Франции. Маршал Франции (ок. 1320).

Уффорд, Роберт де (9 августа 1298 — 4 ноября 1369), первый граф Саффолк (1337). Рыцарь ордена Подвязки. Участник Столетней войны под началом короля Эдуарда III и Черного принца; участник битв при Креси (1346) и при Пуатье (1356), где командовал арьергардом. Сторонник Изабеллы Французской и Роджера Мортимера, затем Эдуарда III. Один из доверенных советников короля, влиятельный дипломат.

Ферьенн, Изабелла де (ум. 1317). Колдунья. Свидетельствовала против Маго на суде, которому ее подвергли после смерти Людовика X Сварливого. Была сожжена заживо после оправдания Маго 9 октября 1317 г.

Фиески, Лука де (ок. 1275 — 31 января 1336). Племянник папы Адриана V, внучатый племянник папы Иннокентия VI, родственник Плантагенетов; также, по его собственным словам, родствен-

ник короля Хайме II Арагонского. Возведен в сан кардинала-дьякона Бонифацием VIII 2 марта 1300 г. Папский легат в Англии (1317). Участник конклавов 1303, 1304–1305, 1314–1316 и 1334 г.

Филипп III Смелый, король Франции (1245 — 5 октября 1285). Сын Людовика IX Святого и Маргариты Прованской. Женился на Изабелле Арагонской (1262). Отец Филиппа IV Красивого и Карла, графа де Валуа. Сопровождал своего отца в Восьмом крестовом походе и был объявлен королем Тунисским (1270). Овдовев в 1271 г., женился на Марии Брабантской, которая родила ему Людовика, графа д'Эврё. Умер в Перпиньяне по возвращении из похода, куда отправился, чтобы поддержать права своего второго сына на Арагонский престол.

Филипп IV Красивый, король Франции (апрель или июнь 1268 — 29 ноября 1314). Сын Филиппа III Смелого и Изабеллы Арагонской. Вступил в брак (1284) с Жанной Шампанской, королевой Наваррской. Отец королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного, Карла IV Красивого и Изабеллы Французской, королевы Англии. Провозглашен королем в Перпиньяне (1285) и коронован в Реймсе (6 января 1286). Вел войну во Фландрии, разгромил орден тамплиеров. После

конфликта Филиппа IV с папой Бонифацием VIII началось авиньонское пленение пап. Скончался в Фонтенбло и погребен в усыпальнице Сен-Дени.

Филипп V Длинный, граф де Пуатье (1294 — 3 января 1322), король Франции (1316–1322). Сын Филиппа IV Красивого и Жанны Шампанской. Брат королей Людовика X Сварливого, Карла IV Красивого и Изабеллы Французской, королевы Англии. Пфальцграф Бургундский, сир Саленский благодаря своему браку с Жанной Бургундской (1307). Удельный граф Пуатье (1311). Пэр Франции (1315). После смерти Людовика X регент, а затем, по смерти его сына, король Франции (20 ноября 1316). Скончался в Лоншане, не оставив наследников мужского пола. Погребен в Сен-Дени.

Филипп VI Валуа, король Франции (1293 — 22 августа 1350). Старший сын Карла Валуа и его первой супруги Маргариты Анжу-Сицилийской. Племянник Филиппа IV Красивого и двоюродный брат королей Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого. По смерти Карла IV регент королевства, затем, после рождения дочери Карла, — король (с апреля 1328). Коронован в Реймсе 29 мая 1328 г. Его восшествие на престол, оспариваемое Англией, послужило поводом к Столетней войне. Женат первым бра-

ком (1313) на Жанне Бургундской, прозванной Хромоножкой, сестре Маргариты; вторым браком (1349) на Бланке д'Эврё, принцессе Наваррской, внучке Людовика X и Маргариты Бургундской.

Фландрский, Людовик, сеньор Креси, граф Неверский (ок. 1304 — 26 августа 1346). Сын Людовик I де Дампьера, графа Неверского. Унаследовал от своего деда Робера Бетюнского титул графа Фландрского в 1322 г. Женился в 1320 г. на Маргарите, второй дочери Филиппа V и Жанны Бургундской. Во время Столетней войны поддерживал Францию, что привело к эмбарго на экспорт шерсти из Англии во Фландрию, развалу суконной промышленности и восстанию фландрских торговцев. Был изгнан из Фландрии и затем убит в битве при Креси в 1346 г.

Фландрский, Робер Бетюнский, граф де Невер (1249 — 17 сентября 1322). Сын Ги де Дампьера, графа Фландрского (ум. в 1305) и Матильды де Бетюн. Женился на Иоланде Бургундской, графине Невера.

Флери, Жоффруа де. Королевский казначей. Вступил в должность 12 июля 1316 г. и стал первым, кто носил это звание. Возведен Филиппом V Длинным в дворянство в 1320 г.

Флот, Гийом (ок. 1280 — после 1350/1366). Се-

ньор де Ревель и д'Эско. Сын Пьера Флота, легиста Филиппа IV Красивого и канцлера Франции, убитого в Куртре во время Фламандского восстания 1302 г. Легист, канцлер при Филиппе VI Валуа.

Форе, Жан I д'Альбон, граф де (ок. 1275 — 3 июля 1333). Последовательный сторонник французских королей, сначала Филиппа IV Красивого, затем Филиппа V Длинного. Надзирал за Лионским конклавом 1316 г. Министр и советник при Филиппе VI Валуа. Женился на Аликс де Вьеннуа, дочери Умберта де ла Тур дю Пена, затем на Элеоноре Савойской. Владелец отеля в Париже.

Фредоль, Беранже Младший (ум. ноябрь 1323). Племянник Беранже Фредоля Старшего. Епископ Безьерский (1309). Возведен в сан кардинала Климентом V 24 декабря 1312 г.

Фредоль, Беранже Старший или Старый (ок. 1250 — 11 июня 1323). Епископ Безьерский (1294). Возведен в сан кардинала папой Климентом V 15 декабря 1305 г.

Фреовилль, Никола Кенье де (ум. 1323). Доминиканец. Духовник Филиппа Красивого (с 1295). Возведен в сан кардинала Климентом V 15 декабря 1305 г. Участник конклава 1314–1316 гг.

Фуа, Гастон II Богатырь де (1308 — 26 сентября 1343), виконт де Беарн (как Гастон IX), де Марсан

и де Габардан, сюзерен Андорры. Сын Жанны Артуа, сестры Робера III Артуа. Французский военачальник времен Столетней войны.

Фуа, Гастон III Феб, де (30 апреля 1331 — 1 августа 1391), виконт де Беарн (как Гастон X), де Марсан и де Габардан, сын Гастона II де Фуа. Военачальник во время Столетней войны. Супруг сестры Карла II Злого, однако выгнал жену после рождения сына, испортив отношения с ее братом. В 1356 г. принес присягу Иоанну II Доброму за Фуа, но не за Беарн, находившийся в вассальном подчинении Эдуарду III; был обвинен в измене французскому королю и участии в заговоре Карла II Злого, заключен в тюрьму, но освобожден после поражения французской армии при Пуатье (1356).

Фужер, Арно де (ум. 17 сентября 1317). Архиепископ Арльский (1308). Возведен в сан кардинала Климентом V 19 декабря 1310 г.

Фьенн, Жан, барон де Тенгри, сеньор де Румминген, кастелян де Бурбур (1278 — после 1333). Избранный вождем восставших дворян Артуа, одним из последних сложил оружие. Был женат на Изабелле, шестой дочери Ги де Дампьера, графа Фландрского.

Чандос, Джон, сэр (ок. 1320 — 31 декабря 1369).

Английский рыцарь, полководец, виконт Сен-Совер, констебль Аквитании, сенешаль Пуатье, один из основателей и кавалер ордена Подвязки (1348). Был близким другом Черного принца. Талантливый стратег; считается ответственным за крупные победы англичан в битвах Столетней войны при Креси (1346), Пуатье (1356) и Оре (1364). Гибель Чандоса в мелкой стычке с французами оплакивали и в Англии, и во Франции.

Шамбли, Эгидий де (Эгидиус Понтуазский; ум. 2 января 1326). Пятидесятый аббат Сен-Дени.

Шарни, Жоффруа I де (ок. 1300/1306 — 19 сентября 1356), сеньор де Лире. Французский полководец, писатель и поэт. Считался доблестным рыцарем, участвовал в Столетней войне. Входил в состав тайного совета короля Филиппа VI Валуа. Погиб в битве при Пуатье. Считается первым обладателем Туринской плащаницы.

Шатийон, Ги, граф де Блуа (1298 — 12 августа 1342). Сын Юга II де Блуа и Беатрикс де Дампьер, дочери графа Фландрского. В 1311 г. женился на Маргарите де Валуа, дочери Карла Валуа и Маргариты Анжу-Сицилийской, сестре Филиппа VI Валуа, короля Франции. Их сын Карл оспаривал права на герцогство Бретань после смерти герцога Иоанна III. Участник войны с Фландрией под

началом Людовика X Сварливого и Столетней войны под началом Филиппа VI.

Шатийон, Гоше V, граф де Порсьен де (ок. 1249–1329). Коннетабль Шампани (1284), затем, после Куртре (1302), — Франции. Сын Гоше IV и Изабеллы Виллардуэн. Одержал победу при Монзан-Певель. Короновал Людовика X Сварливого как короля Наварры в Памплоне (1307). Последовательно исполнитель завещания Людовика X Сварливого, Филиппа V Длинного и Карла IV Красивого. Участвовал в битве при Касселе (1328), скончался в следующем году; выполнял обязанности коннетабля при шести королях. Был женат на Изабелле Дрё, потом на Элисенде де Вержи, потом на Изабелле де Рюминьи.

Шатийон-Сен-Поль, Ги III де, граф (после 1254 — 6 апреля 1317). Второй сын Ги II и Маго Брабантской, вдовы Робера I Артуа. Великий кравчий Франции (с 1296 г.). Женился на Марии Бретонской (1292), дочери герцога Жана II и Беатрисы Английской. Старшая из его дочерей, Матильда (Маго), была третьей супругой Карла де Валуа. Один из душеприказчиков Филиппа IV (1314).

Шатийон-Сен-Поль, Маго (Матильда) де, графиня де Валуа (ок. 1293 — 3 октября 1358). Дочь Ги III де Шатийона, великого кравчего Франции,

и Марии Бретонской. Третья супруга Карла де Валуа, брата Филиппа IV Красивого.

Шершемон, Жан де (ум. 25 октября 1328). Сеньор Венура в Пуатье. Королевский писец (1318). Каноник собора Парижской Богоматери. Периодически становился канцлером Франции с 1320 г., при Филиппе V Длинном, Карле IV Красивом и Филиппе VI Валуа.

Эврар, бывший тамплиер. Писец в Бар-сюр-Об. В 1316 г. оказался замешан в деле о колдовстве, был пособником кардинала Каэтани в попытке навести порчу на короля Франции.

Эврё, Людовик Французский, граф д' (3 мая 1276 — 19 мая 1319). Сын Филиппа III Смелого и Марии Брабантской. Единокровный брат Филиппа IV Красивого и Карла де Валуа. Граф д'Эврё (1298), пэр (1317). Один из ближайших советников Филиппа V Длинного. Женился на Маргарите Артуа, сестре Робера III Артуа. Среди детей от их брака — Жанна, третья супруга Карла IV Красивого, и Филипп, супруг Жанны, королевы Наваррской.

Эврё, Филипп д'. Сын Людовика д'Эврё. Женился в 1318 г. на Жанне Французской, дочери Маргариты Бургундской и Людовика X Сварливого, унаследовавшей Наварру (28 января 1312 — 6 октября 1349). Отец Карла II Злого, короля Наварры,

и Бланки, принцессы Наваррской, второй супруги короля Франции Филиппа VI Валуа.

Эделина, внебрачная дочь Людовика X Сварливого (род. ок. 1305). Сначала монахиня обители предместья Сен-Марсель, потом аббатиса монахинь-кларисс.

Эдуард II Плантагенет, король Англии (25 апреля 1284 — 21 сентября 1327). Родился в Карнарвоне. Сын Эдуарда I и Элеоноры Кастильской. Первый принц Уэльский и граф Честерский (1301). Граф Понтьё (1290). Герцог Аквитанский (1306). Женился на Изабелле Французской (1308), дочери Филиппа IV Красивого. Коронован в Вестминстере 25 февраля 1308 г. Свергнут с престола (1326) в результате мятежа баронов, возглавляемого его супругой и Роджером Мортимером, был заточен и убит в замке Беркли.

Эдуард III Плантагенет, король Англии (13 ноября 1312 — 21 июня 1377). Родился в Виндзоре. Сын Эдуарда II и Изабеллы Французской. Граф Честерский (1320). Герцог Аквитанский и граф Понтьё (1325). Коронован в Вестминстере (1327) после низложения отца. В 1328 г. вступил в брак с Филиппой де Авен, дочерью Вильгельма, графа Геннегау, Голландии и Зеландии, от которой у него было тринадцать детей. Его притязания

на французский престол послужили причиной Столетней войны.

Эдуард Вудсток, Черный принц (15 июня 1330 — 8 июня 1376). Старший сын английского короля Эдуарда III и Филиппы де Авен, наследный принц. Прозвище Черный принц возникло не раньше XVI в.; прозван черным за цвет своих доспехов. Английский полководец времен Столетней войны. Считался образцом рыцарства и прославился как талантливый военачальник. Участник битвы при Креси (1346) и при Пуатье (1356); участник войны в Аквитании (1366–1370). Скончался раньше отца, отчего трон отошел его сыну, коронованному как Ричард II.

Эрон, Адам. Башелье, потом камергер Филиппа, графа де Пуатье, будущего Филиппа V Длинного.